

**ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ**



**ЗА ДОБРОЙ
НАДЕЖДОЙ**

**ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ**

**ЗА ДОБРОЙ
НАДЕЖДОЙ**



НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ
КАРБОЕ МОРЕ
ИРГАКА
АРАНГЕЛЬСК
СЕЛЕАРД
ПЕТРОВОДСК
ЛЕНИНГРАД
КИЛЬСКИЙ КАНАЛ
ЛОНДОН
КЕРЧЬ
ПОВОРОВСКИЙ
ЗАРАТАС
ЛЕЛАНД
ТРИПОЛИ
ДАКАР
О. С. ЕЛЕНА
МОНТЕВИДЕО
М. ДОБРОЕ ВЛАЖАНИЕ
СИГАПОР
МАВРИКИЙ
ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
ОКЕАН

**ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ**

**ЗА ДОБРОЙ
НАДЕЖДой**

РОМАН-СТРАНСТВИЕ

Москва
«Советская Россия»
1987.

P2
K64

Художник
А. В. ДЕНИСОВ

К $\frac{4702010200-188}{M-105(03)87}$ 115-87

ЧАСТЬ

**СОЛЕННЫЙ
ЛЕД**

Не стоит ехать вокруг света
ради того, чтобы сосчитать ко-
шек в Занзибаре.

Г. Д. Торо. Жизнь в лесу

НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

В феврале я узнал, что суда, на которые получу назначение, зимуют в Ленинграде у набережной Лейтенанта Шмидта, и пошел взглянуть на них.

После оттепели подмораживало, медленно падали с густо-серого неба белые снежинки, на перекрестках виднелись длинные следы тормозивших машин — был гололед.

Я вышел к Неве, дождался, когда милиционер отойдет подальше, спустился на лед и пошел напрямик через реку к низким силуэтам зимующих судов. На реке было тихо, городские шумы отстали, и только шуршала между низких торосов поземка.

Так она шуршала двадцать два года назад, когда я тринадцатилетним пацаном тем же путем спустился на лед и побрел к проруби с чайником в руках. Вокруг проруби образовался от пролитой замерзшей воды довольно высокий бруствер. Я лег на него грудью, дном чайника пробил тонкий ледок и долго топил чайник в черной невской воде. Она быстро бежала в круглом окошке проруби. Мороз был куда сильнее, чем теперь, ветер пронизывал, а поземка хлестала по лицу. Я наполнил чайник, вытащил его и поставил сзади себя. И потом еще дольше возился со вторым чайником, пока зачерпнул воды. И тогда оказалось, что первый накрепко примерз своим мокрым дном ко льду. Я снял рукавицы, положил их на лед, поставил на них второй чайник и обеими руками стал дергать первый.

На набережной Лейтенанта Шмидта заухала зенитка. Это была свирепая зенитка. От нее у нас вылетело стекло из окна даже без бомбежки.

Я бил чайник валенками, дергал за ручку и скулил, как бездомная маленькая собака. Я был один посреди белого невского пространства. И мороз обжигал даже глаза и зубы. И я не мог вернуться домой без воды и чайника.

Черт его знает, сколько это продолжалось. Потом появился на тропинке здоровенный матрос. Он без слов понял, в чем дело, ухватил примерзший чайник за ручку.

и дернул изо всех своих морских сил. И тут же показал мне подковы на подошвах своих сапог — ручка чайника вырвалась, и матрос сделал почти полное заднее сальто. Матрос страшно рассердился на мой чайник, вскочил и пнул его каблуком.

— Спасибо, дядя, — сказал я, потому что всегда был воспитанным мальчиком.

Он ушел, не сказав «пожалуйста», а я прижал израненный чайник одной рукой к груди, а в другую взял второй. Из первого при каждом шаге плескалась вода и сразу замерзала в моей руке. От боли и безнадежности я плакал, поднимаясь по обледенелым ступенькам набережной...

И вот спустя двадцать два года я остановился приблизительно в том месте, где была когда-то прорубь, и закурил. «Интересно, жив ли тот матрос, — подумал я. — А может, он не только жив, но мы и сплавали с ним вместе не один рейс... Разве всегда узнаешь тех, с кем раньше уже пересекалась твоя судьба?»

Прямо по носу виднелся плавучий ресторан «Чайка», и я было взял курс на него, чтобы чего-нибудь выпить. Но вокруг ресторана лед был в трещинах, и я выбрался на набережную возле спуска, где торчит на самом юру идотская общественная уборная. Такое красивое, знаменитое место — рядом Академия художеств, дом академиков, сфинксы из древних Фив в Египте — и круглая общественная уборная.

Я оставил уборную по корме, убедился в том, что ресторан закрыт на обеденный перерыв, выпил теплого пива у синего фанерного ларька, получил из мокрых рук продавца мокрую сдачу и медленно пошел вдоль набережной, рассматривая те суда, которые предстояло мне гнать на Обь или Енисей. Суда стояли тесным семейством, борт к борту, в четыре корпуса. Узкие и длинные сухогрузные теплоходы, засыпанные снегом. Два дизеля по триста сил, четыре трюма, грузоподъемность шестьсот тонн, от штевня до штевня около семидесяти метров — все это, вместе взятое, на обыкновенном морском языке называется «речная самоходная баржа». И утешаться следует только тем, что слово «баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», сбозначавшее некогда грозный пиратский корабль.

«Может, откуда-нибудь оттуда и «абордаж»? — подумал я, рассматривая с обледенелой набережной свою близкую судьбу. Судьба выглядела невесело. Иллюминаторы были закрыты железными дисками, с дисков натекли по бортам ржавые потеки, брезентовые чехлы на шлюпках,

прожекторе, компасе почернели от сажи. На палубах змейками вились тропинки среди метровых сугробов. Тропинки, очевидно, натоптали вахтенные. Провисшие швартовые тросы кое-где вмерзли в лед.

— Ах, эти капельки на тросах, ах, эти тросы над водой, — бормотал я про себя. — Ах, корабли, которым осень мешает быть самой собой...

Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид. А пока смотреть на длинные гробики не доставляло никакого удовольствия.

И я пошел дальше по набережной Лейтенанта Шмидта. Я люблю ее. И лейтенанта Шмидта. Он один из главных героев детства.

Набережная — моя родина. Где-то здесь мы стояли в сорок восьмом году, с вещмешками за плечами, в белых брезентовых робах, в строю по четыре, и ждали погрузки на старика «Комсомольца». Мы отправлялись в первое заграничное плавание. На другой стороне набережной толпились все наши мамы и наши девушки. И только пап было чрезвычайно мало. У нашего поколения не может быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. И когда сегодня я попадаю в семейство, где за ужином собираются вокруг стола отец, мать, дети и внуки, то мне кажется, что я попал в роман Чарской и все это совершенно нереально. И если я вижу на улице старика с седой бородой, неторопливой повадкой и мудростью в глазах, то мне кажется, что я сижу в кино. Потому что стариков у нас осталось очень мало. Их убили еще в пятом, в четырнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, сорок первом, сорок втором и в другие годы.

А если ты вырос без отца и без деда, то обязательно наделасшь в жизни больше глупостей.

Да, от гранита этой набережной я первый раз ушел в плавание на старом большом учебном корабле с тремя трубами. Когда-то он назывался «Океан», а потом стал «Комсомольцем». На кнехтах остались старинные надписи: «Океанъ». Кажется, как вспомогательный крейсер старик принимал участие в Цусимском бою.

Нас бабили в его огромные кубрики по самую завязку. Мы качались в парусиновых койках в три этажа. И когда по боевой тревоге верхние летели вниз, то нижним было больно.

А самой веселой у нас считалась такая провокация. Тросики верхней койки смазывались салом. Это делалось, конечно, втайне от хозяина. Хозяин спокойно залезал к себе под потолок и засыпал. Ночью крысы шли по магистральям к вкусным тросикам и грызли их. Тросики рвались, и жертва летела на спящего внизу. Подвесная койка — не двуспальная кровать, она рассчитана строго на одного. Когда в ней оказывалось двое, она переворачивалась. И уже втроем жертвы шлепались на стальную палубу. Грохот и проклятия будили остальных.

... И с нами вместе тихо посмеивался старый «Комсомолец». Наверное, ему было приятно возить в своем чреве восемнадцатилетних шалопаев.

Старика разрезали на металлолом всего года два назад.

Мы ходили на нем в Польшу — возили коричневый брикетированный уголь из Штеттина в Ленинград.

Я помню устье Одера, вход в Свинемюнде, два немецких линкора или крейсера, затопленных по бокам фарватера. Их башни торчали над водой, и волны заплескивали в жерла орудий. Мы прошли мимо и увидели неожиданно близкую зелень берегов Одера. А в канале детишки махали нам из окон домов. Дома возникали метрах в двадцати от наших бортов.

Мы первый раз в жизни входили в чужую страну по чужой воде. Мы стояли на палубах и ждали встречи с чем-то совершенно неожиданным, удивительным. Мы думали открыть для себя новый мир. Недаром в детстве я считал слово «заграница» страной и писал его с большой буквы. Теперь-то я знаю, что все люди на земле живут одними заботами, а потому и очень похожи друг на друга.

И мы вошли в Штеттин. Обрушенные мосты перераживали реки и каналы. Кровавые от кирпичной пыли стены ратуши были единственным, что уцелело в городе. Союзная авиация постаралась. Руины густо заросли плющом. Плющ казался лианами.

Мы ошвартовались, и человек сто пленных немцев закопшились на причале, готовясь к погрузке. Они подавали уголь на борт и ссыпали его в узкие горловины угольных шахт. А мы работали в бункерах, в крошечной тьме и пыли. И все мы были совершенными неграми. А после работы мы развлекались тем, что кидали пленным на причал пачку махорки. Немцы бросались в драку из-за нее под наш залихватский свист.

Война только что кончилась. Мы хотели есть уже шесть лет подряд. Шесть лет мы хотели хлеба в любой час дня и ночи. И мы были по-молодому жестоки. Когда здоровенные немцы лупили друг друга на причале, мы получали некоторое удовольствие. Это было, из песни слова не выкинешь.

И еще помню: один из пленных договорился с нами, что если он переберется по швартовому тросу на борт корабля, то получит целую пачку махорки. Метров пятнадцать — двадцать толстого стального швартова, скользкого и в проволочных заусеницах.

Немец отважно повис на тросе и пустился в путь на руках. Посередине он выдохся и замер над мутной одерской водой. Его друзья орали что-то с причала. А мы начали готовить спасательные круги. Немец попытался закинуть на трос ноги, но у него это не получилось, и он шлепнулся в воду с высоты семи метров под наши аплодисменты.

Мы вытащили немца и дали ему три пачки махорки за смелость. И после этого случая как-то даже подружились с пленными. Может быть, это произошло и потому, что все мы от угольной пыли одинаково походили на негров.

Я вспомнил свою юность и отправился дальше по набережной Лейтенанта Шмидта, думая о том, что лейтенант, очевидно, был из немцев и как все у нас с немцами перепуталось. Вот я скоро пойду в море на судне, построенном в ГДР. Оно сейчас зимует совсем недалеко от проруби, в которой я брал воду двадцать два года назад по вине немцев. А лейтенант Шмидт геройски погиб за нашу революцию и за то, чтобы на земле никогда не было войн. А вот стоит памятник первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну. И более странное сочетание — «Иван» и «Крузенштерн» — придумать трудно. Правда, адмирал не был немцем, он эстонец.

Адмирал стоял высоко надо мной, обхватив себя за локти. Снег украшал его эполеты. Он добро глядел на окна Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

Ваня Крузенштерн покинул это здание много-много лет назад, а теперь стоит здесь и не уйдет больше никогда.

Во времена моей юности среди курсантов бытовала история, связанная с адмиралом. Какой-то курсант познакомился на танцах с девушкой. И девушка, наверное, сра-

зу полюбила его, и они даже поцеловались где-нибудь за портьерой. И когда расставались, то девушка спросила, как можно найти его в училище, она хочет повидать его еще до следующей субботы, потому что семь дней — это ужасно длинный срок. А курсант был веселым парнем, и девушка, вероятно, нравилась ему меньше, нежели он ей. И он сказал:

— Приходи на проходную и спроси Ваню Крузенштерна. Меня все знают.

И она пришла уже в понедельник и спросила у дежурного мичмана Ваню Крузенштерна. Дежурный мичман взял ее за руку, вывел на набережную и показал на памятник:

— Иди к этому памятнику. Твой парень стоит сейчас там, — объяснил он.

И она пересекла набережную, ступая по мокрому асфальту своими единственными туфельками на каблуках, и все оглядывалась по сторонам, чтобы скорее увидеть Ваню. И наконец прочитала надпись на цоколе: «Первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну». Адмирал добро глядел мимо нее, и кортик неподвижно висел у его левого бедра.

Но какое дело девушкам в туфельках на каблучках до бронзовых адмиралов? Она заплакала и ушла, чтобы не возвращаться. Вот какую историю рассказывали в наше время про Ваню Крузенштерна.

Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. Вероятно, потому, что сразу вспоминаешь друзей своей юности. И в первую очередь уже погибших друзей.

Здесь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

Тот же влажный ленинградский ветер. Промозгло, серо. Тот же подтаивающий серый снег на граните. И купола собора, лишённые крестов и потому кургузые, незаконченные, тупые.

И так же точно, как теперь я выпил подогретого пива в маленьком ларечке недалеко от моста Лейтенанта Шмидта, закурил, засунул руки в карманы шинели и пошел по набережной к Горному институту, вдоль зимующих кораблей, вдоль якорных цепей, повисших на чугунных пушках. И ветер с залива влажной ватой лепил мне глаза и рот. И я думал о прописке, жилплощади и мечтал

когда-нибудь написать рассказ о чем-нибудь очень далеком от паспортисток и жактов.

И у памятника Ване Крузенштерну встретил Славу.

Он шагал по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишней раз наплевав на все правила ношения военно-морской формы. На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только черный или совершенно белый шарф. Из-за отворота шинели торчали «Алые паруса» Грина. А фуражка, оснащенная совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки.

Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. А Славка всегда хранил верность романтике и знал «Алые паруса» наизусть.

Славка прибыл к нам в военно-морское училище из танковых войск. Он попал в танковые войска из-за какой-то темной истории.

В шестнадцать лет Славка связался со шпаной. Это, наверное, были смелые ребята. И тем они пленили его. Кто из нас, шестнадцатилетних, не мечтал проверить свое мужество на чем угодно, если судьба помешала нам принять участие в боях?

Однажды Славку попросили постоять на углу и посмотреть, не идет ли милиционер. В воздухе пахло опасностью, и Славка не мог отказаться. А его друзья ограбили квартиру. Их поймали, и Славке грозила статья за соучастие. Он прибавил себе лет в метрике и добровольно ушел в армию, попал в танковые войска и стал механиком-водителем. От работы с фрикционными плечи у него раздались, обвисли, а руки стали железной хватки.

Служить в танковых войсках тяжело, особенно зимой. Но Слава нес свою службу без уныния. Все самое тяжкое забывалось, когда он чувствовал свою власть над мощной машиной, ее послушность, ее дерзость, ее желание рвануться в бой. И когда падали впереди дсревья и грохались на броню комья мерзлой земли, Слава бывал счастлив. Наверное, он здорово привык к тесному миру танка, потому что потом стал подводником.

Начальство всегда считало его разгильдяем. И, пожалуй, не без оснований. Все, что не было романтичным в его понимании, не могло его интересовать. В те уже далекие послевоенные времена казалось, что конец войны сразу должен означать начало чего-то прекрасного, легкого, све-

жего. Но началась «холодная война», воздух общественной жизни тяжелел. И мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственной отдушиной были книги Паустовского, его настроенческая проза, проникнутая грустной мечтой о красоте.

Мы были молоды, и многое путалось в наших головах. И в Славкиной тоже. Когда-то он мечтал стать кинорежиссером, прочитал уйму американских сценариев и рассказывал нам их. И ночами слушал джаз. Он владел приемником, как виртуоз скрипач смычком. Из самого дешевого приемника он умел извлекать голоса и музыку всего мира. Учился он паршиво. Но великолепно умел спать на лекциях. Великолепно умел ходить в самовольные отлучки. И ему дико везло при этом. Наверное, потому, что у Славки совершенно отсутствовал страх перед начальством и взысканиями.

Я не знаю другого человека из военных, которому было бы так наплевать на карьеру, как Славке.

Он учил меня прыжкам в воду. И мы однажды сиганули с центрального пролета моста Строителей и тем вывели из равновесия большой отряд водной и сухопутной милиции. Для меня это был последний такой прыжок. В те времена я увлекался гимнастикой и большую часть времени в перерывах между занятиями проводил головой вниз, отрабатывая стойку на кистях. Эта стойка меня и подвела. С большой высоты я врезался в воду чересчур прогнувшись, ударился глазами и чуть не поломал позвоночник.

А Славка повторил прыжок уже с Кировского моста. Он ухаживал за какой-то девицей, а она пренебрегала им. Тогда он вызвал ее на последнее роковое свидание и явился одетый легко — в бобочке и тапочках. И они зашагали через мост. На центральном пролете Слава мрачно спросил:

— Ты будешь моей?

— Нет, — сказала она.

— Прощай! — сказал Слава и сиганул через перила с высоты шестнадцати метров в Неву.

И тут девица заметалась между трамваями и автомобилями. А Слава выплыл где-то у Петропавловской крепости. Конечно, если б он не начитался предварительно американских сценариев, то не додумался бы до такого способа воздействия на женскую психику. Правда, девица в отместку за пережитый страх дала Славке по физиономии. И они расстались навсегда.

При всем при том Слава имел внешность совершенно невзрачную, был добродушен, и толстогуб, и сонлив. Но не уныл. Я никогда не видел его в плохом, удрученном состоянии. Он радостно любил жизнь и все то интересное, что встречал в ней. Его не беспокоили тройки на экзаменах по навигации и наряды вне очереди. Он выглядел философом натуральной школы и чистокровным язычником. Естественно, такие склонности, и запросы, и поведение не могли нравиться начальству. Больше того, его выгнали бы из училища давным-давно, не умей он быть великолепным Швейком. Его невзрачная, толстогубая физиономия напрочь не монтировалась с джазовыми ритмами, и самовольными отлучками, и любовью к выпивке.

И вот мы встретились с ним на набережной Лейтенанта Шмидта в середине пятидесятых годов.

— Ты бы хоть воротник опустил, — сказал я.

— У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, — сказал он.

Мы не виделись несколько лет. Я служил на Севере, а он на Балтике. Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. А он плавал на подводных лодках.

— Здорово! — сказал я.

— Здорово! — сказал он.

И мы пошли выпить. В те времена на углу Восьмой линии и набережной находилась маленькая забегаловка в подвале.

Я уговаривал его бросить подводные лодки. Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.

— Потерплю, — сказал Славка. — Я уже привык к лодкам. Я люблю их.

Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. И двое суток провёл на грунте, борясь за спасение корабля. Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх — у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. Там действительно собралось много начальства. И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. Шторм оборвал аварий-

ный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. Его подчиненные были впереди него. Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. Они погибли от отравления. Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника.

Книжка

Я остановился возле Горного института и в память Славки снял шапку, глядя на простор невского устья, на гигантские красные корпуса строящихся танкеров, на далекие краны порта.

Вечерело, снег все крутился в сером воздухе, звякали трамваи, и гомонили на ступеньках Горного института студенты.

Я устал от воспоминаний.

«Это дело тоже требует большого напряжения», — подумал я. И пошел к трамваю. Надо было ехать домой и готовиться к техминимуму, листать учебники по навигации и повторять «Правила предупреждения столкновения судов в море». Ничто так легко не забывается, как эти правила. Их приходится повторять всю жизнь,

СЕРЕДИНА ЖИЗНИ

1

Тридцать пять лет считается серединой жизни. Многие в этом возрасте попадают в кризис. Например, Данте в тридцать пять тоже затосковал:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Утратив правый путь, Данте сел и написал «Божественную комедию». Ему утрата правого пути помогла войти в бессмертие. А у меня «Божественная комедия» не получалась.

Мой первый рассказ был о детской любви, седом капитане и очаровательной художнице, которую я поместил

почему-то на Шпицбергене, хотя никогда там не был. Вероятно, я исходил из того, что Данте тоже не был в аду. Мурашки бегали по коже от восторга, когда я перечитывал свое сочинение. Оно характерно абсолютным отсутствием какой-либо мысли.

В литобъединении, где мы проходили свои университеты, существовал специальный литературоведческий термин: «писать животом», что означает писание без помощи головы. Я хорошо усвоил этот метод, потому что пользовался им с раннего детства, чисто интуитивно впитал его, никто в меня его не вколачивал. А то, что в тебя не вколачивают, почему-то впитывается особенно крепко.

Лет в тридцать меня потряс Довженко. Он сказал, что «писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику».

Не знаю, поднимался ли сам Довженко до таких вершин, но мне стало ясно, что писать надо бросить. Каким я могу быть политиком, если не знаю толком истории мира и своей собственной страны, не знаю многих знаменитых произведений литературы, не знаю иностранных языков и если на голову мою за сравнительно короткую жизнь свалилось вполне приличное количество всякой путаницы.

Но писать я не бросил, потому что обнаружил у Довженко эгоцентризм и выпячивание писательской профессии. По Довженко получается, что обыкновенный, не пишущий человек имеет право быть всю жизнь учеником или даже приказчиком.

«В том-то и дело,— успокоил я себя, подумав,— что у нас каждый должен быть политиком. Читатель зачастую знает о жизни не меньше писателя. А часто и больше. И политик он лучший, потому что бывает смелее. Разница между писателем и читателем сегодня только в том, что писателю бог дал способность или нахальство для писания, а читатель только читает».

Около года я продолжал спокойно работать над четырехтомной эпопеей.

И вдруг узнал, как поразился Томас Манн вопросом, который Чехов все задавал и задавал себе: «Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?»

Это поразило и меня. Я точно знал, что не могу ответить на важнейшие вопросы современности. Я в этом не сомневался.

Работа над эпопеей застопорилась.

Но потом я как бы опять прозрел: ведь если не мог ответить сам Чехов, то мне и подавно можно не отвечать. Томас Манн был согласен с моим заключением. Он писал: «Так уж повелось: забавляя рассказами погибающий мир, мы не можем дать ему и капли спасительной истины. И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни».

Я продолжал работу над эпопеей, стараясь показывать правду в веселом обличье. Сперва мне казалось, что это много легче, нежели отвечать на все важнейшие вопросы. Путь к правде давным-давно известен: надо быть искренним — вот и все. Смущало только, почему Толстой так ценил искренность в том же Чехове, например: «Он был искренним, а это великое достоинство: он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде!»

Значит, чтобы быть искренним и создать новые для всего мира формы, надо писать о том, что видишь и как видишь. А что и как вижу я?

Вот этот вопрос я и задал себе в тридцать пять лет. И попал некоторым образом в положение сороконожки, у которой спросили, с какой ноги она начинает прогулку.

Перечитав эпопею, я обнаружил, что все написанное писал не я, а черт знает кто. Быть может, тот, кого я из себя изображаю. Быть может, доктор-окулист, который еще в детстве прописал мне по ошибке очки от близорукости.

Я смутно понял, что стать самим собой так же трудно, как поехать на Невский проспект, вылезти у Казанского собора, раздеться в скверике донага и — мало того — в голом виде забраться на постамент к Барклаю де Толли.

Во-первых, холодно — простудишься и заболеешь воспалением легких. Во-вторых, опасно — прямо с Барклая де Толли тебя могут отправить в милицию или сумасшедший дом. В-третьих, все это окажется так некрасиво, что потом от стыда повесишься сам,

Живо представив себя на цоколе памятника Барклаю де Толли, я понял, что меня скорее всего элементарно побьют.

Эпопея рухнула. Город давил на мозг.

И я отправился в деревню, в те псковские святые места, куда наш брат писатель ездит в разные трудные моменты жизни. Приезжают выгуливаться после длительного служебного застолья. Или попробовать чудесных солений и варений старожилов этого края. В круглые и полукруглые литературные даты там устраивают поминки и даже парады, которыми командуют литературные генералы.

Приезжают сюда и за вдохновением, когда последнее угасло. Эти напоминают магомётанских женщин, молящихся у могилы святого о прекращении бесплодия.

2

Была зима, мороз, снега, ранний вечер, черный лес, белые березы и красное солнце за холмами.

Заиндевелые лошадки тащили сани, из саней падали на снег охапки зеленого сена. Накатанные санями колеи блистали под низким солнцем, как стальные рельсы.

Меня приютили две чудесные девушки. Они отдали мне одну комнату в маленьком деревенском домике на окраине. Только промерзшая почта и продуктовый синий ларек стояли рядом с домиком.

Глубокие снега рождали вокруг глубокую тишину. За домиком падал к речке обрыв. По обрыву росли ольхи и рябины, они стучали по ночам обледенелыми ветками. А за яблоневым садом виднелся старинный барский дом и строения усадьбы.

Мои хозяйки рано утром, еще в полной темноте, поднимались на работу. Они хохотали, споласкивая свои носы ледяной водой, и топали валенками, чтобы согреться, — к утру домик совершенно промерззал. Но девушки умели смеяться любому пустяку и смехом помогали себе и другим жить. Они баловали меня, сами приносили дрова из сарая, и становилось неудобно из-за этого. И когда морозные поленья с грохотом летели на пол возле печки, мы ругались. Я ругался, высунув из-под одеяла только кончик своего носа. А они ругались и хохотали, отряхивая со своих пальтишек щепки и цепкий снег. Потом они исчезали, кинув на птичью кормушку возле крыльца крошек или крупы. И когда синий рассвет начинал

пробиваться сквозь замерзшие стекла, я слышал через стенку домика стук птичьих носов по дну кормушки.

Я вылезал из-под одеял, дрожал, закуривал и топил печки. И когда с оконных стекол сползал лед, садился к столу. Все тот же лист торчал из машинки, и отчаянье захлестывало душу. Работа не шла, а тут еще надвигался очередной период безденежья.

«Мы все торопимся,— думал я.— Зачем? Правильно ли торопить время? Мы живем один раз, и надо помнить об этом. Разве успеешь понять себя, если все время торопишься? Размышления предполагают спокойствие. Надо тихо читать тихие и мудрые книги. Надо впитывать знания, быть может, тогда что-нибудь прояснится».

Я бросал машинку и брал «Жизнь в лесу» Генри Торо. И сразу он начинал меня злить. И я ловил себя на черной зависти к знаменитым людям. Предположим: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре» — это мудро, коротко, блистательно и вроде бы неопровержимо. Но неопровержимо только для среднего, обыкновенного человека. А сам Генри Торо мог сказать: «Стоит, черт возьми, ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре!» И опять это будет мудро, коротко, блистательно, бессмертно. Почему? Потому что это говорит известный человек. В его высказываниях так много мудрости, что она не просыплется и не прольется, даже если ее перевернуть вверх ногами. Или вот поговорка: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». А если сказать «За тремя зайцами погонишься — одного поймаешь» — попробуй опровергни такую пословицу, если она занесена в сборник как народная мудрость! Но если придумал ее я, то она равным счетом никакой ценности не имеет.

За окном начинался солнечный зимний деревенский день. Чистота небес и легкость инея на ветвях елей. И многоцветье зимних лиственных перелесков.

Все цвета радуги хранит в себе зимний лес, только все они чрезвычайно нежны — и слабая зелень ольховых стволов, и прозрачная малиновость кустов, и желтизна тополей, и припудренная снегом коричневость дубов.

Летом листва буйством своих красок затмевает красоту древесных стволов. И потом стволы деревьев плохо освещены летом. А зимой снег отражает лучи света, и они снизу до самого верха высвечивают деревья. Уди-

вительно многоцветны и нежны русские леса зимой, если к ним присмотреться.

И когда сидение за столом доводило меня до головной боли, когда пустота в душе делалась уже нестерпимой, я уходил на лыжах в лес.

Но беда в том, что моряки редко бывают чемпионами мира по слалому. Это теперь появились водяные лыжи. Когда я переживал спортивный возраст, на такие забавы не было бензина. И нормы ГТО по лыжам мы сдавали на городском кладбище, покуривая в сугробах между могил, и отсчитывали вслух время, потому что боялись прибыть на финиш раньше Джима Черная Пуля и удивить старшину-физрука. И он, и мы знали, что честно пробежать дистанцию может только Гешка по прозвищу Конспект.

Потому я и теперь плохо хожу на лыжах и падаю на могильных холмиках. А падать и бояться горок противно, даже если никто тебя не видит.

После каждого падения я ругался и понимал, что с эпопей дело швах.

Если принять определение творчества как стремление к истине, то вдохновение, на мой взгляд, это восторг и восторженная тревога от предчувствия своей близости к истине. И вот этой близости во мне не было и в помине.

Мои чудесные хозяйки знали, что я не притворяюсь, что я в тяжких мучениях. И они жарили на ужин великолепные котлеты, и читали прекрасные стихи, и даже приносили иногда промерзшую, в курчавых от инея бутылках, водку. И мы пили эту водку вечером, и нам становилось хорошо. Электричество гасло часов в десять, мы сидели при свечах и топили печки. Домик нагревался, чудесно было. Водка принимала на себя груз моей запутанности и тоски. И я уже верил, что утром работа пойдет. Наверное, совсем не следует пить водку, если у человека не получается писание...

Я прожил на Псковщине больше месяца, когда получил письмо от капитана дальнего плавания Клименченко. Он писал: «Виктор, до меня дошли слухи, что твоя литература дала задний ход и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на Север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одно из наших судов. На эту тему я уже говорил с нашим морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить «Правила предупреждения столкнове-

ния судов в море». Мои литературные дела пока тоже плохи — повесть обкорнали с двух концов. Жму твой плавник. Ю. Д.».

Я почувствовал его добрый большой плавник на своем плавнике, но не испытал оживления. «Хватит перегонов! — сказал я себе, как некогда сказал один мой герой. — Я уже стар для них. Хватит считать матросские кальсоны, и проверять свистки у спасательных жилетов, и писать бесконечные ведомости и акты. Если я пойду еще в море, то только в хороший, интересный рейс. И только на человеческом, настоящем судне, а не на речном кораблике в Арктику. Хватит Севера. Он уже стоит поперек глотки. И у меня пошаливает сердце. И давно пора для общего развития навестить какие-нибудь жаркие страны, а не остров Вайгач и остров Диксон. И потом, перегон ничем не поможет мне в писании, потому что я уже писал о перегонах, и еще двадцать человек писали, и это уже смертельно надоело всем на свете».

Но я был тронут пожатием доброго плавника.

— Лис! — сказали мне мои хозяйки. Они так называли меня за хитрую физиономию. — Киса! — сказали они, чтобы все это звучало веселее. — Брось, не уезжай! Уже скоро будет весна, и мы сделаем тебе салат из одуванчиков! Брось, Лис!

— Я суровый морской кот, а не киса, — сказал я. — И женщины не могут удержать меня возле своих юбок.

— Мы будем ходить в брюках! А ты простудишься в Ледовитом океане, и твоя мама умрет с горя, Лис! Хочешь чаю?

— Нет, не хочу.

— А пива хочешь?

Им было скучновато жить среди снежных полей и промерзших лесов уже много лет. И работа зимой у них была скучнее и тяжелее и гостей приезжало зимой меньше.

— У, Лис... путешественник! — сказали мои хозяйки. — Весной у нас всегда можно достать парного молока. Хочешь парного молока, Лис? — издевались они надо мной.

— Что вы знаете о море? — спросил я у них.

И рассказал несколько жутких историй об авариях, штормах и гибели судов от прямого попадания метеоритов. Я рассказывал на чистокровном морском жаргоне. Ох, сколько есть на море и всякой прозы, и скуки, и бу-

маги, и тоски. Но почему-то забываешь об этом на берегу. И, рассказывая, я уже понял, что пойду на перегон опять. Я решил, что если начну работать естественную человеческую работу, и нести ответственность за людей, и получать за это каждый месяц деньги, то, может быть, совесть моя облегчится, я потихоньку втянусь в судовые заботы, отдохну от литературы, отойду от нее вдаль.

МОСТЫ И РЕЧКИ

Темной июльской ночью мы снялись на Салехард от набережной Лейтенанта Шмидта, дали ход, включили ходовые огни и выключили стояночные. Наши якоря были готовы к немедленной отдаче, потому что впереди нас ждали мосты.

Мосты для сухопутных людей простая, как тарелка, вещь. А для судоводителя Кировский, например, мост — чрезвычайно коварная штука. Если идти в разводной пролет, течение кидает судно в разные стороны два раза. И береговой бык этого моста обшит здоровенными, лохматыми от ударов бортов, бревнами.

Мы не пошли в разводной пролет Кировского моста; мы, нарушая правила, устремились в центральный. И хотя предварительно был убран с рубки прожектор, срублены обе мачты и шлюпбалка рабочей шлюпки, было страшно идти полным ходом в стремительно приближающуюся низкую дыру пролета. Я стоял на крыше рубки, подняв над головой руку, и пытался определить на глаз — проскальзываем мы или нет. Это было довольно бессмысленное занятие. Идти надо было только полным ходом, иначе течение могло сыграть злую шутку. И предупреждающий крик ничего не мог значить.

Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. Пальцы коснулись несколько раз шершавого металла, гулко ухнули о быки поднятые судном волны — и мост остался позади.

Было два часа ночи. Со всех сторон двигались красные, зеленые и белые огни других судов. Разводка длится меньше часа. И все стремятся обогнать друг друга.

Ленинград летел по обоим бортам. Наш СТ тупым носом давил Неву, пересиливая ее течение. И уже надвигались ажурные конструкции Охтинского моста.

Как странно ощущаешь родной город, когда идешь вверх по Неве в глухой ночи. Я первый раз шел так не

пассажиром; стоял на крыше рубки, обвеваемый теплым летним ветром. И мне казалось, что этот ветер дует из прошлых веков.

Знаете состояние человека, который после обеденного компота все не может разгрызть абрикосовую косточку? Она вертится у него во рту, отвлекая внимание. А человеку надо делать серьезную работу. И вот он не может почему-то расстаться с косточкой, выплюнуть ее. Хотя и понимает, что главное сейчас — забыть о ней и заняться делом. Мне надо было помогать капитану, а в голове вертелись остатки школьных знаний по истории.

Мы проходили Большой Охтинский мост в неразводной левобережной части. Именно здесь была шведская крепость Ниеншанц. Вот здесь, где стоят теперь дежурные ночные трамваи, дожидаясь, когда мы пройдем мосты. А справа, где виден на набережной зеленый огонек такси, был шведский порт Сабина. Петр его разрушил и на его месте построил Смоляной двор. Теперь здесь Смольный, а раньше хранилась смола для всего Балтийского флота.

На траверзе Александро-Невской лавры мы разошлись с буксиром, который тащил две огромные баржи.

Там, где сейчас построен новый мост, по нашему правому борту, на топком берегу, среди хилых осин и кустов ивы Александр Невский дрался со шведами шестьсот лет назад. И трупы павших приняла вот эта, городская теперь, асфальтовая земля.

— Виктор Викторович, — сказал мне капитан Володя Малышев. При исполнении служебных обязанностей мы обращались друг к другу по имени-отчеству и на «вы». — Скоро подойдем к нефтебазе.

— Есть, — сказал я и выплюнул абрикосовую косточку, то есть занялся своим прямым делом: приказал дать воду в пожарную магистраль.

На траверзе Усть-Ижоры косточка опять попала мне в рот. Я вспомнил, что здесь удалой Гаврила Олексич с таким пылом преследовал мерзавца Биргера, что заехал к шведскому витязю на корабль верхом на своем боевом коне. Тут шведы сбросили Гаврилу в Неву, но он невредимым выплыл вместе с конем и сразу зарубил шведского воеводу Спиридона; Ладога и Новгород были спасены.

Такого количества шведов, как на берегах Невы, не было даже у Колдуэлла в рассказе «Полным-полно шведов». И подумать только, что теперь это самый миролю-

бивый и нейтральный народ! А сколько нервов они испортили новгородцам!

В Петрокрепости мы заночевали. Здесь я запомнил только два интересных момента. Один — когда какой-то подозрительный старик-provokator спросил у меня:

— Почему, сынок, Петр Великий только на двести лет дома строил?

— Чего? — переспросил я.

— То, что он построил, до сих пор целехонько стоит, а что в прошлом годе сгροхали, то сегодня уже облупляться начинает! — с укором сказал мне старик-provokator и ушел.

Действительно, петровские шлюзы и доки еще прилично выглядят. Построены они из гранита. А сам городок производит впечатление заштатное.

Второй интересный момент — уничтожение девиации по речному способу. Девиация — это довольно подлый угол между магнитным меридианом и осью компасной стрелки на судне. Именно этот угол привел детей капитана Гранта в пиковое положение. У нас не было Айртонa, но угол получался слишком большим, и его следовало уменьшить и определить. На море мне много раз приходилось этим заниматься, но такой способ уничтожения, как ныне в Петрокрепости, бывшем Шлиссельбурге, древнем Орешке, шведском Нотебурге, когда-то в просторечии Шлюшине, я узнал впервые.

Мы привязали нашу самоходку двумя стальными швартовыми к палу (в просторечии — столбу), а девиатор командовал: «Выводи на тот куст! Чуть левее! так держи!» Мы подрабатывали машинами и держали нос на куст. Девиатор делал свое дело быстро и точно, мы вертелись вокруг пала не больше получаса. После чего капитан угостил девиатора водкой, а я повесил над столом в ходовой рубке аккуратные таблицы девиации.

Ведя судно по штилевому и ласковому летнему Ладожскому озеру, я пересекал путь, по которому ехал на полуторке ранней весной сорок второго года. Полуторка шла по льду, знаменитой Дорогой Жизни. Поверх льда уже стояла вода, она плескала среди снежных, высоких обочин трассы. И холодный туман витал над трассой. И немцы стреляли по нас из минометов. И все, кто был в кузове, объединили свои одеяла и накрылись с голова-

ми, чтобы не замерзнуть. А шоферская дверца была открыта, чтобы водитель успел выскочить, если машина провалится в майну.

Все это я помню неточно. И не знаю, где то, что было, и где то, что потом придумалось.

Я помню, что высунул голову из-под одеял и видел снеговые четырехугольные укрытия от ветра, в которых прятались регулировщики. Это было как во «Взятии снежного городка» Сурикова. И помню, как навстречу шли одна за другой машины, груженные мясными тушами и мешками с мукой. И как стреляли зенитки. И как ушло на дно Ладоги несколько автобусов с детишками-сиротами. Они ехали впереди нас и провалились в дыру, оставшуюся после взрыва снаряда или бомбы. И помню огромные воздушные пузыри, которые поднимались из воды на том месте, где ушли под лед автобусы. И помню женщину, стоящую на коленях, увязшую в ледяной грязи на выезде с Ладоги на берег. Она была мертва.

А потом нам выдали по эвакуодостоверениям жирную гречневую кашу. И начался понос. И началась дорога к станции Тихорецкой, но только станцию взяли немцы, пока мы ехали к ней. И тогда эшелон завернули на Фрунзе...

Теперь мы вели свой СТ к устью реки Свири через Ладогу, ласковую, летнюю Ладогу. И береговые мысы нежно дрожали от рефракции. Чернели лодки рыбаков, и на отмелях шелестела осока. И мы несколько раз прокачали питьевую цистерну и приняли питьевой воды из-за борта, потому что нет воды чище и вкуснее, нежели ладожская. А те детишки-сироты, которые когда-то утонули здесь, давно уже стали этой водой.

На подходах к Свири я определился по трем маякам — Свирскому, Сторожно и Торпакову.

Маяк Сторожно находится на каменном мысу; где-то здесь прежде существовал Николаевский мужской монастырь, основанный еще в шестнадцатом веке преподобным Киприаном. Этот Киприан был пират. До принятия иночества он содержал на Сторожном мысу разбойничий притон, известный грабежами судов на Ладожском озере. Основатель знаменитой Ондрусовой пустыни Адриан провел с пиратом Киприаном большую морально-воспитательную работу, в результате которой пират раскаялся, стал на путь истины, принял иночество и на

месте разбойничьего притона устроил мужской монастырь.

Для современного исторического романиста такой сюжет — клад.

Обогнув Сторожный мыс, мы вошли в Свирь, и тишина лесной плавной реки зазвенела в наших ушах. На девятнадцатом километре Володя Малышев решил устраиваться на ночевку. Мы отдали кормовой якорь и всунулись носом в поросший ольхой островок. Серо-зеленые кроны деревьев закачались над полубаком. И сразу из леса вышел небольшого роста человек и стал возле самой воды у нас под форштевнем. Как будто он знал, что мы завернем сюда ночевать, и ждал нас. Он стоял и молчал все время, пока мы устанавливали сходню и заводили швартов на старый пенек.

Солнце садилось, его лучи косо просвечивали прибрежный лес, зудили комары, и тихо-тихо взбулькивала возле бортов свирская волна. Мы находились в той таинственной стране, которая когда-то называлась Ингерманландия. Это название совершенно невыносимо для детских языков. А я и сейчас не могу его произнести.

Житель Ингерманландии глядел на нас с любопытством и радостью. Он был горбун, в рвани, которую носят пастухи, из распахнутого ворота грязной рубахи торчали седые волосы, а из-под мудрого лба глядели голубые детские глаза. Ему было под пятьдесят. Он сразу сел прямо на землю, когда я слез по крутой сходне с борта нашего СТ. Конечно, он давно привык к бесконечному цугу самоходок, плывущих взад-вперед по Свири, но какая из них останавливалась здесь, возле болотистого острова, вдали от деревень и пристаней? Это только мы имели возможность ночью стоять, а не плыть. Мы были моряками, плохо знали реки, и нам разрешалось не топиться.

— Здравствуй, отец, — сказал я.

— Здравствуй, — отвечал он, сильно заикаясь.

И я, конечно, угостил его сигаретой «Яхта», и он, конечно, долго ее рассматривал, прежде чем закурить.

— Скот пасешь? — спросил я. И в погоне за литературным материалом не пожалел своих штанов, сел рядом на болотистую землю.

— Ага.

— Ты один здесь?

— П-по весне месяц один ж-жил.

— И скучно было?

Он пожал плечами и от смущения снял картуз. Его голова была в стружьях, волосы росли клочьями.

— Это же остров,— сказал я.— Как сюда скот переправляют?

— На каюках.

— А что это такое?

— В-вам встречу за катером каюк шел.

Наконец-то я узнал, откуда пришел в наш язык «каюк» — это нечто схожее с гробом.

— Молока здесь можно купить? — спросил я. Матросы жаловались на недостаточное питание.

— Н-не знаю.

— Как не знаешь?

— Н-не знаю... бригадира надо п-просить...

— А где бригадир?

— За т-той протокой! — махнул он рукой вверх по Свири.

— Как живете-то здесь?

— Хорошо, н-нормально... Сахара т-только нет.

В лесу замычала корова. Пастух встал, надел картуз, сказал:

— Быков б-берегитесь... Б-бодливые у нас быки! — и ушел к себе в Ингерманландию. Скучно ему стало от моих скучных вопросов.

Толстый старший механик, отбиваясь веткой ольхи от комаров, спустился на берег и сразу нашел дохлого лося. Дохлый лось лежал в круглой, укромной ямке. Стармех тыкал в лося веткой, шкура зверя отставала — он сдох давным-давно. Стармех мучился мыслью, что падаль нельзя употребить на мясо.

На другом берегу Свири дымил костерчик. Кто-то там варил уху.

По исцавканной коровьими копытами болотистой земле прыгали крохотные лягушонки.

И такая тишина, такая заброшенность, такой речной покой были вокруг, что, казалось, напряги слух — и услышишь, как молчат в лесах развалины монастырей и почивают в потайных пещерах святые мощи.

Дизель-динамо для экономии было вырублено. В каюте коптила керосиновая лампа. И запах горелого керосина еще больше обострял ощущение прошлой жизни этой тихой земли.

Странно, что именно здесь, на Свири, в Лодейном Поле, был построен шлюп «Мирный» — корабль самого дальнего русского плавания. С борта «Мирного» Михаил

Лазарев увидел берега Антарктиды, натянув тем самым нос Куку.

Строил шлюп корабельный мастер Колодкин. Длинной шлюп был в два раза короче нашей самоходки. Лазарев обошел на нем вокруг света в компании и под началом Фаддея Фаддеевича Беллингаузена. Их не испугали мрачные слова Кука: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы...»

Пятнадцатого января 1820 года шлюп, построенный на берегах тихой Свири, вышел к берегам Антарктиды. И Беллингаузен назвал один из открытых им островов именем Кука.

Крузенштерн мог гордиться своим учеником.

На месте Лазарева я бы назвал какой-нибудь остров и по имени корабельного мастера Колодкина.

«Почти для каждого человека корабль больше, чем какое-либо другое созданное им орудие, — это некое выражение далекого образа. Корабль — это воплощение мечты, и мечта эта настолько захватывает человека, что ни одну вещь на свете он не создает с такой чистотой помыслов... От чувств, которые он вкладывает в свой труд, зависит крепость шпангоутов, прочность киля и правильность выбора и крепления обшивки. В построение корабля человек вкладывает лучшее, что в нем есть, — множество бессознательных воспоминаний о труде своих предков... Корабль — вещь, не имеющая себе подобия в природе, кроме разве сухого листка, упавшего в поток».

Эти слова написал Стейнбек.

В Вознесенье мы получили приказ идти не на Повенец, а на Петрозаводск. Бывает плохо, когда начальство доверяет чересчур. Начальство доверяло Володе Малышеву. И он этого вполне заслуживал, потому что был из лучших капитанов, хотя и самым молодым.

Именно из-за этого нам и приказали идти на Петрозаводск и принимать там груз.

Груз оказался железом — частями старых речных колесных пароходов.

Остовы колесников, с обрезанными колесами, с заваренными наглухо иллюминаторами и дверями рубок, с заведенными брагами, покачивались в Петрозаводском порту, ожидая буксиров. Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки. А колеса, валы, части кожухов должны были следовать в наших трюмах. Начались погрузка и раскрепление громоздких, много-тонных махин — сложная и грязная работа. Мы занимались ею девять дней.

До сих пор не знаю, была мудрость в том, чтобы везти ржавое железо за тридевять морей, или нет. Неужели в Омске нельзя сделать кожух для колеса колесного парохода? Но нас не спрашивали. Нам нужно было так разместить груз и так его раскрепить, чтобы не потонуть где-нибудь в Баренцевом или Карском море.

Дорога от Петрозаводска была мне уже знакома — еще в пятьдесят пятом я проделал ее на маленьком рыболовном сейнере.

Беломоро-Балтийский канал одно из самых тоскливых мест на земле.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

В Двине предстояло ждать, пока с Дуная подойдут остальные суда перегонного каравана. Стоянка была бездеятельная, монотонная. Я коротал время, читая старинную книгу «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов Русского флота» и пытаюсь скомпилировать рассказ из выражений и фраз старорусской морской речи.

Кажется, за всю стоянку я только единожды без служебной надобности съездил на берег. На берегу купил бутылку вина, с десяток газет и журналов и расположился впитывать новейшую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова.

В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна — в запущенном, глухом уголке.

Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые от городской пыли. Кусты шиповника окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносился ляг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, и я спокойно

попивал вино и читал газеты, сидя на единственной скамейке, а по дорожке прыгали воробьи.

Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику.

Газетная бумага то светлела, то бледнела, потому что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. И я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом и было приятно читать под шум дождя, еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как дождь прошел, когда услышал мужской голос:

— Он укусил астру! Вы видите: он кусает красную астру! Берегитесь его, бродяги!

На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки.

— Большущий кот! — сказал мужчина воробьям. — Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам!

Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала.

Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь желтые листья куста.

Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота.

Кот попал в лужу и досадливо сморщился.

— Они провели тебя вокруг пальца, — сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка. — Они натянули тебе, сорванцу, нос...

Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую, мокрую траву газона.

Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, вытряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты. Потом закурил.

Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно ему. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складка на брюках совсем пропала от влаги, парусиновые туфли были в песке.

Я люблю отгадывать профессию человека по его виду, но здесь мне все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки.

Листва от дождя зазеленела весело. Облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула.

Шла женщина.

Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал:

— Там дальше тупик. Дальше некуда идти.

Но женщина сделала еще несколько шагов, выискивая что-то взглядом. Ей было лет двадцать пять. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще.

— Садитесь, — мужчина показал ей место рядом с собой. — Эта скамейка последняя осталась.

Женщина поколебалась.

— Я не ем человек, — сказал мужчина. — А если очень мешаю вам, то уйду.

Женщина села. Она ничего была в профиль, лучше, чем в фас.

— Нет, вы мне не мешаете, — сказала она, достала из сумки книгу и положила ее на колени.

— Этот белый сорванец опять спрятался за куст, — сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто он был давно знаком с этой женщиной, а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке.

Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверно, прохладно.

Мужчина стал скручивать папироску, но неудачно — кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук. — Черт! — добавил он после паузы. — Когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается. С годами.

Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщина несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа.

— Если залезть в траву, вот как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда? — вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее.

Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда.

Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой.

— Честное слово, я не хотел вам... помешать, что ли... Просто так славно все здесь после дождя...

Женщина перевернула страницу.

Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарябил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи.

Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой.

Она обернулась.

— У вас пуговица едва держится на обшлаге, — тихо сказал он. — На правом... Вы можете ее потерять.

Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу.

— Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин? — спросила она.

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус...

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает, «Нет, на Петроградскую». — «Ну ладно, — говорит шофер. — Садись, подвезу». — «Спасибо, я прогуляться хочу», — бормочет неудачник. «В такой дождь? Да ты в уме?!»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Изда-

ли виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, как прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего,— думает неудачник.— У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-те он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Промок из-за тебя, как... как... На коробок и иди..» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике — моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военноморском училище, была, естественно, лошадиная — Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстомер в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет, Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год.

Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу

пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь — с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор — председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса — генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее — учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину медицинского майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно недолго. Но не тут-то было! На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих.

Наш Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом

флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все — вся рота — дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому, но только у него это не получалось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас — салажню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

— Рыба, — сказал Альфонс. — Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

— Альфонс, тебе каши не хватает, что ли?

— И не только мне, Рыба, — сказал Альфонс.

— Кушай, — сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постукал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, «с натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы... опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер и мы еще схватили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на вы-

пускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда наконец поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы — это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий), и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огузали, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но в конце концов совесть загворила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

— Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

— Пейте, ребята, не обращайтесь внимания, — сказал Альфонс бодрым голосом. — А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

— Не говори глупостей, — сказал Пашка и подозвал официанта. — Еще пятьсот капель, папаша!

— Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! — сказал я.

— Да чепуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь внимания.

Но мы отставили рюмки.

— Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл близким перелетом своего флагмана... Понизили в звании... теперь на берегу служу, — скупое, но точно доложил Альфонс.

— Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! — сказал я.

— Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, — сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

— В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в plombированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать... вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился, — объяснил Альфонс.

— Обычное дело, — сказал Пашка. — Все флагманы почему-то удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребята.

— Ударим в бумеранг! — сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку.

— Сейчас я уйду, — сказал Альфонс. — А то у вас будут какие-нибудь неприятности.

— Перестань говорить глупости, — сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь — подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест; как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он нормально;

пальцы у него не короче ваших, а смотрит он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

— Альфонс, — тихо и несколько скорбно сказал Пашка, — сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

— Да, — согласился Бок. — Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама — прекрасное существо.

— Девочка — прелесть, — чмокнул губами Хобот.

Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято называть этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз — пачкуля!» Мне самому сейчас уже вполне порядочно, но каждый дворник или швейцар, запрещая что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парены!» И даже фетровая шляпа не помогает.

— Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, — сказал Альфонс. — Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько, и как и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него полочки и не гнала в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию мезидинского генерал-майора и одинокие малюсенькие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

— Брось, — сказал я. — Еще рано заваривать такую кашу...

Я, правда, знал, что если у человека всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь — перешибить судьбу чем-нибудь таким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один — судьба действительно переломится, второй — судьба с огромной силой добавит неудачнику по загревку.

— Подожди немножко, старая лошадь, — сказал я. — Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться.

— Как знаете, ребята, я для вас на все готов, — сказал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывали взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женственность?

Женственность — это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опушает, окружает ее и находится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркала.

— Ребята, — сказал Альфонс. — Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон. И я готов попробовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать.

— Папа! Папа! — воскликнула девушка.

Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам.

— Это он! Это уже за пределами реальности? Это ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от кото-

рой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу.

— Пора сниматься с якорей, — сказал Хобот. — Возможны пять суток простого ареста.

— Чепуха, — сказал я. — Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

— Альфонс, хочешь попробовать? — спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

— Да! — мрачно согласился Альфонс.

Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

— Иди и пригласи ее танцевать! — сказал Бок. Учтивая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый — когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами.

Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все теперь пойдет у него хорошо и гладко до самой смерти. Но мы ошиблись.

— Прошу расплатиться и всем следовать за мной, — предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты — там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку...

И вот мы с Альфонсом встретились в Архангельске, когда я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

— Тонут, тонут, все тонут... Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и... так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило... А третьего дня в Соломбале...

— Бабуся, остановись, — попросил я.

До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани.

— Не нравится? Бога бояться надо! — злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую сутулую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

— Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

— Так я и знала! — со злым торжеством сказала старуха.

— Альфонс! — позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел.

И мы куда-то пошли с ним от пристани.

— Ты где? — конечно, спросил он.

— На перегоне, — сказал я. — На Салехард самоходку веду.

— У Наянова? У перегонщиков?

— Да. А ты где?

— Здесь, в портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

— Слушай, — сказал я. — Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

— Батька уже маршал, — сказал Альфонс. — Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта — моя теща, жены моей мама.

— А кто жена-то? — спросил я.

— Вдова она была, — объяснил Альфонс. — Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

— Еще бы! — сказал я. — Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

— Ну, а кто же за ней смотреть будет? — удивился Альфонс. — Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай все-таки господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

поплыли

1

Девятнадцатого августа 1964 года в 08 часов 10 минут я записал в судовой журнал: «Получено разрешение капитана-наставника Ю. Д. Клименченко следовать на го-

родской рейд для получения продуктов»: Я сам просил его дать это разрешение. Но на борту не было капитана, и в последний момент я сдрейфил плыть в город. Я знал, что там надо будет соваться носом в грунт, а я не люблю делать такой маневр, не привык к нему.

И в то же время я знал, что через несколько часов нас должны отправить в рейс. Начальство уже приняло такое решение. Архангельск по всяким разным причинам больше не мог терпеть наш караван.

Но корешки для супа, масло и совершенно необходимая для Зои Степановны сметана еще не были получены. И Зоя Степановна, сдвинув очки на лоб и тиская руками фартук, говорила мне, что без сметаны в море не пойдет, пускай ее уволят, пускай ей в глаза соленой водой набрызгают, но она знает, что потом с нее же спросят, и т. д., и т. п.

Под напором Зои Степановны я приказал готовить машины и хотел сниматься с якоря, когда из утлой местной душегубки-лодки высадился на борт Володя Малышев.

Он сунул рубль архангельским мальчикам, которые привезли его с берега, и выслушал мой доклад: «Необходима сметана, караван выпихивают в Мурманский рукав, съемка ранним утром, есть «добро» самим идти на городской рейд. Что прикажете?»

— Снимайся, — спокойно сказал Володя. — А я штаны переодену.

Мы засунули нос в грунт почти в самом центре Архангельска.

— Чифа с берега спрашивают, — услышал я голос вахтенного. Учитывая то, что «чиф» — это старший помощник, пришлось насторожить уши.

— Кто? — спросил я в иллюминатор.

— Женщина. С чемоданчиком, — доложил вахтенный. Он был несколько навеселе. Но я сделал вид, что не замечаю этого. Смешно сердиться на матросов, когда до выхода в море остается несколько часов, а мы стоим носом в самую середину большого города Архангельска.

Я вышел на палубу и осторожно выглянул через фальшборт. Женщина с чемоданчиком, пришедшая неожиданно, пугает мужчину. А я не самый смелый из них.

Действительно, под нашим форштевнем на куче гравия ожидала довольно миловидная женщина с кожаным

чемоданом. Узкая доска, которую мы прихватили еще на судоремонтном заводе в Ленинграде и которая отлично служила экипажу для схода и возвращения на борт, когда мы втыкали нос в берег, стояла сейчас почти отвесно. Ни одна женщина на свете, кроме нашей Зои Степановны, не решилась бы лезть по такой сходне. Поэтому я почувствовал себя в безопасности и сказал:

— Я старший помощник.

— Капецкий? — обрадовалась женщина.

— Да, — сказал я. Только корреспонденты самых массовых органов информации умеют так перевернуть фамилии.

— Мне необходимо взять у вас интервью. Я радио.

Приятно поболтать с миловидной женщиной накануне ухода в море. Ей-богу, солгут те, кто скажет, что им безразлично такое развлечение. Так странно и приятно, когда в каюту входит женщина. А ты совершенно не готов к ее посещению. У тебя на грелке сушатся трусики, койка не прибрана. Под столом нагло зияет наклейкой бутылка. А в банке стоят засохшие полевые цветочки, которые ты собрал где-то на берегах Свири и по лености так и не удосужился выкинуть за борт.

Я провел женщину через соседний буксир — там более прилично стояла сходня.

— Товарищ Капецкий, — сказала она, — я читала все, что вы написали. Мы интересуемся тем рейсом, в который вы сейчас отправляетесь. Это прекрасно, что вы не теряете связь с жизнью. Мы будем воспитывать на вашем примере наших слушателей.

— Хотите выпить? — спросил я у нее.

— Вы так шутите?.. Я на работе.

Морякам было интересно узнать, кто моя гостыя и чем мы с ней занимаемся. Матросы один за другим совали носы в каюту и задавали идиотские вопросы.

Она открыла кожаный чемодан и обнажила великолепный магнитофон. Конечно, у нее что-то не завелось и не получилось. Я позвал механика. Минут через пятнадцать бобины завертелись.

— Мы уходим в суровые просторы, — сказал я в микрофон. — Впереди нас ждут испытания, но мы готовы к ним. Мы выполним задание нашей Родины. Нас идет тридцать два судна в караване. Поведет ледокол номер пять. Он приписан к Ленинградскому порту. Потом я надеюсь написать очерк о нашем плавании. Я подниму в очерке вопросы, связанные с вопросами оплаты труда

моряков-перегонщиков. Система оплаты слишком сложна, чтобы рядовой моряк мог в ней разобраться. Благодарю за внимание.

Она покрутила свою машину в обратную сторону, и я имел удовольствие выслушать собственную речь. Мой голос после длительной стоянки в Архангельске был почему-то хриплым.

— Счастливого плавания, товарищ Капецкий, — сказала она в микрофон. — Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море. — Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.

На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.

В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.

Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.

Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.

В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее — вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матер, мать, восходящего к индийской древности».

Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смы-

вает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.

Море соединяет континенты и людей, море — такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.

Я привык думать о море, как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведаёт мои намерения. Когда в детстве мама приучала меня верить в бога, мне также казалось, что он, бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие-то дерзкие и богохульные слова...

Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое двигается вслед, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.

Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».

В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.

Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.

Но старые моряки лгут.

Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.

Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».

Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.

Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду из каждой точки этого простора струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.

Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.

Суриков — северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густо-сизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.

— Ну, вот и поплыли, — сказал Володя Малышев. — Как мы поделим вахты?

Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегонщики не любят торопиться. Чем длиннее рейс — тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь протойшь несколько суток. В какой-нибудь хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.

— Мне все равно, когда стоять вахту, — сказал я. И мы бросили жребий.

Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра.

Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.

Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.

Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро — это покой и созерцательность. Вечер — нервное стремление к движению.

Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.

В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов...

Около четырех ночи — самое тоскливое время.

Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.

Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная тьма на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.

И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.

«Я лечу над морем совсем одна, — расскажет птица. — Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю — скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется

в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это...»

И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно заколышется на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изда Николаевского». «Кто он? — подумаешь ты. — Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защежит сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.

Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной — далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: Иевлева, Лермогорская... Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.

И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету... Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего корректора — не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.

Тишина рассеивается вместе с мраком.

Старший механик Александр Павлович Карев — пожилой, неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный — долго кряхтит и наконец говорит:

— Берешь кастрюлю. В нее — слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху — еще печеночки. И в духовку. — Механик чмокает, и у всех нас начинается выделяться слюна,

Есть хотят все. А больше всех — механик. Единственное, что он любит в жизни, — еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты и мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним...

Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.

— Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали и пирожки кок пек, — продолжает свою тему стармех.

Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.

— Смените пластинку, стармех, — миролюбиво говорю я.

— Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, — поддерживает меня рулевой матрос Рабов.

— А ты электрический уют у буфетчицы возьми, — совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. — Он тоже греет.

Александр Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.

Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:

— В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим — лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар — Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку отправили — в ресторан за апельсинами, А она апельсинны не ест...

Уже совсем светло.

Штиль.

Корабли каравана кажутся неподвижными. Пищит рация.

И вдруг я удивляюсь тому, что это я сижу на тумбе запасного штурвала перед открытым окном ходовой рубки на сухогрузном теплоходе № 760 и слушаю болтовню старика механика.

Почему меня опять куда-то несет по волнам?

2

Двадцать третьего августа 1964 года в два часа ночи я записал в судовой журнал следующее: «Ветер усилился до 5 баллов от норда. Высота волны 3—4 метра. Судно испытывает сильные удары о волну носовой частью днища. Крен на оба борта около 20°. Проверено крепление груза и крышек трюмов. Барашки стопорных механизмов периодически самоотдаются от вибрации».

Когда я лазал в кромешной тьме по трюмам, где скрипело, визжало, стонало, выло, гремело, мычало, выло, скулило ржавое железо; когда я боялся сорваться в какую-нибудь дыру и напороться на острый железный край; когда я проклинал эту погрузку в Петрозаводске и все эти старые речные пароходы, части которых мы тащили теперь через штормовое Баренцево море; когда от физического напряжения стало у меня побаливать сердце; когда удары волн оглушали долгим эхом в огромной гулкости трюмов, — я подумал о том, что, когда вырастет моряк, он начинает все осторожнее говорить о море и ветре, о мужестве и трусости, он все больше понимает мудрость молчания и осторожности. Он не торопится говорить, что море — это ерунда и человек господин природы. Он не говорит, что Черное море это малина и курорт, а вот Карское — очень плохо. Вырастая пишущий человек тоже не торопится говорить, что рассказ писать проще, чем роман, и что Лермонтов лучше Пушкина, а Маяковский чересчур социален и тем погубил свой талант.

Вот о чем я думал, вылезая из трюма, проверив крепление груза и проверяя стопора трюмных крышек. И эти стопора на один-два оборота поддавались усилию моих рук, а это значило, что стопора сами собой отдаются от вибрации. И это было нехорошо.

Мое родное Баренцево море шумело и плевало в физиономию мелкой холодной слюной. Я был зол на него.

Оно заставило меня лазать по темным трюмам, из-за него у меня побаливало в груди. И я тоже плюнул за борт.

Так вот, я вернулся в рубку, скользя на мокрых ступеньках трапа, вытер носовым платком руки и глаза, взял авторучку и записал те строки в судовой журнал.

А сейчас, когда я перепечатывал эти строки, я подумал о том, что нельзя сказать: «судно испытывает удары носовой частью днища». Если судно получает удар, то его получает все судно. Так же как боксер получает удар, а не челюсть с левой его стороны. И все-таки в свободном записывании чего-то, в непосредственной записи, в безграмотности ее зачастую бывает больше точности.

Наш СТ получал удары именно в носовую часть днища: все судно начинало изгибаться, как змея. Но это была стальная змея, она изгибалась резко, и быстро, и часто, и при каждом изгибе опять шлепалась днищем о встречную волну; и все это складывалось вместе, шло в резонанс и еще к тому же качалось с борта на борт по двадцать градусов. Ничего не было здесь чересчур страшного. Все было нормально. Я просто хочу объяснить вам ту физику, в которой находится человек, если он плывет по Баренцеву морю и пятибалльный ветер на речном судне.

Интересно, что поэт, который написал строчки про физику и лирику, рифмовал их. Если говорить честно, мне кажется, что поэты часто идут в стихотворении за теми неожиданными и странными даже мыслями, которые вызываются на свет божий именно самой рифмой. И только в случае полного, на 180 градусов, расхождения почувшейся мысли с главным мировоззрением поэта последний имеет силу отказаться от нее...

«И Дух Божий витал над пустынными водами».

Слова нашего языка витали над остывающей планетой, над кипящими океанами безмерно далекого прошлого. Слова ждали нас миллиарды лет. И мы наконец пришли, чтобы произнести их. Невидимые, они летают в глубинах галактик, уютно живут внутри нейтрино и мезонов. Они ждут нас за каждой гранью познания. Они тоскуют без нас, но мы никогда не сможем произнести их все, как никогда не сможем представить бесконечность времени.

Бред сумасшедшего полон какого-то своего смысла, только смысл этот недоступен нам, как недоступен он и самому сумасшедшему. Случайный набор слов вызывает вдруг напряжение интуиции, эмоций, мозга. Мы чувству-

ем, что бесконечное сочетание элементов мира должно отражаться в нашем языке таким же бесконечным рядом слов и сочетаний.

Поэзия имеет самое прямое отношение к физике. Поэзия — та влага в глазах, которая смывает пыль. Если влага не омывает глаз, мы слепнем. Поэзия соединяет то, что кажется несоединимым, освещает старые понятия с неожиданного ракурса. Даже хулиганя, поэт интуитивно чувствует за непонятной строкой смысл. Поэт не может доказать существование этого смысла. Он только чувствует его в ритме звуков, в путанице интонаций. Поэт знает, что нет бессмысленных словосочетаний, как ученый знает, что нелепые результаты эксперимента означают не нелепость природы, а ограниченность опыта...

Я приказал увеличить ход, включил прожектор на корму. И приказал рулевому подавать гудком туманные сигналы.

Идущие впереди суда исчезали в тумане, и все, хотя и записывали в журнал, что уменьшают ход, на самом деле прибавляли его: запись в журнале, если произойдет авария, поможет избежать суда — и только. А если увеличишь ход, то будешь видеть идущее впереди судно и, может быть, избежишь аварии. Что избрать?

Туман густел, соседние суда уже пропали в нем, от сырости першило в горле. Никто не разговаривал в рубке, и только боцман временами ругал немцев, которые сделали центральное лобовое стекло неподнимающимся. Туман оседал на стекле мутными каплями, и боцману плохо было видно. А снегоочиститель на стекле лопнул, и мы боялись долго гонять его, чтобы он, не дай бог, не разлетелся вдребезги.

Глаза болели от напряжения. Нервное дело — идти в густом тумане, особенно в караване, особенно ночью, особенно без радара, особенно в качку. Быстро теряешь юмор и превращаешься в брюзгу.

— Держать вразрез волны от переднего мателота! — приказал я.

— А какой великий выбирал себе путь протоптанней и легче? — спросил боцман. — Зачем держать вразрез, если чем труднее наша дорога, тем больше нам почета? Если бы фрицы, мать их...

Маленький боцман Гумунюк, по прозвищу Отросток, крыл немцев-кораблестроителей по всем статьям.

Ругался он виртуозно, по-боцмански. И был еще нечист на руку. В Лодейном Поле украл с новеньких комбайнов цепи с глаголь-гаками. Это были отличные, удобные цепи. Мы подвесили на них кранцы — автомобильные покрышки, чтобы не мять борта при бесчисленных швартовках в шлюзах Беломорского канала. И я даже похвалил тогда боцмана, ибо не знал, откуда он их стибрил. Потом боцман напугал нас гадюкой.

Теплоход всплывал из морской преисподней восемнадцатого шлюза к сияющим просторам летнего неба. И вдруг высоко над нами раздался женский крик и визг. Оказалось, что женщина чуть было не наступила на змею.

Наш Отросток разволновался, кинул на стенку брезентовые рукавицы с кожаными наладонниками и просил поймать для него гадюку.

И какой-то сердобольный остряк гадюку поймал и швырнул ее на палубу теплохода. Змея прямым ходом сунулась в пожарную магистраль, но боцман успел схватить ее за хвост, обрадовался и запрыгал по трюмам в индейском танце. Здесь старик механик напал на боцмана, отнял гадюку и пустил ее плавать за борт. Отросток расстроился так, будто получил повестку из военкомата.

— Зачем тебе змея? — спросил я.

— Я посадил бы ее в банку, кормил, изучал, — объяснил он.

Как ни странно, этот пройдоха и ворюга много читал. Я часто заставлял его с книгами знаменитых романтиков прошлого века. И как-то слышал боцманский рассказ о прочитанном в кругу матросов: «Французы на высоте романы сочиняют... Вот, например, у этой волосанки Франсуазы был хахаль Альфред. И вот она из-за любви лапти откинула — и с концами, в ящик. А граф передал ее письмо этому волосану барону. Барон — копыта в сторону и только через час очухался... Или вот «Дон-Жуан» у Байрона, между прочим — в порядке поэмка. Этот Дон тот еще волосан был, и все бабы у него на крюке были...»

Больше всего боцман боится военной службы. От нее он и удрал на перегон.

— Да ты, боцман, не переживай, — утешил его однажды механик. — Тебя в армию не возьмут.

— Почему так думаешь? — с надеждой спросил метровый Отросток.

— Точно знаю.

— Ну?

— Так ведь когда ты винтовку к плечу приложишь, так пальцем до спускового крючка не дотянешься,— объяснил механик.

3

На дневной вахте капитан обнаружил плавающую мину. Для идущих сзади судов — чтобы они обратили на эту мину внимание — мой капитан выпустил две красные ракеты. Никто, конечно, этих ракет не заметил.

— Это не была мина, Владимир Евгеньевич, — сказала я, принимая вахту.

— Я видел ее своими глазами, Виктор Викторович.

— Это была бочка из-под селедки, Владимир Евгеньевич, вы никогда не были военным и потому не знаете, что в...

— Это была нерпа, — сказал старший механик. — Я отлично видел.

— Это что-то не круглое, а четырехугольное, — сказал Рабов. — Зуб отдаю.

— Ясное дело — поплавок от сетей, — сказал второй механик.

— Это была плавающая мина! — заорал наш капитан и ушел из рубки, хлопнул внизу дверью.

Еще около часа мы грызлись на почве этого плавающего предмета. Потом я удалил лишние из рубки и включил радио. Передавали сообщение о переговорах по созданию объединенных ядерных сил НАТО. Меня чрезвычайно интересует создание этих сил. Ведь речь идет о морских делах.

Я не знаю, как там договорятся политики и дипломаты. Может, они и сунут длинный немецкий палец на ракетно-атомную кнопку. Меня интересует другая сторона вопроса: каким макаром там будут договариваться моряки. Уж их-то я знаю, моряков.

Почти каждый моряк убежден в том, что он хороший, стоящий моряк. И в этом все моряки мира одинаковы. И если за бортом мелькнул какой-то предмет с такой скоростью, что никакой человеческий глаз разглядеть ничего не мог, то здесь происходит то, что случилось у нас на дневной вахте. Ни один настоящий моряк никогда не повторит мнения своего коллеги. Каждый найдет именно свое, наиболее точное, абсолютно истинное объяснение мелькнувшему предмету.

Я представляю себе натовский ходовой мостик и немецкого, английского, турецкого, норвежского и американского штурманов с секстанами в руках. По свистку капитана в единый момент они вскидывают секстаны и прицеливаются на солнечный диск. Потом бросаются к таблицам и арифмометрам. И хоть на сотую мили, но у всех будут разниться результаты. Тут уж просто работает теория вероятности. Но ни один настоящий штурман в глубине своей морской души не согласится с другим. Разве может британский моряк смириться с тем, что немец или турок лучше него знает астрономию? Настоящий британский штурман скорее повесится на ноке реи. И то же самое сделает настоящий немецкий штурман на другом ноке той же реи. Или я ничего не понимаю в морских делах, или на следующей рее повиснет турок. И ничего с этими ребятами никакой политик и дипломат поделывать не смогут.

Между прочим, Ной был умен, как бес, когда набрал в ковчег слонов, обезьян и других зверей и не взял ни одного штурмана. Иначе в самый разгар потопа, когда над Араратом было два километра воды и голубь еще ни разу никуда не летал, этот ковчег обязательно бы нашел риф и распорол бы себе днище. И мы бы так и остались без зверей на веки вечные.

Но это еще только о «морской интуиции» и штурманском самолюбии. А каждое порядочное государство имеет на военном флоте свои святые традиции. Морская традиция — вещь чрезвычайно сложная, уходящая в глубь веков и до того уже на каждом флоте запутанная, что даже знатоки иногда чешут затылки не одну неделю. Святыни флагов, выпелов и торжественных салютов, церемонии прибытия и убытия адмиралов, сигналы побудок и способы мытья палубы — все эти вещи так усваиваются организмом настоящего моряка, что передаются по наследству.

Мне так хочется чем-нибудь помочь морякам с объединенных кораблей НАТО, что я посоветую им заняться историей моей родины. Ведь западным политикам и в голову не приходит, что волею небес в России два века назад уже существовали смешанные экипажи. И посмотрите, что из этого получилось.

Перенесемся в июль 1725 года на кронштадтский рейд, на эскадру генерал-адмирала графа Апраксина. Адмирал этот, по выражению профессора Ключевского, был самым сухопутным из всех возможных, однако большой

хлебосол. Российский флот, по выражению того же профессора, «донашивал гангутские паруса», а отличался от других флотов большим количеством адмиралов. Он и сейчас этим отличается — по традиции.

Итак, граф имел свой флаг на семидесятишестипушечном корабле «Святой Александр».

Независимо от флага генерал-адмирала, на эскадре развевались еще два адмиральских флага: вице-адмирала Вильстера на корабле «Леферм» и контр-адмирала Сандерса на корабле «Нептунус». Наконец, на корабле «Св. Александр» кроме его командира немца Лоренца сидел его капитан-командор англичанин Бредель. Британец должен был, согласно своему чину, командовать бригадой, то есть двумя-тремя кораблями, но их для него не хватило, и, таким образом, у «Св. Александра» оказалось на борту трое начальников: сам Апраксин — русский генерал-адмирал, англичанин капитан-командор Бредель и непосредственный командир корабля немец Лоренц.

Учитывая португальское происхождение контр-адмирала Сандерса и датское происхождение вице-адмирала Вильстера, вы видите, что я вас не обманул и у объединенных сил НАТО на самом деле уже были предшественники.

Все эти адмиралы и капитаны честно служили русскому флагу и старались изо всех сил, но эскадра, начав кампанию 14 мая, и к концу июля еще ни разу не смогла выйти с рейда на море и занималась пушечными экзерцициями в виду родных берегов.

На корабле «Св. Александр» положение было самым отчаянным. Ничто так не портит характер морского начальника, как присутствие на том же корабле еще других начальников. Капитан-командор Бредель, длинный и тощий британец, терпеть не мог командира корабля, толстого немца Лоренца. Из-за нехватки кораблей Бредель страдал комплексом неполноценности.

Вечером того дня, когда происходило дело, капитан-командор и несколько молодых русских офицеров — князь Белосельский, Барятинский и Одоевский — сидели за бизань-мачтой и ужинали, попивая портер — английское, весьма крепкое черное пиво особой варки.

Погода стояла отличная. Разговор, естественно, вращался вокруг разных морских традиций.

— Можно ли на кораблях британских женщину на борт заводить? — поинтересовался князь Одоевский, подливая капитан-командору портера.

— Только королеву! — торжественно отвечал англичанин.

И они дружно выпили за королеву.

— А разрешите ли вы, сударь, нашей сикиморе сие нарушение флотских традиций? — спросил князь Белосельский, подразумевая под «сикиморой» немца Лоренца. Он позволил себе такое выражение о своем командире, зная, что этим только доставит удовольствие капитан-командору.

— Никак того не разрешу! — сказал англичанин.

— А знаете ли вы, сэр, что Лоренц на берег за женой шлюпку послал? — спросил князь Одоевский.

— Нет, — отвечал британец, бледнея от одной мысли, что женщина может ступить на трап корабля.

— Да-а-а, — сказал князь Барятинский. — На море на океане, на острове Буяне, стоит бык печеный...

— ...с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь! — многозначительно закончил длинную фразу за приятеля князь Одоевский. Языки у всех уже изрядно заплетались. Англичанин, конечно, ничего в таком высказывании не понял, но уловил как бы некоторое сомнение в его решимости не допустить на борт супругу немца. На нашем языке: «слабó».

— Кто богу не грешен, царю не виноват, — на всякий случай сказал британец. — А фрау Лоренцеву на корабль не допущу!

— В слове джентльмена сомнений не имеем, — успокоил его князь Белосельский.

Все они знали, что по русскому уставу разрешалось привозить на борт законных жен, если корабль находился при гавани. Таким образом, эти молодые балбесы подготовили себе развлечение на вечер. Дружны они были еще с времен знаменитой школы Глюка — первого российского общеобразовательного заведения, которое князь Куракин определил как «Академию разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах».

Здесь должен еще заметить, что наличие трех начальников вместо одного, как правило, расстраивает нервы у всего экипажа, ибо матросы совершенно путаются, какой приказ и какого начальника надо выполнять в первую очередь. Офицерский же корпус нервы сохраняет в порядке, но разбалтывается сам, ибо поле для стравливания начальников и соблазн для всяких провокаций слишком велики.

Показалась шлюпка, в которой копошилось что-то

чрезвычайно пестрое, увитое лентами. А на палубе показался командир «Св. Александра» Лоренц, чтобы встретить свою супругу.

Британский капитан-командор сидел, всем своим невозмутимым видом выказывая главные качества подданных английской короны: хладнокровие и точность расчета. Он встал с места только тогда, когда жена Лоренца уже поднялась по трапу на палубу.

— На кораблях женщин иметь не положено, — процедил англичанин.

Но немец не был бы немцем, если б не знал регламентов назубок.

— По Морскому уставу, сэр, книге четвертой, главе первой, артикулу тридцать шестому, жен своих на рейде и реках иметь не запрещено, — доложил Лоренц.

Какой настоящий моряк не взъярится, если услышит из уст подчиненного упрек в незнании морских регламентов?

— Молчать! — заорал Бредель. — Кто на корабле «Сант-Александр» старший начальник? Я или ты? Прочь с корабля, каналья!

Но здесь Лоренцева жена, будучи женщиной русской, стерпеть не смогла.

— На кого ерыкаешь, басурман?! — спросила она. — Пустобрех несчастный, пустовраль, мздолюбец, пустоврака, пустоболт, хлыст, пустоплюй!

И никто не успел ее пресечь, потому что, вы сами знаете, когда офицерская жена открывает пальбу, то ведет ее со скоростью современного зенитного автомата.

Британец опешил. А немец страшно перепугался, воспользовался замешательством британца и потащил супругу в укрытие — к себе в каюту.

— Что ты наделал, дура! — говорил он ей на ходу. — В российском Морском уставе, главе четвертой-надесять, в артикуле сто шестом, напечатано: «Ежели кто против бранных слов боем или иным свойством отомщать будет, оный право свое на сатисфакцию тем потерял и, сверх того, с соперником своим вместе в наказании будет!» Из-за-тебя право на сатисфакцию я теряю; молчи, курица — не птица, баба — не человек!

Русские князья тихо корчилились за бизань-мачтой, но, когда капитан-командор вернулся к ним, они приняли вид почтительный и сочувствующий.

Бредель, вернувшись, как всякий мужчина, чтобы успокоить нервы, выпил вина и сказал, что, если б все про-

исходило на корабле Ее Величества, он бы знал, как поступить, и всадил бы пулю из пистолета в немца, прямо в толстый его, неспортивный живот.

На что молодой балбес князь Одоевский отвечивал:

— Сэр, пулю и дурак всадит, а вот позабавиться с супругой Лоренцевой вы имеете полное право, как вы есть на этом корабле старший.

— Так точно, сэр капитан-командор, — подтвердил князь Белосельский. — По нашего отечества варварским законам такое право вы полностью имеете...

И тем опять заронили в пьяную британскую голову вредную мысль.

Тем временем Лоренц с супругой взошли в каюту. Взволнованный Лоренц закурил трубку и сел на галерее, все повторяя, что курица — не птица, а баба — не человек. Супруга же его, которая от переживаний сильно разгорячилась, сняла с себя сразу тяжелые фижмы¹ и выплетала из волос ленту; и только шпильки, которыми был полон рот ее, мешали ей сказать супругу, что она о нем думала.

Бредель выпил еще и приказал караульным идти в каюту к Лоренцу и привести к нему супругу Лоренцеву, чтобы он, капитан-командор Бредель, с ней мог позабавиться. Приказ этот британец отдал громким голосом, и Лоренц слышал у себя на галерее каждое слово. Тут уж немец забыл про книгу пятую Устава, и про главу четвертую-надесять, и про артикул сто шестой. Не будучи в силах от волнения говорить по-русски, командир корабля «Св. Александр» Лоренц свесился с галереи и начал по-немецки упрекать англичанина:

— Ты сам женат, сударь, у тебя дочь взрослая. Гунсафт ты, если позорить честь честного русского офицера!

Немцы на русской службе часто забывали про то, что они немцы, а «гунсафт» по-немецки всего-навсего подлец, но англичанин по пьяному делу всего этого не понял, схватил шпагу и вызвал наверх караул. Поставив у дверей каюты Лоренца двух часовых, он объявил Лоренца и жену его арестованными.

— Я доброго отца дочь и доброго мужа жена, а ты бездельник! У тебя и кораблей-то в подчинении никаких нет! — закричала ему в ответ госпожа Лоренц и запустила сверху в капитан-командора яблоком.

¹ Фижма — юбка (см. Даля: «Индийский петух распустил фижмы»).

— Фалл ундер! — заорал по-голландски капитан-командор, что по-русски в дотошном переводе обозначает: «Берегись предмета, падающего сверху!» — и что с тех пор стало в виде «полундры» обозначать шум и бедлам, недостойные быть на борту корабля.

Бредель потерял всякое соображение о происходящем и бросился бежать в каюту Лоренца, размахивая пистолетом.

— Эк его сбुзыкало! — пробормотал князь Одоевский, несколько даже трезвея от накала страстей вокруг.

— Однако во флоте Ее Величества не зря бабам вход на корабли заказан, — поддержал приятеля князь Барятинский.

И они тянули еще по одной, ожидая развития событий. Ибо вмешиваться в отношения вышестоящих начальников ни один уважающий себя моряк никогда не позволит. Здесь главный морской шик — показать такой вид, будто ты ничего не видел и не слышал.

Призвав четырех русских гренадеров, англичанин ворвался в каюту Лоренца и приказал держать немца крепче, а госпожу Лоренц, которая была полуодета, приказал вышвырнуть в шлюпку и отвезти на берег. Ошеломленные русские гренадеры, видя рассвирепевшего английского капитан-командора, не слушали возражений командира корабля немца Лоренца, который, ссылаясь на главу третью Устава пятой книги, девяносто девятого артикула, из последних сил орал, что ежели офицер товарища своего дерзнет бить руками или тростью на корабле, то лишен будет чина и написан в матросы...

Капитан-командор уже ничего не слышал. И по всем правилам хорошего английского бокса всадил немцу под микитки. Жена же Лоренцева от русских гренадеров отбивалась стойко, тыча в мужицкие хари китовым усом, который тогда для распяливания фижм применялся.

— Любострастную тебе, бритт, болезнь! — еще успевала она приговаривать, отбиваясь от русских гренадеров. — Болезнь тебе, от плотских похотей происходящую, французскую, дурную, постыдную! Блудливый ты кот, а не военного того класса офицер!

Гренадеры — на что они и гренадеры — все-таки справились с супругой Лоренцевой и отволокли ее в шлюпку, а капитан-командор кидал за ней с борта ее фижмы и другие принадлежности женского туалета того времени.

Разбор дела между Бределем и Лоренцем был поручен Особой комиссии, состоящей — под председательством вице-адмирала датчанина Вильстера — из шаутбенахта португальца Сандерса и капитанов: француза Барша, немца Трезеля, испанца Вильбоа и шотландца Бенса. Комиссия определила назначить над Бределем форменный суд. Председателем суда был назначен итальянец Сиверс, ассессором — контр-адмирал немец Фангофт и аудитором, то есть делопроизводителем военного судопроизводства, — чиновник, русский человек, Зыбин.

Интернациональное это судилище, используя российские законы, никак не могло определить, в какую сторону — британскую или немецкую — склонить чашу весов, и потому заседания шли целый год. И наконец рассудили: «Написать капитан-командора Бределя в матросы на два месяца и выплатить из заслуженного его жалованья по окладу капитана Лоренца за шесть месяцев и отдать это Лоренцу с распискою. А с правого требовать по три копейки с полученного рубля. А что касается до оскорбления жены Лоренцевой словами Бределя, то, по нашему мнению, настоящее суду не подлежит».

Немец Лоренц с англичанина деньги получил, но отдать в русскую казну по три копейки с рубля, естественно, отказался, вышел в отставку и уехал к себе в неметчину, бросив супругу в России.

А теперь проследим за дальнейшими боевыми успехами эскадры.

И пусть расскажет о них сама наша матушка-императрица.

Вот что Екатерина Великая писала 8 июня 1765 года первому министру Панину после смотра Кронштадтской эскадры: «...У нас в изобилии и кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, как я подплывала к штандарту и корабли стали проходить, отдавая мне салюты, двое из них чуть не погибли по вине своих капитанов. Один попал кормою в снасти другого, и это, может быть, всего в ста туазах от моей яхты. Затем адмирал хотел, чтобы они держали линию, но ни один корабль не мог этого сделать. Наконец в пять часов пополудни подошли к берегу для бомбардировки предпологаемого города... До семи часов вечера стреляли ядрами и бомбами безрезультатно, и наконец мне это надоело... Я просила адмирала не упорствовать больше в том, чтобы сжечь остатки этого города, потому что, прежде чем стрелять, привязали предусмотрительно в разных местах

на берегу пороховые нити, которые не замедлили произвести должный эффект лучше, чем бомбы и ядра. Вот все, что мы видели в этом плавании. Надо признаться, что они больше похожи на флотилию, которая ежегодно выезжает из Голландии для ловли сельдей, чем на военный флот».

Кто хочет ознакомиться с подлинными материалами всего этого дела, может взять «Сборник морских статей и рассказов» — приложение к морской газете «Яхта» за ноябрь 1877 года и прочитать документы своими глазами.

4

Если вы думаете, что на следующей вахте мы не спорили о плавающей мине, то ошибаетесь. Все время, пока я принимал вахту у капитана, мы пытались убедить друг друга. И, конечно, не убедили.

Потом я опять слезал в трюм и увидел, что сварочные крепления железа в первом номере частью начинают отлетать. Ветер все жал от норд-веста. Качались мы до двадцати одного градуса на оба борта, и ходить по рубке было почти невозможно от резкой, рывками, этой качки. А я люблю ходить на вахте. Тогда быстрее проходит время.

После вахты я немного почитал «Праздник, который всегда с тобой». И, как всегда, с первых слов Хемингуэя у меня защемило душу. Когда открываешь настоящую книгу, начинаешь медленно погружаться в нее, то появляется томительное ожидание красоты, предчувствие той красоты, которая ждет тебя где-то впереди в жизни. И так веришь в то, что эта красота обязательно войдет в твою жизнь, что даже почему-то становится печально. И чувство благодарности к писателю пощипывает глаза.

Я болтался в своей койке где-то посередине Баренцева моря, тепло укрывшись одеялом поверх одежды (мы снимали только сапоги). Удобно горела над головой кожная лампочка.

У меня не было никаких забот, кроме заботы встать через шесть часов на вахту и отстоять ее честно. Моя совесть была более-менее покойна. Волна — я слышал это по звуку — становилась меньше.

Я читал о Париже и был полон предчувствием той красоты, которая еще обязательно ждет меня впереди. Хемингуэй грустил о своей первой жене. О первой жене часто грустят в старости. Интересно, как относятся к этой

грусти вторые жены? И хорошо и плохо быть второй женой большого писателя, и я думал о том, что только одну женщину мужчина берет с собою в могилу и в полет к звездам. И так, очевидно, положено от бога.

В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй много писал о еде. Он запомнил на всю жизнь, где, что и как они с первой женой ели. Он говорит, что голодал тогда. Сейчас многие на Западе подробно пишут о еде и питье и других плотских штуках. Я все-таки думаю, что они подробно пишут еду и питье не потому, что они голодали. Их голод — просто обжорство рядом с тем голодом, который знают в России. Хемингуэю даже не снился тот столярный клей, который мы ели в блокаду. А я как раз поэтому не люблю писать о еде. И совершенно не помню, где и что ем за день. А он точно запомнил то, что ел сорок лет назад в Париже. Дело тут не в голоде, а в том, что западные писатели через еду, вино и женщин хотят передать плотское ощущение жизни, ее материальность, плотность, вкус.

Читая «Праздник», я еще подумал, что Хемингуэй кое в чем начал повторяться. Только Толстой ни разу не повторился в своих художественных книгах из-за старости. Если он повторялся, так делал это вполне сознательно.

Хемингуэй был честным перед самим собой. Он не боялся плохого в себе, потому что всегда боролся против плохого в себе. И если он чего-нибудь не понимал, то спокойно говорил об этом. Потому так сильно любят его книги у нас сейчас. Конечно, он был немного анархистом, когда писал: «Я сам часто и с удовольствием не понимаю себя», но если убрать «с удовольствием», то какой честный человек не повторит этих слов за ним?

Его герои часто одиноки, хотя он и сказал, что человек не может один. Его герои могут одни. Наверное, это оттого, что сам он всю жизнь сражался один. А сам он есть в любом его герое. Он писал: «Настоящее писательское дело — одинокое дело... Писатель работает один... именно потому, что у нас в прошлом было столько великих творцов, современному писателю приходится идти далеко за те границы, за которыми уже никто не может ему помочь». И с ним вместе уходили в далекое одиночество его герои. Быть может, потому он и пустил себе пулю в лоб? Очень тяжело долго сражаться в одиночку, амортизация души должна быть огромной, усталость тоже.

Я прочитал страниц двадцать и уснул, очень какой-то просветленный от хороших предчувствий.

И вполне естественно, что мне приснился Хемингуэй.

Я был у него в гостях. Я сидел на диване, а он на стуле. И вокруг было очень много вещей. Он был добр со мной, ласков и жаловался на старость. Потом он встал и ходил по комнате, глядя на меня, говоря какие-то точные слова, разделенные длинными, медленными паузами.

А я знал, что он мертв, хотя и ходит по комнате, говорит со мной. И, как всегда, когда видишь во сне покойников, было странно и чуть жутко — и в то же время преувеличенно спокойно. Он чем-то напоминал мне отца.

Он ушел в другую комнату, легко занимаясь своими делами в моем присутствии, не тяготясь мною. А я стал смотреть на картину. Она висела передо мной. Голые ивы, изогнутые от долгих ветров, черные их стволы. И во сне, ожидая его возвращения, я думал о том, как хорошо бы попасть в такой ивовый лес с ним вместе. И как вкусно он приготовил бы колбасу в огне костра. Как он не торопился бы ее есть не поджарив. А я всегда тороплюсь и ем что попало и как попало. А он бы ее хорошо приготовил.

Я все ждал, когда он вернется, но тут пришел матрос Рабов и заорал в дверь: «Вам на вахту!»

Я вскочил и сразу ощутил обиду и сожаление о том, что не досмотрел сон, не дождался Хемингуэя, не попросился с ним. Был один час пятьдесят минут 24 августа. Я видел очень отчетливый сон, такой реальный, какие я редко вижу. И мне все время было обидно, пока я натягивал сапоги, ватник и фуражку. Потом я зашел в галльюн, думая о том, как не боялся писать о таких вещах, как галльюн, Хемингуэй, и поднялся в рубку.

Шторм перестал.

Воздух прояснил за то время, что я спал. И в нем очень ясно горели огни судов сзади и справа. И огни казались уже ненужными, потому что рассветало.

От горизонта до зенита полосу туч и полосы чистого неба чередовались. Темно-фиолетовые тучи лежали на самом горизонте. Над ними светилась ярко-оранжевая полоса рассветающего неба. Потом шел слой узких и четких, как стрелы, туч. Над ними — желтая полоса, блистающая холодным атласом. Еще выше — густой слой расстрепанных, сизых, беспорядочных облаков, в просветах между которыми нежно светилась голубизна.

По медленно качающейся воде бежали к судну жел-

тые и голубые блики, но эти блики не могли сделать воду светлой. Она была по-ночному густой и темной. Блики только скользили по ней, не просвечивая в глубину.

— По правому борту виден остров Матвеева, — сказал мне Малышев.

— Мигает? — спросил я про маяк на этом острове. Мы вторые сутки не имели определений.

— Нет. Просто торчит. Рикки-тикки-тави.

— С чего ты?

— Мы вспоминали сейчас, как звали эту мангусту, и я наконец вспомнил... Возьми пеленга на оконечности Матвеева или сделай крьюйс-пеленг по маяку.

— Есть, — сказал я. Мне хотелось, чтобы он меньше говорил и скорее ушел из рубки, оставил меня одного, чтобы дольше не рассеивалось то ощущение, которое оставил во мне сон, встреча с Хемингуэем.

— Флагман опять не выходил на связь, — сказал он. От пронзительного северного рассвета в рубке было холодно.

— Сходи вниз, там чай есть и каша, а я журнал запишу, — сказал Малышев. Как настоящий моряк, он никогда не торопился уходить с вахты, хотя время его и закончилось. Не следует показывать свою усталость и желание залезть в тепло койки.

Я спустился в кают-компанию, попил чаю и поел каши «сечка», все продолжая тревожно и радостно вспоминать свой сон. И вспомнил еще одну деталь — Хемингуэй угощал меня коньяком. Пожалуй, я первый раз пил спиртное во сне.

Было приятно сидеть за столом, который больше не качался. От качки, как ни привыкай к ней, все-таки устаешь.

Потом я принял вахту, взял пеленга на оконечности Матвеева и проложил их на карте.

Возле острова были отмечены шесть затонувших судов. Я представил, как они в тумане натыкались на скалы и гибли. Или наоборот, как они спешили к этому клочку суши, имея в трюмах пробоины. Как они успевали добраться к острову, и люди спускали вельботы, а корабли опускались на дно возле скал. Наверное, большинство судов погибло здесь во время войны. Я всегда думаю о погибших кораблях, когда вижу на карте значки, обозначающие их. Эти корабли кто-то когда-то победил. Или их победило море, или другие люди.

Раньше люди мало занимались философией побежденных. А теперь Экзюпери с его: «Побежденные долж-

ны молчать. Как семена». И Брехт с его: «Самое главное — научить людей правильно мыслить... Победенные должны помнить, что и после поражения растут и множатся противоречия, грозящие сегодняшнему победителю». Хемингуэй, тот всю жизнь только и занимался философией тех, кто побежден, но все равно победил. Сегодня все больше становится ясно, что нет побежденных и победителей в мире.

Море вокруг было такое же старое, темное и тяжелое, как герой моего сна. И волны были жилисты, как бицепсы старых боксеров. Но их удары были слабы, как удары старых боксеров. И можно было не лазить в трюм, чтобы проверять крепление груза.

ВАЙГАЧ

В девять часов утра 24 августа 1964 года наши суда втянулись в бухту Варнека на острове Вайгач и стали на якорь кабельтовых в трех от берега.

Стоянка обещала быть короткой. Флагман торопился изо всех сил. И моряки каравана спешили побывать на берегу, купить или выменять у ненцев из поселка медвежьей и оленьей шкуры, вяленого омуля или оленину.

В бухту Варнека редко заходят суда. Транспортам здесь нечего делать, они следуют мимо в пролив Югорский Шар или в Карские Ворота. Изредка забредет в бухту ледокол, подремлет на якоре в ожидании очередного каравана. Ведь за островом Вайгач начинается Арктика. Льды Карского моря зачастую закупоривают проливы. И вот ледоколы ждут караваны у порога Арктики.

Уже много веков тому назад вдоль берегов Вайгача пролегла дорога в Карское море русских и иностранных купцов. Особенно здесь было оживленно после основания в 1601 году на реке Таза в Обской губе укрепленного города Мангазея. Из Мангазеи возили шкурки соболя, лисы, белки. А в Мангазею — иностранные товары. Особенно отличалась Англия. Тобольские воеводы всполошились, стали писать жалобы и доносы, ибо терпели от иностранных хороших товаров убытки. Воеводы требовали запретить Северный морской путь для всех судов вообще. Мудрым указом царя Михаила Федоровича этот путь закрыли. В те времена указом, вероятно, можно было за-

крыть и Америку. Ослушникам грозило наказание батогами. А на Вайгаче поселили стражу из пятидесяти человек.

Эти пятьдесят человек были геройскими парнями. Они умудрились так хорошо нести свою службу, что уже через несколько лет Мангазея, где раньше собиралось до двух тысяч купцов в навигацию, пришла в полный упадок и даже исчезла с карт. Как эти ребята ловили корабли, следующие вдали от Вайгача, среди подвижных льдов, в штормы и туманы, мне непонятно. Как они без радиолокатора обнаруживали эти ладьи, как добирались до них и каким оружием задерживали, мне тоже совершенно непонятно. Одно мне ясно — это были отчаянные ребята.

С какой тоской глядели они на пустынные, мертвые берега острова, когда плыли в первый раз по мертвому морю. Как сложили они для себя избы-станки, как болели цингой, какие красные были у них глаза от огня и дыма ворваньего светильника. Как выла пурга за стенами изб. И как в эту пургу шатались они по мысам и выглядывали в море корабли-нарушители. И как, прыгая со льдины на льдину, выбрасывая из глоток клубы пара и фонтаны ругани, потрясая пищалями и алебардами, спотыкаясь и падая в полыньи, подбирались они к иностранной ладье и совали в нос кормщику царев указ. Крепкие это были солдатушки. Мир праху их! И сейчас-то жить на Вайгаче тяжело. И зимовщикам здесь платят столько же, сколько тем, кто зимует в Центральном полярном бассейне.

Мы пришли на Вайгач в разгар лета.

Был солнечный, со слабым ветерком день. В бухте Варнека вода лежала в зеркальной неподвижности. И черные скалы берегов отражались в ней. За скалами виднелась блеклая зелень тундры. И домишки ненецкого поселка, который так и называется — Бухта Варнека.

Я много раз бывал здесь, но матросы не были и просили меня пойти с ними на берег. Капитан разрешил, и я приказал спустить шлюпку.

Со мной пошли боцман, второй механик Калин и старпом соседнего судна Ваня, длинный, худощавый, юмористический мужчина, очень похожий на артиста Филиппова. Легкая шлюпка бесшумно скользила по спокойной воде. Вода была прозрачна и холодна. Видны были валуны и осколки скал на грунте.

Мы завели шлюпку в укромную бухточку, вытащили

ее далеко на гальку, боясь прилива, и поднялись на ближний тундровый горб. Про те холмы, которые есть в тундре, всегда почему-то трудно сказать именно «холм». Холм слово среднерусское или даже южнорусское. А здесь — горбы, плавные, переходящие один в другой недалеко от берегов моря. Затем сливающиеся в ровную, как стол, тундру. И в этой тундре много озер. Когда видишь тундру с самолета, кажется, что ее беспорядочно бомбили тысячи самолетов. И воронки заливала вода. И если есть солнце, то они все блестят под его низкими лучами.

На возвышенности, куда мы поднялись, чавкая сапогами по болоту, ветер был сильнее и холоднее. Он пошвистывал в камнях и редких травах. И посвист ветра только подчеркивал вечную тишину и пустынную этих мест. И сразу же мы увидели могилы.

Боже мой, куда ни занесет тебя судьба на Север, везде встречаешь могилы. И это не потому, что здесь умерло или погибло больше людей, чем в остальных краях земли. Нет, на русских полях и в горах Кавказа погибло людей в тысячи раз больше. Но там могилы не так заметны и не вызывают такого щемящего и сильного впечатления, как на Севере. Там взгляд останавливается на деревьях, домах и дорогах, там могилы прячутся в тени кладбищ. А здесь могилы видно издалека, и всегда тянет подойти к ним, узнать о прошлых людях, узнать их имена.

И бренность жизни, и вечность ее окружают северные могилы и бьют по сердцам.

В одинокой могиле, которая вознесена высоко над морем, есть величие человеческого мужества. На Севере, в ледяных пространствах, человек сильнее всего доказал, что он может победить даже одиночество.

Маленькое кладбище в бухте Варнека обнесено слабой загородкой. В центре его высится самодельный памятник двум летчикам, которые разбились здесь. Их имен нет на цементе памятника. Только подлинный самолетный винт чуть качается за оградкой кладбища, молча рассказывая об аварии. И только по старости металла можно определить, что погибли летчики много лет назад. Сам памятник сделан людьми для того, чтобы быть памятником, а винт и лыжи — истинные участники трагедии, потому они действуют сильнее памятника.

Высохшие стебли цветов лежат на могиле летчиков, прижатые от ветра голышом.

Дальше могила, в которую забит здоровенный кол,

и на этом колу висит спасательный круг. Краска с круга слезла, снег, дожди, ветер растрепали парусину обшивки, пробка высыпается из дыр. Пожалуй, не следует вешать спасательные круги на могилы моряков. Спасательный круг, который не спас, выглядит насмешкой.

Надпись:

При выполнении боевого задания
в проливе Ю. Шар
10 октября 1946 г.
скончался матрос
Л Ь В О В
Алексей Васильевич.
Спи, дорогой товарищ.
1927—1946 гг.

Ему было бы сегодня тридцать семь лет, этому доро-
гому товарищу Леше Львову.

И еще одна могила — стальная труба, воткнутая в зе-
млю, металлическая дощечка с выбитой точками — зуби-
лом — надписью:

Л Е Д Н Е В
Александр Иванович
19¹⁷/₁₀ 06 19³⁰/₇ 41
Ст. пом. кап-на
п/х «Правда»

Я вытащил записную книжку и записал эти имена.
Пусть их вспомнят люди.

Кроме посвиста ветра слышался еще голодный лай собак у окраины поселка. Псы сидели на цепях и беси-
лись от тоски в ожидании, когда выпадет первый снег и их запрягут в нарты. Псы вертелись вокруг кольев, к которым были прикреплены их цепи, и тянулись друг к другу, чтобы покусаться, подражаться, но цепи были рас-
считаны точно, и дотянуться друг до друга псам было невозможно. Мы постояли у могил, сняв шапки, слушая ветер и лай псов. Мы видели отсюда далеко. Ниже нас расстилалась вся бухта Варнека. И корабли нашего кара-
вана казались отсюда маленькими и слабыми. Видны были и противоположные берега бухты.

Огромное северное пространство окружало нас.

И Ваня все-таки не удержался, по русской богохуль-
ной привычке сказал, оглядываясь вокруг, тыча пальцем в кладбище:

— Мест еще много, а вид отсюда хороший.

Мы спустились вниз, и псы совсем с ума походили от желания сорваться с цепей и познакомиться с нами. И только один пес — вожак сидел совершенно неподвиж-

но, повернувшись к нам спиной и презирая нас изо всех собачьих способностей, и ни разу даже не повернул к нам башки, не говоря уже о том, что молчал как рыба.

Мы прошли мимо и возле первого домика встретились с ребятенком лет шести-семи. Мальчик это или девочка — понять было невозможно: ребяенок был одет в малицу. Он смотрел на нас безбоязненно, но немножко разыгрывая испуг и удивление. Он спрятался за ящик и как бы прикрывал этот ящик своим маленьким телом. Но ему было очень любопытно, и он все выглядывал из-за ящика, когда мы шли мимо. И раскосая рожица ребятенка была очень смешной, хотя болячки покрывали его губы и веки. Он был грязен, и ему было холодно в одной только малице, надетой прямо на голое тело.

И здесь я пожалел, что не взял у нашей буфетчицы Зои Степановны конфет. Я знал, что у нее есть конфеты, но не подумал о детишках на берегу.

— Эй; — сказал Ваня, — ты чего там прядешь?

И мы заглянули в ящик, который слабо оборонял от нас маленький ненец. В ящике были аккуратно расставлены пустые водочные бутылки, а среди этих бутылок сидел большущий — на полметра в высоту — полярный орел. Орел тихо шипел и гнутым страшным клювом рвал голубые оленьи внутренности и глотал их. Злобные глаза орла косили на нас желтыми зрачками.

Ребяенок испугался, что мы отнимем орла, схватил его, прижал к себе обеими руками и поволок от нас прямо в тундру. Орел был такого же роста, что и ребяенок, орел не доел свою еду и заорал гортанным злобным и жалобным клетотом, щелкая гнутым страшным клювом возле самых глаз ребятенка. Почему он не бил его клювом по голове, по лицу — непонятно. Орел жалобно клетотал и щелкал клювом, а маленький ненец волок его по тундре, мимо навсегда завязшего в мокрой почве трактора, мимо кучи ржавых консервных банок, мимо трупов собаки и деревянных жидких мостков.

Из дома вышел древний старик, весь высохший и потряскавшийся так, как трескается оленья шкура, если долго висит близко от огня.

— Здравствуй, отец, — сказал я.

— Здравствуй, здравствуй, — отвечал старик, щуря глаза на солнце.

Он стоял и смотрел мимо нас, в бухту, на суда каравана.

Второй механик открыл фотоаппарат, навел на стари-

ка. Старик сложил руки на груди и стал спокойно позировать.

— Как тебя звать, отец? — спросил я. — Мы тебе карточку пришлем.

— Гурий Павлович, — четко ответил старик.

— Я тебе, Гурий Павлович, обязательно карточку пришлю! — сказал наш второй механик. Он был добрый и искренний парень, и он искренне думал, что пришлет старику карточку из Ленинграда.

— Нет, не пришлешь, — сказал старик и ушел в дом.

А мы пошли фотографировать оленей. Олени стояли запряженные в нарты, четыре в ряд, и никого возле них не было, и они не были привязаны, наверно, они так стояли со вчерашнего дня, когда их хозяева приехали в поселок на свадьбу. Это были добрые и теплые звери.

Когда я хотел погладить одного по морде, он мотнул головой в сторону, и его рога ударились о рога соседа; тот сосед ударил рогами по рогам следующего. И рога тихо, костяно звякнули. А олени смотрели на нас большими грустными глазами, покорные и безропотные.

Мне всегда бывает жалко северных оленей. Они как будто с самого рождения знают о том, что им рано или поздно перережут глотку, сварят и съедят. Коровы не знают, овцы тоже не знают, и бараны не знают, а северные олени, кажется, всегда помнят об этом. И как бы заранее не возражают против такого конца — из уважения к людям.

Возле следующего дома стоял маленький олененок в цветастом ошейнике, привязанный к бревну. Рога олененка недавно спилили, кочерыжки замазали краской, из-под краски выступила и запеклась кровь. По молодости лет олененку дали мешок с травкой, и он жевал ее, когда я подошел к нему. Он сразу сунулся головой мне в руки. У него, наверно, саднили обпиленные рога, и они чесались, заживая. Я осторожно почесал между рогами, ему стало больно, и он отклонился, очень деликатно. И сразу опять просунулся головой мне в руки, когда я собрался уходить.

А людей на улице поселка не было. Два ряда домов казались неживыми, пустынными. Очевидно, после свадьбы все еще спали.

Дерево домов, столбов и мостков, как везде на Севере, было бело-серое, альбиносное. Цвет из дерева выбит стремительными ударами бесчисленных снежинок, дождями, ветром. И небо здесь к осени тоже выцветает,

И солнце бывает белесым даже на закате и восходе. И дерево — под стать ему. Это не оранжевый и лиловый цвет сосновых стволов, и не зеленоватый цвет ольховых бревен, и не желтые еловые доски. Здесь дерево цвета серой промокательной бумаги. На него грустно смотреть. Его привезли сюда из-за тридевяти земель, и оно тоскует по родине, все эти бревна, доски и столбы, которые где-то и когда-то кудрявились листвой и шелестели под ветром в лесах...

Я зашел в один из домов. Мне хотелось посмотреть, как живут там ненцы, привыкшие к чумам и кочевью.

В комнате прямо на стуле лежала недавно освежеванная оленья туша. Возле туши стоял белый эмалированный таз с оленьей кровью. Кровь была совсем свежая, она еще пузырилась. На стене висела акварельная копия шишкинской «Сосны». На подоконнике лежал толстый и растрепанный роман «Абай». И больше в первой комнате никого и ничего не было. А во второй комнате на полу постелены были шкуры. Под шкурами спала пожилая женщина и человек пять детишек. Дышалось здесь тяжело. Я тихо вышел.

Спутники мои куда-то пропали. Стая молоденьких щенков бросилась мне под ноги. Я переворачивал их вверх ногами и трепал по брюху. Не надо было этого мне делать. Щенки оказались так непривычны к людской ласке, что уже не отставали от меня. Они носились вокруг, переворачивались пузом вверх, лаяли, скулили и требовали ласки. Им ужасно хотелось игры. Они пришли в такой ажиотаж, что стали кусать друг друга за уши. А я не мог погладить и потискать всех.

У одного из щенков к ошейнику был привязан бубенчик. И по тому, что у него были ошейник и бубенчик, я понял, что когда-нибудь он будет вожаком. Честное слово, я сам понял это, когда сзади кто-то сказал:

— Вожакom будет.

Это сказала мне женщина, одетая по-европейски. Она была одета даже в туфлях, хотя по мокрому болоту ходить можно только в сапогах.

— А этот щен с бубенчиком был очень мускулистый, гладкий, довольный своей молодостью. И он знал, что сильнее и красивее других, но покамест не использовал по молодой глупости свои преимущества. Он еще был демократом в коллективе других щенков.

Если говорить честно, я хотел этого щенка украсть. У меня давно есть мечта — завести себе настоящую си-

бирскую лайку. Чтобы она жила со мной в Ленинграде, чтобы ей было жарко летом, чтобы она любила меня, была злой, но для меня доброй, чтобы она выла и плакала, если я умру вперед нее или куда-нибудь уеду от нее. И чтобы я так любил ее, что, если она умрет вперед меня, я тоже бы плакал. Это глупо все, но я в самом деле давно так мечтаю.

— Вожаком будет, — повторила женщина. И я понял, что не смогу украсть этого щенка с бубенчиком. Не хватит совести.

— Вы невеста? — спросил я.

— Нет, — засмеялась она. — Я только в гости приехала.

— Почему из бани дым идет? — спросил я.

— Вы здесь уже бывали? — спросила она меня в ответ.

— Да, — сказал я.

— По-моему, я вас уже видела.

— Вряд ли. Я здесь давно последний раз был. И вы здорово младше меня.

— Когда? — спросила она.

— В пятьдесят пятом я здесь отстаивался.

— С караваном?

— Да. Только я тогда на рыболовных судах шел.

— А все-таки я вас помню. Я вас где-то видела. Я в Хабарове интернат кончала. Я теперь учителем в Амдерме работать буду. Я вас точно помню. Вы мне какао пить давали.

— Какао? — переспросил я, чтобы выиграть время.

— Ага.

— Чертовщина, — сказал я, польщенный в то же время тем, что здесь, на краю земли, кто-то меня знает.

Мне пришлось когда-то идти отсюда, из бухты Варнека, в пролив Югорский Шар, в становище Хабарово, вообще без карты. Приказали мне идти на сейнере на полярную станцию, потому что считалось, что я лучше других капитанов в караване знаю эти места, Арктику. И я дошел нормально, но потом, как моряки говорят, обсох там, в Хабарове.

Я очень смутно помнил то свое приключение. Помнил только, что какой-то человек крутился на турнике возле полярной станции. И еще помнил двух девушек-медсестер из красного чума. Они пришли к нам на судно в гости, когда мы не могли сойти с обсушки, а нам било в корму тяжелым накатом. И я все пытался связаться по радиции

с флагманом каравана, но высокие каменные мысы не пропускали радиоволн, и никто мне не отвечал. И растерянность была ужасная — я тогда первый раз в жизни шел капитаном.

Я помнил, что девушки-медсестры были удивительно скромные, хорошие, настоящие подвижницы. Они поехали из родных своих вологодских и новгородских мест на Крайний Север, чтобы привить ненцам культуру и основы сегодняшней медицинской науки.

А когда они оказались у меня на судне, они прижимали свои длинные платья к коленкам, сидели, распаренные котлетами, и пили какао, и нам очень не хотелось уходить.

И еще один гость у меня тогда был на борту — мальчишка-ненец лет десяти. Он с нами вместе возился в прибое, когда мы заводили с кормы швартов на валун, чтобы судно не развернуло бортом к накату.

И вот оказалось, что тот мальчишка и стоящая теперь передо мною женщина — одно и то же существо.

— Вы мне какао давали, а я непривычная к нему была, не хотела. Мне больше чай нравился, — объяснила женщина. — Я вас хорошо запомнила. Вы мне книгу подарили. Рассказы Рабиндраната Тагора.

— Очень приятно теперь вас встретить, — сказал я. — Шкур оленьих у вас тут ни у кого нет?

— Есть, но невыделанные все, протухнут сразу. У нас то здесь холодно, а вы их домой не довезете.

Я увидел своих ребят, они возвращались к шлюпке.

— Ну, прощайте, будьте счастливы, — сказал я. — Может, и еще судьба сведет.

— Спокойного плавания! — пожелала она мне.

Матросы уже скрылись за береговым обрывом, и я шел по тундре совсем один. И вдруг увидел, как много вокруг цветов. И колокольчики, и пушица, и незабудки, и желтенькие какие-то. Очень нежные, прозрачные цветы в холодном воздухе на холодной, мокрой земле.

Громко кричали над бухтой чайки.

Жизнь была вокруг, много жизни.

Я шел мимо кучи оленьих костей и ржавых консервных банок и думал о грязных здешних ребятишках. Они грязны, но в этом то презрение к собственному телу, без которого не заставишь себя шагнуть навстречу смраду, вырывающемуся из медвежьей пасти. Им наплевать на лишаи. Пускай мальчишка мал ростом и грязен, но кто может сегодня похвастать тем, что его сын рос в обним-

ку с орлом, таскал орла по топкой тундре, прижав к груди, сердцем в сердце, слушал с рождения гортанный злобный и жалобный орлиный клекот?

Я только что видел старые могилы и все еще слышал собачий лай и посвист ветра в выветренном камне. И почему-то думалось о том, что нет на свете отдельно жизни и отдельно смерти, а есть что-то безнадежно перепутавшееся между собой, и что нет нужды и смысла разбираться во всем этом. А надо жить проще и не бояться смерти, как не бояться ее северные олени и ненцы.

Матросы уже спустили шлюпку, они замерзли и сильно навалились на весла.

Вода стала еще прозрачнее. И глубоко внизу видны были плавно извивающиеся водоросли.

ЛАБЫТНАНГИ—ЛЕНИНГРАД

1

Через две недели мы играли в преферанс в мрачном общем вагоне поезда, идущего от станции Лабытнанги в Сейду по тундре.

Нам не хотелось играть в карты и пить водку, потому что мы здорово устали, сдавая в Салехарде суда речникам. Всегда, когда сдаешь судно, что-нибудь в нем оказывается не в порядке и всегда чего-нибудь не хватает из имущества. У меня не хватило пары кирзовых сапог, которые стибрил коротышка-боцман (за что его побили матросы), двух весел к спасательной шлюпке, ключей от трюмов и еще двадцати — тридцати наименований.

И вот пишешь акты и проклинаешь приемщиков и какого-нибудь Ероху, у которого сам принимал с недостаточей, а потом отмечаешь с приемщиками, стараешься повсякому надуть их, и они в конце концов рвут акты, машут безнадежно рукой, и вы расстаетесь с ними без раздражения, но и без желания опять встретиться. И так торопишься после этого скорее уйти с борта, что даже забываешь попрощаться с судном.

А когда ты болтался в море и высагивал по рубке свою вахту, то был близок к судну и думал о том, как тяжело будет с ним расставаться. Твое судно переваливало очередную волну, кряхтя всеми своими сочленениями, ты любил его, невольно плечом подпирал стенку в рубке,

помогая ему перевалить волну, и даже говорил с ним. И без всякой сентиментальности при этом. Иногда казалось, что судно оборачивает к тебе свою длинную морду и косит на тебя взглядом так, как делает это добрая лошадь, когда ждет похвалы от всадника за искреннее усердие.

А когда акты уже подписаны, ты торопишься скорее уйти, чтобы приемщики, чего доброго, не обнаружили, что яйца, которые ты сдал в количестве двухсот штук, возможно, уже протухли. И еще ты торопишься на катер или машину, или на поезд, чтобы лишние сутки не валяться в залах ожидания на станции Лабитнанги, чтобы опередить других своих товарищей, перегонщиков, и первым достать билеты.

Ты хватаешь свой чемодан, дергаешь ящики в каютном столе, видишь в них только старые журналы, старую зубную щетку и старые, ненужные больше накладные. Ты вроде бы ничего не забыл. Но тут вдруг бросает на тебя с каютной переборки взгляд женщина, которая плыла с тобою рядом от самого Ленинграда, какая-нибудь Мерлин Монро. Ты торопливо отковыриваешь кнопки, суешь карточку в карман пальто и драпаешь к трапу.

Идет дождь. На душе погано. Ибо ты оставил каюту с мусором, неприбранную, и совестно еще и от этого. Трап стоит отвесно, очень скользко, рука занята чемоданом, ветер пронзает насквозь.

Всегда, когда летом уплываешь на Север, не верится, что там будет холодно, хотя ты уже двадцать раз испытал это на своей шкуре. И ты слезаешь по отвесному трапу на мокрую глину, чертыхаясь от холода. И уходишь, даже не оглянувшись на свое судно.

За пазухой у тебя много денег, впереди возвращение в отчий дом и период беззаботности. И хотя ты отлично знаешь, что деньги улетучатся очень скоро, а дома ждут тебя только неприятности, но удивительно легко забываешь об этом.

Только после сдачи судна можно так легко, без напряжения, забывать о плохом. Именно этим период после сдачи судна так обаятелен, я даже сказал бы — великолепен.

И еще он прекрасен тем, что ты долго не видел женщин, а на земле их вокруг навалом, и тревожное ожидание необыкновенной встречи переполняет тебя до самых ушей. И опять-таки отлично знаешь, что в купе окажется твоей попутчицей лейтенантская жена, бывшая официант-

ка из полковой столовой, с тремя детьми, но все равно ты полон ожиданием прекрасной встречи.

И вот, когда мы сели в общий вагон в Лабытнангах, чтобы доехать до Сейды (это шесть часов), а в Сейде пересесть на поезд Воркута — Москва, доехать до Вологды и в Вологде пересесть на поезд до Ленинграда, — мы встретили прекрасную женщину.

Общий вагон есть общий вагон. В нем полутемно и душно. А когда за окном вагона тянется мокрая тундра, то встретить прекрасную женщину можно только во сне. Но это случилось наяву.

Она проверяла у нас билеты.

Она глядела на нас темными, огромными глазами и ждала с протянутой рукой. А мы тянули резину с этими билетами, чтобы она ушла не сразу, чтобы она подольше смотрела на нас своими глазищами, чтобы она сердилась и еще больше темнела от этого своими глазищами; и мы спрашивали у нее всякую чепуху: давно ли она ездит, есть ли у нее муж, как она выбрала себе профессию. А я, например, от острого недостатка воображения, спросил, что означают звездочки на рукавах ее форменного железнодорожного кителя. У нее было по две маленькие симпатичные звездочки на каждом рукаве.

— То, что я главный ревизор, — сказала она, надменно и холодно глядя мне прямо в глаза.

— А если одна звездочка?

— Это начальник поезда, — сказала она с тем же выражением надменного терпения.

— Значит, вы старше начальника поезда?

— Да.

— Наш старпом — писатель, — сказал моторист Сергей Сергеевич.

— Напьются, а потом отвечай за вас, — сказала она и сделала дырки в наших билетах.

Ей-богу, я никогда не видел такого интересного лица. Таких загадочных, темных глаз, таких строгих, четких бровей, таких живых, вздрагивающих губ и такого тонкого, чистого овала всего лица.

Есть женщины красивые, но так сразу и ясно, что они дуры, или грубы, или развратны. А в этой была таинственность. И хотелось поверить ей себя навсегда и чтобы она поверила тебе себя. И сказала тебе когда-нибудь несколько ласковых слов, перестав быть официальным и главным ревизором поезда Лабытнанги — Сейда. И как ее занесло сюда, такую южную женщину?

— Вы очень красивая, — сказал я, принимая у нее обратно билеты.

Она ответила что-то вроде: «Не ваше дело», — и ушла.

И сразу, конечно, стало нам пусто и скучно. Никто даже не сказал ничего пошлого. Поговорили только о том, что нам выходить через три часа.

Скоро совсем стемнело, и за окном бежали по тундре ровные квадраты отблесков из вагонных окон. И даже столбов и проводов не было видно. Большинство наших заснуло. Покачивалась в бутылках недопитая водка, качали копчеными хвостами жирные муксуны — закуска. А я почему-то думал о том же, о чем думал весь рейс от Ленинграда до самого Салехарда. О том, что в моей башке совершенно не появляются какие-нибудь умные, новые мысли.

Я вытащил из чемодана книгу Т. А. Шумовского «Арабы и море», — книгу, полную мыслей и полную поэзии мысли. И читал старинные стихи под стук колес. Эти стихи написал поэт очень далеко от моей северной страны, на испанском языке. Он написал:

«Люблю тебя!» — она сказала.
«Ты лгунья!» — ей ответил я. —
Кого слепая страсть связала,
Того обманет ложь твоя.

Велит мне ум седой и строгий
Не верить слову твоему:
Отшельник дряхлый и убогий
Уже не нужен никому.

Мне показалось — ты сказала
Пустым признанием твоим:
«Свободный ветер я связала,
И он остался недвижим.

Огонь несет с собою холод,
Пылая, движется вода». —
Для шуток я уже немолод,
Я отшутился навсегда».

Я все повторял про себя последние строчки и смотрел в темень за окном. Поезд шел сквозь тундру, сквозь тундру. Где-то в этой холодной тьме провел многие годы Шумовский. Возможно, он укладывал на промерзший грунт те шпалы и рельсы, по которым сейчас шел наш поезд.

Раскидавшись, храпели на полках мои друзья.

Возможно, здесь Шумовский твердил про себя эти же строчки: «Огонь несет с собою холод, пылая, движется

вода». И видел лицо лукавой женщины, которая способна сказать такие слова. И, быть может, его мечта о такой женщине помогла ему выжить, а потом написать хорошие, умные книги.

Старинные стихи естественно и точно входят в его текст, в дебри арабистики. И автор так любит их, что сам переводит, не доверяя поэтам-переводчикам. И потому там попадаются слабые строки.

Я не ложился спать, потому что надеялся увидеть нашего ревизора. Ведь может же она пройти по вагонам еще раз. Я ждал ее и думал о том, как глупо все получается в моей жизни; что я одинок из-за того, что я однолюб; что небо, вероятно, никогда больше не пошлет мне любви. Я раскисал от тоски, и мне хотелось даже выдавить слезу, но она не выдавливалась. И тут, чтобы добить себя, я стал думать о том, что так никогда и не смогу стать профессиональным, настоящим писателем. Что я не умею читать хорошие книги и учиться по ним писать. Что я могу читать только как самый обыкновенный читатель и мне совершенно наплевать на то, кто и как развивает сюжет и строит композицию. Меня слишком увлекает хорошая книга, даже если я читаю ее в сотый раз. И вообще я никогда не был так счастлив в жизни, как бываю счастлив, открыв хорошую книгу или смотря прекрасную живопись. Такой полноты мироощущения, такого полного исчезания вопроса «Зачем живешь?» ничто другое не дает мне. И черт его знает, может, в этом и есть главный смысл искусства? Оно приобщает к самым глубоким тайнам мировой гармонии, снимает тоску беспредельности, которая с такой тупой силой иногда мешает жить.

И тут пришла она.

— Кто старший морской команды? — спросила она устало.

Вагон сильно качало. Всегда качает, когда шпалы кладут на вечную мерзлоту.

— Будем считать, что я.

— Сколько вас, морских, едет?

— Присядьте — качает сильно. Хотите выпить?

— Заткнитесь, — попросила она без злости, даже доверительно. Ей было лет двадцать пять, не больше. Она казалась такой хрупкой среди узлов, чемоданов и спящих матросов.

— На Азию смотрит Европа, — сказал я, потому что уже здорово окосел.

— Я спрашиваю: сколько человек в команде?

— Тринадцать.

— Сколько едет в Ленинград?

— Девять.

— В Москву?

— Три, и один в Архангельск.

— В Сейде идите в кассу со служебного входа. Я там буду ждать. Приказано прокомпостировать вам билеты без очереди.

По тому, как она крутила на пальце свои хитрые железнодорожные ключи, мне ясно было, что только служебный долг помогает ей разговаривать со мной спокойно.

— Спасибо. И не сердитесь. Ей-богу, мы хорошие ребята, — сказал я и посмотрел на своих ребят вокруг.

На соседней койке, положив седую голову на пакет с невыделанными оленьими шкурами, тяжело спал моторист Сергей Сергеевич, отставной лейтенант, разведчик, побывавший в Бухенвальде, — человек огромной порядочности, скромности, спокойствия.

Я вдруг обозлился. Иногда бывает полезно искренне обозлиться, чтобы привлечь к себе внимание женщины.

— Слушайте, Лена, Ольга, Инна или Аграфена, — сказал я. — Вы давайте-ка осторожнее на поворотах. Какое вам дело до того, что... На ваши деньги мы пьем? Вы, что ли, болтались с нами вместе от Архангельска до Салехарда?

И этот избитый прием сработал. Она почувствовала себя неудобно, сказала тихо:

— Меня Аня зовут, а не Аграфена, — и ушла.

А я все еще продолжал искренне на нее злиться. Я смотрел на Сергея Сергеевича и видел за морщинами его чисто промытого лица все то, что видели закрытые сейчас глаза нашего моториста. Сколько и чего они видели! Я все хотел точно вспомнить его рассказ о последней разведке, коротком бое и плене. Но я многое забыл. И я ругал себя за свою обычную и безграничную лень. Терпеть не могу что-нибудь записывать, а память начала, очевидно, слабеть. Раньше у меня была совершенно отчаянная память. И никогда я ничего не записывал. А теперь пришла пора записывать, но привычка полагаться на память осталась.

Я смотрел на спящего Сергея Сергеевича и уважал его седины, его морщины, его тяжелые рабочие руки, покойно лежащие на деревянной вагонной полке.

Когда я вижу, как в ночном трамвае дремлет рабочий

человек, сложив на ватных штанах усталые, грязные руки, мне всегда совестно бывает, что мои руки не такие. И мне всегда очень дорого бывает, если люди с такими руками относятся ко мне уважительно, и не считают меня чужим, и выполняют мой приказ без раздражения. А что поделаешь, если, в силу того что государство дало мне образование, пришлось много командовать. Я с двадцати трех лет принялся командовать. И должен сказать, что не зря за командирство платят деньги.

Я смотрел на Сергея Сергеевича и вспоминал, как в тяжелых, метровых снегах его взвод выходил из разведки. Как прижали их к реке, еще не замерзшей, черной, дымящейся паром. И Сергей Сергеевич приказал идти и плыть через реку, и приказал снять сапоги, и первый снял их.

Они перешли реку по броду, босые. И он приказал в лощинке развести костер, чтобы обсушиться, — мороз был двадцать градусов. И он знал, что немцы остались за рекой.

Они разложили костер и сунули в огонь свои черные ноги, когда с тыла пошли на них цепью немецкие автоматчики. И Сергей Сергеевич приказал бросать в огонь личные знаки и документы, а потом они еще постреляли немного в автоматчиков, но патроны у них кончились.

Потом их продержали в холодном сарае, без сапог, два дня и вывели, чтобы расстрелять. Построили и чего-то долго ждали.

— О чем вы тогда думали, Сергей Сергеевич? — спросил его я по идиотской писательской привычке.

Он курил, гладил себя по шее. У него не было воображения и была внутренняя честность. Он не мог соврать и придумать, а в то же время точно не помнил того, о чем он тогда думал. Но он вспомнил. Он сказал, тихо обрадовавшись тому, что вспомнил точно:

— Я думал, скорее бы, Виктор Викторович. Ноги ужасно болели. Уже никакого сознания от такой боли и не оставалось. Скорее бы, думаю, скорее стреляйте...

И тут прикатил какой-то русский — эсэсовец. Долго смотрел на пленных и приказал не стрелять, а отправить в лагерь. Так Сергей Сергеевич остался жить. Из плена он бежал.

В тяжелых, затяжных, оборонительных боях и в истерике любовой атаки Сергей Сергеевич показал свое мужество и чистоту своей души. Его уже никто — до самой смерти — не упрекнет в трусости.

А что делать тем, у кого нет такого оправдания?

Быть может, именно потому сегодняшняя молодежь дерзит больше, чем это следует? Дерзить — не самое легкое дело на этом свете. За дерзость кое-чем приходится рисковать...

Я все чаще вспоминаю офицеров, которые преподавали нам в училище. Какой чистой совести были эти люди.

Я помню капитана третьего ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнем. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город «гусьями», то есть двойками.

Черный, худощавый, желчный и очень талантливый. В прекрасно сидевшей на нем форме; с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть «аристократическими», хотя Хватов был так же далек от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели; тяжко больной язвой желудка; прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в пятидесяти метрах от немецких «тигров»; прыгавший через отмели на полных ходах вперед, когда сразу после «полного вперед» дается «полный назад» и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат, а иногда... не перекидывает...

Или преподаватель минного оружия, капитан второго ранга, фамилии которого не помню, весь дергающийся, девять раз подрывавшийся на минах и оставшийся жить, очень злой, часто несправедливый, мелочно-придирчиво требовательный. И его: «В минном деле, как нигде, вся загвоздка — в щеколде». Потом, когда уже на флоте мне пришлось столкнуться с минами, взрывпакетами и прочими штуками, я понял, как его придирчивость воспитывала в нас элементарную верность жизни.

И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вниматели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные.

Я опять отвлекся, но не корю себя. Если кто-нибудь ждал от этих записок сюжетных рассказов, он давно уже обманулся в своих ожиданиях.

Мой рейс закончился. Следовало подводить итоги. Но дорога еще продолжалась.

Не помню, кто из великих мира сего сказал, что Зевса

создал народ, а Фидий всего лишь воплотил Зевса в мраморе.

Я смотрел на спящих вокруг товарищей. И знал, что у одного из них возьму те смешные слова и присказки, которые прямо вываливаются из него. Другой подарит мне свою биографию. А третий не даст врать чересчур, потому что я буду совеститься перед ним. И все то, что я напишу в конце концов, отдали мне те люди, с которыми судьба сводила меня.

До Сейды оставалось полтора часа, и спать не было смысла. И я опять листал книгу Шумовского, выискивая кусочки стихов. По-моему, нельзя читать стихи в большом количестве. Я люблю отдельные, самые хорошие строчки, которые попадают в виде цитат среди книг прозы. Они укладываются в мозг и в душе навсегда.

Я читал:

Пускай там дерутся слепые
Цари за кусочки земли,
Мы наших владений границей
Безбрежность морей обвели!

2

От поезда Воркута — Москва уже сильно пахнет цивилизацией. Здесь есть купированные вагоны и рестораны. И в отблесках света за окном уже видны стали березки. Но нам было не до них — мы рухнули в чистые простыни и уснули.

...Аня сидела у меня в ногах и трясла за плечо, когда я наконец проснулся. Шел третий час ночи. И первое, что я подумал, было — не набедокурили ли матросы?

— Вы ко мне хорошо относитесь? — спросила она, убедившись, что я проснулся. Она была вся синяя от ночного света, берет держала в руках, волосы ее растрепались.

— Что надо делать?

— Вставляйте и возьмите кого-нибудь из друзей. Мне тут не справиться одной... Такая история! Пожалуйста!

Я поднял Бориса Киселева, и мы оделись. Она ждала в коридоре. Борису я сказал:

— Похоже, пахнет уголовщиной. Нужны понятия. Он не стал ничего уточнять. Мы закурили и вышли из купе.

— Надо обыскать состав, — сказала Аня.

— Откуда начнем? — спросил Борис так, как будто он

с самого детства занимался такими делами, и зевнул в кулак.

— Объясните все-таки, что происходит? — попросил я.

Поезд гремел во тьме между Воркутой и Котласом. Казалось, поезд все время летит под уклон. Так мы куда-то торопились.

— Пропали бригадир и проводница из четвертого вагона.

— Начнем с хвоста, — почему-то решил Борис. Было видно, что он совершенно невыносимо хочет спать.

— А куда мог пропасть бригадир? — спросил я.

— Он скрывается от меня.

— Минуточку! — сказал Борис, нырнул в купе и вынырнул с яблоком. — Подкрепитесь, главный ревизор.

Она машинально взяла яблоко и пошла по вагону.

Качаясь на переходных площадках, оглушенный гулом колес, ветром и хлопаньем дверей, я орал в ее маленькое ухо деловые вопросы:

— Почему он скрывается?

— Он... спал с проводницей. Я их накрыла.

— Это... очень большое преступление?

— В служебное время! — воскликнула она —. И это еще не все!

Я пожал плечами. Черт его знает. Если штурман на вахте будет развлекаться с поварихой, судно далеко не уплывет. Только очень уж не женское дело заниматься такими расследованиями.

Мы миновали общий вагон, ныряя под голые сонные пятки, торчащие с полок, и оказались в хвостовом вагоне. Здесь я взял ее за локоть и попросил объяснить суть до конца.

— Он был с одной, а, когда я акт составляла, сказал мне фамилию другой... Я же их всех в лицо знать не могу... И я в акт вписала другую фамилию, невинную... Акт в Москву придет, эту другую вызовут, позорить начнут, а она женщина больная, порядочная... Вот он какой подлец, понимаете? Он прячется; мне в Котласе сходить, а без него акт переписать нельзя... И девушка прячется — та, настоящая... Молоденькая, студентка, кажется, подрабатывает на практике проводницей... А он старый, два раза женатый, трем детям алименты платит... Поймать его надо до остановки, а то сойдет, отстанет и потом скрым в Вологде догонит, а меня уже не будет... — Ей-богу, Аня чуть не плакала.

И мы пошли обратно по вагонам, опрашивая провод-

ниц и проводников, но все говорили, что вообще не видели бригадира. И когда мы проходили наш вагон, то Борис исчез. Детектив не увлек его.

Двери вагона-ресторана на стук не открывали очень долго. Наконец появился парень лет двадцати в белой куртке. Он с большой неохотой и наглой неторопливостью отпер двери, и мы прошли в ресторан.

На сдвинутых стульях, посередине салона, спал пьяный пожилой мужчина.

Качались шторы, позвякивали бутылки в ящиках. Замусоренный пол и грязные скатерти были беспощадно освещены ярким электрическим светом.

Еще один парень в белой куртке и с перебитым носом появился откуда-то. Аня приказала ему открыть кухню.

— Покажите ваш спецдопуск, — ласково попросил парень.

Аня энергично отпихнула кривоносого и открыла дверь в кухню своим ключом. Парни поглядели на меня и отошли в сторону. Я поблагодарил бога за то, что не надел флотской фуражки. Сейчас они принимали меня за оперуполномоченного. Я курил и делал непроницаемый, зловещий, профессиональный вид. Пока это помогало.

— Ага! — сказала Аня. — Хорошенькое дело! На кухне! Ночью! Посторонние! А потом людей заразой кормят!.. Вылезай.

На кухне за баком-кипятильником пряталась бледная девушка в красном пальто и красной фетровой шапочке с бантиком и брошкой. Она не подняла глаз на нас, стояла, прижавшись к стене спиной, и глядела под ноги.

— Вылезай! — опять приказала Аня. Совсем она была сейчас беспощадная. А мне почему-то было неудобно и стыдно.

— Не выйду, — одними губами сказала девушка и сунула руки в карманы красного пальто.

— Еще как выйдешь, голубушка! — сказала Аня.

И девушка двинулась из кухни вызывающей женской походкой, виляя бедрами и не вынимая рук из карманов.

— Со стариком спала — не стыдно было, а теперь глаза тупишь, — сказала Аня, этими словами как бы стараясь поддержать в себе необходимую беспощадность.

Я открыл дверь из ресторана перед девушкой.

— Я с бригадиром не спала, я только рядом лежала, — медленно и угрюмо и как-то задумчиво сказала обвиняемая, проходя мимо.

— То-то они полчаса купе не открывали, — сказала Аня уже для меня.

— Я одетая была, вы сами видели, — сказала девушка и остановилась в тамбуре, оглянулась в еще не захлопнувшиеся двери ресторана. И я заметил, что парни и она успели обменяться каким-то значительным взглядом. «Не здесь ли и бригадир?» — подумалось мне.

— Я вас попрошу с ней побыть, — сказала Аня. — А я за милиционером схожу. Он на этом перегоне подсесть должен. Теперь еще и с рестораном разбираться придется.

— Хорошо, — сказал я. — Побуду, — мне все-таки хотелось узнать, чем все это кончится.

Аня ушла; я остался с девушкой в красном пальто среди шума вагонного тамбура.

Она опять прислонилась спиной к стене и все не вынимала рук из карманов. И в этой позе было презрение и презрительное терпение. Она молчала непроницаемо и, по-моему, без большого напряжения.

Поезд сбавил ход, мелькнули и пропали за окном двери огоньки стрелок, громыкнули колеса на стыках. И опять увлекающе загудел паровоз, наращивая свой бег в глухой северной ночи.

Минута тянулась за минутой, я не выдержал паузы, спросил:

— Где бригадир?

— Не знаю.

— Знаете.

— Докажите, — сказала она лениво и нахально.

Она также принимала меня за определенного сотрудника. И она, кажется, уже имела опыт разговора с ними. Имеющие такой опыт не торопятся отвечать. И еще было в ней что-то такое, что тревожило меня. «Чего я-то связался? — думал я. — На кой черт это нужно? Воюю ~~зюка~~ что с двадцатилетней девчонкой...»

Бывают такие странные девицы, они годами поступают в жизни совершенно импульсивно и, когда вдруг грянет гром, с огромным изумлением оглядываются вокруг. Где они? Куда занесла их судьба? И как теперь отсюда выйти? И ужас залезает им в души, ибо ранее инстинкт до такой степени превосходил в них разум, что и жили-то

они, как бы совершенно не осознавая окружающего. И вдруг проснулись в кровати старика и к вечеру, проглотив пакетик люминала, спят уже в больнице, а к следующему утру лежат в морге. Такие обычно плохо учатся, и подруг у них мало, и они до смерти любят сладкое, рано физически зреют и производят впечатление очень спокойных, устойчивых в психическом смысле девушек. Они могут совершить геройский подвиг — спасти из пожара ребенка, например. И не заметить этого подвига. Удивленно глядеть на тех, кто хвалит за него. И вдруг понять совершенное ими же недавно в огне, заново пережить страх и заболеть от него. Я стал думать, что эта девушка такая, что ее обманул бригадир, посулил интересное путешествие, развлечение, посадил на ступеньку вагона, и она поехала, даже не позвонив в свое общежитие по телефону...

Вернулась наконец Аня с милиционером — добродушным, огромным украинцем. И все мы прошли в служебное купе. Было четыре часа двадцать минут ночи по местному времени.

Девушку усадили к окну, и милиционер задал ей несколько вопросов: из какого она вагона, давно ли ездит с бригадой, откуда сама?

Она молчала и глядела в потолок.

Милиционер совсем не сердился. Он-то знал, что все на свете суета и все, что надо, девушка рано или поздно скажет.

Тут ворвалась в купе старая, страшная неврастеничка проводница. Она кошкой метнулась к девушке и успела вцепиться той в волосы. Мы с милиционером ухватили проводницу за руки, но разжали их не сразу.

По изможденному лицу проводницы текли слезы злобы. Она вырывалась, кусалась и причитала. Именно ее бригадир выдал за свою ночную спутницу, и ей грозил срам и позор по прибытии в Москву. Я не мог не подумать о том, что исчезнувший бригадир не лишен юмора. Он мог легко доказать невозможность своего грехопадения с проводницей, фамилию которой он вписал в акт, — она была невинна уже много лет, и это не вызывало сомнений. Тяжелая одинокая жизнь перепахала ее лицо, и тело, и душу. Типичный представитель коммунальной квартиры, из-за которого десятки людей не живут, а тонут в трясине истерик, провокаций, злобной мстительности, зависти и всех других человеческих пороков. Но если

заглянуть в нутро такой женщине, которая работает тридцать лет проводником в общем вагоне поезда Воркута — Москва, если посчитать ее беды и горести, и погибших ее родных, и так далее, то простишь ей почти все.

Она затихла в наших руках, схватилась за сердце, сникла, сказала:

— Доктора на соседнюю станцию вызывайте, доктор!.. Укол!..

Мы уложили ее. Незаслуженно брошенное подозрение в распутстве могло привести ее на тот свет. И это было уже не смешно. Но что тут будешь делать?

— Ах ты дрянь! Низкая ты девчонка! Из-за тебя человек помрет! — кричала Аня на девушку в красном пальто.

— А я при чем? — наконец открыла та рот.

— Твой хахаль ее фамилию вместо твоей вписал! Ты что, не слышала? Теперь скажешь, что не знаешь? Ничего! Ничего! Ты еще стыдом по уши умоешься! Еще на открытом собрании тебя из студентов исключать будут! Тебя спрашивают! Где бригадир? С какого сама вагона?

— Я не проводница, — сказала девушка и расстегнула пальто. — Я так еду, обыкновенно...

— Где вещи? — сразу заинтересовался милиционер и перестал поливать проводницу водой из графина.

— В ресторане, у рабочих с кухни, — прошептала девушка.

— Где села? — быстро спросил опять милиционер.

— В Воркуте.

— В какой кассе билет брала? Ну, тебя спрашивают!.. В правой или левой?

— Не помню...

— Ага, — сказал милиционер. — На улице касса или в вокзале?

— Не помню... Я не сама билет брала. Мне брали.

— А почему проводницы тебя запомнили, когда еще из Москвы ехали?

— Я из Москвы этим же поездом ехала.

— И сразу назад? День побыла, за тридевять земель съездила, и назад сразу?

— У меня там деньги украли.

— Зачем ездила?

— В отпуск.

— Какие вещи в ресторане, как они выглядят? —

спросил и я, вспомнив, что отец был следователем.

— Чемодан черный.

— Сходите с ней за вещами, — сказал мне милиционер. — А я до машиниста доберусь. Как бы старуха дуба не врезала.

— Идемте! — сказал я девушке.

— Я их боюсь, — сказала она, опять став флегматичной и теряя интерес к происходящему.

— Надо, — сказал я. И мы пошли. — Вы на самом деле студентка? — спросил я.

— Да.

— А где билет?

— Нет билета, вру я все, — сказала она. — Меня ссадят?

— Похоже на то, — согласился я.

Дверь вагона-ресторана оказалась опять закрытой. Я постучал сильно и властно. Открыл тип с перебитым носом.

— Только работать мешааете, — пробормотал он.

— Черный чемодан — живо! — сказал я.

— Какой чемодан? — спросил он.

— Мой, — тихо сказала девушка.

Он фыркнул и вынес чемодан, поставил его и ушел на кухню. Девушка глянула на чемодан и начала бледнеть. Она глядела на открытый замок. Один замок был закрыт, а другой отскочил. Она взяла чемодан за ручку и приподняла его. Господи, какой страх, какое отчаяние отразилось на ее лице.

— Там совсем пусто, — пролепетала она.

— Скажите, что там было?

— Туфли были, кофточка, юбка шелковая... — перечисляла она, бросаясь возле чемодана на колени, открывая его, копошась в тряпках. — Поверьте! Господи! Какие мерзавцы! Какие мерзавцы! И сапожек нет!

— Здешние парни? — спросил я, тряся ее за плечо, потому что она уже ни на что, кроме своего чемодана, не обращала внимания. — Здешние?

— Никто другой не мог!

— А бригадир где?

— Не знаю! — теперь она не врала.

— Тащи за мной чемодан, — сказал я и вошел в салон ресторана. Уходить отсюда было нельзя. Надо было следить за этой шпаной. Но кто им мешал давно переправить вещи в другой вагон? И кто им мешал в крайнем случае выкинуть их в окно, если бы они серьезно опасались?

лись обыска? Но они знали, что девушка сама задержанная, ей не поверят и вряд ли будут тратить время на розыски ее шмукот. Они все это знали точно. И этим были еще омерзительнее.

Я попытался разбудить спящего на стульях мужчину. Это оказалось безнадежным делом.

Тогда я сказал парням, что сейчас в поезд сядет опергруппа. И что, если они хотят кончить дело в тишине, пускай вернут вещи.

— Вы ее больше слушайте! — сказал парень с перебитым носом. — Разве таким верить можно?

И он говорил правду. Никто, кроме, пожалуй, меня, ей ни в чем бы не поверил теперь. Теперь следовало не верить, а проверять, тщательно и длинно.

— Какие мерзавцы! Какие вы мерзавцы! — все повторяла она. Пожалуй, еще раньше они получили с нее что-то вроде натурной платы за укрытие.

Я взял ее чемодан и повел в служебное купе. Теперь она не совала руки в карманы и не виляла бедрами. И в первом же тамбуре разрыдалась судорожно и безнадежно.

— Отец есть? — спросил я, чтобы отвлечь ее.

— Нет, — рыдала она. — Нет, нет, нет...

— Не реви, — пробовал утешить я. — Вещи найдутся обязательно. За этим я прослежу...

— В тюрьму бы лучше, чем это! — сказала она, кивнув на двери вагона, в котором помещалось служебное купе.

— Зачем ты ездила в Воркуту? — спросил я. Я знал, что только без свидетелей она может выдать из себя хоть миллиграмм правды.

— К отцу, — сказала она.

— Ты только что сказала, что его нет.

— Я ездила искать его... Он где-то там... И у меня украли деньги, честное слово!

— Тебе хватило бы на билет, если продать шмукотки... И зачем тебе было нужно так много вещей? И зачем тебе надо было путаться с бригадиром?

— Я с ним не путалась. Он хотел, но я нет. Лучше в тюрьму, чем это.

Больше она не говорила. Правда, ее больше ни о чем и не спрашивали. Ее посадили на первой остановке и занялись пломбированием ресторана, а я пошел спать. Но мне мучительно было на душе, и потому не спалось. Черт его знает, что я должен был сделать, кому помогать, кому

верить и за кого вступаться. И я думал о том, как все быстро и безнадежно запутывается, если даже один человек один раз солжет другим людям. Какая тут начинается феерическая неразбериха!

Уже светало, когда заглянула Аня. Она стала неинтересной мне, но я шепотом, чтобы не разбудить Бориса и других моих попутчиков, спросил о девушке и предложил Ане чай.

Вещи оказались выброшенными из поезда, их подобрали обходчики. Улик против парней из ресторана не было. Бригадир ждало возмездие. Директора ресторана тоже. И Аня была довольна. Она выполнила свой долг главного ревизора. А в чем был мой долг?

— Чего ради вы меня-то впутали в эту историю? — спросил я.

— Вы же писатель, — сказала она. — Мне моряки точно объяснили, что вы писатель. Мне ваша песенка из «Пути к причалу» нравится.

— Я к этой песенке не имею никакого отношения, — сказал я. — И при чем здесь то, что я писатель?

— Вам бы мне отказать стыдно было. Не каждого ночью из постели вытащишь.

— Что сделают с девушкой? — спросил я.

— Вернут вещи, сообщат на работу или в техникум и отправят на все четыре стороны... Мало ее наказывали в детстве. У нас строже, — сказала Аня.

— Где у вас?

— В Осетии. У нас много еще осталось старого. У нас и пережитки есть. Меня первый муж украл, похитил. В горы увез. Прямо с экзаменов в десятом классе. Только через три года я от него удрать смогла... А здесь уж восьмой год живу. Муж у меня военный летчик. И сыну восемь. Хотите, карточку покажу? — И она показала мне карточку доброго круглолицего русского парня в военной форме. И карточку сынишки.

Мне уже хватало впечатлений.

Я рад был, когда показались пригороды Котласа и Аня ушла.

Пожалуй, я впервые почувствовал, что здорово устаю за рейс. Дороги требуют напряжения, даже когда не попадаешь в большие шторма.

На верхней койке посапывал капитан с нашего каравана. Ижов, очень обходительный, сильно пожилой чело-

век, начавший плавать чем-то ниже юнги еще в середине двадцатых годов. Он проснулся, когда хлопнула дверь за Аней, протер глаза, свесился с полки, глотнул пива из горлышка, сказал:

— Доброе утро, Виктор Викторович! Как спали?

— Хорошо, — сказал я.

— А мне сейчас бабушка снилась, — сказал капитан Ижов. — У моей бабушки было имение недалеко от лермонтовских Тархан. И однажды великий князь приехал — бабушка хотела имение продать. Так вот, князь посмотрел и покупать отказался. Сказал, что такого имения нет у самого царя и ему, великому князю, оно тоже потому не пристало. И сейчас мне бабушка приснилась.

— Трогательно, — сказал я.

— Бабушка умерла в Швейцарии, — сказал Ижов.

— Еще несколько лет назад о таких вещах молчали в тряпочку, — сказал я.

— Я тоже молчал, — согласился Ижов. — Я прожил трудовую жизнь от кия и до клотика. И хотя мог удрать к бабушке тысячу раз, даже не думал об этом никогда... А теперь жаль стало старушку — одиноко ей помирать было... Внизу есть еще пиво?

Я подал ему бутылку.

— А знаете, какое мне первое поручение было, когда я первый раз на судно пришел? — спросил он, пускаясь в воспоминания. — Гуся капитан приказал отнести его любовнице. Это же в голодные годы было. И вот я марширую по Питеру с гусем, а гусь возле Казанского собора от меня драпанул...

Но это я слышал уже сквозь сон. Сложности российской жизни сморили меня окончательно.

3

Была тьма и осенняя слякоть в Ленинграде, когда мы вышли из вокзала к стоянке такси, отягченные авоськами с копченым муксуном. Муксун ехал к нашим домашним. Он провисел всю дорогу за окнами вагонов и прокоптился еще больше паровозным дымом.

Разбираясь с машинами и выясняя, кто куда едет, мы как-то даже и не попрощались толком, хотя здорово привыкли друг к другу за перегон.

У меня было паршивое настроение. Не люблю я появляться домой под утро. И недавняя история с девушкой

в красном пальто все не отпускала меня. Я думал о том, что мои попытки вмешательства в жизнь всегда бессмысленны и незаконченны, как и эта. Хорошо, что я хоть теперь понимаю это, признался в этом.

Я ехал по пустынному ночному Ленинграду, курил, сидя на заднем сиденье машины, и не мог отделаться от строчек Маяковского, которые бесконечно повторялись в голове: «Море уходит вспать... море уходит спать... море уходит вспать... море уходит спать...» Неужели все люди страдают от таких идиотских штук?..

На пустынном Невском слабо блестили лужи. Моя дорога заканчивалась. Позади остался обычный, спокойный — без происшествий и приключений — перегонный рейс. Наш СТ-760 сейчас торопился за целинным хлебом по огромной реке к Алтаю, туда, где Бия и Катунь, сливаясь, дают начало Оби, а может быть, наш СТ-760 свернет в Иртыш, воды которого катятся к Карскому морю от самой китайской границы. СТ-760 повидает Новосибирск и Омск, Томск и Тюмень, Тобольск и Барнаул. Мы привели его в привольные места. И сделали это хорошо, без аварий и лишних затрат. Приятно, когда работа сделана хорошо. В этом есть утешительное.

Такси выехало к Неве, и у поворота к площади Труда я увидел свою родную набережную. Она пряталась в ранних утренних сумерках за мостом Лейтенанта Шмидта.

Вот круг и замкнулся. Привет тебе, набережная Лейтенанта Шмидта! Рано или поздно, по воде или по суше — я возвращаюсь к тебе. И хорошо бы сейчас выпить с тобой, но мама не любит, когда от меня пахнет при возвращении.

Я видел возле набережной низкие силуэты спящих судов. Это были такие же, как и наши, самоходки. Они стояли в несколько рядов, носом к мостам. И ждали, когда их поведут в Салехард, на Енисей, Колыму или на Лену.

BTSE

В здании ЮНЕСКО в Париже есть фреска Пикассо. На фреске есть знаменитая фигура человека, летящего вниз головой. Я спросил Пикассо, что это означает.

— Искусствоведы написали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие — низвержение Люцифера с небес.

Пикассо наклонился и вполголоса закончил:

— Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.

Жак Ив Кусто. Живое море

Первый и последний раз я изображал низвержение Люцифера в трехболтовом скафандре на Кольском заливе. Офицеры плавсостава спасательной службы должны были нырнуть метров на двенадцать, найти на грунте белую эмалированную кружку и вынырнуть.

Я рвался за борт со всем пылом двадцати двух лет, хотя водолазное белье было липким от подводного трудового пота, шерстяная шапочка пришлась бы впору Сократу, а ватные брюки доставали до подмышек.

Мороз стоял возле двадцати, а вода минус один. Туман и слабый снег. Отливное течение и мелкие льдины.

Здоровенные водолазы-костюмеры встряхнули меня в скафандр, который прозаически называется «рубахой». Я скользнул в рубаху юркой килькой, остря напропалую, и заметил запах гроба. Резиновый, с отделениями для рук и ног, но гроб.

Потом были надеты свинцовые ботинки и свинцовые грузá, отлитые в форме сердца мамонта. Потом было неэстетично: толстенные веревки пропускают между ног и обтягивают веревками грузá — в шесть рук, упираясь тебе в зад коленками. Несмотря на шерстяное белье, ватные брюки и резину рубахи, кажется, веревки разрезают тебя пополам. И подозреваешь: ребята стараются специально, чтобы поучить новичка. Но это ерунда — так нужно: под водой воздух будет раздувать скафандр, веревки ослабнут, и грузá могут сместиться.

Потом на плечи был возложен шлем, отскрипели свои болты и лицевой иллюминатор, зашипел воздух, шевель-

пулась чешуя резины, и было предложено шагать к трапу. На пути меня ласково поддержали, а у кормы развернули спиной к воде.

Сто килограммов свинца и меди гнули хребет в дугу.

За борт полетела кружка — с камнем, чтобы не очень далеко отнесло течением. И — бах! — руководитель спуска гаечным ключом стукнул по меди шлема — пошел, лейтенант!

Тяжесть исчезла, как только я погрузился до шлема. Я обрадовался и бодро завертел головой, раздуваясь, как лягушка.

— Травите воздух! Так вас и так! — заорали мне в телефон.

Тут я сконфузился, потому что вспомнил: следует не плавать в черной воде и не разглядывать снежинки, прилипающие к стеклу иллюминатора, а тонуть.

С поспешностью надавил затылком клапан и — уть! — утюгом провалился в холодную жижу. Уши схватило болью. И я порвал бы себе перепонки, если бы меня не задержали страховочным концом. Перед самыми глазами оказался винт родного корабля, и я уставился на него с удивлением и тревогой. А вдруг он возьмет и повернется? Нелепая, козья мысль, но...

— На грунте? Кружку видите?

— Хочу немного повисеть, — сказал я. — Уши.

— Время идет! — напомнили мне.

— Течение, — сказал я.

— А грунт хотя бы видите?

Я почему-то боялся смотреть вниз. И боль в ушах слепила глаза.

Бах! Вокруг взметнулось и закружилось зелено-мутное, смерчеобразное.

— Ай! — сказал я, обнаружив себя стоящим на дне. Облако мути удалялось по течению мрачным привидением. Вокруг валялись бутылки. И где только их нет!

— А кружки нет, — сказал я. — Только стеклянная посуда.

— Ищите!

Где искать — впереди, позади, справа, слева?

Я задрал голову и посмотрел наверх. Это было единственное прекрасное мгновение. Я был космонавтом, покинувшим космический корабль на Венере. Корабль парил надо мной, маленький, далекий, мутный, странный. Гайдропом с него свисала якорная цепь.

Я наконец сообразил, где нос, где корма, откуда вы-

бросили кружку, и шагов через двадцать увидел — белым зайчиком мерцала кружка среди старых тросов. Мне было известно, что нагибаться нельзя — всплывешь на поверхность вверх ногами.

Воздух радостно булькал, вырываясь из скафандра. Я по всем правилам наклонно опускался.

Холод стружкой пробежал по спине, впился в поясницу, повел судорогой ногу.

— В посту! — крикнул я.

— Есть в посту! Что у вас?

— Меня, кажется, заливает! Очень холодно!

— Стравливаете много воздуха. Вода обжимает резину и холодит через нее. Выполняйте задание!

И я продолжал выполнять. Холод подошел к соскам и сжал мокрой ледяной лапой сердце.

Но я уже видел эту чертову кружку перед самым носом. Протянул руку — и схватил пустоту. До нее было еще метра полтора.

От холода я забыл, что иллюминатор увеличивает и приближает предметы. Ползком добрался к кружке и прекратил стравливать воздух. Холод стал отступать, но с сердцем творилось что-то неладное. Шапочка сползла на глаза, из носа полило, слабость до тошноты и нарастающая опять боль в ушах.

Подняться по трапу я не смог. Водолазы вытащили, как говорится на их языке, «за уши». Я плюхнулся на ближайший кнехт. Когда круглая гробовая крышка иллюминатора отпала, из шлема ударил пар, как из паровоза.

Скафандр был полон воды...

Водолазы встревожились и потащили меня в пост на руках.

Оказалось, что в аварийном клапане потекла прокладка. Когда я перетравил воздух на грунте, вода затопила мой гроб до самого шлема. Температура воды была минус один, и сердцу это не понравилось. И вообще только два-три сантиметра — расстояние от подбородка до рта и носа — отделяло меня от того света, от того, чтобы стать мокрым Икаром и убедить искусствоведов в том, что они не всегда ошибаются, истолковывая фрески Пикассо.

В ноябре шестьдесят пятого года возле набережной Лейтенанта Шмидта ошвартовался старый буксир. Неученые моряки передавали его ученым-океанографам из лаборатории глубоководных исследований Гидрометеоро-

логического института. Меня приглашали на буксир старшим помощником. Но при одном условии: изучать акваланг, подводную связь и ходить на тренировки в бассейн. Условие было омерзительное, ибо будило дурные воспоминания, но делать было нечего. Я как раз переживал очередной творческий кризис. Как теперь понимаю, во мне начинался бой между образным и необразным мышлением. Я все чаще ловил себя на неискренности. И подумал, что, быть может, путь к искренности лежит через науку.

Тем более много раз в жизни мне приходили гениальные необразные мысли. Они даже потрясали меня, я не спал ночей от восторга открытий.

Некоторая трагедия моих необразных мыслей заключалась только в том, что, читая потом книги, написанные иногда тысячи лет назад, я с раздражением и разочарованием обнаруживал у своих открытий бороду. Даже если это не борода, а щетина — обидно. Вот пример. Одно время я занимался проблемой скорости света. Меня бесила цифра 300 000 километров в секунду. Для света это предел и для меня предел, но почему нечто не способно двигаться быстрее?

Мне сразу надо было вбить заявочный столб, а я промедлил. И пожалуйста: уже другим теоретически предсказаны тахионы — частицы со скоростью больше световой.

Конечно, испытываешь некоторое сомнение, когда занимаешься вопросами теоретической физики, не зная, что такое эрг. И старомодные люди не занимаются. Но мне шел семнадцатый, когда бабахнула атомная бомба. Римский папа издал нечто вроде указа о конце мира, и по планете потекли слухи, что цепная реакция продолжается. Япония разложилась на протоны и электроны, и через недельку все это перевалит Урал.

Мы сидели в казарме и надеялись, что в связи с близким концом света всех уволят домой до понедельника и строевые занятия не состоятся. Так я впервые узнал о теории относительности.

Видите, о сложнейшей теории я узнал строгим классическим путем — из практики. Потому, вероятно, мне ничего не стоит цитировать Эйнштейна или Планка, хотя я давно забыл, что такое эрг.

О теории относительности я читал раз пятьдесят. Тайна физической картины мироздания тянет, как край бездны. И когда ныне я читаю Планка или Эйнштейна, мне кажется, что я уже кое-что понимаю. И я даже испы-

тываю наслаждение, и оно иногда пронзительнее, таинственнее и шире, чем от знакомства с прекрасным в искусстве и в жизни.

Парадокс в том, что стоит закрыть книгу, как наслаждение исчезает и я уже не способен объяснить понятое мною другому человеку. Понятое выскальзывает из головы со скоростью света или даже тахионов.

Надеясь на бабушкины предания, я укладывал Эйнштейна на ночь под подушку. Черт знает, думал я, быть может, бабушки не так глупы. Вдруг буквы шрифта испускают некие лучи, и мозг к утру впитает мудрость напечатанных слов. Не помогло.

И вот я решил пожить и поплавать с людьми науки, узнать, каким образом профессионалы закрепляют знания. И согласился обучаться нырянию с аквалангом, практике декомпрессии, языку немых на пальцах. «Все хорошо!» — бублик из указательного и большого. «Плохо внутри!» — кулак. «Плохо снаружи!» — растопыренные пальцы и т. д.

Правда, не только общение с учеными привлекало меня на буксир, который носил гордое имя сына Океана и Земли — «Нерей».

Летом намечалась экспедиция в Средиземное море, в Монако — в гости к знаменитому изобретателю акваланга капитану Кусто.

И еще мне было предложено написать сценарий фильма «Человек и море».

«Нерей» вмерз в лед у ржавого понтона возле набережной Лейтенанта Шмидта и заснул до весны.

На понтоне построили деревянную будку, обернули ее брезентами и завалили снегом. В будке стал жить пес Анчар. Его хозяевами были сотрудники лаборатории подводных исследований. Анчар много раз путешествовал с ними на Каспий и Черное море, охранял хозяйство аквалангистов и кусал чужих без разбора и молча. Иногда кусал и своих. Никогда не кусал одного — Володю Бурнашева. Бурнашев сконструировал псу специальную маску и выучил нырять с аквалангом. Еще Бурнашев отличался от других тем, что не ел рыбу и не пил чай. Рыб он считал братьями нашими меньшими, а чай не пил, потому что происходил с Волги, из Нижнего Новгорода, и считал, что его предки уже выпили все отпущенное роду количество чая.

Вот Володя и привел Анчара на понтон возле «Не-
рея», посадил на цепь.

Зима выпала суровая, а пес был стар. Ему было хо-
лодно и не хватало хорошей еды. После сложных разго-
воров с директором ресторана речного пассажирского те-
плохода «Александр Попов», который зимовал выше нас
по Неве, Анчар начал получать из ресторана объедки.

Объедки носили молодые океанографы, которые слу-
жили до весны на судне простыми матросами. В ночные
вахты они сидели в кают-компании, готовились к аспи-
рантурам и диссертациям. Когда Анчар начинал грохать
простуженным басом, ребята вылезали к трапу.

Анчар был очень большой собакой, имел вид устра-
шающий. Его седая морда казалась перекошенной, пото-
му что левый край верхней губы низко свисал.

Я радовался, что быстро подружился с Анчаром. Все
мы любим, чтобы животные относились к нам хорошо,
любим хвастаться этим. Я несколько раз поделился с ним
домашним завтраком, а потом набрался смелости и по-
дошел прямо к будке — у Анчара запуталась цепь. Я рас-
крутил ее. Пес рычал, но не кусал меня. И потом уже
не лаял, когда я появлялся у трапа.

Океанографы были смешными матросами, хоть ста-
рательными и честными в службе. Им, например, не при-
ходило в голову, что если ты подменился на вахте и ушел
на танцы, то об этом надо сообщить старшему помощ-
нику.

Однажды я выбрался проверить вахтенного и увидел
незнакомою юношу в очках.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я Лесман, — ответил он, заикаясь.

— А что такое «Лесман»?

— Это я...

— Идите с борта к чертовой матери в таком слу-
чае, — сказал я.

— Я н-не могу: я вахтенный матрос, — сказал он. —
Я друг Бурнашева.

Эта зима вообще была странная. Я впервые зимовал
возле родной набережной Лейтенанта Шмидта.

Знакомые приходили, чтобы скрасить длинные суточ-
ные вахты. Сухопутным знакомым нравилось сидеть в ка-
юте на судне, видеть толстый слой изморози на иллю-
минаторе, слышать слабое биение сердца внавшего в ле-
таргию корабля — работал только котелок на мазуте
и какой-то насос.

По корме летучими голландцами маячили обросшие инеем парусники. Анархист «Кропоткин» чуть не упирался бушпритом нам в кормовой кранец. Огни парусников светили, окруженные ореолом в морозном тумане. Близкий город исчезал совершенно.

И гостям хорошо было пить чай из термоса, слушать разговоры о легендарной «Калипсо», капитане Кусто, клетках-убежищах от акул, споры о том, кусаются акулы или все это выдумки, и уверенные мечтания о том, что летом «Нерей» снимется в далекое плавание.

Солнце Лазурного Берега уже слепило нам глаза, отражаясь от величественных стен Океанографического музея в Монако. Над лазурным Лигурийским морем, крепко ухватив каменный штурвал, в зюйдвестке и каменном плаще стоял принц Альберт — моряк, ученый, защитник морской фауны... Вечнозеленые кустарники, пальмы, аллеи мандариновых деревьев с оранжевыми шариками плодов... Яхты миллионеров у причала Королевского яхт-клуба... Казино... Рулетка...

Гости «Нерея» от таких видений и разговоров приходили в возбуждение, читали стихи, на которые вдохновил поэт лейтенант Шмидт:

Придается все.
Лишь тебе не дано примелькаться,
Дни проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет...

Хорошо было в ту зиму ожидать весны, хотя морозы были сильные, приходилось повышать давление пара в магистралях отопления и подпольно ставить электрогрелки.

Буксир был запущенным судном, магистрали лопались, то и дело затапливало радиорубку или каюты. Нужно было наводить бандажи и цементировать дыры.

И надрывал мне душу Анчар своим кашлем, когда вылезал из будки и смотрел на меня сквозь морозный туман.

«Вот, ты в тепле сидишь, только нос и высовываешь. Домой на такси едешь, а я тут сижу, — говорил он мне. — А я стар и одинокий, и не видеть мне больше радости, потому что жизнь моя позади».

И я вспоминал строчки из ледяной, метельной книги Дугласа Маусона «Родина снежных бурь»: «Заболевший пес Джонсон лежал привязанный на санях поверх груза». Эта строка запомнилась, потому что пса Джонсона на следующий день путешественники съели.

На вахту тридцать первого декабря заступили я и Володя Бурнашев. Лучше быть самому на судне в новогоднюю ночь, если ты старпом, а магистрали парят, изоляция плохая и случаются короткие замыкания. Да и идти особенно было некуда.

Володе, кажется, тоже некуда было идти. А может быть, ему хотелось встретить Новый год на судне, потому что он был романтик. Он читал жизнеописание Леонардо да Винчи Мережковского. И опасался, что такое разбрасывание помешает ему в углублении знаний главной профессии — подводника-океанографа.

Я знал, что помешать может. А может и не помешать. Мне такое помешало. Но есть люди и посильнее меня. И так как я давно дал зарок ничего не советовать людям, то только передал Володе слова Планка: «В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу». При этом я не скрыл от Володи и других слов старого деликатно-ядовитого Планка: «Некоторые люди с богатыми духовными запросами ощущают потребность в продуктивной деятельности, ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими и философскими проблемами. К сожалению, при этом получают результаты только в очень редких случаях».

Последние слова каким-то неприятным образом касались меня, хотя я никогда бы не признался в этом вслух.

Конечно, правы те, кто предупреждает об опасности дилетантства. Но самый средний писатель — уже философ-дилетант. И это раньше времени привело на тот свет многих. Нельзя философствовать эмоционально. Гибель Экзюпери — такое же самоубийство, как смерть Хемингуэя и Есенина.

Я спросил Володю, знает ли он случаи самоубийства среди физиков, химиков или биологов. Эти люди стоят сейчас над самой бездной времени, пространства, тайны жизни.

Он таких случаев не знал. Он знал только, что Эйнштейн уже в юности не боялся смерти, а Толстой думал о ней всегда. При этом Володя заметил, что не согласен с Планком. Дело не в результатах занятий общетеоретическими или философскими проблемами, а в том, чтобы заниматься ими. Важен путь, а не результат.

Так мы беседовали, охраняя сонливый покой «Нерея», ожидая нового, тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, укрепив на столе в кают-компани маленькую елку и засунув в шлем бронзовой статуэтки-водолаза свечку.

Нам было, конечно, немного одиноко и грустно так встречать Новый год, вести философские разговоры в одиночестве. И потом, время перед наступлением чего-нибудь особенного всегда тягостно.

Я вспомнил Анчара и решил пригласить его на праздник.

Володя привел пса, который дрожал крупной дрожью.

Анчар весь заиндевел на морозе, сразу лег под паровую грелку и зажмурился, не веря своему счастью.

— Начальство хочет списать пса, — сказал Володя, теребя собачьи уши. — Только они это через мой труп сделают. Вы бы видели, какой он смешной, когда с аквалангом под водой ходит! Шерсть за ним, как флаги расцветивания, полощется, и хвостом рулит...

Я спросил Бурнашева, что ему кажется самым жутким под водой.

— Что-нибудь большое. Померещится подводная лодка, например. Подлодка, которая из мути бесшумно прет куда-то. Не обязательно на тебя даже... Вообще, что-то громадное пугает... Я однажды стенки дока напугался, хотя знал, что должен ее увидеть.

— А что самое хорошее?

Он ответил не сразу, обдумывая, а пока сам задал мне несколько вопросов из подводного сигналопроизводства: «Дернуть, потрясти, дернуть»? «Дернуть, потянуть, дернуть»?

Он был инструктором-водолазом, а я путал «потрясти» и «потянуть». Вот он и тренировал меня в разговорах.

В школах он читал детишкам лекции о необходимости соединения акваланга с океанографической наукой. Особенно убедительным примером пользы такого соединения был рассказ о неизвестных существах, которые хотят узнать нечто о людях и спускают на Невский проспект из космоса сеть. Прохожие видят сеть над головой,

разбегаются, прячутся, бросают по дороге галоши и окурки. И вот только эти-то галоши и окурки попадают в сеть неизвестных существ. И неизвестные существа ничего о нашей жизни узнать не могут. Вот если бы они сами спустились на дно воздушного океана, на дно земной атмосферы, то другое было бы дело. Отсюда: если человек хочет узнать море, он должен в него спуститься и пожить в нем.

— Ну, а что кроме пользы науке влечет в воду? — допытывался я.

Он объяснил, что в воде все особенное. Вода даже плохое превращает в хорошее. Он, оказалось, ругается сам часто, но не любит слышать ругань других.

И был такой случай.

Они ставили на глубине мачту для приборов. Под Бурнашевым работали двое ребят, им тяжело доставалось, они ругались. И мимо него поднимались из глубины матерные слова вместе с пузырьками воздуха. А он мат и не слышал, замечал только чудесный хрустальный звон от пузырьков.

Я поинтересовался: как могло случиться, что он слышал только хрустальный звон, но знает, что ребята ругались?

Он согласился, что здесь есть некоторое противоречие.

Тогда я рассказал, что давно размышляю о длине нашего языка, о неизбежности сокращения сложных слов и оборотов. Слова уже делаются путами на ногах мыслей, приходят в противоречие с сегодняшними скоростями. И появляется необходимость в профессиональных кодах.

Послушайте звукозапись старых, военного времени радиопереговоров в танковом бою или схватке истребителей в воздухе. Здесь лишнее слово подобно смерти в прямом смысле. И непосвященному кажется, что беспрерывный мат в шлемофонах — лишние, рожденные волнением, напряжением, страхом слова. Но это не так. Матерная ругань для тренированного уха — тончайший код. От простой перестановки предлога до богатейших интонационных возможностей — все здесь используется для передачи информации. В информацию входит даже эмоциональное и психическое состояние того, кто ее передаст.

Я заверил Бурнашева, что не собираюсь смаковать сквернословие, оно омерзительно, если идет от распушенности. Но если пилоту не дали короткого кода, он вы-

работает его сам, потому что от скорости передачи и приема информации зависит его жизнь. Матерная ругань коротка, хлестка, образна, эмоциональна и недопустима быстрой расшифровке противником. Лекцию о пользе русского мата я подкрепил ссылкой на Пушкина, который «желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» и говорил: «Не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».

Потом мы обсудили будущий подводный фильм. Мы оба считали, что фильм должен быть философским. Но Бурнашев определял суть философии в покое и чистом созерцании йогов. Он считал, что глубина океанов воздействует на человеческую душу в этом направлении. Я возражал, ссылаясь на Блока и на то, что покой нам только снится.

— Это надоело, как прибор на экране в морских фильмах, — сказал мой собеседник. — Как танцы голых девиц под водой — нашли место для кабаре и стриптиза!

Я утверждал, что только движение в пространстве связано с движением духа. Во всех религиях бог не сидел на месте. Он шел. Или витал. Или летал. Христос, если прикинуть по карте и по Евангелию и если учесть, что в его времена было мало ослов, прошел пешком многие тысячи километров. И Магомет, если горы не шли к нему, шагал к ним.

Володя считал, что Христос и Магомет не сами боги, а только пропагандисты-агитаторы, и это меняет дело.

Здесь он, наверное, был прав, но мы поспорили, ибо уже привыкли спорить во время многочисленных подобных разговоров.

За полчаса до Нового года поднялся из машинного отделения вахтенный моторист Сергей Сергеевич — тот, с которым мы гоняли самоходки на Салехард. После перегона он болел и сильно сник. В море ему больше не светило. А на зимовку мы его взяли мотористом — много ли сил надо следить за отопительным котелком.

У Сергея Сергеевича происходила обычная для пожилых людей аберрация памяти. Плен и концлагерное прошлое делались у него навязчивым воспоминанием, а близкое прошлое моментально выветривалось. Я как-то спросил его о девушке в красном пальто из поезда Воркута — Москва. Он ее не вспомнил.

Сергей Сергеевич сел на корточки у двери и в торже-

ственный момент под Новый год вдруг рассказал, как после освобождения их везли на родину. И в Польше эшелон обстреляли недобитые бендеровцы. Охрана эшелона оказалась на высоте. Бандитов казнили.

— Слушайте, Сергеич! — взмолился я. — Если веселее не вспомните, я использую начальственное положение и отправлю вас вниз, в машину.

Потом взял ракетный пистолет, ракеты, и мы вышли на палубу.

По близкой набережной и мелким торосам вдоль Невы, к заливу струилась поземка. Потрескивал от свирепого мороза лед. Напротив неподалеку чернела полынья, из нее густо парило, морозный туман смешивался с поземкой, скользил по льду.

И Горный институт, и адмирал Крузенштерн, и Академия художеств. Пушистые шары вокруг стояночных огней на парусниках. Тишина. Пустынность. Нарастающий звон ночного трамвая, цепочка его желтых замерзших окон над парапетом набережной.

Неудачник-вожатый в пустом вагоне тормозит у Тринадцатой линии, возле «Нерея».

Мы были сейчас друзьями с вагоновожатым, нас связывали те славные узы, о которых просто и удивительно писал французский летчик.

— Анчара забыли! — вспомнил Володя Бурнашев. — Подождите палиты!

Шипел пар за бортом «Нерея», бесшумно падал иней и снег с антенн, с мачты, со шлюпбалок. Миллионы людей сидели вокруг в каменных домах. А город был пуст и замер.

Володя приволок упирающегося всеми лапами Анчара.

Теперь нас было четверо. Вернее, пятеро: трамвай не двигался — вагоновожатый хотел встретить шестьдесят шестой год на остановке.

Странный это был Новый год.

Ударили куранты, и я выстрелил зеленой ракетой, стараясь, чтобы она низко пошла над льдом Невы. Пиротехника запрещена на территории Ленинградского торгового порта.

Бурнашев, конечно, не смог удержать руки — его ракета пошла в зенит.

Сергей Сергеевич стрелять отказался — он давно уже настрелялся досыта.

Тени от ракет метнулись по крышам, куполам и су-

дам. Где-то недисциплинированные моряки поддержали почин: с десятков ракет поднялось и затухло над самым городом.

Трамвай весело звякнул, нарушил тишину и унесся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. А мы спустились в кают-компанию и всей вахтой еще раз нарушили законы и постановления — выпили водки при исполнении служебных обязанностей. Анчару досталась половина чудесных закусок.

Потом пес был отправлен обратно на цепь.

К утру Анчар исчез. Он всю жизнь провел в сторожевом охранении. Ему нельзя было и на несколько часов менять суровую жизнь на тепло и предновогодний уют.

Стремясь обратно к нам, он оборвал цепь, долго бегал по судну — на палубе в снегу остались следы, — но двери были стальные, на заглушках, он не смог их открыть и, вероятно, подался в город, погиб под машиной или трамваем, ибо не имел к ним никакой привычки. В милицию он не попадал — мы справлялись. Чужим людям такой старый пес, конечно, не был нужен...

К весне, ни разу не нырнув, перессорившись с ученым начальством, в котором не нашлось потребного мне количества философии, ушел с «Нерей» и я.

Начало охлаждению между мною и ученым начальством положил Анчар. Начальству старого пса не было жалко, оно было даже довольно его бесхлопотным исчезновением. А если человеку не жалко собаку, то, быть может, он и ученый, но не философ.

ФРАНЦИСКА

Покинув «Нерей», я отправился в первую заграничную поездку. Наиболее запомнилось мне от этой поездки то, что я ничего не запомнил. Вероятно, от волнения,

Ну, ел зайца... Курил сигареты с каким-то стрихнином... Шалел от разговоров о ценах на мебель у них и у нас... Спал в Театре абсурда... Разбил лоб о стеклянные двери с фотоэлементом в шикарном отеле — автоматика на меня не прореагировала, а я дверей не заметил... Ну, выпил двести чашек кофе... Выставил ботинки в коридор, а их надо было уложить в специальный ящик возле порога, — еще удивился, что мои ботинки одни стоят в коридоре... Древний замок. Дыбы. Дырки, через которые капала вода на плечи узников. Клещи для ног-

тей. Напугался там до смерти, потому что отстал от экскурсии, а вокруг стояли колья для преступников и лежали венки от потомков — тут испугаешься... Чуть не подавился костью от зайца, когда узнал, что человек, закуривающий первую сигарету ровно в одиннадцать десять утра, — поэт... Еще раз убедился в том, что боюсь продавцов и продавщиц... Ощущал постоянные сомнения в своем внешнем виде... Терзался неумением покупать подарки родственникам... Не любил спутников и немедленно начинал тосковать без них... Ну, временами впадал в возбуждение от коротких юбок, голеньких дам на обложках журналов, кофе, виски, вина... Всегда хотел спать... Внимательно выслушивал разную ерунду. Однажды начал почему-то вдруг декламировать: «Но спят усачи гренадеры!..» и забыл, как дальше: «В долине, где...» В какой долине? Понял, что пора возвращаться. Залез в самолет и улетел.

Вывод: надо уметь летать за границу. Здесь, как и везде, нужна тренировка. И надо еще исполнять заветы классиков. Ведь на сто процентов прав был Лев Николаевич Толстой, когда, при встрече с первым русским авиатором Уточкиным, заявил со свойственным графу патриархально-крестьянским консерватизмом, что лучше бы люди учились хорошо жить на земле, чем плохо летать в воздухе.

Поэтому следующий раз я отправился за рубеж на автомашине. И уже смог запомнить одну заграничную встречу.

...Позволено сказать про девушку, которая понравилась, которая пробудила нежное и тревожное любопытство, что она голенастая девушка? Или слово «голенастая» несовместимо с нежным и тревожным любопытством, с обликом девушки, которая может нравиться с первого взгляда?

На ней было синее форменное платье, белый передничек с кружевами и белая косынка. Платье было коротким, открывало колени. И вот из-за этих коленок и худощавых икр я и говорю, что она была голенастая. Как будто ей было не двадцать, а пятнадцать лет. Она и вся была худенькая. И когда несла два пластиковых ведра с водой, то было ее жалко, хотелось помочь. Но это только в первый момент. Потом ясно становилось, что она пронесет эти ведра дальше тебя. Такая гибкость была

в ее теле, так высоко держала она голову, так безмятежно неподвижна была вода в ведрах. И улыбалась еще пленительно — сверкнет зубами, глянет прямо в глаза и потупится. И за эту короткую секунду промелькнет перед тобой десяток разных девушек — такая всезнающая завлекательница, соскучившаяся по танцам и поцелуям резвушка, стыдливая кокетка и смиренная монашка. И гадай на кофейной гуще — что там на самом деле?

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она пожала плечами. Она не понимала. Стояла передо мной и теребила фартучек.

...С веранды отеля смотрели на нас портье и молодой парень-швейцар. «Быть может, им запрещено все такое?.. — подумал я. — Быть может, я ее подвожу?..» Взгляды портье и швейцара были равнодушными, профессиональными, тренированными. Боже, как я не люблю швейцаров!

— Как тебя зовут? — спросил я по-английски.

Она пожала плечами, поправила волосы и улыбнулась виновато. Но не уходила и не сердилась.

Я ткнул себя пальцем в грудную клетку и сказал:

— Виктор.

— О! — обрадовалась она. — Франциска! — и прижала ладони к своей маленькой груди, показывая, что она и есть Франциска.

Никогда не думал, что есть живые женщины с таким именем. Я только читал о женщинах с такими именами.

И мы пошли с ней по дорожке. Я не знал, куда ей надо сворачивать — направо, налево. Прямо-то ей не надо было идти — там был другой отель, еще более модерный и роскошный, там за стеклом стоял мертвый волк и скалил зубы на проживающих, там продавали иллюстрированные журналы всех стран мира и играл дождь оркестр.

Как много значит имя женщины. По имени, сам не замечая этого, сочиняешь ее для себя и потом десятилетиями веришь в легенду, сотканную тысячами ассоциаций, возникших из дебрей памяти, существующих в тебе еще с детства: «Франциска».

У наших женщин есть чудесные имена — Мария, Анна, — но они пришли с запада. Злата — чудесно, но не существует сегодня. Удивительные по нежности и женственности имена у англичанок — Мэйв, Клайв... Кэтрин...

Мы прошли мимо десятка американских, итальянских, немецких машин. Они низко припадали к асфальту стоя-

ночной площадки своими стремительными, как у гончих собак, мускулистыми и блестящими телами. Наша «Волга» выглядела среди них провинциально, но крепко.

— Ленинград! — сказал я с иностранным акцентом и ткнул в «Волгу».

— О! — сказала Франциска и кивнула головкой на тропинку, которая вела к шоссе.

И я не понял: она одобрила то, что я из Ленинграда, или показала, что ей надо сворачивать? Как мне не хотелось с ней расставаться! Как мне хотелось просто так, тихо и молча пройти с ней рядом по остывающей вечерней земле, над озерами, цвет воды которых мне так и не удалось определить, мимо столбиков, отражатели которых вспыхивают от фар приближающихся машин.

Быть может, мне надо было просто-напросто ее обнять за плечи, когда мы свернули на тропинку. Засвистеть какой-нибудь твист, обнять ее за плечи, и пошелесть деньгами в кармане, и пригласить в кабачок. Денег у меня была куча — четверть миллиона динаров, и я знать не знал, куда их спустить, потому что через неделю должен был быть уже в Будапеште. Красивая жизнь...

До чего эта жизнь влечет нас, пока мы не выигрываем лотерейный билет и не попадем в нее сами. И тогда оказывается, что все это ерунда. И уже через десять зарубежных дней тебя тянет назад. Даже если свободно едешь по прекрасной южной земле на машине.

Я, конечно, не обнял ее за плечи и не стал насвистывать твист. Мы шли по узкой дорожке среди кустов, ромашки белели в вечернем сумраке по краям тропинки, из ресторанов отелей уже слышалась музыка. И Франциска, конечно, ждала от меня чего-то. Но я не мог обнять ее за плечи. Она казалась мне чем-то таким же нежным, как и ее имя.

— Где — будешь — сегодня? Где — тебя — встретить? — спросил я по-русски, по-английски и по-немецки. Я вообще выяснил, что вдруг могу говорить иностранные слова и даже, если нахожусь в особенном состоянии, то и понимать ответ.

Она остановилась и говорила быстро, много и трогала пальцем мой галстук, завязку галстука. Она говорила по-хорватски, но я уже нечто понимал, улавливал, интуиция сконцентрировалась и превратилась в переводную электронную машину, которая сведет все языки к одному штампу. Она говорила о том, что хочет меня видеть сегодня, но есть нечто препятствующее этому, но она попробует

обойти это препятствие. И что она будет весь вечер в харчевне, вот огни этой харчевни, за деревьями, но если у меня есть товарищ, то пускай я прихожу с ним, а не один. Там собираются не туристы, а те, кто работает здесь.

Мне надо было взять ее за уши и поцеловать. Но вместо этого я кивал своей пустой башкой, потом повернулся и пошел в отель: время ужина уже заканчивалось. Ужин был нужен мне, как прошлогодний снег. Но почему-то я давно привык вести себя не так, как хочется, как естественно вести себя, а наоборот. Меня ждал ужин в ресторане, и я пошел его жевать...

- Я думал о Франциске и слышал разговор:
- Можно посмотреть в ваши темные очки?
 - Пожалуйста, а я посмотрю в ваши...
 - Вы зимой носите очки?
 - Я не люблю зеркальные стекла.
 - Зеленоватый цвет лучше.
 - Как вам сказать...

Не знаю, чего я ждал от нашей встречи с Франциской. Но по дурной привычке мозг анализировал мои эмоции и издевался над ними. «Чего это она тебе так понравилась? — спрашивал мозг. — Или тем, что она не капризничает? Но это-то и плохо. Каприз — единственный способ для женщины утвердить свою самостоятельность в такой ситуации. Очевидно, твоя Франциска несамостоятельное существо...»

- Нужно, чтобы с боков все было закрыто.
- Нет, для меня это необязательно.
- Ваши тяжеловаты...
- Я не привыкла к пластмассам.
- Я тоже не привыкла, но роговая оправка...
- Какая же это «роговая»? Это пластик.
- Какой же это пластик? Все помешались на химии!
- Вы хотите сказать, что это рог?
- Я хочу сказать только то, что я сказала...

Я подумал о том, как уйду отсюда, пройду метров пятьсот по шоссе, потом поднимусь по склону кювета, увижу милый маленький кабачок. Очевидно, меня могут ждать там неприятности. Какой-нибудь парень, который

любит Франциску уже длительное время, который имеет на нее все права. Или еще что-нибудь такое хорошее.

— А я обхожусь без очков. Мода. Наши бабушки от-лично без них обходились.

— У меня западногерманские, уже четвертый год...

— Поляки тоже делают хорошие...

— Нет, у французов самые эlegantные.

— Меня они успокаивают.

— А меня не всегда...

Черт те знает, подумал я, обсасывая куриную косточку. Еще действительно в драку попадешь. Как бы чего не вышло... А как теперь не пойти? Чепуха какая... Конечно, пойду. Ерунда все это, но как бы чего не вышло...

— Надо требовать у администрации вино! Видите: американцам подали вино, а нам только воду...

— Действительно, в Венгрии дают вино, а здесь только воду.

— У меня от этой воды живот болит.

— Джем я возьму с собой — такая аккуратная коробочка! Просто прелесть... Это будет как сувенир...

— Вы любите световые эффекты в ресторанах? Они, конечно, для молодых, но иногда...

Световые эффекты действительно начались. Свет то притухал, как в бомбежку, то опять нормально разгорался... А зачем она сказала, чтобы я приходил с товарищем? И где я его возьму? Серый волк мне товарищ...

— У нас не умеют делать красивую упаковку.

— Кто с вами будет спорить?

— Масло горчит, но упаковка на высшем уровне.

— У них очень дешевый шоколад...

Здесь световые эффекты кончились. В том смысле, что свет потух окончательно. Официанты неслышно пошли по

залу, прося у господ и панов прощения. Официанты зажи- гали свечи на столах.

Я вышел из ресторана и увидел южную темноту. Глаз выколи — вот что я увидел. Ни одного фонарика. Элект- ричество погасло везде вокруг — не только в ресторане.

Какое там шоссе, кювет, кабачок... Где я найду доро- гу в этой крошечной тьме? Тут бы до логова добраться. Вероятно, если идти все время только по асфальту, то свой стель я найду, а с Франциской свидание не состоится. И я тут ни при чем. Виноваты электрики и господь бог. И слава электрикам и господе богу. Теперь ничего не выйдет.

Я знал, что она ждала. Между нами нечто случилось, когда я вызвал ее в номер, нажав кнопку на дощечке под силуэтом девушки в фартучке. Надо было погладить брю- ки. И пришла Франциска.

Чтобы показать горничной необходимость погладить штаны, берешь их в руки, скорбно смотришь на них, ка- чаешь головой, вздыхаешь, затем ослепительно улыбаешь- ся — и разговор окончен. Она улыбается, берет штаны, делает книксен у дверей и исчезает. Через полчаса тепло- твердые брюки приятно ломаются на твоих коленях, ког- да опускаешься в кресло. И, кстати говоря, только в эти короткие минуты ты не забываешь поддерживать их, садясь.

Так вот, когда она вошла, нечто произошло. Наша ин- туция ошибается редко. Она угадывает так властно, что побеждает врожденную робость и застенчивость.

Франциска погладила брюки и принесла их. И я по- нял, что она чего-то ждет от меня.

Но свет погас, и совесть моя была светла. Где бы я Франциску нашел? Во тьме, в чужом месте? Без языка?

В номере горела на столе свеча, штора была откynu- та, окно выходило на стоянку машин, подоконник был очень низким.

Я посидел у окна, глядя на черные ночные деревья, на номер итальянского «фиата» со словом «ROMA». «Фиат» ночевал под моим окном и был слабо освещен свечкой. Здоровый смех туристов доносился из ночи, здоровый

смех сквозь здоровые зубы. Наверное, кто-нибудь рассказывал о стриптизе в Дубровниках. А я, очевидно, человек старомодный. Мне не нравится стриптиз. Мне жалко женщин, хотя я знаю, что они исполняют обряд раздевания не без удовольствия. Но мне жалко их. Мне нужна добрая улыбка горничной, хотя никогда не знаешь, почему она улыбается? Или ждет чаевых, или уже в благодарность за них... Именно этими мыслями я утешал себя. Я ведь не мог забыть, что подумал: «как бы чего не вышло». Но это «как бы чего не вышло» плотно сидело во мне. Плотнее, нежели я хотел бы.

Я задул свечу и лег спать.

Да, утром, когда я встал и пошел купаться на горные озера, мне хорошо было оттого, что ничего такого не вышло. Это вечером можешь делать глупости. А утром ты уже другой.

Я сиганул в озеро с разбега.

Столетние дубы еще спали надо мной, тень их была холодна. И вода была холодна. И, согреваясь быстрым брассом, я опять подумал о том, как великолепно, что свет потух и ничего не вышло. Это все-таки главное — чтобы ничего такого не вышло.

Я, конечно, боялся увидеть Франциску. Но когда я уже зашелкивал саквояж, она постучала и вошла в номер.

Я показал ей на лампочку и развел руками.

Она кивнула.

Я взял саквояж и протянул Франциске руку.

Она покачала головой, стояла у двери и теребила фартучек. Потом сказала: «Здравствуй». И убежала.

Ну что ж, подумал я. Вот так все и бывает. Вот так все и бывает. Когда хорошее уже рядом, попадаешь за стол, ужинаешь, слушаешь разговоры о темных очках. Потом гаснет свет.

Машина шла хорошо, дорога была пустынна, раннее солнце просвечивало зелень деревьев. Первая сигарета дурманила голову. И хотелось не забывать грусть расставания с Франциской. Но скорость затягивала в привычную игру с дорогой, со встречными машинами, указателями и неизбежной опасностью, потому что всегда, когда сидишь за рулем, ощущаешь настороженность, и она особенным образом будоражит.

Тело хранило свежесть утреннего купания, изумрудная вода горных озер еще не выветрилась из пор и отдавала озон, которым напиталась, падая с каменных круч.

Прекрасна была природа Хорватии вокруг. Август лениво развалился среди гор, лесов и лугов. Август беззаботно шурился на раннее солнце. Он и думать не хотел о том, что рано или поздно придет сентябрь, и октябрь, и январь. Август валялся среди цветущего клевера, ромашек и глазел на строгость горных вершин вокруг долины. Ему не было никакого дела до меня. Глубокий мир лесов.

Вираж. Еще один вираж. Жжих! — мостик через ручей. Роща. Тень и свет на ветровом стекле. Вжих! — встречная машина. Опять вираж. Стадо баранов, бредущее вдоль правой обочины. Дисциплинированные бараны второй половины двадцатого века. Можно не бояться, что какой-нибудь молодой баран метнется на шоссе.

Девчонка лет пятнадцати позади стада с длинным бичом в руках.

Бич взлетает над ее головой и косо падает поперек шоссе, под колеса машины.

Близко проносится озорное лицо. Она хохочет. Ей весело кидать бич под колеса встречных машин. Еще несколько секунд в зеркальце видно стадо баранов и девчонку. Она машет рукой.

Прощай, Франиска. Дорожные встречи чаще бывают грустными. Но дорога сама потом вылечивает грусть — до обидного быстро. И все-таки как грустно, что я хотел, чтобы ничего не вышло. Как это грустно, как это грустно...

КАК Я НЕ НАПИСАЛ СТАТЬЮ ОБ АРКТИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

После возвращения домой я отправился в командировку. Маршрут: Архангельск — Соловки — Дудинка — Игарка — Мурманск. Отправитель: «Литературная газета». Аванс: восемьдесят пять рублей. Цель командировки: принять участие в первом арктическом туристском рейсе теплохода «Вацлав Воровский» и описать виденное, как всегда, правдиво и талантливо.

Шестого сентября прибыл в Архангельск с пишущей машинкой «Эрика» в чемодане.

Когда чемодан вышвырнули из самолета на бетон аэропорта, «молнии» лопнули.

Я давно знаю, что на Севере с вещами случаются неожиданности. Четырнадцать лет назад я был молодым, блестящим, проворным флотским лейтенантом, но мой чемодан в Мурманске переехал маневровый паровоз. В чемодане был кортик. Он числится за ВМС до сих пор, потому что я еще не знал, что по любому поводу нашей жизни следует составить акт при двух свидетелях. Теперь я об этом знаю, однако амортизация сердца и души уже велика — акт на лопнувший чемодан я не составил. Перевязал чемодан брючным ремнем и поехал в местную газету отмечать командировку.

Известно, что интеллигентный человек, оставшись без брючного ремня или подтяжек, сразу превращается в гопника. Потому эти вещи в милиции отбирают первыми.

Я чувствовал себя неловко в редакции газеты. А там еще сидел столичного, лощеного вида мужчина и орал по телефону в Москву:

— Белоснежный! Понимаете, бе-ло-снеж-ный! Да-да! Как чайка! Птица такая, птица! Белоснежный, как чайка, лайнер «Вацлав Воровский» застыл у причала... Повторите!..

Я представился, придерживая брюки.

— Еще один корреспондент! — всплеснула руками секретарша.

— А что, нас уже много?

— Журнал «Турист», «Вечерняя Москва», «Неделя»...

Я не собирался показывать, что «Литературка» способна бояться конкурентов. А на деле совсем скис, потому что выступал в роли спецкора второй раз в жизни. Кроме того, никакой я не газетчик. Я боюсь людям вопросы задавать. Слишком я деликатен, скромнен и не уверен в себе, чтобы лезть в души людей выпрашиваньями. Я обычно на тонком лиризме выезжаю, на самоанализе и пейзажах.

Мы познакомились со столичным коллегой, и он повел меня на причал. По дороге рассказал, что приехал вчера, в море никогда раньше не был, но уже начал работать над подвалом «Спасите наши души».

— Чур, не воровать! — сказал коллега. — Это расшифровка сигнала бедствия!

Я был зол на расползающийся чемодан и сказал, что SOS есть SOS, никаких там душ нет, все это выдумки и ерунда; пусть коллега лучше поможет мне тащить ве-

щи. И он помог, и я ему был благодарен. Но потом, уже в рейсе, он так надоел мне куриными темами подвалов и глупыми вопросами, что разок пришлось выгнать его из каюты.

На белоснежном лайнере я прошел к чифу, то есть старшему помощнику капитана, и представился. От чифа на судне зависит все. Капитаны витают слишком высоко над грешной землей и святым морем, чтобы от них была реальная помощь в судовом быту. Это я пишу для всех спецкоров «Литературки», делюсь опытом.

Естественно, что я получил в полное распоряжение двухместную каюту, а коллеги остались в таких каютах по двое. И это вызвало ко мне нездоровый интерес. Но когда коллеги узнали, что я на командировку получил восемьдесят пять рублей, то утешились.

Я распаковал чемодан. «Эрика» оказалась разбитой вдребезги.

Это был удар ниже пояса. Если настоящий, хороший писатель привыкает создавать образы на машинке, у него вырабатывается отвращение к перу и карандашу.

Туристы весело шумели за окном каюты, собирались к Ломоносову. За оградой причала я видел Петра Первого. Вокруг Петра мальчишки играли в войну, лупили друг друга вырванными с корнем подсолнухами. Булькала Северная Двина.

— Надо, надо было составить акт! — твердил я. — Когда ты научишься, дубина, жить по-человечески?

Седьмого сентября стали на якорь у Соловков.

Было объявлено, что для доставки туристов на острова еще позавчера из Кандалакши вышел специальный катер. Это мне не понравилось. Знаю я эти катера из Кандалакш, Пинег и т. д. Здесь работает невозмутимый народ — поморы. Они никогда никуда не торопятся. И я отправился к старпому на разведку.

Чиф сидел грустный. Перед ним грустно стоял боцман. Боцмана звали «дракон». Это был самый здоровенный из всех боцманов-драконов, каких я видел.

— Придет катер-то? — спросил я чифа.

— Исчез без вести, — сказал чиф и слабо ругнулся, глядя в окно на зеркально штилевое море.

Дракон тяжело вздохнул. Ему, очевидно, предстояло возиться со спуском на воду судовых плавсредств и самому переправлять туристов в монастырь.

— Подождем до обеда? — спросил дракон с надеждой.

— Подождем, паренек, — обреченно согласился старпом.

На каждом судне бытует особо любимое обращение друг к другу в нестрогое время. На «Вацлаве Воровском» таким словом было «паренек».

Помню, на «Вытегре» все звали друг друга «организм». Боцман являлся ко мне и говорил: «На покраску корпуса надо пять организмов». Я отвечал: «Больше трех организмов дать не могу». На одном рыболовном траулере главным обращением было «сундук с клопами». Штурман кричал с мостика: «Когда этот сундук с клопами флаг спустит?» Сундук с клопами, то есть подвахтенный матрос, бежал куда следовало и спускал флаг.

Часто употребляется слово «волосан». Раньше оно имело оскорбительное значение. Рыбаки плавали на угле, мылись соленой водой, не стриглись весь рейс и возвращались в родной порт обросшие волосами, грязные и дикие. Отсюда и «волосан». Теперь рыбаки возвращаются чистые, наглаженные, оскорбительный оттенок обращения забыт.

«Волосан» употребляется с различными прилагательными. Например: «тропический волосан», «шестигранный волосан», «лошадиный волосан», «восьмиугольный волосан» и т. д.

Туристы, которые с раннего утра торчали на палубе, обвешанные фотоаппаратами, в сапогах и меховых шапках, часикам к одиннадцати стали возвращаться в каюты. Катера из Кандалакши не было.

И здесь, взамен Соловецких островов, было объявлено другое мероприятие: демонстрация кинокомедии «Тридцать три».

Я вздрогнул от гордости, ибо принадлежал к авторам этой комедии.

Я очень хороший писатель, поэтому никогда не вижу своих книг в руках трамвайных пассажиров. Очевидно, меня читают в интимной, домашней обстановке, чтобы как следует сосредоточиться. Вообще-то я еще не встречал человека, который бы слышал мою фамилию. Это потому, что вокруг меня много завистников.

И я занялся кинематографом. Бессмертный зверинорморской фильм «Полосатый рейс» — моя работа, хотя, как и всегда, соавторы мешали мне раскрутить талант на пол-

ную катушку. Единственная современная трагедия, пахивающая Шекспиром, — «Путь к причалу» — испорчена композитором Андреем Петровым и поэтом Поженином. Они сочинили популярную песню с художественным свистом. Чтобы заставить человека вспомнить трагедию, мне приходится говорить: «Помните, там есть песня: „...друг мой — третье мое плечо — будет со мной всегда...”» — «А! — говорит зритель. — Как же! Помню!»

Действительно, попробуй такое забыть — третье плечо! Из какого места оно произрастает?

После демонстрации на «Воровском» фильма с голым Евгением Леоновым в главной роли я кое-что предпринял для того, чтоб туристы узнали, что я есть я. Через денек ко мне прибыла делегация и умаслила душу просьбой выступить в цикле «Интересные люди среди нас».

Один интересный молодой человек — кандидат математических наук — уже выступал в цикле. Я присутствовал. И узнал, что Вселенная расширяется, но молодой кандидат еще не знает, откуда, куда и зачем она это делает. Встречались мы и с дамой, которая ездит по Европе и собирает коллекцию чемоданных наклеек.

Я уже говорил, что страдаю застенчивостью, деликатностью и т. д. Но тоже выступил, рассказал несколько баек о якобы случившемся при съемках.

Кино настолько таинственная вещь, что даже умные люди верят, например, мне, когда я вру, что у дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой был огромный удав и он вылез из клетки, а дело было в поезде. И вот удав переполз из своего вагона в вагон-ресторан, по дороге замерз и в ресторане, чтобы согреться, обвился вокруг титана с кипятком, раздавил бак, обварился какао и поднял нездоровую возню и гам. Поезд остановили стоп-краном. Маргарита вбежала в ресторан, размотала удава с бака и т. д.

Ну скажите, как может змея открыть четыре двери на переходных площадках вагонов? А ведь никто не сомневается, никто никогда не дал мне затрещины, слушают с таким напряжением, что стыдно потом из бюро пропаганды деньги получать... Кино — самый массовый психоз из всех.

«Это правда, что Алла Ларионова ушла к Изу Монтану, а Николай Рыбников и Симона Синьоре повесились?»

Отвечаешь и на такой вопрос, потому что наш зритель лучший в мире и его надо любить и уважать.

Но самые ужасные вопросы — это когда ты уже пальто надел, а тебя в дверях хоп — с боков под локотки — и в теорию киноискусства. Это зрители-киноведы, серьезные знатоки, им на личную жизнь Клаудиа Кардинале и на твою наплевать.

Среди туристов оказалось двое таких. Фамилия одного была Лисица, другого — Щегл.

Они поймали меня в баре и сели по бокам, представились, потом Лисица сказал:

— Любая фантастика, уважаемый автор, научная или там ненаучная, абстрагируясь в ирреальное, иносказательное, полезна, очевидно, тем, что позволяет четче прояснить суть процессов реальной действительности. Вы согласны?

— Это вы о «Тридцати трех» или о «Полосатом рейсе»? — спросил я и вспотел.

— Да, — сказал Щегл многозначительно. — О «Тридцати трех».

Тогда я объяснил, что не являюсь профессиональным физиком-теоретиком, и прошу перевести вопрос на русский, обыкновенный язык.

— Мы хотим спросить о положительном нравственном кредо, — перевел Лисица. — Должно быть в художественном произведении положительное нравственное кредо?

Я сказал, что если они признают произведение художественным, то в нем, следовательно, уже есть положительное кредо. И вспотел еще сильнее, потому что не люблю таких слов, как «кредо».

— Вам не кажется, что разрушительный пафос сатирического осмеяния потенциально должен быть наполнен пафосом утверждения? — спросил Щегл, холодно и пронзительно глядя мне в лоб. Он не мог перейти от физических понятий — «потенциал», например, — к русскому языку.

Я смутился и пробормотал что-то о необходимости Щедриных.

— Они необходимы, — согласился Лисица. — Но не кажется ли вам, что, заноса гневный бич сатиры, нужно тридцать три раза отмерить?

Я с детства знал от бабушки, что отмерять надо семь раз. Так гласит народная мудрость. Но Лисица и Щегл хотели отмерять почти в пять раз больше, нежели русский народ.

И я чего-то испугался, ощутил почему-то дрожь в коленях. И по привычке свалил все грехи на соавторов, бла-

го те были далеко. Я сказал, что мерил тридцать три раза, а вот соавторы совершенно разболтались, распустились, потеряли самоконтроль, дисциплину. И один — лауреат Ленинской премии — отмерил всего пять раз. А другой — заслуженный деятель искусств — вообще докатился до того, что отмерил четыре с половиной раза.

— Нам не было смешно, когда мы смотрели фильм, — сказал Щегл.

Я сказал, что юмор прикрывает непонимание чего-либо. Когда соединяют контрасты в единое целое — ставят толстого Санчо рядом с тощим и длинным Дон-Кихотом, — нам почему-то делается смешно. Нерешенные противоречия, объединенные под одной крышей, комичны. Маркс сказал, что человечество, смеясь, прощается со своим прошлым, в котором оно совершало ошибки, путалось в противоречиях, делало глупости. Юмор — здоровое предчувствие скорого решения противоречий. Кинокомедию нельзя сделать без юмора. Если у нас мало смешных комедий, значит, у нас мало юмора. Если у нас мало юмора, значит, нам все ясно, противоречия разрешены, глупости исчезли. И этому следует только радоваться. Когда люди чему-либо радуются, они почему-то тоже смеются. Так смейтесь, граждане! На кой черт вам комедии вообще?

Лисица и Щегл смеяться не стали.

Но в волнах разрастающейся вокруг меня кинославы этот разговор скоро забылся.

Коллеги-журналисты передавали в эфир статьи, очерки и подвалы о подъеме специального туристского флага, о свинцовых волнах Баренцева моря, о льдах Карского. А я все общался с любителями кино и отвечал на вопросы, терял скромность, забывая величайшее изречение творца теории относительности: «Юмор и скромность создают равновесие».

Знаете вы, что такое слава? Нет, вы не знаете. Это знает только Евтушенко и я, хотя моя слава распространялась на сто двадцать метров в длину и на двадцать в ширину — таковы размеры теплохода «Воровский». Уйти в тень от славы, сжаться в маленький, незаметный, серенький комочек, уехать куда-нибудь в глушь, в Саратов, как постоянно делает это наш знаменитый поэт, я не мог, потому что, как моряки говорят: «Судно по сушу не обойдешь и на лошади не объедешь».

Слава возбуждает. Чтобы погасить возбуждение, я пил коньяк. Но когда выпьешь, уже не до писания статей в «Литературку».

Короче говоря, очнулся я, когда «Воровский» швартовался в Диксоне. Судовые динамики дружно ревели: «Четвертый день пурга качается над Диксоном...»

Шел дождь.

Отсюда диктор Всесоюзного радио когда-то начинал перечислять температуру нашей великой страны. Должен сообщить, что купцу Оскару Диксону такая честь никогда не снилась. Он тихо, мирно жил в Швеции и здесь даже близко не был, но давал деньги Норденшельду. А Норденшельд назвал бухту именем благодетеля.

Я вылез на палубу и увидел знакомые низкие сопки, тусклые низкие тучи, штабеля угля в порту, тяжелые силуэты ледоколов «Капитан Мелехов» и «Капитан Белосусов» на рейде, главный причал, возле которого мы ошвартовались, краны и маленький заливчик за причалом.

Тринадцать лет назад я пытался укрыть судно в этом заливчике. Шторм сатанел тогда над Диксоном. Шторм взасос, как говаривал Пастернак.

Я плохо выбрал место стоянки, и судно сорвало с якорей. И я было завел его в заливчик, но портовой диспетчер выгнал оттуда. Разворачиваясь против ветра, я дал машине самый полный ход, чтобы побольше швырнуть стремительной воды на руль и вывернуться. Но врезал в причал. Как я был несчастен тогда, как устал, как был одинок...

Стоя на застекленной пассажирской палубе лайнера — спецкор «Литературки», — я думал о своем прошлом с завистью. Грусть несбывшихся мечтаний была во мне. Портальный кран вытаскивал из носового трюма белоснежного лайнера ящики с пивом. И грузчики дрожали крупной дрожью, ожидая, когда бутылки окажутся в их заскользящих руках. О, пиво в Арктике! Какая это радость и удовольствие, какое духовное приобщение к цивилизации!

Туристы альпинистской цепочкой удалялись в поселок, добросовестно месили тундру, мокрую угольную пыль, грязь сапожками, ботинками, галошами, ботами и ботинками.

Я глядел на туристов и думал о том, что наименования женской милой непромокаемой обуви и судна, положившего начало российскому флоту — «Ботик Петра Великого», — одинаковы. Вот как тесно увязаны в нашей истории женщины, флот и русская грязь. А еще я поймал себя на мысли, что с каждым посещением Диксона удаляюсь от причала все на меньшее расстояние. Году в пятьдесят

третьем я весело шагал через весь поселок в барак-клуб танцевать падекатр с рыбачками — ловцами белух. Других танцев тогда не танцевали. Потом навещал только столовую: рядом со столовой была щель, в щели канистры спирта и две бочки воды — из одной разбавляли спирт, в другой полоскали кружки. Над бочками висел плакат: «Не пей сырой воды!» Потом ввели сухой закон, и я стал ходить только до почты. Потом — до могилы Тессема. Тессема я навещаю и теперь.

Норвежские матросы Тессем и Кнудсен были отправлены Амундсеном с Таймыра на Диксон с почтой. Им предстояло пройти девятьсот километров. Через два года на мысе Стерлегова обнаружили остатки костра, в костре — консервные банки, сломанный нож, гильзы, обуглившийся человеческий труп. Останки принадлежали Кнудсену.

Тессем не дошел до полярной станции Диксона четыре километра. Почту он бросил всего в восьмидесяти километрах — два пакета по двадцать фунтов каждый. Документы были в непромокаемой обертке и сохранились.

От ворот порта до могилы Тессема метров четыреста.

К гранитной глыбе прислонен якорь, вокруг якорные цепи.

И я навещаю Тессема. Я знаю, что он видел огни зимовья, когда оступился, сорвался в неглубокую расщелину и не смог уже подняться. Кем считать его, думаю я, глядя на льдины, севшие на камни под береговым откосом за могилой, — победителем или побежденным?

И в этот раз я навел на норвежского матроса, рассказал, что скоро его капитан Амундсен, исчезнувший без следа в океане, воскреснет на экранах в фильме о спасении Нобиле. И что фильм будет правдивый, хороший, потому что сценарий написал старый полярник Юрий Нагибин, а снимает фильм отчаянный воздухоплаватель Калатозов, который одинаково хорошо знает и Кубу и Северный полюс...

Навестив Тессема, я было зарулил обратно на лайнер, но вспомнил о восьмидесяти пяти рублях. Сознание долга — главное мое человеческое качество. Рубли надо было отрабатывать, собирать материал, делать обобщения. И я побрел по главной улице Диксона... и вдребезги простыл.

Гриппозное состояние характерно тем, что все видишь в черном свете. Простой насморк стоил Наполеону в конечном счете головы.

Валяясь в каюте и чихая, я придумал тему для статьи. Я решил написать о глубочайшем нашем неуважении к самим себе, которое проникло к нам в кровь и плоть.

На теплоходе звучала музыка, девушки-туристки играли в волейбол привязанным мячом, танцевали, участвовали в викторинах; мои коллеги тоже пользовались жизнью, выясняли у стариков туристов подробности их героических биографий. А во мне бушевали вирусы, и я на все смотрел сквозь черные очки.

В музыкальном салоне устраивали выставки фотографий, напечатанных уже на судне, восхищались видами Соловецких островов, награждали автора — это оказался кандидат наук — премией. А я... я потерял правильную точку зрения и залез на обыкновенную кочку.

Я вдруг вспоминал Соловецкий монастырь и объявление у входа на берег: «За отпуск собак в лес — штраф!», и двух пьяных. Пьяные лазали по крепостным стенам, материли туристов, гоготали и выламывали доски загородки. Бледная девица-экскурсовод смотрела на них с ужасом. Никто из туристов не дал им в морду; все делали вид, что ничего не видят. Экскурсовод сказала, что у заповедника нет денег на сторожа. И я подумал, как жутко ей жить здесь длинную зиму, среди руин, среди святых камней, среди тысяч неизвестных могил.

Знакомый моряк, который служил на Соловках в войну, как-то рассказывал в кают-компании веселую историю. Рыли в горе гараж и наткнулись на склеп. В склепе лежал старец. Он был похоронен двести лет назад, но отлично сохранился, даже платье порвать оказалось трудно. Старец был при бороде, золотом кресте и бляхе. Золото содрали, а труп вытащили и посадили возле дороги на ленок, подперли лопатой, в рот сунули самокрутку. Шла по дороге женщина, кликнула старца, присмотрелась и ахнула в обморок...

Боже мой, как хохотала кают-компания! Как хохотал рассказчик, как хохотал я сам...

Соловки — это не акварельные краски моря, зеленых холмов и не монастырь — «как постройка сказочных богатей». Соловки — это запах тления и разрушения.

Вот такие мысли начали вдруг приходить мне в голову и складываться в статью. В уме я резал такую правду-матку, что сам вздрагивал. Я совершенно утерял потен-

циал пафоса утверждения и резал, ни разу не отмеряя...
— Какой простор! — восклицал кто-нибудь, глядя на Енисей. — Вся мощь нашей страны олицетворяется этой рекой!

И вероятно, Енисей действительно был прекрасен, могуч, добр. Но я видел только ржавую полосу вдоль берегов, полосу в десятки сотен километров. Это были сплавные бревна, упущенные из плотов. Тысячи кубометров сибирской древесины, гниющие леса, трупы лесов. Через несколько лет океан вынесет их к ледникам Гренландии. Они могли жить, птицы могли щебетать в их ветвях. Они могли дать нам миллионы долларов... Я вспоминал шведские плавучие лесозаводы у горла Белого моря. Заводы работают на древесине, которую вытаскивают из моря у наших берегов. С каким презрением владельцы плавучих заводов смотрят вслед нашим лесовозам.

— Какой орнамент! — восхищались туристы, когда якуты привозили на судно тапочки из шкуры нерпы. — Как талант народа отражается даже в малом! А медвежьей шкуры можно купить?

Нет, купить их было нельзя. Их можно было только выменять.

И вот плыл по Арктике лайнер с туристами, которые в Европе собирали чемоданные наклейки, рассуждали о расширяющейся Вселенной и о пафосе утверждения, с умилением фотографировали собак в ненецком поселке, но в дома не заходили и сушили на шлюпочной палубе медвежьей шкуры, выменянные на коньяк...

Ныне мода на старину пошла. Модерные торшеры выкидывают, из комиссионных магазинов выуживают кровати мореного дуба с бархатными пологамы. Иконами обзавелись. Причмокивают на святую троицу, рассуждают о похоти святых на обычные крестьянские лики, восхищаются отсутствием святости в богоматери и наличием в ней материнства. Уже и окать модно стало. Считается, что ежели окаешь, то в России и грибах толк понимаешь, а ежели чисто говоришь, то уже в некотором роде мухомор с опенком спутаешь. Есть писатели, которые и в идиотизм старой крестьянской жизни влюблены. Горюют, что в селе жизнь меняется, что ворот колодца не скрипит и лучины не горят. Скорбят по моральной устойчивости, которую город расшатал. Но скорбят такие почему-то на Аэропортовских улицах в Москве. И окают напропалую.

...Глухой ночью, когда мы пересекали Карское море, вдруг шелкнул динамик принудительной трансляции. Железный флотский голос объявил: «Товарищи пассажиры! Справа по борту на курсовом сорок — белый медведь! Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу!»

По теплоходу пронесся единый восторженный вздох.

Сотня полуголых туристов прыгнула из коек и помчалась на палубу. И мужчины, и женщины совершенно не стеснялись друг друга, обнимали друг друга, отпихивали друг друга и вообще вели себя, как в финской бане.

А я чертыхнулся и перевернулся на другой бок.

Я был уверен, что вахтенному штурману медведь померещился: луч прожектора ткнулся в причудливую льдину, тени и блики дрогнули и побежали — вот тебе и весь белый бесплатный медведь.

В южной части Карского моря в сентябре на слабеньких льдинках медведя теперь не найдешь днем с огнем. И еще я подозревал, что вахтенный штурман — паренек живой, остроумный. Ему надоела монотонная вахта, и он теперь покатывается на палубе.

Но даже если мое подозрение соответствует действительности, обижаться на штурмана не следует. Сам того не ведая, он сделал доброе дело. Хотя никто из туристов медведя не видел, но никто в этом не сознался. Утром выяснилось даже, что было три медведя и еще медведица с медвежонком — целый табун медведей...

И что интересно: пройдет несколько лет, и туристы будут в самом деле убеждены, что видели медвежье стадо в Карском море. И будут рассказывать об этом внукам. И попробуй тогда штурман признаться — они ему не поверят! Они скорее разорвут сами себя в клочья.

Так устроен человек — самое мудрое существо в мире.

Человек отличается от других существ тем, что умеет себя обманывать, умеет искренне верить в собственную ложь.

Мои коллеги, настоящие газетчики, тоже выстрелили на палубу, и каждый по-своему описал стадо. Один это сделал так:

«Экзотику подсветили прожектором, и двое мишек, неуклюже подбрасывая толстые задние ноги, скрылись в темноте.

Кто-то заметил:

— Ушли в сторону полюса.

Его со вздохом поддержали:

— И там им покоя не будет. Наткнутся на очередную СП...»

Чувствуете, сколько здесь пафоса утверждения человеческого всемогущества?

А я-то всего-навсего перевернулся с боку на бок!

Из этого наглядно следует, что знание окружающей действительности мешает пишущему человеку. Давно известно, что материал должен сопротивляться, не поддаваться, упорствовать. Надо материал преодолевать, осваивать, плохо его знать, тогда и только тогда получится хороший рассказ. А мне материал преодолевать было не нужно, я его, подлеца, знал не первый год.

Вывод: меня надо посылать не на Север, а туда, где материал окружающей действительности будет мне как следует сопротивляться, — например, в Монте-Карло.

Вместо Монте-Карло судьба опять занесла меня на остров Вайгач в бухту Варнека.

Ночью вошли мы в пролив Югорский Шар, ночью пересекли границу между Европой и Азией.

Не знаю точно, где проходит эта условная линия, продолжая Уральские горы под водой. Про Уральские горы капитан удачно заметил, разглядывая берега в бинокль, что у гор «завалены уголки».

Так вот, когда делили планету на географические части света, то тоже изрядно завалили уголки.

Если страны света разделены океанами, как, например, Африка от Австралии, то тут все ясно и понятно даже слепому. Но Европе с Азией не повезло, и крупнее всех не повезло России. Почему, скажем, жители Омска или Иркутска — азиаты, а, например, туляки — европейцы?

Тут сам черт ногу сломит. А ведь, как ни странно, эта путаница имеет большое значение. Сколько веков уже мир ломает голову над тем, что же такое русский характер. Смотрите, что пишет образованный европеец Киплинг:

«Постараемся понять, что русский — очаровательный человек, пока он остается в своей рубашке. Как представитель Востока, он обаятелен. Но когда он настаивает на том, чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов, а не как на представителя самого западного из восточных, — он является этнической аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело. Хозяин никогда не знает, с какой природой гостя он имеет дело в данную минуту».

Представляете, какой ребус получился для европей-

ских мозгов из-за того, что древние старцы провели границу между Европой и Азией по Уральскому хребту? Бедняге Киплингу приходится иметь дело уже не с русскими людьми, а с «этническими аномалиями».

Посмотрим, к чему приходит автор нашей любимой детской книжки «Маугли» дальше. Итак, он считает нас азиатами и пишет:

«В Азии слишком много Азии, она слишком стара. Вы не можете исправить женщину, у которой было много любовников, а Азия была ненасытна в своих флиртах с незапамятных времен. Она никогда не будет увлекаться воскресной школой и не научится голосованию иначе, как с мечом в руках».

Голосовать без мечей мы давно научились.

Воскресная школа действительно у нас не привилась и является, по моему глубокому убеждению, символом скуки и ханжества. Но при чем здесь женщина, у которой много любовников, я, хоть тресни, понять не могу.

Ах, не надо, не надо было отделять Азию от Европы условной линией! Так неприятно читать глупости у хорошего писателя.

Однако не следует упускать из виду, что и азиаты совсем не торопятся признавать нас своими. Таким образом, мы повисаем в середине. Сидим, в некотором роде, между двух стульев.

Ну и что? Что тут плохого?

Славянофилы и западники крушили друг друга несколько десятков лет — царствие им небесное и вечный покой, избави их, господи, от вечных мук! А что от этого взаимного сокрушительства стало яснее?

Ну, не европейцы мы и не азиаты. Признаем себя осью симметрии. Это не так уж плохо. Симметрия — самый незыблемый закон Мира. Симметрична обеденная ложка, кристалл, человек, собака, акула и вся Вселенная, так как выяснилось, что у Мира есть Антимир.

Конечно, быть осью симметрии дело сложное, и потому мы стали такими сложными, что сами себя не всегда понимаем, но тут уж, как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить...

Вот о чем я размышлял, когда наш белоснежный лайнер входил в бухту Варнека на острове Вайгач.

Что новенького я узнал об острове за те два года, что не был здесь?

Что ненцы называют Вайгач — Хаюдейя. Это означает «святая земля». А называют его так потому, что на Бол-

ванскому Носу было у ненцев главное божество, главный идол — Весак. Весак означает «старик». Весак представлял собсю деревянный столб, очень высокий, трехгранный, о семи лицах. Вокруг толпилось еще несколько сот маленьких столбиков. До 1828 года ненцы кормили своих богов — мазали им губы оленьей кровью. А в 1828 году ненцев всех разом перекрестили в христиан. Правда, никто не подумал о том, как же они будут соблюдать посты, ежели питаются они сплошь мясом. Вышла неувязка, которую никто никогда развязать не пробовал. Известно только, что в свое время бежали на Новую Землю христиане-староверы и что все они чрезвычайно быстро померли от цинги, ибо посты соблюдали со староверской свирепостью...

Утром, обозревая бухту Варнека, я убедился в том, что очередная эпопея по перегону речных судов в реки Сибири в самом разгаре. На рейде обоймами, как сигареты в портсигаре, лежали на якорях очередные СТ и рефрижераторы. Они ждали ледоколов. Наверное, там были и мои товарищи, с которыми мы гнали эти СТ в шестьдесят четвертом году. Но не было возможности к ним добраться.

А на берег я съехал с группой туристов. И ощутил ту странность, прекрасность литераторской судьбы, которая перемешана в то же время с искусственностью и театральностью.

На знакомом кладбище все так же посвистывал ветер в выветренном камне. И так же привольно и далеко виднелось отсюда. И лаяли внизу псы, и чавкала под ногами ржавая тундра. И я увидел новую могилу, городскую, цивилизованную, — граненая, аккуратная каменная плита и знакомая надпись: «Леднев Александр Иванович. Старший помощник п/х „Правда“».

Два года назад в холмик могилы Леднева была воткнута металлическая труба и на металлической дощечке была выбита зубилом надпись. Так его похоронили когда-то матросы — лучше они не могли.

Зимой я получил письмо: «Мой брат — Александр Иванович Леднев — похоронен на острове Вайгач, но считала, что его могила не сохранилась. Сейчас, когда я прочитала Ваши очерки в журнале «Знамя», я узнала, что могила до сих пор уцелела. И я хочу осуществить свою мечту — посетить брата и обновить его могилу...»

Конечно, я поехал к Евдокии Ивановне и попробовал

отговорить ее от этой затеи. Не так-то безопасно отправиться пожилому человеку на край света.

И вот судьба опять занесла меня сюда, и я увидел могилу, которую устроила здесь сестра своему брату. Все это было странно, трогательно, и немного жаль было дощечки со следами матросского зубила.

Мы спустились в поселок. И маленький ненец встретил нас у крайнего домика. Маленький ненец, как и положено, был привязан сыромятным ремнем к колу — чтобы он не мог удрать в тундру, загулять и заблудиться там. Его отчий дом был пуст. Вероятно, родители ушли на рыбалку или на охоту.

Мы немного постреляли из карабинов в пустые консервные банки, промочили ноги и вернулись на судно.

Круиз заканчивался: до Мурманска оставалось только одно-единственное море — море Баренца.

В Мурманске я задержался на теплоходе, ремонтируя чемодан.

Пришел капитан. О нем коллеги писали: «Молод, держится просто, по-настоящему интеллигентен, серьезно начитан, и есть в нем обаяние подлинной морской косточки. Никто никогда не видел капитана поднимающимся по трапу с рукой на поручнях».

Коллегам, конечно, невдомек, что за трап на судне надо держаться обязательно. Дело не в твоей собственной шее. Ее, если хочешь, можешь ломать; но, падая, ты угробишь другого, который шею ломать не хочет. И еще интересно: чем подлинная морская косточка отличается от липовой?

— Слушай, паренек, брось дурить, не уезжай, — сказал капитан. — Что тебе делать дома? Совсем ты разложился — из койки не вылезает! Пора тебе встряхнуться... Диплом штурманский с тобой?

— А что ты, паренек, предлагаешь? — спросил я. Капитан был на год меня моложе. Мы еще были тезки. — Надо ехать, отчет писать для «Литературки». Я им семьдесят пять рублей должен. У них главбух такой волосан, что душу вывернет.

— Мы через недельку снимаемся к самому Нью-Йорку, на Джорджес-банку. Рыбаков повезем, подменные экипажи на траулеры, — сказал капитан и скривился: у него болел гастритный живот. — Четвертый штурман в отгул выходных дней идет. Сдавай техминимум, проходи медкомиссию. Визы не надо — без заходов идем... Никакой главбух тебя в океане не поймает...

— Рано или поздно возвращаться надо... — сопротивлялся я. — Коллеги уже материалы сдали и гонорар получили...

— Плюнь ты на материалы. Смотри! — и он показал мне известную газету, где была заметка о нашем путешествии и фотография теплохода. На борту явственно виднелась надпись: «Вацлав Воровский».

— Наш это теплоход или нет, а, паренек? — спросил капитан.

Я разглядывал долго, чувствуя подвох, но сказал:

— Да.

— Нет, — грустно сказал капитан. — Это однотипное судно, здесь ты прав. Только не «Воровский». Видишь носовой штаг?

— Ну?

— А у «Воровского» штага нет. Я как приехал в ГДР судно принимать, так сразу штаг срубил — вид портит... Туфта эта фотография, — и капитан вздохнул, потер живот. Ему почему-то хотелось видеть в газете именно свое, настоящее судно.

На душе было пасмурно, ибо статья не получилась. Да и может ли получиться статья о неуважении к самому себе?

И я сказал:

— Есть, товарищ капитан! Мне только надо повторить «Правила по предупреждению столкновения судов в море».

МОРСКОЙ ЭКЗАМЕН

1

Белоснежный лайнер «Воровский» стоял у пассажирского причала порта Мурманск, нацелив свой острый нос прямо в двери ресторана «Морской вокзал». В ресторане досаживали отчаянные рыбаки. Они отправлялись к берегам Северной Америки на четыре месяца.

Окно моей каюты было открыто. За окном был отлив и мокрый снег. Пахло морской гнилью. Далеко и близко гудели паровозы, пароходы, теплоходы и электровозы.

Передо мной на столе лежали отходные документы, пачки паспортов и «Распоряжения о подготовке к отправке подменных команд для больших морозильных траулеров в район Джорджес-банки»...

Одиннадцатого октября 1966 года собрать личный состав траулеров для проведения инструктажа... Личному составу сдать паспорта и санитарные книжки четвертым помощникам капитанов... Капитанам траулеров проверить и подписать судовые роли... 12 октября в 23.00 закончить досмотр теплохода «Воровский» пограничными властями... Теплоход должен выйти в рейс 13 октября 1966 года в 01.00...

На все предотходные сутки меня, конечно, засунули вахтенным помощником. Потому я и сидел в каюте, нюхая запахи отлива, подставляя волосы под мокрые снежинки, залетающие в окно, слушая гудки и разные судовые звуки. Остальные штурмана удрали в город Мурманск, чтобы попрощаться с женами или другими подругами.

На причале шумели моторы грузовиков и директор нашего ресторана Жора: пришло приказание сдать с теплохода весь запас спиртного, который остался от арктического туристского рейса. Весь коньяк и «столичную», не выпитые любознательными туристами, директор ресторана Жора выгружал в автофургоны вместе с некоторой частью своего сердца, ибо спиртное, как известно, наиболее способствует выполнению ресторанных планов.

Наше плавание к берегам Северной Америки начальство считало нужным сделать «сухим». Начальство считало правильно: рыбаки — не дети, особенно когда им будет нечего делать в пути и их триста человек, а в перспективе четыре месяца работы в океане без единого захода в порт.

Моя дорога много раз в жизни пересекалась с рыбаками, хотя я никогда не видел их в работе; никогда не видел изнутри траулера, живущего обыкновенной жизнью, ловящего рыбу.

Я видел, как рыбаки тонут, когда служил на спасательном корабле. Я дважды провел на Дальний Восток рыболовные суда Северным морским путем и сдавал их на Камчатке и во Владивостоке рыбакам. Теперь у меня был шанс посмотреть на то, как рыбаки ловят рыбу у берегов Америки, как делается рыбий жир.

Большинство детишек не любит рыбий жир. Я просто ненавидел. И вот в блокаду мать нашла среди склянок домашней аптечки пузырек с остатками этого жира. Пузырек был прополоскан кипятком, и кипяток превратился в благоухающую уху. Какое счастье — уха среди замерзшего города и смерти!

Ученые говорят, что войны играют решающую роль в сохранении рыбных запасов. В период проведения боевых действий ловить рыбу и добывать рыбий жир, естественно, опасно, ее вылов сокращается, и она успевает за время войны опять размножиться. Так было в первую мировую войну и во вторую.

Но если раньше рыбам было выгодно, когда люди дрались, то от третьей мировой войны им лучше не станет — радиоактивность для всех существ на свете есть радиоактивность...

Витамины рыбьего жира вытаскиваются из моря планктонными существами диатомеями. Другие планктонные существа, названий которых я не знаю, съедают диатомей. Мойва съедает их, а мойву больше всего любит треска. Из печени трески вытапливается рыбий жир. Треску ловят те парни, которые допивают сейчас в ресторане Морского вокзала и наивно думают, что на борту лайнера «Вацлав Воровский» они смогут опохмелиться.

Уже неделю я был не спецкором «Литературки», а четвертым помощником капитана, но отрешиться от литературы полностью еще не мог. Готовясь к рейсу, я листал лоции Северной Атлантики и книгу Гуревича «Походы викингов». Было интересно сравнивать современные лоции с маршрутами древних норманнов. Кроме того, как-то удивительно вовремя я услышал по радио «Песнь о вещем Олеге» в очень хорошем исполнении. И вот древние норманны, вещей Олег, Пушкин, скорый уход в море, старые записи в записной книжке — все это смешалось в нечто общее, в такую смесь, которую следовало зафиксировать.

Я знал, что в плавании уже не будет возможности заниматься литературой. И теперь, за несколько часов до отхода, строчил:

«Пушкин никогда не был за границей — царь боялся его выпустить, дать ему визу. Еще бы! Достаточно одного «Годунова»!

Уверены ль мы в бедной жизни нашей!
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, кlobук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.

Каково царю было читать этот шедевр! Главная ставка умного царя — на короткую людскую память. Цари не

любят, когда подданные начинают копаться в истории. Пушкин копался в ней всю жизнь...

Он резвился. Он называл Иисуса Христа «умеренным демократом»: «Я... написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Он озорничал с обаянием неповторимым: «В довершение всех бед и неприятностей только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще ни один дядюшка не умирал так некстати». Это Александру Сергеевичу пришлось отложить долгожданную свадьбу на полтора месяца.

Он взял эпиграфом к первой книге: «В раннем возрасте воспевается любовь, а в позднейшем — смятение». Ныне, по мнению многих, наш мир вступает в зрелость. Посмотрим, хватит ли миру сил разрешить себе смятение.

Пушкину ничего не стоило начертать пером на бумаге «дернуть к тебе» — в смысле «уехать к тебе». И это — в океане вельможного-французской речи!

«Ах, Ах! — вздыхаем мы. — Удел талантов — мучиться творческими поисками и сомнениями!»

Я что-то не слышал, чтобы Чехов или Пушкин мучились творческими сомнениями и поисками. Пушкин даже кричал после «Годунова»: «Ай да я!» Он мучился не творческими сомнениями, а тем, что жена слишком кокетничает и царь подслушивает. Любовь и честь его мучили и домучили. Гении мучаются чаще самую жизнью, а не творчеством.

Почему-то чужая исповедь необходима миллионам других, она почему-то укрепляет их души. Но только гении обладают той степенью бесстрашия, которая необходима в исповеди. Остальные боятся того, что называется «общество», подлаживаются под него, сами зачастую не замечая, думая, что они воюют с ним.

Литература у меня в школе преподавалась из рук вон плохо. Двадцать четыре года потребовалось «Вещему Олегу», чтобы из мертвеца превратиться — в моей голове и душе — в удивительную картину древней русской жизни, в поэму мудрости и величия, в вещего Олега и его коня, и его дружину. И все потому, что «Вещего Олега» заставляют учить в школе наизусть».

Вот какие свежие истины формулировал я, когда появилась уборщица Валя. У нее не было передних зубов

и верхняя губа западала по-старушечьи, хотя сама Валя была совсем молоденькой. Она властно прервала мои литературные занятия.

— Стучать надо, красавица, — сказал я. — И ты не очень вовремя.

— А вы должны койку как следует заправлять, а не просто одеялом прикидывать, — огрызнулась она беззубым ртом.

— Ты когда родилась?

— В сорок пятом, а что?

— А я в двадцать девятом. И за что тебе зубы выбили?

— Мне не выбили, мне гланды вырезали, а зубы мешали.

Я даже восхитился такой явной ложью.

— Ты их давай-ка вставь, а то неудобно как-то.

— Меня и так любят.

— Кто тебя любит? Ты замужем?

— Разведенная.

— А дети?

— Ой, таракан! — завизжала она и отшвырнула кишку пылесоса. — Я их боюсь.

Она, очевидно, так кокетничала.

— Ты не забывай окна мыть, — сказал я. — Видишь, сколько на них соли.

— У меня дочка есть, — сообщила она, подняла кишку и поймала в нее таракана.

Таракан исчез в пылесосе. И я, конечно, представил, как ему темно и безнадежно стало. Обычно я обнаруживал тараканов в графине с питьевой водой — у графина не было пробки, а насекомые хотели пить. Я выливал их в умывальник и открывал кран. Тараканы стойко боролись, но струя смывала их. И мне было как-то совестно за то, что выпускаю тараканов в одиночное плавание. Но я ничего не мог поделать. Очевидно, до меня в каюте жил штурман, который держал здесь еду. На судах нельзя держать еду в шкафу или ящике стола — сразу заведутся тараканы.

— Сколько классов?

— Десять.

— Чего дальше не училась?

— Я курсы на кондитера кончила.

— А зачем плавать пошла?

— Романтика! — опять огрызнулась она.

Я давно заметил, что наши уборщицы не любят, когда

во время уборки на них смотришь. Они испытывают раздражение от своей работы, они не любят ее.

2

Вещий Олег был родственником Рюрика. Норманнское происхождение первого русского князя чрезвычайно раздражает наших историков. Потому некоторые считают его литовцем, а некоторые чистокровным русаком...

Гуревич пишет, что викингов привела в Исландию, затем в Гренландию, затем на Ньюфаундленд цепочка родственных убийств. (Что все-таки ведет к Ньюфаундленду меня?..)

Дочь Эйрика Рыжего не захотела отстать от отца и брата. Она тоже совершила плавание из Гренландии в Америку. Ее звали Фрейдис. И командовала она двумя кораблями.

Как и прежние попытки колонизации Ньюфаундленда, попытка Фрейдис не удалась по одной простой причине — колонизаторы (уже на земле) ссорились, дрались и царапались из-за немногих женщин. Фрейдис это надоело. Она вспомнила своих убийц-предков и навела порядок: убила двоих главных помощников. Но это не помогло. Тогда Фрейдис убила немногочисленных женщин.

Порядок настал, но настала и скука.

Колонисты сели на корабль и уплыли обратно — в Гренландию...

Тут я, конечно, художественно представил древних викингов-переселенцев, как они приплыли к незнакомой земле...

Белые вершины гор, глубокие и узкие ущелья, в которых белели водопады, и равнины, зеленеющие травой...

Они все плыли и плыли вдоль берегов, испытывая сложные чувства раздвоенности, растроенности или даже расчетверенности. Им все казалось, что за следующим мысом земля будет прекраснее.

Киты пускали фонтаны, резвились дельфины. Торжественно мерцали обломки айсбергов.

И наконец кормчий велел бросить за борт деревянный обрубок с изображением их дикого языческого божества.

Божество закачалось на волнах, медленно двигаясь к неведомым берегам. И кормчий приказал спустить парус. Мягкие складки синей шерсти накрыли гребцов с головой. Гребцы выбрали и уложили парус внутрь корабля,

потом разобрали весла. Щиты, укрепленные за бортами, стучались друг о друга, и звенели, и блестели на незаходящем солнце отраженным светом, как луны.

И все люди смотрели вслед качающемуся на зыби обрубку дерева. Заржали, почуяв землю, кони, привязанные веревками к мачте. И заревел бык, и замычали коровы, уставшие от моря. И женщины, прижимая к груди детей, запели молитву деревянному богу. Они молили указать лучший кусок земли, потому что отныне эта земля станет родной навеки.

Обрубок вертелся в прибойной воде, среди пены и брызг, потом море вышвырнуло его на камни.

Кормчий вытащил из ножен огонь битвы — меч — и указал на камни: «Здесь!»

Никто не вышел встречать их, никто еще не жил на этой земле, она была пустынна, загадочна, но тверда и зеленела травой. И значит, здесь витали чужие духи. Их не следовало злить и тревожить. Потому кормчий велел срубить с носа корабля изображение их родного бога и спрятать его под синий парус.

Они отделили голову своего бога от штевня, и, кряхтя от натуги, звеня кольчугами, уложили его на дно корабля, и укрыли парусом.

Потом навалились на весла и выкинули корабль на берег.

Первыми вылезли женщины и вынесли детей. Они стояли на земле и качались, отвыкшие от тверди под ногами. Ветер дул с гор, приносил запах льда. Журчал ручей, и слабый звук его журчания пробивался сквозь шум морского прибоя.

Кони били копытами и рвались.

Коней вывели, впрягли их в корабль, и кони вытащили корабль далеко на берег — за дальний след штормового наката.

И, чуть отдохнув, переселенцы пошли делить новую землю.

Каждому мужчине было положено столько, сколько сбойдет за день с факелом в руке, поджигая на границах своей земли костры. Каждой женщине было положено столько, сколько обойдет за день, ведя в поводу корову...

Мой творческий процесс прервал директор ресторана Жора.

Он был красен и зол.

И сообщил, что у него не хватает шести «кадров» — поваров, корневищ, официанток.

— Куда они делись?

— Зарезали их, Викторыч! — сказал Жора и схватился за голову.

— Где? — с некоторой тревогой спросил я, потому что все-таки был вахтенным помощником капитана.

— В санинспекции!

Это меня не касалось. Если бы их зарезали на борту, то это было бы уже другое дело.

— Как-нибудь обойдешься, — утешил я Жору. — В первый раз, что ли?

— И кладовщица на аборт легла! Утром еще молчала! — сказал Жора.

— Как придет старпом, я ему доложу, — сказал я и засмеялся.

— Чего тут смешного? — взорвался Жора.

Я коротко рассказал ему о Фрейдис о переселенцах, норманнах, о том, как они ссорились из-за женщин и даже убивали их, чтобы жить спокойно на море и возле моря.

— Значит, уже тысячу лет женщины приносят неожиданности морякам, пора привыкнуть, паренек, — заключил я.

— Пошел ты к чертовой матери! — заорал Жора и сам куда-то ушел.

А я продолжал заниматься древними викингами, выписывал из книги Гуревича занятные цитаты и сопровождал их своими собственными глубокомысленными рассуждениями.

Если правда то, что мысль становится материальной силой, овладевая массами, то слово, вероятно, становится материальной силой, овладевая человеком.

Именно это упустил вещей Олег из виду, когда пихнул ногой череп своего коня. Он презрел веру предков в магию слов, в правдивость и мудрость народа, — ведь волхвы вещали от имени самого народа.

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещей язык
И с волей небесною дружен...

Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье...
И вскрикнул внезапно ужаленный князь...

Интересно, что стихи называются «Песнь о вешем Олеге», но и еще один раз употребляет Пушкин слово «вещий»: «Правдив и свободен их вещей язык».

Здесь я решил поставить точку, потому что услышал два судорожных звонка — вахтенный у трапа вызывал меня на палубу.

Я надел форменную фуражку, одолженную у капитана, — в нее легко помещались и оба моих уха, приосанился и пошел на зов.

Вахтенный матрос доложил, что слышит сильный запах дыма. Я тоже услышал запах дыма. «Не хватало еще пожара», — подумал я. И отправился по застекленной пассажирской палубе, шмыгая носом.

Горели всего-навсего окурки в мусорной урне. Я послал матроса за кружкой воды.

Снег кружил у фонарей на причале. Со старика «Репина», который стоял напротив, выгружали мокрые тюки. Привычно хлюпала между бортами вода. Левее «Репина» мерцали сквозь снег городские огни. И вдруг я подумал, что уже оторвался от берега. Мне уже не хотелось сойти с трапа, отправиться в город. Это особенное чувство — оторваться от берега, его забот и соблазнов, потерять к земле и всему земному интерес. Не на словах потерять интерес, а на деле. С таким ощущением, должно быть, закрывали за собой монастырские двери настоящие, истинные монахи. Это какое-то цельное, хорошее, чистое ощущение, но с примесью грусти, конечно, — ощущение близкого ухода в море.

Я уже знал, что пойду к берегам Америки не раз и не два. Я решил поплавать дольше — до весны.

Поднялся по трапу занесенный снегом человек, велел убрать с причала разбитые ящики — тару.

— Вы-то уйдете, а мне с ними что делать?

Он был прав — разбитые ящики были наши. Я вызвал боцмана-дракона, и мы с ним в четыре руки перекидали ящики за борт, чтобы в море пустить их плавать по волнам.

3

Я передал привет Норвегии от ее верных матросов Тессема и Кнудсена, спящих под камнями далекого Диксона, когда мы огибали мыс Нордкап. Его зеленоватое таинственное отображение мерцало на экране радиолокатора. Я брал на мыс пеленг и мерил до него расстояние, прижавшись лицом к резиновому наморднику выносного индикатора.

С боков в намордник проникал дневной свет. В линзе

экрана я видел свое лицо увеличенным раза в два. Каждую пору, и каждую морщину, и прыщик на щеке. Что поделаешь, если вдруг замечаешь свое старение, и дряблость своей кожи, и следы прощальной выпивки — и все это в двойном масштабе.

Весь рейс, склоняясь к экрану радара, я невольно думал о том, что я уже не тот, кем был. Крути не крути. А иду четвертым помощником капитана. И продуктовый отчет — на моей шее. И заявки на питание экипажа, и книга приказов... А впереди огромный простор Атлантического океана, в котором я никогда не плавал и который изучал только по лоциям.

Не знаю, кто и что виновато в том, что я не плавал в Атлантическом океане. Но не могу винить себя в этом. Уж я бы не отказался, предложи мне кто-нибудь такое развлечение. Мне удалось поглядеть на Тихий океан — остальные остались за кадром. Ледовитый океан — понятие относительное. Северный морской путь проходит по его морям. Сам Ледовитый океан реальность только для моряков атомных подводных лодок и зимовщиков на СП.

Океан и море — разные вещи. Недаром эти слова разного рода. Океан — мужчина. Море — не мужчина и не женщина. Оно именно «оно». Море принадлежит океану и является частью его, хотя обязательно имеет свой нрав, характер и свои каверзы.

В море моряк мыслит понятиями портов, проливов и мысов. В океане моряк мыслит понятиями континентов и государств: «Сейчас ляжем на Исландию, оставим Англию по левому борту и повернем на Канаду». Только летчики и главы государств еще могут так свободно обращаться с континентами. Но государственные деятели — это, конечно, не то. Они не знают, чем пахнет дорога между континентами. Такое знают только те, чьи руки лежат на штурвалах.

Недавно один большой политик — премьер Австралии — решил сам понюхать, чем пахнут дороги между континентами, — нырнул в океан с аквалангом. И не вынырнул. Интересно, что думали акулы, когда жевали премьера, и какой у него был вкус?..

Такие низкие и высокие мысли бродили в моей голове, когда я уже окончательно забросил литературу и стоял первую ходовую вахту, а белоснежный лайнер «Вацлав Воровский» огибал Скандинавский полуостров, чтобы вскоре «заложить дугу» от Фарер на Сент-Джонс.

Я, конечно, думал и о тех вещах, о которых следует ду-

мать штурману на вахте. И еще испытывал радость. Это так приятно, когда руки лежат на штурвале! Хотя это и не твои руки непосредственно лежат на штурвале, а рулевого матроса, но они как бы твои собственные. Правда, и штурвала никакого нет. Есть две гладкие, приятные на ощупь кнопки или маленький полукруглый кусочек баранки...

— Вы ко мне зайдите после вахты, — сказал капитан-наставник, разрушая высокий настрой моих мыслей и чувств. — Побеседуем об Уставе и других интересных вещах... Вы ведь давненько уже самостоятельно не плавали...

— Есть, — сказал я.

И скис, как тогда, когда узнал, что в арктический туристский рейс отправляется куча профессиональных газетчиков.

У капитана-наставника было отвратительное настроение. Он узнал, что идет в длинное, утомительное и скучное плавание к Джорджес-банке за час до того, как мы отдали концы. Он даже не успел попрощаться с женой, а жена должна была через неделю отмечать день рождения.

Должность капитана-наставника — странная должность. Делать ему толком на судне нечего, потому что существует основной, штатный капитан. А капитан-наставник должен помочь штатному капитану, ежели произойдут какие-нибудь особенные обстоятельства. В Уставе, кстати говоря, о такой должности не сказано ни слова. Так как безделье томит даже ленивых людей, капитан-наставник начинает придумывать для всех на судне экзамены, играть тревоги и записывать неизбежные грехи и промахи в книжечку-конduit. От скуки капитаны-наставники любят путать штурманов хитрыми, каверзными вопросами. Они, например, могут спросить: «Охотник вышел из своей хижины на охоту и прошел на зюйд десять и три четверти мили, потом он повернул к весту и прошел еще десять и три четверти мили. Здесь охотник увидел медведя и стрелял в него. Медведь побежал на чистый норд и упал мертвым возле хижины охотника. Как зовут этого медведя и где находится хижина охотника?»

Восьмиклассник сразу ответит, что медведя зовут Белый, а хижина находится на Северном полюсе. Но штурман на то и штурман, чтобы серьезно задуматься над этой историей. В голову лезут квазикоординаты, ортодромии, гномонические проекции и черт те знает что.

И ляпнешь такую чушь, что потом не спишь две ночи от стыда.

Все может спросить капитан-наставник. Он может поинтересоваться тем, каковы обязанности вахтенного штурмана, если впереди по курсу разорвалась в дистанции тридцать миль атомная бомба на глубине пятидесяти метров. Ты, конечно, можешь ответить популярным анекдотом, что надо переодеться в чистое белье и медленно ползти на кладбище. Но он спросит: «А почему именно медленно ползти?» И если ты не знаешь, что ползти надо медленно, чтобы не вызвать лишней паники, то получишь двойку по спецподготовке и тебя не пустят в рейс. Вот что такое капитан-наставник, и вот какие он может задавать вопросы.

Я спустился в каюту и еще раз полистал Устав. Как всегда, бесчисленные пункты «обязан» смешались в кучу.

«Устав плавания на судах советского морского флота» — прекрасная вещь. В нем опыт аварий и недосмотров, которые случались и чуть было не случились с десятками поколений моряков. Именно поэтому никто запомнить Устав не может. Устав можно помнить и стараться исполнять исходя из главных сутей. Но когда надо сдать экзамен по Уставу, ты становишься в тупик. Или, как моряки говорят, упираешь рога в переборку. Ты, например, забудешь упомянуть, что при стоянке на якоре надо следить за якорем. Это не значит, что когда ты в самом деле стоишь на якоре, то тебе на это наплевать. Но на экзамене это пропустишь. Или не доложишь, что в случае опасности ты обязан принимать против этой опасности меры. Хотя только кретин не принимает мер против опасности, которая ему грозит. Или ты перечислишь все виды информации, которые следует получить у сдающего тебе вахту штурмана: о берегу, своих огнях, встречных судах, погоде, видимости, прогнозах, предупреждениях, приказах капитана, но не скажешь о «распоряжениях по вахте», то есть о том, что повара надо пихнуть под ребро в шесть ноль-ноль по Гринвичу. И ты опять спекся.

Недаром Петр Первый велел:

Читай Устав на сон грядущий!
И поутру, от сна восстав,
Читай усиленно Устав!

Однако российский народ коротко ответил царю пословицей: «Жить по уставам тяжело суставам»,

Без энтузиазма я переступил порог шикарной каюты-люкс, в которой жил капитан-наставник.

Приемный холл каюты выходил окнами на корму и оба борта променад-дека. За синими, вечерними стеклами окон виднелся, белел наш кильватерный след. В спальном отделении каюты стояли две широкие, роскошные кровати. Вероятно, лишняя кровать неприятно действовала на капитана-наставника, напоминая ему о дне рождения супруги.

Сам наставник сидел у стола и барабанил пальцами по Уставу. Звали наставника Борис Константинович Булкин. Он был, конечно, не молод, но и далеко не стар, сух, подтянут, имел губы тонкие, насмешливые: имел еще лысину, довольно уже порядочную.

— Итак, — сказал он, — вы, четвертый помощник, — писатель? Садитесь, пожалуйста.

Я сел и ощутил сухость во рту.

— Это имеет какое-нибудь отношение к будущей экзекуции? — спросил я. Я уже давно заметил, что звание «писатель» означает в глазах нормальных людей нечто совершенно несовместимое с серьезным знанием чего-нибудь конкретного на свете.

— Да, — сказал наставник. — Имеет. Если вы писатель, то на кой черт вас несет в этот рейс?

— Иногда полезно проветрить мозги, — сказал я. У меня зрел план. Я хотел попытаться завлечь наставника в «травлю». Мало на свете моряков, которых нельзя «затравить».

— Чего вы тут проветрите? В таком рейсе мухи сдохнут от скуки.

— Ну что вы! — сказал я. — Ведь это опасный рейс! Поздняя осень. Атлантика... Я недавно читал, что в пятьдесят девятом возле Гренландии погиб «Ганс Гедтофт», датское судно, ультрасовременное, построенное специально для плавания в высоких широтах зимой, с двойным дном, с ледовой обшивкой, со знаменитым полярным капитаном Расмуссенем во главе. Они трагически исчезли в океане, успев дать одну радиограмму: «Ганс Гедтофт» в шторм столкнулся с айсбергом... Вы слышали об этой истории? Уже через час на месте гибели спасатели ничего не обнаружили... Может быть, вы знаете какие-нибудь подробности?

— Слава богу! — немедленно оживившись, сказал Борис Константинович. — Я шел тогда из Монреаля на Кубу. С этим «Гансом» погибли тринадцать ящиков на-

ционального архива, направленные в Данию на вечное хранение. Документики с 1760 года и до наших дней... И между прочим, со всеми пассажирами и командой погиб один умный член датского парламента от Гренландии. Он всегда восставал против использования пассажирских судов в гренландских водах в январе, феврале и марте. Его, естественно, считали ретроградом... Н-да, но сейчас октябрь, и мы пойдем южнее, много южнее... Так почему вас понесло в этот рейс?

Я чувствовал, что какая-то брешь пробита. Я верхним чутьем чуял, что можно попытаться увлечь наставника в сторону от Устава.

— Если совсем честно, то мне на время надо было уйти в кусты, смыться, — сказал я.

— Вот уж чего бы я никогда не сделал, если б был писателем, так это не отправился бы в такие кусты, как этот рейс, — с космическим упорством сказал наставник. — В чем все-таки причина?

Смешно было объяснять ему, что я не написал статью об арктическом туризме. «Где моя фантазия? — подумал я. — Беллетрист я или...» И вдруг вспомнил лопнувший чемодан и ощущение мужчины без ремня на брюках.

— Понимаете, — услышал я свой голос как-то со стороны. — Если честно, то... Я, Борис Константинович, убил человека... Вернее, он из-за меня погиб...

— Так бы сразу и говорили, — с удовлетворением сказал наставник. — Подробности помните?

— Конечно, — вздохнул я. — Он писал научно-фантастические романы. И печатался под псевдонимом Бессмертный. Он умер в подмосковном Доме творчества писателей. Вернее, я его там и убил. Понимаете, Борис Константинович, я не умею покупать себе вещи... Бессмертный погиб из-за моих подтяжек... Я купил их на Белорусском вокзале, когда ехал в Дом творчества писать рассказ о море. Я не знал, что подтяжки бывают и для детей. Мне всегда казалось, что подтяжки необходимы только таким мужчинам, как я, у которых брюки куплены без примерки и оказались здорово длиннее, или толстобрюхим мужчинам. Однако дети тоже могут нуждаться в подтяжках. На этом я, вернее Бессмертный, и погорел. Надо было завести детей, узнать тайны их одежек. Тогда он жил бы и до сих пор. И творил о бесконечном могуществе человеческого разума. А он трагически погиб, как «Ганс Гедтофт», и похоронен вдали от родины...

— Откуда он родом? — сурово спросил капитан-наставник.

— Из Душанбе, — ляпнул я и не моргнул глазом.

— Продолжайте, — сказал наставник и опять забарабанил пальцами по Уставу.

— Ну вот, приехал я в Дом творчества, пристегнул подтяжки и потянул их на плечи. Но ничего не получилось...

— Брюки резали в паху?

— Так точно. И тут прочитал на упаковке: «Детские». Я начал морскую службу с шестнадцати лет, — мимоходом ввернул я, — и знаю, что любую снасть можно удлинить или укоротить. Намочил подтяжки горячей водой в умывальнике и натянул на батарею парового отопления: пропустил тросик через грудные и спинные петельки, уперся в батарею коленом — как упираются в бок лошади, чтобы затянуть подпругу, — и деформировал резину, насколько позволяли мои силы...

— Не надо было упираться, — резко сказал наставник.

— Возможно, — послушный, как ягненок, согласился я. — Несколько раз я вспоминал о подтяжках и выбирал образующуюся от постоянного натяжения слабинку... Ну а потом так увлекся творчеством, что мне стало наплевать на брюки, на то, что они висят, как траурный флаг. Я забыл о растянутых до напряжения луковой тетивы детских подтяжках. И уехал из Дома творчества. И вот узнал, что Бессмертный погиб. Он, понимаете ли, занял мой номер...

— Что говорят свидетели?

— Три свидетеля утверждают, что в момент смерти Бессмертного слышали выстрел. «Около часа ночи я услышала над головой сильный звук, который напомнил мне взрыв японской мины образца пятого года», — показывала следователю писательница Константинопольская. Она занимала комнату под Бессмертным, страдала бессонницей и писала мемуары об обороне Порт-Артура; о том, как она еще молоденькой, гибкой девушкой шипала корпию в госпитале. К моменту гибели Бессмертного ей как раз исполнилось восемьдесят три года. Всю свою длинную жизнь не покладая рук трудилась в детской литературе...

— Мужские свидетели были?

— Писатель Выгибин, живший в номере правее Бессмертного, утверждая, что около часа ночи ему в стенку выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья жакана-

ми. Выгибин как раз писал очередной рассказ про медвежью охоту для «Огонька»... Левый сосед покойного был критиком. Он ничего той ночью не писал — просто спал. Но сквозь сон явственно слышал выстрел из «какого-то огнестрельного оружия с тупым дулом» — так он выразился... Верхний сосед Бессмертного оказался молодым поэтом. Поэт заявил, что видел за окном фосфоресцирующий след и слышал характерный для праздничных салютов звук...

— Что дал осмотр трупа?

— При внешнем осмотре трупа никаких следов ранений огнестрельным или холодным оружием найдено не было. Бессмертного увезли в соответствующее место и сделали вскрытие. Патологоанатом установил, что фантаст погиб от испуга. Но следователь еще раньше установил, что комната потерпевшего была закрыта изнутри. Следов пуль, оружия и так далее тоже не было обнаружено. Следствие зашло в тупик. Там оно и стоит.

— И будет стоять еще долго, как я считаю, — сказал наставник.

— Только Агата Кристи и я могут внести сюда ясность и вывести следствие из тупика, Борис Константинович. Дело в том, что на полу номера были найдены куски детских подтяжек. Батарея была позади писательского кресла. Когда я жил в номере, было еще тепло и пар не давали. Потом похолодало, и в батарее дали пар. Представьте себе Бессмертного. Как он выпил вечерний кефир, поднялся в номер, закрылся на ключ. И уединился за столом, слушая слабое шебуршание кефира в желудке. И замечтался о будущем, когда его роман о могуществе человеческого разума будет закончен: небось фантасту представилось, как он едет на такси в издательство сдавать книгу — три папки, шестьдесят листов.

— Как вам платят? — перебил меня наставник.

Я чуть не выругался, потому что увлекся рассказом, а весь эффект концовки теперь пропал. Я, черт возьми, должен был знать, что нет такого читателя, которому не была бы самым интересным в рассказе о писателе сумма гонора.

— Триста за авторский лист и потиражные, — сказал я. — И вот вокруг фантаста сгушалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробуживал пар...

— А что такое «авторский лист»? — спросил наставник.

Господи, какой же читатель не спросит у живого писателя об авторском листе? И какой писатель (живой писатель) знает толком, что это такое? Это знает кто-то там, в издательских и типографских шхерах...

— Двадцать четыре страницы на машинке, — сказал я. — И вот вокруг сгушалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар... И тут в затылок ему выстрелили мои подтяжки: резина не выдержала теплового перепада — лопнула... Не каждый человек герой. И когда тебе стреляют в затылок ночью, то сердце может не выдержать...

Наступила томительная пауза. Кто знает состояние рассказчика, у которого не получился рассказ или не прозвучал анекдот, тот меня поймет. Нет омерзительнее состояния.

За ночными, черными стеклами каюты смутно белел кильватерный след. Мерно качалось судно, мерно били копытами тысячи лошадиных сил. Мы мчались по восемнадцать миль в час.

— Ну-с, — сказал наставник и побарабанил пальцами по Уставу, — и кто виноват?

— Не знаю, — уныло сказал я. — Давайте переходить к делу... Итак, «обязанности вахтенного штурмана на ходу»? Или «звуковой сигнал парусного лоцманского судна в тумане»?

— Виноваты женщины! — твердо, без тени улыбки, сказал наставник. — Это они вас, очевидно, не любят. Потому вы не женаты, не знаете тайн детских одежек. И сами покупаете подтяжки. Виноваты женщины. И нечего вам было пугаться и драпать за океан. У вас какое образование?

— Высшее военно-морское штурманское.

— Будь оно неладно, это высшее образование! — сказал наставник, устраиваясь в кресле поудобнее и закуривая. Минуту назад он дал понять, что попытки увести его в сторону от дела обнаружены, разоблачены. Но он не собирался меня наказывать. Наоборот, начиная собственную «травлю», он приобщал меня к океану, который все шире разваливался, распространялся вокруг. Плевать он хотел на параграфы Устава. Его смутно беспокоило присутствие на судне штурмана-писателя. Теперь этот штурман-писатель был поставлен на свое место. Теперь можно было заняться «травлей» от души, по настроению, со вкусом. Ибо хорошо иногда иметь собеседника, который умеет слушать.

— Будь оно неладно, это высшее образование! Недавно пошла на него мода. И вот вызывают в пароходство морских волков — ветеранов флота, тех капитанов, на которых кит стоит, и намекают: пора вам, парнишки, подучиться. А парнишки сидят седые, войну отвоевавшие, все моря обнюхали. Я самым молодым оказался. Образование, конечно, у каждого есть, но, понимаете ли, среднее техническое. Считалось, у моряка главное не фундамент из высшей математики и химии, а — опыт. Каждый дурак понимает, что чем выше образование, тем оно и лучше, но тут многое зависит от путей и методов. А нас единственным чохом подвели под категорию пацанов, которые после десятого класса поступают в институт или, предположим, в университет. То есть должны мы сдавать вступительные экзамены по программе аттестата зрелости. Ну, народ подобрался, конечно, мужественный и к приказам привыкший: «Надо — значит надо!» Все спокойно согласились на эти экзамены, потому что никто знать не знал, что они из себя представляют. Никогда не забуду, как мы на первое занятие подготовительных курсов собрались и сели. Шуточки, думаем. Сейчас нам по тригонометрии пару вопросиков, по Евклидовой геометрии, по морской астрономии. Ждем, войдет в аудиторию наш коллега, моряк, которому больше нас повезло и он уже высшее образование получил, ну, и поучит нас уму-разуму. На-да, только входит девица лет двадцати двух и говорит:

— Прошу всех сесть за отдельные столы.

Мы рассаживаемся, хихикаем, оцениваем девицу, кто уже ей комплимент, кто-то на «Великолепную семерку» приглашает.

— Итак, товарищи аборигены, — говорит она, — прошу вас написать сочинение: «Образ Татьяны Лариной». Времени у нас с вами полтора академических часа.

Мы помолчали минут пять.

— У меня буфетчица есть Ларина, — говорит капитан дальнего плавания Згуридзе (между прочим, Герой Советского Союза).

— Не понимаю ваших шуток, — режет девица. — Начните, время идет!

Бы бы видели наши рожи! Как в тропический ураган попали, в «глазок бури».

Но кто-то еще дух не уронил, шутит дальше:

— Вот гускай Згуридзе и пишет про Ларину, если у него такая буфетчица есть, а у нас нет! Нам чего-

нибудь ближе к суровым будням нашей действительности.

— Где и как вы учились? — спрашивает девица Згуридзе.

— По системе Дальтона.

— Не знаю такой системы, — говорит девица.

Тут все мы со смеху покатались, ибо половина по этой самой системе и училась, то есть один кто-нибудь, самый башковитый, за группу сдавал экзамен, за бригаду.

— Прекратите смех, — командует девица. — Мне парходство за вас деньги платит, за то, что я вас учить буду, и каждая минута на счету. Прошу писать о Лариной.

Ибтом запахло, как в предбаннике, когда туда роту саперов загоняют сразу после учения. Народ мы, конечно, культурный, «Евгения Онегина», гм, читали, но... писать о Татьяне Лариной! И смех и грех! Первые признаки гипертонии у меня тогда появились — пульсация в висках... И знаете, что интересно... как вас — Виктор Викторович?

— Да, — сказал я, — Виктор Викторович.

— Про эту девицу мы потом узнали, что ее из детской школы выгнали. Не могла она с восьмиклассниками справиться. Безобразничали пацаны на ее уроках. Вот она и уволилась. С капитанами ей проще оказалось. Так нас скрутила! Чуть что — звонит начальнику парходства. Или забудется и кричит: «Товарищ Булкин! Без родителей на следующее занятие не приходите!» А я, между прочим, родителей еще до войны похоронил. Дневники заставила нас завести. А у вас дневник есть? Я про настоящий говорю, про писательский...

— Нет. Так только, записная книжка, сюжеты там, наброски...

Теперь мы разговаривали с ним как два человека обыкновенных. Не было четвертого штурмана и капитана-наставника. Он, вероятно, почувствовал, что работать в рейсе я буду честно, без ожидания скидок на писательскую принадлежность. А я знал, что не получу этих скидок, и был рад этому, ибо нет ничего омерзительнее творческой командировки, даже если она не оформлена бумажкой, а просто существует в некоем ореоле вокруг тебя.

Наставник встал с кресла, прошел по холлу каюты, опуская шторы на окнах. На кормовой палубе шаталось несколько рыбаков-пассажиров, глазели на нас. Потом открыл холодильник, вытащил чешское пиво.

— Знаете, Борис Константинович, — сказал я. — Писательство — не мужское дело. Чего-то не хватает. Когда-нибудь я попробую написать об этой недостаточности. Я не о том, что мужчина должен рисковать жизнью, витать в космосе, плавать, воевать, рубить уголь под землей или делать себе прививку чумы... Я о том, что в писательстве есть какая-то ограниченность, оно ведет к гибели, хотя приходишь к нему, спасаясь от нее...

— Это уж слишком сложно для меня, — сказал наставник. — Пейте пиво. И... вы про этого фантаста наврали?

— Конечно, — сказал я.

— Все-таки наврали?

Читатель есть читатель. Человек есть человек. Борис Константинович не мог поверить в то, что нечто можно выдумать от начала и до конца. Великая способность людей! Что бы без этой способности делали писатели?

— Нет. Частично, — сказал я. — Надо дольше быть мальчишкой, пацаном. Мальчишки часто врут. Но только когда врут без веры в свою ложь — это плохо.

— Наверное, наверное, — согласился Борис Константинович. — Когда мы еще гнили на подготовительных курсах к аттестату зрелости, так самое счастье было, если преподаватель заболел и не придет. Точно как пацаны, это вы наблюдательно заметили. Сидим, седые олухи, и томительно ждем — вдруг все-таки придет преподаватель историю нам объяснять. И вот если окончательно не приходит, так мы сразу начинаем в фантики играть. Или в морской бой. Или в денежку. Афанасий Петрович — царствие ему небесное и вечный покой! — нас всех обыгрывал, а был самый старый — под семьдесят уже. Мы на деньги в фантики играли... И вот ни у кого даже на пиво не остается. А старик непреклонный был — на автобус пятак еще даст, а на пиво — ни-ни!

Капитан-наставник умолк с какой-то юной и чистой улыбкой на несентиментальном лице. И я даже подумал, что это хорошо придумали начальники — заставить старых капитанов сочинение про Ларину писать, про ее чистоту и непорочность. И вот сидят старые капитаны, замирают от стука каблучков в коридоре — вдруг это все-таки преподавательница запоздавшая идет? И в фантики играют. И старик их всех обыграл. Прелесть, да и только...

— Плохо все это с Афанасием Петровичем закончи-

лось, — вдруг сказал капитан-наставник и вздохнул. — Ясное дело, пока мы штаны в училище протирали, то от моря отвыкли. Вышел он первым рейсом уже с высшим инженерным образованием и посадил пароход у Териберки на камни. Нервы не выдержали — он и помер, наш чемпион по фантикам... Конечно, после зауми, химии разной — ну скажите, зачем химия? — нас к мостику и близко подпускать нельзя было... Сколько лет потеряли! Сколько средств!

Тут в дверь постучали и вошел штатный капитан — мой тезка. Он глянул на меня с тревогой и беспокойством. Экзамен, оказывается, продолжался уже второй час. И кэп пришел меня спасать из лап наставника. Но виду, что пришел меня спасать, конечно, не показал.

— Неприятности, — сказал тезка. — Посоветоваться надо, Борис Константинович.

— Что такое?

— Больной объявился. Эпилептик.

— Сейчас разберемся, — сказал наставник, но оторваться от наболевшей темы, от того, как он высшее образование получал, сразу не смог. И продолжал: — Когда мы приехали уже в Ленинград и сдавали там вступительные экзамены, то дочек и сыновей заставили агентурную разведку производить, чтобы заранее тему сочинения узнать. И они выяснили, что будет свободная тема про революцию и «Во весь голос». Мы, ясное дело, к свободной теме склонились — сколько политзанятий позади, сколько раз «Краткий курс» изучали... И знаете, какая сверхъестественная вещь случилась?

— Ну? — сказал я. И взглянул на тезку, тот мигнул мне: мол, как ты, штурман? Он тебя экзаменами замучил? Держись, паренек! Сейчас мы это дело на эпилептика переведем и твою хилую душу на покаяние отправим, на отдых...

— Дали одну и обязательную тему: «Образ Татьяны Лариной в бессмертном произведении «Евгений Онегин»! — Наставник засмеялся нервным смехом и продолжал: — Нас пятнадцать капитанов тогда из сорока осталось. Из этих пятнадцати четверо встали, замычали и пошли из аудитории прямо, простите меня, в кабак!.. И что там с большим?

— Медики докладывают: один из рыбаков, утилизатор, молодой парень, впал в эпилептический припадок. Надо в Москву радировать и на Берген заворачивать. Куда ему на промысел, на четыре месяца!

— Ну, Берген или другой иностранный порт вы только в бинокль увидите, — сказал наставник. — Для того я тут и гребу с вами. Сообщите в Москву, пусть дают встречных судов координаты — передадим на них больного, и все дело. Дуба-то он не врежет?

— Черт его знает, — сказал штатный капитан. Ему хотелось зайти в Берген. Это было спокойнее, нежели отправлять больного на вельботе, — еще какая погода будет там, где встретим мы идущее на Мурманск судно. Вокруг-то уже готова была закипеть штормом осенняя Атлантика.

— Прикажите медикам клизму собрать. И вашего доктора, и с траулеров, — приказал наставник.

На морском языке «клизма» обозначает консиллум. Экзамен был мною сдан.

Через восемнадцать часов Москва навела нас на большой морозильный траулер, возвращавшийся от Ньюфаундленда на Мурманск. Мы легли в дрейф и стали готовиться к переправе больного на БМРТ. Я ничего не знал о припадочном. Только то, что он фельдшер, но пошел в море утилизатором — на самую тяжелую, вонючую и грязную работу, — чтобы заработать денег. Очень ему, очевидно, нужно было их заработать.

Утилизатор — человек, который работает в цехе кормовой муки. Муку мелют машины из рыбных отбросов и той рыбы, которую технология траулера не позволяет обрабатывать на борту. Утилизатор разравнивает горячую муку по трюму катком. В любую погоду, при любой качке. Он зарабатывает на всем готовом до 450 рублей, это капитанский заработок.

Когда надеваешь спасательный жилет, делается стыдно и неуютно. Как будто идешь в кальсонах по улицам. Не в нашем стиле — страховаться от маловероятной опасности. Но старинный морской устав — все обязаны перед посадкой в шлюпку надеть жилеты. И это правильный устав. Но хоть бы тогда жилеты у нас были не такие уродливые, мешающие каждому движению, тяжелые и жесткие.

И вот мы нацепили жилеты и собрались у вельбота, который уже покачивался на таях вровень со шлюпочной палубой. И старпом сунул мне за пазуху еще тяжеленную ракетницу. И тут я окончательно стал похож на беременного бегемота в своем оранжевом жилете.

Конечно, мотор вельбота был прогрет, опробован и готов к действию. Конечно, бдительные глаза капитана-наставника и моего тезки следили за каждым нашим движением. И матросы уже шагнули через черную бездну между бортом теплохода и хлипким бортом вельбота. А мы — среднее начальство — ждали больного на палубе и курили.

И делать больше было нечего, хотелось, чтобы больной появился скорее, чтобы скорее освободиться от всего этого. Как-то все грустнее и грустнее становилось на душе. Чужая беда заползала к нам в душу. Не очень-то веселая ждала нашего больного судьба. Теперь уж моря ему не видать как своих ушей.

Был поздний вечер. Океан храпел и посапывал.

Больной все не шел. Выяснилось, что он, оправившись и отоспавшись после припадка, смотрел кино «Солдат Иван Бровкин». Он не знал, что его решено отправить обратно, медики не сказали ему об этом заранее, не хотели слышать его просьб и приставаний. Он тихо-мирно сидел в кино, а его вдруг вызвали, приказали собрать чемодан, объяснили, что его ждет встречное судно, и вельбот уже приспущен, и чтобы он не рассусоливал. Больной сперва возмутился, потом заплакал, потом стал собирать шмотки — куда ему было деваться?

Через полчаса он появился — с чемоданом, с кожаной сумкой через плечо — здоровый на вид молодой грузин. Несколько рыбаков сопровождали утилизатора. И доктор. И женщина — наш пассажирский помощник.

— Лишние отойдите. Здесь не цирк, — сказал капитан, мой тезка. И это прозвучало жестко, хотя было правильно.

Рыбаки, провожавшие товарища, оттеснились. И он остался один в центре освещенного люстрой пространства. И отчужденность, замкнутость в своем горе была в нем. Никто ему не мог помочь. Ему не повезло. И нам было стыдно за то, что мы ничем не можем ему помочь. Но при этом он раздражал нас — и своей долгой задержкой, и своим здоровым видом.

— Давай чемодан, — сказал старпом.

— Сам, — сказал больной и ступил к бездне между бортами судна и вельбота.

Тут боцман взял его вместе с чемоданом и сумкой и перекинул в вельбот. Наш боцман, как я уже говорил, был очень большой и сильный человек.

Мы прыгнули тоже.

— Майна помалу! — скомандовал капитан.

И мы поехали вниз, вдоль борта, мимо иллюминаторов, и ржавых потеков, и рядов заклепок, и сварочных швов. Как на лифте. Потом вельбот глухо хлюпнул днищем о волну, первый раз рванулся, качнулся, короче говоря, проснулся после долго сна в привычных и уютных объятиях шлюпбалок.

Мотор загрохотал, мы выложили тали и рванулись в океан.

Очень красив был наш теплоход со стороны, залитый огнями. И слышалась музыка из кают первого класса. А длинная зыб покорно ложилась под днище вельбота, мотор работал устойчиво. И мы знали, что скоро неприятное закончится, мы вернемся и выпьем пива, его осталось еще бутылок десять.

Чужое судно приближалось к нам. Теперь мы смотрели только на него. И вечное любопытство моряков к другому судну пробуждалось в нас. И люди на чужом судне испытывали такое же любопытство к нам и к больному, которого мы везли. Вдоль борта и в иллюминаторах торчали головы.

Чужсе судно возвращалось с долгого промысла. Его борта были обмяты от швартовок в океане к плавбазам и темны от ржавчины. И вообще оно было мрачным и темным после нашего теплохода, после множества палубных огней.

Штормтрап висел неудачно — возле шпигата, из которого хлестала грязная вода. Всегда почему-то рыбаки вывешивают штормтрап возле самых шпигатов.

Мы подвалили к трапу и приняли порцию вонючей воды в вельбот. Это спутало нам карты.

Мы раньше договорились, что пускать припадочного больного, да еще находящегося в состоянии обиды и раздражения, по штормтрапу без страховочного конца опасно. И что мы выполним все требования техники безопасности на судах советского морского флота, то есть привяжем его бросательным концом вместе с чемоданом, а потом уже выпустим с вельбота. Но эпилептик с ходу прыгнул на штормтрап и полез на восьмиметровую высоту. Да еще эта проклятая сумка болталась у него через плечо. И тут мы поторопились отойти, чтобы если он шлепнется вниз, то в воду, а не нам на головы и не на жесткие борта вельбота.

Больной добрался нормально. Мы видели, как чужие

руки протянулись к нему через фальшборт и приняли его на свои заботы. Но что-то уже нарушилось, в ритме всей операции. И океан, и море терпеть не могут, когда все идет строго по плану. Они обожают неожиданности.

Короче говоря, мотор заглох.

Тут не было ничего особенного, потому что моторы спасательных вельботов для того и существуют, чтобы отлично заводиться, пока вельбот лежит в объятиях шлюпбалок, и обязательно глохнуть, когда вельбот просыпается на волне.

Боцман отпихнул моториста и сам крутил заводную ручку. Моторист говорил, что раньше предупреждал о неполадках в охлаждении. Старпом кричал боцману, чтобы тот не так старался: «Мотор с фундамента оторвешь!»

А тем временем вельбот несло под корму нашего теплохода. Нет моряка, который на океанской зыби хочет посмотреть с вельбота на корму своего судна в непосредственной от нее близости, то есть попасть «под подзор».

Старпом приказал разбирать весла. Но весла, как это и положено, были туго укутаны шкертами от уключин. Пока весла освобождали, прошло минуты три.

— Пронесет или не пронесет? — задумчиво спрашивал у небес старпом.

Наконец весла разобрали — оказались исправными только четыре. Очень мало для тяжеленного спасательного вельбота. Боцман-дракон прыгнул на банку и сел загребным. На первом же гребке он поднатужился и поломал уключину у самого корня.

С грехом пополам мы добрались под тали. И это приключение выбило из нас воспоминания о больном. А когда Борис Константинович сделал вид, что ничего не заметил, то настроение окончательно вошло в норму. Все-таки наставник был настоящий моряк: он знал, что такое мотор на спасательном вельботе и как надо принимать экзамен по Уставу.

О ЧЕМ ДУМАЕТСЯ В СПОКОЙНЫЕ ПРЕДУТРЕННИЕ ВАХТЫ

Кто над морем не философствовал?

В. Малковский

Мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ, но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно.

Капитан Кусто

Как и все охотники, рыбаки — хочешь не хочешь — убийцы. И это накладывает на них неуловимый отпечаток. И мне хочется послать рыбам сигнал: «Берегитесь, хек и палтус!» Но это невозможно сделать.

И потом, мне нравятся ребята, которые уходят на четыре месяца в океан, чтобы ловить и убивать рыб.

Я знаю их капитанов — большинство седеет к тридцати годам от перенапряжения. Не они виноваты в том, что банку Джорджес уже дограбливают. Что берут из моря плохую рыбу — серебристого хека, а ценные породы — зубатку и палтуса — швыряют в машину и делают из нее кормовую муку, ту самую, от которой куриные яйца иногда пахнут рыбой. Все это не их вина, они — винтики в той машине, которая разоряет океан. И черта с два докопаешься до того, кто обманывает рыб, природу и, в конце концов, самого себя. Особенно противно думать об аппаратуре, которая посылает в воду рыбы сигналы, и рыбы доверчиво бегут в сети, потому что акустическая машинка рассказывает на их языке о хорошем корме и тихой погоде. Черт знает, но есть здесь подлость, унижающая человечество.

Правда, промысловики всегда поступали так. Они, например, ловили маленького моржонка и били его палками по носу. Моржонок орал. И тогда взрослые моржи бежали на зов детеныша под дубины и ружья охотников.

Моржи, как и все порядочные твари, любят своих детенышей больше самих себя. Промысловики об этом знали.

Сами животные — и рыбы в их числе — тоже бывают хороши. Есть такая глубоководная рыба-удильщик, у которой в пасти горит огонек, фонарик. Удильщик лежит

на дне, открыв пасть, и ждет, когда любопытная рыбешка приплывет на огонек. Тогда он пасть закрывает.

Но, если вдуматься, нет на свете никого беззащитнее рыб.

Я где-то читал, что, по старинному норвежскому поверью, сардины умирают даже от одного человеческого взгляда.

И если у рыб есть души, то это они соединяются в легкие, мерцающие облачка над морем, когда сотни траулеров набрасываются на косяк и миллионы рыб умирают в сетях, как умирали — беззвучно и покорно — первые христиане на арене Колизея.

Я помню из прочитанной в детстве книжки «Камо грядеши?», что символом ранних христиан была рыба. Ее силуэт чертит на песке Лигия.

Правда, рыбам — миногам — бросали на съедение этих древних христиан, если не было львов. И рыбы исправно съедали христиан. А христиане, если почитать Евангелие, закусывали рыбами: «И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу».

Все корабли плавают в густом и жирном супе, ибо только в Атлантическом океане имеется органического вещества в двадцать раз больше мирового урожая пшеницы за год.

Нынче я принадлежу к тем, кого рыбы должны бояться. Я вожу рыбаков из Мурманска к берегам Северной Америки.

В тот вечер перед сном я долго читал воспоминания Чуковского о Блоке, любил их обоих, завидовал тем писателям, которые попали в «Чукоккалу», и почему-то вспоминал девочку — свою детскую любовь. Стихи Блока входили в меня и жили во мне:

«Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою... И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели... И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок — о том, что никто не придет назад».

А за окном каюты на ботдеке повизгивали уборщицы и проводницы, милуясь с рыбаками, нашими пассажирами. Распяленная ветром занавеска трепетала над окном, как рыбий хвост. Свободные от вахт командиры били «козла» в кают-компани, радисты играли в «шнш-беш».

Под нами, на глубине четырех километров, в безнадежной и торжественной тишине проплывали горы и ущелья, холмы и равнины дна Атлантического океана. Тайны чужой планеты роились под нами в крошечном мраке.

«Приснись мне та, которую я любил, приснись веселая березовая роща или старый Павловский парк, безмятежные пруды и чугунные мостики со львами. И пускай я навсегда забуду о несчастной девушке в красном пальто из поезда Воркута — Москва».

Так книжно я думал, прочитав воспоминания Чуковского о Блоке. В море часто думаешь книжно, если специально не следишь за собой.

А нужно ли следить за собой и бояться книжных мыслей?

Приснились плечи обпиленных перед весной молодых лип в глубоком колодце двора. И броуново движение снежинок, завихренных сквозняком среди доходных домов Петроградской стороны в Ленинграде.

В три сорок пять меня поднял матрос. Я помылся, причем вода в кране взрывалась и фыркала — насос работал дурно; потом пожевал заплесневелый лимон, сунул в рот первую сигарету и отправился принимать вахту.

Я шел длинным коридором. Впереди мерцало зеркало, и я видел себя — далекого и незнакомого человека. Стены коридора в зеркале изламывались от качки. Незнакомый карикатурный человек цеплялся за поручни и дверные ручки.

Тишина ночного судна звенела в углах и закоулках. Бесмысленно горели в безлюдье плафоны. Была середина ночи — самый сон.

В штурманской рубке на подставке меня ожидал графин с приторно сладким какао и кусок хлеба с сарделькой, а дверь из рубки на мостик была закрыта, чтобы свет не мешал вахтенным пялить глаза в ночную тьму. Близко вздыхал и ворочался океан, гудели репиторы компаса, безмолвно тянулись цифры на счетчике лага, маленькими скачками бежала секундная стрелка часов.

До вахты оставалось время, и я поколдовал над картой, прикидывая, когда мы подойдем к Английскому каналу.

На юг от нас — в Хихоне, Бильбао, Сан-Себастьяне, в разных Байоне, Педерналессе, Сантанье — спали испанцы со своими испанками. На востоке — в Бордо, Ла-Рошели, Рошфоре и Нанте — спали француженки со своими французами. Прямо по курсу спали англичане.

А мне пришла пора четыре часа плыть в океане чужого сна. Мои сны теперь были уже наяву.

Зашел радист, без слов сунул радиogramму навигационных предупреждений, длинную, на двух страницах. Радистов бесила необходимость принимать «Навип» — навигационные предупреждения — для всех морей и океанов. Если ты плывешь в Бискайском заливе, исважно, что происходит у берегов Японии. И если в Токийской бухте погас маяк, то и черт с ним, — так считали радисты.

Сэр Фрэнсис Чичестер обогнул мыс Горн.

Дай тебе господь удачи, старик!..

У западного побережья Португалии проводятся артиллерийские стрельбы. На подходах к Бостону дрейфуют бочки с сильно взрывчатым веществом. Севернее Багамских островов дрейфует перевернутый оранжевый буй. К востоку от Шетландских островов обнаружен неизвестный предмет размером до десяти метров, представляющий опасность для мореплавателей. У западного берега Индии проводятся учения боевых кораблей. Артиллерийские и ракетные залпы гремят по всей планете — в Саргассовом море, у Кубы, южнее Тайваня...

Когда учатся стрелять на земле, это делается без огласки. О стрельбе в открытом море приходится оповещать...

Либерийский танкер, вспоровший себе брюхо о скалы возле берегов южной Англии, выпускал из кишок сырую нефть. Суспензию нефти и соленой пены ветер гнал к берегам Франции. Владельцы устричных отмелей метались вокруг телефонов, не зная, чем и как уничтожается нефтяная суспензия. Работяги грузили устриц на автомашины и везли в далекие края, чтобы спасти. В Лондоне, в типографии «Морнинг стар», рисовали клише: боевой корабль с надписью «Английский флот». Два офицера на палубе: «Кажется, мы впервые столкнулись с нефтяной проблемой у себя дома, а не к востоку от Суэца...»

Либерийский танкер вез американскую нефть. Было на чем заварить очередную политическую заваруху. Суспензия дрейфовала и к английским берегам. Под угрозой приморские курорты. Кто из туристов полезет в морские волны, украшенные радугой нефти? Танкер бомбят, сус-

пензию пытаются жечь напалмом. Оказывается, на воде напалм быстро теряет температуру, градусов не хватает для того, чтоб поджечь сырую нефть. Выясняется, что сырые люди от напалма сгорают более послушно. А древний сок древней жизни планеты — нефть — от напалма не загорается...

Бедный капитан танкера. Не хотел бы я быть в его шкуре. При спасательных работах погиб матрос. Сколько впереди допросов, объяснительных записок...

Второй штурман Глеб появился в рубке, жмурясь на свет настольной лампы.

— Приветствую вас, сэр! — сказал он. — Слушайте, чертовщина была. Часов около двух. Тьма кромешная, и вдруг — зеленая ракета, низко над морем, параллельно воде и поперек нашего курса. А радар — ничего! Пустое море вокруг. Я растерялся и даже мастеру звякнул.

— А он чего?

— «Продолжайте следовать прежним курсом и скоростью».

Вероятно, это была подводная лодка, которая хотела обратить на себя внимание. Быть может, она выпустила ракету из-под воды, предупреждая о всплытии.

— Спокойной ночи, Глеб.

— Спокойной вахты, Викторыч.

«...И всем казалось, что радость будет... Что в тихой заводи все корабли...»

Луна крутилась над океаном среди туч справа по борту.

Ночные тучи хотели Луну съесть. Они вечно на нее охотятся, крадутся за ней, хитрые и тихие, как шахматы. Их силуэты, чем ближе к Луне, делаются все более хищными, превращаются то в акулу, то в дракона, то в пасть тигра. Наконец выдержка изменяет тучам, узкая длинная стрела вырывается из них, впивается в Луну. Но иногда они подбираются тихой-тихой сапой, превращаются в стадо добреньких барашков. И бредут по небесам вроде бы без цели. А потом набрасываются на Луну и проглатывают ее. В желудке туч Луна бледнеет, тончает, нервничает. И мне бывает ее жалко.

Луна может одарить удивительными впечатлениями, если взять бинокль и уставиться на нее. Незаметно исчезнет вибрация от машин, пропадут все звуки. Странное, дымящееся тело крутится в небе. И вдруг вечное дыхание космоса коснется души. И подумаешь, что космонавты должны быть ребятами с крепкими нервами. Правда,

человечество уже не раз доказывало, что ребята с крепкими нервами оказываются в наличии, когда наступает для них время и дело.

«Как идти, не зная куда; как терять, не видя приобретений! — писал Герцен. — Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, — по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием Колумб открыл новый мир».

Герцен много раз говорит, что сумасшедшие первыми дерзают вступать в неизведанное.

Непреодолимо трудно понять психическое состояние человека, открывшего нечто противоположное привычному человеческому опыту. Какая болезненная сила фантазии была у человека, впервые понявшего, что Земля — круглая. Как замер он, пораженный смелостью и могуществом своего мозга и души. Как вздрогнул от кощунственности представления, пытался гнать его, гнать навашдение. Но восторг истины, восторг познания все ширился в его душе, как будто все музыканты мира играли в честь его торжественную музыку. И он бродил ночи напролет, оглушенный, и все смотрел на небеса; новые и новые доказательства истинности догадки роились в нем. И сумасшедшей силой его мысли, фантазии Земля из плоской превратилась в круглую.

А тот, кто первый понял, что Земля — не центр мира, а всего-навсего жалкая планетка? В каком гнетущем одиночестве оказывается человеческий мозг, опередивший человечество. Он оказывается в космическом одиночестве. Его может поддержать только могучий дух. Великая мысль может родиться только у того, кто имеет могучую душу.

Мне нравится, как ученые разных хитрых наук пытаются воздействовать на тупые мозги обывателей. Например, если ученый изучает льды, то на первой странице своей научно-популярной книги сообщит, что если растащить весь лед Антарктиды и других ледников по планете, то лед покроет ее слоем в сто двадцать метров. А тот, кто изучает воду, на первой странице сообщит о том, что соль морей, будучи вытоплена, покроет земной шар слоем в девяносто метров. Тот, кто занимается сложнейшими вопросами физики Солнца, не сможет удержаться от того, чтобы не сообщить, сколько раз Земля уложится внутри светила, и т. д., и т. п. Каждый ученый с наивностью ребенка хочет пробить застойные

мозги читателя при помощи поразительных цифр и тем привлечь его внимание именно к своей науке. Я говорю о милой наивности. Самые глубокие, самые серьезные ученые — самые дети, потому что любят облака, инфузорий, лягушек, солнце, море, снежинки. Без любви к инфузориям долбить гранит наук не хватит воли и сил.

Любовь к морю тоже детское чувство. Она не мешает ненавидеть купанье. И в этом большой смысл. Нас тянет в огромные пространства вод не потому, что мы водолюбивые существа. Мы можем утонуть даже в бочке дождевой воды. Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря. Наш плененный дух всегда мечтает о свободе, хотя мы редко даем себе в этом отчет.

Мало кто задумывался и над тем, что море, вода подарили людям понятие волны. Волна, накатывающаяся век за веком на берега, колеблющая корабли, натолкнула на одну из основных идей сегодняшней физики — о волновой теории света, волновой сущности вещества.

Волна подарила и ритм. В основе музыки лежит ритм волн и ритм движения светил по небесам. Потому музыка и проникает в глубины мировой гармонии дальше других искусств. Сам звук тоже имеет волновую природу. Медленный накат волны на отмель, вальс и ритм биения человеческого сердца чрезвычайно близки. Потому вальс невредимым пройдет сквозь джазы.

Конечно, тому, кто страдает морской болезнью, лучше не читать этот гимн волнам.

Древние персидские владыки наказывали прибой, разрушавший берега их владений. Они секли море цепями.

Когда плавание затягивается и я уже устаю от безбрежности океана и уже мечтаю о возвращении, то иногда во сне начинает мерещиться шум берегового прибоя. Как будто я живу в домике среди дюн. И в окна доносится длинный и мерный гул наката, смешанный с шорохом сосен и песчинок на склонах дюн.

Иногда очень хочется услышать в море береговой прибой. Когда волны сутки за сутками разбиваются за бортом, за иллюминатором каюты — это другое. И грохот шторма в открытом океане — другое. Ничто не может заменить шум берегового наката. Там, где море встречается с землей, — все особенно. И люди, живущие на берегах, — особенные люди. Они первыми увидели, как из пены морской волны, вкатившейся на гальку, из смеси утреннего воздуха и влаги родилась самая красивая, нежная, женственная женщина, самый пленительный

образ человеческой мечты — Афродита. И самую красивую планету называли ее именем. Богиня любви и красоты, покровительница брака, она вышла к нам из пены безмятежно нагая, и капли морской воды блистали на ее коже. И так же искрится, блистает по утрам и вечерам Венера. Древние греки называли ее еще Успокаивающая море. Потому что древние греки верили: красота смиряет разгул стихий.

Как обеднело бы человечество без легенды об Афродите. Лучшие художники ваяли и писали Афродиту, она дарила им самое таинственное на свете — вдохновение.

Волны бегут через океаны посланцами материков.

Волны, поднятые штормом у мыса Горн, за десять суток достигают берегов Англии и улавливаются сейсмической станцией Лондона. Почва Европы ощущает порывы штормового ветра другой стороны планеты. Как тут не подумать о связи всего на свете.

Никто еще не подсчитал энергию, которую тратит ветер, чтобы создавать волны в океанах и морях. Какая часть его мощности исчезает в колебаниях частиц воды на огромных пространствах между материками? Что стало бы с нами, если бы океаны не укрощали ветер? Быть может, сплошной ураган несея бы над планетой. Ни деревца, ни травинки... Будьте благословенны, волны!

Древние арабы считали, что прилив возникает тогда, когда ангел, которому поручено заведование морем, опускает где-то за Китаем в воду пятку. И волна от пятки бежит по свету. Некоторые считали, что ангелу достаточно опустить в море один палец правой ноги. Древние арабы были близки к истине.

Демосфен говорил речи на пустынном берегу моря. Вид ветреного моря напоминал ему толпу, которую следовало убедить и победить речью. Это не всегда получалось. И, говорят, Демосфен здорово злился. Ну, о том, что морская галька поставила Демосфену язык на место, знают все.

На Вселенском соборе папа Павел VI попытался определить основное стремление сегодняшнего человека. Он думает, что сегодняшний человек хочет выявления своей неповторимости. Самым типичным признаком времени папа считает желание человека быть личностью.

Многие считают главным знаменем времени осознание человечеством своего малознания. Каждое новое фундаментальное научное открытие лишь яснее показывает,

что человек еще ничтожно мало знает о себе и природе вокруг.

· Может быть, эти точки зрения несовместимы, но мне лично они нравятся обе.

Я долго не мог понять, почему не сбываются морские приметы, добрые, старые морские приметы, знакомые еще с детства. Например: «Солнце село в тучу — жди, моряк, бучу!»

Недавно понял. Уже за несколько часов современное судно уходит из того района моря, где примета, быть может, и окажется справедливой. Скорость убила древнюю мудрость, она остается далеко за кормой.

Точнее всего можно угадать погоду по облакам. Если облака напоминают зубцы старинных башен и соединены общим основанием, они предвещают грозу. Такие облака относятся к альтокумулюсам. Облака, образующие густой серый покров, через который просвечивают солнце и луна, обычно предсказывают резкое ухудшение погоды. Они называются альтостратусы.

Мне нравятся латинские названия облаков, хотя на экзамене по метеорологии их обязательно перепуташь. Латинские слова тяжелы и могучи. Они звенят доспехами римских легионеров. И потому совершенно не подходят для названий облаков.

Перисто-слоистые облачка, в том числе молочная бледная вуаль, называются цирростратусы. Звенят доспехами римских легионеров и пахнут ночной аптекой. Это оскорбительно для облаков.

Смотрите, какие ласковые и чистые слова нашли для них в северных губерниях России.

В Архангельской облака называются «небесья». Темная синьва на горизонте перед восходом или заходом солнца — «бусова». Темь от нависших туч — «бухмарь». Когда небо заволакивается облаками, оно «бухмарится». Передовые серебристые и округлые тучки перед грозой зовутся «быками». А есть и «ветряная свишка» — темненькое, как бы в клочки разорванное облачко. Если солнце начинает скрываться за чистыми, белыми облаками, то говорят, что солнце «ушло в замолодь».

И есть еще одно чудесное слово — «лють» — это блестя, искра инея, летающая в воздухе в сильный мороз в солнечный день...

· Вот какие мысли приходят в ночную, спокойную вахту.

· Один раз в час запишешь в черновик журнала отчет

лага и сличишь компасы. Когда луна скроется в тучах, включишь на прогрев локатор. Если позволяет расстояние до берегов, возьмешь пеленга радиомаяков. Вот и все дела. Остальное время меришь шагами рубку и смолишь сигареты.

Пожалуй, на вахте второго штурмана зеленую ракету выпустила английская подлодка, потому что на рассвете прилетел военный британский самолет и четыре раза низко прошел над нами, рассматривая нарушителя спокойствия и фотографируя. Самолет разнообразил вахту.

Я смотрел на самолет, думал, как пилоты через считанные минуты уже вернутся на землю. И думал о почной подводной лодке. Соотечественник пилотов и подводников, океанограф Джордж Эдвард Рейвен Дикон часто жалуется на косность общественного сознания, на скаредность в затратах на изучение Океана. Дикон даже решил, что «нужна катастрофа, поражающая воображение, чтобы показать нам, насколько мы к ней не подготовлены». Он грозит человечеству новым всемирным потопом. Он требует, чтобы люди к потопу готовились, чтобы они повернулись лицом к Океану. И люди, общество, уже начали этот поворот. Но судорожное наращивание темпов исследований Океана, которое захватило многие страны, рождено не угрозой всемирного потопа, а традиционной угрозой новой войны.

И вот сотни океанографических судов бороздят океанские просторы. А еще несколько лет назад государства с крайней неохотой тратились на исследования морей.

Опять война подталкивает вперед науку. От всего на свете — от атома до космоса, от облаков до морских глубин — несет войной. Я люблю и уважаю капитана Кусто, но не следует забывать, что и он в прошлом — офицер военного флота.

Британский самолет в четвертый раз прошел над нами.

— Джон, брось жвачку! — крикнул ему вслед рулевой матрос. Под «жвачкой» матрос подразумевал жевательную резинку.

Всходило солнце.

Настоящий акушер волнуется при каждом родах.

Так и моряки волнуются, когда из пустыни рождается Солнце. Конечно, это не то волнение, когда заламывают руки или бухаются на колени. Восход при мягкой погоде вызывает желание молиться на красоту мира про себя, тихо.

Солнце задолго предупреждает о приходе. Облака трубят алые и розовые сигналы. Тучи подбирают полы грязных халатов и бегут из палаты роженицы, как обыкновенные уборщицы. Ветерок причесывает волны, выравнивает гребешки по ранжиру. А штурманы на всех судах мира — если это порядочные штурманы — суют в карман секундомер, открывают дверь рубки, поживаясь от утреннего холода, выходят на крыло мостика, стирают росу со стекла репитора компаса и наводят пеленгатор на то место, где вот-вот пробрезжит первый луч. И ждут.

Конечно, вылезешь на крыло раньше времени. И рассветный ветер просквозит насквозь — лень надевать теплое. Но какая чистота вокруг! И как чисто твоё судно, промытое волнами, дождями, снегами. Ржавчина не идет в счёт. В такие утренние минуты она чиста, как дыхание здорового ребенка.

И вот стоишь, щелкаешь от нечего делать секундомером, глядишь, не испортился ли он. Стрелка бежит ровно и безмятежно, отсчитывая секунды твоей жизни. Но мысли о быстротекущем времени не тревожат. Наоборот, секундомер сейчас слуга и раб. Он послушно поможет узнать, правильно ли работает компас. Солнце и Время выводят моряков к правильному направлению, к истинному курсу.

— Ну, давай, давай, дорогое! — говоришь Солнцу. — Пора. Я замерз уже!

И оно наконец выныривает из-за круглого бока планеты. И ты ловишь его в окуляр пеленгатора. Иногда оно пепельное, иногда оранжевое, иногда режет глаза пульсирующей кровью — это зависит еще от светофильтра.

Когда следишь за светилом в момент восхода — от первого луча, только тогда понимаешь, с какой скоростью вертится в пространстве Земля. Солнце вытекает из окуляра слева направо, и ты ведешь за ним пеленгатор, как зенитчики ведут орудие за низко летящим самолетом.

Потом, бормоча про себя отсчеты пеленгов и держа в руках воробья-секундомер, вернешься в ходовую рубку, прикажешь выключать навигационные огни и: «Смотреть тут без меня в оба!» А сам уйдешь в штурманскую, чтобы рассчитать поправку компаса. Ты считаешь ее быстро, но, когда вернешься и глянешь на солнце, оно будет уже много выше горизонта. Оно уже побледнеет, повзрослеет, и почетные сигналы облаков стихнут.

Таинство восхода закончилось. Начался день.

Солнце — доброе, Океан — мудр, но они дикие суще-

ства и безмятежно принимают любые жертвы. И сейчас истерически взвизгивает морзянка знаменитый SOS, и исчезают в зыбях корабли. Но другие продолжают плыть дальше, быстро забывая неудачников. Так быстро забывает женщина о тяготах родов, чтобы не бояться рожать еще и еще.

Иногда только постучит в рубку озябший рыбак-пассажир, бессонный палубный бродяга, скажет:

— Прошу разрешения... Извините... Не спится третью ночь... Можно побыть здесь?

— Давай, постой, — ответишь снисходительно, ощущая почему-то превосходство над пассажиром, хотя он скорее всего плавал больше тебя.

И вот он конфузливо станет в уголке, упрется лбом в стекло окна и думает думы, глядя на брызги от форштевня. И о чем они, рыбацкие думы?.. Потом очнется, спросит обычное:

— По сколько идем?.. Встречных не было?

А ты спросишь:

— Ну как, план выполнили?

— Выполнили...

Ветерок раздавливает на стеклах брызги, и они превращаются в серебристых пауков. Но море спокойно, нежная фиолетовость сквозит меж облаков. И кажется, что плывешь внутри огромной перламутровой раковины.

— Вот, понимаешь, уходил на промысел старпомом, а возвращаюсь вторым помощником, — скажет рыбак, вздохнет и выругается, прикрывая руганью тоску.

— За что?

И он расскажет, что утопил моряка, — смыло матроса, а была ночь и туман, и ни хрена не видно, и мороз. Блоки шлюпочных талей прихватило льдом, вельбот завис. А время шло, паренек в зыбях слабел, и когда кинули ему конец и подтянули уже к борту, то паренек вдруг махнул рукой, отпустил конец и исчез. А отвечать, ясное дело, ему — старпому...

И как будто заглянет в рубку, в ходовое окно тот неудачливый паренек, оставшийся среди айсбергов у скал Ньюфаундленда, мелькнут его выпученные глаза и безнадежно отмахивающая рука...

Однако рулевому матросу ничего такого не мерещится. И когда разжалованный рыбак уйдет, матрос дернет плечом и сострит:

— Шатаются здесь такие, а потом галоши пропадают...

И ты улыбнешься, потому что, ясное дело, плакать в такой ситуации еще глупее. Тем более галош у нас нет, и пропадать они, естественно, не могут. Наши пассажиры воруют на сувениры только плафончики от коечных лампочек в каютах первого класса...

Семь часов ноль-ноль минут.

Радиотехник включил трансляцию. Чтобы рыбакам было веселее просыпаться, по всем палубам гремит песня:

У рыбака — своя звезда!
Кто с детства с морем обручен...

Мы третий раз подряд делаем рейс Мурманск — район острова Нантакет, Джорджес-банка, Сент-Джонс и обратно в Мурманск. И каждый день начинается с этой песни. Мы устали от нее. По-моему, рыбакам она тоже попереки глотки, но никто не жалуется.

До сдачи вахты остается час.

Сквозь щели в густеющих облаках впереди по курсу пробиваются отдельные косые солнечные лучи, и там, где они упираются в море, гребешки волн снежно взблескивают. А вблизи судна волны уже ровно серы. Далекие, просвеченные солнцем гребешки кажутся дружными стадами дельфинов или косаток.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Так хочется, чтобы рассказы о вашем уме и человечности оправдались.

Редкий моряк раньше вылез бы на палубу под дождь, ветер, снег, если бы увидел стадо дельфинов. Нынче выскакивают многие, свешивают головы за борт.

Веселые, живые торпеды несут в себе жизнерадостность, спортивное настроение, лукавое любопытство и необъяснимую скорость движений.

Вот мне в детстве казалось, что если, отходя от зеркала, быстро оглянуться, то увидишь в зеркале свой затылок. Дельфинам такое удалось бы запросто. Легкость их скорости заколдовывает, как музыка. Они взлетают над волной, скашивают на тебя хитрый и веселый глаз. Крутой изгиб изящного тела, неподвижные, как крылья чайки, плавники. Без всплеска уходят в воду, несутся в ней, видишь их отлично с высоты мостика. И возникает какое-то восторженное чувство и радость. Как на мировом чемпионате по гимнастике. А они затевают опасную игру — режут нос судну или несутся прямо в борт. Как

мальчишки, которые перебегают взад-вперед перед паровозом. И в последнюю секунду, тем движением, которым пловцы переворачиваются у стенки бассейна, они отшатаются от борта. И боязно, что они не рассчитают, ударятся в сталь, сорвутся под винт, — как страшно за сорванцов, перебегающих рельсы под фарами паровоза.

Дай бог, чтобы мы когда-нибудь нашли общий язык с этими существами. Они знают секрет, как жить весело и дружно. И они поделятся с нами этим секретом, обязательно поделятся.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Порезвитесь у борта, покажите над серыми волнами веселые и лукавые, улыбающиеся рожи; украсьте стремительным движением последние минуты нашей спокойной вахты...

Дельфинов нет, над морем распяты чайки.

Слова, написанные полвека назад, тихо живут:

...И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок —
О том, что никто не придет назад.

Мы придем еще много раз. Но причастный тайнам ребенок оплакивает наш последний. Он плачет красиво, значит, он прав.

Однако не будем забывать о мгновениях счастья. Они еще встретятся на пути.

В наш век все люди стали путешественниками, все куда-то летят, плывут, едут, все волей-неволей стали туристами и забыли, в чем польза географии.

В Риме, в конце царствования Тиберия, помер древний грек Страбон. Он написал семнадцать томов «Географии». Он сказал: «Польза географии в том, что она предполагает философский ум у того, кто изучает искусство жизни, то есть счастье».

СТРАННЫЕ КАПИТАНЫ

Капитан — это голова корабля, парохода или теплохода. Таким образом, у капитана два туловища — одно его собственное, а второе — это корабль, пароход или теплоход. Каждому понятно, что такое положение с годами вызывает в психике капитанов некоторые сдвиги и странности. На морском языке такие сдвиги и странности определяются словом «бзик». Ни у Даля, ни у Ожегова такого слова нет.

Раньше бзики капитанов были величественными и на многие годы сохраняли имена капитанов в памяти потомков.

Например, капитан брига «Баути» Блай плавал в южных морях 179 лет тому назад. Блай имел бзик, заключающийся в непомерно почтительном отношении ко Времени. Время, конечно, важная вещь. Особенно в море. Чтобы определить долготу судна с точностью до одной мили, надо знать время с точностью до одной секунды. Но капитан Блай хотел превратить своих матросов в живые, бегающие по вантам секундомеры. А когда помощник капитана не сдул пыль с крышки хронометра, то Блай так вздул помощника, что возмутился весь экипаж. Капитана высадили на шлюпке в открытом море. Так, на шлюпке, он и въехал в бессмертие.

Нынче бзики измельчали.

На Дальнем Востоке я знал капитана рыболовного траулера, который в свободное от судовых занятий время шил тапочки для покойников. Он уверял, что такое хобби успокаивает нервы. Он отдавал готовые тапочки в соответствующее заведение бесплатно. Но вы бы видели, как ему не хотелось с ними расставаться! Он даже украшал их чукотским орнаментом.

Заготовки для тапочек лежали у него по всей каюте. Он один снабжал всех покойников Камчатки.

Его любимой фразой-присказкой была такая: «А вы знаете, что Пугачева четвертовали в возрасте всего-навсего тридцати двух лет?» Ему нравилось, что Пугачев потрясал Российским государством в нестаром еще возрасте.

Мой первый голова корабля, капитан третьего ранга Гашев, Зосима Петрович, органически не мог видеть в руках у подчиненных постороннюю книгу.

Гашев невзлюбил меня с первой встречи. Виноваты оказались: байковые теплые кальсоны, выданные мне после окончания училища бесплатно, собственный мой подстаканник, на ручке которого изображен был малаец, но больше всего — книги.

Я был назначен командиром боевой части «один» и «четыре» на аварийно-спасательное судно Северного флота.

Семь лет меня учили воевать, то есть ставить мины, стрелять торпедами, швырять глубинные бомбы, управлять артиллерийским огнем. И, естественно, я знать не

знал, как надо спасать. В эту нехорошую ситуацию меня, как водится, завел длинный язык.

Был одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год.

Когда я нашел свой корабль, командира на борту не оказалось, и представиться ему я не смог. Вахтенный офицер показал мою каюту. Бортовая стенка каюты заросла инеем. Судно строили в Америке, и оно не было приспособлено для работы в высоких широтах. Горячий воздух поступал в каюту из раструба отопления в подволоке. Известно, что горячий воздух легче холодного, поэтому он вниз не опускался. Если ты стоял, то дышать было нечем. Если садился, вокруг блистал иней.

Я распаковал чемодан, вытащил казенные кальсоны, вдел одну штанину в другую, пояс кальсон обвязал вокруг раструба отопления, а к нижним тесемкам привязал тяжелую настольную лампу.

Теперь теплому воздуху некуда было деваться, он мчался сквозь кальсоны почти до пола и только после этого поднимался вверх.

Я был очень доволен собой, своей молниеносной находчивостью, так необходимой настоящему моряку. Я смотрел на пульсирующие под давлением в три атмосферы кальсоны. Они шипели и трещали по швам, но иней послушно таял.

Когда человек начинает первый день самостоятельной морской жизни, он, конечно, испытывает страх перед неизвестностью, растерянность и острое желание увидеть маму, залезть к ней под фартук. Так как мама далеко, то следует заменить ее каким-либо собственным волевым действием. Утвердить себя в себе. Я это сделал при помощи казенных кальсон. И занялся дальнейшей разборкой чемодана, рассматриванием разных вещичек и книг, которые насовали родственники и друзья на память.

Я выставил на стол серебряную трехвершковую Венеру Милосскую — подарок жены брата. Подстаканник с малайской физиономией — подарок тети. «Атлас офицера», весом в пять килограммов и абсолютно бессмысленный, ибо, кроме схем обороны Царицына, там ничего не было, — подарок баскетболистки, которую я было хотел полюбить, но она полюбила другого. Когда другой ее бросил (за дело), я ее утешал. И она при расставании всучила мне пять килограммов меловой бумаги и схемы обороны Царицына.

К оттаявшей стенке каюты над столом я прикрепил фотографию Любы Войшниц — популярной в те времена

балерины Мариинского театра в роли Тао Хоа из «Красного мака». Войшниц подарила мне мама. Она еще дала мне иконку Николы Морского и велела никогда с Николой не расставаться.

Я сидел, раскисал от воспоминаний, от тепла, от желания победить в себе страх перед завтрашним неизвестным днем, когда, быть может, мне надо будет вести корабль в море на спасение гибнущих людей, а я ровным счетом ничего еще не умею и не знаю.

Уже за полночь дверь каюты раскрылась, без стука, конечно, и вошел мой первый капитан. Он оказался очень маленького роста, очень некрасив, в фуражке, хотя все уже давно носили шапки, в канадской куртке с разорванным капюшоном, в меховых перчатках, причем эти перчатки были такие большие, что казалось, он может использовать их как непромокаемые сапоги. Ему было за пятьдесят, лицо его было круглое, густо, асимметрично покрытое морщинами.

— Чего это вы здесь делаете, лейтенант? — спросил он меня и ткнул пальцем в пульсирующие кальсоны. Я представился и объяснил, что при помощи кальсон равномерно обогреваю каюту.

— Убрать! — сказал он.

Я, как и положено, сказал: «Есть!» — и, обрывая завязки, демонтировал отопительное сооружение.

— А это что такое? — спросил он, показывая на подстаканник.

— Подстаканник, — ответил я.

— Первый раз вижу человека, который идет служить, имея собственный подстаканник, — сказал он.

— Подарок друзей, — объяснил я, не решившись сказать слово «тетя».

— А я вас не спрашиваю, чей это подарок, — ответил он и ткнул пальцем в книги. — А это что?

Книг было много. Я надрывался, когда тащил чемодан по Мурманску к Каботажной пристани.

— Книги, — сказал я.

— Так ты что — приехал книги читать или служить? — спросил он меня.

Я пробормотал, что надеюсь делать и то и другое.

— То, на что ты надеешься, меня мало интересует, — сказал он. — Я могу дать гарантию, что ты будешь делать что-либо одно.

— Есть! — сказал я.

— За какие грехи ты сюда попал? — спросил он.

А я и сам еще не знал, за какие грехи попал на корабль аварийно-спасательной службы Северного флота. Это было довольно мрачное место в те времена. На спасательные корабли списывали хулиганистых матросов и самых нерадивых офицеров с боевых кораблей. Служить на спасателе означало, что следующим этапом, возможно, будет тюрьма или демобилизация.

— Ну вот, — сказал Гашев, — все знают, за что они сюда попадают, а ты не знаешь, хотя книжки читаешь.

И мне почудилось, что он уже кое-что выяснил про меня, что он уже прочитал мое личное дело и теперь знает обо мне даже больше, чем я сам.

— А моря вы боитесь? — спросил он, переходя на «вы».

Я сказал, что еще не мог проверить себя и не могу заявить ничего определенного.

— Ну, спи, — сказал он и ушел.

А я остался сидеть за столом и глядел, как растаявшая было изморозь на переборке опять начинает выступать на металле.

Я понял тогда, что служить будет тяжело; правда, я и раньше догадывался об этом.

Зосима Петрович был одним из лучших командиров аварийно-спасательных кораблей; с детства на море, человек трудной судьбы, одинокий и злой. Ему пришлось восемь раз в период военных действий тонуть. Его корабли подрывались на минах, их топили подводные лодки или штурмовики. Никакой вины за это на Гашеве не было и не осталось, ему просто не везло.

Но, будучи суеверными, моряки, получая назначение на судно, которое Гашев должен был вести в море, боялись и по-всякому отлынивали.

Роковая невезучесть может испортить характер любого человека.

Быть может, Гашев после войны стал спасателем именно потому, что ему много раз пришлось бороться за живучесть тех кораблей, которыми он командовал.

У него было сугубо личное отношение к морю. Они еще не сквитали долг друг другу.

Превратившись в профессионала-спасателя, он каждым спасенным судном доказывал морю свою силу и заставлял море уважать себя.

А может, я все это выдумываю или преувеличиваю.

Гашев был плохим воспитателем, так как забыл времена, когда знал профессию недостаточно хорошо, когда,

как любой молодой моряк, сам допускал ошибки в сложные моменты. Он не считал нужным забираться в психологию подчиненных и просто требовал от них на том уровне, на котором требовал от самого себя. Его раздражало, когда молодые спрашивали объяснение того или другого маневра, того или другого поступка.

Про него говорили, что это человек, который может пройти под своим собственным буксиром. Представьте, что по морю идут два судна. Первое тащит на тросе другое. Так вот, про Гашева говорили, что если он командует первым, то может развернуться и пройти под тросом, то есть под своим собственным буксиром.

Когда так говорят о моряке, это значит, что ему отдается высокая почесть.

Главное, что я понял, наблюдая своего первого капитана, его правило: «Конечно, люди всегда помогут, но, если ты пошел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь».

Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофанов, старый помор, практик, без специального образования.

Василия Александровича в приказном порядке назначили почетным членом Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы. Природу Василий Александрович никогда не обижал и назначение исполнял даже с гордостью, обязательно участвовал во всех сессиях, но у него был один бзик. Когда Василий Александрович выпивал, то делался болезненно подозрительным и страдал даже какой-то манией отмщения.

Однажды, когда члены Общества после сессии торопились к последнему автобусу, кто-то, по ошибке конечно, надел его галоши. Василий Александрович прибыл на судно в грязи и с белыми от злости глазами.

— Природу охраняют! — орал он. — Галоши украли! Слуги народа!

Я пытался его успокоить, а мой капитан рыскал по каюте и нюхал воздух. Дело в том, что весь спирт-ректификат получал я, так как командовал наиболее деликатной аппаратурой — электронавигационной и радиосвязи. На чистку аппаратуры положен спирт. Я прятал его за паровой горелкой.

Я любил Трофанова, как непутевого отца. Он был прекрасный человек и моряк.

В сплошном тумане он нашел мачту затонувшего австралийского транспорта. По чутью. Это было еще на сильнейшем приливном течении. Это было колдовством. Но это было.

Правда, когда мы шли однажды на спасение по Кольскому заливу, он спутал правый берег с левым. До этого он выпил две бутылки лимонного ликера. Мы с ним немного поспорили, когда он, внешне нормальный и спокойный, поднялся на мостик и приказал положить руль на борт. Ему казалось: мы идем не в море на спасение, а из моря; и это нехорошо: нельзя бросать в море гибнущих людей на произвол стихии.

Я доложил ему, что мы идем полным ходом на спасение.

Но лимонный ликер бушевал в его голове. И он опять сказал, что это плохо — нас ждут в море гибнущие рыбаки, а мы идем домой. Это, сказал он, нам никогда не простится.

Я еще раз доложил, что мы идем в море. Он кротко перестал спорить и попросил принести на мостик пряник. Ликеры он закусывал пряниками.

Он был прекрасный, добрый и чистый человек, но не мог забыть, что его коллеги по охране природы украли у него галоши. Я в шутку сказал ему:

— Василий Александрович, чего вы мучаетесь? Возьмите на следующую сессию рюкзак. Спуститесь из зала вниз до закрытия сессии, сложите все их галоши в мешок — и дело в шляпе.

Надо знать грязь, которая покрывала мурманскую землю в те времена, чтобы понять роль галош в жизни мурманчанина.

Он что-то хмыкнул мне в ответ. Мы как раз были в сложных отношениях. Я, будучи молодым и прогрессивным, установил на судне радиолокатор. А Василий Александрович вообще не знал, что за таким словом скрывается. Он знал только, что агрегат шумит под палубой ходовой рубки и раздражает.

Забегая вперед, скажу, что в наш спор ввязалась собака.

Мы ползли как-то Кильдинской салмой в кромешном тумане. И я включил радар. Агрегат завибрировал под ногами Василия Александровича. Конечно, мой второй капитан приказал немедленно все выключить, потому что

ему не нравилось вибрирование палубы под ногами. Перед тем как выключить агрегат, я заметил впереди по курсу цель и сказал Василию Александровичу, что надо сбавить ход. Он надменно засмеялся.

Через минуту рулевой матрос доложил, что слышит лай. Окно в ходовой рубке было, как и положено при тумане, опущено.

— Какой лай? — спросил мой второй капитан и почетный член Общества охраны природы.

— Собачий! — доложил матрос, и прямо перед форштевнем возник круглый и могучий борт ледокола «Ермак». Если бы мы врезали в него тогда, то вы не читали бы этих заметок.

С ледокола, который стоял на якоре в самом неподходящем месте, лаяла на нас собака. Мы успели отвернуть.

Василий Александрович спросил:

— Итак, кто нужнее на борту: радар или собака?

Но после утреннего чая вызвал меня и, преодолевая самолюбие, сказал:

— Это хорошая вещь — радиолокация. Я старый уже. Мне трудно с техникой. Ты это на себя возьми.

Так поморская тайна, интуиция, дыхание человека в такт с волной сменялось техникой. И хотя я считаю еще не старым человеком, но это происходило на моих глазах. И ведь если говорить серьезно, я сейчас пишу воспоминания. И это в тридцать восемь лет.

Но вернемся к Василию Александровичу. Он смог понять необходимость радиолокатора, но пропавшие галоши забыть не мог.

Однажды, когда мы стояли в Росте в ремонте, он прибыл на судно с рюкзаком за плечами. Вахтенный у трапа скомандовал: «Смирно!»

И Василий Александрович, торжествующий и сияющий, взошел на борт, имея через плечо рюкзак галош, которые принадлежали остальным членам Общества. Он отомстил.

Мой второй капитан давно умер. И пусть земля ему будет пухом.

Плавал я и с таким чудачком, который не выносил шума, даже гула машин собственного судна. Все моряки вокруг капитана ходили на цыпочках или в валенках. А уши он затыкал ватными тампонами. Кончил он в психиатрической больнице, потому что однажды приказал боцману отдать якорь, но сделать это бесшумно. Боцман от безыс-

ходности попытался повеситься, шум поднялся уже в пароме и...

Мой близкий приятель, которого я уважаю и люблю, недавно утвержден капитаном на большое новое судно. Когда я пришел к нему, он сидел в каюте и декламировал на магнитофон «От двух до пяти» Чуковского, мякая при этом детским голосом. Весь вечер он уверял меня, что ошибся в выборе профессии и что ему надо было стать Ринной Зеленой. Чем он кончит, я еще не знаю.

Один старый капитан-наставник допытывался у меня, почему у него болит затылок, когда он пересекает параллель порта Берген. Причем совершенно неважно, на каком меридиане это происходит. Даже если Берген находится на одной стороне планеты, а капитан-наставник на другой, у капитана появляется острая боль в затылке. Он бежит на мостик, сует нос в карту и видит, что его судно пересекает эту проклятую, телепатическую, дьявольскую широту. Я ничего не смог ему объяснить.

Есть у меня знакомый капитан шикарного пассажирского лайнера. Он спит только в ванне, наполненной забортной соленой водой. Он утверждает, что такой способ отдыха чрезвычайно полезен, ибо тело капитана пребывает в состоянии невесомости, и ему хватает всего четырех часов сна в сутки. Я подумал о том, что рано или поздно он проснется утопленником, и сказал ему о своих опасениях. Он объяснил, что берет с собой в ванну спасательный круг. Он еще утверждает, что тот, кому суждено быть повешенным, никогда не утонет.

Особенно интересно получилось с ним однажды ночью в Скагерраке. Вахтенный штурман попросил капитана на мостик: к лайнеру на огромной скорости приближался какой-то сумасшедший корабль. Мокрый капитан — прямо из соленой купели — выскочил на мостик и впился взглядом в кромешную ненастную тьму. Там ничего не было видно, но на экране радиолокатора явственно отмечалась цель, упрямо несущаяся на лайнер. Мокрый капитан застопорил машины и положил руль на борт, но неизвестный пароход продолжал целиться в правый борт лайнера. А надо сказать, что судно, получившее удар в правый борт, считается виновным в столкновении, так как должно уступать дорогу. Мокрый капитан дал полный назад, и в этот момент мимо окон рубки засвистели стремительные крылья и закурлыкали гуси. Огромная стая птиц пересекала пролив и мчалась на огни лайнера в ненастную ночь. Я не знаю, чего было в рубке больше —

ругани или смеха, когда уже обсохший капитан, кутаясь в халат, отправился досыпать обратно в ванну.

Я мог бы перечислять до бесконечности чудачества капитанов, но боюсь наскучить. Тем более здесь нет ничего смешного. Все это защитная реакция на специфическую сложность капитанской работы, на вечное одиночество в момент принятия решения.

Про моего последнего капитана, Михаила Гансовича, который сменил на «Воровском» моего тезку и одногодка, рулевой матрос однажды выразился: «Наш кэп — тихий, как катафалк». И это точно. Я сделал с Михаилом Гансовичем четыре рейса через Атлантический океан, и он ни разу не взволновался и не повысил голоса. Ни тогда, когда нас чуть было не навалило на айсберг в тумане. Ни тогда, когда треснули от удара штормовой волны три шпангоута в носу. Во все эти моменты Михаил Гансович был спокоен, как катафалк. Он был спокоен, как катафалк, даже тогда, когда у нас посередине океана кончился запас соли.

Его главный бзик заключался в английском языке.

С нами отправили в рейс преподавательницу. Четыре часа утром она прибирала каюты в первом классе, а потом учила нас английскому. А у Михаила Гансовича был некоторый порок речи. Когда он быстро говорил по-русски, то понять его без длительной тренировки и привычки было невозможно. То ли корни уходили в эстонское прошлое капитана, то ли в давнюю картавость. И вот наш капитан перестал изъясняться по-русски и перешел на английский. Пока он, войдя утром в рубку, говорил по-английски: «Хау ду ю ду!» — все было терпимо. Но когда он, лежа у себя в каюте, старательно подбирал по словарю и продумывал, например, такую фразу: «Штурман, прикажите в машину. Пускай сбавят десять оборотов!» — и орал ее по телефону, то ты ничего понять не мог, но по врожденной штурманской привычке отвечал: «Иес, кэптейн!» — и чесал затылок.

Мы путали команды, и это могло привести к плохому. Мы все волновались, и только Михаил Гансович был тих и спокоен, как катафалк.

Пришлось регулярно ходить на уроки рыжей девицы. А она стала запросто шататься по мостику, ибо чувствовала себя в некотором роде капитаншей. Она чувствовала себя капитаншей, пока кто-то из рыбаков не тиснул у нее припасенную к 8 Марта бутылку шампанского. И правильно сделал — преподаватель должен сидеть в каюте.

и готовиться к занятиям, а не шататься по штурманской рубке и мешать штурманам вести сквозь шторма теплоход.

Итак, Михаил Гансович перестал говорить по-русски. И только в День Победы, на торжественном заседании, когда мы бултыхались где-то у Лофотенских островов, он вынужден был сказать речь на обыкновенном языке. Сперва большую речь держал помполит. Потом выступило несколько участников войны, которые, как выяснилось, в ней непосредственно не участвовали. И я еще подумал о том, что действительно те, кто воевал, уже перестают плавать. И что даже мое поколение — не воевавших, но хлебнувших — уже потихоньку начинает покидать корабли и суда. И плавают юные совсем люди, которым еще далеко до тридцати... Как быстро проходят вдоль бортов Азорские острова!

После всех выступлений экипаж попросил Михаила Гансовича рассказать о боевом прошлом. Он не стал ломаться и сказал: «Всю войну я был рядовым солдатом. Девятое мая для меня праздник еще потому, что в этот день впервые за войну мне выдали сапоги, и я стал ефрейтором. Сэнк'ю», — закончил Михаил Гансович уже по-английски. Конечно, на него обрушился шквал аплодисментов. Потому что быть живым человеком — самое трудное, и моряки это отлично понимают.

От нашего бурного «английского» периода у штурманов осталось навсегда одно британское слово: «эбаут», что означает «около». Спрашиваешь у сдающего вахту штурмана: «Где мы, паренек?» А он отвечает: «Эбаут Америка». И все хохочут, ибо действительно нет определений, и где мы — сам черт не знает.

Пускай только эти строчки не попадают на глаза строгим товарищам из служб мореплавания. Но я надеюсь, что у них все-таки сохранилось чувство юмора и они не забыли те времена, когда сами глухой ночью сдавали и принимали вахту и травили морские байки так, как в этой главе делаю я. А для тех, кто в море не был и не знает особенностей морской «травли», придется сказать несколько серьезных слов о капитанах.

Послушайте голос из давних веков. Говорит лоцман Васко да Гамы мудрый араб Ахмад Ибн Маджид. Его голос вызвал к жизни ленинградский ученый Теодор Адамович Шумовский.

«Наставнику надлежит распознавать терпеливость от медлительности и отличать поспешность от подвижности,

будучи сведущим — знающим в вещах, полным решимости и отваги, мягким в слове, справедливым, не притесняющим одного ради другого, выполняющим послушание своему господину, боящимся Бога, — да возвысится Он! Многотерпеливым, деятельным, выносливым, приятным среди людей, не добивающимся того, что ему не годится, просвещенным, разумным. Иначе он не правильный наставник».

Вот сколько человеческих качеств должно быть у правильного капитана. Он в наше время является еще доверенным лицом государства, лицом, которому полностью вверена жизнь людей и поручено единоличное управление. Так что простим капитанам их чуждачества.

В ШТОРМ И ШТИЛЬ

Комиссия в составе старшего штурмана, первого помощника капитана, подшкипера составила настоящий акт в том, что картина «Девятый вал» художника Айвазовского стоимостью 132 р. 39 к., входящая в основной фонд теплохода «Вацлав Воровский», была подарена подшефной школе № 14 г. Мурманска. Картина должна быть списана с баланса судна.

Подписи

Ветер свистнул, и океан передернул мокрой кожей, как передергивает лошадь от удара кнутом.

Далеко на севере, возле Земли Франца-Иосифа, смещался к югу центр области пониженного давления. Окружавший нас воздух рванулся туда, к Земле Франца-Иосифа. Родился ветер. Но он не успевал нацелиться на центр низкого давления, потому что планета быстро проворачивалась под ним. Сцепление воздуха с водой было слабым. И ветер отклонялся в сторону от направления, которое по логике вещей ему было нужно. Ветер злился, свирепел и отходил к норду.

Мы только что миновали Фарерские острова.

В настоящий шторм, в жестокий шторм высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из вида. Края волновых гребней повсюду разбиваются в пыль и брызги. Море все покрыто полосами пены. Ветер, сры-

вая гребни, несет пену и брызги, наполняющие воздух и значительно уменьшающие видимость. Грохот волн становится подобен грохоту ракеты. Солнце и небо делаются солеными. Корабельная сталь делается мягкой, и шпангоуты гнутся, а штормовые облака гремят железом. Обыкновенная бумага вдруг начинает пахнуть ржавой селедкой, а стекло рубочного окна — свежестью и электричеством.

Даже если судно по всем правилам морской науки меняет курс и уменьшает ход, удар волны может быть смертельно силен.

Невозможно оценить истинную энергию волны, когда следишь за ее приближением с высоты двенадцати метров, защищенный конструкцией ходовой рубки. Энергия волны кажется меньше, потому что за многие годы в тебе окрепло ощущение безопасности. Кроме того, волна, которая несется навстречу, и столкновение ее с судном вызывают любопытство, неосознанное желание того, чтобы столкновение оказалось возможно более сильным, чтобы брызги взлетели в самые небеса, чтобы случилось нечто неожиданное. Это противоречит чувству самосохранения, но край пропасти манит; манит увеличить ход и столкнуться с волной грудь в грудь.

В тяжелом гейзере брызг, родившемся от столкновения судна и волны, в глубоком крене, в хаосе воды и ветра есть нечто завораживающее, затягивающее. Песня сирен не выдумка древних греков. Сирены поют морякам и сегодня. Нельзя поддаваться им, поддаваться неосознанному любопытству, забывать страх.

Завлекающее величие штормовой волны исчезает, как только судно перевалит гребень. Вода на палубе, заплывавшись среди выгородок, кнехтов, вентиляторов, ведет себя растерянно: никак не находит лазейки, чтобы скатиться за борт, соединиться с морем. Остаток волны на палубе топорщится судорожными брызгами, как насмерть перепуганный зверек.

Ветер порывами приближался к одиннадцати баллам, когда я отправился в рубку принимать очередную вахту и вступил в конфликт с Айвазовским.

Огромная копия «Девятого вала» стояла в коридоре жилой надстройки. Огромная копия в тяжелой золотой раме. Выписать картину выписали и получить получили, но найти ей подходящее место на судне не удалось. И Айвазовский стоял лицом к переборке в коридоре. И я тихо этому радовался, потому что никогда Айвазов-

ского не любил по причине отсутствия у него каких бы то ни было мыслей. Живописец этот носил звание художника Главного морского штаба с правом ношения мундира Морского министерства.

«Девятый вал» я особенно не люблю. Когда-то на военной службе, чтобы увильнуть от шагистики — подготовки к очередному параду, я объявил начальству, что учился рисованию, и был отправлен в клуб, в распоряжение главстаршины — штатного украшателя казарм. Главстаршина прочитал направление и выдал мне открытку «Девятого вала», разлинованную в мелкую клеточку. «Сделаешь копию два на три метра», — приказал главстаршина. Конечно, я запорол холст и был изгнан из украшательной мастерской на асфальт строевого плаца. С тех пор я знаю, что статья Айвазовским не просто, что художник Главного морского штаба имел в кармане мундира секрет, при помощи которого умел делать на полотне воду мокрой. Но сути морей, штормов и штилей Айвазовский не знал. Хотя бы потому, что никаких девяти валов никогда не было, нет и не будет. Иногда идут волны значительно больше сестер, но при чем здесь цифра «девять»? Бред этот «Девятый вал». Недаром он коптит папиросным дымом в забегаловках.

В шторм наш «Девятый вал» завалился поперек коридора и перегородил мне дорогу. И мы вступили в борьбу, в рукопашный бой. Как только мне удавалось приподнять картину, так судно валилось на борт, грохот водспада заглушал мою ругань, 132 рубля 39 копеек валились на меня, и я чудом из-под этой махины выворачивался, в упор видя турок на мачте, и зеленый девятый вал, и яичницу-глазунью — штормовое солнце. Так повторилось несколько раз. Наконец я ободрал руку о гвоздь в раме, плюнул на «Девятый вал» в полном смысле этого слова и, не замочив ног, как Иисус Христос, перелез через бушующий океан, оставив его елозить на кренах по коридору жилой надстройки. Потом принял вахту и заклинился возле окна ходовой рубки, между радаром и переборкой.

Передо мной дымился одиннадцатым баллом настоящий океан.

О-го-го, как он ревел! Он глядел на меня в упор злыми серыми глазами обиженного неудачей старика спортсмена. Есть старики, которые бегают марафон на приз газеты «Вечерний Ленинград». Они чуточку сумасшедшие и потому часто дают очко вперед молодым спортсменам.

И вот океан смотрел на меня и на рулевого матроса злыми стариковскими глазами. Наверное, он обиделся на объявление судовой трансляции: «В столовой команды состоится профсоюзное собрание. Явка свободным от вахты обязательна!» В таком объявлении не было уважения к мокрым и соленым сединам Нептуна.

Мы шли открытым океаном, встречных судов не было видно, делать на вахте было нечего. Следовало только держаться на ногах и смотреть вперед.

У меня было отличное настроение, так как собрание пришлось на мою вахту, я его избегал, а любой нормальный человек собрание терпеть не может.

Я сосал царапину на руке и думал о том, что цвет штормовой волны в бессолнечную погоду невозможно определить. Пожалуй, если хоть немного солнечных лучей пробивается сквозь тучи, то цвет этот напоминает старое, давно не чищенное серебро. Или цвет штормовой волны такой, как папиросный пепел, когда стряхнешь его в мокрую пепельницу. Иногда цвет волны даже наводит на мысли о грязной портянке. Но как прекрасен штормовой океан! И в шторм хочется петь, орать отчаянное, ругаться озорно. Простор и ветер молодят душу. Брызги вытекают в стекло окна, и освещение делается вдруг странным, как в солнечное затмение. Густые струи воды несутся мимо глаз, но вот они схлынули, светлеет, порыв ветра протирает стекла. Мгновение бушующий океан виден четко и ясно — от ближней волны до вспученного, дымного горизонта.

Пустыня вздыбленных вод.

Даже чайки пропали.

И почему-то ударит в сердце восторг. И пронзит богоульная мысль, даже не мысль, а ощущение: о-го-го! Здесь моя родина! Здесь хочу и умереть! Не березки и топольки моя родина! И не старый дом на старом ленинградском канале... Простор моя родина!

И заорешь: «В Кейптаунском порту, с какао на борту, «Жанетта» поправляла такелаж!..»

Все вокруг гремит так, что никто тебя не услышит, можешь орать хоть арию из «Садко»: «Мы в море родились — умрем на море!»

В детстве я увлекался рисованием, мечтал стать художником и даже книг о морских приключениях не читал. Помню только слова отца: «Если будет война, просись

на флот. Там погибать, так в чистоте. А в окопах — вшей кормить будешь, в грязи помрешь». Это почему-то запомнилось.

Отец был санитаром в первую мировую войну.

К рисованию еще в раннем детстве приохотила мать. Когда-то ей пришлось подрабатывать рисунками для вышивки подушек.

Обычно люди вспоминают детство с нежностью. А я не люблю своего. Хорошее в нем только рисование. Дворец пионеров на углу Невского и Фонтанки, снег на капителях колонн, запах пластилина и скипидара, раннее честолюбие, радость от смирения и буйства красок. Я уходил в рисование от арифметики, грамматики, неудов и школьного одиночества. Даже в блокаду я утешался мыслью о том, что не надо идти в школу. И рисовал в бомбоубежище. Причем рисунки мои были далеки от войны — цветы и летние пейзажи.

Потом, в эвакуации, я продолжал бояться школы и учился плохо. Годовые двойки и переэкзаменовки преследовали меня. И всегда я убежал от школьной каторги в рисование. Оно в конечном счете и привело на флот. Если бы не было возможности убежать от жизни в рисование, мне волей-неволей пришлось бы заняться учебой всерьез, и все в жизни сложилось бы по-другому.

Вернувшись в Ленинград зимой сорок четвертого, я попал в образцовую школу, которая находилась напротив Никольского собора и его колокольни, прославленной акварелями Бенуа. Здесь, в густом переплетении каналов, гранитных речек, мостов, среди старых тополей, недалеко от купеческих лабазов Никольского рынка и плоских тылов Мариинского театра, процветает и сейчас моя последняя в жизни школа.

Я прибыл в разгар учебного года и сразу убедился в том, что не знаю даже букв, из которых составляются физические формулы. А ребята оказались замкнутыми и очень старательными. Это объяснялось тем, что в школе была столовая, обеды из которой можно было брать в кастрюльки и уносить домой. Кроме этого выдавались завтраки без карточек. Не знаю, по какому благу меня удалось впихнуть в эту райскую школу, да еще после начала занятий.

Итак, первым камнем преткновения оказалась физика. В эвакуации я влюбился в молоденькую физичку. Она кокетничала со мной — так мне казалось. Теперь я понимаю, что она просто была крива на один глаз. Но тогда

мне казалось, что она косит этим глазом специально для меня, в мою сторону. И мне даже казалось, что у нас с ней негласный контакт и что физичка только и ждет каких-то доказательств моей любви к ней. На уроках физики я мучительно размышлял о том, как и каким образом доказать свою любовь. Естественно, что на экзамене вместо плавного рассказа о диффузии газов я млеял, нес чепуху и получил двойку. Это была двойка самая неожиданная и тягостная — я впервые узнал, какую боль мужчине может принести женское коварство.

Только в страшных рассказах Амброза Бирса можно найти тот безысходный, тупой ужас, который я испытывал каждое утро, отправляясь с кастрюльками в образцовую школу. Талон на завтрак и обед был могучим, решающим подспорьем. Я знал, что мать помрет, если меня из школы выгонят, лишат образцовой столовой. Но я ничего не понимал на уроках физики, химии, немецкого, русского.

Я спасался от Бирса в вечернем классе Художественного училища на Таврической улице. Рисовал засохшие осенние листья в громоздких вазах. Чайники и чашки на фоне пестрых тряпок. Восковые помидоры и яблоки. Золотые купола Никольского собора, окруженные густой и терпкой синевой небес. Таврический сад, оттепель, отражение темно-фиолетовых стволов в наснежных лужах...

Два раза в неделю я шагал в училище, переполненный ожиданием счастья, забвения горестей и неудач. И счастье должно было быть обязательно. Оно никуда не могло от меня скрыться, потому что жило во мне. И как только я садился за мольберт и окунал кисточки в краску, время останавливалось, как на том теле, которое летит со скоростью света.

Большинство учеников Художественного училища были демобилизованными солдатами, ранеными, контужеными, «без седьмого класса». И я врал, что тоже был солдатом, воспитанником части. Было легко врать — никто не пробовал проверять. Я донашивал галифе и гимнастерки отца. И курил уже давно, и ругался не хуже солдата.

А война шла к концу, в воздухе пахло победой. И я был весь как-то перевозбужден в ту зиму. Белый лист ватмана на мольберте бросал меня в пот от волнения и предчувствия счастья. Нутро мое дрожало и рвалось куда-то. Вероятно, из отрока я превращался в юношу. Настала пора кружить по улицам вокруг дома, в который зашла девушка моей мечты. И я считал себя взрослым.

И потому так омерзительно было ощущать свое ничтожество на фоне старательного восьмого «А» класса. Я понимал, что отупел за войну и отстал в науках слишком далеко. Дружные ряды восьмого «А» скрылись за горизонтом. И даже если б я целый месяц бежал галопом, я бы их не догнал. Но, как ни странно, учителя на что-то надеялись. Я, очевидно, талантливо их обманывал, прикрывал себя дымовой завесой нищей жизни, материнскими болезнями и скромным поведением. Учителя терпели, дай им господь всего хорошего. Но от тоски перед неизбежным крахом я начал прогуливать занятия. Я шлялся по набережным, выжидал, когда уйдет на работу мать, возвращался домой и рисовал. Или рисовал на улицах.

Однажды я решил запечатлеть мост и березу возле судостроительного завода. Дворники меня чуть не избили, приняв за шпиона. Милиционер отвел в отделение милиции, наставив в мою хилую спину тяжелый ТТ. Я никогда не забуду чувства неудобности и стыда, которые испытываешь, когда тебя ведут по улицам под дулом пистолета и все на тебя оглядываются.

Из милиции звонили в школу и на Таврическую, выпустили поздней ночью, уничтожив эту березу в милицейской печке.

Так я прославился, и директор нашей образцовой школы решил со мной познакомиться. Я был первым шпионом из среды его воспитанников.

Помню, я пытался растолковать директору, что дворники и милиционеры — дураки. Какой шпион будет рисовать среди бела дня обыкновенный судостроительный завод, если наши уже в Германии? И зачем завод рисовать, если его можно сфотографировать? Уж фотоаппарат-то у шпиона найдется, и т. д., и т. п. Директор, не будь дурак, все возвращал меня к моим двойкам и указывал на рисование в часы школьных занятий, а я все отвлекал его в сторону шпионажа и милиционерской тупости. И этим довел до истерики.

Короче говоря, меня выгнали, но проморгали открыть от образцовой столовой. И еще месяц я тихо ползал в школу и таскал оттуда судок с супом. Вы бы видели лицо директора, когда мы столкнулись с ним нос к носу возле столового окна!

С тех пор я не был в школе напротив колокольни, прославленной акварелями Бенуа.

Никто никогда не приглашал меня на вечера встреч старых школьных друзей. Судьба лишила меня этой радо-

сти. Школы, в которых я мучился, или разбомбили, или там теперь другие учреждения, или из них меня выгнали. А тех, кого выгнали, не приглашают на вечера встреч, потому что вычеркнули из списков. Самое смешное, что мне грустно от этого.

В зрелом возрасте умные люди не любят вспоминать о том, что были в школе отличниками, если они ими были. Есть в полном подчинении школе нечто ограниченное, ибо в основе школы обязательно лежит давно отстоявшаяся догма. Юность не должна принимать ее. И взрослые люди хвастаются школьными шалостями и двойками, а не пятерками за поведение. И все-таки жаль, что меня не приглашают на встречи выпускников.

К весне сорок пятого года я оказался на полной свободе. Нужно было устраиваться в ремесленное. Мне скоро исполнялось шестнадцать лет, а занятия в вечерних классах Художественного училища видом на жительство и для получения карточек служить не могли.

Хоть убей не помню, как я познакомился с этим Петровым. Мы работали с ним на сортировочной — перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы.

Дровяной запах, весенняя ночь, спящий город. И мы лежим на бревнах, трамвай едет куда-то, искры из-под дуги, зябко после недавней азартной работы, потная одежда не греет. И мы тесно прижимаемся друг к другу, бревна под нами ерзают.

Приезжаем в район порта. Нева уже вскрылась, туман, дымная мгла, пакгаузы, баржи, ранний рассвет. И костер у места выгрузки. Мы сидим вокруг костра, передаем друг другу «бычки». Биографии всех похожи: или такие пацаны, как я, или отвоевавшие солдаты. Ощущение товарищества, общей работы, огонь костра, тихий плеск Невы и гудки паровозов, далекий и гулкий лязг буферов. И мой сосед Петров — бледный юноша, интеллигентный, наверное из старинной петербургской семьи.

— Олег, давай «Жанетту»! — просят его ребята.

Кто-то уже достал трофейную губную гармошку. И все притихают, ждут, и ясно, что все это уже не в первый раз. По бледной физиономии Олега прыгают розовые блики от костра. Он улыбается вдруг отчаянной, озорной улыбкой. И — «В Кейптаунском порту, с какао на борту, «Жанетта» поправляла такелаж!..»

И сегодня меня волнуют мальчишеские морские песни: «Идут, качаются, вливаясь в улицы, и клещи новые по-

лошет бриз... Туда, где нет забот, где море не придет... Где все повенчаны с вином и с женщиной, где каждый сам себе свой господин!..»

Как этот Олег Петров пел! Всю нашу тоску по необыкновенной, красивой жизни вывернул он наизнанку. Все наше голодное отрочество, горящие эшелоны, бомбовые воронки вдоль железнодорожного полотна, ручные пулеметы, нелепо строчащие в гудящие небеса, скелеты блокадных трупов, вспученные животы, дизентерия, вши, слезы, ненависть, бессилие — все это списанное в расход отрочество теперь красиво отходило от нас. Голос Олега Петрова утверждал: «Она впереди, удивительная жизнь. Вы ее увидите, ребята! Вы увидите еще весь мир, штормовой и отчаянный!»

«Они стояли на корабле у борта. Он перед ней с надеждой и мольбой. На ней был плащ, на нем бушлат потертый. Он перед ней с протянутой рукой. А море грозное шумело и стонало... Он ей сказал: „Туда взгляните, леди, где в вышине летает альбатрос. Моя любовь вас приведет к победе, хоть знатны, леди, вы, а я простой матрос”...»

Глаза у нас были полным-полны слез, когда леди отказала матросу и тот кинул ее в бушующий простор, а потом, в приморском кабаке, «моряк рыдал, тянул он горький ром в кругу друзей-матросов и в тишине кого-то тихо звал»...

Вот этот романтик моря Олег Петров и подбил меня идти не в ремесленное училище, а в военно-морское подготовительное. Сам он потом куда-то исчез, не приняли его в военно-морское по близорукости. А за мной на семь лет закрылись двери казармы. Но сегодня я не хочу жалеть о прошлом. Так уж устроил меня бог, что хочется соединить реализм с романтизмом любого толка. Куда же мне деваться, если я Шульженку люблю, а в Филармонии был раза два за жизнь. Пожалуй, поздно перестраиваться.

Песня о старом капитане и девушке в серенькой юбке оказывается иногда важнее оперной арии. Другое дело, что песни эти не наши, не русские. Я пытался выяснить, откуда они появились, переводные они или стилизация, но ничего не выяснил. Однако неизвестность их происхождения не мешает орать в грохоте атлантического шторма про девушку в серенькой юбке, про матроса и леди, про «Жанетту», которая поправляла такелаж в Кейптауне.

Ветер все дальше отходил на норд и усиливался, когда я уже готовился сдавать вахту, когда все песни были уже спеты и голова начала туманиться от резкой качки и бесчисленных сигарет.

Появился в рубке доктор, потерял на пороге тапочку, и мы вместе ловили ее.

— Что случилось, док? — крикнул я ему в розовое, доброе докторское ухо.

— Объявите по трансляции, чтобы все шли противогриппозные прививки делать! — крикнул в ответ доктор Лева. — Я уже сыворотку раскупорил! Она больше двух часов в открытом виде не может! Свойства теряет!

— Нашел время прививки делать! Тут вверх ногами переворачивает!

— Это и хорошо! Матросы сморкаются! А вверх ногами перевернет — и сыворотка до печенок провалится.

— Есть! Ясно! — понял я и объявил по принудительной трансляции: «Всему экипажу пройти в медпункт на противогриппозные прививки!..»

Но как бы ни был прекрасен штормовой океан, самое хорошее то, что рано или поздно он стихнет. Штормовая погода изнуряет и привычных людей. Зато после жестокого шторма утренняя природа может одарить тем, чего нам так не хватает, — нежностью. Пожалуй, утреннее штилевое море при ясном небе нежнее всего на свете. И целомудреннее.

Когда на слабых, едва заметных волнах дрожит рассвет; когда попутчики-альбатросы то исчезают, растворившись мерцанием крыльев с черными концами в мерцании рассвета, на слабых волнах, то вновь появляются внезапно, близко; когда воистину ждешь, что сейчас вырвется из небес зеленый луч счастья, а тихое слово «штиль» легкой тенью легких облаков скользит над морем, — тогда в душу нисходит благолепие от мира, простора и покоя. Нечто выразимое только старинными словами, но без языческой яркости чувств и без религиозной строгости наших предков.

И вспомнишь рассветную землю. Плеск воды в шлюзе деревянной мельницы. Последождье. Еще сонный шелест мокрых трав и тяжелых от дождевых капель кустарников за обочинной дороги. Комариный затаенный гул. Васильки, рсжь. Безлюдье деревни — еще и дымов нет, печи не затоплены. На задах деревни кособочатся баньки. Дрожит

тополь у заколоченного забора. Пахнет крапивой. Жуют и вздыхают в конюшне лошади, оглядываются на ворота, обмахиваются хвостами...

В штилевом море на рассвете думаешь о деревенской земле, мечтаешь о простой жизни. Штормовая романтика уже кажется картинной и пустой, как «Девятый вал» Айвазовского. И опять не знаешь, где же правда — в штормах или штилях?

ТЕЛЕВИЗОР

У БЕРЕГОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

«В лето тысяча шестьсот девяностое несколько человек стояли на высоком холме Нантакета и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны; и один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб».

Это записал Овид Мэйси в «Истории Нантакета».

Человек из 1690 года как в воду глядел.

Мы приплываем сюда, чтобы ловить в зеленом поле свой серебристый хлеб.

Если солнце низко и позади, то возле корабельного носа иногда возникает легкая радуга и несется вместе с судном, весело, без напряжения — как трехцветная птица. Радуга с того борта, который под ветром.

А на подходе к Нантакету мы увидели другую радугу. Огромная арка через все небо трепетала, переливалась и ожидала нас. И мы шпарили под своды этой арки, как будто заработали право на почет и триумфальное возвращение. Прекрасная триумфальная радуга встречала «Вацлава Воровского» у берегов Америки. Выше такой никто никогда не построит. И чудеснее — тоже.

Мы легли в дрейф к северо-востоку от Нантакета.

Зеленые волны вокруг нас когда-то слышали знаменитую песню:

Веселей, молодцы, подналяжем —

эхой!

Загарпунил кита наш гарпушник

лихой!!

Теперь зеленые волны залива Мэн слышали другую песню, она рвалась из динамиков нашего теплохода:

Соленые волны, соленые льды,
А в небе горит, горит, горит звезда рыбака...

Остров Нантакет дразнил близостью, хотя и не был виден.

Судьба привела туда, откуда герои Мелвилла отправились преследовать белого могучего кита — Моби Дика.

Мало кто осиливает ныне роман Мелвилла. Человек, который написал такую толстую книгу, родился в Нью-Йорке в девятнадцатом году девятнадцатого века. Юнцом он ушел отсюда, от берегов Нантакета, в море, бил кашалотов с вельбота, добывал спермацет, а потом стал знаменитым писателем и другом Торо, того самого, который сказал: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре».

Мелвилл был отчаянный паренек. Он убил много китов, но любил их, преклонялся перед их величием и написал о китах лучше всех.

Он как-то признался, что уход в море спасает его от самоубийства, заменяет пулю и пистолет, потому что каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа.

Он писал: «Когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грез или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, когда мы преследуем их по всему этому круглому шару, они либо увлекают нас за собой в бесплатные лабиринты, либо награждают пробоиной и бросают на полдороге».

Мелвилл не верил в бога, а его времена были чрезвычайно религиозные. Китобои богохульствовали: «А подать сюда эту самую смерть и погибель; я спокоен, я готов помериться с ней силами, и пусть идет к черту слабейший!.. И горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи — спасение!»

Какая песня ненависти к благополучию мещанства звучит здесь!

Мелвилл кажется мне старшим братом Экзюпери, хотя они совсем разные.

Герои Мелвилла и Экзюпери сражаются со стихией и роком, но не с природой.

Летчик Экзюпери и воздух вокруг его самолета — это нечто единое, изотропное.

Так и океан Мелвилла.

Невозможно бороться против того, частицей чего являешься сам.

Оба они были философами. Один стал философом, качаясь на волнах воздушного океана, среди грозowych туч и молний. Другой — на мокрых волнах. Непрофессиональный философ обладает одним счастливым качеством: он не боится, он свободен от страха ошибок и неточностей, потому что не знает правил.

Мелвиллу ничего не стоило объявить кита «как вид бессмертный, сколь уязвим бы он ни был как отдельная особь. Он плавал по морям задолго до того, как материки прорезались над водою; он плавал когда-то там, где теперь находятся Тюильри, Виндзорский замок и Кремль. Во времена Потопа он презрел Ноев ковчег, и, если когда-нибудь мир, словно Нидерланды, снова зальет вода, чтобы переморить в нем всех крыс, вечный кит все равно уцелеет и, взгромоздившись на самый высокий гребень экваториальной волны, выбросит свой пенящийся вызов прямо к небесам».

Так возвышенно и неоглядно писал отчаянный китобой. Когда он писал про Ахава, преследующего вокруг всего света, по всем морям и океанам, Белого кита, то он писал о себе самом, но это не помешало ему создать легенду, которая живет в веках.

«Сородич Моби Дика», — читаю я в «Комсомольской правде». О-го-го! — радуюсь я. Прав старик Мелвилл! Моби Дик не мог исчезнуть. Не мог исчезнуть из океанов такой могучий и свободный зверь. Потомки Моби Дика скользят в глубинах у берегов Антарктиды и Командорских островов, кормят детишек сладким молоком...

«Промысловиками китобойной флотилии «Дальний Восток» добыт абсолютно белый кит, — читаю я дальше в газете, которая воспитывает нашу смену. — Старший научный сотрудник ТИНРО, молодой ученый В. Латышев, находившийся в этом рейсе на флотилии, рассказал: „Встреча с легендарным китом произошла в Тихом океане. Под вечер на горизонте китобой заметили скопление китов. Среди темно-серых плыл белый кит. Точный выстрел гарпунной пушки — и белая громада на лине. Наконец лебедки втянули на слип белоснежную тушу. Лишь кое-где тело его кровоточило от присосок огромных кальмаров... На земном шаре животные-альбиносы хотя и встречаются, но довольно редко, — читаю я дальше рассказ молодого научного работника В. Латышева, и сердце мое закипает бессильной ненавистью к нему. — Это белые вороны, воробы, якутские соболи, камчатские лисицы. Среди десятков разнообразных по окраске китов — серого, темно-

коричневого и черного цвета — лишь у усатых иногда встречаются белые пятна в области брюха и хвоста».

За этими бездарными, мертвыми газетными строчками я вижу, как в океан опускается солнце. Низкие лучи золотят зыбь. Волны темно-сини, густы. Над океаном пахнет рыбьей, странной жизнью. Стадо китов провожает светило на ночной покой. Среди стада плывет красавец. Один на десятки тысяч. Быть может, последний в мире герой легенд — Белый кит, внук Моби Дика.

Гарпунер идет к пушке, ему убить Белого кита — раз плюнуть: море спокойно, а мерцающую белую цель видно и под водой. Вокруг десятки других китов, целое скопление — перевыполняй план. «Белого! Белого!» — орет Латышев. Хлопает выстрел. Внука Моби Дика надувают воздухом, и вот туша уже на слипе, а на туше стоит Латышев, и со всех сторон шелкают фотоаппараты.

Зачем Латышев убил Белого кита? Он только объяснил, «что на земном шаре животные-альбиносы хотя и встречаются, но довольно редко». Но мы и сами знаем, что белые вороны — редкость.

Быть может, ученым интересно узнать состав пигмента в коже белого кита. Быть может, состав пигмента — важная вещь. Но легендарность чего бы то ни было или кого бы то ни было — великая ценность, ибо легенда — одухотворенность многих поколений людей, их любви, ненависти, талантов, почтения к миру. И если ты убиваешь легендарное животное, но не можешь объяснить зачем, то ты уже не ученый, не интеллигент — ты мещанин.

Легенда, миф — аккумулярованный опыт наших лучших предков.

Когда Латышев полез фотографироваться на «белоснежную тушу», он топтал ногами своих предков, их фантазию и мужество.

Когда люди еще могли создавать легенды и мифы, они шли на Моби Дика с гарпуном в руках.

Если латышевым хочется убивать белых китов, пускай поедут туда, где и сегодня люди бьют кита с вельбота, — к чукчам и эскимосам Уэллена. Пускай живут там и выслеживают Белого кита, как выслеживал его Ахав. Тогда я поверю, что Латышев ученый, а не мещанин, что ему необходима истина, скрытая под белой кожей внука Моби Дика.

Медикам для научных целей не всегда хватает бесхозных трупов в моргах. Ученым, изучающим китов, сей-

час полное раздолье — десятки тысяч китов втягивают по слипам на плавбазы наших флотилий: изучай не хочуй!

Я понимаю глупое любопытство матросов, когда они хотят убить Белого кита. Это от молодости, душевной сестроты, от скуки длинного рейса, от непонимания того, что и зачем делают. И здесь-то Латышев, если он ученый, интеллигент, должен был толкнуть гарпунера под локоть и обругать капитана за бездумность. И охранять Белого кита от дураков, и дать внуку Моби Дика уплыть дальше в легенды. А «Комсомольская правда» напечатала бы прекрасную статью о благородстве ученого и красоте жизни вокруг нас.

«Киты-самоубийцы», — читаю я в другой газете. «Стадо китов приблизилось к побережью Калифорнии. И вдруг один кит за другим стали бросаться на скалы и отмели. Острые камни разрывают тела животных, многие из них, быстро теряя силы, остаются на песчаных отмелях и погибают. Мало помогли и специально созданные службы спасения китов. Но некоторых животных все же удалось отогнать от берега в открытое море и тем спасти от смерти. Это далеко не первый случай массового самоубийства китов. Что заставляет их «сознательно» идти на верную гибель? Ученые пока ничего не могут ответить на этот вопрос».

Я отлично знаю, что существуют конвенции по охране китов, что промысел их регулируется законом. Но кто думает о том, что среди китов шныряют атомные подлодки, ползут бесчисленные тралы, рвутся учебные ракеты, торпеды, мины, снаряды, глубинные бомбы; что в моря сыпают тысячи и тысячи тонн устаревшего и невзорвавшегося боезапаса, что в моря спускают отходы атомного производства, в моря падают самолеты с водородными бомбами, в моря сбрасывают отравленные воды химических заводов, в морях танкеры промывают танки...

И кроме всего этого по китам палят из пушек ученые типа Латышева, которые не знают, почему киты кончают самоубийством.

Пусть это звучит смешно, но я могу допустить, что самоубийства китов — это нечто вроде самосожжения буддистов. У них нет иного языка, чтобы обратить на себя внимание.

Погода баловала в районе промысла. И мы торопились с обменом пассажиров.

Вокруг была зеленая зыбь, простор океана, трепыхаю-

щиеся поля чаек над рыбным косяком, рыже-черные корпуса траулеров, ветерок, и солнце, и далекие полосы тумана, пустые бутылки на зыби за бортом, размокшие куски хлеба, камбузный мусор, на который избалованные чайки не обращали внимания.

И первое, что мы услышали на промысле в пятидесяти милях от Нью-Йорка по радиотелефону, было:

— «Достоевский»! «Достоевский»! «Добролюбов» говорит! Отвечайте для связи!

— Ну, я «Достоевский», — отвечал старческий, брюзливый голос. — Чего авралите?

— Спички пошли, сплошные спички идут! — заорал молодым басом «Добролюбов».

— Что такое «спички»? — спросил я капитана.

— Черт его знает. Кажется, рыба маленькая, такая, что в ячеи проскальзывает, непромысловая рыба.

«Достоевский» долго и хмуро молчал. Наконец пробурчал, нечто преодолевая в себе:

— Идите сюда... — и дал координаты.

«Здравствуйте, Федор Михайлович! — подумал я. — Вот уж кого не ожидал встретить в заливе Мэн, так это вас!»

Из динамиков ревело:

Соленые волны, соленые льды,

А в небе горит, горит, горит звезда рыбака...

Трещали моторы вельботов, битком набитых сменными рыбаками.

Я смотрел на них с крыла мостика, на их задранные головы, кепки, шапки, шляпы, фуражки, платочки морячек. На пригвожденных к фанерным листам алых громадных омаров — сувениры, которые, говорят, приносят несчастье; чемоданы, сундучки, гитары, пакеты с копченой рыбой. Звенела в ушах крепкая ругань из крепких глоток, беззлобная ругань — от радости, от сознания, что четыре месяца вонючей и опасной работы, качки, бессонных ночей, тоски, ссор, невыполненных и перевыполненных планов, грохота транспортеров в разделочных цехах — все это уже позади. А впереди отгул выходных или отпуск, и много денег, и пиво, свобода, жены, дети, морозная твердая земля...

Многие почему-то в белых нитяных перчатках. А вот и девчонка с веткой кораллов, в узкой юбочке, видишь ли! Для нее наш «Воровский» был уже вершиной цивилизации, но ей не задрать коленку на площадку трапа.

«Хоп!» — девчонку выдернули из вельбота и с рук на руки швырнули вверх по трапу.

— Эй! Больше десяти на трапе не скапливаться! — заорал я для порядка. — Делай цепочку! Вещи по цепочке! Веселей! Веселей!

Синий выхлоп работающего на холостых оборотах мотора ветер заносил на мостик.

А в небесах невидимый самолет оставлял белый след выхлопа.

Самолет пересек Атлантику и пошел снижаться на Нью-Йорк.

Там стройные струнки-стюардессы уже попросили пассажиров пристегнуться и «ноу смокинг!».

Там, над нами, в шикарных креслах — буржуи с сигарами во рту и кинозвезды, и хладнокровные дипломаты. Привет, Клаудиа Кардинале!.. Эй, там! Кто на лебедке! Паренек! Подвирай трап!..

Вельбот наполнился теми, кто остается здесь на четыре месяца убивать серебристого хека и жирную рыбку баттерфиш.

Белый след самолета растаял.

— Эй, на вельботе! Отваливай! Хватит прощаться!

Вельбот послушно отваливает, и сразу — руль на борт — по зеленой воде за кормой серп пенного кильватерного следа.

Убежал вельбот, бочком переваливаясь на волнах, долго машут пареньки, прощаются. А с нашего белоснежного в кровавых пятнах сурика лайнера кто-то запустил в уходящих яблоком.

Хороших уловов, ребята! Убивайте серебристого хека, жирную рыбку баттерфиш и угрюмого палтуса. Пускай время бежит сквозь вас так же быстро, как бежит сейчас вельбот. Пускай вы и не заметите этих четырех месяцев... Хотя чего ж тут хорошего — не замечать времени?

Пусть простит нас Америка. Мы не платим взносов телекомпаниям, но регулярно смотрим передачи. Смотрим на Америку со стороны, с океана, сквозь туманы, снега, и дожди, и штормовые ветры. Только антенну телевизора приходится все время крутить, потому что судно рыскает на волнах.

В тот раз Бостон показывал «Ролинг-дерби».

Многие, конечно, бывали в милиции и участвовали в ресторанных драках, но «Ролинг-дерби» несравненно

занятнее и острее. Хотя бы потому, что в потасовке участвуют девушки, хорошенькие, в коротеньких спортивных юбочках, длинноногие, — короче говоря, прелесть, а не девушки.

В кольцо наклонного трека выпускают две команды девушек — по двадцать в каждой. Все на роликах и в хоккейных касках. Они несутся по наклонному кольцу трека и кусаются, подставляют друг другу ножки. Если одна упадет, противница падает на нее, норовя попасть коленями в живот и ухватить за волосы.

В забаве участвует публика: она дерется — сосед с соседом на трибунах.

Участвуют и судьи: они, сцепившись, катаются по ровной площадке в центре трека и бьют друг друга головой об пол. Для того чтобы не допустить смертоубийства, существуют специальные вышибалы — огромные дядьки, килограммов по двести. Поэтому особенно интересно, когда и они включаются в игру. Сперва они пытаются растащить сцепившихся девушек, но это дело безнадежное, как вы понимаете. Поэтому, бросив сцепившихся, извивающихся, лежащих друг друга роликами девиц, вышибалы сцепляются сами. Если один вышибала споткнется и повиснет головой вниз с перил трека, то коллега помогает ему сорваться окончательно, и тогда неудачник втыкается рогами в каменный пол с высоты трех метров.

Седые, пожилые, в белых костюмах джентльмены — тренеры команд — тоже участвуют в игре. Они ведут короткие бои в стиле классического английского бокса. На фоне остального отчетливо заметно, как уже старомоден бокс.

Конечно, «Ролинг-дерби» смотрел весь экипаж. В кают-компании негде было упасть сливе.

В разгар событий вахтенный штурман доложил о появлении американского военного фрегата. Фрегат мигал прожектором отрывисто и властно.

Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович и возбужденные зрелищем командиры вынуждены были подняться в ходовую рубку. Оттуда мы честно старались понять, что американец мигает и чего от нас хочет, но ничего не поняли.

Капитан приказал расчехлить прожектор и дать американцу наши позывные. Матрос, которому это было приказано, так ошалел от «Ролинг-дерби», что забыл, где прожектор. Ему напомнили. Он полез на верхний мостик и минут десять распутывал с прожектора брезент и троса.

Тем временем американский фрегат стал проявлять признаки нетерпения. Военные любят, чтобы им отвечали в тот же миг как они что-нибудь спросят. Американец мигал нам уже двумя прожекторами.

Начальник радиации самолично влез на верхний мостик и попытался просигнализировать американцу наши позывные, но сигнальные жалюзи так закипели ржавчиной, что повернуть их оказалось невозможным.

Американец врубил третий прожектор.

Наконец наши жалюзи провернулись, но тут выяснилось, что на прожектор не подается электропитание. Был оторван от зрелища «Ролинг-дерби» электромеханик Сансаныч, который прибыл на мостик в воинственном настроении и заявил, что прожектор относится к палубным механизмам, входит в заведование старпома и что питание не подается потому, что старпом зачехляет прожектор только в дальних рейсах, а в каботаже прожектор гниет без чехла.

Старпом не смог с ним спорить, так как к трапу подвалил очередной вельбот с веселыми рыбаками — нашими будущими пассажирами, а траповую лебедку заело. Рыбаки болтались под бортом на зыби и слезно умоляли принять их немедленно, так как у вельбота барахлит мотор и их унесет к соответственной матери. Старпом занялся приемом вельбота с рыбаками и только погрозил Сансанычу кулаком.

Американский фрегат носился вокруг нас так, как будто его командира подмазали скипидаром, и мигал четырьмя прожекторами сразу.

Электромеханик осмотрел прожектор и заявил, что все в порядке, питание подается нормально и просто надо знать, где оно включается. После этого позвонил в машину и вызвал к телефону вахтенного электрика, но того в машине не оказалось. Ясное дело, что электрик в какую-то щель смотрел «Ролинг-дерби». По общесудовой принудительной трансляции было объявлено о розыске вахтенного электрика.

К этому времени американец мигал нам четырьмя прожекторами, клотиком и ручным сигнальным фонарем.

Я боялся, что у командира фрегата будет insult. Я-то десять лет был военным и знаю, как тяжело командиры переживают подобные ситуации. Но Михаил Гансович всю войну прошел рядовым солдатом. Михаил Гансович никогда не стоял на мостике военного корабля, по-

этому все происходящее ему просто-напросто надоело. И он, спокойный, как катафалк, сказал:

— Зачехлить прожектор. Пошел этот вояка... Мы не в территориальных водах.— И отправился досматривать «Ролинг-дерби».

Прожектор был зачехлен под аккомпанемент воплей Сансаныча, которому как раз удалось подать на него питание.

Мне было интересно, что будет предпринимать американский фрегат, и я не пошел вниз досматривать «Ролинг-дерби». Но ничего интересного не произошло. Фрегат вырубил иллюминацию, лег на курс к Нью-Лондону и исчез навсегда, что ясно говорило о том, что никаких серьезных вопросов к нам у него не было, а тем более не было каких бы то ни было претензий. Мы были ему любопытны. Вот и все.

Сегодня Америке любопытна Россия. И России любопытна Америка.

Из радиотелефона слышались далекие голоса. «Достоевский» интересовался подробностями несчастного случая на каком-то среднем рыболовном траулере.

— Как фамилия, повторите!— просил «Достоевский».

— Второй механик Пенчак,— слабым голосом объяснял траулер.— Даю по буквам: Петя, Елена, Надежда, че, че! Тьфу, черт, ну человек! Пенчак!

— И как его угораздило?— брюзжал Федор Михайлович.

— Спустился в румпельное отделение и не предупредил... Они с тралом шли, сгоняли руль на борт, его и зажало между сектором и ограничителем... Он присел еще, дурак... Как раз голову и раздробило, челюсти... Вертолет ждут... Американцы его в Нью-Йорк повезут...

— А что рулевой?

— Рулевой доложил, что руль на борт не доходит...

— Повезло Пенчаку—на вертолете покатается,— прокомментировал «Достоевский» с обычным в такие моменты юмором висельника.

Я пошел спать.

Вокруг было битком набито писателей. Вся русская литература снялась с якорей. Немного севернее шел в Монреаль флагман пассажирского флота «Александр Пушкин». Всю жизнь Пушкин мечтал удрать за границу, повидать мир. Царь так и не дал ему визу. Теперь Александр Сергеевич плыл в Канаду на Всемирную выставку. Со всем рядом таскали по грунту тралы «Достоевский», «Доб-

ролюбов», «Островский», «Писарев», «Иван Тургенев», «Чернышевский»... Сам я плыл внутри «Воровского», которого раньше не читал, а тут пришлось почитать.

И вполне естественно было увидеть писательский сон, когда вокруг качалось на волнах Атлантического океана столько знаменитых писателей.

...Я живу на даче, много брожу по лесам, дачный покой во мне, ощущение устоявшейся, семейной жизни: общий вечерний чай за столом с керосиновой лампой, мелькание ночных мотыльков, простые цветы в широком ведре, ранние рассветные просыпания... И близко, тоже на даче, — Достоевский. И мне жутко от его близкого присутствия, потому что я редактирую его рукопись, чиркаю, переставляю главы, рву страницы — непоправимо все порчу, но не могу остановиться...

И вот он вызывает меня. Вхожу на веранду, он цепко берет меня за плечи и начинает говорить, быстро, возбужденно. Брызги слюны летят мне в лицо. Он доказывает необходимость подлинных фактов в основе романов. «Газета! Газета! — вот с чего начинать литературу!» Он рассказывает, как сотни километров прошел в поисках документов пешком, когда владелец документов умер. «Какое счастье! Он умер, умер! — громко шепчет мне Достоевский в лицо, и я чувствую даже укол волос его бороды. — И теперь есть прекрасное для романа! И бог простит мне радость от чужой смерти!» Он наконец отпускает мои плечи, вытаскивает из-за пазухи документ, холит, гладит его, отрывает клочок, сворачивает папироску, обильно зализывает. И я понимаю, что документ так любим им, что ему надо даже осязать его языком.

Я ухожу, уже ночь, ужас надвигающегося кошмара во мне. Я один у себя в комнате. Горит свеча-ночник. В слабом свете я листаю рукопись Достоевского, читаю прекрасные, гениальные фразы, картины, созданные в рукописи словами. И вдруг спиной чувствую присутствие кого-то. Оборачиваюсь — через двор быстро идет к дверям темный человек. Душа цепенеет во мне, хочу кричать — не могу. Понимаю, надо броситься на человека, задержать в сенях, не допустить к рукописи и светильнику. Великим усилием вырываюсь из оцепенения страха, прыгаю страшному человеку навстречу. Но его уже нет в сенях. Оборачиваюсь — он позади меня, уже в комнате, у стола, тянет руку к светильнику...

Проснулся я весь в поту, долго тарашил глаза на полку с навигационными пособиями, на открытый иллюми-

натор. Хлюпала вода за бортом. И ужас еще жил в душе. Потом наступила обычная радость оттого, что все это только сон, что мы лежим в дрейфе в заливе Мэн... Но дурной осадок остался. Вспоминая сон, я понимал, что страшный человек погасил светильник. То есть во сне-то он не погасил, но за кадром сна — погасил. И жуткое ощущение того, как он миновал меня, оказался в комнате, у рукописи.

Утешался я только тем, что все-таки преодолел страх и прыгнул ему навстречу. Быть трусом во сне еще омерзительнее, чем в жизни.

Записывать сны — тоже неприятно. Атавизм живет в глубине нас; ищешь намек, находишь символ, вспоминаешь Фрейда и думаешь — не пора ли обратиться к психиатру?

Но я все-таки записал сон и спустился в кают-компанию.

Было около четырех. «Вацлав Воровский» спал.

В кают-компании мерцал забытый телевизор. Я налил стакан чая, закурил и посмотрел фильм о собаке, акуле и дельфине.

Хорошо сидеть перед вахтой в уютной кают-компании одному, со стаканом чая и сигаретой, и смотреть на шотландскую овчарку. Псине не повезло, он упал с борта шикарной шхуны, и никто этого не заметил. Пес плывет к далекому берегу, а подлые акулы окружают его. Акул замечают дельфины, они решают спасти собаку. Дельфины несутся в атаку на акул. Как снята эта гонка в толще воды! Оператору-подводнику надо при жизни памятник ставить!.. Акула возле самого пса. Тот прижал уши, глаза полны ужаса, изо всех сил гребет к берегу... Автомобиль. Дама в купальнике поднимается на крышу машины. Автомобиль трогается с места, волосы дамы развеваются... «Лучшие в мире амортизаторы «Меркурий»!»... Акула переворачивается на спину, чтобы удобнее схватит пса. Дельфин с налета вспарывает ей живот. Стрелой проносится еще один дельфин, вырывает из акулы кусок. Но пес выбился из сил, тонет... Толпа марсианских дикарей окружила космонавта. Сейчас его будут жарить. Костер уже горит. Один дикарь — самый страшный — потрошит карманы космонавта. Из кармана в костер падает пакетик. Клубы зловещего дыма. Дикари разбегаются, зажимая носы. Космонавт спасен. «Покупайте порошок от домашних насекомых фирмы...»

Конечно, каждый привыкает к своей стране, к ее обы-

чаям. У кого-то из хороших американских писателей, кажется у Колдуэлла, я читал трогательные признания о привычке американцев к рекламе. Как на фронте, в Европе, ему мечталось возвращение домой и снились родные рекламы Бродвея. Правда, другой писатель — Хемингуэй — недоброуменно спросил: «Как можно жить в Нью-Йорке, если существует Венеция и Париж?..»

Когда дельфины спасли шотландскую овчарку, я выключил телевизор и вышел на палубу.

В ночи близко ворочалась и дышала Америка. Чудовищно огромная страна, сотни миллионов людей.

Странно думать, что нация может появиться из ничего за несколько десятков лет, что нация может существовать, не имея за плечами тысячелетней истории. Приплыли разные люди, вылезли на берег, побили индейцев, послали к черту своего короля, оставшегося на далеком острове, — и появились на свете американцы. Теперь есть и австралийцы, и канадцы... Это на русском языке называется «смазь всеобщая».

Французы в Канаде тянут в одну, англичане в другую, а украинцы в третью сторону. И отсутствие лица у Канады видно даже на экране телевизора.

У Америки лицо есть. Американцы действительно нация, но эта нация имеет короткие корни. Духовность накапливается в душе народа тысячелетиями. Если духовности не хватает, порошок от насекомых сыплют в человеческие мозги вместе с судьбой симпатичной шотландской овчарки и дельфинами.

Есть в Америке для меня нечто жуткое, хотя никакая другая нация не родила столько великих людей, близких русскому сердцу. Пожалуй, даже Франция уступит в количестве таких людей Америке.

В мокром тумане крикали и взвизгивали чайки. Слабая зыбь плюхала за бортом. Трап был высоко приподнят.

Накануне к этому трапу прибыл с очередным вельботом пьяный вдребезги рыбак. Чемодан он где-то забыл, но в каждой руке сжимал по десятикилограммовой гантели.

Вельбот мотало на зыби под трапом, и голова рыбака находилась в явной опасности.

Он развалился на корме вельбота в позе Степана Разина и, конечно, злил нас, но он был великолепен — огромный мужчина, занявший всю корму вельбота, с ган-

телями в лапах, с хитрой улыбкой на добрейшей роже. Он, наверное, много помог друзьям во время работы в океане и знал своим пьяным подсознанием, что его любят друзья. И потому ушкуйничал, орал, что не хочет возвращаться домой — его дом здесь! Друзья сунули ему под микитки чем-то тяжелым и обмотали тросом, а мы подцепили Степана Разина гаком кормового крана и вздернули на борт, нарушая все правила техники безопасности. Мы бы не стали затруднять себя, если б кран не понадобился нам самим, — боцман получил в подарок немного мороженой рыбы. Вот вместе с этой подарочной рыбой Степан и вознесся на палубу лайнера, тараша подбитые друзьями очи на все вокруг. Казалось, он искал княжну, которую следовало швырнуть в набегающую волну, но княжны не было... Он был прекрасен, потому что не имел в душе никакой злобы. Во всем его безобразном поведении была только отчаянная широта рыбацкой натуры. Потом, уже на обратном пути, он оказался самым стеснительным и тихим пассажиром, как и следовало ожидать...

Я обошел судно по пустынной палубе. За кормой маячил темный силуэт танкера-водолея. Трос и шланг связывали нас с ним. В цистерны «Воровского» лилась пресная водичка. Она плескалась раньше в Великих озерах. Потом ее обменяли на доллары, и теперь она булькала в толстенном шланге водолея «Пирятин».

Возле шланга сидел вахтенный матрос и вытачивал из деревяшки пробку. Пустая водочная бутылка стояла возле матроса. Бутылка предназначалась для расписки за принятую воду.

Бутылка привязывается к шлангу, и «Пирятин» вытаскивает ее на борт. Способ связи начала прошлого века.

Была тихая, туманная, штилевая ночь...

В штурманской рубке сидел старпом и читал сонными глазами «Замок Броуди».

— Чего встал? — спросил старпом. — Я велел тебя не будить.

— Сам встал. Иди поспи, — сказал я в свою очередь. — В дрейфе я тут до утра справлюсь.

— Ерунда какая-то с водой, — сказал старпом. — Не перетекает из форпика. «Пирятин» злится, что мы так долго принимаем, а она не лезет. Воздушная подушка где-то образовалась. Мы с водолея женщину будем брать. Беременная, в декрет идет. Фамилию ее узнай и все данные.

— Откуда они воду возят?

— С Галифакса. Дешевле вода в Канаде. Вот они и берут с Галифакса, а не с Бостона.

— Нравится тебе «Замок Броуди»?

— Если начал, так закончу.

Ему здорово хотелось спать, но приемка воды — старпомовское дело, и он не собирался перепоручать его мне. Черт его знает, читают американские моряки романы Кренина в четыре часа ночи?

— А ты не первый писатель, с которым я плаваю, — вдруг сказал Володя Самодергин. — Я еще с Юханом Смуулом плавал. Мы на Шпицберген его возили. Он еще неизвестный был.

— Он, наверное, хороший человек, — сказал я. — А как тебе показалось?

— Очень хороший, — сказал Володя. — Пришли мы на Шпиц, и мне приказали показать ему колонию. Пошли мы, рудник посмотрели, потом в столовую пошли. Я его попросил внизу подождать, а сам к директору поднялся, чтобы предупредить, что писатель тут и чтобы приготовить... Ну, сам понимаешь. Поговорил с директором, спускаюсь, а его нет нигде. Туда, сюда... Смотрю, он уже у самого подножья сопки, драпает к пароходу изо всех сил. Он, оказывается, понял, зачем я к директору пошел... ну и убежал. Он и в кают-компании все в уголок жался, стеснялся и молчал. Очень стеснительный писатель... Давай-ка попробуем по радиопеленгам определиться, пока солнце далеко...

— Так я пойду к радистам, предупрежу, — сказал я.

— Давай.

И я пошел к радистам, потому что, когда включаешь радиопеленгатор, нужно отключить антенны.

Ночная радиорубка была полна тайн и сугубой обыденности. Радиооператор лениво тыкал пальцем в пишущую машинку. Кто-то где-то бормотал на неизвестных языках, кто-то где-то развешивал в эфире цепочки морзянки. Пачки радиogramм лежали на полочках и трепетали от легкого сквозняка. Старые «Огоньки» украшали диван яркими обложками. Обнаженная девица соблазняла радистов из-под стекла на столе.

А за столом, сдвинув наушники на виски, сидела немолодая женщина — наш пекарь.

Она много лет назад была радисткой и теперь пыталась вернуть забытую специальность, потому что за нее больше платят. Волосы пекаря были намо-

таны на бигуди, по щекам текли слезы, она всхлипывала.
— Ох, зверство какое, Виктор Викторович! — сказала она, не стыдясь слез. — Он раненый был, обожженный летчик, а немцы его к хвосту лошади привязали...

— С чего вы?

Пекарь сунула мне «Огонек» и опять запричитала:

— Ох, зверство какое! Ироды!

— Будешь ты работать? — цыкнул на нее радист. — Или тренируйся, или выгоню к чертовой матери! Здесь не изба-читальня!

— Ох, зверство какое! Он осетин был — летчик... Осетины добрые-добрые люди, я жила с ними, они родственникам не дают покойников хоронить. Считают, родственникам и так горя хватает. Все заботы друзья берут... Вы почитайте...

— После вахты почитаю, — сказал я. — Мы пеленговаться будем. Минут пять нам надо.

— Есть, — сказал радист.

— Старпом не спит? — спросила пекарь, утирая косышкой щеки.

— Ну?

— Вы ему передайте, что электропечь перегорела. С утра ремонтировать надо. Без хлеба останемся.

Старпом брал пеленга, а я прокладывал их на карте «От порта Нью-Йорк до порта Галифакс».

В глазах рябило от красной туши корректорских надписей и значков. «Путь следования подводных лодок „Эхо“». «Путь следования подводных лодок в подводном положении „Чарли“, „Зулу“, „Янки“, „Фокстрот“, „Экс-Рой“, „Уилки“...» Районы артстрельб, зенитных стрельб, бомбометания, противолодочных учений, неразорвавшихся глубинных снарядов, невзорвавшихся мин, свалки взрывчатых веществ... И везде: «Мореплавателям надлежит соблюдать осторожность!» От карты пахло чертом, его матерью и даже бабушкой. Сколько усилий, талантов, средств. И самое смешное — все это направлено против меня. Я враг номер один для Америки. И ведь они так думают всерьез. Или нет? Вот они тут, рядом, на острове Нантакет, в курортном местечке Сайасконсет, где торчат небоскребы и водонапорная башня; спят себе. Быть может, тут спят и внуки Мелвилла, и внуки Торо, и генерал Лесли Гровс, который сказал: «Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на

ученых сильнее, чем на военных». Лесли знал, что говорил, — он был главным администратором работ по созданию атомной бомбы. Первую бомбу он назвал симпатичным словом «Малыш», вторую симпатичным и смешным словом «Толстяк».

Когда самолет с атомной бомбой вылетел на Хиросиму, у Лесли выдалось свободное время — от вылета до атаки должно было пройти несколько часов. Он пишет черным по белому: «Донесения запаздывали, и я решил пойти поиграть в теннис». На корте, где играл в теннис Лесли, был установлен телефон, возле телефона дежурил офицер. Потом Лесли пообедал с женой и дочерью. Когда доели десерт, ему сообщили, что бомба взорвалась.

Двадцать третьего — двадцать седьмого апреля 1945 года французские войска вели тяжелые бои в пригородах Хайгерлока. Город входил во французскую зону оккупации. Спецотряды американцев с помощью английских ученых демонтировали атомный немецкий реактор, нашли и вывезли самолетами запасы тяжелой воды и металлического урана, реактор и знаменитого физика Гана.

Французы дрались на подступах к городу, американцы возились с реактором.

Тогда же с нейтральной территории между нами и американцами в районе города Штасфурт было вывезено тысяча сто тонн урановой руды.

Этими операциями командовал Лесли Гровс.

Я хочу быть объективным. Я знаю, что спасение человечества, нашей планеты — в объективности.

Я мог бы понять генерала во всем. Даже в том, что он швырнул атомные бомбы на вражескую страну. Война есть война, и на войне как на войне. Генералы получили новое оружие и применили его.

Я могу понять все, кроме того, что генерал Лесли играл в теннис, обедал, кушал десерт. Я даже мог бы понять его, если бы генерал Лесли после вылета самолета ушел в церковь и молился. Но он не молился.

— «Воровский»! Я «Пирятин»! Прошу на связь!

— Я «Воровский», слушаю вас.

— Дайте «малый вперед». Шланги провисают. Дайте «малый вперед», и все будет тип-топ!

— Хорошо, дадим, — сказал я, как всегда испытывая некоторую неловкость оттого, что голос мой коробит эфир. — А пока скажите, в честь кого названо ваше судно?

Я услышал, как «Пирятин» вздохнул в тумане.

— Вроде есть на Украине такой провинциальный городишко. Так дайте «малый вперед», и все будет тип-топ.

— Как зовут беременную? Фамилия, год рождения, должность?

Он сказал данные нашей будущей пассажирки. Я записал их и спросил:

— Вы бывали на берегу в Нантакете?

— Ну?

— Чего-нибудь интересное есть?

— Холмы, церковь, башня, скука.

— Спасибо. До связи.

— До связи.

На свою беду, забрел в рубку электромеханик Сансаныч. Он болел гриппом и выспался еще днем.

— Сансаныч, — сказал старпом. — Перегорела секция электропечи. Надо ее в строй вводить. Без хлеба останемся.

— Ха! — взорвался электромеханик. Всякие упоминания о неполадках в электрическом хозяйстве вызывали у него возмущение и оскорбляли до глубины души. — Директор ресторана и вся его компания жарят в хлебных печах цыплят табака! А теперь: «секция перегорела»! Конечно, перегорит, если в ней цыплят табака жарить! Это не «Арагви». Пускай сырую муку жуют! Или надо в Канаду зайти и там печь ремонтировать. Я своими силами не могу!

Мы немного посмеялись, потому что ночью не очень смеется.

Утром закончили смену пассажиров, снялись с дрейфа и пошли домой.

Я жевал селедку с картошкой и пересмеивался с буфетчицей Тамарой, которая мыла пол в кают-компании и ругала меня за опоздание на завтрак.

Америка оставалась уже далеко за кормой, но я все-таки включил телевизор.

Так просто включил, почти без надежды еще раз увидеть Америку. Но экран замерцал. Появилась авторучка, суперэкстракласса авторучка. Мужчина с волевым подбородком улыбнулся и взял винтовку. У винтовки был оптический прицел. Мужчина засунул в винтовку авторучку и прицелился. Пиф-паф! Авторучка поразила мишень в яблочко. Мужчина с волевым подбородком вытащил ручку из мишени и написал ею несколько слов. Очевидно: «По-

купайте наши авторучки — они крепче пули, ими можно стрелять из винтореза!»

Я ел селедку с картошкой и смотрел на Америку.

Пять мужчин с волевыми подбородками выстроились в линию у входа в гигантский магазин. На спинах мужчин были номера. Перед каждым стояла тележка. Судья поднял стартовый пистолет. Пиф-паф! Пять мужчин сорвались с места и рванули в гастроном, толкая перед собой тачки. Мужчины неслись в проходах между горами продуктов, хватали пакеты, швыряли их в тачки и мчались дальше. Мужчины сталкивались друг с другом, тачки переворачивались. Мужчины подбирали пакеты и мчались дальше по лабиринту гастрономических проходов.

Тот, кто первый наберет заданный ассортимент товаров и на заданную сумму, — тот победитель. И вот победитель выносится из дверей гастронома. Аплодисменты. Пять герлс танцуют в его честь. Он вытирает пот с мужественного лица. Судья поднимает его руку...

Изображение бледнело — мы были уже далеко от Америки. Она махала нам вслед соблазнительными длинными ножками стандартных девиц.

«Прощай, Америка! До новых встреч, Мелвилл!» — подумал я и чуть не подавился селедкой. Грохот, вой и стон потрясли судно. Тарелки подпрыгнули на столе.

Реактивный четырехмоторный самолет-разведчик прошел над «Воровским». Я видел, как мелькнули размалеванные жуткими стрелами его плоскости. Через минуту он промчался опять, обрушив на судно чудовищный грохот. Он шел так низко, что я заметил голову штурмана в нижнем фонаре кабины.

Если сравнить историю Америки и нашу за последнее столетие и задаться вопросом: кто больше накопил народного духовного общественного опыта? — то ответ будет в нашу пользу. Страдания нашего народа, неповторимость пережитых исторических периодов, бесконечное разнообразие общественных коллизий — больших и малых — все это не пройдет бесследно для нации. Все это пусть дорогой ценой, но укрепит нашу будущую историю, напугает ее способностью преодолевать неожиданные и крутые повороты.

Быть может, многие нации распадутся, растерявшись в хаосе и сложностях современности. России не грозит это.

За столетие мы углубили себя страданиями. А что произошло за это время в Америке? Конечно, она продол-

жала копить богатства и делала это много успешнее нас. А еще? Я не хочу сказать, что Америка ничем не помогала миру, что она не обогащала его теми или иными идеями. Я про другое. Про будущее. И здесь мне кажется, что мы подходим к перевалу, а Соединенные Штаты еще только у подножия горы.

БЕЗ СОЛИ

1

Иногда бывает ощущение, что все мы на планете — гости. Как в детстве, когда привезли тебя на елку в настоящий дом и ты чужой всем.

И такое я в очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг.

Уже за два дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я боялся, что вдруг айсберги унесет течением.

Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречались. Туманы там густые, часты снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И, конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Гедтофте».

Первый айсберг показался часа за два до заката. На экране радара он казался сперва судном. Но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан подвернул, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами.

Они плыли сюда от берегов Гренландии два года. Два года они раздавливали волны и обыкновенные льды. Они презирали ветра и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на триста метров.

Они плыли сюда два года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека. И они слышали последний, предсмертный вопль замерзающего мамонта.

И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана.

И я тоже шел к ним длинным и сложным путем.

Торжественная тишина стояла в рубке.

Мы врывались в храм.

Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем.

Мы измеряли его высоту секстаном и радаром — по вертикальному углу и дистанции. Получилось семьдесят метров.

Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами.

Айсберг имел две вершины, с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Незъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильватерный след оставался за ним.

Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря.

Намного ниже его вершин летал альбатрос.

А позади было еще два маленьких айсберга, очевидно соединенных с ним под водой общей подошвой.

И я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас — и больше ничего...

— А что это красное? Белого медведя убили, что ли?

И мы все заметили странные кровавые подтеки на огромной высоте, у самых вершин.

— Братцы, так это же номер! — заорал кто-то. — Номер восемнадцать!

Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе. Чтобы не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха.

Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги — «айсбержата»? — от жеребят? Или еще как, по-иному? Все изощрялись в островах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому.

Так с наслаждением разрушали храмы солдаты и дикари во все века.

Если выпарить всю соль океана, она покроет планету слоем в девяносто метров.

Почему вода в морях соленая, не знает никто. Идут жаркие научные споры.

У нас исчез запас соли в двух сутках от Ла-Манша. Нам было мало дела до научных споров: откуда берется соль в океане — из пресных рек выщелачиванием твердых пород земной коры или она разом выпала из атмосферы, когда миллиард лет назад Земля стала остывать.

Нам морская соль вообще не годилась, ибо от нее слабит. Нас интересовало, как исчезла наша поваренная соль. Ответчик — директор ресторана Жора — утверждал, что соль была уничтожена рассолом. По его теории, бочка с солеными огурцами не выдержала шторма, раскололась. Рассол проник в ящики с солью, растворил ее, унес в шпигат кладовки, а затем в Атлантический океан. Таким образом, директор ресторана Жора внес свой вклад в девяностометровый солевой слой планеты.

На борту больше четырехсот человек. Чтобы их кормить, надо пятнадцать килограммов соли в сутки. И вдруг оказалось, что без соли так же невозможно жить, как без пресной воды.

Радисты застучали ключами. Радиоволны понесли над планетой необычный SOS. Пароходство метало громы и молнии. Нам давали координаты ближайших судов, и мы вертелись в океане, чтобы сблизиться с ними. Умора была сидеть в радиорубке и слушать разговоры с коллегами.

— Теплоход «Невалес»! Я «Воровский»! Сообщите ваши запасы соли.

— «Воровский»! Я «Невалес»! Имею на борту две тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?

— Срочно нуждаемся поваренной соли.

— Повторите!

— Срочно нуждаемся столовой соли!

— Какой у вас груз?

— Имеем на борту триста двадцать пассажиров.

— Протухли они у вас, что ли?

— Почему протухли?

— Зачем вы собираетесь их солить?

— В штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать?

Откуда на обыкновенном грузовом судне может быть

лишняя соль? Там экипаж максимум тридцать — сорок человек.

Наши пассажиры привыкли питаться хорошо, и даже слабые попытки перевести их на сухой паек закончились скандалом.

И мы начали благословлять директора Жору — в сложившейся ситуации пароходство должно было разрешить заход в Англию или Францию.

Мы уже шесть раз пересекли Атлантический океан и имели моральное право передохнуть денек в симпатичном заграничном порту.

Неуверенная мечта о таком заходе давно жила в экипаже. И к осуществлению мечты прилагались даже усилия. Например, в прошлом рейсе было отмечено, что вода, которую мы брали на промысле — канадская или американская вода, — имеет не наш вкус и цвет. Были высказаны предположения, что водяные танки водолея недостаточно чисты. Если бы нам удалось доказать дурное качество воды, заход в симпатичный заграничный порт стал бы неизбежной реальностью. Поэтому авторитетная комиссия в составе старпома, доктора и предсудкома нацедила воды в бутылку из-под рома, опечата- ла, составила акт и вручила бутылку капитану.

Михаил Гансович принял от комиссии бутылку с водой и торжественно поставил ее в свой холодильник, чтобы в Мурманске сдать воду на анализ.

Дней через пять старпома осенило.

Мы играли в «козла» спокойным вечером, когда он вдруг схватился за голову и застонал:

— Пареньки, что мы сделали!

— Что?!

— Нельзя было в холодильник! Теперь от холода микробы сдохли!

И все мы вспомнили, что питательный бульон для микробов специально подогревают, чтобы микробы лучше размножились.

Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович отправился в каюту, вытащил бутылку из холодильника и поставил ее за грелку отопления.

Михаил Гансович был удивительно добрый и покладистый человек. Вот уж кто никогда не трепал нервы экипажу без нужды, так это он. За исключением английских команд, конечно. А получить разрешение на заход в загранпорт ему было важно, чтобы поупражняться в произношении с настоящими англичанами.

Но, очевидно, было поздно. Очевидно, эти подлые микробы оказались нежизнестойкими и сдохли в холодильнике, потому что анализ ничего для нас положительного не дал.

Теперь наш малосольный, многострадальный теплоход получил шанс передохнуть денек в Плимуте или Гавре.

Встречный «Ржев», который мог дать нам приличное количество соли, попал в туман на подходах к Зунду, и застрял у Борнхольма.

Оставался «Северодвинск». Он шел в Кильский канал впереди. Капитан «Северодвинска» оказался ворчливым и непокладистым. Он сообщил, что может дать любое количество соленой воды, но ему скоро направо, а нам налево, и ждать он не будет, потому что торопится в Ригу на ремонт. Ясно было, что в Риге капитан собирается удрать в отпуск и ему важен каждый час. Но пароходство велело ворчливому капитану ждать нас у Булони.

Была глухая ночь, кромешно черная. И глаза так привыкли к темноте, что слепил огонек сигареты. И слепил даже слабый отблеск палубных огней на пене волны, отброшенной носом судна. И слепили вспышки маяков на морском проспекте Па-де-Кале.

В небе метались между Францией и Англией маленькие самолетики, неся на крыльях красные огоньки. И чего им не спалось? По-моему, это были частные самолетики и летали они из закрывшихся английских ресторанов в ночные французские. Летали пареньки, как у нас говорят, «добавить».

А по проспекту плыли бессонные трудяги корабли, цугом, как лошади в обозе.

И Михаил Гансович не уходил спать, белел рубашкой у окна рубки.

За восемнадцать миль Булонь появилась на экране радиолокатора сигналом, отраженным каменными молами.

С запада в Булонь следуют створом городского собора и форта на горе Ламбер. Почти посредине этого прохода лежит затонувшее судно с опасной глубиной пять метров. Над судном горит вечный огонь, то есть оградительный буй. Называется буй «Офелия». Набережная в городе носит имя Гамбетты. Возле набережной толкуются борт к борту рыболовные суденышки.

К востоку от Булони есть город с самым коротким

названием — Э. К городу ведет канал Э. Дарю эти сведения составителям кроссвордов. В городе Э, конечно, есть церковь и замок, видные с моря.

Боже мой, сколько построили люди церквей, соборов, часовен, кирх, костелов, мечетей, минаретов, колоколен! Неимоверное количество. И моряки это знают лучше других, потому что все эти церкви и соборы нанесены на карты и тянутся шпилями и крестами в небеса. Мне кажется, церкви в определенном смысле заменяли прежним людям кино. Они давали какое-то развлечение в средневековом вкусе. Правда, кинотеатры не тянутся в небеса, и я еще ни разу не видел кинотеатра на штурманской карте. А церкви и соборы до сих пор помогают водить вдоль берегов корабли.

Но об этом не написано в лоциях, все это я сам придумал. А в лоции прочитал название местных, булонских ветров: «сюэ», «биз», «вандуэз», «нарэ». Сюэ, конечно, теплый ветер, а нарэ — холодный. Это ощущается в их звучании.

Я вышел на крыло мостика в ночь. Дул сюэ. Впереди видно уже было зарево огней Булони. Зарево мерцало, как теплое северное сияние. Сюэ тянул с берега, и казалось, я слышу запах Бретани — запах цемента, автомобилей, фруктов, овощей и вина. Берег не был виден. Там, за дюнами, спали в своих домишках французские крестьяне, среди весенних рощ и лугов, чередующихся мелкими возделанными участками земли. Такой пейзаж на полуострове Бретань называется «бокаж».

И близок был Париж, праздник, который всегда с тобой, — часа два на автомобиле по пустынному ночному шоссе.

Из открытой двери ходовой рубки доносился голос старпома, он пилл доктора Леву.

— Не мог найти какой-нибудь аппендикс? — сетовал старпом. — Вот я чешушь весь рейс. Может, это опасное мозговое заболевание. Доложил бы Щуке (Щука — фамилия начальника санинспекции), что Самодергин чешется и ты ничего не можешь своими силами... Викторич, ты куда пропал?

— Здесь я, Алексеич.

— Пойдешь на вельботе?

— Пойду.

— Печать не забудь тогда. На накладной печать поставить надо будет. Эти волосаны с «Северодвинска» без печати прошлогоднего снега не дадут.

— Есть, понял.

Он вышел на крыло и стал рядом со мной.

Зарево Булони было уже близко, но зыбко, и на фоне его видны были огни «Северодвинска», который ожидал нас на якоре.

— И не надоело тебе быть писателем? — спросил Алексич.

— Надоело.

Мне действительно надоело. Столько сил уходит, чтобы заставить людей позабыть, что ты их вдруг возьмешь да и опишешь. Будь оно неладно.

— «Северодвинск», я «Воровский», это вы стоите?

— «Воровский», я «Северодвинск», это вы идете?

— Да, это мы подходим.

— Понятно, это мы стоим.

— Добрый вечер. Как слышите меня?

— Доброй ночи. Отлично слышу. Кто у рации?

— Старший помощник.

— Капитана попросите.

Тихий, как катафалк, Михаил Гансович взял микрофон и прокашлялся. Он не мог вспомнить имя и отчество своего коллеги с «Северодвинска». Они были какие-то очень заковыристые, особенно отчество, вроде «Святополковича».

— Гм, кх, капитан у аппарата. «Воровский» говорит.

— Михаил Гансович, доброй ночи, откуда идете?

— Гм, кх, м-м-м-м... доброй ночи, Свет... Митич, от Америки идем, от самого Нью-Йорка.

— А как вас сюда занесло, Михаил Гансович? Чего южнее Англии идете?

— Гм, кх, Фед... Митич, погоды, говорю, штормовые, три шпангоута треснули... Треснули, говорю, три шпангоута... Тут еще просьба. Директор ресторана просит семь палочек дрожжей, кроме, гм, кх, соли... Как у вас с дрожжами?

— Да я, Михаил Гансович, дрожжами как-то не занимаюсь сам. Сейчас выясним... У вас радиооператор Тютюлькин есть?

— Есть у нас Тютюлькин? — спокойно спросил Михаил Гансович окружающую темноту и попутно приказал: — Слоу хид!

— Есть Тютюлькин, — доложил я. — Первый рейс идет, из демобилизованных.

— Гм, кх, Вов... Митич, есть Тютюлькин:

— А у меня невеста его плавает буфетчицей. Вот она

тут стоит, просит, чтобы Тютюлькина на вельбот взяли, когда к нам пойдете, целоваться хочет.

— Это можно, гм, кх, можно. Пойдет Тютюлькин, поцелует.

— Будут дрожжи, Михаил Гансович. Есть дрожжи. Как поняли?

— Понятно, понятно. Спасибо. Ну, я в дрейф ложусь, вельбот будем спускать.

Несколько секунд из микрофона слышался далекий английский разговор, потом эфир щелкнул и сочный бас спросил:

— Это кто тут по-русски заливается?

— А вы кто такой? — спросил «Северодвинск».

— «Тижма», идем с Конакри на Ленинград.

— Банановоз, что ли? — поинтересовался «Северодвинск».

— А вы кто?

— Я «Северодвинск», даю соль и перец теплоходу «Вацлав Воровский».

Сочный бас засмеялся и поправил, потому что, очевидно, уже давно подслушивал:

— Соль и дрожжи, а про перец не было. Ну, счастливо вам!

И проплыл где-то там в темноте, в обозе других судов по морскому проспекту Па-де-Кале.

К рассвету дело было сделано, вельбот вернулся в привычные объятия шлюпбалок; Тютюлькин, нацеловавшись, спал; повара сыпали в котлы соль; пекариха-радистка радовалась свежим дрожжам, и все мы скользили по зеленой воде мимо Дувра, мимо мыса Дайджес. А потом, когда поисковые нефтяные вышки, похожие на марсианские сооружения, остались за кормой и берега Англии исчезли в легкой дымке, мы легли на чистый норд, увозя с собой голубя, голубку и маленького воробья.

Голуби держались вместе. Они перелетали с носа на корму и садились где-нибудь под ветром, тесно прижавшись плечом к плечу. Голуби были розовато-голубые, очень чистые и изящные. Они не подпускали близко, взлетали, делали полукруг и опять садились. Они поехали с нами путешествовать из Франции в Норвегию бесплатно, как туристы с «автостопом». Было приятно видеть этих молодых, путешествующих бесплатно влюбленных. У молодых влюбленных часто нет денег на билет.

А француз-воробей был мал да удал. Он чихать хо-

тел на семейную жизнь и ехал в одиночку. Шатался по теплоходу, совал нос даже в окно рулевой рубки, доклевывал остатки пшена, которое мы сыпали голубям, и чувствовал себя отлично. Очевидно, это был уже старый морской бродяга.

Они переплыли с нами северное море и высадились в Норвегии, чтобы посмотреть фиорды и горные водопады и потом вернуться во Францию на другом попутном судне.

3

Я долго не мог понять, почему на ненастном небе, в дожде и тумане, появились звезды. И почему очертания созвездий так незнакомы мне. И почему созвездия устали, не могут хранить своих законных мест во Вселенной.

Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. Освещенный мощными огнями теплоход.

А в холодной рубке, как всегда, было темно. Светились только указатель положения руля, тахометры и красные лампочки пожарной сигнализации. И чуть заметным, зыбким, кладбищенским светом светились перед окнами рубки мириады частиц воды — туман и дождь. И в этом туманном море возникли усталые созвездия. Они трепетали и ярко иногда взблескивали. И неслись вместе с нами.

Я вышел из рубки на крыло мостика. Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. Глаза слезились. Я подставил ветру затылок и поднял к глазам бинокль. В стеклах заколыхались белые надстройки, спасательные вельботы, темные от дождя чехлы и птицы — распушенные ветром мокрые комочки. Они металась между антеннами и пытались прятаться от ветра за трубой, за вельботами, на палубе.

Это действительно были усталые созвездия. И подвахтенный матрос уже бежал ко мне с птицами в обеих руках.

— Скворцы, — сказал он. — Мы пробовали их кормить, но они не едят.

Так ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. Конечно, вспомнился Саврасов, весна, еще лежит снег, а деревья проснулись. И все вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи

и скворцы. Этого не опишешь. Это возвращает в детство. И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.

И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. За именами — Саврасов, Левитан, Серов, Коровин, Кустодиев — скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость, со всей ее нежностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись.

И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейших анализов психики отдельного человека и сложнейших анализов жизни общества, — в наш век тем более не следует забывать художникам об одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.

Пускай наших пейзажистов не знает заграница. Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолетного, но счастья. А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России.

Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины.

Итак, мы спешили на северо-восток, домой, к причалу Мурманска. И вдруг прилетели скворцы, забились в разные укромные места передохнуть. И так как мы уже соскучились по дому, то и подумалось о России и тихом пьянице Саврасове. И потом, когда увидишь над морем маленькую сухопутную птичку, то как-то раскисаешь душой. Ведь с детства читал о маяках, на свет которых летят и разбиваются птицы. И помнишь картинки в учебнике. Правда, знаешь уже и то, что перелет через океан — это экзамен на право называться птицей. И тот, кто не сдаст экзамен, погибнет и не даст слабого потомства. И знаешь, что ничего особенного в длительных перелетах для птиц, вообще-то говоря, нет. За обыкновенный летний день стриж налетывает тысячу километров, чтобы накормить семейство. Тренировка. Уже известно, что птицы ориентируются по магнитным силовым линиям Земли. В полете они пересекают их под разными углами, а ток, индуктируемый в проводнике при движении проводника в магнитном поле, зависит от угла. И птички

могут чем-то замерять силы тока, а по ним угол движения относительно магнитных полюсов земли.

Есть птицы, которые вечно живут при свете солнца, то есть никогда не живут в ночи. Они летят по планете с таким расчетом, что солнце всегда светит им. Всегда они живут среди дня, света и радости. И они погибают, если ночь хотя бы раз догонит их.

О многом уже узнал, но когда видишь птичку, борющуюся с ветром, кувыркающуюся над волнами, так и зашемит сердце от нежности к ней.

Морские птицы — другое дело. Они вызывают восхищение и зависть своим совершенством. Очень редко увидишь в океане, чтобы чайка махала крылами. Это на речках и вблизи берегов они машут сколько душе угодно, как какие-нибудь площадные голуби. А в океане можешь смотреть на чайку десятки минут, и она все будет нестись над волнами перед носом судна — по шестнадцати миль в час — и не трепыхнет крылом. Ее полет — вечное падение, вечное планирование.

Когда штормит, чайки несутся в ложбинах между валов. Там, в водяных ущельях, между водяными горами и холмами, они укрываются от ветра.

Появился старпом Володя Самодергин, деликатно, незаметно проверил, все ли у меня на вахте нормально, пощупал море радаром, сказал, конечно, то самое, о чем я только что думал:

— Птичек жалко, правда, Викторыч?

— А ты знаешь, что древние норманны возили с собой по морям вместо компаса ворон? — спросил я, дабы похвастаться эрудицией. Но похвастаться не пришлось.

— Знаю, — сказал Володя. — Они птиц выпускали, чтобы направление на сушу, на ближний берег определить. Так даже Ной делал. Только у него голубь был, да?.. На концерт пойдем?

В последние сутки рейса стараниями помполита и многих активистов создавалась концертная самодеятельная программа. И всегда это было интересно, талантливо и смешно, хотя и немного наивно.

Мы в четыре руки подготовили вахту к сдаче. Он снимал координаты, показания приборов — я записывал в журнал. Я звонил в машину и давал сводку за вахту, а он еще и еще щупал ненастное море радаром. Мы хорошо научились с ним работать в четыре руки. И он неоднократно ловил меня на ошибках, а я за все совместные плавания не смог ни разу поймать его ни на чем.

У него было удивительное, птичье чутье, интуиция. Он включал радар именно тогда, когда на экране появлялась отметка. В спокойном дрейфе он приказывал готовить машины за десять минут до того, как айсберг подваливал нам под корму. Причем такой айсберг, который был в воде почти весь, которого не брал радар и которого не было видно в тумане.

Его смешная фамилия происходит от деда-крестьянина, который всю жизнь дергал сам себя за бороду.

Мы сдали вахту, поужинали и спустились в музыкальный салон. Полированное дерево стен салона благородно отблескивало люстрами дневного света. Инкрустации древних каравелл мерцали в древесных стенах. Каравеллы плыли и плыли, раздув пузатые паруса.

Салон был битком набит. Наши места пустовали, ожидая нас в центре. Наконец прибыл наш капитан, капитаны траулеров, экипажи которых мы везли от берегов Америки, и их помполиты.

И начался вечер перед расставанием. Через сутки мы станем к Пассажирскому причалу Мурманского порта. Рыбаки сойдут по трапу. И, быть может, мы никогда больше не встретимся. А может, и встретимся, но никто этого не знает.

Наши девушки, взволнованные и хорошенькие от волнения, в ослепительно белых блузках и черных юбочках, стучали каблучками от нетерпения. Но вечер уверенно взял в свои руки радиотехник Семен. Это был профессиональный конферансье. Он вышел к микрофону развязной походкой, проверил натяжение веревок, которыми привязаны были музыкальные инструменты, и сказал:

— Дорогие товарищи рыбаки! Сейчас я прочитаю стихотворение Симонова о неверной жене. Это стихотворение относится к войне, но вы рыбаки, и вам такая тема знакома, так как вы долго бываете в отрыве от семей!

И в гробовой тишине, завывая и делая жесты, прочитал «Открытое письмо»: «...Мы ваше не к добру прочли, теперь нас втайне горечь мучит: а вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь еще получит?..» И так далее, и тому подобное. Я было подумал, что рыбаки, в ответ на деликатность и чуткость, подкинут Семену банок, но все обошлось. Наоборот, ему шумно аплодировали. И я еще раз понял, что ничего не понимаю в психологии сегодняшних людей.

Вообще, мелодрама оказалась гвоздем программы. Тряхнула стариной и наша пекарь-радистка, которая когда-то плакала в радиорубке. Она вышла на авансцену, шагая широко и решительно, как Маяковский. Она была в черных чулках и с красными пятнами на щеках.

— «Боцман Бакута»! Быль! — Пекариха сложила на груди тяжелые, натруженные тестом руки и повела рассказ: — Однажды наше судно зашло в Неаполь. Боцман Бакута отправился на берег. Возле шикарного отеля он увидел десятилетнюю нищенку необыкновенной красоты. Никто из буржуев не подавал чудесной итальянке. Боцман Бакута увел девочку на судно и с душевным волнением прослушал ее песни. Потом боцман собрал деньги с экипажа и отвез девочку-нищенку в магазин. Он одел крошку, как принцессу, и устроил к знаменитому профессору пения. Потом мы снялись из Неаполя, унося в сердце образ Джанины — так звали девочку. Прошло десять лет. Судно, на котором плавал боцман Бакута, пришло в Марсель. Город был заклеен афишами знаменитой итальянской певицы. Боцман узнал Джанину. Он сгорал от нетерпения ее увидеть. На последние деньги он купил билет и пошел в театр со скромным букетом весенних цветов. После представления он проник к Джанине и подал ей букет. «Кто вы? — пренебрежительно спросила она и швырнула букет ему обратно. — Я не принимаю таких цветов!» Боцман Бакута вернулся на судно и написал Джанине письмо: «Я помню ангела-сиротку на улицах Неаполя... неужели богатая жизнь так испортила ее?»

Когда судно уже отдавало концы, на причал влетела огромная машина. Из нее выскочила Джанина. Она была в черной вуали и застыла у края причала, как статуя. Но было поздно — Марсель растаял в дымке... И вот недавно мы слышали по радио необыкновенной красоты песни. Потом диктор объявил: «Пела Джанина Бакута!»

Хотите — верьте, хотите — нет, но у меня навернулись на глаза слезы. И рыбаки, убившие миллионы рыб и видавшие черт те знает какие виды, тоже старались не поворачивать друг к другу головы, чтобы не выдать волнения, недостойного мужчины. И я подумал о том, что самый беспронгрышный сюжет — это «Дама с камелиями». Мелодрама преодолевает века и границы и без промаха поражает самые разные сердца.

Затем вышли наши девушки, обнялись, зарделись, переступили каблучками по медленно качающейся палубе и спели: «Стоят девчонки». В этой песне рассказывается

о том, что девчонки стоят возле стенок в клубе и не танцуют, потому что на десять девчонок только девять ребят. Пели с настроением и грустью, но получилось смешно, так как на каждую из них у нас было по четыре десятка ребят, и уж на это они не могли проникновенно жаловаться.

Потому зал откровенно заржал.

И выход на сцену черного кавказского человека с неизбежными черными усиками и джигитскими повадками оказался кстати.

Он рассказал о старике кабардинце, который всю жизнь носил жену в корзине за спиной, чтобы она не могла ему изменить.

Щелкая пальцами, вращая глазами, он показывал, как пыхтел старик, когда ему надо было подниматься в гору. И как он на вершине горы открыл корзину и увидел в ней свою старуху вместе с соседом-стариком.

Зал покатывался и от восторга иногда взрывался руганью.

Конечно, такой вольный сюжет следовало уравновесить. И это уравнивание было заложено в программу.

Вышла поваренок-корневщица и прочитала пронзительные стихи известного поэта-современника: «Пусть любовь начнется, но с души — не с тела!» И страсть пусть тоже будет, однако «страсть, но — не собаки и не кошки!» Читала поваренок по бумажке, часто сбивалась, но ей тоже похлопали. А я с гордостью подумал о наших поэтах. Эти пареньки могут написать все, что угодно. Для них нет милиции. Это пареньки отчаянной смелости. Им можно только завидовать.

Затем начались танцы и игра в «почту».

В Мурманске мы взяли в рейс четырех музыкантов из ресторана «Арктика». Сперва они, конечно, укачались и несколько дней лежали облеваннные, и их не поднять было, чтобы они прибрали каюту.

Потом отошли.

Замысел был такой: профессиональные музыканты поднимают уровень нашей самодеятельности. Кроме того, они должны были играть на вечерах танцев. Все знают, что танцевать под живую музыку интереснее, нежели под магнитофон.

Музыканты сперва приходили играть в белых рубашках и при галстуках.

Потом обнаглели.

Трубоч-солист сидел в глубоком кресле, свесив распу-

щенное брюхо между колен, босые пальцы торчали из рваных тапочек.

Его звали Гарри. Вся ресторанный пошлятина густо умащивала его одутловатое, забывшее солнечный свет лицо.

Ударник, в пуловере, надетом прямо на голое тело, и тоже в тапочках, женоподобный, пухлый, моложавый, румяный, с кудряшками на висках, часто закрывал глаза и закидывал голову, привычно выражая музыкальный экстаз.

Контрабасист блестел набриолиненными слабыми волосами и был смертельно удручен своей глупостью. Эти пареньки, конечно, не знали в момент найма, что ресторан здесь не будет, чаевых — тоже. Что предстоит им качаться в океане два месяца за обыкновенную зарплату. Их официальное звание было — «музыкант».

Наиболее порядочное впечатление производил пианист. У него был значок Киевской консерватории. Он сидел спиной к залу, широко — от качки — раскорячив ноги. Он, вероятно, был талантлив и презирал как себя, так и своих друзей-лабухов, и рыбаков, и всех вообще.

Танцующие пары шатались на кренящемся полу музыкального салона, спотыкаясь на складках и дырах старого ковра. Ковер разодрали ножками кресел, когда в шторм смотрели здесь кино.

Рыбаки стильно оттопыривали упитанные зады, обтянутые — по моде — туго ушитыми штанами. Из закатанных рукавов рубашек могуче высывались мускулистые лапы. Нетанцующие, как и положено, сидели под переборками, жадными глазами жевали девиц и перекидывались о них соответствующими замечаниями.

Вдруг Гарри встал с кресла и предложил желающим друзьям-рыбакам самим сыграть на барабане или спеть.

Желающих не нашлось. Тогда Гарри решил спеть сам.

«...Ночь холодна, и туман, и темно кругом.
Мальчик маленький не спит, мечтает о былом,
Он стоит, дождем объятый
И на вид чуть-чуть горбатый,
И поет на языке родном:
«Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы,
Подходите, не робейте,
Сироту меня согрейте,
Посмотрите: ноги босы..
Друзья, ведь я совсем не вижу;
Милостынькой вас я не обижу, —

Так купите ради боже
Папиросы, спички тоже —
Этим вы спасете сироту!..»

Судно качало, бухали под бортом волны, качались в коридоре заплыванные, забитые окурками урны. Топтались и слушали вокруг рыбаки, строго и грустно слушал из золотой рамы Вацлав Воровский. И пора было идти спать. Но я дослушал песню. Странное тягостное впечатление создавала она.

«Я мальчишка, я сиротка, мне шестнадцать лет.
Помогите ради боже, дайте мне совет,
Где бы мог я помолиться, где бы мог я приютиться,
Мне теперь не мил уж белый свет...
Мой отец в бою жестоком
Смертью храбрых пал.
Немец в гетто с пистолета
Маму расстрелял,
А сестра моя в неволе,
Сам я ранен в чистом поле,
Отчего я зренье потерял...
Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы...»

Хриплый безголосый Гарри отлично передавал интонацию вагонного певца-слепа. Понесло вдруг вагонным запахом — обмотками, голодом и военной махоркой. И все это было чем-то связано с некрасивым топаньем по рваному ковру молодых, изголодавшихся по женщинам мужчин и со строгим лицом Вацлава Воровского.

Я почему-то думал о том, что сентиментальность концерта самодеятельности и то, что произойдет завтра на причале Мурманска, как-то не вяжутся.

Никогда так буднично я не возвращался из моря и так буднично не уходил в него, как в эти рейсы на Джордес-банку с рыбаками.

Есть моряки, капитаны, которые трижды тянут привод гудка при расставании с другим судном или портом, но делают это потому, что так положено. И есть моряки, которые плавают всю жизнь ради этих трех гудков, ради того волнения, которое возникает в человеке при словах благодарности, прощания или встречи.

Трижды мы швартовались в Мурманске, и причал был почти пуст. Маленькая горсточка людей встречала рыбаков, отвоевавших с океаном четыре месяца.

Нельзя передать словами, как давит молчание и тишина причала, когда подходишь к нему. Как хочется

оживления, махания рук, женских счастливых лиц, поднятых на руки детишек.

Вероятно, Мурманск суровый город. Тишиной и малолюдьем встречает он рыбаков, если они не совершили чего-нибудь сверхчудесного, сверхпланового.

Но скорее всего именно так и должно быть. Ведь у плавающих людей впереди всегда одно — дальняя и дальняя дорога...

МИМО ФРАНЦИИ

1

На площади Звезды под дождем негр сметал с тротуаров опавшие листья. Негр был в резиновых сапожках... «Лиловый негр вам подает мантию...»

На углах улиц тихо сидели в павильончиках продавщицы цветов... «Фиалки Монмартра...»

Тротуары были пустынные, а вокруг площади Звезды мчались тысячи авто... Авто?.. Что-то Маяковского.

Между авто извивались мотоциклисты в плащах-накидках, застегнутых вокруг шеи и на руле.

Стояла Триумфальная арка. Под ней лежал Неизвестный солдат.

На пешеходных переходах горели красные надписи светофоров: «Аттанде!» — Опасно! Подождите! Ах, вот откуда наш детский предупреждающий вопль: «Атанда, пацаны! Мильтон!» Наш детский вопль прибыл в далекую Русь с берегов площади Этуаль в Париже. А кто-то мне говорил, что это возглас банкомета, прекращающий ставки игроков.

У авеню Фош ко мне подошел джентльмен с мокрой картой в руках:

— Месье, перле мерле але?

Я редко хохочу, а тут закатился. Меня приняли за француза и спрашивают дорогу! Почему немного не порезвиться?

— Перле анри утиль, — объяснил я и показал пальцем в никуда.

— Мерси, месье!

— Силь ву пле!

Дождь как из ведра.

Очевидно, переход к Триумфальной арке где-то под землей.

Я закладываю вираж вокруг площади.

Штук пятнадцать пятнадцатилетних мальчишек набрасываются на меня из-за угла, бьют в спину, хлопают по плечам, хватают за куртку, суют в нос гремящий железный ящик со щелью. И ни одного полицейского! Мама, помоги! Атанда!

— Арле! Мурле! Курле! Вьетнам!

Господи, слава тебе! Они собирают на Вьетнам!

Сую в щель франк. Перестают бить и набрасываются на девицу с конским хвостом. Та ведет себя, как Жанна д'Арк, — сумочкой справа налево — бах! бах! Или она буржуйка, или они между делом успели ее потискать. Хохочут все. Один укрылся с головой трехцветным французским флагом. На дощатом ограждении земляных работ — тысяча сто пятьдесят девять портретов Че Гевары. Чрезвычайно мужественное бородатое лицо — кумир французской молодежи. Долой де Голля! Вива революция в Латинской Америке! Вива Кастро!..

Падал дождь и листья платанов, похожие на кленовые, но более жесткие, шумные.

У спуска в подземный ход стояла, обнявшись и покачиваясь, целовалась парочка. Я миновал парочку и нырнул вниз. На ступенях из светлого камня густо лежали опавшие листья, и я подобрал целую ветку платана с двумя колючими шишками.

Лампы освещали подземный переход отраженным от потолка светом. Было пустынно, по-подземному торжественно звучали мои шаги. И вдруг я понял, что иду к усыпальнице.

Ажан в черной накидке с красными аксельбантами на левом плече стыл на влажном сквозняке. Моя куртка тоже была черной от дождя, с кепки капало, брюки промокли на коленях, в руках была ветка платана с шишками. Ажан следил за мной недоверчивым взглядом. Я давно привык к таким взглядам.

В четыре пролета Триумфальной арки смотрел мокрый Париж, уходили в сиреневую от выхлопных газов даль Елисейские поля.

У Неизвестного солдата лежали венки из роз — розовых, красных, бледных, нежных, грубых. Горел вечный огонь, ветер теребил розы в венках, метался огонь и дым над ним.

Я посмотрел вверх, и голова тихо закружилась — так

высоко смыкались надо мной своды Триумфальной арки, Ее стены исписаны золотыми, торжественными, непонятными мне словами.

Я постоял у вечного огня, думая лишь о том, что, быть может, здесь положено снимать шляпу. Но почему-то было неудобно ее снимать.

С площади Этуаль я отплываю в направлении Эйфелевой башни.

Дождь перестает, и сразу взблескивает в прозрачных лужах тихое солнце. Вдоль тротуаров текут ручейки, омывают шины отдыхающих машин. Крыши машин в узорах опавших листьев. У подъездов — мусорные урны, они полны, вокруг тоже кучи мусора. Бастуют уборщики. В кучах мусора валяются журналы с такими соблазнительными обложками, что так и тянет их стащить и полистать.

Одиноким шагаю я по авеню Клебер. Особняки очень богатых людей отгорожены металлом литых решеток. Подстриженные кусты, незнакомые огромные деревья. Пустынность. Тишина. Воскресенье. И почему-то становится грустно. Сворачиваю куда-то в сторону с авеню, смотрю витрины дорогих магазинов. И думаю о том, как хорошо, что мои родные женщины не видят этих витрин. Женщины — не мужчины, вещи нужнее им. Быть может изящная безделушка или модное нижнее белье способны продлить женщине жизнь.

Женское белье и всякие женские штучки везде в Париже. Они мирно уживаются с бородатым Че Геварой на заборах.

На бортах автобусов, удобно откинувшись на спину, лежит голенькая парижанка, только ее груди чуть прикрыты кружевным. Туннели метро украшены девушками в очень коротеньких голубых рубашечках, девушек сзади обнимает юноша. Смысл рекламы такой: «Покупайте рубашечки, которые одинаково приятны телу женщины и грубым рукам мужчины!» В вагоне трамвая над указателем остановок — две ножки в соблазнительных чулках, про такие ножки говорят, что они растут прямо от ушей. То дикие, то ласковые, то покорные, то таинственные женские глаза смотрят с витрин, со стен домов, с консервных этикеток, с журналов и газет. И с уважением вспоминаешь мудрость нашего великого соотечественника, коротко сказавшего, что нельзя объять необъятного.

Именно поэтому мы, вероятно, и не украшаем города прекрасными женщинами, чтобы не расстраиваться понапрасну, чтобы нам, мужчинам, было спокойнее, чтобы не трепать мужчинам нервы, не сокращать нам жизнь.

Без цели, без торопливости кружу по узким улочкам, курю сигареты. Улица Иены... Улица Кеплера... Улица Бодлера... Какой-то бульвар, превращенный в рынок, в бесконечный натюрморт.

Краски и запахи бьют по глазам, в нос, нежат, гремят, извиваются под прозрачной пластикатовой крышей бульварного рынка.

Ананасы, апельсины, яблоки, ракушки, розовые куры с синими этикетками, огурцы, лук, спаржа, разделанные зайцы и кролики, гирлянды из меховых лапок вокруг продавцов, бананы, странные рыбы, орехи, пестрые банки соков, мясо, мясо, мясо, горы гвоздик до самой крыши, пуды роз, центнеры махровых ромашек, фонтаны канн, опять устрицы, морские ежи, креветки, лангусты, ослепительные передники и колпаки; женский, хозяйственный шум-говор, как на всех рынках мира...

Конца не видно. Я выбираюсь на площадь, чтобы определиться. Верчу план. Оказывается, рынок — это авеню Президента Вильсона.

Президенту, должно быть, вкусно на том свете.

До Эйфелевой башни рукой подать — только перейти Сену... В предсмертном бреде Мопассан утверждал, что бог с Эйфелевой башни объявил его своим сыном, своим и Иисуса Христа... Мопассану в бреде мерещились прекрасные пейзажи России и Африки. Почему России? Он никогда у нас не был... Эйфелева башня давила большой мозг Мопассана своей металлической пошлостью. Сегодня Мопассана во Франции почти не помнят, не издают, удивляются, если назовешь его среди любимых писателей: «Слушайте, да какой же он стилист?» А на кой черт быть стилистом, если уже и Мопассан не стилист?

Я перехожу Сену по мосту, аляповато украшенному фанерными снежинками. Снежинки венчают фонарные столбы — через месяц Новый год.

Опять крапает дождь. Сена серо-голубая. Пароходики и баржи бело-синие. Сена, конечно, не Нева, но мускулистая река, крепкая, и крепко держат ее каменные набережные. Однако, как в любой реке, есть в ней душа и особенное речное настроение. Течение реки неосознанно ассоциируется у нас с течением времени, будит в душе нечто лирическое и светло-грустное.

Иду вправо от моста Конкорд вдоль Сены. Эйфелева башня уже совсем рядом. Но между ней и мною в пять рядов несутся машины. Стою у семафора минуту, пять, десять. Семафор бездумно глядит мне в лоб красным огнем. Испортился? Вот тебе и центр Парижа! Машины несутся сплошным потоком. Ночевать тут, что ли?

Сзади приближается длинный, аристократического вида старик. И здоровенный дог на ремне. Дог под макинтошем... Макинтош — французский генерал... Макинтош застегнут на пуговицы под впалым брюхом дога.

Старик подходит к семафорному столбу и надавливает кнопку. Зажигается желтый свет. Шакалы-машины тормозят. Зажигается зеленый.

Старик величественно чапает через набережную. Потом дог в макинтоше. Потом я. Ну зачем останавливать движение, если никто не хочет переходить набережную? А надо — нажми кнопку. Даже дог смотрит презрительно.

Сажусь на мокрую скамейку в скверике перед башней. Вокруг бродят голуби и собаки — есть и в пелеринках, и в шубках, и в мини-юбках. А голых голубей выселяют из Парижа в специальные резервации, как индейцев в Америке. Голуби разносят заразу. Последние парижские голуби бродят вокруг по лужам. Прощайте, голуби!

Что значит власть авторитетов! Башня Эйфеля мне тоже кажется пошловатой. Старомодные тяжелые конструкции, массивные заклепки, и неясен замысел. Хотя здоровенная башня — кепка валится. Вершина, конечно, плывет, потому что плывут облака.

Четыре огромных копыта уперлись в парижскую землю — северное, южное, западное и восточное копыта. В копытах павильончики с сувенирами, трепыхаются флажки и воздушные шары. Многоугольник изумрудного газона под центром башни. Старые плакучие деревья и молодые, с пестрой, яркой, мокрой осенней листвой.

Много стариков и старушек. Гуляют между огромных копыт, никто не задирает голову, забыли про башню, пасут собачек. Тихо и заброшено все.

Ветер. Свежо.

И как-то я не ощущаю странности того, что судьба занесла сюда. Хочу вызвать в себе странность, потряситься хочу, и — не получается.

С видом небрежного парижанина иду обратно к набережной, чтобы равнодушно и уверенно надавить кнопку.

светофора. Будь оно неладно! Ни одной машины. Очевидно, кто-то выше по течению остановил их. Но ради интереса я все-таки нажимаю кнопку. Послушно зажигается желтый, потом зеленый. Шествую в приятных зеленых лучах, но несколько обидно, что не удалось остановить лавину металла, резины, стекла и бензина.

Потом высоко поднимаюсь над Сеной по узкому пешеходному мостику, на середине останавливаюсь, облакачиваюсь на мокрые перила.

Серая, осенняя вода в предмостных водоворотах. Затопленная под берегом лодка — только нос торчит.

Тихо, перламутрово, безлюдно, и опять как-то заброшено, и опять грустно. Почему? Отчего? За что? За свою бестолково, лениво проживаемую жизнь? За молодость, которая ушла так внезапно, ошеломляюще внезапно?

И вдруг понимаю, что все время прощаюсь с Парижем. Не радуюсь встрече с ним, а прощаюсь. Прикрываю, конечно, печаль прощания внешней бодростью, как делают все на перроне, но она во мне. Вероятно, я поздно добрался к берегам Сены. Печаль прощания вышла со мной по трапу из самолета в Бурже. Я начал прощаться, не поздоровавшись.

И еще эта прозаическая мысль: если времени мало, если все равно не увидишь и тысячной доли того, что можно увидеть в Париже, то зачем вообще куда-то стремиться, выполнять программу? Я лучше постою вот так, над серой Сеной. Самоходка, бурля и урча, промчится под узким пешеходным мостом, блеснет среди перламутрового, осеннего Парижа новеньким, ярким трехцветным флагом, напомним невские мосты, тихие воды Свири, мутные просторы Обской губы. А Лувр, «Гранд-Оперá» — бог с ними... И забыть о соблазне приобщения к шикарной жизни знаменитостей — то вдруг завидуешь им, то смеешься над собой за то, что завидуешь. Вся эта шикарная лимузинная жизнь так же далека от истинной, как обложка иллюстрированного журнала от полотна Ван-Гога.

Я спускаюсь к самой воде. Под опорой моста горит печурка, трое рабочих-ремонтников жарят креветок, тянет запахом жареной рыбы и смолистым дымком.

Выше по течению стоит чистенький бело-голубой кораблик «Петрус», держится за рамы набережной аккуратными швартовыми.

Бултыхается в затопленной лодке серая вода. Высо-

кая стена набережной скрыла город. Нет Парижа. Запах речной воды и слабый плеск волны.

Девушка в черном пальто идет мне навстречу, поднимается по сходням на борт «Петруса», открывает дверь надстройки, и сразу выпрыгивает огромный пес, сбегает на берег, обнюхивает меня. Девушка что-то говорит. Наверное, успокаивает, чтобы я не пугался, что пес не кусачий.

Пожалуй, это вредная мысль: если не можешь увидеть всего, то нечего к этому стремиться. Тогда вообще зачем жить? Так и простоять всю жизнь на мосту через реку?

Я присаживаюсь на борт маленького моторного катера. Катер зимует на кильблоках, он накрыт брезентовым чехлом, но брезент обтянут плохо — парусина провисла, в ней собралась дождевая вода, в воде плавают опавшие листья платанов. На тупой корме катера написано, что он родился во Франции и принадлежит лицу Эспадон, под надписью резвится эмалевый дельфин.

Быстро течет Сена, через денек вода, которую я вижу, минует Руан, тихо, незаметно растворится в Ла-Манше, станет соленой океанской водой, познакомится с настоящими дельфинами. Я вспоминаю черную ночь у Булони, маленького французского воробья, теплый ветер сюэ... Потом тени забытой детской книжки возникают в памяти. История времен франко-прусской войны. Мальчишка уходит сражаться с пруссаками. Разгром. Он скрывается от врагов в лесу, голодает, находит дохлую курицу, жарит на костре, ест полусырую, без соли... Этьен! Этьен его звали! — вспоминаю я и радуюсь тому, что вспомнил имя, картинку, на которой он с ранцем, со старинным ружьем. Вспоминаю, что в далеком, довоенном детстве завидовал ранцу, штыку и ружью этого Этьена. И плакал, когда французов разбили отвратительные пруссаки.

Быстро течет Сена и мое парижское время. Черный пес убежал обратно на пароходик. Ушла девушка в черном пальто. Рабочие съели криветок и собирают под мостом строительные леса. Рабочие надели каски и стали похожи на пожарников.

Опять дождь. Барабанит по брезенту чехла на катере.

Прекрасен Париж, хотя все время хочется найти в нем изъян, уличить хваливших Париж в преувеличениях, в отсутствии у хваливших собственного мнения, в их подладе

под традиционные высказывания. Но все это не получается. Быть может, дело в красивой грусти прощания? Или в том, что он возвращает к забытому, детскому? Черт знает, но прекрасен Париж. И прекрасны все художники мира, рисовавшие его набережные, дома, деревья, небо и женщин.

«Русский роман обязан своим успехом чувству досады, которое вызвал среди благонамеренных ученых-литераторов успех французского натуралистического романа: они искали средства помешать этому успеху. Ведь, бесспорно, это то же самое: та же реальная жизнь людей, взятая с ее печальной, человеческой, не поэтической стороны.

И ни Толстой, ни Достоевский, ни кто-либо иной не выдумали этот род литературы. Они заимствовали его у Флобера, у меня, у Золя, щедро снабдив Эдгаром По». Это Гонкуры. И вот сравниваешь их тысячелистные дневники с «Дневником писателя» Достоевского и дневниками Толстого.

В цитате, которая приведена выше, Эдмон Гонкур говорит, что описал в романах «не поэтические стороны» жизни. Тем-то он и отличается от великих русских писателей, что в его романах нет поэзии, а в дневниках — сплошной страх за судьбу собственных книг, жалобы и внутрилитературные дразги при видимости высокомерной независимости сибарита, проведшего всю жизнь среди японских безделушек и дам. И вот он называет Достоевского и Толстого «щедро снабженными Эдгаром По». Недаром потом он где-то признается, что имеет «хилое и трусливое тело»...

Знаток Европы, исписавшие так много бумаги, что уже не замечают, очевидно, той муки, которая необходима в писании. У них на все есть юмор — средневропейский юмор, и точка зрения — какая-то средневропейская точка зрения. Они знают языки и бесконечно терлись среди знаменитостей, незаметно для самих себя прихватывая то от того, то от другого по миллиграмму мысли, или эмоции, или понимания чего-нибудь. Кокетливая усталость от впечатлений и блеск пера. И вдруг обнаруживаешь, что даже парадоксальные высказывания, которые обычно есть самые индивидуальные, у них какие-то среднеарифметически-европейские.

Улица Галилея, 63, отель «Елисейская звезда».

Подумать только, куда занесло!

Красные шторы, красный ковер, кровать под красным одеялом, пепельница с красными коронами. И у изголовья кровати — биде.

Я было обиделся, решил, что меня поселили в женский номер. Оказалось, во всех номерах так.

В «Справочнике по охране труда на морском транспорте» написано: «На пассажирских судах первой и второй категории из расчета на сто человек женщин должен быть оборудован восходящий душ с подводкой к нему холодной и горячей воды от питьевого водопровода со смесительными кранами». На сто женщин — один восходящий душ, а здесь мужчине ставят его в изголовье. Никуда не денешься — Париж!

Старый поэт, с которым я приехал, поступил просто: выломал это биде из пола и положил под умывальник. Вот как поступают люди, когда они в Париже двадцатый раз. А я поступил наоборот — положил на полотенце, закрывающее душ, ветку платана с двумя шишками. Получился натюрморт.

Сижу, смотрю на него, думаю о Галилее. Именно Венера убедила мыслителя в том, что Земля вертится вокруг Солнца, — фазы Венеры. Да, все на этом свете имеет несколько смыслов, и подтекстов, и фаз. Вот я живу на улице мыслителя, а он триста лет назад помер. Удивительный был человек! В те времена моряки не знали способа определения долготы, и Генеральные штаты Нидерландов объявили всемирный конкурс. Галилей поднапрягся, открыл спутников у Юпитера, назвал их Медицейскими звездами и предложил определять долготу по ним — пара пустых! Премию гению зажали. Ему намекнули, что такой метод слишком тонок для такого грубого народа, как голландские моряки. И через триста лет любой моряк повалится под стол от хохота, если ему предложат такой метод, — тут надо иметь мозги и глаза Галилея. Его официальное звание было Рысьеглазый. Но умер слепым, как Гомер. А похоронили его рядом с Микеланджело, вернее, конечно, перезахоронили. Почему-то порядочных людей обычно хоронят несколько раз. Сперва пособачьи, а потом по-королевски.

Черт те что лезет в голову, когда сидишь один в номере дешевого отеля в Париже и ждешь, когда тебя повезут на книжный базар.

Мы прибыли сюда в виде живой рекламы — должны

были принять участие в выставке-продаже книг левых издательств. Скажу сразу: мои издатели заработали на моих книгах ровно столько, сколько Галилей за свой метод определения долготы по спутникам Юпитера.

Я продал два экземпляра.

Это позорное происшествие вышибло меня из колен. Но потом Арагон угостил жареными лягушками, дал выпить, и я успокоился. Когда тебя угощает человек, стихи которого выбиты на могильных плитах кладбища Пер-Лашез, когда в ресторане шансонье поет песню на слова твоего хозяина, то можно в конце концов забыть о низком уровне своей славы — чужая тоже греет.

Лягушек я не доел.

Вокруг горели свечи. Рядом сидел Арагон. Напротив — Эльза Триоле. Позади играл оркестр.

Лягушки напоминают вкусом недоваренного кролика. Я их сильно посолил и поперчил. И я бы их доглотал, но Эльза Триоле сказала:

— Что вы, Виктор Викторович, так напрягаетесь? Это такие милые, маленькие, я бы даже сказала, ласковые животные...

«Ну вот! Пустили Дуньку в Европу!» — подумал я, с ужасом ощущая, что лягушки начинают прыгать у меня в желудке, и сейчас подпрыгнут и до самого рта, и выпрыгнут из него на свет свечей и на красную скатерть этого дорогого ресторана недалеко от бессмертного собора Нотр-Дам.

Я срочно подбавил в желудок красного вина. Лягушки немного притихли — окосели. И после этого я до самого конца вечера держал их в алкогольном опьянении. Иного выхода не было.

Борьба с лягушками стоила мне авторского листа воспоминаний, ибо Арагон и Триоле рассказывали интересные вещи — и о Маяковском, и о Хлебникове, и о де Голле. Но красное вино отшибает память не только лягушкам, но и мне.

2

Вероятно, по привычке просыпаться на ночную вахту к четырем часам, я и проснулся в начале пятого на бульваре Виктора Гюго, в городе Ницце, на третьем этаже отеля «Сплендид», что означает «Блистательный».

Мой номер тоже был блистательным — три огромные

комнаты, две огромные кровати, телевизор и сложный пульт управления возле изголовья.

Среди всего этого блистания я был один.

Глухая тьма и тишина. В щелях оконных жалюзи слабо мерцали сквозь листву деревьев уличные фонари.

Чтобы добраться к пульту управления по необъятной кровати, можно было ползти или катиться, например, колбаской. Я выбрал последний способ — и через три полных оборота вокруг самого себя оказался возле цели. Включил свет, увидел кнопки, сигнальные лампы, рычажки, толстую Библию, еще более толстый телефонный справочник на кроватном столике и брошюрку в шестьдесят страниц, где на французском и английском объяснялось все про отель «Сплendid».

В глухой ночи я полистал телефонный справочник, ища кому бы мне сейчас звякнуть в курортном городе Ницце. Уж больно соблазнительно выглядел телефон на пульте управления. Всегда, когда видишь бездействующую технику, хочется ее включить, использовать ее до конца. Такое же ощущение испытывают мужчины, когда им в руки попадает ружье или пистолет, — обязательно пулнуть в консервную банку, пустую бутылку или даже в собственную кепку.

Но я не нашел в телефонной книге Ниццы ни одного приятеля, а незнакомым людям звонить в начале пятого как-то неприлично. И вместо того, чтобы передавать информацию, мне пришлось ее принимать.

Приемник имел на пульте шесть кнопок. Я мог принимать информацию французского радио, британского «Би-би-си», слушать «Голос Америки», слушать легкую музыку, впитывать классическую музыку и подслушивать внутреннюю трансляцию отеля.

Я ткнул легкую музыку. Женский грустный голос запел незнакомые слова, конечно, они были о любви.

Под легкую музыку я продолжал осваивать пульт. Накануне я не смог этого сделать, так как прилетели мы поздно вечером и сразу повалились спать, каждый в своем трехкомнатном люксе, каждый с ужасом думая о том, уплачено за эти люксы или нам придется платить самим.

Я нашел кнопку «Не тревожьте!» И выяснил, что если нажму ее, то у дверей в коридоре загорится красный огонек. Учитывая наличие в моем люксе двух кроватей, этой кнопкой постояльцам, вероятно, приходилось пользоваться, а мне она была совершенно, до обидного ненужной, лишней и вообще бессмысленной.

Интересно, подумал я, разобрался бы со всей этой техникой такой умный человек, как Герцен?

Я не мог не подумать о Герцене, ибо прибыл в Ниццу по делам, связанным с возвращением на родину, в родную землю его праха. Чтобы Герцен и Огарев опять соединились, теперь уже навсегда.

Конечно, попахивало мистикой от того, что я оказался причастным к такой почетной и сложной миссии. Но, как говорится, факты упрямая вещь.

Грустная музыка все лилась и лилась в мою безбрежную постель. Ах, как сильно действует красивый женский голос, который полупоет, полупшепчет о неудачной любви и разбитых надеждах. И в щелях жалюзи дрожат блики на листьях пальм. И только начало пятого ночи. А ты один в трехкомнатном номере, где можно бегать стометровку, если стартовать из ванной, а финишировать у пульта управления.

Хотелось спать, но я ясно отдавал себе отчет, что вряд ли меня еще когда-нибудь пошлют в Ниццу за прахом другого великого соотечественника. И надо было преодолеть в себе желание «посидеть на спине», как говорили у нас на «Воровском».

Я полистал рекламную брошюру и с пятого на десятое выяснил, что семейство владельцев отеля приехало во Францию из Швейцарии в семидесятом году прошлого века — как раз в год смерти Герцена. А сам отель существует с восемьдесят пятого. И вокруг появились тени давно истлевших людей, которые до меня жили здесь, на бульваре Виктора Гюго.

Длинный путь прошло человечество от восемьдесят пятого года до шестьдесят седьмого. Такой же длинный, как путь от платья со шлейфом до мини-юбки.

Здесь жили еще в конце прошлого века полковники индийской колониальной армии, английские леди, бельгийские миллионеры, французские министры и черт те кто еще. В войну здесь жили эсэсовские офицеры и их итальянские коллеги, потом американские освободители. И все они спускались вниз, в холл, в ресторан, с дамами в вечерних туалетах. И слушали грустную легкую музыку.

А почему бы не в этом номере останавливался Иван Бунин, когда у него еще были нобелевские деньги? Он любил Ниццу с чеховских времен. «Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю...» — такие слова я слышал от него редко. Очень часто скорее чувствовал, что он должен произнести их, и это были минуты, в ко-

торые мне было очень больно». Так писал Бунин о Чехове.

А может быть, и сам Антон Павлович зимовал здесь, на бульваре Виктора Гюго, дом 54. Отсюда писал Лике, что уйти от старой жены так же приятно, как вылезти из старого колодца. И все жаловался, что крыжовника в Ницце нет... Здесь ему дурно рвали зуб, разворотили челюсть, и от боли у него «взыгрались в чреве младенцы»...

Нет, решил я. Антон Павлович в этом номере до меня не жил. Он был человек скромный и всегда нуждался в деньгах. Но все строил и строил школы. И зачем он строил школы, если у него денег не было? Мне почему-то не нравится, если человек строит школы, когда у него самого денег нет. Вот если у тебя их много, тогда строй на здоровье. Школы — единственное, что мне в Чехове кажется каким-то «не тем».

Я слез с кровати и прошел к окну. Минут пять изучал механизм открытия жалюзи, наконец дернул рычаг. Что-то грохнуло, и жалюзи закрылись наглухо.

Я прислушался — не заматерится ли у подъезда сонный швейцар.

Все было тихо. Тогда я перешел к другому окну и дернул рычаг в обратном направлении — теперь жалюзи открылись. И окно открылось. И я стоял в трусах у открытого окна и смотрел на спящую мертвым сном Ниццу. А позади меня все звучала чужая легкая музыка. И холодно было в трусах, зябко.

Я забрался обратно под атласное одеяло. И вспомнил бунинское:

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.
Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

Смелость на такие вещи появляется у русских литераторов только после Европы. А две последние строки кажутся поэзией уже такой художественности, что человек и вынести-то ее не в состоянии.

Жутко громко чикали мои шаги, когда в начале шестого часа утра я спускался вниз по лестнице, чтобы посмотреть на то, как просыпается Ницца.

Небрежно, как положено человеку, который прибыл за прахом великого соотчича, я кивнул портье и отдал ему полукилограммовый ключ от номера. Портье посмотрел на меня выпученными глазами. Или он решил, что я лунатик; или что я уже отправляюсь в Монте-Карло проигрывать в рулетку; или что я неопытный контрабандист.

Никого еще не было на улице, абсолютно никого. И бульвар имени моего тезки тоже был абсолютно пуст.

Ночные пальмы, голый асфальт, закрытые жалюзи на всех окнах. Явно я поторопился изучать просыпание Ниццы.

Обыкновенная Ялта, только без плакатов «Догоним Америку по галантерею!» — внушал я себе, но что-то волновалось во мне от сознания, что это я иду через Английскую набережную к морю.

Море плотно укрывалось еще предутренней мглой. Прохладный ветерок тянул с гористого берега.

Я спустился с набережной на гальку широкого пляжа. Пляж тоже еще спал. И маяки мигали на востоке и на западе. А в небе померещился мне стремительный спутник. Но это оказалась Венера.

Мерно шумели едва заметные волны, набегая на гальку.

Я долго стоял, слушая их. Левее торчал над водой небольшой причальник, он, наверное, был бетонный — белел во мраке бесплотным привидением.

«Нет, подожди, — говорил я себе. — Чехов, Бунин, Галилей... А ты что сейчас ощущаешь? Ты никогда не верил в то, что судьба занесет тебя в Ниццу, в Монако... Еще недавно ты острил сам с собой, что тебе следует плавать не в Арктику, а к берегам Монте-Карло... Так что же ты ныне чувствуешь? Можешь ты быть честным хоть сам с собой, хоть на секунду?»

И я заставил себя сказать себе: «Больше всего ты сейчас горд тем, что встал ночью, натянул брюки и выгнал себя на улицу. И об этом ты думаешь в первую очередь, шагая по пустынной Ницце. В тебе нет ощущения фантастики происходящего. Ты думаешь о том, что впереди бумага и отчет, что надо будет писать путевые заметки. И вот фиксируешь ерунду вокруг, читаешь названия улиц: площадь Гарibaldi... Английская набережная... улица Сен-Доминик... Кому это нужно? Просто ты знаешь, что обаяние чужих названий помогает читателю приобщиться к чужой земле. Спокойный обман натренировавшегося профессионала. Вернувшись домой, ты доста-

нешь морскую карту «От мыса Мортولا до мыса Кап-Гро» и будешь следить по ней свой маршрут, и выпишешь названия маяков, которые сейчас безмянными мигают тебе».

Что же я истинно ощущал тогда?

Любовь к темному, еще ночному морю. Оно называлось Лигурийское. Оно было как добрый знакомый, встреченный в сложном чужом мире.

— Здравствуй, дорогое, — сказал я, присев на корточки в полумраке.

Свет фонарей с набережной не достигал сюда. Тихо шуршала галька, когда мелкая волна ворошила ее. И я тянул к мягкой волне руку, но все не мог коснуться ее, потому что боялся замочить ботинки, и волна исчезала в полумраке. Но мне хотелось поздороваться с Лигурийским морем за руку.

Оно же обязательно хотело, чтобы я намочил ботинки.

— Если ты этого хочешь — на, пожалуйста, — и я подвинулся ближе к волне по сыпучей гальке, и пальцы коснулись холодной пены.

Я лизнул мокрые пальцы, чтобы узнать соленость Лигурийского моря, поднялся и пошел берегом на восток, увязая в гальке, продолжая говорить морю нежные слова.

— Ну, что шебуршишь, дорогое? — говорил я. — Ну здравствуй, здравствуй.

Если бы море могло сидеть в кресле, поставив ноги на паровую батарею, и читать книгу, как могут это иногда женщины, которых мы любим, то я бы наклонился и поцеловал его ниже волос на затылке, в теплую шею и сказал: «Читай, читай... Это я просто так... Сиди...»

Вдоль Английской набережной росли привозные растения, глядя на которые вспоминались ботанические сады.

Тяжелые мексиканские агавы, африканские кактусы, пальмы, австралийские эвкалипты. Холодными ночами землю возле их корней укрывали листьями пальм. И теперь, на раннем рассвете, грузовик ехал вдоль газонов и двое рабочих поднимали пальмовые листья с земли, складывали в машину, чтобы вечером опять укрыть ими землю возле корней.

Человек шел вдоль воды медленно, посвечивая иногда под ноги узким лучом карманного фонарика, и тыкал

перед собой палкой. И я слышал, как палка сухо втыкается в гальку.

Я подумал, что так здесь собирают ракушки, потому что у подходившего человека в руках была корзина. Он осветил меня фонариком и остановился.

— Гуд монинг, бонжур, месье, — негромко сказал я.

Он снял с палки бумажку и положил ее в корзину. Он показался мне человеком несчастным, этот сборщик пляжного мусора. Он ничего мне не ответил и прошел дальше. Вспышки его фонарика скоро исчезли, и заглух шорох гальки под ногами.

На востоке чуть светлело уже небо. И я пошел к востоку, в противоположную сборщику мусора сторону.

Зачем писать самому, когда гениальные поэты уже описали все вокруг и в тебе самом, думал я. «Поклонитесь теплому морю» — вот и вся Ницца. Зачем стараться? Пускай сейчас зима, море не теплое. И если оно улыбается, то улыбкой не мягкой и ласковой, а острой. И сейчас больше подходят к Ницце стихи Тютчева. Французские стихи, в которых, по мнению Толстого, поэт всегда оставался дипломатом.

Но эти строки Тютчев писал после смерти любимой женщины:

О, этот юг! О, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху;
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

За узким проливом пряталась Корсика. И как только всплыло это слово «Корсика», так потянуло за собой Мериме, отца-корсиканца, который убивает сына-мальчишку за детское предательство, и т. д., и т. п.

Европа была вокруг. Имена, названия книг, городов, соборов. Здесь было тесно от имен и названий, они сжимали меня в кольцо, сквозь которое невозможно было пробиться к непосредственному ощущению, к самому себе.

В океанах, громадных городах и еще в Сибири легче чувствовать окружающий мир и себя в нем. Там имена и тени великих предков отпускают тебя на свободу.

В Европе я все время путался между воспоминаниями о чужих судьбах, трудах, смертях, а сам ускользал от се-

бя. Я не чувствовал вкуса вина и не успевал дать себе отчет — нравится или нет мне встречающаяся женщина. Так, Мопассан похитил в Париже у меня Эйфелеву башню. А Ван-Гог увлек от тихих пейзажей Уазы и Овера в свою больную и прекрасную душу.

Я не хотел больше Мопассана, но только и ждал случая спросить, где в Ницце вилла его матери, где ставил он на якорь свою яхту и где высаживался на берег.

Как хорошо было древним скандинавам-викингам, когда они высаживались на берега чужой земли. Они получали ее из первых рук.

Уже тот, кто вторым прилетит на Венеру, пойдет искать могилу первого. И будет стоять возле его могилы. И дух первого незримой кисеей отделит второго от Венеры. Тайна чужой жизни и смерти волнует человека не меньше тайн чужой земли и планеты. Так, очевидно, устроены люди. Хорошо это или плохо? Быть может, я никогда не вспомнил бы: «О, этот юг! О, эта Ницца!.. О, как их блеск меня тревожит!» — строки, слышанные тридцать лет назад от тети или бабушки. И мама, и бабушка, и тетя ходили по этим улицам шесть десятков лет назад... И вот я вспомнил далекого Тютчева, детство, тетью — быть может, это нужнее мне, нежели все красоты Ниццы?

«Иду прямо на восток по Английской набережной. Ее тротуары неоглядно широки и пустынные. Только за агавами и пальмами отчужденно мчат авто. Набережная повышается, но море все близко, оно не отодвигается, фиолетовая полоса галечного пляжа ровна и узка. Далекий мыс уже разделяется на два мыса. (Потом я посмотрю карту и действительно выпишу названия мысов — Поншетт и Руба-Капеу.) На гребне мысов заметны кроны деревьев. Вернее, это не на самых мысах, а на горе за ними. Еще там видна башня. (Через полтора часа я узнаю, что башня называется Гросс Тур, а кроны деревьев осеняют могилы кладбища, где лежит Герцен.) Маяк красный, проблесковый, и виден уже не только огонь, но и само строение».

Я поднялся на мыс Поншетт, стал у ограды на самой его кромке, возле высокого — метров пять — креста. По контурам креста были ввинчены лампочки. Наверное, было странно и красиво видеть огненный крест, когда лампочки зажигают. Сейчас они не горели. И на кресте

не было никаких надписей — в честь кого, почему, зачем...

Огромный крест, обрыв и медленное ворчанье густосиних волн штилевого прибоя внизу, в камнях. (Потом я узнаю, что эти камни — банка Нис, и камни высыхают, когда прибоя нет совсем.)

Венера побледнела, ей предстояло растаять через несколько минут. Она уже не напоминала спутник. Восток стремительно желтел. А на западе так же стремительно рассеивался предутренний мрак. Из него все дальше и дальше распахивался простор бухты, ровная коса закованного в камни берега. И засветились розовым светом верхние этажи самых высоких зданий Ниццы.

Бумага в блокноте стала голубой: погасли огни фонарей по всей набережной. Я взглянул на часы — 07.24.

Пора было возвращаться — я сам не знал, как далеко зашел и сколько времени займет обратная дорога до отеля «Блистательный».

Но я сделал еще несколько шагов к востоку и с вышины мыса вдруг увидел внизу маленький порт, молы, суда под кранами. А между мною и всем этим стоял еще один крест и росли кактусы на склоне мыса.

И я вспомнил кладбище в бухте Варнека на острове Вайгач. Далеко было отсюда до него.

Когда-то старый моряк, капитан третьего ранга Гашев, велел мне или служить, или читать книги.

Чем дольше я живу и больше читаю, тем меньше понимаю себя и лучше капитана Гашева.

Книги связывают с человечеством, но отторгают от непосредственной жизни. Умные мысли других людей выявляют хилость собственного мышления, и появляется страх. Читать книги великих людей не опасно только до той поры, пока не почувствуешь ослабления воли к творчеству, а это и есть признак недоброкачества таланта.

Чехов объяснял Горькому, что врезаются в землю носами не оттого, что пишат: наоборот, пишат оттого, что врезаются носами и идти дальше некуда.

А через десять лет Кафка кричал в дневнике: «Писать я буду несмотря ни на что, во что бы то ни стало, — это моя борьба за самосохранение». Кафка изучал Герцена. И грустно смеялся, когда читал: «Одной литературной деятельности мало, в ней недостает плоти, реальности, практического действия, ибо, право же, человек не создан

быть писателем; письмо есть уже отчаянное средство сообщить свою мысль».

Нынче хорошая книга забывается быстро и никакого существенного влияния не оказывает, ежели ее автор длительными годами своей чистой, смелой жизни, своими поступками, обаянием помыслов и мечты не войдет вместе с книгой в читательское сознание.

Герцен не писал романов, тем более эпопей. Однако он личность великая. И потому он оказывает влияние и сейчас. Не тем оказывает, что я могу научиться у него уму или художественности. Выше своих талантов не прыгнешь. Но когда я вспоминаю, что Герцен жил на свете, я сразу вспоминаю и то, что человек должен выдавливать из себя раба.

«Творению предпочитаю творца», — писала Цветаева.

«Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения» — это Эйнштейн.

Мне неизвестно, какие инстанции подняли вопрос о возвращении праха Герцена на родину. Сразу скажу, что переговоры зашли в тупик, и летели мы в Ниццу на могилу его как бы по инерции, без официальной нужды.

Но раз мы летели, то думать о Герцене было вполне естественным. И мне казалось, что сам вопрос о возвращении Герцена на родину возник из более общего вопроса — оживляющего интереса к русским революционным демократам.

Больше всего, сильнее всего оживляет в нашей памяти умерших то, что они не решили. Если то, над чем бился разум давно умершего человека, и то, над чем бьется разум сегодняшнего человека, совпадает — это высшая почесть умершему и высшее оживление его в памяти потомков. Именно нерешенные задачи, нереализованные замыслы адресованы будущему. А решенные задачи — это памятники генералам, выигравшим когда-то и где-то сражение. Оно уже выиграно.

И мне кажется, что сейчас из-под хрестоматийного пепла на судьбах революционных демократов, в их трудах ветер русской истории начинает раздувать таящиеся там искры. Страх перед возможными ассоциациями, перед таким, например, высказыванием Герцена, как: «Я давно перестал ставить идеологию выше фактологии», потихоньку слабеет.

Итак, мы сели в плохонькую машину, которая принадлежала местной организации компартии Франции, и поехали проведать великого земляка. Нас сопровождала дама — заведующая книжным магазином левых изданий, коммунистка.

Мне кажется, что славяне наиболее плохо себя чувствуют в двух случаях: когда им надо объясниться в любви и когда они попадают на кладбище. Большинство конфузов случается тут.

— Боже мой! — сказал мой руководитель и попутчик, хлопая себя по лбу. — Цветы!

Действительно, кто же ездит на кладбище без цветов! Едем к великому земляку — и без цветов... из Ниццы.

«Букет цветов из Ниццы прислал ты мне... и плакали зарницы моей любви...» — вот что вошло мне в голову с этого момента. Перепутанные слова какой-то песенки или романса.

Сколько раз уже на похоронах или на торжественных кладбищенских церемониях происходило со мной такое — неудержимое желание смеяться, когда до крови, до онемения искусываешь губы. Самое странное в таком состоянии — встретиться глазами с другим несчастным юмористом. Никакой закус губ не помогает — смех пузырем воздуха из глубин моря взлетает на поверхность. Ты издаешь нечеловеческий, неприличный звук и только тогда на считанные секунды леденеешь от стыда.

Все потому, что на кладбище надо бывать одному. Культипоходы туда мне противопоказаны.

Переговоры о том, где в Ницце базар или цветочный магазин, быстро зашли в тупик. Дама сказала, что цветов не надо. Если местный человек сказал, что цветов не надо, значит, тут такие порядки — так решили мы.

Машина крутилась по горе, как на территории Дома творчества писателей в Ялте. Все шире распахивалась с каждым поворотом даль Лигурийского моря. Оно было пустынно — ни одного кораблика. Ноябрь — самое несезонное время на Лазурном берегу. Именно поэтому кладбищенский сторож — в черной форме с погончиками, кокардой — нам обрадовался. Ему скучно было сидеть и бездельничать в красивой кладбищенской конторе у ворот.

Шофер извлек из багажника большой букет красных роз. Мы с попутчиком покраснели, как эти розы, и я торопливо увел глаза в сторону, потому что «...и плакали зарницы его любви...» продолжали бушевать во мне.

Возник вопрос — кому букет нести. Дама к Герцену не

имела отношения и купила букет на скромные партийные деньги. Руководитель шарахнулся от букета, как коза от паровоза. Шофер сунул букет мне, я закусил губы и сунул его переводчице, прошипев: «Не возьмешь — брошу!» Переводчица вздрогнула от испуга, но прижала розы к груди.

...И мы отправились.

Аристократическое, уже закрытое кладбище. Слухи о том, что его собираются сровнять с землей, — ерунда. Кладбище представляет выставку мраморных надгробий — скульптур, барельефов и плит. Каждое надгробие, как на всех аристократических кладбищах, соперничает с соседними. Между могилами не просунешь карандаша.

Наш великий земляк отлит из бронзы в полный рост. Он в сюртуке, руки на груди, голова опущена вниз, и потому большой лоб кажется еще величественнее. Он стоит на кубическом постаменте высотой метра в полтора-два. Плечи и голова позеленели благородной малахитовой зеленью, которой покрывается бронза на всех широтах. Выражение лица угрюмое, спокойное, живое, пожалуй, надменное.

Метрах в пятнадцати к северо-западу растет высокая пальма. Она еще молода и стройна.

У постаumenta деревянная, простая ваза. В вазе было несколько красных гвоздик, только немного привядших.

Сторож сказал, что кто-то часто приносит сюда цветы.

И нервный смех уступил во мне торжественной спокойности.

A ALEXANDRE HERZEN MOSKOU 1812—1870 PARIS
--

Особенно поразило: «Москва 1812».

Мальчик Пушкин бежит за войсками, уходящими на Бонапарта.

Сторож сказал, что является потомственным хранителем кладбища и что его дед погребал Герцена. Вероятно, сторож говорит это у всех могил, когда надо заменяя деда отцом или прадедом, но все равно получилось впечатляюще.

Дама поправляла розы в вазе.

Было очень тихо.

Среди беломраморных надгробий фигура Герцена казалась особенно тяжелой, темной и массивной.

Только кипарисы были еще так темны, и неподвижны, и тяжелы. Кипарисы росли за каменной стеной. А за кипарисами виднелось море.

И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

Мы помогали.

Потом сторож рассказал, что немцы шарили в период оккупации по кладбищам, снимали на переплавку бронзовые памятники.

Французы скрыли Герцена от немцев. Вообще, бронзовые памятники здесь только у русских...

Когда мы уезжали, то хотели дать сторожу денег — он долго водил нас по уступам и аллеям пантеона. Сторож отказался от денег. Тогда я дал ему памятный рубль «XX лет Победы».

Он схватил рубль и побежал хвастаться им перед коллегами. Он был рад.

3

Если у причала Соловецких островов висит ржавый плакат: «За отпуск собак в лес — штраф», то у дверей Океанографического музея в Монако существует элегантное объявление: «Собак в музей не пропускают!»

Смешно еще было, что переводчица обмолвилась от усталости, сказала: «не принимают».

Но все-таки в Монако собакам живется спокойнее, чем в Ленинграде, например. Длинные потеки от тех мест, где собаки делают свои маленькие делишки, пересекают узкие улицы гористого Монте-Карло. И дворники относятся к этому без всякой ненависти, а полицейские, если они там есть, и ухом не ведут...

Капитан Кусто написал о рыбе групере по кличке Улисс: «Эта рыба стоит того, чтобы ради встречи с ней объехать всю вселенную».

И здесь капитан сомкнул ряды с лесным человеком Генри Торо.

Крестьянские ребяташки любили свою буренку тысячи лет, хотя в конце концов и съедали ее.

Мы тысячи лет ели коров, лошадей, овец.

Но даже у самого хорошего профессионала на бойне сохраняется любовь к животным.

Рыбы всегда жили в чужом нам мире, мы не встречались с ними, мы не слышали, как они там мычали или блеяли в разговорах друг с другом, мы не почесывали маленьких рыб, как почесывали за ухом теленка. И потому в нас не могла возникнуть любовь к ним — холодным и скользким. И потому сегодня мы косим рыбы косяки тралами, как косим тростник, то есть не испытываем при этом никаких жалостных эмоций.

Мы будем и дальше наращивать уловы — это необходимо и обязательно. Но нам следует вырастить в себе нравственное отношение к треске или пикше. Такое же нравственное отношение, какое существует к жеребенку.

Жеребенок, бредущий рядом с телегой по обочине пыльной проселочной дороги или взбрыкивающий на лугу, родит в наших душах радость.

И вот Кусто одним из первых заметил, что мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ, но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно...

Написав эти слова, старый морской волк и ученый-океанограф стал поэтом.

— Собак в музей не принимают! — сказала переводчица Ира. — Простите, не пропускают!

Мы стояли у великолепного входа Океанографического музея в Монако. Мы стояли у подножья трона, на котором ныне царит капитан Кусто.

Здание музея вздымается из скалы над морем, продолжает скалу, является как бы ее частью, символизирует соединение природы — гранита и творения человеческих рук — архитектурного творения.

Но трон был пуст.

Капитан качался на волнах где-то возле Мадагаскара.

Хотя я знал, что пробиться к Кусто, повидать его было мало шансов, но все равно надеялся на чудо.

На то, что Кусто стремительно сбегит мне навстречу по широким ступенькам шикарного подъезда Океанографического музея и повиснет у меня на шее. Скажет: «Можешь называть меня Паша, сынок! Пошли на «Калипсо», там у меня раскреплена на палубе тонновая цистер-

на винца. Я, сынок, не считаю необходимым вводить здесь сухой закон. Пропустим по маленькой, сынок... А где Анчар? Куда ты задевал своего пса? Тащи его сюда, сынок!..»

И я вспомню Анчара, заиндевелого от новогоднего мороза, тихо улегшегося возле паровой грелки. И вспомню утро после Нового года, очень раннее утро, собачьи следы на снегу палубы «Нерея», пустынную набережную, потому что все отсыпались после праздника.

Вспомню свою спокойную уверенность, что Анчар вернется. И ощущение морозного, чистого утра. И то, как я увидел вдруг внизу, на спуске набережной Лейтенанта Шмидта, девочку в валенках и шубке. Она не знала, что кто-то есть на замерзших кораблях, что кто-то видит ее. Она была совершенно одна на нетронутой белизне выпавшего за ночь снега. И кружилась сама с собой в вальсе, и смеялась. Я стоял на палубе, глядел на нее сверху и боялся спугнуть. А она, кружась в снежной пыли и хохоча, бежала куда-то к Горному институту, к устью Невы. И будь я проклят, если я сейчас соврал хоть одно слово. Была, была девочка или совсем молоденькая девушка, которая кружилась в вальсе ранним-ранним утром шестьдесят седьмого года. И она до сих пор не знает, что я ее видел...

— Итак, собак сюда не пускают, а нам надо купить билеты, — сказала переводчица Ира.

Билеты нам купила дама, которая купила розы Герцену.

И все оказалось очень обыкновенным.

Океанария никакого вообще не было, если я правильно понял, его еще и не начинали строить. А мы почему-то были убеждены, что океанарий есть и в нем плавают свободные, говорящие на всех языках дельфины.

Скелеты китов и других морских животных были такими же нелепыми и величественными, как скелет мамонта в нашей Кунсткамере.

Картины на стенах, изображающие флору и фауну морей, были написаны такими же бездарными, подрабатывающими себе на жизнь художниками, как и во всех естественных музеях мира. Ведь если пишешь флору и фауну для естественного музея, то тут, как говорит Твардовский, «ни прибавить, ни убавить», а что тогда остается от живописи?..

Старинные океанографические приборы на стеллажах были иногда трогательными, особенно если касались

России: вертушка для измерения скорости морских течений адмирала Макарова...

Рыбачьи сети, тралы, всякие снасти висели под высокими потолками великолепных зал и, будучи отсрваны от морского песка морских берегов и ржавых бортов траулеров, выглядели бессмысленно.

Знаменитый основоположник музея принц Альберт торчал всюду. Здесь явно был его культ. И этот культ, как всякий культ, только принижал свершения старого ученого.

Короче, это, вероятно, образцовый музей науки, где есть наука, но без ее связи с человеческим духом.

Движение мыслей, столкновение умов и страстей пряталось от посетителей музея где-то за толстыми стенами, там, где работали сами ученые-подводники, куда обыкновенных посетителей не пускали.

С большим трудом дама, которая купила цветы для Герцена, пробилась куда-то в святая святых и вернулась с еще одной дамой, очевидно администраторшей.

— Ирочка! Дорогая! — сказал я переводчице. — Объясни, что нам необходимо увидеть настоящих сотрудников этого учреждения. Скажи ей, что мы не охотники за автографами. Что наш руководитель пишет романы об ученых, а я штурман и даже работал на океанографическом судне «Нерей».

— Господи, — сказала Ира. — Неужели ты не можешь говорить членораздельней?.. На каком судне ты работал?

Администраторша, всплывшая из глубин Океанографического музея в Монако, хранила непроницаемый вид. Ей до черта надоели люди, которые пытались пробиться в святая святых капитана Кусто, — таких, вероятно, миллионы. Администраторша выслушала переводчицу и повела нас опять в первый зал музея. Там висели цветные фотографии, показывающие вредное действие нефти и мусора на фауну и флору морей. Администраторша стала объяснять, что рыбыдохнут, если им нечем дышать. Она вела себя, как куропатка, которая отвлекает охотника от гнезда.

— Ира! Дорогая! — сказал я. — Объясни ей, что я читал все, что написал Кусто, включая последнюю книгу. в которой он рассказал о загрязнении вод близ Монако капиталистами, которые ссыпают в море мусор, чтобы построить на нем еще один отель... Скажи ей, что нас

интересует кто-нибудь из близких сотрудников Кусто...

Администраторша выслушала Иру и перешла к другим фотографиям. Минут пять мы слушали о том, что на фото показан подводный дом, который в пятьдесят девятом году...

— Ира! Дорогая! — сказал я. — Объясни ей, что я знаю про Кусто даже такие интимные вещи, как его приказ сдать в утиль мягкие подушки с кресел в кабинетах этого величественного музея.

— Какие подушки? — переспросила Ира, трогая пальцами виски.

— Скажи ей, что, когда Кусто стал здесь директором, он сел в служебное кресло, оно оказалось мягким. И он велел служителю убрать подушки с кресел... Этим он хотел показать, что остается моряком, а не...

— Ты можешь говорить медленнее?..

Ира перевела мою тираду о подушках. Я был убежден, что теперь администраторша прозреет. Наоборот. Она посмотрела на меня с плохо скрытым презрением и ответила, что никаких подушек здесь не было.

— Как не было! — взвыл я. — Он сам пишет, что...

Руководитель дернул меня за рукав и сказал:

— Хватит! Вероятно, ты что-нибудь спутал... Подушки, стулья... Хватит! Надо смываться...

— Ира! — заорал я. — Возьми себя в руки и постарайся перевести ей следующее: русский моряк и писатель является специалистом по навигационному обеспечению глубоководных погружений. Его еще интересуют вопросы постановки на якорь судна среднего тоннажа при глубинах больше пяти тысяч метров.

Мне было жалко Ирину, но что оставалось делать? Я, конечно, выдумал такую длинную специальность, а ей надо было перевести все это на французский язык.

Когда Ирина смолкла, администраторша покорилась и пригласила пройти за ней.

Узкими коридорами, в которых пахло тюленями, мы прошли в святая святых — маленький холл, где одну стену занимала суперувеличенная фотография волнующегося моря; на другой висел неизменный принц Альберт с супругой, а на третьей — картина маслом — китобойный вельбот на зыби — опять в посредственном исполнении.

Здесь мы сели. Администраторша села с нами, сказав несколько слов молоденькой девице, вероятно секретар-

ше. Секретарша ушла дальше в дебри Океанографического музея.

Да-с, и тут мне стало жутко. А чего я добиваюсь? — спросил я себя. Ну, явится сейчас сподвижник Кусто, а зачем он мне? Что я у него спрошу? Мне нужен был капитан. И говорить с ним мне хотелось о вещах, далеких от навигационного обеспечения глубоководных погружений, хотя это тоже интересно.

Ирина разговаривала с администрацией. Руководитель мрачно молчал — ему надоела бесполезная трата времени, его не интересовали сподвижники Кусто. Он хотел в казино, хотел проиграть пять франков.

Дама, которая купила цветы для Герцена, объяснила, что нас сюда пустили только потому, что мы советские, русские люди. Другие люди сюда пройти никогда бы не смогли. Ира перевела нам это и спросила:

— Как называется книга, где ты читал про подушки?

— Ее написали Кусто, Даген и Дюма, — сказал я уже безразлично и обреченно. — А название меняет каждый переводчик по своему вкусу. Ты этого не знаешь? У нас она «Факел свободы», у автора «Свобода факела» или наоборот...

Ира долго и устало говорила по-французски.

И тут наступила реабилитация. Во всем оказалась виновата какая-то игра слов в переводе: «подушка на сиденье кресла», или «войлочная подушка», или еще что-то...

Администраторша наконец улыбнулась:

— А знает ли месье, что мистер Даген недавно умер?

Нет, месье этого не знал. Месье, болтаясь на белоснежном лайнере «Вацлав Воровский» у острова Нантакет, несколько месяцев назад как раз вспоминал Дагена.

Джеймс Даген — американский журналист и отчаянный паренек — давно стал соавтором Кусто и его сподвижником. У острова Нантакет, где сытые чайки презирают камбузные отбросы, где зеленые волны слышали когда-то отчаянную песню китобоев «Веселей, молодцы, подналяжем — эхой!» и где рвется сейчас из репродукторов наших траулеров «Соленые волны, соленые льды!», больше десяти лет назад потонул итальянский лайнер «Андреа Дориа». На глубине около шестидесяти метров.

Даген в осенние шторма организовал киноэкспедицию к месту гибели лайнера.

Другой соавтор Кусто — Дюма — рассказывал: «Там голова совсем не варит от глубинного опьянения. Сооб-

ражаешь ровно столько, чтобы не утонуть. Глубина больше, чем кажется по эхограмме...»

Но они нашли «Андреа Дориа». И сняли фильм. Правда, он идет восемнадцать секунд, этот фильм...

И когда я болтался у Нантакета, недалеко от места гибели «Андреа Дориа», то вспоминал Дагена. И еще раньше я вспоминал его, когда на «Нерее» мы обсуждали его утверждение о том, что есть одно обстоятельство, отличающее животных подводного мира от всех других.

Есть рыбы, которые могут расти без предела. Если им повезет прожить достаточно долго, они могут достичь сказочных размеров тех китов, которые в наших народных сказках превращаются в острова, на которых мужички в лаптях строят пятистенки, сажают картошку, и вдруг — бульк! — кит наконец перестал терпеть издевательства и нырнул. И нет острова...

Странная особенность роста рыб заключается, очевидно, в том, что они находятся в состоянии невесомости большую часть жизни...

— О! Он умер! Неужели! О, мадам, вероятно, вы знали его?!

Да, мадам знала Джеймса Дагена. Мадам вообще не была администраторшей. Мадам оказалась научной сотрудницей Океанографического института.

Вернулась девушка-секретарша, сказала, что ближайший сподвижник Кусто через несколько минут примет нас. Она произнесла фамилию сподвижника: Алина. Ударение было на каком-то совершенно непонятном месте.

Девушка села за столик под картиной китобойного вельбота и углубилась в свои занятия.

Сперва смутно вспомнилось, как я злился на издателя книги «В мире безмолвия», который поленился перевести футы в метры. Отвлекаешься каждую минуту на то, чтобы мысленно делить и множить расстояния на коэффициенты. Еще меня всегда бесят римские цифры глав в многоглавных книгах. Вероятно, это потому, что я не римлянин.

Затем я вспомнил, что Алина был лейтенантом и конструировал подводные сани, — все это еще в конце сороковых годов. Тогда же он исследовал подземный источник Витарель. Они должны были найти сифоны, через которые подземные воды подаются на поверхность земли. И они ныряли в черную подземную воду с фонарями, компасами, глубиномерами и составляли карту...

— Месье, месье Алина ждет вас!

И я переступил порог святилища.

В огромное окно вливалось и море света, и настоящее, синее море, и доброе бормотанье прибора.

Так вот как выглядит штаб гуманистов в их борьбе с технократами. Кусто основал здесь этот штаб, когда Евратом в шестидесятом году санкционировал сброс отходов атомной промышленности в Средиземное море. Здесь он метался из угла в угол, когда технократы, послушные тупым лбам политиков, наступали на море.

— Вы узнаете это? — спросил меня Алина.

За огромным столом на полке книжного шкафа стояла модель судна. Щегольской, заливанный кораблик, игрушка.

Я не узнавал.

— Ваш «Нерей», — сказал Алина.

Черт знает что! Это действительно был «Нерей», но такой «Нерей», на котором никогда не лопались паровые магистрали, который не вмерзал в лед возле набережной Лейтенанта Шмидта, на палубе которого никогда не оставлял следов старый пес Анчар, прозванный так потому, что в молодости кусал всех без разбору.

В каком позорно благополучном, детском виде приплыл сюда наш буксир, опережая себя. Я, конечно, вспомнил, что среди начальства ходили разговоры о том, чтобы заказать модель и подарить ее Кусто. Но вручать подарок надо было, когда «Нерей» бросит якорь на рейде за окном. Не следовало, черт возьми, торопиться. Судно еще не совершило ничего, что давало ему право находиться рядом с моделью «Калипсо», за креслом Кусто.

«Я правильно сделал, что в свое время ушел из этой конторы», — подумал я, хотя глупое честолюбие было все-таки удовлетворено. Я принимал «Нерей», считал спасательные жилеты, копался в промерзшем трюме и встречал на нем Новый год. А на каждом судне, хотя это и тривиальное заверение, оставляешь частицу души.

Алина подошел к модели последнего подводного дома и стал рассказывать об его устройстве.

Несчастливая Ира, прижимая пальцы к вискам, переводила. Откуда она могла знать все смыслы слова «регенерация», например? Откуда она могла знать, что этот не первой молодости человек с не совсем белыми зубами — обычный след, который оставляет море на водолазах, — нырял в подземной реке на глубине сто двадцать метров? Что он одним из первых ввел в обиход слова «таблица компрессии»?

Я же, пусть простит меня месье Алина, кивал на его рассказ, но не слушал перевода. Об устройстве дома я рано-поздно прочитаю.

Мне интереснее было осмотреться в кабинете капитана Кусто.

Разобрать иностранные названия книг на их корешках в шкафах.

Определить чувства, которые я здесь испытывал.

Запомнить необычный, странный с такой высоты, подножный шум прибое — шум, поднимавшийся сюда с далекой-далекой обрывной глубины.

Узнать откуда, и как, и когда на стену попал старинный гарпун и какая история связана с ним.

— ...в отсеке второго этажа этого дома находились душевые... — переводила Ира слова Алины.

А я думал о том, что сын Кусто, который мылся в этой душевой, мальчишкой катался на ките.

Китобоец тащил под бортом ошвартованного убитого кита, а на болтающемся мертвом ките стоял маленький тогда Кусто и, конечно, захлебывался от счастья, а мать и отец взирали на происходящее безмятежно, без страха и даже с гордостью. Это, наверное, было так, как на далеком, немисливо далеком отсюда острове Вайгач, когда маленький ненец волок в тундру полярного орла. Но там был маленький ненец, а здесь было возвращение цивилизованного европейского интеллигента обратно к началу начал, было соединение настоящего, первобытного мужества с современной физикой и биохимией.

Первая семья в мире, которую не можешь назвать жителями Земли. Как неудобно так назвать, например, карася или акулу.

Больше всего мне хотелось бы остаться здесь одному и внимательно рассмотреть разные мелочи на стенах и за стеклами шкафов. Известно, что окурок для следователя важнее автобиографии преступника.

Но Алина уже все объяснил про глубоководный дом. Следовало, очевидно, уходить.

Мы глянули еще только на стенд с фотографиями и карикатурами на Кусто слева от дверей.

Удачнее всего получают карикатуры на людей с костистыми или очень толстыми лицами. Резкие черты Кусто так и просятся на карандаш. Но это, конечно, были не карикатуры все-таки, а шаржи. Чаще всего в профиль. И фото, приколотые к материи стенда без всякого раппорта и порядка, — подводные дома, дельфины, выпрыги-

вающие из воды в Сант-Яго, Кусто и Кеннеди на групповом снимке, Кусто, готовящийся надеть маску, и вдруг — Гагарин, смонтированный на одной карточке с Моной Лизой, Гагарин справа, Джоконда слева...

Опять это соединение науки, космоса, мужества с красотой и таинственностью искусства, загадочностью женской улыбки...

Не может не существовать в душе многих сегодняшних людей безмолвное и не выражаемое словами ощущение тоскливо-безвозвратного сожаления: «Да, действительно, люди полетят на Луну. Уже скоро. И на Марс. Но я не полечу. Сердце. Желудок. Амортизация души. Виза на полет к Луне... Да, полетят, а я никогда, никогда туда не полечу».

Это тоскливо.

Одно утешает — так случалось всегда. И будет. И я никогда не увижу Космос и глубины Океана. Никогда.

Когда проводился первый опыт недельного пребывания людей под водой, у аса подводников Фалька стали пошаливать нервы. Быть может, это были и не нервы, а воображение. Оно и помогает, и иногда губит людей, особенно художников. Другой акванавт чувствовал себя отлично. О нем записано в журнале: «Никаких жалоб нет, спокойная уверенность, как в отчетах советских космонавтов».

Вот откуда на стенде в кабинете Кусто Гагарин с его улыбкой и Джоконда с ее улыбкой...

— Испытатели сперва не выключали приемник, слушали популярную музыку и листали детективы, потом забросили детективы и выключили приемник, смотрели развлекательную программу — телерекламу — с хорошенькими хористками. Потом послали к черту и хористок, и даже «последние известия», попросили проигрыватель. И до конца опыта слушали симфонии и камерную музыку. Причем оба подводника были не из тех ребят, которые ходят в филармонию.

Это говорит мне бывший лейтенант французского флота месье Алина, или мне это кажется, потому что я это уже где-то читал?

— С большой глубины, как вам известно, нельзя выйти немедленно, если провел там известный срок. Именно

эта мысль ввергала мужественного Фалька в ужас и кошмары. Ничего лучшего для тренировки космонавтов не придумаешь. Американцы это поняли и используют. Чувства одиночества в глубине океана и в космосе приблизительно одинаковы по силе и качеству... Неизбежность, неизведанность среды, и ее очевидная враждебность, и ее громадность, и ее завлекающая гармония, толкающая на безрассудные поступки, растворяющая вдруг страх в чем-то непонятном, но, поверьте, мсье Виктор, приятном, и рождающая вместо него ощущение бессмертия...

Это переводит мне уставшая переводчица Ира, или это говорит Алина, или все это мне кажется?

— Так передайте своим друзьям, что мы, как и договорились, ждем «Нерей», — говорит Алина.

— Обязательно, — сказал я, хотя знал, что у «Нерея» осталось немного шансов приплыть в Монако.

— А вы навсегда ушли с этого судна? — спросил Алина.

— Навсегда, — признался я. — Люди, которые стояли во главе дела, отличные подводники, но в них, пожалуй, не было и грана поэзии. Потому «Нерей» еще не скоро бросит якорь на рейде под окном этой комнаты.

— Что передать Паша? — спросил Алина. Так называют Кусто друзья. Это означает «Старик».

— Пожелайте ему, мсье, еще много лет готовиться к погружениям без посторонней помощи.



ЧАСТЬ II

**СРЕДИ МИФОВ
И РИФМОВ**

Изучение географии включает немаловажную теорию — теорию искусств, математики и естественных наук и теорию, лежащую в основе истории и мифов (хотя мифы не имеют никакого отношения к практической жизни). Например, если кто-нибудь расскажет историю странствования Одиссея, Менелая или Иасона, то не следует думать, что он поможет этим практической мудрости своих слушателей, разве только присоединит к своему рассказу полезные уроки, извлеченные из несчастий, которые герои претерпели. Эти рассказы все же могут доставить высокое наслаждение слушателям, интересующимся местами, где зародились мифы. Ведь практические деятели любят подобные занятия, потому что эти места прославлены, а мифы полны прелести. Однако такие люди интересуются всем этим недолго: ведь как это и естественно, они больше заботятся о практической пользе.

Страбон, «География»

КОРАБЛИ НАЧИНАЮТСЯ С ИМЕНИ

Судно — единственное человеческое творение, которое удостоивается чести получить при рождении имя собственное. Кому присваивается имя собственное в этом мире? Только тому, кто имеет собственную историю жизни, то есть существу с судьбой, имеющему характер, отличающемуся ото всего другого сущего.

«И люди, и суда живут в непрочной стихии, подчиняются тонким и мощным влияниям и жаждут, чтобы скорее поняли их заслуги, чем узнали ошибки... В сущности, искусство власти над судами может быть более прекрасно, чем искусство власти над людьми. И как все прекрасные искусства, оно должно опираться на принципиальную, постоянную искренность». Это сказал Джозеф Конрад.

Каждое судно начинается с имени. У автомобилей, самолетов или ракет имен нет, только номера или клички.

Нет на планете и живых памятников. Бронзовые и каменные монументы мертвы, как бы величественны и пре-

красны они ни были. Имена знаменитых людей остаются в названиях континентов и городов, дворцов и бульваров. Но даже самый живой бульвар — это мертвый памятник. Только корабли — живые памятники. И когда ледоколы «Владимир Русанов» и «Афанасий Никитин» сердито лают в морозном тумане, в лиловой мгле у двадцать первого буя при входе в Керченский пролив, то их имена перестают быть именами мертвецов. Об этом сказано много раз. И все равно опять и опять испытываешь радостное удовлетворение от неожиданного общения с хладнокровным, но азартным и честолюбивым Русановым или лукавым и трепливым Афанасием, хотя от них давным-давно не осталось даже праха.

Смысл жизни судна — движение. Любое движение в пространстве есть непрерывная смена обстоятельств и свойств среды вокруг. Чем сложнее существо, тем заметнее оно реагирует на притяжение Луны, влажность, холод и жару, плотность космических излучений, напряженность магнитного поля. И чем сложнее существо, тем таинственнее его связь с собственным именем. Имя влияет на человеческий характер и судьбу. И в этом тоже нет мистики.

В справочниках у фамилии Челюскина стоят в скобках два вопросительных знака. Неизвестны даты его рождения и смерти. Это говорит в первую очередь о том, что мы ленивы и не любопытны к великим предкам.

Семен Иванович Челюскин был полярным штурманом. О белых медведях, когда их было много вокруг, говорил: «якобы какая скотина ходит».

На руках штурмана умер от цинги лейтенант Василий Прончищев. Челюскин принял командование кораблем.

Это было в 1736 году в устье Хатангской губы, где тогда «знатное дело, льды отнесло далече в море».

Через тринадцать дней после мужа умерла на руках Челюскина жена лейтенанта Прончищева Мария — первая женщина, принимавшая участие в арктической экспедиции.

Следующий раз Семен Иванович пошел к северу Европы и Азии под рукой крутого мужчины Харитона Лаптева.

24 августа 1740 года они потерпели аварию в широте 75°30'0" на дубль-шлюпке «Якутск»: «Во время поворота

назад течением и ветром дубль-шлюпку льдами затерло, а потом по отломлении фюрштевня все судно в неудобность повредило».

15 миль до берега по льдам они добирались трое суток и зазимовали на Таймыре. «Изнуренные трудами, отчаявшись в спасении на этом пустынном и диком берегу, некоторые подняли было ропот, говоря, что им все равно умирать — работая или не работая; однако ж мужественный начальник строгим наказанием зачинщиков восстановил дисциплину».

И тихий ропот собравшихся раньше времени умирать, и «нерегулярные и неистовые слова» буйных головушек командиры пресекали кошками. Социологических исследований психологического климата на зимовке они не вели, но людей спасли, исполняя приказ Петра: «Никто из обер- и унтер-офицеров не должен матросов и солдат бить рукой или палкой, но следует таковых, в случае потребности, наказывать при малой вине концом веревки толщиной от 21-й до 24-х прядей». За нарушение правил гигиены — курить можжевельником в морском жилье — Петр на первый раз велел бить нарушителей «у мачты», на второй, бив у мачты, отправлять на год на галеры. Мачты после гибели дубль-шлюпки не было. Били у бревна.

20 мая 1742 года Челюскин вышел к самому северному окончанию Европы и Азии. Он написал в дневнике: «Сей мыс каменный, приятный, высоты средней. Около одного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный северный мыс. Здесь поставил бревно, которое вез с собою».

Сто девять лет подвиг Челюскина подвергался сомнению, а он сам издевательствам. Сомневались и издевались люди бывалые, но на самом Восточном северном мысе ни с бревном, ни без него не бывавшие. Ф. Врангель и академик Бэр утверждали, в частности, что штурман Челюскин, «чтобы развязаться с ненавистным предприятием, решился на неосновательное донесение».

В 1851 году А. Соколовым все обвинения были сняты документально. Особенно горячо, по свидетельству Визе, за честь Семена Ивановича вступился А. Миддендорф, который присвоил имя штурмана мысу. И написал: «Челюскин не только единственное лицо, которому сто лет назад удалось достичь этого мыса и обогнуть его, но ему удался этот подвиг, не удавшийся другим, именно потому, что его личность была выше других. Челюскин, бес-

спорно, венец наших моряков, действовавших в том крае».

Скромность украшает человека, но делает это без слеха.

В сентябре 1933 года пароход «Челюскин» проходил мыс Челюскина. Капитан Воронин отсалютовал мысу тремя традиционными гудками. На душе капитана скребли кошки толщиной от 21-й до 24-х пряжей.

Отгудев, Воронин спустился в каюту и записал в дневник: «Как трудно идти среди льдов на слабом «Челюскине», к тому же плохо слушающемся руля». Капитан Воронин был из древней поморской семьи. Он привык прислушиваться к предчувствиям.

В первую мировую войну пароход под именем Челюскина привез из Лондона в Архангельск взрывчатку. В Бакарице пароход взлетел на воздух. Вероятно, это была работа немецких диверсантов. Воронин оказался свидетелем гибели судна.

Новому «Челюскину» Воронин не доверял и считал, что имя у него невезучее.

Существует неписаная морская традиция — не называть новые суда именами погибших судов. Нет на свете нового «Титаника», нет «Лузитании». Исключение делается для боевых кораблей, погибших в сражениях. Взорванный в Бакарице пароход, вероятно, приравняли к ним. Традиция оказалась нарушенной.

Тринадцатого февраля 1934 года на 68° северной широты и 172° восточной долготы новый «Челюскин» затонул. Глубокая у него могила...

Воронин, как положено, ушел последним. Самые дурные предчувствия капитана оправдались. До своего конца Воронин не мог забыть завхоза, сбитого бочками на палубе уходящего под лед парохода.

Героизм челюскинцев приветствовал весь мир. Даже скуповатый на автографы фантаст Герберт Уэллс и его язвительный антипод Бернارد Шоу сочли долгом лично подписать приветственные телеграммы.

В 1936 году в первый рейс вышел с ленинградского судостроительного завода первый советский теплоход «Челюскинец». В его названии на дальнем плане маячил Семен Челюскин, на среднем — «Челюскин» и на крупном — недавние подвиги челюскинцев.

В марте 1940 года теплоход, следуя из Нью-Йорка

в Ленинград, при подходе к таллинскому рейду выскочил на каменистую банку. Поднявшимся штормом судно переломило на две части. Носовая осталась на мели, а кормовую понесло ветром. Корму поймали милях в семи от носа, что дало возможность говорить легкомысленным морским острякам, что «Челюскинец» — самое длинное на планете судно. В суровые дни блокады рабочие Кировского завода сшили две половины. И после войны «Челюскинец» продолжал плавать.

Первый раз я миновал мыс Челюскина летом 1953 года на среднем рыболовном траулере по пути из Беломорска во Владивосток.

Мыс мрачен и тосклив. На нем полярная станция.

Мы пробирались близко у берега по узкой полынье. Южные ветры немного отогнали лед от берега. И мы влезли в эту щель.

Зимовщики увидели караван, первые после долгой зимы суда. Зимовщики входили в воду, расталкивая льдины баграми, и махали нам шапками.

И мы несколько раз выстрелили из винтовки, отдавая им и Семену Ивановичу салют, не записанный ни в каких протоколах.

С мыса ответили ракетой.

Осенью шестьдесят восьмого года судьба привела на самый длинный в мире теплоход. Он был уже здорово стар. Уже побаивался открытых океанов и даже малосольных льдов Финского залива. Мы работали на коротких рейсах вокруг Европы.

Богатая родословная нашего теплохода порождала иногда забавные казусы. Так, например, при отходе из Ленинграда на Гданьск рысьеглазый лейтенант-пограничник с молодым рвением обнаружил у нас на борту нарушителя. Им оказался отличник комтруда моторист Смирнов.

— Откуда у вас на борту этот человек? — зловеще спросил лейтенант, тыкая в моториста его паспортом.

Мы объяснили, что этот человек плавает здесь четвертый год.

— Как он может плавать здесь, если он с другого судна? — еще более зловеще спросил лейтенант.

— Почему он с другого? Он с этого!

— А это что? — торжествующе спросил лейтенант, тыкая пальцем в паспорт моториста. Там в графе «На-

звание судна» стояло: «ЧЕЛЮСКИН» — вполне понятная описка дамы-писаря из отдела кадров.

— Но, товарищ лейтенант, ведь такого судна сейчас вообще нет в природе! Оно утонуло в тридцать четвертом. Тебе сколько тогда было, Смирнов?

— Нисколько не было! — сказал перепуганный моторист.

— Как же оно утонуло, если тут черным по белому: «ЧЕЛЮСКИН»?

Лейтенант, конечно, через часок все понял, но потребовал замены паспорта. Но самое смешное, что он еще написал докладную на своих коллег в Таллине, Керчи и других портах. Коллеги четыре года табанили, выпуская Смирнова с неточным документом. Но они в свою очередь быстренько выяснили, что сам рысьеглазый выпускал Смирнова трижды из Ленинграда на утонувшем давным-давно пароходе. И только в четвертый раз его ущучил. В результате рысьеглазый получил самую большую нахлобучку.

Странная вещь — одухотворенность старого судна, покосившейся избы, растрескавшегося комода.

В ночные тихие вахты толпились в угловатой рубке старомодного теплохода сотни теней. Это были тени тех, кто отдал холодной стали свое тепло в прошлые десятилетия. Заходил и сам Семен Иванович, и Эрнест Кренкель, и моряки, взлетевшие на воздух в Архангельске, и капитан Воронин, и Мария Прончищева, и блокадные работяги.

РАЗГРУЗКА В СОРРИ-ДОКЕ

В Англии четыре миллиона собак, шесть миллионов кошек, восемь миллионов птиц в клетках, двадцать пять тысяч официально зарегистрированных привидений.

Где-то читал в газетах

В центре Северного моря тяжело колышется и гудит буй по имени Пит. Его зовут еще Большой Пит. От Пита до Лондона уже близко, от него пахнет Англией. Опасно не усмотреть Пита, не засечь его радаром. Это и несколько позорно.

Когда я высматриваю Пита среди серых волн, в тумане, в промозглости и холодных брызгах и когда я вдруг вижу колышущуюся точку, то говорю:

— Здорово, Пип!

Пита я давно перекрестил в Пипа. И дядюшка Диккенс берет нас под свое покровительство, ведет к себе домой. И тощая сварливая супруга невозмутимого Джо режет хлеб, прижимая его к груди и наталкивая в буханку иголки и булавки.

Англия начинается для меня с детских книжек.

Когда плывешь по Темзе и гладишь брюки, одновременно через иллюминатор каюты разглядывая чумазый буксир «Джозеф Конрад», то можешь брюки спалить. Если это новые, с великим трудом сшитые брюки, то обидно. Еще обиднее, если считаешь себя выдающимся мастером по глажке флотских брюк.

Корень неприятности не только в том, что я гладил и одновременно пялил глаза на Темзу и «Джозефа Конрада». Просто привык к суконным брюкам: старомоден, отстал от века. В результате поднял утюг вместе с полотенцем, через которое гладил, и большим куском синтетических брюк.

На запах паленого прибежал первый помощник Коля Кармалин. Он даже не удивился. Сказал:

— Опять?

Не везло мне с разными предметами туалета. То капитану не понравились белые канты на пилотке подводника, которую я носил для удобства. И я замазал канты тушью. При первом дожде тушь потекла и воротник белой нейлоновой рубашки оказался навсегда небелым. Еще в Ленинграде полу плаща затянуло в блок. Но вот — брюки... Я хотел их сразу выкинуть в Темзу, — Коля не дал. Он был хороший человек и оптимист, считал, что есть на планете мастерские, где в брюки вставляют новые куски.

Темза — рабочая река. Я еще не видел рек, которые работали бы так монотонно, непрерывно, привычно. Как здоровенная ломовая лошадь. Сколько она несет на себе судов, барж, буксиров, паромов... И все безропотно, без кнута, без окрика. Между болот. Под серым, дымным

небом. Хорошая, добрая лошадь Темза. То длинно вздохнет приливом, то тихо выдохнет отливом.

Гринич стоит на плёсе Гринич Рич. Там на причале горят два красных вертикальных огня. И видны высокие мачты парусника. Это «Кати-Сарк» спит в сухом старинном доке на нулевом меридиане. Теперь «Кати-Сарк» стало веселее. Появилась рядом внучка — маленькая знаменитая «Джипси-Мот». Ее тоже можно увидеть прямо с середины Темзы.

С плеса Лаймхаус Рич мы завернули в бассейн Гринленд через первый шлюз Суррей-Коммершел-дока. Моряки всего мира называют его просто Сорри-док.

При швартовках мое место было на корме. С кормы мало видно. Что там с нами буксир делает, куда мы летим, зачем — это все на мостике известно. Тьма была уже полная. На другой стороне Темзы неярко мигали рекламы пива, овсяных хлопьев и электрических бритв «Филлипс».

Угол шлюза приближался быстрее, чем мне хотелось. На углу мигала мигалка. Я докладывал на мостик дистанцию до стенки все более тревожным голосом. С мостика, как положено, напоминали: «Кранцы! Кранцы!» Магросики висели с кранцами головами вниз.

Все было сделано согласно правилам хорошей морской практики, но прикосновение к английской земле оказалось довольно крепким. Во всяком случае, такого красивого столба искр, какой высек наш старый теплоход из старых камней Сорри-дока, я давно уже не видел.

Естественно, мостик объяснил мне кое-что про мои глаза, мой глазомер, умение определять дистанцию и другие морские качества.

Как потом выяснилось, Юрий Петрович во времена, когда он был вторым помощником, швартовал пароходы прямо с кормы вместо капитана. А я оказался не на высоте.

Наконец из динамика вылетел деловой вопрос: «Шлюз цел?»

Темно было. И непонятно: цел шлюз или завалился вдребезги.

— Не вижу! — доложил я. — Искр было довольно много.

— Это мы и сами видели! — пробрюзжал мостик.

И все затихло.

Швартовщики приняли швартовы и положили на

кнехты. Они и голов не поднимали. Они не такие здесь штуки видели, чтобы на каждую искру реагировать.

Куда интереснее было мне: что там с нашими старыми заклепками стало, живы они или вылетели?

Ноябрьская, дрянная, дождливая ночь наваливалась на Лондон. Склады подступали к докам со всех сторон. И город, один из самых гигантских городов на земле, исчез, хотя мы были почти в центре его. Такое ощущение бывает на вокзалах и сортировочных железных дорог. Знаешь, что город рядом, но трудно поверить в это.

Насосы сделали свое дело, ботопорт открылся, и под разводным мостом мы проскользнули в Сорри-док. Теперь нам начихать на приливы и отливы. Лоцман поставил теплоход на бочки посередине бассейна Канада.

Явились всевозможные власти и сделали свое черное дело: опечатали судовые гальюны и артелку. Мы имели право оставить себе по сто сигарет. На остальные повесили замок. В туалет следовало ходить на берег. Для связи с берегом катер натолкал между бортами и причалами пустые маленькие баржи. На всех баржах крупными буквами было написано: «Сэр Уильям Барнетт и К°».

В моей каюте стойко держался запах сожженных флотских брюк.

— Вот ты и в столице Британской империи, — сказал я своему отражению в зеркале, щеткой отмывая руки. — Что ты испытываешь?

В журнале «Россия XX века», выходившем в Англии во время первой мировой войны, была напечатана статья Голсуорси «Русский и англичанин».

Голсуорси отмечал, что англичанин «хозяин своего слова... почти всегда; он не лжет... почти никогда; честность, по английской поговорке, — лучшая политика. Но самый дух правды он не особенно уважает».

Русский любой ценой стремится достичь предела понимания с другим человеком. (Помните наше знаменитое пьяное: «Ты меня п-понимаешь?»)

Англичанину важнее всего сохранить иллюзию.

Голсуорси говорит, что мы далеко превзошли англичан в стремлении все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути. И что мы завидуем английскому практицизму, здравому смыслу, веками выработанному умению понимать то, чего в жизни можно добиться, и умению выбирать самые лучшие и простые способы достижения.

Англичанам же следовало бы завидовать нам потому, что мы «не от мира сего».

Голсуорси считал свою нацию наименее искренней из всех наций. Потому его так глубоко потрясала и завораживала наша классическая литература. Через нее он во многом точно и глубоко проникал в нас. Он писал: «Не воображайте, что если вам хочется привить русской душе практичность, действенность, методичность, то вы можете позволить себе шутить шутки со своей литературой». Он имел в виду практицизм и служение литературы мелким близким целям.

О нашем будущем классик английской литературы был чрезвычайно мрачного мнения. Он считал, что мы не способны остановиться на чем-нибудь определенном.

От Голсуорси я еще узнал, что слово «ничего» в смысле: «Ничего — проживем, перебежмся!» — чисто русское слово, хорошо выражающее наш фатализм. Англичане придумали «пока!».

Утро.

Черная вереница людей в утренней полутьме, в мутном свете высоких фонарей, на фоне бесконечных пакгаузов. Прыгают на палубы маленьких барок, карабкаются через штабеля русских досок, поставив под навесы хилые велосипеды. Лондонские докеры. От слова «док». Из Сорри-дока разошлось это слово по всем морям и океанам.

Поднимаются на борт, разбираются по трюмам, снимают пальто. Под пальто на левом плече — крюк. Страшная штука — крюки грузчиков. Белое жало, плавный, как у серпа, изгиб, отполированная ладонью рукоять. Не дай господь увидеть такой крюк над головой.

Кое-кто в белых касках с «дубль ве» на лбу, остальные в кепках. Сумочки с бутербродами. У бригадира деревянный ящик-сундук.

Бригадир, вероятно, уже «сэлф мэйд мэн» — «человек, сделавший себя сам», по местному выражению. Джеймс Кук, к примеру, тоже сделал себя сам.

Надевают куртки. Брезент, поддельная замша, военная маскировочная ткань. На всех грузчиках мира можно и сегодня увидеть военные обноски. Под обносками может торчать галстук.

Лебедчиков сразу отличишь от грузчиков: часто седые уже совсем, могут быть в очках, куртки у них чище и дороже.

Сонные, чешутся, зевают, кашляют.

Туман над сонной водой Сорри-дока. Слабо светятся

окна в высотных зданиях на берегу. Ни реклам, ни городского шума.

Заглядывают в трюмы. Из трюмов — как из ледника. Ксе-где белеет снег на русских досках, — ленинградский снежок привезли мы в Лондон. А рукавиц у знаменитых докеров нет. Дорогое дело рукавицы. И носовых платков у них нет. Для этого дела существует международный носовой платок — большой и указательный пальцы.

Сейчас все вместе они начинают перевооружать наши стрелы на свой манер. А работать будут каждый сам за себя. Каждый надергает крюком свой пакет досок, уложит — застропит.

Сижу в каюте, жду стивидора. Не повезло мне — первый день выгрузки, а я еще и вахтенный помощник.

Является боцман.

— Виктор Викторович, что они с нашими стрелами делают?

— Не могу понять.

— Запретите им наше грузовое устройство трогать!

— Семеныч, знаешь закон: не говори с толпой, говори с начальником. Придет стивидор — разберемся.

— Я тут двадцатый раз, а такого безобразия не было. Они бочки с собой притащили, к оттяжкам крепят. Запретите!

Начинается! Боцману что-то непонятно, боцману не хватает определенности. Как будто мне ее хватает хоть в чем-нибудь! Да я за ней, может быть, уже двадцать лет по морям охочусь... Голсуорси, между прочим, так объяснял отсутствие у Чехова романов: чем длиннее произведение, тем более нужно, чтобы в нем случилось что-то определенное...

— Семеныч, — говорю я. — Разберемся. А вахтенного у трапа никакой работой не занимай. Буду следить все время! Пока!..

Ровно в девять появляется толстый пожилой мистер — стивидор, руководитель разгрузки. От него уже сильно потягивает спиртным. Как он рад со мной познакомиться! всю жизнь он мечтал встретить такого мейта! Американцы — дрянь, а не мужчины! А с русскими у него все всегда олл-райт! Его лучший друг — русский капитан Юра Павлов. Знаю я Юру Павлова?..

Где британская сдержанность и малословие? Минут десять я уясняю то, что он болтает. Потом выволакиваю на палубу. Совсем ему не хочется на свежий воздух, вер-

нее в смог. Ему хочется посидеть в какой-то секунда, покурить.

Спрашиваю, чего тянут резину его люди, что делают из наших грузовых устройств и вообще: «Вас ис дас, каррамба?» Я уже опытный, подозреваю: по-русски он понимает изрядно, но хитрит. Выгодно слушать и делать отсутствующую рожу. В большинстве портов так. А станем прощаться — засмеется и признается. Или не признается. Это зависит от степени сволочизма. А иногда и действительно не знает ни звука — поди разберись!

Его докеры уже принайтовили к оттяжкам здоровенные бочки из-под бензина и требуют воды. Какой воды — вон ее сколько в Сорри-доке — лей, не хочу!

— Глядите на француза, — тихо выдавливает боцман. Он уже уловил суть происходящего.

У стенки дока справа от нас стоит французское судно, его грузят пиломатериалами. Видно, как английское изобретение — бочка-противовес — то опускается к самой воде, отводя стрелу за борт, то поднимается. Рационализация. В бочку надо налить воды — пустая бочка, естественно, ничего не весит. Но как туда воды налить? Не ведром же ее из-за борта черпать. Надо пожарный насос запускать, давать воду в пожарные рожки на палубу.

Звоню в машину. Вахтенный механик хохочет: вы что, собрались палубу мыть?

Объясняю.

Докеры уже стряхнули сон, развлекаются как умеют. Один присел от ветра на корточки, курит, другой подбегает к нему сзади, как тигр, поддевает носком ботинка под зад и переворачивает головой вперед. Весело всем. Парень стоит, в одной руке термос, в другой бутерброд — не успел дома позавтракать. Ему просовывают доску между ног, а руки у паренька заняты — как ему обороняться? Опять весело. Во всем мире у солдат и грузчиков шутки одни и те же.

Стивидор смывается с борта.

Вода пошла из рожков на палубу. Теперь англичанам требуется воронка. Шланг у них свой, специальный, а нужна воронка. Ищем воронку еще минут десять. Серый от ненависти к докерам боцман приносит воронку, швыряет в ватервейс.

— Викторыч, нашу оттяжку украли! Вон на той барже! Задержите ее!

И правда, наша оттяжка — метров десять приличного

троса. А баржевик привязывает ею баржу к своему катеру.

— Стоп! — ору. И делаю всемирно понятный жест — скрещенные руки над головой. От меня до англичанина совсем близко, но он не слышит. Как сформулировал Голсуорси: «Англичанину важнее всего сохранить иллюзию». Баржевик отлично сохраняет иллюзию того, что веревка принадлежит ему. От ненависти к мелкому ворихе боцман делается серее волка и с презрением бормочет: «Ну и рабочий класс! Ну и пролетарии всех стран соединяйтесь!»

Боцман небось запомнил, что эти слова родились здесь, на берегу Темзы. Десять метров веревки — ерунда, но тут во мне заговорила национальная гордость. Вызываю чиф-тальмана. Единственный обаятельный англичанин на борту. Воротник не поднят выше ушей, кепка не натянута на нос, грудь распахнута навстречу ветрам Альбиона и рот распахнут в белозубой улыбке. Очень на Грегори Пека похож. Так я его и зову до конца выгрузки.

— Грегори, так тебя и так!

Понял, подобрал с палубы строительную скобу, запустил в баржевика, договорился, побожился, что баржевик сейчас вернется и притащит оттяжку обратно.

— Если уж обещали, привезут, — успокаивается Семеныч.

Из второго трюма раздается ниагарский грохот, дробь лопающихся звуков — доски ломаются. Пялимся с Грегори в провал трюма. Половину груза я сдал в Гданьске. На Англию идут хорошего качества пиломатериалы и шпалы. Треснувшая доска — это уже не доска, а простые дрова. Что там такое?

Весом в две тонны пакет волокут по другим доскам от третьего люка ко второму. За пакетом остается уродливый след — десятки метров древесного лома.

Спускаюсь по скоб-трапу в трюм, останавливаю работу, сую в нос докерам щепки.

Кто никогда не оставался один на один в огромном стальном храме — трюме — с толпой недовольных грузчиков, тот много потерял в жизни. Ведь недавно сам твердил боцману: не говори с толпой, говори с начальником. Что тут поймешь? Гам, крик, вопли, песни — и все усилено эхом, как в соборе Святого Вита. Наконец уясняю, что по законам порта каждая бригада докеров разгружает свой трюм и выгружает только через один

люк, даже если этих люков тысяча. И вот они буксируют подъемы от третьего ко второму люку. И почему им так удобнее? На эту тему Голсуорси сообщает, что мы, русские, далеко превзошли англичан в способности все выворачивать наизнанку... Сейчас англичане выворачивают наизнанку элементарную логику — по традиции, очевидно. Или есть тут какой-нибудь хитрый смысл? А мне без страховочного письма к агенту не обойтись...

Над комингсом люка появляется голова вахтенного механика.

— Викторич! Несчастье у меня! Вылезай!

Вылезаю. По дороге едва увернулся от пакета с досками.

— Моторист красил кап в машинном отделении, отстегнул пояс, когда закончил, сорвался...

Так, десять часов пятнадцать минут — время в таких случаях надо сразу засекаать.

— С какой высоты?

— Метров с пяти. На крышки цилиндров главного двигателя — вот что плохо...

Это мы уже с ним на ходу разговариваем.

— В сознании?

— Нет.

О чем думаешь в такие моменты?

«Акт о несчастном случае на производстве. Форма Н-1, инструктаж вводный, на рабочем месте, повторный, для работ с повышенной опасностью...»

О прокуроре думаешь.

— Инструктаж был?

— Был.

— Кто проводил?

— Сам дед.

Это уже превосходно. Остается: «Травматологические последствия — переведен на легкую работу, исход без инвалидности, установлена инвалидность 1, 2, 3 группы, случай смертельный — нужно подчеркнуть...»

Плаваем мы без врача. Старое судно, кают не хватает. По уставу врача замещает старший помощник капитана. Старпом пошел на берег в галюн. Капитан у консула...

Паренек лежит белый, мягкий весь, испачкан в краске и сляре. Сотрясение мозга, шок, перелом позвоночника?.. Что годится во всех случаях?.. Кажется: больше воздуха, не переохладать, нашатырь...

— Вот ты бегом на берег! Там старпом в галюне.

Найдешь, скажешь, чтобы звонил в «скорую помощь», вызывал машину госпитальную...

— Есть!

Старпом опытный морячина, он и телефон найдет, и позвонить сумеет. В каждой стране, каждом городе патентованное устройство у телефонов-автоматов, своя система номеров, свои цены, размер монетки. Жуткое дело звонить по телефону в незнакомом порту. Скорее на тот свет дозвонишься.

Механик вспоминает, что теплоход «Сретенск» на пути из Южной Америки попал в аварию, сейчас стоит в соседнем доке, судно большое, современное, врач там обязательно есть.

Наш самый резвый моторист отправляется на «Сретенск». Бежать вокруг доков надо километров пять. Трубу «Сретенска» видно рядом, а добежать к нему — час.

Решаем пострадавшего вынести в каюту. Выносим на одеялах.

Он все без сознания. Плохо дело. Ран не видно. Жирный паренек, упитанный, круглорожий. Наблюдателей и советчиков — куча. Кто-то успокаивает:

— Он на задницу приземлился. Я сам видел.

— Такая задница парашют заменит.

— Амортизация, как у кенгуру...

— Лишние выйдите! — это я.

— Виктор Викторович, вас англичане требуют! — это уже вахтенный.

Грегори Пек, сияя улыбкой, сует мне в нос ведро, просит воды. Ведро их собственное, черное внутри почему-то. Работает пожарный насос, воды на палубе — залейся, а ему еще воды! Молотит языком по белым зубам.

— Штиль! — ору я. — Тише!

Ему нужен кипяток, а не просто вода. Для чая. Работать толком не начали, а уже о чае заботятся.

Отправляю Грегори на камбуз. Прибегает боцман:

— Викторыч! Матросов заливает! Почему пожарный насос не остановили? Викторыч, я вас попрошу о таких вещах ставить меня в известность! Вода из шпигатов красть мешает за бортом...

Боцман у нас секретарь парторганизации — его далеко не пошлешь! Коротко объясняю про несчастный случай, под конец взрываюсь:

— Сам не можешь позвонить в машину, насос остановить?!

— Положено через вахтенного штурмана...

— Мало ли что положено!

Зовут к трапу. Примчался доктор со «Сретенска». Счастье какое, что он оказался на месте. Мог бы по Британскому музею разгуливать или кино на Пиккадилли смотреть. Записываю фамилию, засекаю время.

Возвращается чиф. Он дозвонился в госпиталь. Машина будет с минуты на минуту. Рекомендует не торопиться с заполнением вахтенного журнала.

Сирена на причале. Выкатывает шикарная машина. Полицейский на подножке. Узнав, что дело не касается подданных короны, исчезает.

Паренек убывает в морской госпиталь Лондона.

Оглядываю палубу. Работа вроде бы наладилась. Шибуршат бочки-противовесы, трещат лебедки, доски загружают баржи сэра Уильяма Барнетта и К°. Следует скользнуть вниз, в шхеры, в каюту, посидеть, покурить с закрытыми глазами.

— Виктор Викторович, вас англичане к первому трюму вызывают!

— Что у них?

— Вроде они страйк объявили.

«Страйк» — забастовка. «Дружные, хорошо организованные отряды лондонских докеров стойко защищают свои права...»

У первого трюма хохот. Никто не работает. Резвятся. Брызгаются из кишки, приспособленной для заполнения бочек-противовесов. Орут:

— Секонд! Страйк!

Кто на этом трюме главный, черт бы его побрал!

Чего они бастуют, рожи сопливые! Наконец один тыкает пальцем в шкив блока у грузового шкентеля на стреле. Пробую блок. Не прокручивается. Заело. Ну и что? Сами расходить не могут? Раза два ручником ударить по шкиву. А они «страйк»! Простой за наш счет.

— Боцмана сюда!

Здесь я сведу с ним счеты. Его дело подготовить грузовое устройство. Он за этот подлый шкив отвечает. За «страйк», за простой.

У боцмана физиономия делается виноватой, сопит, материт докеров.

Пока он ходит за ручником, ломиком, британцы продолжают резвиться возле тихой дыры трюма.

Окружают меня, суют в нос газету. «Ивнинг ньюс». Фото полуголеньких девиц. «Мисс Австрия», «мисс Австралия»... Очевидно, в Лондоне проходит конкурс этих мисс.

Наконец догадываюсь, о чем они лопочут. Где «мисс Россия»? Почему нет «мисс России»? В России нет красивых девушек? Если собрать с каждого русского всего по два шиллинга, они принесут, да, да, принесут на руках вам такую мисс, такую мисс, которую мы сможем увезти с собой в Россию...

— Заткнитесь, болваны! — советую я им, стараясь сохранить добродушие. Я говорю на русском, но некоторые слова они отлично знают. Эти слова они повторяют за мной хором. Хоть бы у одного я увидел носовой платок. Сопли висят до подбородка. Ну и рожи! С такими темпами мы будем разгружаться недели две.

— Крутится блок, — докладывает боцман.

Англичане потихоньку гаснут и разбредаются по местам.

Но шум поднимается у кормового трюма. Шпалы у меня в кормовом трюме.

— Что случилось?

— Джон краской испачкался. Вас требуют.

— Боцман, красили у четвертого номера?

— Только надстройку румпельного...

— Неужели другого времени не могли выбрать? Сотня людей на палубах крутится!

— Там везде на ихнем языке плакаты вывешены, по закону!

— Пошли разбираться!

Толпа пляшет вокруг одного раскрашенного суриком Джона. Зачем он лазал к румпельному, болван? Сам виноват. И аншлаги — прав боцман — висят по всем правилам. Но боже мой, как они размахивают кулаками и крюками: «Мани!» — «Деньги!» А испачканы рваные, жалкие брюки и ладони.

— Спокойно, Семеныч, — успокаиваю я себя, а не боцмана. — Прикажите принести растворитель. Главное — не идиотский престиж, а работа.

Но не удерживаюсь. Тычу пальцем в брюки Джона, делаю самую презрительную физиономию, на которую только способен. И вдруг кричу волевым, как у Нельсона при Трафальгаре, голосом:

— Вёк! Работать!

Помогает.

Возвращается из госпиталя чиф. Паренька оставили там. Позвоночник цел. Насчет сотрясения мозга еще не ясно. Лежать несколько недель.

Боцман с ходу жалуется чифу, что я не разрешаю вах-

тенному у трапа работать. Вечный конфликт чифа с вахтенным помощником. Если матрос у трапа начнет работать, он принципиально за трапом смотреть не будет. Даже если по трапу вынесут капитанский сейф, матрос скажет, что он не видел: ему приказали работать, а глаз у него не десять — два, и смотреть ими в разные стороны только в цирке умеют...

Мы крупно цапаемся с чифом. От этого настроение ухудшается еще больше.

Вижу, что вся толпа докеров с носа повалила в надстройку. Бочки-противовесы повисли в воздухе. Лебедки стали. Приятная тишина.

Появляется капитан. Капитан интересуется, почему вахтенный матрос красит, знаю ли я правила несения вахтенной службы в иностранных портах.

Я слишком давно связан с флотом, чтобы валить вину на другого. Выйдет хуже, хотя так и подмывает пожаловаться на чифа.

Капитан сразу опять убывает.

Спускаюсь в надстройку. Столовая команды полным-полна докерами. Сигаретный дым, гул. Играют в шашки, в «шишбеш», листают газеты.

Грегори Пек подносит железную кружку чая.

У них уже ленч, что мы переводим — второй британский чай. Хорошо, хоть забастовки нет. Я отмахиваюсь от чая. Грегори обижается. Беру кружку с мутным пойлом. Слабый чай с молоком и минимум сахара, если он там вообще есть. Отрава. Они хлебают его на полный ход. Сидят в шляпах и кепках. Грегори положет кружки в свое ведро. Рядом сундучок стоит — деревянный ящик с ременной ручкой. Там полотенце, ножи, кишка какая-то.

Ладно, пейте свое пойло. Хоть подышу тихо на палубе.

Мир в Сорри-доке.

Солнце проглядывает, потеплело. Медлительно дрейфуют под ветерком сотни барж, трутся бортами, закрыты синими, зелеными, желтыми брезентами. Между баржами плавают доски. А мы их от дождя прятали при погрузке.

Выходит из соседнего бассейна огромная «Финния», порт приписки — Гельсингфорс. Впереди нее плывут два ослепительных лебеда. Он и она. «Финния» отработывает полным задним и обрушивает в воду левый якорь, чтобы развернуться в тесноте на выход. Якорь шлепается мет-

рах в десяти от лебедей. Они не пугаются — ко всему привыкли, плывут между досок к нам. Оранжевые, веселые клювы, черные породистые брови. С высоты борта хорошо видны в зелени воды синие перепончатые лапки, оттянутые назад. Задирают головы, воркуют недовольно, поглядывают на меня.

— Цып-цып, — говорю лондонским лебедям.

Боцман оказывается рядом, съедобное что-то в руках.

— У них ведь тоже ленч, — объясняет он.

Мы заключаем негласное перемирие. Хорошо вокруг, мирно.

И запах спиртного — стивидор пришел.

— А, секунд! — улыбается. Воняет от него водкой еще больше, чем утром. Объясняет, что они не начнут разгрузку после ленча, если мы не передвинем в другое место бимсы, сложенные на правом борту.

Бимсы весят килограммов по пятьсот. Чтобы их переместить, нужны лебедки, но лебедки англичане переоборудовали под идиотское устройство с водяной бочкой-противовесом. Теперь бимсы им мешают, а двигать их нечем. Вернее, есть старый, как миф, прием — по каткам ломами. Минут пять собираюсь с духом, чтобы приказать боцману провести этот прием в жизнь. Наконец решаюсь. Он верещит так, как будто ему бимс на ногу упал.

Перемирие закончилось.

До обеда мы с чифом и дедом осматриваем заклепки в том месте, где приложились на входе в док. Устанавливаем, что на пяти шпангоутах один ряд заклепок имеет потертые головки на сорок сантиметров ниже ватерлинии.

После простукивания, при котором я ничего не слышу, хотя делаю умный вид, приходим к выводу, что водотечности быть не может. На всякий случай указываем, что по окончании выгрузки ряд потертых заклепок будет проверен под давлением из пожарной магистрали.

Черновик акта пишу я в каюте. Стивидор сидит рядом и несет, как он в войну сражался в отрядах командос и высаживался в Норвегии, чтобы захватить тяжелую воду. Каким-то чудом я понимаю рассказ и даже чувствую, что стивидор не врет.

Хочу толково объяснить ему это. Первый раз открываю англо-русский разговорник. Нахожу только: «Официант, стлс на троих, пожалуйста!» — и все в этом духе.

Забрасываю разговорник под стол. И наконец понимаю, что его бормотание имеет одну цель: выбить бутыл-

ку водки. У меня ее нет. И не будет. Он удивляется: как я буду без нее жить? И уходит. Через пятнадцать минут является с пивом: презент. Выпиваем пиво. Не такой уж он плохой мужик. Надо будет покормить его обедом.

Но с обеденным перерывом опять выходит неувязка. Английский обед на час позже. Наши ребята помогут, переоденутся — и отдай им час перерыва, отдай и не грши. А докерам то одно, то другое надо пособить, наладить.

Только мы по ложке супа съели, вызывают ко второму трюму. Опять «страйк». Перегорела лебедка. Старые у нас лебедки, старые, как сам теплоход.

Электромеханик — мой корешок, подружились еще на ремонте.

Прибежал к лебедке — изо рта котлета торчит недожеванная.

— Что случилось?

— Файя! — орет английский лебедчик и радостно улыбается.

— Сейчас, Викторыч! — электромеханик кладет котлету на фальшборт и лезет в контроллер. Минута — и лебедка начинает урчать. Электромеханик с победным видом наблюдает за медленно наматывающимся на барабан тросом.

Трах! Бах! Ограничитель не срабатывает, так с полного хода втыкается в блок и намертво заклинивается там.

— Капут! — радостно орут англичане.

Теперь надо майнать стрелу на палубу, выбирать как из блока, но английское устройство с противовесом не дает возможности уложить стрелу на палубу. Из-за этого их проклятого устройства и ограничитель не сработал.

Работяги с быстротой актера, который один играет все роли в пьесе, начинают переодеваться, сбрасывают каски, втыкают страшные крюки в доски. И вот они уже все в барже и черной цепочкой бегут к набережной дока — обедать.

Грегори Пек перед уходом сообщает, что после обеда они не смогут работать, если на каждый трюм не будут вывешены по две осветительные люстры, люстры еще надо повесить и за бортами, чтобы осветить баржи. Пытаюсь ему объяснить, что еще солнце светит. Но солнце не имеет отношения к их профсоюзным правилам...

Звякнул вахтенный, вызывая к трапу, — возвращался капитан.

— Ну как? — спросил он. — Пива хочешь? Принесли тебе бутылочку.

— Сумасшедший дом,— сказал я.

— Мы тебе и соленых арахисовых орешков принесли к пиву,— сказал помполит.— Выпей, съешь, и полегчает.

Прошлись по трюмам, решили:

— Здорово работают, черти!

И действительно, за половину смены они выкинули досок куда больше, чем поляки в Гданьске. Кажется, и не работали, а наработали много. Противовес им явно помогал.

Спускаюсь в кают-компанию суп доесть.

Там разговор о забастовках. Кто где сколько времени простоял под забастовкой. Чемпионом оказывается старший механик— он у нас самый старый моряк. Три месяца во Франции проторчали в пятидесятом году. От безделья построили на свалке стадион и целый спортивный комплекс. Забастовщики включились в работу по спортблагоустройству. И потом два месяца в футбол играли. Турнир всех наций получился...

Я размяк в тепле, уши развесил.

Приходит стивидор, заявляет, что работать они не могут, так как у судна крен и проклятые их водяные бочки, опускаясь вниз, бьются о борт.

Нет такого судна, которое не будет самым неожиданным и странным образом крениться, если нагружено лесом. Только специальные лесовозы не кренятся.

Пытаюсь обвинить англичан в неравномерной разгрузке. Стивидор, не будь дурак, заявляет, что неравномерность разгрузки есть следствие невыполнения «винг-ту-винг». Сует бумагу. Идем к капитану. Капитан ее подписывает. Недаром мы в Ленинграде запаслись страховочным письмом «Экспортлесу».

Но крен все равно надо уменьшить. Иду к стармеху. Он после обеда спать лег. Бужу. Надо топливом сманеврировать и крен уничтожить. Дед объясняет, что крен не по его вине, топливо у него выбирается равномерно и я могу уничтожить крен, как мне вздумается.

Иду к капитану. Он тоже после обеда спать лег. Бужу. Он сдерживает бешенство и звонит стармеху.

Минут через сорок крен уменьшается, и англичане начинают работу. Но деду я сон перебил, он появляется на палубе, подзывает меня, кивает за борт:

— Не видишь?

— Чего «не видишь»?

— Глаза протри.

Вода, доски плавают, баржи бортами трутся. Нормально все.

— Масло на воде видишь? Матрос масляную палку за борт бросил, а штраф с меня дергать будут? Скажут, из меня течет соляр и масло, а из меня и капли не сочтется. Штраф здесь будь здоров дергают.

— Боцман, черт возьми, кто масляную палку за борт бросил?

— Откуда у нас масло? Мотористы это бросали.

— Да я своими глазами видел, как матрос палку бросил, — говорит дед.

Боцману деваться некуда, но он быстро находится:

— Англичане в ватервейс мочатся, а вы, внимания не обращаете, Виктор Викторович! Надо жалобу писать, а вы глаза в сторону отводите! Не принципиально получается!

Здесь опять он прав. Ленятся англичане лазать через зыбкие баржи на берег. Нет ничего нечистоплотнее, нежели пачкать ватервейс, палубу, судно, корабль. Но очень уж противно ловить на таком деле здорового дядю, выводить по трапу за ухо, жалобу писать.

Немецкий физик с торжеством сказал Резерфорду: «Ни один англосакс не понимает теории относительности!» Резерфорд ответил: «Естественно, у нас слишком много здравого смысла!»

Здравый смысл закрыть галюны на судах в доках есть, выполнять собственный закон — нет. И все-таки в парусные времена такого здесь не могло быть. В те времена их бы драли палками ниже спины. Или в те времена туалеты комфортабельнее были? Нынешние английские, особенно в доках, напоминают наши на Диксоне. И если в центре столицы надпись приглашает «джентльменов», то в портовой глубинке обходятся просто словом «мэн». И настенная живопись здесь напугает даже пещерного человека. И тексты не для слабонервных. И холодище. И вместо пипифакса свободные британские газеты.

Кое-как замаял теорию относительности, думал, на этом вопрос берегового туалета больше не всплывет. Спрятался в столовой команды, смотрю английские скачки и английский бокс по телевидению.

— Вахтенного помощника к трапу! Нас от берега отрезают! Баржи растащили!

Боже мой! Чьи это светлые, тихие стихи!

Если б кончить с жизнью тяжкой
У родного самовара,
За фарфоровую чашкой,
Тихой смертью от угара...

Ничего мне больше не надо. И даже фарфоровой чашки. Только бы к родному самовару и хорошую порцию угара.

Вечер. Ветер. Холодно. И два буксирчика растаскивают баржи. В плавучем мосту зияет уже огромная дыра. По берегу бегают два наших дисциплинированных, соблюдающих обычаи порта матросика. Проморгали провокацию, не углядели.

Ноги меня почти не держат. Ползу в рубку, включаю наружную трансляцию. Ее на буксирчиках услышат. Хриплю во весь Сорри-док:

— Эй, фулиши! На мини-шипгах! Совсем с ума сошли!

На буксирчиках ноль внимания. Дыра между нами и берегом растет.

Матросики оделись легко — только туда-обратно добежать. Пригорюнились, сели за штабелем досок, спрятались от ветра, а ветер крепчает, между прочим, хотя мы и в центре Лондона.

Вызываю на мостик помполита: Коля, так и так. В экипаже пробита брешь, империализм перешел в открытое наступление. Твое время действовать, принимать решение — ты комиссар. Вдруг на всю ночь мосты развели? Свой вельбот спускать, что ли?

— А кто из наших отрезан?

— Золотые кадры: комсорг и профгруппорг.

— Жуткое дело, — говорит Коля.

И тут я понимаю, в чем суть. Подводной лодке надо пройти в следующий за нами бассейн. Ей расчищают дорогу.

Высоченная рубка, низко и хищно горят отличительные огни, торчит пушечка, замерли матросы в оранжевых спасательных жилетах. Свистки, команды слышны; странные, чужие команды, чужие свистки. Черным силуэтом скользит лодка на фоне огней доков, окон домов, среди желтых отражений огней в черной воде. Распихивает горбатым форштевнем наши доски. Слышно, как они стучатся об нее.

Ну-с, тут, как положено, появляется справочник воен-

ных флотов мира и начинается гадание на кофейной гуще: какого типа лодка и какой у нее силуэт? Авторитеты яростно сталкиваются. Наконец сходимся на том, что силуэт у подлодки старый, Леонардо еще ее выдумал.

Субмарина проходит рядом. Офицеры в белых чехлах на фуражках британскими надменными глазами смотрят вперед с рубки. Британский флаг трепещет на флагштоке. Из люка центрального поста доносится шум дизеля. С моря возвращаются ребята, с дальнего похода. Неизвестно почему, но это мы чувствуем морским чутьем. Домой пришли ребята. К родной стенке Альбион-дока.

Через несколько минут — еще одна.

На берегу, в том месте, где они швартуются, начинается оживление. Вспыхивают фары машин, видны густые толпы людей — встречают. Беру бинокль. Много детишек в чулочках до колен машут подводникам. Черт возьми, и лебеди тут. Тоже встречают, не спят.

Даже и представить себе не можешь, чтобы наша лодка вернулась из похода прямо к набережной Лейтенанта Шмидта, чтобы ее встречали родственники и лебеди.

Мини-шипсы заталкивают баржи обратно в дыру. Комсорг и профгруппорг воссоединяются с экипажем.

Вздremнуть бы.

Завтра мы с чифом поедem за фуражками.

Известно, что моряк без фуражки — казак без лошади. Но лошадь современный казак может достать и на родине, а настоящую морскую фуражку, то есть фуражку высших аэродинамических качеств, не сдуваемую первым встречным ветерком, с «макинтошем» — непромокаемым чехлом, с шерстяным белым чехлом, с козырьком, который защитит глаза и на экваторе (в былые-то времена темных очков не было), — такую фуражку можно купить только в Лондоне.

— И не в самом Лондоне, — сказал чиф. — А в Тилбури. Я там уже покупал, заказывал, вернее. Шьют замечательно. Остается положить на ночь в умывальник, чтобы немного размякла, — и люкс.

И завтра мы поедem в Тилбури. С мыслями о чудесной фуражке я валюсь на диванчик.

Но сон тревожный. Около ноля вскакиваю. Ветер подывает в такелаже за лобовым иллюминатором каюты. Долго смотрю в иллюминатор. Гаки раскачиваются под стрелами, бьются оттяжки. Ветер. И будь я проклят: не меньше восьми баллов уже. Надо посмотреть швартовы.

Все-таки не у стенки мы стоим, а на бочках посередине дока.

Не хочется вылезать.

За пакгаузом светятся еще кое-где окна жилых домов на Ловерроуд. Светятся тем светом, которым просвечивают руки, когда прикуриваешь в темноте рубки. Домашним уютom светятся. Сейчас бы зайти на огонек. Скоро рождество. Скоро англосаксы начнут пудинги варганить и индеек покупать...

Таких безобразных рождественских открыток, как в Англии, я еще нигде не видел. И кошечки с бантиками, и зайчики под елкой, и пугливая лань среди снежного поля у пучка сена в кормушке — забота о животных. И все это щедро залито золотой и серебряной красками, все напечатано выпукло, добротнo. Игрушки под стать открыткам. Рисунки на конфетных коробках под стать и тому и другому.

Но самое уродливое, отвратительное даже — гипсовые дети в натуральную величину, стоящие обычно возле магазинчиков. Девочка на одной ноге с костылем. Слепой мальчик с протянутой рукой. Гипс раскрашен, краска облупилась от дождей и туманов давным-давно. Мертвые лица муляжей — страшнее покойников. В головах — щели.

Это — копилки. Так собирают на слепых, на инвалидных детей. Правда, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь сунул в облупившуюся голову пенс...

Выталкиваю себя на палубу. Вахтенный, слава богу, на месте. Трап поднят, забраться на судно никто не может. В таких случаях у вахтенного большой соблазн улизнуть в тепло.

— Пошли, паренек, веревки посмотрим.

Черные палубы, скользкие, холод, ветер с дождем, так и сдувает к фальшборту. Спит судно. Трутся баржи друг о дружку, скрип, стон. Вода щелкает, хлюпает, сопит между баржами.

Швартовы надраились, конечно, но работают равномерно. А такелаж на стрелах кое-где надо для порядка обтянуть. И мы обтягиваем его вручную — не самое приятное занятие. Но вахтенному полезно проветрить мозги, а я занимаюсь этим не столько от нужды, сколько по какой-то непонятной привычке. И знаю — после такой грубой работы с грязными холодными тросами приятно будет спуститься в каюту, помыть руки горячей водой с содой под названием «ВИМ». Потом покурить у приемника.

В таких маленьких радостях есть какой-то большой смысл. В том, вернее, что на судне начинаешь их замечать и ценить.

В английской литературе всегда привлекал юмор.

И было приятно увидеть его следы на стенке вагона пригородной электрички:

«Вы работаете ради денег. Теперь сделайте работу для себя — положите деньги в Вестминстерский банк!»

Или:

«Улыбайся — и будешь счастливым!»

Так и казалось, что Джером К. Джером еще не умер.

Мы ехали в Тилбури за аэродинамическими фуражками. Чиф отлично знал Лондон. Получилось всего двенадцать пересадок в метро и три на пригородной электричке. При этом мы прокатили за Тилбури лишнюю сотню километров.

Типичные английские пейзажи летели за окном электрички. Ровные полянки, подстриженные деревья. Серый, перламутровый, констебльский колорит. Цветочков не было по зимнему времени. Правда, в центре Лондона я видел цветы на щечках девушек-хиппи. Но ведь еще в четырнадцатом году наша художница Наталия Гончарова рисовала цветы на своем лице. Да еще по синему фону! Хиппи до цветного фона еще не доросли.

В электричке можно курить. А все, что вам захочется, можете кинуть на пол. Если кидать на пол окурки вы не привыкли, то можете расстаться с жизнью. Меня даже начинает подташнивать от пережитого страха, когда я вспоминаю историю с окурком сигареты в пригородной лондонской электричке. Не так уж часто человек проходит со смертью рядом — в сантиметре. Вернее, проносится в сантиметре от смерти.

Сидели мы с чифом друг против друга у правой стороны вагона, если смотреть по ходу. Двери там открываются на обе стороны и никакой автоблокировки нет. Я сидел спиной к движению. И когда докурил сигарету, начал искать для окурка подходящее место. Подумал, приоткрою дверь, выстрелю окурком в щель — и порядок. Надавил ручку, и дверь отшвырнулась встречным потоком воздуха наружу, ударила в стенку, и образовался зияющий провал. Вагон наполнился грохотом, сквозняк завихрил по полу вековой английский мусор.

Надо было, очевидно, дверь закрыть. Вдруг на оста-

новке полисмен захочет узнать, кто и зачем открыл дверь? И может, ее вообще трогать нельзя?

Электричка мчалась сто десять — сто двадцать.

Чиф загородил дверной провал ногой, чтобы я не вылетел вместо окурка за борт. Я высунулся по пояс, дотянулся до дверной ручки и попытался дверь закрыть. Но как только я ее отдираю от стенки вагона, так встречный поток пересиливал мой жалкий бицепс. Дважды я пытаюсь. И наконец плюхнулся на диван, чтобы передохнуть. И в эту секунду мимо промчался встречный поезд. Земли на английских островах мало, расстояние между колеями очень маленькое. Башку мою встречный оторвал бы и расплющил обязательно.

Мы сидели белые, как меловые скалы у Дувра. Потом чиф сказал:

— Вечером во всех газетах был бы твой труп.

И закончил типично морским соображением:

— А мне бы навсегда закрыли визу.

Юмор из меня высквозило начисто. Констебльские пейзажи заболотились. Все стало серым без перламутра. И среди бесконечных болот мне до самого Тилбури мерещились баскервильские собаки, их страшные глаза и пенящиеся морды.

С такими глазами и мордой облаял нас приказчик в единственной фуражечной мастерской — она оказалась закрытой. На билеты потратили мы уйму денег, устали, продрогли.

А когда поймал себя на мысли, что если бы угробился на электричке, то действительно были бы большие неприятности и капитану и чифу, а главное — маме, то стало еще тошнее.

От расстройства пошли вечером пиво пить.

Густо насыщают придоковые улочки бары. Как бы морячину ни шатало и ни швыряло — от тротуара до тротуара, — он все равно и неизбежно угодит в «Георга V», «Якорь» или «Принцессу Джоан». Промах исключен.

Стойка. Молодой упругий бармен, трезвый и в хорошем костюме. Музыкальный автомат. Бутылки, укрепленные вниз горлышком, заткнутые пробкой с краником. Сигареты с оптимистическим названием «Долгая жизнь». Спасательный круг на стене. Азиатский божок, африканская ритуальная маска, бутылка, в которой разваливается модель столетнего парусника, за стеклом в стенной нише — останки морской звезды, ветка коралла, потрескавшиеся от времени открытки из любых закоулков планеты, ра-

ковина. Над дверью штурвал. Электрический камин, в котором трепещет бумажное пламя. Высокие табуреты у стойки и мягкие продавленные старомодные кресла вокруг столика. Три-четыре проститутки — они здесь изо дня в день. Пьяненькие, конечно. Синяки небрежно замазаны штукатуркой и пудрой. Полусвет. Бумажные цветочки заткнуты под рамку портрета основателя заведения.

Никто не будет обращать на тебя внимания, если сам не захочешь. Хочешь быть пустым местом — будь им. Дым от бесконечных сигарет...

И жизнь здесь кажется очень давнишней, в несколько столетий.

Кто считал, сколько тысяч моряков облакачивались на стойку, тупо смотрели в камин, сажали на колени девиц, пили спирт в разных концентрациях и разного цвета, снисходительно ухмылялись на спасательный круг и били друг другу рожи? Откуда только их не приносило к этой стойке и куда не уносило от нее!

Подводники с субмарин, конечно, уже тут. Молодых мало. В возрасте мужчины. Старшины по-нашему. Офицеров нет. Девыцы льнут к ним, обнимают седые головы, теребят орденские планки.

Пожалуй, эти ребята ходили еще в конвоях «русский дымок — и британский дымок!..». Во всяком случае, они помнят: «Был озабочен очень воздушный наш народ, к нам не вернулся ночью с бомбежки самолет... Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...» Пожалуй, улыбнутся, если скажешь: «Джордж из Динки джаза!»

И «Типирери», и «Не плачь, красотка, обо мне! Я надолго уезжаю и, когда вернусь, не знаю, а пока — прощай!». Это «прощай» подхватывала вся рота, когда мы маршировали в баню с кальсонами и полотенцами под мышкой. Мы орали песни союзников и чувствовали себя стчайными. Отрезав по куску от четырех тельняшек, мы шивали пятую. Ее подсовывали старшине — он не мог проверить сто тельняшек за десять минут. Полученная в обмен нормальная тельняшка продавалась на Балтийском вокзале и превращалась в пиво. После бани пиво настоящим мужчинам совершенно необходимо. Прости нас, родина! Но срок давности преступления, вероятно, истек...

Баня воспитывала в нас необходимые морякам качества — быстроту реакции, напористость и глубокоэшелонированную предусмотрительность. Дело в том, что на сто человек бывало не больше шестидесяти шаек. Чтоб

захватить ее, следовало расшнуровать ботинки, развязать тесемки кальсон, рассупонить ремни и расстегнуть шинели еще в строю, на улице, на ходу, на морозе, орать при этом: «Прощай, и друга не забудь! Твой друг уходит в дальний путь! К тебе я постараюсь завернуть — как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь!»

В подворотне строй превращался в стадо шакалов, все неслись к входу в баню и к шкафчикам, срывая с себя одежды, лягаясь и кусаясь. Всякие намеки на союзнические отношения исчезали...

Если можно поссориться с приятелем из-за ржавой, битой, старой шайки, то чего можно ожидать от государств?

Противолодочным зигзагом движутся мысли, когда сидишь за стойкой припортового кабака в туманном Лондоне.

Забрели французские моряки с сухогруза, стоящего в бассейне рядом с нашим. Они, вероятно, не были на судне уже несколько дней — как ошвартовались, так и пошли куролесить. Мы на них без смеха смотреть не могли. Французский теплоход стоял у причала уже третьи сутки, но ходовые огни продолжали на нем гореть. И днем огни горели. Французики доплыли до порта и ушли из него. Все, что происходит на стоянке, их не касается. И как портовые власти им не вправили мозги...

Французики были сильно навеселе. Но это не было российское, тяжело-философское, углубленное подпитие, о котором один наш поэт сказал бессмертные слова: «Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой мироздания» (ударение обязательно на «ы», иначе значительно уменьшается глубина мысли).

Наш пьяница способен всю ночь горевать об отсутствии Учителя, который выслушает и ответит на большие вопросы. А собеседник всю ночь будет доказывать, что дело не в том, чтобы найти Учителя, а в том, чтобы найти того, кто тебя поймет до конца, и так далее. Однажды я много часов подряд слушал разговор о дураках. О том, что об умных, великих, интересных людях и их роли в жизни человечества написаны тысячи книг. А где книга о роли дураков в жизни человечества? Почему книга о выдающемся болване — всегда библиографическая редкость?.. Спорили люди высокообразованные, пили дорогой коньяк, сыпали Платонами и Спинозами, как горохом. И разошлись под утро, тупые, уставшие ломовые лошади... Французики выпивают для веселья.

Сейчас они танцевали с проститутками, бармен отбивал такт ногой, огромная женщина — хозяйка бара — не удержалась, налила себе глоток и тоже задергалась за стойкой под быстрый джаз. Английские подводники сидели, накрыв бокалы тяжелыми, огромными, боцманскими лапами, и спокойно дожидались, когда ангажированные девицы вернутся к ним на колени.

Французики еще поиграли в известную у нас игру «стрелы» — надо метать в мишень стрелу с присоской на конце. И ушли в следующий бар.

А завтра все мы разойдемся по всем морям и океанам. И опять подумалось о том, что так расходились из этих кабачков моряки столетие за столетием. Конечно, было и в наших душах ощущение морячности, приобщенности к всемирному морскому братству, ибо это братство есть. Оно есть у людей всех профессий, цеховое чувство. Кто лучше всех поймет парикмахера? Парикмахер. А тут еще извечный якорь на фуражке, и какая-нибудь корона, и трехлопастный винт на отворотах тужурки...

Полисмен время от времени заглядывает, пошутит с хозяйкой и девицами: как, мол, идут дела? все культурно? Все пока культурно, дела идут ничего, только вот франк упал во Франции, французы на виски раскошеляются с трудом, лакают ром, как малайцы... И как бы франк не зацепил фунт...

Чувство, что Империя превращается в маленькое островное государство, преследует везде, даже в Тауэре. Там живут жирные, черные, огромные вороны. Пока в Тауэре существуют вороны, с Британией будет все в порядке — такова легенда. Клетка открыта. Они топчутся в ней по кругу, как-то странно — вкривь и вкось, запрокинув головы с омерзительными клювами. Смотреть на воронов тянет, как тянет смотреть на покойника, хотя смотреть на него не хочешь.

Сокровища британской короны. Все сделано, чтобы потрясти тебя. Стальные двери толщиной в метр, с рычагами, приводами, сигнализацией. Могучие полисмены на каждом углу. Барьеры узких проходов. «Не фотографировать!» И рядом с объявлением — гирлянды отобранных и засвеченных фотопленок.

Близко от Тауэра на фасаде трехэтажного дома гигантское изображение голый мужской спины, перекрещенной подтяжками. Брюки мужчины находятся в опасной ситуации. Одна подтяжечная пуговица уже вырвана с корнем. Другая пуговица держится на трех нитках. Лопнут

ниточки — произойдет конфуз — мир увидит исподники несчастного мужчины во всей красоте. Надпись огромными буквами: «ПОМОГИТЕ СПАСТИ БРИТАНИЮ!»

Но это не все. Верхняя часть брюк изображает британский государственный флаг. Это ему, Джеку, предстоит соскользнуть с ягодиц, открыв миру исподники Джона Буля.

Достаточно грустное украшение центра Лондона. Но вызывает уважение беспощадность к себе. Трудно представить другой народ, способный на подобные шутки.

А еще недавно Киплинг писал и британцы повторяли за ним, вздрагивая от гордости:

Роса этот флаг целовала,
Туман его прятал густой,
В краю полуночных созвездий
Он неся попутной звездой!
Флаг Англии! Ветра дыханье
Навстречу бросается Вам...

За точность перевода не ручаюсь, цитирую по памяти еще курсантских времен.

Английские субмарины закончили стоянку раньше нас. Опять катера растащили баржи.

Был день, ветра дыханье бросалось навстречу британским военно-морским флагам на подлодках.

Любое гражданское судно приветствует военно-морской флаг государства, с которым существуют дипломатические отношения, приспуская свой.

Я стоял на мостике со свистком в зубах, вахтенный матрос занял позицию у флага и распутал фал.

Рубка первой субмарины поравнялась с нашей. Группа офицеров-подводников оказалась ниже меня. Я видел их с птичьего полета, весь их узкий и тесный мостик, плечи перископов и дыру люка в центральный пост.

Свисток был отличный — настоящий английский штурманский свисток — подарок старпома. До получения подарка я использовал в торжественных случаях затычку-свистульку спасательного жилета.

Воздуха я не пожалел. Мой свист соколом пронзил серенькую дымку над Суррей-Коммершел-доком. Матрос в корме с отменной четкостью приспустил флаг.

Английские матросы приспустили свой. Они уже давно видели наши приготовления, но запутались с фалом. Офицеры-подводники взяли под козырек, глядя вверх, на меня. Я опять вспомнил свое военное, чуточку подводное прошлое и, поколебавшись, взял под козырек штатской ры-

жей кепи. Хорошая флотская фуражка была бы здесь более к месту.

У английских офицеров был несколько смущенный вид. Дело в том, что лодку буксир тащил кормой вперед. Не очень грозно выглядит субмарина в такой паршивой позиции. Но мы обязаны были приветствовать британский флаг. У британского флага нет передела и зада — он одинаков со всех сторон.

Прошли положенные мгновения, и я свистнул два коротких. Наш флаг поднялся до места. И английский сделал то же самое.

Между мною и британскими подводниками на рубке лодки было метров пять. Командир — маленький, рыжебородый, суровый — опустил руку от огромного козырька и негромко, но отчетливо сказал по-русски:

— До свиданья!

— Гуд бай! — сказал я, слегка обалдев, так как обмен словесными любезностями не входит в ритуал морских встреч и прощаний. — Счастливого плавания! — добавил я еще от всей души.

— Благодарю! Спасибо! — ответил он старательно, как на занятиях по русскому языку в их военно-морском колледже. Он был натовским офицером. Офицерам флота положено учить язык возможного противника.

Так мы поговорили и расстались, довольные друг другом.

Лебеди провожали лодку до расширения в бассейне. Потом буксиры раскантовали ее носом на шлюз, и она пошла в ворота своим ходом. Тихий стук ее дизеля хорошо был слышен среди серого покоя доковой воды.

Ну их к дьяволу, эти подводные лодки. Какое счастье, что судьба пронесла мимо. Разве можно открытый ветрам мостик сравнить с окуляром перископа, духотой, сыростью отпотевших торпед и запахом электролита в аккумуляторных ямах...

На двадцатиметровой глубине подо мной, в пустом уже трюме, матросы играли в футбол, вместо того чтобы убирать древесный мусор. Они носились в желтом свете трюмных люстр. Гулко звучали удары по мячу. Английское изобретение «ножной мяч» мешало матросам сосредоточиться на уборке мусора.

К судну шел стивидор-пьяница, бывший командос. Я давно заметил, что в конце выгрузки или погрузки не испытываю желания видеть партнеров по работе — приемщиков или отправителей груза. Мне всегда кажется, что

у них торжествующие рожи, что они в чем-нибудь меня надули, провели. И я теряю юмор, забываю великое высказывание-эпитафию англичанина Джона Гея — автора «Оперы нищих» — на его могиле в Вестминстерском аббатстве: «Жизнь — только шутка, все это подтверждает, прежде я об этом догадывался, сейчас я знаю это наверняка».

Из «Пояснительной записки к рейсу № 9 порт Лондон — порт Ленинград»: «Рейс № 9 начался после выгрузки в п. Лондон пиломатериалов. По плану Пароходства судно обязано было вернуться в п. Ленинград до появления серьезного льда в Финском заливе. Готового груза в п. Лондон для судна не было, предварительный карго-план отсутствовал, не было и предварительных погрузочных ордеров. До самого момента подписания отходных документов не было известно даже количество коносаментов. Зачастую груз, после подыскания его агентом, доставлялся к борту без складирования — прямо с автомашин на грузовые площадки. Администрации судна было известно только приблизительное общее весовое количество груза — 1200 тонн. Для избежания больших затрат на раскрепление такого мизерного количества груза в огромных трюмах было принято решение раскреплять груз грузом. Между тяжеловесными ящиками «Машинимпорт» и «Станкоимпорт» укладывались мешки целлюлозы и ящики с фильтровальной бумагой и искусственным волокном — вискозой...»

Из «Акта ведомственного расследования»: «По окончании выгрузки в п. Ленинград установлено следующее:

1. Недостача пряжи вискозной — 6 (шесть) мест.
2. Недостача обуви модельной женской из ящика № 9328 — 4 (четыре) пары.

Администрацией судна были предприняты следующие меры для ограждения интересов перевозчика: для контроля счета и качества товара при погрузке в п. Лондон из числа опытных матросов были выделены тальмана, предварительно тщательно проинструктированные вторым помощником Конецким В. В. согласно приказа ММФ № 272 о счете груза при перевозках на импорт.

Трудность работы судовой администрации и тальманов обуславливалась тем, что товар подвозился к борту в уже уложенном на погрузочные площадки состоянии и с разным счетом мест на каждой площадке. Лондонские таль-

мана («по обычаю порта») сличать тальманки с судовыми тальманами отказались, равно как и подписывать их. Между тальманами неоднократно возникали споры по количеству груза и качеству его упаковки.

Администрация судна была вынуждена неоднократно останавливать погрузку, сняла с борта и вычеркнула из погрузордеров три места, как не отвечающие требованию качественной упаковки. Одновременно грузоотправителю было заявлено о наличии «в споре» семнадцати мест. После энергичных протестов часть оспоренных грузов была довезена, а у значительной части коносаментов и в манифесте были сделаны оговорки о некачественной упаковке.

Погрузка ценного груза — обуви модельной — производилась при непосредственном присутствии второго помощника в трюме. Выгрузка обуви производилась также при непосредственном присутствии второго помощника в трюме за счет судового тальмана. После обнаружения дефектного ящика («с доступом к содержимому») немедленно были вызваны на судно представитель таможни и уголовного розыска. Сам дефектный ящик находился внутри штабеля.

Ввиду того, что счет груза в п. Лондон, несмотря на трудности, был организован правильно, считаю нехватку шести мест вискозного волокна происшедшей по вине отправителя. Уверен, что число выгруженных мест будет подтверждено фирмой после окончательного пересчета груза на складе.

По недостатке четырех пар обуви считаю ее происшедшей из-за невложения отправителем. Частичную вину возлагаю на второго помощника Конецкого В. В., который в ночное время оставил груз в трюме «под парашютом», чем дал основание Лен. порту предполагать возможность хищения...»

ЛЕНИНГРАД—ГИБРАЛТАР

09.12.68

Из Ленинграда снялись под вечер. И сразу пятибалльный ветер в левый борт при минус восьми градусах превратил судно в ледяную сказку.

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт,

Палубный караван — тысячи осиновых бревен — смерзся, верхний слой льда повторяет веерный рисунок брызг. Такелаж, рангоут, антенны обросли сверкающими сосульками. Крен на правый борт шесть градусов. Осадка увеличилась. Капитан послал замерить новое углубление штевней.

Черта с два засечешь осадку в открытом море, на волне, болтаясь, привязанный, конечно, на штурмтрапе под кормой. Но точности особой не требовалось. Надо было записать в журнал новую осадку, чтобы иметь право идти в Северное море не Зундом, а Бельтами. Не любят нынче капитаны Зунд с его Дрогденским каналом.

Матросы рубят лед со стрел, такелажа. Представьте себе дровяной склад, который затопило, а потом он замерз.

Глядишь на судно — и вспоминаются времена, когда в Ленинграде проблема дров мучила людей уже с весны. Вспоминаешь жакты, очереди за талонами, охоту за «левыми» машинами или возчиками, несчастных лошадей, волокущих телеги с дровами, ссоры из-за березы, сосны, осины; пилку и колку по воскресеньям, взломанные замки сараев...

Привела судьба — везу 5111 тонн осины в Италию. Там она в бумагу превратится. Где-нибудь в Неаполе итальянец будет сидеть и читать газету. Разве придет ему в голову, что газета на ледяной бумаге напечатана, что где-то в России росла осина, волны Финского залива замерзали на осиновых бревнах и матросы тыкали пешнями среди солнечного блистания льда...

12.12.68

Сказочные алые паруса, которые ждала Ассоль, несколько веков назад были обычными. Паруса старинных кораблей делались из алой или ярко-синей шерсти. Яркие краски помогали мореходам подбодрить себя, рассеять уныние серого моря и льдов, вселить во врагов страх.

И когда сейчас пересекаешь Северное море, видишь много маленьких рыбаков-частников. Их парусно-моторные суденышки раскрашены так же ярко, как ладьи предков. И паруса часто алые. Они хранят традиции и веселят себя красками чистого заката.

Лед на палубах все не тает. Крен остается пять градусов.

В этом рейсе новый начальник рации — Людмила Ива-

новна, пожилая полная женщина маленького роста. Отплавала всю жизнь, но похожа на сельскую учительницу. В свободное время сидит в каюте и вяжет внуку костюмчик. Или вырезает из пенопласта зверушек. У меня в каюте уже висит белочка, сердитый дельфин и нечто вроде бегемота. Все они висят на одной нитке, друг над другом. Покачиваются и покручиваются в разные стороны. И напоминают мне бременских музыкантов.

На дневной вахте мелькнул над мачтами самолет — низко, ниже тяжелой облачности. Серый декабрь в Северном море.

В рубку пришла, переваливаясь уточкой, Людмила Ивановна и сказала:

— Это по вашей части, мальчики, — и положила на штурманский стол радиограмму: «SOS Гельголанд 290 градусов 15 миль погиб самолет летчик выкинулся парашютом всем судам просьба следить за морем».

— Кто дает?

— Гансы.

Нам далеко до Гельгоlanda и до летчика, который барахтается сейчас в Северном море.

После вахты мы с Людмилой Ивановной пьем чай. Вернее, Людмила Ивановна уютно, по-домашнему, вприкуску пьет чай, а я ем курицу с рисом. В обед курица не лезла в глотку, и буфетчица Марина оставила мне ее к чаю.

Мы с Людмилой Ивановной говорим о том, что видимость отвратительная и у немца мало шансов на спасение.

14.12.68

Прошли траверз Булони под английским берегом. Конечно, вспомнился «Воровский» и то, как мы здесь брали соль и дрожжи.

«Теплоход «Невалес»! Я «Воровский»! Сообщите ваши запасы соли».

«Имею на борту две тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?»

«Срочно нуждаемся поваренной соли».

«Повторите!»

«Срочно нуждаемся столовой соли!»

«Какой у вас груз?»

«Имеем на борту триста двадцать пассажиров».

«Протухли они у вас, что ли?»

«Почему протухли?»

«Зачем вы собираетесь их солить?..»

«Штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать...»

Прилетели птички. Две маленькие прыгают на крыльце мостика, чирикают. Потеплело, пояснело в воздухе. Четкий клин перелетных птиц в голубом небе строго на юг. Четыре разгильдяя болтаются в стороне от клина. И боязно, что разгильдяи отстанут от своих, потеряются.

Птицы пересекут Европу по диагонали, а мы обогнем вокруг. И встретимся в Средиземном море. Приятно видеть птичек, клюющих что-то в осиновых бревнах на палубе перед рубкой.

Только близость Лондона портит настроение. Так и видишь мерзкую погрузку, крюки докеров, рвущие мешки и вспарывающие фанеру ящиков.

Прошли Гастингс, Брайтон, Истборн.

Ночью над Ла-Маншем падало много метеоритов. Но сторали быстро, я не успевал загадывать желания даже из одного слова.

Мой рулевой матрос имеет твердую фамилию — Стародубцев. Ему тридцать пять. Сейчас редко встречаешь матросов за тридцать. Служил на подлодках. Внешность неприметная — взгляд в сторону, поношенное крестьянское лицо, негромкая речь с паузами. Каким-то чудом в памяти осталось, что Лжепетра, самозванца, выдававшего себя за царевича Петра Петровича, драгуна Нарвского полка, замутившего народ, беглеца от службы на реку Бузулук, звали Ларион Стародубцев.

— Ваня, — спросил я вахтенного матроса в Ла-Манше под метеоритным градом. — Не отрубили ли голову одному твоему предку, не сажали ли его буйную голову на кол, не жгли ли труп на площади? Не били ли нещадно кнутами его дружков, не рвали ли им ноздри, не отправляли ли в Сибирь на вечные работы?

Ваня взял и обиделся. И мои ссылки на большую историю не сразу помогли ему забыть обиду. А фамилия редкая, и вполне может быть, что в его жилах течет кровь Лжепетра.

В середине ноября Земля проходит метеоритный поток, который называется «Леониды». Хвост потока достался нам с Ваней.

— Никогда не видел, чтобы падало так много кирпи-

чей сразу, — сказал Стародубцев в крошечной тьме ходовой рубки. Куски когда-то рассыпавшейся планеты косо чертили небеса, вываливаясь из центра Ориона.

В половине четвертого ночи заглянула в стекло левой двери Людмила Ивановна, постучала. Волосы старой радистки металась за стеклом в привиденческом отблеске бортового огня. Она хотела узнать, не забыли ли мы разбудить подвахтенного радиста.

Когда Людмила Ивановна ушла, Ваня пробормотал: — А я испугался. Смотрю — в стекло медведь лезет. Откуда, думаю, здесь медведь? Забыл, что эта тетка с нами плывет...

Людмила Ивановна переживает. Скоро Новый год, а поздравительные радиogramмы ей не несут. Стараются сдать их второму радисту, к которому уже привыкли. А Людмилы Ивановны стесняются. К радистам, как и к докторам, надо привыкать, потому что они знают про тебя многое интимное, личное.

Манера рассказывать у Вани Стародубцева такая. Ночь. Плюханье волн. Тьма. Молчание: Зудит репитер компаса. Вдруг:

— Фамилия его была Крыс. Не верите?

— Ну.

— И его все время кусали крысы. Не верите?

— Ну.

— И в учебном отряде кусали, и на подлодке. Не верите?

— Не верю. На лодках нет крыс.

— А у нас была. Она ушки лапами терла, когда испытание на вакуум делали. Сам видел. Не верите?

17.12.68

Выходя из Английского канала в толчее всевозможных попутных и встречных судов, воистину вдруг ощущаешь себя частицей великого братства народов. Особенно ощущаешь это ночью, когда ходовые огни судов качаются и окружают тебя со всех сторон, а самих судов не видишь.

И не знаешь, какого цвета люди плывут вокруг тебя. Но все держат приблизительно одинаковый курс по одинаковым компасам и одинаково качаются на одинаковых волнах зыби под одинаковыми для всех звездами, и одинаково шипит пена на усах под форштевнем.

А утром вдруг уже не увидишь никого вокруг. Все по-

бтели своим путем. Широкий простор морской — суда те-
ряются в нем.

На этот раз Бискай потрянул стариной и нами вместе
с ней.

Третьи сутки шторм от девяти до одиннадцати баллов.
Бултыхаемся уже в центре западноевропейской кот-
ловины. Все отворачиваем и отворачиваем в океан, в сто-
рону от нужного курса, от Гибралтара. Ход малый, при-
нимаем волну в крутой байдевинд. По существу, третьи
сутки стоим на месте.

Срезало две стойки в корме, завалило бревнами вход
под полубак. Бревна крутятся в водоворотах прямо под
окнами ходовой рубки. Со стоек сорвало кору, лохмотья
коры стелются, стреляют под ветром. Волна очень круп-
ная. Про такие говорят: «выше родного сельсовета». Ста-
рик наш ухаает. Отвык он от такой погоды, да и возраст
давит его.

Ночью типичный, стандартный ад. Зеленые сполохи,
зарницы по всему горизонту, залпы и раскаты грома, град,
шквалы с дождем, полосы тумана, давление упало до 730,
брызги забивают стекла и ничего не видно впереди, кре-
ны до тридцати градусов, радиопеленга не проходят —
места нет. Самое загадочное, что караван еще на палубе,
что осина еще не улетела в Бискай.

Действие непреодолимой силы на морском юридиче-
ском языке называется «форсмажорными обстоятельством». Хорошее слово «форсмажор». И того и другого пол-
ным-полно вокруг.

В столовой упрямо крутим многосерийный «Щит
и меч». Посмотрели еще грузинский фильм «Нарцисс».

Очередная ночная вахта. За четыре часа проглядишь
в черном мокром хаосе порядочную дырку и потом лю-
бусься в зеркало на синие круги под глазами — от би-
нокля. Сколько у меня еще впереди ночных вахт?

Шторм и не думает стихать. Начинает мерещиться
какая-то чертовщина впереди. И вдруг Стародубцев:

— Викторич, огонь!

И плохой огонь — белый с правого борта.

Вот и красный отличительный прорезался.

Мне отворачивать надо, дорогу уступать. А куда отво-
рачиваться? Вправо я не могу — ветер туда не пустит, даже
если полный ход врубать. Влево — лагом к волне, водопад
через палубу, караван в океан, а то и мы кувырнемся.

Зарницы, зеленые от зарниц полосы пены на волнах.
И кровавым глазом огонь, пеленг на который не меняет-

ся. Обычный, вообще-то, случай, а так и тянет помолиться: «Господи, пронеси!» Не могу я отворачивать, не могу совсем застопорить ход, не могу прибавить. Ничего не могу. Ровно два часа ночи 17.12.1968. Молюсь, но не богу, а тому штурману, который идет мне на пересечку. Милый, молюсь я, ты же не слепой, тебе же по ветру отвернуть; это же раз плюнуть, возьми мне под корму, и дело в шляпе; выкинь из башки свое право на дорогу, пропусти меня вперед, милый, дорогой, дубина...

В таких случаях можно не только молиться. Можно включить радиотелефон, выйти на шестнадцатом канале в эфир, заорать: «Я советский теплоход «Челюскинец»! Встречное судно! Встречное судно! Прошу уступить мне дорогу!» Но сколько шансов на то, что встречное слушает тебя на шестнадцатом? И если слушает, то поймет? Ты же не знаешь его национальности. Ночью нет национальностей у судов, есть только огни...

Кто ты, неизвестный штурман, подвернувший мне под корму? Прими мое спасибо! Я вздохнул полными легкими, увидев твой зеленый огонь. И мы разошлись правыми бортами среди величественных зыбей, а под нами было четыре километра и еще восемьсот метров воды.

Когда минует опасность, испытываешь легкость. Песню орешь или стихи бормочешь. Но поэтический настрой моих чувств быстро улетучился.

— Впереди Фантомас! — доложил Валя Стародубцев.

И действительно — по носу призрачный, непонятный свет. Пробьется сквозь брызги, залучится — и опять тьма. Впору за телеграф хвататься и полный назад давать. Выскакиваю на крыло, шарю биноклем в брызгах и тьме. Грохот, вопли, стоны, как будто Фантомасу зажали дверью пальцы на руках...

Свет у нас под полубаком!

Людей там нет уже трое суток. И ни один сумасшедший в нос не пройдет сквозь водовороты, и бревна, и тьму. А кто же повернул выключатель под полубаком?

Бревна его повернули, звезданула осинка по выключателю или кабель расплющила и теперь коротит. Хорошего мало. Под полубаком — малярка, огнеопасное место. Звоню в машину, чтобы вырубил электроснабжение в нос.

Людмила Ивановна приносит прогноз. Обещают ослабление ветра.

Людмиле Ивановне скучно одной в радиорубке. Проходимость отвратительная, связи практически нет, прогноз едва приняла.

Радистка заклинивается возле меня. Все вокруг задраено, разговаривать можно почти нормальным голосом.

— Вы где в войну были? — спрашиваю я, чтобы спросить что-нибудь.

— На мели.

Я уже знал, что юмора она не признает и не употребляет.

— Страшно?

— Я никогда и ничего в море не боялась и не боюсь, — говорит Людмила Ивановна. — Потому что ничего в море не понимаю. И понимать не хочу. Помню, шли норвежскими шхерами — солнышко, тишина. Я на кормовом люке загорала. И вот на повороте наша корма впритык к огромной скале прошла. За скалой островок симпатичный — сосны растут, камнями теплыми пахнет. Вот, думаю, тут бы пионерлагерь построить. Раздолье бы детишкам было... А вахтенный штурман при том повороте поседел. Если бы я что в море понимала, так, может, тогда тоже си-вой стала.

— А где вы на мели сидели?

— Как раз двадцать второго июня и сели. Шли из Архангельска на Нарьян-Мар. Картошку везли, бензин в бочках, лук. Напротив Колгуева сели. Старпом посадил. Ему срок дали и в штрафбат услали, а мы на мели остались. Месяц сидим, второй сидим, третий... Катерок там застал. Обвяжут бочки с бензином веревками и тянут катерком куда-то. А у нас крен двадцать восемь градусов. Так и зазимовали. Немцы к Москве подходят, а мы на боку во льду лежим, камельки топим в каютах — уютно.

Я одна женщина была. Капитана нового прислали — архангельского трескоеда, опытного зимовщика. С ним боцман повздорил, так он его в штрафбат упек. Строгий капитан. Набили мы картошкой прачечную и ели всю зиму. Та, что в трюмах, померзла, конечно. Ненцы по льду на оленях приезжали, спирт был. А на твиндеках в первом номере взрывчатка была, сколько тонн, уж не знаю. Нам до этой взрывчатки сперва как до лампочки было. А год прошел, море очистилось — и немцы приплыли, подводная лодка. Она как жажнет по нас из пушки! Тут-то и вспомнили мы про взрывчатку. Буксир военный рядом стоял — нас пытался с мели вымывать. На буксире пушка была, и она жажнула по лодке. Лодка ушла и полярную станцию разгромила, — я потом видела. И ужасная еще трагедия случилась. Катерок, который бензин волок,

от немецкой лодки свою порцию тоже получил. Капитанский сапог только и подобрали с воды. И шинелишку. А шинелишка девчухи была, молоденькая девчуха — радистка на катере.

А одно хорошее даже получилось. Это я точно знаю. Картошку мы для Нарьян-Мара на весь год везли и не довели. Ничего Нарьян-Мару не оставалось, как попробовать весной самим сажать. И теперь там картошка растет, а ученые считали, что холодно для картошки...

Наконец вывернулись и пошли на Гибралтар.

Теперь надо определиться по португальским маякам. Сплошные Санта-Марии, Сант-Яго, Санта-Кармен...

Санта-Мария вспыхивает долгим томительным огнем, потом он медленно затухает, превращается в тлеющую точку в слабом ореоле — это шторм поднял в воздух мириады частиц воды, они и светятся. И опять вспыхивает Санта-Мария.

Так звали флагманскую каравеллу Колумба. Говорят, ее нашли возле Гаити. Нашел олимпийский чемпион по плаванию. От этих берегов отваливал Колумб и сюда возвращался, и тогда на палубе орали дикими голосами самодетельную песню:

Все выше, выше, выше,
На мачту лезь, матрос!
Не видно ль португальских,
Испанских берегов?
О капитан, я вижу,
Будь, капитан, готов!
Дошли до португальских,
Испанских берегов!

В самом узком месте Гибралтарского пролива встречаются течения, обозначающие себя зелеными и синими струями. Струи сталкиваются и переплетаются. И ветры над проливом, кажется, покровительствуют каждый своему течению, своей струе; и дуют то в лицо, то в затылок. И тоже сталкиваются, переплетаются и завихряются.

Белые гребешки сулойных волн, белые чайки над ними, поджавшие лапки к хвостам. И уйма дельфинов, шастающих из Средиземного моря в Атлантический океан и обратно.

Танжер в дымке. Развалины башен, белые дома. Африка.

Видение Африки.

На европейском берегу, над Гибралтаром заметен как

бы слип, огромный пологий скат — склон горы, обтесанный и, очевидно, зацементированный. Он служит для сбора дождевой воды.

Чей-то авианосец торчит под берегом. Самолеты чайками плюхаются и взлетают над ним.

В прорези пеленгатора плывет мыс Европы. И все время почему-то тянет записать в судовой журнал: «Мисс Европа».

Когда огибаешь самую западную точку нашего континента, кажется, будто видишь его весь со стороны, как бы в профиль. И очень ощущается в Европе какая-то женственность, женское начало. Быть может, потому, что многие годы я не знал, что Европа, которую похитил Зевс, превратившись в белоснежного, симпатичного лукавого быка, не наша Европа, а всего-навсего красавица, дочь сидонского царя. Тезки навсегда спутались в моем воображении. Испуганная девушка, сидящая на спине могучего быка среди голубого моря...

Нашему теплоходу было тридцать три года. Но в паромстве проходила кампания по определению маневренных элементов судов. Вообще-то говоря, у всех судов эти элементы должны быть определены еще при рождении. И всем судоводителям положено их знать, как таблицу умножения. Но, очевидно, где-то что-то случилось. Какая-нибудь авария произошла из-за неточности определения маневренных элементов. И вот пришел приказ всем определить эти элементы снова.

Если кораблики, встречаясь на морских дорогах или в портах, разговаривают между собой, перемывают косточки своим капитанам, жалуются на плохой уход или хвастаются красной трубой (а я уверен, что так происходит, как уверен, что так бывает и у лошадей), то над Средиземным морем грохотал неслышимый для наших ушей издевательский смех.

Приказ есть приказ. И мы девять часов определяли определенные уже тысячу раз у «Челюскинца» диаметр циркуляции и величину инерции — сколько, например, пройдет судно, если с «полного вперед» дать «полный назад» до полной остановки?

Встречные и попутные кораблики, разглядывая судорожные броски, прыжки и остановки старика «Челюскинца», крутили у своих лбов пальцем и сочувствовали старику или покатывались со смеху.

Смысла в наших манипуляциях было столько же, сколько в тщательном определении ширины шага у старого мерина, которого ведут на живодерню.

За девять часов мы потеряли сто ходовых миль. Дорого это нам потом обошлось. Штиль в море надо ценить и использовать. А Средиземное море сразу за Гибралтаром баловало нас мертвым штилем. Пожалуй, я видел такую неподвижную, прозрачную, как стекло телескопа, воду первый раз в жизни.

Чтобы придать хоть какой-нибудь смысл определению маневренных элементов, капитан сыграл шлюпочную тревогу.

И я надолго запомню миражное отражение легких облачков в лазурной неподвижной воде, перевернутый мачтами вниз «Челюскинец», с палуб которого каким-то чудом не сыпалась в глубины Средиземного моря осина, дымок из его трубы, касающийся отраженных в воде облаков, и морскую тишину вокруг вельбота, когда мы отошли от судна и заглушили мотор.

Ночная вахта была спокойная, видимость отличная, берега давно скрылись. Я несколько раз пытался определиться по радиомаякам. Алжир и Оран было слышно, но пеленга «вело». Сигналы радиомаяков оплывали и тонули в потоке джазов, чужих слов, женского эстрадного смеха. И мне никак было не отстроиться от помех. Мир эфира шумел предпразднично — на Европу надвигалось рождество Христово.

На курсе, прямо по носу, где поднималась из моря молодая луна, лежала древняя земля. Там родился Христос. Или родило его человеческое воображение.

— Алжирский пленник... — бормотал я, пытаюсь нащупать минимум радиомаяка Алжир. Опять детская книжка — на красном переплете узник с черными цепями на руках и ногах — Мигель Сервантес...

За веру в Христа молодой Мигель четыреста лет назад сражался здесь у мыса Лепанто, на борту галеры «Маркеса». Мало кто знает, что автор «Дон-Кихота» был не только солдатом, но и моряком.

Сервантес болел лихорадкой, но сражался «перед шлюпками» — в середине корабля, в самом опасном месте. «Маркеса» атаковала флагманскую галеру оттоманского флота и заставила ее спустить флаг.

Сервантес получил три огнестрельные раны.

Он писал потом: «Одною рукой сжимал я шпагу, из другой текла у меня кровь. В груди я ощущал глубокую рану, а левая рука моя была раздроблена на тысячу осколков. Но душа моя так ликовала от победы христиан над неверными, что я не замечал своих ран, хотя смертная мука перехватывала мне дух и временами я терял сознание...»

Христианской эскадрой тогда командовал итальянский адмирал Андреа Дориа.

Тринадцать лет назад у берегов Америки, у острова Нантакет, где зеленые волны слышали когда-то отчаянную песню мелвилловских друзей-китобоев «Веселей, молодцы, подналяжем — эхой!» и где рвется сейчас из динамиков наших траулеров «Соленые волны, соленые льды!», произошла крупнейшая морская катастрофа века — утонул итальянский лайнер «Андреа Дориа».

Я был на могиле лайнера. Ее глубина шестьдесят метров...

А Средиземное море можно назвать братской могилой — самой большой на планете. Тысячелетиями убивали здесь люди друг друга. Миллионы трупов опустились на грунт.

Быть может, там, на грунте, под килем моего судна, сидел в кабине своего безоружного самолета и Антуан Экзюпери. И рыбы тыкались в плексиглас его кабины. И ровный шум нашего винта доходил туда, в глубину, в вечность, к автору сказки о Маленьком принце.

Доктор Мунте, автор «Легенды о Сан-Микеле», кажется мне одним из самых чистых поэтов, писавших о Средиземном море. Но он все время помнил о смерти. Есть в Средиземном море нечто, соединяющее радость жизни с вечным мраком, витающим вокруг этой радости. Ночь и утро.

Здесь Мопассан расспрашивал доктора Мунте о смерти в море.

Тот сказал, что, насколько может судить, без спасательного пояса такая смерть сравнительно легка, но со спасательным поясом, пожалуй, самая страшная. И Мопассан усталый расширившимися глазами на спасательные круги своей шикарной яхты «Милый друг». И решил было выкинуть за борт все круги до одного. Но не выкинул... Вообще-то он мечтал умереть в объятиях красивой женщины, а умер в сумасшедшем доме.

«Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня в конце концов слишком надоела мне...

Впрочем, не только она внушила мне неодолимое желание пожить несколько времени одному...»

Первая глава «Бродячей жизни» Мопассана называется «Хандра». От пошлости он бежал в Средиземное море на яхте, он бежал в мифы, легенды, сказания, в притчи и в одиночество,

ХАНДРА

(Первый рассказ Геннадия Петровича М.)

Когда-то в Архангельске перед уходом в Арктику на сухогрузном речном кораблике я сошел на берег, чтобы попрощаться с ним. И читал в сквере газеты, и попивал легкое винцо, и спрятался от дождика в садовой сторожке.

Свое сидение в будке я почему-то зафиксировал на бумаге и потом вставил в путевые очерки. Они были напечатаны в журнале. Не могу сказать, что кот, кусающий только для вида астру, ловкие воробьи и незнакомый мне мужчина, который носил папиросы в нагрудном кармане пиджака, и разговаривал с воробьями, и беспокоился о пуговице незнакомой ему женщины, вызвали восторг читателей. Однако нет ничего на свете, что не имело бы продолжения.

Года два спустя я получил пакет из института, носящего имя великого русского психиатра. Честно говоря, я не торопился вскрывать пакет, потому что уже получал письма, в которых содержались прозрачные намеки на состояние моей психики. Один доброжелатель, например, подсчитал, сколько раз я в одной повести употребил слова «красные пронзительные огоньки». И пришел к выводу, что я, как и Гаршин с его красным цветком, кончу в пролете лестницы. Соврет тот, кто скажет, будто ему приятно получать такие предсказания.

В пакете оказались письмо и рукопись.

Письмо написал мне врач-психиатр. Он длительное время лечил Геннадия Петровича М. Рукопись принадлежала ему. Геннадий Петрович страдал манией одиночества. Он был уверен, что находится внутри большой рыбы, кита или кашалота, — как пророк Иона.

Честно говоря, до этого письма я знал о пророке Ионе только то, что прочитал о нем у Мелвилла. Автор «Моби

Дика» относился к пророку с юмором. Он отказывался верить в то, что Иона сидел в брюхе живого кита. В крайнем случае Мелвилл помещал Иону в китовую пасть. Но в брюхе мертвого кита пророк, по мнению главного китового специалиста, сидеть мог, «подобно тому, как французские солдаты во время русской кампании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо». Так писал Мелвилл.

Первопричиной душевной болезни Геннадия Петровича были травмы, полученные в автомобильной катастрофе. Врач сообщил, что Геннадий Петрович хранил вырезанные из журнала страницы с моим очерком, и сообщил, что мужчина в архангельском сквере — он. Потому врач послал его рукопись мне.

Геннадий Петрович был инженером, специалистом по автоматизации каких-то процессов в радиотехнической промышленности. Пробовать писать он начал в травматологической больнице, где после аварии провел около года. Очевидно, понимал, что возвратиться к нормальной работе он уже никогда не сможет, и искал новое занятие для себя. Во всяком случае, не тщеславное желание возбудить участие или удивление или увековечиться в памяти потомков водило его рукой.

Соблазн отождествлять автора с литературным образом, особенно если рассказ ведется от первого лица, бытует в читающей публике уже давно, с тех пор, как эта публика появилась. И необходимо подчеркнуть, что, хотя рукопись Геннадия Петровича не может не носить следов моего пера, отношусь я к Геннадию Петровичу, как Лермонтов к Печорину — бог меня прости за такие параллели!

Истинный автор умер седьмого сентября шестьдесят шестого года. Название я сохраняю авторское: «Хандра».

«Деревянный двухэтажный дом стоял в снегу, среди старых елей. В легких летних верандах окна были синими от мороза.

Мне дали светлую, теплую комнату. И это было хорошо. А особенно хорошо было то, что комната квадратная. Мне нужна симметрия.

До обеда оставалось еще часа два, и я пошел прогуляться.

Палал снег. Ветра в лесу не было. Высоченные старые ели ловили снежинки складками коры, ветками, каждой хвоинкой. И все стало белым, обвисло, опустило плечи под тяжестью снега. И вдруг какая-нибудь ветка вздра-

гивала, снег падал с нее, ветка радостно взмахивала над угнетенными подругами. И казалось, взлетела большая птица.

Однажды я услышал в лесной тиши гитарный звон, долгий-долгий. И не сразу понял, что это упавшая с дерева льдинка задела где-то провода.

С детства я боюсь леса, хотя люблю каждый лист, травинку, ягодку и муравья. Не заблудиться боюсь, или нападения, или страшного зверя. А ощущаю лес живым единым организмом, с разумом. И лес смотрит на меня неодобрительно, потому что я глубоко чужд ему. Он дышит и шевелится не в такт с моим дыханием и движениями. Между тем говорят, что подружиться со зверем может только тот дрессировщик, который дышит со зверем в такт.

Слишком я занят собой в лесу. Он обостряет чувства, и я быстро устаю от их интенсивности. И от количества мыслей, мелькающих без системы и плана. Это даже не мысли, а обрывки мыслей, мечтаний, воображений, воспоминаний. И неожиданные, точные догадки, даже озарения, связанные с работой. Все это беспорядочно и густо замешано.

Я слишком становлюсь самим собой. И поворачиваю, укоряя себя за неумение быть с природой внутри нее, неумение обойтись без людей и книг, от которых ушел с удовольствием. И знаешь: пробудь в лесу дольше, и важные, точные решения, связанные с жизнью и работой, озарят. Но поворачиваешь к обжитому, к людям.

Никто без важного дела не надоедает действительно замкнутым, молчаливым личностям. А ко мне, даже если я настойчиво отстраняюсь, люди пристают. Они чувствуют мою зависимость от них. Я срываюсь на грубость и нападаю врагов, а это утомительно. Я не люблю иметь врагов, я не Дон-Кихот и не Лермонтов.

В тот раз я не повернул обратно. Мне после травмы следовало дышать свежим воздухом, надо было заботиться о физическом состоянии организма. От слов «организм», «симпознум» меня начинает мутить. Но я заставил себя думать о здоровье и в одиночестве пошел дальше по зимнему лесу. Это было смешно, потому что уже в юности мне стало казаться, будто я стар и неизлечимо болен и никакой свежий воздух, рационы, режимы, ограничения в вине или курении мне не помогут. И я никогда

не берег себя: все, мол, уже поздно. Это, между прочим, очень российское качество.

Но женщина, которую я любил, не соглашалась со мной. Она хотела, чтобы я думал о длинной, здоровой жизни. Мы встретили с ней однажды котенка в зимнем лесу и гнали его к деревне по глубокой снеговой дорожной колее. Он был уже не очень маленький, но глупый. Белый, испачканный углем, с розовым носом. Мы боялись, что он заблудится и замерзнет или его схапает лесной зверь. Он неохотно бежал перед нами и часто оглядывался. Мы смеялись. Нам было хорошо тогда. Ее смех наполнял весь лес. Лес признавал ее своей.

Я шел зимним лесом совсем один.

Старые ели сменились соснами, молодыми, растущими густо, отчего ветки их торчали вверх, и лес поскущел, потерял в сказочности и таинственности. Наст под соснами был гладкий, свободно укрепленный ветрами. Но и на этом настe виднелись вмятины от комков упавшего с веток снега. Тучи извивались вяло, как махорочный дым.

И я заметил тишину. Тишину, от которой зазвенело в ушах. Оказывается, я заметил тишину, потому что она исчезла.

Два тяжелых танка вывернули из-за поворота. Они были по-боевому задраены, без видимых людей. И неслись прямо на меня в облаках снежной пыли. Не хотелось отступить за обочину, в сугроб, набивать снег в ботинки. И я сделал еще несколько шагов, рассчитывая на совесть водителей. Но танки сокрушительно перли прямо на меня и передний пипикнул неестественно тоненьким голоском, требуя пространства. Я отступил. Снежная пыль, грохот и солярный выхлоп взвихрились вокруг. И очень скоро все опять затихло в лесу.

— Не надо было отступать, — обязательно сказала бы мне женщина, с которой когда-то мы гнали котенка к деревне.

— Вам следует вернуться в пятый класс, — буркнул бы я.

— Они бы свернули, надо было немного помедлить.

Конечно, если она вдруг явилась, то могла бы спросить, почему я здесь и как себя чувствую после аварии. Но она только смеялась, что я испугался танков. Когда-то она водила меня по тонкому льду Финского залива. Она видела, что я трушу, и специально уводила дальше

и дальше от берега. Все это было. Финский залив, ледяной слабый припай, ветер...

Теперь ее сын учится уже в восьмом классе и занимается музыкой.

По широким следам танков шагало быстрее, и я запарился. Сосняк кончился, к дороге склонились через канавы старые ветлы. Их тонкие ветки не удерживали снега, верхушки деревьев были цвета охры, пушистыми, легкими. Отмершие нижние сучья ржавились заскорузлыми лишаями.

Слева за ветлами виднелась равнина с редкими перелесками, справа темнели свежие земляные обвалы. И сперва почудились в этих обвалах и отвалах следы войны. Но это оказался карьер.

На отвороте к карьере стоял человек. Он был в ватнике, ватных штанах, валенках с галошами и солдатской ушанке.

— Эй, чего делаешь? — спросил он, когда я подошел.

— Гуляю.

— А я машину жду, оказию, к шоссе, к автобусу, в город.

Он был небрит и отменно некрасив. Длинный нос — хобот, штук пять железных зубов; морщинистый, но еще не старый. Пахло от него пропотевшей одеждой и давно не мытым телом.

— Ну и что? — спросил я. Хотелось отделаться.

— Пойдем вместе. К шоссе, — решил он.

Я понял, что он будет много говорить. Разговор, согласно пословице, сокращает дорогу. А я очень не люблю, когда, например, едешь в такси и попадается разговорчивый таксист. Особенно если рассказывает он вещи тяжелые, о несправедливости например, и как бы ждет от тебя помощи. Чужие несчастья расстраивают меня не меньше собственных. Но не скажешь чужому человеку: «Помолчите!» И я вытащил сигареты, чтобы угостить попутчика.

— Нет, не курю, — отказался он и забормотал сиплым голосом, что робит в кочегарке при санатории, дым вонючий задувает, пылюка от угля, кашля, грудь табака не принимает; всю жизнь рабочий, хотя землицы есть несколько соток; теперь жизнь хорошая: хата, где обогреться, есть, картошка есть, а где картошка — там и кабан, а что еще надо?..

Слова его разделялись матерщиной, неясным бормотанием и даже мычанием. Я понимаю такую речь, хотя

она не доставляет мне удовольствия. Он чувствовал, что я понимаю, и продолжал говорить и говорить.

— Ну, что, воевал с сорок первого ить до сорок шестого, ить вернулся, а детишек четверо, ить хлеба один кусок на усах, назавтра робить пошел, ить раны ще болели.

Он не жаловался, наоборот, несколько раз повторил; что жизнь делается лучше, и главное: чтобы опять не было войны — «страшного дела».

У нас считается, что русский солдат на войне работает, воспринимает ее как страшный, тяжелый, но труд. Труд по сохранению своей жизни и уничтожению противника. Труд по созиданию мира через войну. И мы даже обратной связью теперь называем широкую, большую работу «фронтом», а руководство — «штабом». Может, это и полезно, но мне иногда жутко слушать про войну как про труд и про труд как про сражение.

Попутчик мой замолчал наконец.

Ветерок несильно дул нам в лица, дышал надвигающейся оттепелью и доносил громкий ор ворон. Самих птиц ни в небе, ни на ветлах видно не было...

Несколько машин с прицепами, груженных гравием, обогнали нас. Попутчик голосовал робко. Поднимал руку, когда ясно было, что машина уже слишком близко, что шофер тормозить поленится. И сразу находил объяснение шоферской лени или безразличию: то, мол, прицеп вихлял, то подъем крутой, то уклон скользкий. Чувствовалась в нем какая-то привычная, извечная забитость и полное неверие в свое право на автостоп.

А мне тоже очень трудно бывает голосовать. И наше сходство в этом раздражало меня. Вернее, раздражало, как он все оправдывал свою робость, приговаривая, что «шофера, как все люди, — разные».

Так мы и дошли до шоссе и увидели дымок и снежную пыль за автобусом. Ждать следующего надо было час. Но попутчик и здесь переживать не стал. Сказал, вздохнув:

— И в антобусе разные люди ездют...

И наконец поинтересовался мною: с какого года? воевал? женат? И сперва не поверил, что я холостой. Но потом убежденно сказал, что это дело наживное — было бы здоровье и талант в руках, а годы мои — еще самый расцвет жизни...

Удивительно он это сказал. С таким добрым желанием и верой в мое хорошее будущее, что я будто снежный душ принял.

Мы попрощались за руку. Я снял перчатку, он этикет соблюдать не стал, и я пожал ему мокрую тряпичную рукавицу.

Я был благодарен ему за добрые слова. И зашагал обратно, мимо виденной уже березовой рощи, елочек снегозадержания, ям карьера, старых ветел... Только весь пейзаж изменился, засверкал и заискрился блесками инея в воздухе, потому что солнце просветило тучи. В разрывах туч показалось мартовское, левитановское небо. Тени деревьев переплелись на снегу в кружево, и хотелось тени потрогать руками — так выступали они из белизны снега. А хвоя старых елей стала темной, как древнее серебро.

И вдруг я увидел лисицу, настоящую, живую, свободную. Лиса тоже увидела меня и замерла на обочинном сугробе, поджав к груди переднюю лапу. Она была, конечно, хищная, но такая живая и ослепительно рыжая, освещенная солнцем, среди белого снега и синих теней. Я вздрогнул, когда увидел ее, и тоже замер. Но потом не сдержал себя и поднял руку в молчаливом приветствии.

Лисица длинными неторопливыми прыжками пересекла дорогу близко передо мной и исчезла.

Пожалуй, я был счастлив тогда, среди зимнего солнечного дня один на один с лисицей.

После обеда все участники симпозиума спустились в холл смотреть по телевизору фигурное катание. Я немного опоздал, не сразу нашел свободное место и некоторое время оставался на виду, испытывая от взглядов коллег стеснение, смущение и даже страх.

Почему это? Почему мы так плохо чувствуем себя, оказываясь под взглядами чужих людей? Ведь уже тысячи лет мы живем и смотрим друг на друга — можно уже и привыкнуть не стесняться. Вероятно, мы подсознательно понимаем, что все мелкое, гадкое, трусливое отпечаталось в нашем внешнем облике; и вот начинаешь мельтешить, закуривать, пить воду, то есть пытаешься набросить на себя маскировочную сеть.

Или же это чувство неловкости — пережиток далекого, дикого времени, когда чужой взгляд означал удар в спину, схватку, гибель? Когда выигрывал тот, кто видел, а его не видели? И страх перед чужим взглядом сохраняется в нас тысячелетиями?

Сначала ощущение неловкости, оставшееся после моего топтания посередине холла, мешало мне проникнуться красотой зрелища. Мне не приходилось раньше видеть ни танцы на льду, ни фигурное катание, хотя я много слышал хорошего о новом увлечении. Просто у меня нет телевизора.

Некоторое время я с досадой отмечал, как мгновенно менялись участники чемпионата, когда их выступление заканчивалось и они оставались без искусства, мастерства, творческого возбуждения.

Но вот я начал волноваться за выступающих. Когда вдруг кто-нибудь падал, я невольно про себя говорил: «Милая, или милый, ну ничего-ничего, не расстраивайся! Не плачь, все вы еще так хороши, молоды, впереди будет вам большая удача!» И композиторов я утешал. И Сен-Санс, и Моцарт, и Бриттен казались мне добрыми дядюшками или дедушками, которые выводили на скользкий блеск ледяного поля племянников и внучек, сопровождали их в каждом движении.

Очень хорошо еще было, что соревнуются девушки и юноши из разных стран Европы. Когда объявляли их национальность, то сразу возникали за ними Рим и София, Париж и Прага. И образы этих городов как бы отражались на льду.

Это был нежный и мужественный мир. Волновало еще, конечно, и то, что всегда волнует в балете, — женская обнаженная, подчеркнутая даже костюмами, красота. Это сложное волнение так же далеко от похоти, как решительность далека от нахальства. Оно рождает на мгновения веру в мечту, и мне казалось, что впереди еще ждут меня и живая красота, и даль незнакомых стран, и счастье.

Мешали мне соседи. Один, как потом оказалось — охотник, предсказывал баллы, которые выкинут судьи. Он торопился, чтобы кто-нибудь другой не опередил его. Другие шутили, и часто получалось грубо:

— Вот пара — как швейцарские часы открутили!

Это после выступления швейцарцев.

Или:

— У них пять ног на двоих!

— Ну, такой бабе только штангу поднимать!

Это говорилось без злобы или злорадства — так просто.

Я знаю, красота, особенно если смотреть на нее не в одиночестве, вызывает в нас желание ее принизить. Быть может, нам делается заметна собственная некраси-

вость, наша далекость от искусства, и мы острым, снимая этим душевную обиду. Или же показываем знание закулисной стороны зрелища. И такой знаток тоже был. Он объяснял нам названия отдельных движений и как они влияют на формирование костей в детском возрасте.

Он объяснял про кости и тогда, когда одна девушка из Западной Германии с таким озорством и лукавством станцевала русский танец, что мы даже захолопали.

Девушка танцевала на бис, очень устала. И вообще многие уставали, вероятно, так глубоко, как устают птицы над океаном. Девушки опускались на скамейку, как перелетные птицы на мачту встречного судна. И коньки им торопливо отстегивали мамы, тренеры или, может быть, влюбленные.

О том, кто с кем из выступающих живет, тоже высказывались предположения. И я вдруг подумал, что должен остановить товарищей, что они убивают своей пошлостью не только красоту, но себя в первую очередь обворовывают. Однако смешно было говорить такие прописные, старчески брюзгливые истины интеллигентным людям с высшим образованием. И как будто я сам никогда не отстрил глупо, когда красота стесняла мне душу!

За ужином немного выпили, чтобы закрепить знакомство. Я не должен был пить, но боялся обратить на себя внимание. От водки сразу сдавило виски.

Руководитель семинара сказал о распорядке первого рабочего дня.

— Каждый день будет у нас иметь сюжет, — сказал руководитель. — Как у спортивных пар. У них есть сюжет. Женщина там как бы уплывает, но опять возвращается. И у нас каждый день будет иметь начало, середину и конец...

На тему о том, что женщина уплывает, но опять возвращается, рассказали несколько анекдотов.

Когда анекдоты исчерпались, перешли на политику. А я молчал и тем обратил на себя внимание.

— Вы осторожный человек! — с понимающим смешком сказал самый молодой. — Конечно, спокойнее помалкивать!

Он хотел сказать, что я трус. Я действительно боюсь паспортисток, домоуправа, дворников, но, мне кажется, в концлагере я бы вел себя достойно.

Голова болела ужасно, застолье было невыносимо, и я ушел на воздух.

Дорога только смутно белела, старые ели вздыхали, и слышалась невнятная капель. Мне хотелось сказать: «Мама, возьми меня отсюда!» Я шептал так несколько десятков лет назад, когда попал в детскую комнату при милиции и мне там крепко всыпали. Стало смешно: я вспомнил, что и мне было любопытно, кто из фигуристов муж и жена и кто нет.

Просто пока я не познакомился с человеком поближе, я вижу в нем собственные недостатки, как через увеличительное стекло. И раздражаюсь. Так было всегда, но теперь, после аварии и травмы, это обострилось. Люди вокруг — отличные специалисты. И через несколько дней я увижу, что пошлость в них наносная, а биографии значительные. И сам я стану нормальным, буду произносить не всегда нужные слова и совершать не всегда нужные поступки. Все станет на места. Нужно немного потерпеть.

Я тихо шел в ночном лесу, фонари возле дома уже стали не видны. Шорох капли нарастал и говорил о весне, хотя весна должна была наступить еще не скоро. Небо казалось светлее леса — наверное, над тучами взошла луна. И я тихо назвал по имени женщину, с которой когда-то мы гнали по колее котенка. И она пришла. Она всегда приходила, когда я так звал ее. Мы взяли за руки и долго стояли молча, чтобы не тревожить лесную ночь. Да нам и не хотелось говорить.

Быть может, она всегда оставалась бы со мной, если б я мог воспринимать ее как саму жизнь, а не как украшение жизни.

Я ходил по лесу еще целый час, чтобы в доме все легли спать, чтобы не видеть никого при возвращении. И женщина была со мной.

Когда уже показался слабый свет фонарей, вернее отблеск на снегу между деревьями, впереди раздалась голоса и появились две фигуры, квадратные от тяжелых пальто.

— Сюда! — шепнула она. И потащила меня с дороги в сугробы. Снег сразу набился в ботинки. И в сугробах остался сломанный рыхлый след.

Мы отошли шагов двадцать и замерли в темноте, под старой елью, как та рыжая лисица, которую я встретил днем. Моя полутчица прижала палец к губам, платок с ее головы сбился, волосы растрепались, и сквозь волосы бле-

стели звездным, сильным светом ее глаза. Потом она засмеялась и, чтобы не было слышно, закусилa варешку. Я тоже смеялся. Я стал таким же молодым и озорным, как она.

Голоса приближались.

— Кормят вполне прилично, и шеф не очень работу любит, — говорил один.

— Так-то оно так, но... Смотрите! Конечно, здесь водятся лоси! Следы! Я-то охотник, нас не проведешь! Здесь свернул с дороги лось-двухлеток...

— Это мы — лоси. Мы один общий двухлетний лось! — шепнула бы женщина, которую я любил. С елки падали капли и древесная мелочь. Запах оттаявшей хвои наполнял ночь.

Коллеги на дороге не предполагали, что мы прячемся так близко. Они поговорили еще о том, какие дурные у нас на Руси сортиры, и помочились на обочину...

Я вернулся в номер, растер промокшие ноги одеколоном и выпил воды. Потом прилег, закурил и включил репродуктор.

Передавали оперетту «Девушка с синими глазами». Я ничего не понимаю в музыке, но тут мне показалось, что веселыми голосами поют панихиду. Надо было принять валерьянки и снотворного. Во мне росла ночная тревога, предчувствие кошмаров, страх одиночества.

Я думал о спящем вокруг лесе, снежных полях, тихих деревьях, ночных шоссе, одиноких машинах. Я представлял наш старый деревянный дом с летними верандами. Вот он стоит, весь темный, и только в моем окне — свет. Поскрипывают балки на пустом чердаке, чуть слышно звякает отставший лист железа в желобе крыши...

Обычно деревянный дом в лесу будит в моей душе спокойное, дачное ощущение, но тут вдруг показалось, что я в далеком, чужом аэровокзале, застрял из-за нелетной погоды, сижу уже несколько суток, противны стали buffet, зал ожидания, газетный киоск...

Я прикурил очередную сигарету и почему-то поднес огонек к волосам на руке. Запахло паленой шерстью. Я удивился глупости, которую делаю.

И опять увидел ее. Она сидела в кресле под окном, уперев босые ноги в батарею отопления. Я встал и рас-

тер ей ступни остатками одеколона. Так однажды было. Давно.

— Уезжайте, — сказала она.

— Будет глупо выглядеть, — сказал я. — Придется выдумывать причину для отъезда, врать. Я не хочу врать.

— И не надо. Так и скажите: «Мне здесь больше невозможно. Я уехал. Мне следует вернуться в больницу».

— Уедемте вместе, — попросил я.

— Вы сами знаете, что вам лучше быть одному, — сказала она.

— Всегда?

— Да, — сказала она и пошевелила пальцами на тепловой батарее.

— Еще болят? — спросил я.

— Нет. Уже блаженно. А ваша рука?

Место, где я опалил волосы, болело, но не сильно.

Дождаться утра не было смысла — дорогу к шоссе, к автобусу я знал после дневной прогулки и проводов кочегара. Я написал записку руководителю, собрал чемодан и ушел.

В ночном лесу, как всегда, нечто жило, смотрело на меня. Обочины дороги различались плохо, я много раз сбивался в снег и опять промочил ноги. Но дышалось хорошо, головная боль прошла, думалось интересно и странно. Я размышлял о том, что если на теле людей еще растут волосы, то, значит, мы недалеко удалились от диких предков. И если в душе живет атавистический страх перед ночным лесом, то, значит, мы еще очень молоды. А когда мы повзрослеем, жизнь, может быть, станет праздником, сплошным ликующим праздником, как зрелище танцев на льду. И черт с тем, что это будет уже без меня».

...Школьник убежал с урока, студент — с факультетского собрания, инженер или ученый — с симпозиума, потому что хандра. Ну и что? Тут главное знать: куда убежал?

Геннадий Петрович убежал в кашалота.

Известно, что сам черт бессилен перед человеком, который еще способен смеяться. Но Геннадий Петрович по-

терял юмор. Ему было страшно от мысли, что каждый день, когда не было праздника развития или углубления духа, — потерянный день. Ему казалось, что с возрастом количество таких дней только растет и растет. И что он видит вокруг себя все больше и больше дураков. В заметках он ссылался на высказывание доброго, мудрого, спокойного врача прошлого века, который заявил, что научился без раздражения смотреть на важно расхаживающих дураков только тогда, когда ослеп на один глаз. Доктор, судя по этому высказыванию, сохранил юмор, даже ослепнув на один глаз. Геннадий Петрович заболел серьезнее. Он не заметил юмора в словах доктора. «Разве можно быть нормальным человеком, если у тебя один глаз и ты живешь в жизни, а не в романе Стивенсона?» — записал Геннадий Петрович на полях.

Я промучался с его рукописью целую ночь — ужасный почерк. Интереснее всего было: действительно ли мужчина в архангельском сквере и Геннадий Петрович один и тот же человек? Так уж устроены пишущие люди — всегда не хватает уверенности в том, что кто-то действительно тебя прочитал. Геннадий Петрович хранил журнальную вырезку. Это интриговало. И я дозвонился в институт имени великого психиатра к врачу, который прислал мне рукопись Геннадия Петровича.

— Мы справлялись по этому поводу, — сказал врач. — Служебных командировок в Архангельск больной не имел. Но известно, что он иногда, при наличии денег и времени, улетал или уезжал куда глаза глядят. Такое поведение в здоровом состоянии разительно противоречит следующей энтропии. И это очень интересно...

Я не стал признаваться, что первый раз слышу слово «энтропия». Спросил только еще о женщине из рукописи Геннадия Петровича — нет ли возможности узнать ее адрес?

— Мы ее не искали, — сказал врач. — По ряду причин я думаю, что ее просто не было. То есть было несколько женщин в разные периоды жизни. Последние годы их не было вообще. И те, прошлые, не могли нам существенно помочь.

— Неужели он не просил о свидании с кем-нибудь?

— Нет. Он не хотел видеть даже мать. Кстати, она умерла за месяц до него. Он тяготел к полной неподвижности и одиночеству. И бывал тих и радостен, если мне удавалось оставить его в ординаторской. Я иногда нарушал все правила и оставлял его в ординаторской даже

на ночь, когда сам дежурил по отделению. Там он и писал. Там он чувствовал себя в рыбе, в замкнутом пространстве.

— Почему именно в рыбе?

— А бог его знает. Все мы, знаете ли, сидим в рыбе, потому что не знаем, куда плывем, — пошутил психиатр. Начитался Библии — сейчас это модно. А Библия для слабой психики — опасная штука.

— Если рассказ автобиографичен, а мне кажется это так, то автор представляется довольно робким человеком.

— Во-первых, он не боится признаться в этом — уже кое-что. Во-вторых, Петрович попал в катастрофу благородным образом, если можно так выразиться. Мальчишка-велосипедист съезжал с железнодорожной насыпи и вылетел на шоссе. Петрович резко крутанул барабанку и был готов. Очень интересно, что здесь замешан велосипед. Вы читали Беккета?

— Нет, — признался я. По тому, как врач стал называть Геннадия Петровича Петровичем, я понял, что врач еще молод и что он был со своим подопечным в добрых отношениях.

— Очень интересный случай... Мальчишка наведывался сюда с матерью. Они и в травматологическую клинику к Петровичу наведывались. Они из Гатчины. Они и хоришили.

— А друзья, сослуживцы?

— Сослуживцы помогли кое в чем, но, знаете, последние полтора года он уже не работал, был на инвалидности. Его подзабыли. Это случается чаще, чем наоборот.

Мне нравился здоровый цинизм молодого, но уже много знающего о жизни человека.

— Петрович читал Декарта. Ему, как инженеру вероятно, интересны были мысли о том, что все мы — машины. Листали Декарта?

Я поторопился уйти в кусты.

— Вы не смогли бы дать остальные его записи?

— Нет. Они нужны нам. Позвоните годика через два. А то, что я вам послал, можно использовать?

— У нас не любят патологии, — сказал я.

— Патология — это учение о страдании, о болезненных процессах и состояниях организма. Можно не любить патологию, но не патологию.

— Простите, я неточно выразился...

— Есть еще вопросы? — спросил психиатр без большой любезности. Специалиста часто раздражает разговор с неспециалистом.

— Нет. Спасибо. Мне все ясно, — ляпнул я.

— Очень рад, что вам все ясно, — сказал он не без сарказма и повесил трубку.

Я немного обозлился. Типичная современная молодежь: нахваталась Беккетов и Декартов, получили специальное образование и уже можно посматривать сверху вниз. И все-таки сквозь раздражение я поймал себя на некотором уважительном к этому молодому психиатру отношении.

Думаю, в будущем мы с ним еще встретимся. Отплаваю я свое, осяду на суше, налажу быт, заведу наконец собаку, прочитаю Беккета и полистаю Декарта. И тогда мы встретимся. И все рукописи Геннадия Петровича перейдут в мои руки. И, быть может, тогда я смогу назвать вам его полное имя.

А рассказал я здесь всю историю потому, что именно в Средиземном море особенно ощущаешь причастность к древнему, прикосновение к мифу. Я был бы совсем не готов к этому прикосновению, если б не записки Геннадия Петровича. Вернее, его странная болезнь. Она заставила меня прочитать все, что я мог достать, о пророке Ионе.

Жизнь дает мне сюжет, размышлял я. Не пустить ли мне героя новой повести сквозь океаны в чреве большой рыбы? Мысль о такой повести тревожила больше и больше. Вложить нечто современное в прекрасно отработанный, отшлифованный веками миф — в этом я ощущал значительность, недоступную мне, если пытаться работать на материале только окружающей жизни. Эта «окружающая жизнь» — самое трудноуловимое.

Заговор упорного молчания с незапамятных времен довлел над Сардинией... Остров был практически неизвестен большинству европейцев, да и самых итальянцев,

*Приглашение к капиталовложениям на Сардинии.
Изд. банка «Кредито индустриалесардо»*

О современной жизни Сардинии газеты пишут главным образом в связи с бандитизмом и маневрами НАТО. Очевидно, по причине военных баз на Сардинии для нас, советских журналистов, этот остров — закрытая зона.

*Сардиния — закрытый остров.
Правда, 1970; 6 июля*

Уйму лет я мечтал натянуть нос журналистам — попасть туда, куда их не пускают. Журналисты отличные ребята, только бесит, что на старте Гагарина, у партизан Анголы или среди лиц, сопровождающих государственных деятелей в интересных поездках, — всегда они, журналисты.

Однако необходимо отметить, что комплексы неполноценности у журналистов глубже. Я еще ни разу не встречал журналиста, даже если он на самом интересном и высоком месте сидит, который мельком не сказал бы, что ему все это здорово надоело и он сейчас повестушку тут одну решил состряпать, думает в «Юности» тиснуть... И эта повестушка преследует журналиста, как тень отца Гамлета.

Наша простая русская осина выписала мне пропуск на закрытый остров Сардиния. Осина пробила зияющую дыру в кордонах НАТО. Весь 6-й американский флот, с авианосцами, линкорами и крейсерами, трусливо бежал от нас.

В этом есть кое-какой смысл.

Средиземноморское солнце за день сильно нагревало дерево. Запах осины наполнял тихую ночь.

Колотые и круглые балансы. Где вы росли, родные? В каких реках, озерах отражались, деревья моей России? Где сейчас те лоси, которые кусали вашу молодую кору и молодые ветки?

Я люблю осину. Правда, я все деревья люблю. Осина хороша и зимой — у нее самые зеленые, живые стволы зимой. И вот я везу ее в те края, где на ней повесился Иуда...

Ясным летним вечером листва осины серо-голубая, как табачный дым, как вечерняя дымка над Эгейским морем.

От носового каравана стойко пахнет грибами.

«Бах-бух-бах-бух...» — трудится наш старинный дизель.

В рубке невозмутимый Стародубцев рассказывает: «К повару приходит голодный матрос:

— Шеф, я есть хочу, дай чего куснуть.

— А ты здорово хочешь?

— Да, очень!

— Суточные щи будешь? Любишь суточные?

— Давай! Люблю!

— Заходи завтра».

Спать перед ночной вахтой не хотелось. Над душой висел отчет по рейсу Лондон — Ленинград. Следовало хорошо продумать тексты «ведомственного расследования», свою объяснительную записку. Недостача коркой покрывала любую радость, которая встречалась в судовых буднях. Но и садиться после вахты за машинку никак не хотелось. И я поднялся на мостик, чтобы взглянуть на Сардинию. Мы уже подходили к ней.

Капитан и старпом напряженно глядели в бинокли, но не на Сардинию, а в противоположную сторону. Там, в вечерней мгле, летели над волнами два наших военных корабля и мигали нам мощными прожекторами.

— Возьми еще левее, ну их к богу в рай! — приказал капитан.

Чем дальше держаться от вояк в море, тем спокойнее, — это знает любой торговый моряк.

— Секонд, может, ты поймешь, чего им надо?

Я только ухмыльнулся. Я вспомнил светофор, и американский корвет у берегов Южной Англии в заливе Мэн, и нашего невозмутимого капитана Каска. Кто из нас в зрелом возрасте может читать светофор из-под руки военного сигнальщика? Никто не может.

Конечно, вызвали радиста. Людмила Ивановна неумело и боязливо взяла бинокль, но уверенно, с лету прочитала: «...С наступающим Новым годом, соотечественники...»

Наши корабли получили ответное пожелание и, сильно дымя, за что следовало бы всыпать их механикам, отвернули вправо в направлении Бизерты. Моим однокашникам — ведь я же сам военный моряк — было, вероятно, скучно. Несколько несправданных слов слетало с наших губ в направлении Бизерты, но слова были довольно слабыми — рядом стояла Людмила Ивановна.

— Американцы облетели Луну, — сообщила Людмила Ивановна.

Было 24 декабря 1968 года.

Входить в порт ночью капитан не собирался. Собирался стать на якорь до хорошего, доброго утра.

Мы неторопливо плыли вдоль гористых берегов. Мы ничего не видели еще на их склонах, но знали, что там сейчас спят сосновые и дубовые леса, ниже — каштаны, оливковые деревья, миндаль и сады, усыпанные мандаринами и апельсинами.

— Глубины на подходах к Арбатаксу недостоверные. Здесь «Псков» на камни сел. Лева Шкловский капитан, едва от крупных неприятностей отвертелся, — сказал капитан. — Ему вместо акта буксировки хотели спасательный акт подсунуть. И документы все на итальянском языке.

Я вспомнил румяного юношу Леву Шкловского. В пятьдесят третьем году вместе ходили на Дальний Восток. А вот он уже давно седой и давно капитан. Может, и сесть здесь начал — на внешнем рейде сардинского порта Арбатакс, когда итальянцы совали ему документы на непонятном языке. А переводчика присяжного нет, нашего консула нет, судно на камне, в Рим не дозвониться, время идет, и от единственного капитанского автографа зависят десятки тысяч долларов убытку, и спасательное судно демонстративно отдает буксир...

— При ветре от вест-зюйд-веста с горы срываются жестокие шквалы. С дождем, — сказал капитан. — Смотрели лоцию?

— Да.

— Ветры не так страшны — порт маленький, закрыт

хорошо. Но после шквалов действует мощный тягун. За тягуном смотреть в оба.

Из узкого горла порта выходило судно. Разглядели название — «Будапешт». Вокруг «Будапешта» крутился лоцманский катерок. Нам не было дела ни до венгра, ни до лоцмана — мы его заказывали на утро.

Но лоцман из Арбатакса был иного мнения. Он традиционно поддал на венгре после окончания выводки, и ему хотелось добавить. И катерок подвалил к нам. Мы вежливо спустили штормтрап. И в рубке появился здоровенный итальянец в куртке мехом наружу. От соединения лоцмана и куртки пахло венгерским вином и козлом.

Лоцман жаждал сразу же поставить нас на якорь.

Капитан обозлился. Он уже много раз бывал в Арбатаксе и поставить судно на якорь мог сам. На все поздравления с рождеством, которое начинало бушевать над Европой, последовало гробовое молчание капитана. Но, конечно, своего «мерзавчика» лоцман добился.

В «Энциклопедическом словаре» за 1900 год написано о Сардинии: «Крестьяне очень бедны, еще беднее, чем на Сицилии. Судами было разобрано в 1894 году исковых и спорных дел 235 420. На 100 000 жителей убийств было 24, случаев нанесения побоев и ран 271, грабежей 21, воровства 800. Приговорено судами к тюремному заключению 11 411 человек. В настоящее время в Сардинии нет ни одного поселка, который бы находился ближе чем в 10 верстах расстояния от моря, — результат постоянных нападений со стороны корсаров. В центре острова можно встретить многих людей (особенно женщин), которые вовсе не знают, что живут на острове».

Считается, что одежда из овечьей шкуры мехом наружу создает внутри микроклимат, защищает от малярии.

Утренний лоцман тоже имел вокруг себя козлиный или овечий микроклимат. Лоцман был весел и улыбочив. Он сразу дал нам понять, что сардинский язык непонятен даже итальянцам, состоит из множества диалектов и близок к латыни. Английских слов у лоцмана было процентов десять.

Но странность заключалась в том, что многое в его командах и в речи казалось знакомым, вспоминались почему-то площадь Искусств в Ленинграде, Большой театр, Филармония и... вырезвитель.

— Пьяно, мистер! — орал лоцман, — Андестенд? Ритэ-нүто! О'кей! Аллегро!

И опять:

— Пьяно! Мэсто!

Капитан сказал:

— Хорошо, что в детстве интеллигентные родители учили меня, болвана, музыке. — И дал команду: — Самый малый ход!

— Меццо фортэ, плиз, мастер! — орал лоцман и бегал с крыла на крыло мостика.

— Средний вперед! — почесав в затылке, скомандовал капитан.

Казалось, что лоцман должен возглавлять музыкальную самодеятельность Арбатакса.

Бетонные и каменные молы порта уже смыкались вокруг судна, они проходили весьма близко к бортам. Невольно вспоминался Сорри-док и искры, которые мы высекли из старых английских камней.

— Анкер! Сфорцандо!

— Отдать правый якорь! И не тяните на баке! Виктор Викторович, при швартовках ваше место, кажется, на корме.

Мое место было там, но я совсем забыл об этом. Очень уж все чудно звучало на мостике. Когда я летел по трапам на палубу, вдогонку понеслось:

— Вивáче! Маркáто!

Двое сардов в моторной шлюпке подходили к корме, чтобы принять швартов и тащить его на причал. Они оралы неизменное для всех портов мира:

— Давай-давай!

И:

— Аллегро! Пронто!

И мне показалось, что я врываю в «Ла Скала».

Для моряков визитная карточка страны — лоцман — таможенный чиновник — полицейский — морской агент — стивидор — докер. И главным здесь, бесспорно, является докер. Колорит нации внешний и внутренний. Что можно узнать о нации, когда считанные дни наблюдаешь чужих людей? Внешний вид и отношение к работе — вот единственное, что ты действительно видишь. Остальное — мираж.

«Отношение к работе» — я сказал неправильно. Надо было сказать: «манера работы».

К внешнему виду и манере работы я, как грузовой помощник капитана, добавил бы третью легко замечаемую характеристику: количество, качество и степень артистизма воровства. Я был в портах почти всех континентов и утверждаю, что воруют, плутуют, обманывают, врут и опять воруют всюду. Только всюду по-своему.

В шесть утра неистовый вопль доисторического чудовища вылетает из пасти целлюлозно-бумажной фабрики-комбината Арбатакса. За тысячную секунды вопль достигает своей высшей мощи, вопль вздымается над окрестными горами и встряхивает не только сардов-работяг, для которых он предназначен, ибо у последних редко есть часы, но и сами горы и суда в порту. Затем вопль делается все тоньше и отвратительнее. И в тот момент, когда ты чувствуешь, что сам сейчас заорешь, как какой-нибудь рядовой неандерталец, вопль обрывается.

Тишина сардинского утра после такого начала представляется райской.

В тишине райского утра возникает и нарастает треск мотороллеров.

Обратите внимание: лондонский докер приезжает на работу в метро или на ржавом велосипеде. Сардинский — на мотороллере. Сардинский крестьянин, живущий в селенье Тортоли — а оно не очень близко от Арбатакса, — без мотороллера попасть на работу просто не может.

Первые мотороллеры — желтые, зеленые, синие — появляются на желтой дамбе, ведущей к причалу. Еще все вокруг в утренних сумерках, но цвета видны отчетливо. Воздух прозрачен. Полыхает маяк на вершине ближней горы. Корячатся на дюнах неаполитанские сосны и огромные кактусы. Прохладно.

С палуб от слегка подсушенной солнцем осины пахнет грибами.

«На римском рынке сардинские рабы всегда были самыми дешевыми вследствие неукротимости характера, строптивости и неспособности к подневольному труду.

Вероломство сардов вошло в пословицу».

Вероломные сарды ставят мотороллеры в ряд на причале Ванхиния-Овест.

У какого грузового помощника сердце не вздрогнет, когда он узнает, что его пять тысяч сто одиннадцать тонн

осины будут выгружать люди неукротимые, строптивые и неспособные к подневольному труду? А труд в капиталистическом государстве, как всем известно, подневольный.

Для начала я приказываю зажечь люстры на палубах — все-таки еще сумерки, хотя солнце тронуло дальние пики сардинского хребта, где в пещерах жили прапрадеды тех парней, которые поднимаются сейчас на борт. В древние времена этот горный кряж даже назывался Безумные горы — вероятно, в связи с дикими свойствами местности и разбойничьим характером населения.

Ну, серповидные крюки, конечно, на левом плече каждого.

Одеты в комбинезоны или плисовые брюки и рубахи. Много здоровее, крупнее англичан. И главное, что бросается в глаза, бьет даже по глазам, — задницы сардов. Как будто в каждый комбинезон ниже пояса засунуто по два астраханских арбуза. Степень волосатости тоже очень высокая. Кажется, шерсть на ляжках пробивается даже сквозь грубую ткань комбинезонов.

Молодежь. И прекрасные рожи деревенских парней. Отличные улыбки. Зевают и чешутся, как любые грузчики утренней смены. Корзиночки, мешочки в руках. И никаких бутылей с вином, таких обычных на итальянской земле. И по этому признаку делается ясно — да, здесь не Италия.

Не могу сказать, что сарды бросились на работу как львы. Или даже как тигры. Нет. Во-первых, они, как и британцы, придумали себе приспособление для разгрузки баланса. Приспособление — металлическая качалка, такая, как у нас в скверах для детишек. На качалку кладут строп, а на строп крючьями наваливают бревна.

Пока кран водружает качалки на судно, сарды демонстрируют неспособность к подневольному труду. Они завтракают. Сидят на осине и закусывают. Бананы, колбаса, белый хлеб и апельсины. Когда дело доходит до апельсинов, каждый демонстрирует атавизм строптивости и неукротимости. На свет появляются ножи, жуткие, узкие, длинные. Они режут этими ножами апельсины пополам, обсасывают их и швыряют за борт. Здесь нет бутербродов и английского чая. Никто не просит кипятка. Им достаточно воды из питьевого бачка в коридоре надстройки.

Потом они вытирают ножи о штанины, как все кре-

стьяне на этом свете, и ножи куда-то исчезают. Понятия не имею, как можно делать тяжелую работу среди скользких бревен, держа где-то на себе такие длинные ножи. Но ножи никуда не откладываются, они при них. И ножен я тоже ни разу не видел.

Никаких «страйк» из-за поломки лебедки или зашкеленного блока. Никакой злобы. Улыбаются.

— Секонд, электра!

А блок они и сами наладят.

Но наш боцман не был бы боцманом, если б не явился ко мне через полчаса.

— Виктор Викторович, цыгане брезент рвут на трюмах своими качалками.

— Боцман, ты же понимаешь, что без качалок они выгружать не могут.

— Пускай угол трюма освободят, брезент закатают и с лючин работают.

В требовании боцмана есть логика. Но каков будет фронт работы, если выгружать караван только с одного края трюмного люка?

Я все-таки объясняю стивидору — он черный, губастый, типичный мавр — наши требования.

Он орет:

— Олл райт! Пьянссимо! Скерцо! — и лупит себя в грудь, клянется и божится, что ни один фут брезента не пострадает. И, конечно, даже ухом не ведет. И я отмахиваюсь от боцмана. Сколько мы потеряем времени, если действительно заставить сардов беречь наш брезент? И сколько стоит час простоя нашего огромного судна рядом со стоимостью паршивого брезента? Да, брезент штука важная — он закрывает трюм и от штормовой волны, между прочим. Да, новый нам не выпишут раньше положенного срока. Но что делать, если ты всегда между двадцати огней. Надо выбирать меньшее зло. Такова специфика и вредность морской работы, хотя за нее не выдают молоко.

В обеденный перерыв стивидор-мавр приехал к трапу на малолитражке. Из всех окошек малолитражки торчали головки маленьких детишек. Их было пятеро. Три его и двое соседских. Мавр пригласил меня выпить кофе в тракторию. И мы с Колей поехали.

Самое сложное было поместиться в машине. Но Мавр сделал легко и просто: выпихнул с сиденья девочку лет

пяти, беленькую, в голубеньком платьице, потом меня впихнул на сиденье, а на колени мне — эту девочку.

До городка Тортоли было довольно далеко, как я уже говорил. И девочка сперва уютно болтала ножками, сидя у меня на коленях, а потом уснула, положив голову мне на плечо. Так я первый раз в жизни вез на руках уснувшего ребенка. Далеко мне пришлось заплыть для этого.

В трагтории, ослепительно чистой и прохладной, мы выпили по две чашечки кофе, от которого зашумело в голове, как будто Балда щелкнул по лбу. Кофе подавала девочка лет двенадцати. Я вошел в роль старого папаша и доставил себе удовольствие — растрепал ей кудри. За что она дала нам полистать иллюстрированный журнал. Труп Боби Кеннеди. Софи Лорен в домашней обстановке. Неизменная Жаклин Кеннеди рядом с супругом-миллиардером, ее детишки, не хотящие смотреть в фотоаппарат. Они, как мне кажется, хранят верность отцу.

К девочке-хозяйке прибежал братишка. Она по всем правилам зажала его между коленками и вытерла ему нос. С улицы доносилось бляенье овец.

«Что касается бандитизма, то газетные отчеты о судебных процессах на Сардинии сливаются в один непрерывный репортаж. По мере того как на Сицилии классическая «мафия» приспосабливается к новым условиям, перерождается в более доходный гангстеризм по американскому образцу, «бандити-сарди» перенимают ее печально знаменитую репутацию. Здесь еще сохранились и традиции кровной мести». («Сардиния — закрытый остров». «Правда», 1970 г., 6 июля.)

И все это правда. Я сам видел печально знаменитые плакаты с портретом бандита и суммой, назначенной за предательство. Да и карабинеров там пруд пруди. Их, естественно, было бы меньше, если бы им не хватало работы.

Но какого черта все «бандити-сарди», и нынешние, и потенциальные, рожают столько детей?

Теплоход битком набит мальчишками. Они шныряют всюду, и никакая вахта отразить это нашествие не в состоянии. Тянут смуглые лапки и канючат: «Сигарет! Папá!» Мол, просят сигарету для папы. А сами смолят окурки, начиная с семилетнего возраста. Шпана, безотцовщина шныряет везде в рваных портках и рубашках, блестит черными, воровскими глазами. Одного оголтелого сорванца я сам стащил с дымовой трубы, которую

он штурмовал как альпинист высшего разряда, используя для зацепки серп и молот — нашу святую эмблему.

Боже, сколько растёт будущих «бандити-сарди»! Нет семейства, где было бы меньше трех. У нашего очаровательного агента — синьора Ливьо — пятеро. Но к чести всех этих будущих мафистов, на судне за всю стоянку не пропало и карандаша.

Зато мои докеры после окончания смены показали класс. Каждый увез по кубометру дров. Парней с ядерными задницами не было видно из-под осины, которую они наворотили на свои несчастные мотороллеры. Они воровали деловито и совершенно открыто. Как они умудрялись нажимать педали и рулить, когда между рулем и сиденьем лежали доски и осиновые поленья, не знают даже медведи из труппы Филатова.

Мы взирали на это массовое воровство, на эти неукротимые характеры, эту строптивость и вероломство с восторгом и невольным уважением. Груз я сдавал без счета — по осадке. И воровали они, таким образом, у того капиталиста, который осину купил и владел арбатакским комбинатом и на которого эти парни подневольно работали.

Вихляя по узкой дамбе, мотороллеры удалялись, нависая краями осиновых стволов над Средиземным морем. Все удалились нормально, без происшествий. Парням везло, что в их бандитском краю цивилизация еще не доросла до ГАИ.

К вечеру, как и положено настоящим морякам, мы отправились в кабачок пить пиво. До кабачка по прямой было метров семьсот, но идти было километра четыре — вокруг всей бухты.

В кармане шелестели лиры.

Композитор Верди и бог Аполлон стоят здесь 1000 лир.

Колумб, Галилей, древняя каравелла и современный дельфин — 5000.

Очень дорогие Микеланджело и Данте — 10 000.

Это, как вы понимаете, изображено на денежных купюрах. Приятно, что нет ни одного короля.

1000 лир — 144,21 копейки — две бутылки простого вина.

Один год тюрьмы стоит в Италии дешево — 4000 лир. Если ты будешь работать из итальянского порта судовым радиопередатчиком, то или получишь год тюрьмы,

или уплатишь штраф в эту сумму. На 4000 лир можно купить десять пачек американских сигарет. Вот и выбирай.

В кабачке было прохладно и пустынно. Автоматический проигрыватель и шариковый автомат со скачущими ковбоями.

Мы сели за столик у окна и смотрели, как дрожат в темной воде гавани огни нашего старого теплохода. Плотный бриз пузырил занавеску. Несколько карабинов пили лимонад и смертно скучали.

Пиво было отменное. Его подавала дочка хозяев. И я как-то засуетился.

Бриз, пиво и дочка. Они отбили мне память на неприятное. Я забыл наконец о недостатке лондонского груза, о ведомственном расследовании. Мне захотелось испытать судьбу на шариковом автомате, где скакали ковбой. Мне захотелось выиграть. И обязательно на глазах у дочки хозяев этого чудесного, чистенького кабачка в порту Арбатакс на закрытом острове Сардиния. Я как-то не подумал, что если бы и выиграл, то доставил бы дочке и хозяевам мало удовольствия. Автомат принадлежал им.

Я много проиграл в шариковом автомате «Базаар». Шарик надо было загнать в череп ковбоя. Шарик меня не слушался, потому что из-за стойки на меня смотрела дочка хозяев бара.

Не знаю, действительно ли отличие сардинцев от итальянцев так велико, как они сами утверждают, только эта дочка была та самая итальянка, которая может присниться после итальянского фильма с Софи Лорен. Это была красавица. Ее волосы были чернее черного, грудки острые, талия такая тонкая, что напоминала мне мою собственную шею. А улыбка! Тайна и сто тысяч чертей.

Загадочность и таинственность женской улыбки в том, что женщина, улыбаясь улыбкой Джоконды, просто еще не назначила себе цену. В те доли секунды, когда в прелестной женской головке идет подсчет собственных достоинств, когда в ее душе, если душа есть у женщин, работают одновременно все современные компьютеры, когда она одинаково побаивается и передорожить, чтобы не потерять любящего, и не продешевить, — вот в этот-то момент ее губы и трогает загадочная улыбка. Загадка в том, что ни она, ни мадонна еще не знают, сколько она назначит. Я не о деньгах или духах, цветах и билетах в театр сейчас, конечно, говорю. Я говорю про кусок сердца и жизни, который она потребует, и не только потре-

бует, а наверняка возьмет у своего несчастного избранника.

Не помню, как подъехал синьор Ливио — очаровательный парень, давнишний знакомый капитана, коммунист, как он с ходу заказал кое-что покрепче пива. Как подсели к нам карабинеры, какими чудесными парнями они скоро раскрылись, как орали мы с ними «Бандьера Росса!». Как шли мы потом сквозь аспидно-черную ночь на судно, а возле трапа нас ждал сюрприз — наши друзья карабинеры и обаятельный синьор Ливио с ящиком «москолы» и двадцатью куличами — рождество же только-только прошло, — и мы слегка пригубили «москолы», чтобы не обидеть наших друзей. Обо всем этом я ничего не помню, потому что такие вещи нам, советским морякам, не рекомендуются, и ничего этого не было, все мне приснилось в чудесном сне.

Только итальянка за стойкой не была сном. Дай ей бог хорошего жениха! Она смыла с наших душ память о трех сутках одиннадцатибалльного шторма в Бискайе.

27 декабря выгрузки не было «по обычаям порта». Отмечался праздник памяти святого Стефана.

Избранный в число первых семи дьяконов церкви, Стефан, как образованный эллинист, не ограничивался служением в трапезах, но смело и убедительно проповедовал Евангелие и победоносно вел прения о вере в синагогах. Фанатики обвинили его в богохульстве и осудили на смерть. Он был побит камнями, причем среди участников казни был и юноша Савл, впоследствии великий апостол Павел. Насильственно была прекращена жизнь благовестника, который впервые ясно выдвигал идею все-ленского христианства, предназначенного объять мир, — идею, главным провозвестником которой впоследствии сделался апостол Павел. Апостол Павел, как известно, дошел до Рима, умудрился обратить в свою веру любимую наложницу императора Нерона и тогда уже лишился головы, автоматически став святым.

Таким образом, в празднике святого Стефана есть нечто, напоминающее отцам и дедам о том, что и они, как их сыновья и внуки, совершали в юности необдуманные поступки. Побивая камнями ближнего своего, молодые люди не должны терять надежду на то, что в будущем они станут святыми апостолами.

Вероятно, поэтому весь длинный праздничный день на конце мола сидели девочки-девушки и кидали камни в набегавшие слабые волны — тренировались. Девочки-

девушки были одеты в красные брюки и змеино-зеленые кофточки. Над красно-зеленым ветер завихрял черные распушенные волосы.

Провинциальная скука праздничного безделья сползала на причал с горестно пустынных берегов. Вероятно, самое тягостное в Арбатаксе — праздники. Причем, как часто бывает в человеческом мире, эта тягостная скука обволокла и нас.

В пикку святому Стефану мы проводили политзанятия. Самые умные и высокообразованные командиры изучали политэкономиию социализма, выясняли, из чего состоит наш валовой национальный доход. Через полчаса после начала занятий Людмила Ивановна заявила протест. Или она уходит в каюту и будет изучать национальный доход в одиночестве, то есть будет вязать кофточку внуку и вырезать из губки занятые фигурки дельфинов и белочек, или все мы прекратим курить. Так как изучение политэкономии процесс мучительный, а мужчины привыкли в мучительные моменты жизни смолить сигареты, то помполит был вынужден благословить Людмилу Ивановну на одиночество.

Мы с завистью смотрели, как наша радистка, бормоча на ходу: «Два года до пенсии, а я буду дым глотать регистровыми тоннами...» — вылезала из-за стола.

Политэкономы немножко оживились только тогда, когда к судну начали подкатывать автомобили, набитые сардами, как сардины в банках.

Машина останавливается метрах в пятидесяти от трапа. Семейство не вылезает. Двенадцать, а то и четырнадцать глаз смотрят на теплоход. И даже у автомобиля делается вид вопросительный: можно или нельзя? Пустят или не пустят эти русские? Кто их, этих русских, знает?

Незаметно для самого себя автомобиль проезжает еще несколько метров и опять изображает немой вопрос.

Слышится один короткий звонок. Вахтенный у трапа вызывает вахтенного штурмана. Вахтенный штурман, рассуждая вполголоса о вреде либерализма, вылезает из каюты и делает рукой приглашающий жест. Понять, что может быть интересного для нормального человека на старом грузовом теплоходе, вахтенный штурман при всем желании не в состоянии. Сейчас он отправит матроса с сардинским семейством в обход по судну, а сам превратится в вахтенного у трапа. Прежде чем получить

штурманский диплом, он отстоял тысячу и одну вахту у трапа. Возвращаться в прошлое штурману, конечно, не хочется.

Первым из машины вылезает старик с грудным ребенком на руках. Потом беременная женщина, которой дашь лет пятьдесят. Потом ее супруг — цветущий красавец, мужчина в соку. И энное количество девочек и мальчиков. Но это обихоженные детишки. Девочки в пелерниках, мальчики в коротких штанишках. Очевидно, состоятельная семья.

Процессия идет к трапу.

Есть у нас, городских русских, какая-то стыдливость семейственности. Ну представьте ленинградское семейство такого состава, отправившееся на итальянский теплоход на экскурсию. Да еще с беременной женой. А они открыто живут. И беременной на последнем месяце женщине ничуть не стеснительно лезть по трапу. Наплевать ей, что она некрасиво выглядит. Ей любопытно, как русские живут, — и все тут. И мужу на такие тонкости наплевать.

— Ариведерчирома! — приветствует семейство вахтенный штурман всеми известными ему итальянскими словами.

Хорошо, что занесло нас не в большой порт, а в глухую провинцию. Сардинская глубинка.

Отошел сто метров за ворота комбината, оставил позади огромные пирамиды осиновых поленьев, поливаемых водой из шлангов, — первый этап производственного процесса; затих рев огромных современных тупорылых самосвалов — они возят осину от судна в пирамиды, — и сельская тишина.

Изредка по шоссе промчится легковая машина.

Но я и с шоссе свернул на проселок. Моря не видно. Приятно это.

Тишина земли.

Впереди синие горы. По обочинам проселка — серые усталые эвкалипты и огромные кактусы, растопыренные самым невероятным образом. Кактусы-деревья, с древесным темным стволом, ветвями и листьями-лепешками, мясистыми, тяжелыми, килограммов по пять каждая. На лепешках цветы, как сгустки крови, и плоды величиной с детский кулачок. И все это опутано ежевикой. Никакой зверь не проскользнет сквозь такую ограду. Толь-

ко взгляд проникает туда, за баррикаду кактусов и ежевики.

Крестьянин пашет на двух волах, и слышится наше: «Но! Но!»

Овцы бредут и тоже говорят по-нашему: «Бэ-бэ!» Только морды у овец не наши — горные, злые. Ягнята бегут, такие же они прелестные, как везде на свете. И так же хочется их потискать, погладить. Цок-цок копытками, беленькие, снежные, теплые.

У бедного плоскокрышего домика стоит женщина, вся в черном, смотрит, прикрыв от солнца глаза рукой. Куча мусора, ржавых консервных банок прямо возле крыльца.

Еще стадо овец. Старик пастух и пес-пастух. Оба в невероятной рвани. Определить, что на старике, невозможно. А на псине — шерсть в клочьях и репьях. Приходится бедняге, очевидно, воевать с кактусами и ежевикой, глупые овцы лазают черт знает куда.

Пробковые дубы с ободранной корой. Штабеля коры лежат возле ограды — сохнут. Невыгодное дело — возить пробку на судах, не весит она почти ничего, не используешь грузоподъемность, план горит, а фрахт маленький, потому что груз грошовый...

На всем пути от Арбатакса до городка Тортоли только у одного крестьянского домика палисадник с цветником. Пустые бутылки донышками вверх вкопаны в землю, образуя крест и пятиконечную звезду. Внутри звезды растут цветы. Думаю, хозяин не думал о символике своего цветника. Так просто у него получилось, стихийно.

В городе большинство домов тоже с плоскими крышами, окна наглухо закрыты жалюзи, узенькие улочки, глухие дворы.

Кролик резвится вместе с курами у водяной колонки. В тишине городка отчетливо слышно, как падают из крапа капли. Во дворах пустынно. Извечно трепыхается под ветром белье. В глиняных горшках — домашние цветы. Окна молчат бельмами жалюзи. Скромные витрины магазинчиков, закрытых в честь святого Стефана.

И вдруг — Пушкин. Собственной персоной. На обложке толстого тома. Сразу видно, что издание дорогое, вроде подарочного даже. Симметрично с Александром Сергеевичем — Анри Бейль. Между ними «Леопард», Грэм Грин, «Золушка» и прелестное лицо Одри Хепбёрн на обложке «Римских каникул». Окно витрины книжного мага-

зна залеплено розочками — переводными картинками — для украшения.

А через несколько шагов, в газетном киоске, я опять встречаю Пушкина. «Евгений Онегин» отдельным изданием с портретом автора работы Кипренского. Такое ощущение, будто живой Александр Сергеевич вдруг вышел ко мне из-за угла узкой улочки сардинского городка Тортоли. В стекле киоска отражается моя физиономия, расплывшаяся в приветственной улыбке от уха до уха. И я даже бормочу какие-то ласковые панибратские слова.

В этом ларьке Александр Сергеевич угодил в жуткую компанию Джеймса Бонда. Бонд вооружен всеми видами современного оружия, а Пушкин безоружен. Однако не одинок. Старый морской волк Джозеф Конрад прикрывает его с тыла.

Ну, вдвоем они с этим жутким типом справятся, подумал я. Тем более Александр Сергеевич отличный стрелок был. С пробитым животом, лежа на снегу, попасть в противника и еще сил набраться, чтобы пистолет подбросить в воздух... Да и Конрад не робкого десятка — провел парусник Торресовым проливом.

Еще магазинчик — оружейный. Охотничье ружье стоит 73 000 лир. Очевидно, квалифицированно заниматься бандитизмом могут либо Бонды, либо состоятельные люди, а беднякам и здесь тяжело — элементарное рукоприкладство приходится применять.

И вдруг я вспомнил:

От тибровых валов до Вислы и Невы,
От царскосельских лип до башен Гибралтара...

Вернулся и долго еще стоял, глядя на Пушкина, и бог знает что происходило во мне. Помню только, подумал, что уже лет десять не был в Царском Селе. Куда не пошла нелегкая — по всему миру, а вот ведь...

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева над вечной струей вечно печальна сидит...

Снег лежал на плечах печальной девы в далеком Царском Селе. Снег лежал на липах. И деревья постанывали от новогоднего мороза. Синие лыжни пересекали парк между заиндевевшими кустами...

Печаль пережил я вместе с печальной девой, печаль,

знакомую всем, кто уплывал или уезжал. Но печаль, в которой был Пушкин.

Убери Пушкина — и сегодняшняя Россия была бы иной. Это, очевидно, и есть роль личности в истории.

Маленькая, шумливая речушка. Висячий мост. За речушкой дорога уходит в заросли средиземноморского тростника. Это очень высокий — метров пять — тростник, с метелочками на верхушках. Верхушки колышутся от ветра, как рожь у нас. Шуршат.

Я свернул на узкую тропку в тростнике. Навстречу шли три женщины в черных одеждах с вязанками хвороста на головах. Мне пришлось вдавиться в плотную стену тростника, чтобы пропустить их.

Тропинка вывела на плантацию. Апельсиновые, мандариновые, лимонные, в строю стоящие деревья, сплошь, даже как-то бесстыдно покрытые плодами. Красно-оранжевые и желтые кроны. Только кое-где мелькнет ветка черно-зеленых листьев. И все это на фоне синих далеких гор. Воздух тоже синий. И ни одного человека.

Свиньи валяются среди оранжевых падалиц и не шевелятся, не хрюкают даже — надоели им апельсины и мандарины. Кое-где стоят невысокие пальмы. На откосах насыпи — старые, могучие эвкалипты. И куст цветущей магнолии.

Я сорвал один мандарин и один апельсин. Ароматный холодок скользнул с языка в глотку. И я вдруг почувствовал давно забытое, детское: вкус воздуха вокруг. И опять отчего-то вспомнилась зима, елка, мандарины, обвязанные золотой ниткой, она соскальзывает: а запах мандаринов и зимних яблок мешается с запахом елки и горящих свечей.

Отличная получилась прогулка по бандитской земле.

На обратном пути я сломал веточку какого-то занятного растения с маленькими красненькими ягодами. Я хотел поставить веточку в каюте. И все обратное путешествие через Тортоли превратилось в анекдот. Мальчишки и старики, черные старухи и девушки в брючках — все бросались ко мне, перебегали даже с другой стороны улицы, тыкали пальцем в растение и запрещающе мотали пальцем перед моим ртом, вид у всех был встревоженный и заботливый. И чтобы не обращать на себя внимания, пришлось растение выкинуть. Если бы это происходило в Англии, то ни один британец ухом бы не повел,

даже если бы я жевал мышьяк на его глазах тоннами.

В укромном местечке, уже недалеко от судна, я открыл лепешку кактуса с цветком и плодом. Плод куснул. Невкусно, напоминает сырое мясо.

Следующие часы я занимался тем, что вытаскивал из ладоней микроскопические, с трудом видимые в штурманскую лупу занозы-иглы. Их было не ухватить даже медицинским пинцетом. Я не знал, что кактус защищается не только большими, и слепому видными колючками.

Девочки-девушки, предки которых были самыми дешевыми рабами Рима и сработали отличный водопровод, все так же сидели на молу над водой, ветер вил их черные волосы. И лениво кидали в море камушки.

В древней Помпее, еще до того, как ее засыпало, шли очередные гладиаторские игры. Смотрели игры помпеяне и гости из соседнего городка Нуцерии. По вопросу опускания или поднятия пальца над поверженным гладиатором возник спор, потом отчаянная драка на арене. Нерон не мог знать о том, что помпеян впереди ждет месть самого Везувия, и закрыл амфитеатр на десять лет. Как говорит Зенон Косидовский, это было «ужасное наказание», ибо гладиаторские игры были для Помпеи главным и любимейшим развлечением.

Необходимо отметить, что в отличие от сегодняшнего футбола или хоккея, которые мы смотрим весь год и год за годом, гладиаторские игры проводились только два раза в год. Остальное время помпеяне развлекались в банях.

И все-таки между футболом и гладиаторскими играми есть много общего. И то и другое помогает решению серьезных вопросов, так как освежает человеческие мозги, дает им отдых, даже питает новыми соками. И укрепляет финансовое положение государства, что выгодно всем гражданам. Особенно четко я это понимаю, когда вижу трибуны, заполненные десятками тысяч людей, и множу эти тысячи на пятьдесят копеек.

Не надо американские горы строить и варьете открывать. Один Хусаинов заменяет множество певичек варьете. Причем жанр у Хусаинова почти бессловесный, а в этом тоже есть своя прелесть.

Приехали мы в город Кальяри — главный город Сардинии. Остановились у отеля «Принцесса Маргарита». Наши гладиаторы футбола — спартаковцы — жили в этой

«Принцессе». Им предстояло сражение со сборной Сардинии. А мы прибыли из Арбатакса за несколько сотен километров, чтобы болеть за своих. Привезли плакаты «Даешь шайбу!», «Молодцы!».

На стенах отеля висели портреты битлсов. Четыре нестриженные хитрые физиономии, уже наполненные мудростью йогов. Дураки не могут облапошить весь мир так быстро и так весело вытряхнуть его карманы.

Мимо отеля шел осел — по-нашему ишак, вез тележку с цветами на базар, кровавые головки канн свисали через края тележки. Улица спускалась под уклон. В конце улицы мерцало море. Сквозь кроны пальм виднелись мачты и флаги судов в порту. Небо было серое, но море было Средиземное, оно слепило глаза даже под серой пеленой облаков.

До нового, тысяча девятьсот шестьдесят девятого года оставалось часов шесть. Было холодно — как у нас в конце октября.

Ишак встал около отеля, уставился на нас. Толстый сард слез с тележки, потянул ишака под уздцы. Ишак расставил копыта, уперся ими в остров Сардинию, расположил центр тяжести в нужном месте и громко чихнул на толстого сарда.

Мы робкой толпой толпились у подъезда «Принцессы Маргариты» — ожидали спартаковцев. В чужой далекой стране мы рассчитывали оказать им моральную поддержку. А если говорить честно, то нам просто надоели осиновые дрова. Нам нужна была индустрия развлечений. Варьете было недоступно. Хусаинов — доступен. Мы соединяли полезное для престижа родины с приятным для себя. У всех в карманах были спрятаны до поры до времени красные флажки.

Ишак неплохо развлек нас в минуты ожидания выхода гладиаторов. Он развлекал нас от чистого сердца, без всякого намека на вознаграждение. Я зауважал эту упрямую скотину, она стала напоминать мне башню в Пизе: когда толстяк тянул ишака вперед за уздцы, тот вынужден был несколько отклоняться назад, чтобы уравновесить толстяка, и тогда он походил на Пизанскую башню. Но, в отличие от нее, и не собирался падать. Он смеялся.

Вы небось думаете, что Сардиния знаменита только сардинами в масле, которые здесь не водятся. Нет, главное, что Сардиния дала миру, — это сардонический смех. История этого смеха довольно жуткая. Здесь росла травка-петрушка — «сардоника херба», обладавшая тем не-

приятным свойством, что человек, ее поевший, умирал с судорожным искривлением губ, как бы смеясь. Оттого неудержимый, судорожный, желчный, язвительный смех назывался, по словам многих писателей древности, сардоническим.

И вот ишак изображал из себя Пизанскую башню и при этом еще сардонически улыбался.

Из отеля вышел пожилой человек в темном костюме. Он посмотрел на серое, преддождевое небо, сардонически сплюнул и надел пальто. «Старостин! Старостин!» — потрясенно зашептали матросы. Мы обступили ветерана советского футбола, заслуженного мастера спорта, основателя клуба «Спартак».

Когда он услышал родную речь, то скорчился, — поднадоели ему болельщики. На закрытом для советских журналистов острове он явно надеялся отдохнуть от болельщиков. Но тренировка на лицедейства у него была многолетняя, и радость осветила лицо старого гладиатора.

— Да, очень хорошо встретиться... Прошлый матч был в Пизе, там мы продули три — два, но это даже к лучшему. Команды «Кальяри» — фактически сборная Италии. Итальянцы сейчас сбиты с толку проигрышем «Спартака» слабой клубной команде. И сегодня есть шансы. Тем более их главный игрок Рива — в Южной Америке. Но будет играть негр, которого они купили в Англии. Опасный негр.

Тысячу лет назад гладиаторами тоже, между прочим, торговали. Интересно, как изменились цены?.. Меня все оттягивало куда-то в даль веков.

Ишак увидел, что мы перестали смотреть на него, и сразу снялся с якоря, обиженный нашим невниманием.

— А вы сюда из Москвы приплыли? — спросил старый спартаковец.

Раздался сдержанный сардонический смех. Старостину объяснили, что прямое морское сообщение между Москвой и Сардинией еще не налажено и что мы приплыли из Ленинграда.

Старостин быстро нашелся и сказал, что под Москвой теперь, при социализме, тоже есть море, и вообще Москва — столица пяти морей. Сразу стало видно, что позади у него тысяча пресс-конференций во враждебных странах. И что он умеет ставить на место буржуазных писаков и провокаторов. Он был правым крайним нападения и капитаном советской сборной еще в двадцатых годах.

У входов на стадион густо стояли карабинеры с красными лампасами на брюках, белыми широкими португезами через левое плечо, тяжелыми патронташами на ремнях. В подкрепление карабинерам стояли солдаты в могучих башмаках и с полуавтоматическими винтовками на плече. На помощь карабинерам и солдатам явились обыкновенные полицейские в темной форме и накидках. Чувствовалось очередное обострение международной обстановки в центре Европы.

Вокруг вооруженных сил Итальянской республики вертелись итальянские мальчишки — маленькие, сопливые и блестящие, как маслята. Они, как все мальчишки, мечтали скользнуть между ног вооруженных сил.

Висели рекламы нового фильма Пьетро Джерми, кока-колы и объявление о розыске бандита с его фото и суммой приза за выдачу преступника.

Попахивало карменситой, вендеттой, итальянскими страстями. Предстоящее футбольное сражение каким-то образом аккумулировало в себе самые разные вещи.

Бетонные трибуны были отделены от арены колючей проволокой. Она висела на таких кронштейнах, как в концлагерях. Сидячих мест на современном Колизее для публики не было. Они были только для карабинеров и располагались с внутренней стороны колючей загородки. Умные сарды принесли с собой специальные подушечки, положили их на бетон ступеней и уселись. Остальные стояли.

Под нашей трибуной оказался ватерклозет. Иногда холодный ветер забрасывал мне в ноздри его запах. За три тысячи лир — стоимость билета — такое можно было бы и не нюхать. Пошел дождь.

Мы грызли жареный арахис, приготовив для начала плакат: «Молодцы!»

Выбежали футболисты в белой форме с красными номерами. Мы приняли их за итальянских, потому что одновременно с их появлением на блеклом поле ударил могучий артиллерийский залп. Из настоящих пушек, откуда-то с близкого форта. И все мы от неожиданности вздрогнули. Ракеты падали на поле. Синие дымы ветер волок и трепал, как на Бородинском поле в фильме «Война и мир». Все смешалось — падающие на игроков недогоревшие ракеты, залпы, крики зрителей. Белые гладиаторы удачно маневрировали среди ракет и дымов. Мы, оказывается, ошиблись. Это были спартаковцы. Итальянцы выбежали в форме Пьеро. Левый рукав у них был

спереди красный, а сзади синий. Правый рукав — наоборот. Футболки тоже были разноцветные — половина черная, половина красная. Трусы я плохо запомнил, потому что они быстро стали грязными.

Сарды четко построились и сразу ровной шеренгой набежали на белую шеренгу. Я думал услышать знакомый крик: «Моритури те салютант!», но сарды молча вручили противникам по здоровенной бутылке «москолы».

Это было мило. И несколько неожиданно для наших гладиаторов, которые стояли с цветочками и вымпелом. Итальянцы сунули нашим бутылки и отбежали на свою линейку. Играть с бутылкой в руках дело невозможное — это понимал даже я, который ничего в футболе не понимает. Было интересно, как наши выйдут из положения.

Доктор и массажист потрусили на поле и собрали бутылки в плащ, потом сложили их в живописную грудку у главной трибуны.

Капитан нашей команды Хусаинов, который был ровно в два раза меньше, чем его итальянский коллега, вручил ему вымпел.

Взвился свист, и взвился в серые небеса пятнистый черно-белый мяч. Время прогноза кончилось, слово взяла нога, как пишут спортивные журналисты.

У проволоки появились солдаты с полуавтоматами, пистолетами, в крагах и заняли заранее подготовленные позиции. У солдат-макаронников был сытый вид.

До двенадцатой минуты шла взаимная разведка. Потом наши чуть было не забили гол. Один красно-синий остался корчиться возле своих ворот. К нему побежали итальянские доктора с термосами в руках. Тринадцатую и четырнадцатую минуту красно-синий продолжал корчиться, а остальные отдыхали — глубоко дышали, приседали, короче говоря, делали разминку, чтобы не замерзнуть на ветру и дождике.

На пятнадцатой минуте (все по моим часам) подбитый встал и легко побежал в атаку. Стадион отметил его мужество и стойкость бурей аплодисментов.

Наш экипаж уже несколько освоился с соседями. У соседей-сардов был нормальный цивилизованный вид, многие в шляпах, в очках — люди как люди. Неясно было даже, зачем так много военизированной охраны.

Правда, если б я уже тогда имел энциклопедическое образование, то знал бы, что профессор университета в Сассари Питцорно собрал большую коллекцию сардин-

ских черепов и нашел, что они все отличаются такими аномалиями в строении, каких он почти совсем не находил при анализе прочих итальянских черепов. Таким образом, толпа вокруг имела совершенно особенные черепа и надо было держать ухо востро. Но советского консула на Сардинии нет, проинформировать нас о здешних черепах он не мог, потому что остров закрытый. И наш уже сильно озябший экипаж сперва робко, а потом все громче, веселее и беззаботнее стал орать: «Шайбу!»

Нас была маленькая горсточка советских людей среди толпы людей со странными черепами, но мы выполняли свой долг.

Спартаконцы, галопируя по лужам стадиона, ни разу не посмотрели в нашу сторону. Но наш вопль сразу и таинственно помог им.

На шестнадцатой минуте итальянцы вытащили мяч из сетки.

Мы взвыли: «Мо-лод-цы!!!»

Наши соседи-сарды в такт топали ногами и орали сразу на всех своих диалектах. Я побаивался, что все мы вместе — и сарды, и наш экипаж — окажемся в ватерклозете раньше естественной надобности, потому что трибуна не выдержит.

Возле груди бутылок «москолы», глубоко засунув руки в карманы, стояли Старостин и тренер Симонян. Невозмутимостью и скульптурностью поз они напоминали Спартаконца на колеснице. Только карабинеры, сидящие на специальных скамеечках вокруг арены и удачно вписывающиеся белыми портупеями в рекламу пепси- и кокаколы, хранили такое же спокойствие.

...Хусаинов прорывается, обводит, еще обводит, еще, и вдруг опять: гух!!! бах!! — залп.

Хусаинов делает кульбит через голову. Точь-в-точь как обреченная на киножертву лошадь, когда на съемках перед ней, беднягой, натягивают проволоку. Такое впечатление, что залп попал прямо в нашего капитана.

С поля четко доносятся русские слова: «Левый край!.. Пошли!.. Протри глаза!..» И часто повторяется святое слово «мать». Приятно слышать родную речь в дикой стране, ощущать ее мускулистую собранность — то, что римляне определяли как «мульта пауцис» — «многое в немногих словах».

Я тоже начинаю орать: «Шайбу!» Оказывается, когда орешь, теплее, нежели когда переживаешь про себя, тихо.

Наши бьют угловой, итальянцы выстраивают стенку,

ее отгоняют. Удар! Вратарь хватает мяч. Стадион ревет от восторга. На соседней трибуне сарды неумолимо продолжают топтать ногами — согреваются.

Штрафной нашим! Знатоки считают его незаслуженным. Красно-синий негр косолапо, боком разбегаются и бьет высоко и криво. За этого парня и отдали кучу денег. Рожа у него устрашающая, но лупит он все время куда-то в сторону...

Первый тайм закончился 3:0 в пользу наших гладиаторов.

Встала проблема: как найти проходы в колючей проволоке.

Надо было пробраться к спартаковцам, оказать им моральную поддержку, передать привет от советских моряков. А игроки скрылись в чреве противоположного сектора. Сектора разделялись сетками, как в слоновнике. Везде стояли карабинеры, жандармы, солдаты.

Минуты шли, лазейки не находилось.

Наконец мы со старпомом набрались нахальства и пошли к самому пестро обшитому галунами карабинеру. И он нас понял. Открыл калитку в колючей проволоке, показал рукой через поле: бегите, мол, наискосок.

Жуткое дело трусить рысцой по стадиону на глазах тысяч людей. Я чувствовал себя старым, усталым, подслеповатым тюленем в аквариуме Монако. Лица на трибунах плыли, как за толстым стеклом и мутной водой.

Ход в помещение гладиаторов был мрачным, холодным, на бетонном полу длинного, тускло освещенного туннеля стояли лужи воды, стены блестели сыростью. В раздевалке тоже было тускло и мрачно. Мы проскользнули туда, в святая святых, и обмерли от робости и незнания, что же делать дальше.

Я, правда, подготовил короткую речь для спартаковцев об участии Сардинского королевства в Крымской войне, осаде Севастополя, реванше, который сегодня, через сто тридцать лет, мы здесь взяли, вернее должны взять. Но язык присох к гортани.

Наши герои сидели в усталых позах, вытянув ноги, уставившись в низкий потолок. Они были вдрызг заляпаны грязью. Никто и не взглянул на нас. Родные черепа не повернулись в нашу сторону.

Такого ощущения третьего лишнего я давно не испытывал. Мы почему-то рассчитывали на радостные улыбки, теплую встречу — земляки на чужбине и тому подобное. И вдруг полное наплевательство.

Симонян стоял в центре и говорил:

— Мы выигрываем у лидера!.. Входить в зону... Амбарцумян был хорошим организатором сегодня... разжечь огонь энергии можно только коллективной игрой... защита недостаточно прочная, поэтому передняя линия идет в атаку... давить их!.. второй тайм будет труднее...

Игроки цокали шипами бутс по цементу пола, терли ляжки, смотрели в потолок. Лица у них были землистые. Да, тяжелую работенку выбрали ребята, подумал я. Вот уж о чем никто из них не думал, так это о том, что они находятся на родине Спартака. Им было не до таких мыслей. Завтра им предстояло лететь в Рим, оттуда в Болонью. И везде носиться по лужам.

Древние гладиаторы, уходя на покой, получали на память меч.

Футболисты — мяч.

Кесарю — кесарево, как говорили в старину на этой земле.

Мы со старпомом юркнули обратно.

Над стадионом разорвало облака, средиземноморское солнце слепило глаза, сверкала трава. Самолетик пролетел над самой ареной, волоча за собой итальянский флаг.

Четвертый гол нашим не засчитали. На двадцать пятой минуте итальянцы сквитали один. Негр продолжал бегать боком, как краб, и неторопливо вроде бы, но очень часто оказывался около спартаковских ворот и трепал нашим нервы изрядно.

Спартаковцы явно выигрывали и тянули резину, под свист толпы били в рекламы «Мартини», «Фиата», пепси-колы...

Возле автобуса нас атаковали мальчишки. Они, конечно, приняли нас за футболистов. Клянчили все подряд. Мы подарили им плакат: «Молодцы!»

Только автобус тронулся, его остановили вооруженные силы и силы безопасности Итальянской республики. Человек в штатском распахнул дверцу, спросил на отличном русском:

— У вас украли что-нибудь?

Мы судорожно рванули по карманам. Пропаж не было.

— А это? — спросил человек в штатском и показал «Молодцы!» — Вы это подарили?

— Да.

— А я думал, они украли!

Он козырнул нам двумя пальцами и отдал плакат мальчишкам.

Мальчишки подняли «Молодцы!» над головами и помчались по улицам Кальяри.

Недавняя статья в «Правде» о Сардинии заканчивается словами: «Тема разговоров, начинающиеся перемены создают... атмосферу ожидания новой, более счастливой жизни».

Да сбудутся эти слова.

Мы уходили с Сардинии на Керчь.

Был чудесный день. Четко рисовались на безмятежно синем небе пики и уступы Безумных гор.

В Арбатаксе оставалась целая русская осиновая роща.

С причала глядел на наш отход священник в черном одеянии. Девушки сидели на окраине мола, кидали в воду камни. И мир был во всем.

Но вот мы оттянулись на якоре, стравив швартовы почти до конца, судно встало посередине бухточки, высоко вздымаясь бортами над тихой водой, — мы уходили на Керчь пустыми, в балласте. Уже загрохотала якорная цепь. И с вест-зюйд-веста ударил шквал. Загудели и надраились втугую нейлоновые швартовы. Пулеметом защелкал флаг Итальянской республики. Проклятья посыпались с мостика. И грозовые тучи заклубились на пиках Безумных гор.

За молы надо было выскакивать без лоцмана, его необходимо было ссадить до выхода в море — там маленький лоцманский катер не смог бы подойти к нам.

И трудность отхода в грозовом шквале быстро выбила из нас воспоминания о земле, которую мы покидали. Обычная история для моряков.

МИМО ГРЕЦИИ

Всю ночную вахту Сицилия строила мне каверзы. Аэромаяк Коццо-Спандаро путается с маяком на острове Капо-Пассеро. И характер Коццо вообще не отмечен на карте. Дает он, очевидно, три вспышки в группе. А Капо — две. И Сиракузы оказались между нами — и радиомаяком Аугуста. Когда радиоволна переходит с воды на сушу и опять на воду, то направление ее сильно изменяется. Камни, исхоженные старцем Архимедом, мешали определиться. Карта пестрела квадратами полигонов для подводных лодок. В голове вертелось школьное:

Тело, впернутое в воду,
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
Телом, впернутым туды.

Между подводными лодками скользили в глубинах сирены. Здесь была их родина — у сицилийского мыса Пелор, или Капреи.

Есть много вариантов происхождения рыбьих хвостов у сирен. Мне больше всего нравится тот, в котором говорится, что Афродита наказала сирен хвостами за их безнравственное желание остаться девами...

Дождь лил проливной. И Стародубцева не было на привычном месте у штурвала. Он член ревизионной комиссии и вместо вахты снимал натурные остатки в артелке. И радар давал какие-то немислимые дистанции до берега.

Надежда была на Мальту. Никогда еще не видел острова, который был бы так вдребезги, сплошь весь утыкан крестами — значками церквей, храмов, часовен и соборов.

Впереди Ионическое море, Пелопоннес, Крит.

Остров есть Крит посреди виноцветного моря прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный.

Заглянул в рубку старпом, с которым мы когда-то в Лондоне так удачно ездили за фуражками. У него неприятность. Чтобы увеличить ход, посадить глубже корму, притопить винт, он накачал пожарными шлангами в четвертый трюм заборной воды. А паел — настил из досок на дне трюма — всплыл. Доски вместе с грязной водой бултыхаются в трюме. Воду надо откачивать, настил сколачивать и сажать на место. Но доски набухли, не лезут на места. До Керчи осталось всего несколько суток. Там сразу должна начаться погрузка. И чиф потерял юмор.

— Критиотам иногда по ночам кажется, — сказал я расстроенному чифу, — что их остров плывет. И они даже зажигают отличительные огни. Видишь, на мысу Ставрос — правый отличительный, на Литиноме — левый...

— Я знал одного парня вроде тебя, — сказал чиф. — Но он рехнулся у Нордкапа. Штормовал там четыре дня. Глаза у него были точно как у тебя сейчас... Потом я его встретил на площади Льва Толстого в Ленинграде. Он был весь в бинтах. Оказалось — упал с велосипеда...

И, еще раз внимательно взглядевшись в меня, он ушел в трюм забивать гвозди в паел.

С левого борта за влажной ночной тьмой спала Франциска, повзрослевшая на четыре года. Она, конечно, давно забыла о нашей встрече. Могла ли она предположить, что я все еще помню свои сомнения о том, позволительно ли сказать про девушку, пробудившую нежное и тревожное любопытство; что она голенастая девушка? Или слово «голенастая» несовместимо с нежным и тревожным любопытством, с обликом девушки, которая может нравиться с первого взгляда? А я вот помню ее синее платье горничной, улыбку — сверкнет зубами, глянет прямо в глаза и потупится...

У нас с Франциской наклеивался мимолетный дорожный роман. А я и хотел, и боялся его. И все думал: «Как бы чего не вышло...» И действительно ничего не вышло.

«Как-то парень с девушкой поспорил», — пела мне Франциска, а под бортом старика «Челюскинца» хлюпали волны, и я для порядка поругивал рулевого и смотрел вперед, как положено вахтенному штурману, а впереди всходила Венера над Средиземным морем. «Что вдвоем они переночуют без объятий и без поцелуев», — пела Франциска старинную хорватскую песню и смеялась, придерживая от встречного ветра короткую юбочку. «Юноша тогда коня в заклад поставил, а она монисто золотое. Вот когда случилась полночь, говорит тихонько парню девка: „Повернись, перевернись разочек! Что лежишь, как истукан, на сене? Иль тебе коня, быть может, жалко? Мне не жаль мониста золотого!“»

Песенка была эпиграфом и эпилогом нашей встречи.

Спокойной ночи, Франциска! Раньше я думал, что лучшее лекарство от душевной слабости — дорога. Теперь я все больше и больше сомневаюсь в этом.

Уже перед концом вахты повстречалось судно «на стопе» с двумя красными огнями. Расходились близко. Я разсбрал в бинокль подсвеченную прожектором нашу эмблему на трубе. И два вертикальных красных — «не могу управляться». Включил радиотелефон:

— Встречное судно! Я советский теплоход «Челюскинец»!

— Я вас слушаю, я танкер «Каховка»!

— Что случилось, родная винтовка? Чего стоите?

— Ремонтник в машине.

— Куда идете?

— Далеко. В Антарктиду. Керосин везем китобоям.

- Помочь ничего не надо?
- Нет, спасибо. Сами помаленьку.
- Счастливого плавания!
- Счастливого плавания!

Днем прошли Наварин — тихую, укрытую от ветра и волн бухту, пустынную, заброшенную. В 1827 году здесь сражались капитан первого ранга Лазарев, лейтенант Нахимов, мичман Корнилов, гардемарин Истомина. Они участвовали в разгроме турецко-египетского флота, защищая наших греческих братьев от ига. До чего все в этом мире течет и меняется...

Как ни странно, но в Греции у меня есть приятель-миллионер.

Мы встретились в Загребе. По каким-то причинам я здорово задержался в этом старинном университетском городе. И вечерами ходил в кафе на главной улице и регулярно, методично пил там пиво. Меня уже и буфетчицы знали. Покажешь им два пальца, они улыбнутся и сразу вытаскивают из бака со льдом две бутылки пива.

Я занимал место у окна и смотрел сквозь стеклянную стенку на толпу. Неоновые лампы высвечивали меня для обозрения со стороны улицы. А так как толпа, идя по тротуару, только и делала, что гладела на витрины магазинов, то автоматически пялилась и на витраж кафе.

И вот так проведешь часок, выпьешь пива, покуришь, и на душе тихо делается, спокойно. От мысли, что не только ты дурак, но и все дураки. И мне все вспоминался вопль Шалапина на репетиции: «Вы, господа, не режиссеры, а турецкие лошади!» Ведь как его, бедного, допекли, если он вдруг турецких лошадей вспомнил! А я его вспоминал, потому что вокруг было много следов турецкого ига.

В этом кафе мы с Жорой и познакомились. Он из Салоник ехал в Триест и завернул в Загреб повидать своего дружка. Дружок в университете там учился, тоже грек.

Попросили ребята разрешения поставить бутылки рядом с моими на столик у окна.

— Плиз, — сказал я. — Давай, ребята, в тесноте да не в обиде.

Тут студент — смысленый парень — догадался, что я советский. Они русский язык в университете изучают. Когда Жора узнал, что я советский, то стал лупить меня по плечам и полез целоваться, хотя был еще совершенно

трезвый. Оказалось, он первый раз в жизни видел живого человека из Советского Союза. А я еще не знал, что он владеет коньячным заводом в Салониках и что он миллионер. Парень как парень — чуть меня моложе. Они мне свое пиво льют, я им, как положено, свое. Они мне прикуривать дают, я им. Они мне «Честерфилд», я им «Нашу марку».

Они меня спрашивают, что я думаю о Джоне Кеннеди. Я говорю, что он был хороший парень, моряк, но больно дорого стоил — десять миллионов.

Жора расхохотался, а студент мне сказал, что я пью пиво с миллионером. Жора стоит не меньше Кеннеди.

Я немедленно заявил, что я коммунист, но выступаю за мирное сосуществование.

От восторга Жора ударил меня по спине. Я его по плечу. Потом миллионер схватил меня за руку и потащил из кафе. Оказывается, решил угостить ужином в греческом кабачке. Есть такой в Загребе.

Студент объяснил, что Жора меня не отпустит, пока я не попробую греческого мяса.

Мы залезли в шикарный «мерседес», Жора плюхнулся за руль, и через двадцать минут мы уже сидели в их кабачке.

Мясо было отменное. Без крови внутри, но когда ткнешь ножом, то из разреза вырывается розовый пар. И пахнет пряным перцем, незнакомой страной, незнакомой жизнью. И ледяное бледное вино, легкое, как пена, но крепкое. Потом мы перешли на коньяк. Но Жора все говорил, что если бы он знал, что мы встретимся, то захватил бы ящик коньяка! И как он не догадался сунуть ящик в багажник! А здешний — не коньяк, а ерунда.

Оркестр играл на полный ход. За низкими перильцами ресторана спали розы. Студент-переводчик запарился, заикаться начал.

Вдруг Жора полез в карман и вытащил паспорт.

— Посмотри! — тыкал он пальцем в паспорт. — Видишь? Гватемала... Видишь? Франция... Видишь? Берег Слоновой Кости...

Действительно, у него все странички паспорта, на которых отмечают визы, были лиловыми от штампов.

— А Советской России нет! — воскликнул я.

— Меня не пускают.

— Врешь, — сказал я. — Говори честно, ты пробовал?

— Нет, — признался он и хлопнул еще коньяку. — Чего пробовать, все равно не пустят. Я — капиталист.

— А ты очень хочешь?

— Очень! — И слезы повисли на его греческих ресницах.

— Давай, Жора, раздадим твой капитал бедным, обездоленным, — предложил я.

Он очень обрадовался. Искренне обрадовался такому простому пути в Советскую Россию. Но вовремя вспомнил, что коньячный завод, оказывается, принадлежит не одному ему, но и мужу сестры.

— Муж сестры не согласится! — сказал Жора скорбно.

Потом мы немного поспорили, кто будет платить: он или я. Моя коммунистическая щепетильность требовала не уступать в этом вопросе. Но его капиталистическая щепетильность не отставала от моей. И право было на его стороне, так как он пригласил меня, а не я его.

— В отель тебе рано, поедем еще куда-нибудь! — решил капиталист. — И кто первый налакается, тот и платит.

— О'кей! — согласился я.

В этот момент выяснилось, что за ужин уже заплатил потный от трудной работы переводчика студент Загребского университета.

Мы вышли из греческого кабачка. Узкие мусульманские улочки явно стали еще уже. Интернациональные звезды подмигивали с ночных небес. И честно говоря, отчаянно хотелось в гостиницу в постель. Но как дезертировать с соревнований по выпивке, если противник — миллионер?

Жора елозил ключом по дверце машины, но не мог попасть в нужную щель.

— Слушай, буржуй, — сказал я Жоре. — Давай такси возьмем. Ты уже сильно под газом, а меня ждут в Совдепии.

Но капиталист как раз попал в нужную щель, сказал:

— О'кей! — и полез в машину.

Нам со студентом оставалось сделать то же.

Миллионер уверенно набрал скорость.

— Ешь ананасы, рябчиков жуй, — сказал я с удивительным провидением. — День твой последний приходит, буржуй!

И действительно, на повороте Жора ударился о поребрик, колесо перекорежилось и бескамерная шина выпустила воздух.

Жора тоже как-то потух. Мы скромно, понуро попрощались. Утром ему надо было ехать в Триест — под-

писывать какой-то контракт, а пока звонить на станцию обслуживания.

Миллионера звали Миндис, а имя студента я забыл. Я бы и миллионера забыл, но он мне визитную карточку дал, а там черным по белому написано: «Георгий Миндис». И даже телефон его в Салониках: 8-23-73.

Кто хочет поговорить с настоящим миллионером, может позвонить Жоре и передать ему от меня привет.

Людмила Ивановна принесла радиogramму. Положила на карту, на остров Лесбос, сказала обычное:

— По вашей части, мальчики!

Какое-то греческое судно сообщало, что пропавшего ранее в таких-то координатах человека теперь следует считать пропавшим «из жизни». Греки просили все суда поблизости при обнаружении на море мертвого тела забрать его и сообщить. Радиogramму подписал капитан Алкивиад.

Координаты покойника, к счастью, были не на нашем курсе. Нет ничего более неприятного для зрительных и прочих нервов, нежели вид старого утопленника.

«Алкивиад»... Был такой древний философ или писатель? Мучительно долго ломал я себе голову над этой проблемой. И потом выяснил, что был. Только не философ и не писатель, а политик и полководец.

Около двух с половиной тысяч лет назад он имел замечательно большую и красивую собаку. У собаки был необыкновенно красивый хвост. И этот необыкновенный хвост необыкновенной собаки выдающийся политик, полководец и флотоводец велел отрубить.

«Его друзья бранили его и говорили, что все ужасно недовольны его поступком с собакой и ругают его. Он улыбнулся в ответ искажал: „Мое желание сбылось, — я хотел, чтобы афиняне болтали об этом, а не говорили обо мне чего-либо хуже”».

Его желание сбылось в стократ большем объеме. Спустя две с половиной тысячи лет Моруа вспомнил Алкивиада и заметил, что воображение людей легче поразить отрубленным собачьим хвостом, нежели новой философской доктриной. И каждый хороший политик ныне знает это правило как дважды два четыре. И я нашел Алкивиада только через отрубленный хвост необыкновенной собаки. Профессиональный предатель, честолюбец, как «блестящий метеор пронесшийся над Грецией и оставивший

в ней, особенно в Афинах, одно лишь разрушение»; чемпион олимпийских игр, никуда не годный оратор, превосходно умевший болтать; адмирал, вырезавший в палубе флагманской триеры отверстие, в котором на ремнях подвешивали его койку, ибо он не хотел валяться на досках палубы...

Это из Плутарха.

Люди создали сотни наук. Науки помогают людям идти вперед. Одна из самых древних наук — история. Одно из древнейших государств — Греция. И — черные полковники. На кой черт тогда история? Весь опыт прошлого летит бесхвостому псу под хвост. Человечество с тупым упорством повторяет старые ошибки.

В записках Геннадия Петровича есть страничка, которую я не смог использовать в его рассказе «Хандра». Возможно, он был совсем невменяем, когда писал: «Мы должны вернуться к прапрапрадедушкам. Нам хватит фантазии. Фантазия — это аккумулярованное время. Люди заложат в электронные машины проблемы Трои, казнь Сократа, костры инквизиции. И это произойдет, если люди останутся жить. Все, что не решили люди в свое время на своих континентах, в своих государствах, — остается. Оно в несчастьях и глупостях сегодняшних людей и дней. Мы уходим дальше и дальше в века, не доискавшись истины в прошлом. Это от слабости. Мы предпочитаем лезть в новые проблемы, чтобы не сознаться в своей неспособности разрешить теперешние. Но бичи времени повернут стадо лицом к покойникам, от которых не осталось ничего, кроме перегноя. Нельзя забывать, что перегной — соль земли...».

Давно известно, что сумасшедшие и гении сходятся на какой-то неуловимой границе. И вдруг действительно современный молодой человек, лечивший Геннадия Петровича, когда-нибудь отдаст мне все его записки и в них я найду интереснейший материал, создам единственный в своем роде роман и взойду на такой близкий — вот там, за полосой слабого дождя и испарений, — Олимп?

08.01.69

Через проливы проливаются друг в друга океаны и моря. И мы проливаемся вместе с ними.

Проливы — как переулки между площадями. Площади могут быть огромны и роскошны, но переулки чаще всего узки и извилисты.

В проливах смешиваются характеры океанов и морей.

Труднее всего плавать среди смешения характеров. Всякое смешение несет каверзу.

В Малаккском пóлосы сулоя кипят с таким мрачным шумом, что кажется,ходишь в шквал, сорвавшийся с гор Суматры. Но воздух вокруг остается безмятежным, полный штиль и пенные волны, кипящие за бортом, рождены не ветром, а Индийским и Тихим океанами, их рукопожатием.

Ледовитый с Тихим встречаются безмолвно под сенью самого величественного из виденных мною мысов — мыса Дежнева. В Беринговом проливе ощущаешь свое судно обыкновенным спичечным коробком.

Прежде чем пролиться сквозь черноморские проливы, ты читаешь такую бумагу:

«Уважаемый капитан!

Как Вам, несомненно, известно, Дарданеллы и Босфор, через которые Вам предстоит пройти, являются узкими и сравнительно длинными проливами с оживленным морским движением, сильными течениями и многочисленными крутыми поворотами.

Опыт многих лет показал, что общие меры предосторожности, обычно предпринимаемые капитанами судов при прохождении через проливы, являются далеко не достаточными для обеспечения полной безопасности людей и имущества и что необходимы некоторые дополнительные меры предосторожности.

Ниже перечислены некоторые из наиболее крупных аварий, происшедших в проливах в течение последних нескольких лет, с целью подчеркнуть возможность серьезных морских аварий в случаях, когда суда следуют через проливы без соблюдения всех мер предосторожности. Нет необходимости говорить о том, что капитаны несут полную меру ответственности в судебном порядке, в то время как судовладельцы терпят убытки и к тому же должны платить большие суммы за причиненный ущерб.

Ниже приводим перечень аварий:

4 апреля 1953 г. шведское грузовое судно «Ноболанд» столкнулось с турецкой подводной лодкой «Думлупинар». Погиб 81 человек из экипажа подводной лодки. Материальный ущерб составил миллионы лир.

14 декабря 1960 г. греческий танкер «Уорлд Гармони» столкнулся в проливе Босфор с югославским танкером «Петер Зоранич». Оба танкера были охвачены пламенем и взорвались, в результате погибло 20 человек, в том числе оба капитана. Кроме того, 20 человек получили

увечья. На турецком лайнере «Гарсум», ошвартованном недалеко от места происшествия, также возник пожар. Ущерб, причиненный этому судну, составил миллионы лир.

В декабре того же года греческий танкер «Парос» разрушил два дома, расположенных на набережной пролива Босфор. В результате погиб один человек и получил увечья другой.

19 сентября 1964 г. норвежский танкер «Норборн» наскочил в проливе Босфор на полузатонувшие обломки танкера «Петер Зоранич» (см. выше). Нефть из пробоины норвежского танкера распространилась по проливу, создав угрожающую обстановку в порту Стамбул.

21 июня 1965 г. советское судно «Степан Крашенинников» разрушило набережную в Босфоре.

Уважаемый капитан!

Мы уверены, что, после ознакомления с приведенными выше авариями, Вы поймете необходимость выполнения дополнительных мер предосторожности для предотвращения печального повторения подобных случаев...»

Далее следуют специальные правила и «Благодарю Вас: Счастливого плавания! Капитан Орхан Караманоглы — Директор регионального управления портов и мореплавания в бассейне Мраморного моря».

Прочитав такую инструкцию, хочется трижды плюнуть через левое плечо.

В Дарданеллах было холодно, зябко, гриппозно, промозгло. Облетевшие пирамидальные тополя и снег на них. Снег на сопках дарданелльских берегов. Было плюс три градуса. Серые, свинцовые, тяжелые краски вокруг. И вода, и берега, и небо — все было серо-свинцовым. Дельфины мчались рядом, чихали от простуды. Стайки черных птиц стремительными неразрывными цепочками извивались над волнами. Большие черные птицы неподвижно сидели на швартовых бочках под берегом в Чаннакале.

Здесь мы ложимся в дрейф, вернее, стопорим машину. Судно бесшумно скользит вперед. К штормтрапу подваливает карантинный катер. Флаг с полумесяцем на корме. Катер властей не один. Его прикрывает еще полицейский катер.

Старпом с судовыми документами в зубах лезет по штормтрапу к туркам. Я в бинокль рассматриваю берега

Чанаккале. На отвесной скале изображен солдат первой мировой войны. Он нелепо бежит куда-то — или в атаку, или от атаки. Нечто вроде костра рядом — изображение вечного огня? Дата... Крепости и форты на берегах такие тяжелые, массивные, что кажется, под ними должны прогнуться скалы. И очень плохие, малозаметные, неухоженные маяки.

Возле отметки самых малых глубин «7,4» я путаю маяки, но все обходится благополучно. И вот уже Мраморное море, и опять встречаются чихающие дельфины — наши братья по классу млекопитающих.

После вахты спустился в каюту, в ее тесный уют, с кактусом, с бельем, сохнувшим над умывальником. И устроился на диванчике штопать шерстяные носки. Я начал эту штопку еще в Эгейском. Ботинки рваные, а в Керчи по прогнозу — минус восемь, и лед в Керченском проливе тяжелый. Штопал с удовольствием. В таких занятиях есть покой, домашнее нечто, отдых от официального, уход в себя.

В час ночи — опять на моей вахте — легли в дрейф у Босфора.

Был штиль. На банке Ахыркапы мигал буй. А за буюм мерцали еще сто тысяч алмазов — мерцал Стамбул. Хорошо заметны были огненные реки центральных авеню.

Предупреждение: «В Среднем порту Стамбула нельзя ловить рыбу даже удочками!» Не собираемся мы ловить вашу рыбу...

«В центральной части пролива Босфор суда, идущие на юг, должны держаться азиатского берега, а суда, идущие на север, — европейского».

Опять занесло на границу Европы и Азии. Последний раз я размышлял о границах между континентами у острова Вайгач. Сейчас там, в проливе Югорский Шар, поллярная ночь, кромешная тьма, четырехметровый лед, бесшумные тени белых медведей, пурга метет между торосами. Привет вам, детишки из поселка бухты Вариска!..

Через несколько минут мне предстояло встретить первого в жизни турка. Показывая вспышки белого огня, подходил лоцманский катер. У нас за бортом уже висел шторм-трап, горела люстра и, как положено, из фанового шпигата лилась грязная вода. Даже я бы сказал — хлестала. Куда ни повесь трап на «Челюскинце», обязательно рядом оказывается шпигат, и из шпигата хлещет вода,

и ветер несет брызги в подходящий лоцманский катер и физиономию лоцмана. Ты испытываешь смущение и страх, ибо лоцман в такой ситуации может отказаться от проводки и ты еще уплатишь неустойку.

Стамбульский лоцман очень долго поднимался на борт. Обычно лоцмана делают это быстро, как обезьяны, — ведь они всю жизнь только и делают, что лазают вверх-вниз. Можно, кажется, натренироваться. За десятки лет средний лоцман, наверное, пробегает по отвесным, скользким, мокрым штурм-трапам расстояние от земли до Юпитера.

Я, как положено, наступил ногой на ступеньку палубного трапа (такое правило ввели после того, как несколько лоцманов умудрились опрокинуть палубный трап на себя и сделали обратный кульбит в катер с летальным исходом) и протянул лоцману руку:

— Гуд найт, мистер пайлот! Плиз!

Турецкий мистер пайлот тяжело и неуклюже перелез через борт. Он был в длиннополом пальто и морской фуражке.

— Плиз! — повторил я, показывая рукой путь.

Турок не торопился. Он прислонился к борту и закрыл глаза.

Обычно лоцмана галопом несутся в рубку. Они бывали на стольких судах, что нюхом чувствуют дорогу, они бегут впереди тебя по переходам, как у себя дома, им и показывать ничего не нужно. Они экономят минуты, потому что на море время — это действительно деньги.

— Плиз! Кам ин! — еще раз повторил я.

Он наконец оттолкнулся от фальшборта и побрел по палубе, загребая ногами и опираясь на мою руку.

Зарево стамбульских алмазов осветило его лицо, оно показалось мне зеленым в зыбком свете. Ему было плохо, этому старому турку. Он ткнул пальцем в грудь, в сердце, сказал:

— Мало-мало-помалу, мейт.

А до рубки надо было подняться еще по трем трапам. И я полунес его, большого, старого, и нюхал турецкие запахи, которыми было пропитано его пальто, странные, азиатские, пряные, табачные запахи. Он все повторял:

— Мало-мало-помалу, мейт!

В рубке он шлепнулся на табуретку.

Я доложил капитану, что лоцман режет дуба. И отправил матроса к старпому за валидолом.

— Зачем ты его привел? — спросил капитан.

Если на один только миг допустить, что капитан способен задавать в высшей степени странные вопросы, то этот вопрос был именно такого свойства. А куда мне было турка девать? И что я — доктор, чтобы по физиономии лоцмана увидеть состояние его здоровья?

На такие капитанские вопросы лучше не отвечать.

— Все будет олл райт, мастер, — слабым голосом сказал турок из темноты ходовой рубки. — Вперед мало-мало-помалу!

— Вперед «самый малый!» — сказал капитан.

— Есть «самый малый!» — сказал я и толкнул рукоять телеграфа.

И мы пошли в Босфор на Леандрову башню.

«Геро — жрица Афродиты в Сесте — любила Леандра, жившего на другом берегу Геллеспонта. Леандр переплывал к ней каждую ночь, руководимый светом фонарика, который Геро зажигала на своей башне. В одну бурную ночь свет погас, и Леандр погиб в волнах. Когда на другой день Геро увидела его труп, пригнанный к берегу, она в отчаянии кинулась в море с башни. Ее судьба многократно служила темой поэтам».

Из всех поэтов, которых я знаю, ни один не способен проводить свою любимую дальше клетки лифта на лестнице. Потому судьба Геро и Леандра никого ныне и не волнует.

Валидола у старпома не оказалось. Лоцману принесли кофе. Он немного отошел, но сидел сгорбившись, нахохлившись. Командовал по-русски, со смешным акцентом.

В судовой журнал положено записывать имя и фамилию лоцмана. Я спросил его.

— Мустафа, — сказал он, глядя вперед на тысячи и тысячи огней родного Стамбула. Среди этих тысяч он видел штуки три-четыре тех огней, которые были нужны. Мы шли в сплошную мерцающую стену. И казалось, там лет даже шелки, в которую можно просунуться судну. Но огни расступались перед нами, как удаляется и расступается мираж перед путником. И вот уже силуэт Леандровой башни. И рядом по набережной несутся автомашины, блестят лаком. Взвыли сирены, прижались к обочине набережной легковые машины, промчались, полаяя красными огнями на крышах, пожарные — целый отряд. Город еще не спал. Огромный город Стамбул.

Дома проплывали мимо нас совсем рядом, в окнах светились домашние огни, там жили турецкие люди, всю жизнь смотрели на проплывающие мимо корабли, всю жизнь. И как у них голова не закружится?

В два часа десять минут прошли траверз Кандыджа-Балталиманы. Здесь около пяти лет назад «Архангельск» попал в аварию.

— «Архангельск»! — сказал Мустафа, кивая на руины дома.

Существует легенда, что в этом доме жил турецкий писатель. Он сидел за своим турецким столом и писал турецкий роман. За окном плавал туман и гудели в тумане корабли. Все турецкому писателю было привычно и мило. Вдруг стена перед ним раскололась. У письменного стола он увидел стальной форштевень, и огромный якорь заполнил всю его турецкую комнату. Жуткое зрелище травмировало его психику. Когда состоялся суд, к огромным убыткам пришлось прибавить еще удовлетворение иска писателя. Он требовал оплаты за те романы, которые он мог бы написать в будущем, если бы его психика не была травмирована в роковую ночь сентября шестьдесят третьего года. Согласно легенде, писательский иск был удовлетворен.

Но не турецкому лоцману было напоминать нам об этой грустной истории. Вот напишем капитану Орхану Караманоглы, что ты в тухлом виде ходишь на службу, вот сочиним, как говорится, телегу на тебя, накатим на тебя бочку, тогда не будешь тыкать пальцем в больное наше место...

Мы пролились сквозь Босфор спокойно. Встречных было мало, видимость хорошая.

У мыса Теллитабья застопорили машины. Черное море было черным в глухой ночи. И уже позади полыхал маяк зеленым огнем.

Дух моря каким-то таинственным образом отражается на морских картах. Есть карты живые, здоровые, вселые, зовущие к работе и радости здорового трудового рассвета. И есть карты скучные, мертвые. Черное море, к сожалению, имеет мертвые карты. Быть может, на них отражается сероводородная мертвенность его глубин? Нет ничего скучнее карт, по которым пересекаешь Черное море от Босфора на Керчь или Новороссийск.

Лоцманский катер привидением возник из тьмы. Опять тихие струи воды вдоль борта, запутавшийся кабель люстры, желтый конус ее света и брызги из шпигата.

У трапа мы попрощались с турком.

— Все олл райт, мейт! — сказал пайлот.

— Гуд бай! — сказал я.

Мустафа перелез на шторм-трап. Турецкий матрос тянул ему навстречу руку. Отвалился катер. И нет лоцмана, нет человеческой судьбы. Но вот почему-то запомнилось тихое и грустное: «мало-мало-помалу, мейт...»

ЛАТАКИЯ

Из Керчи мы пошли в Сирию.

В сирийском порту Латакия несколько суток ожидали постановки к причалу на внешнем рейде.

Мои знания Ближнего Востока питались тремя источниками. Все они были сомнительного качества. Изучение Востока я, правда, начал еще в отрочестве при помощи Шахразеды. Из тысячи и одной лекции обреченной на смерть прекрасной дочери визиря я отбирал только те, где говорилось о некоторых тайнах и странностях в отношениях мужчин и женщин. Любознательность и пытливость Синдбада-морехода, к сожалению, не остались в памяти.

Вторым источником был библейский миф о пророке Ионе. Знакомству с ним я был обязан заметкам сумасшедшего.

Третьим источником был кинофильм «Багдадский вор» и морская травля в кают-компанин. Это был наиболее полезный вид информации.

Свои знания я обязан был передавать матросу, с которым стоял якорную вахту.

Якорную вахту в Латакии со мной делил занятный матрос. Он был высокий, бледный, имел оттопыренные, как у лемура, уши и глубоко заторможенную реакцию. Я бы даже назвал его реакцию на внешние раздражители глубоко замороженной. Иногда он напоминал мне Каренина в юные годы, иногда сжиженный гелий.

Заторможенность можно считать врожденным спокойствием — и тогда это отличная штука. Но у Банова было другое. И когда старпом подсунул его мне на ходовую вахту, то с руля пришлось его снять.

Я довольно быстро заметил, что Банов спокойным, но каким-то козым взглядом шарит в компасе, когда задаешь курс в румбах, и спросил:

— Банов, сколько градусов чистый норд?

Он невозмутимо выждал минуты две и сказал:

— Двести восемнадцать градусов.

Я было подумал, он шутник, этот длинный и бледный Банов. Подумал, что под поволокой, под козьей пленкой в глазах — юмор. Ведь норд — ноль или триста шестьдесят градусов. И мальчишки это знают в пятом классе. А он только что закончил мореходную школу.

Но Банов не шутил. И нам пришлось расстаться. И старпом записал еще один зуб против меня. И вот на якорной вахте опять соединил нас. Знать румбы на якоре матросу не обязательно.

Было 00 ч. 00 м. восьмого февраля 1969 года.

Мы стояли на якоре милях в пяти от Латакии. Мерно вспыхивал входной маяк, и тогда в бинокль видно было, как вспыхивает белая ровная полоска прибойной пены вдоль мола. На рейде грустно и безнадежно мычали суда — звали катер с берега, звали подгулявших моряков.

Левее входа в гавань еще виднелись какие-то огоньки в домах. Дома на берегу гавани в Латакии подножьями уходят прямо в воду. Венеция, да и только.

За домами на горе угадывались на фоне звезд деревья, которые я считал оливковой рощей. Мечталось побывать в этой роще. Там поднимался минарет мечети. В момент зова к вечерней молитве записанные на магнитофонную ленту голоса муэдзинов славили Аллаха, господу миров, передавали привет и благословение господину посланных, господину и владыке Мухаммеду...

Вокруг судна и мористее была южная тьма, тьма преисподняя.

Палубные огни горели, но из рубки я ровным счетом ничего не мог видеть ни в корме, ни в носу. Огромные бензовозы и суперогромные грузовики — наш палубный груз — закрывали обзор полностью.

— Итак, Банов, мы опять вместе, — сказал я, начиная обязательный предвахтенный инструктаж.

Он молчаливо согласился.

— Банов, видите ли вы огоньки этого военного кораблика?

Близко от нас крался в море «большой охотник».

— Да, — ответил Банов после обычной паузы.

Здесь кораблик исчез. Я знал, что он должен исчезнуть.

— Банов, куда, как вы думаете, провалился этот кораблик?

Он молчал.

— Кораблик мог исчезнуть за горизонтом в полминуты?

— Не-ет, — ответил он, подумав.

— А утонуть так быстро мог?

— Не-ет.

— Что же с ним произошло?

Он медленно пожал плечами.

— В каком состоянии находится страна нашего с вами пребывания?

Он молчал.

— В состоянии войны. И вот кораблик исчез. Что он сделал?

Банов молчал.

— Кораблик погасил огни. Он ушел в патруль. Он начал нести охрану берегов родины. Смотрите карту. Любое судно, приближающееся к порту Латакия нерекомендованным курсом, будет обстреляно без предупреждения. Теперь смотрите газету...

Я специально приготовил для Банова наглядную агитацию. Крупным планом девять повешенных на площади Освобождения в Багдаде. Десятки тысяч людей наблюдают казнь. На груди повешенных плакаты: «С сегодняшнего дня — ни одного шпиона и агента на арабской земле!»

Банов мельком глянул на жуткие фото и уставился ниже. Там была изображена соблазнительная француженка, которая провела в пещере на глубине восемьдесят метров несколько месяцев.

Вот пещерная жительница только собирается улыбнуться, а через шесть кадров она улыбается в полный рот. Все фазы улыбки...

— Да, — сказал я тоном умудренного человека. — Мы, друг, живем в странном мире. Но слушайте о тех, кто висит. Вот Мухаммед Исмаил, он солдат. Вот Аль-Джи-наби — рабочий. Аль-Джабури — студент. Хуршид — обратите внимание, как далеко у него вывалился язык, — офицер... Это все арабы, Банов. Их подкупили, охмурили, зашантажировали. И они стали предателями... Но суть, к которой я гну, не только в этом. Скажите, была еще недавно Сирия угнетенной страной?

— Да...

— Молодец. Скажите теперь, хорошо или плохо живется людям, если их угнетают?

— Плохо.

— Молодец. А там, где люди живут плохо, они много воруют. И такие пережитки прошлого глубже корней ро-

дымных пятен, если у этих проклятых пятен есть корни. Ясно?

— Да, — сказал он, подумав.

— Вы видели фильм «Багдадский вор»?

— Не-ет.

— Здешний морской вор средней квалификации дает сто очков вперед Кио. Вы видели в цирке Кио?

— Д-да.

— Морской вор будет стоять перед вами, глядеть вам в глаза и не будет шевелить ни единым мускулом. Когда он уйдет, в палубе, на том месте, где он стоял, окажется дырка... Вам уже приходилось отворачивать пробки мерительных трубок?

— Не-ет.

— Так-так. Мерительную трубку отворачивают специальным ключом, у ключа приличный рычаг. Морской вор отворачивает пробку пяткой, глядя вам при этом в глаза. И потом уносит ее пальцами ноги. Пускай это сделает Кио — ему сразу дадут Нобелевскую премию... Были случаи, Банов, что, пока вахтенный штурман инструктировал матроса, как сейчас делаю я, местные умельцы отплавляли за борт к себе в лодку все швартовые концы. Итак, вы должны непрерывно обходить палубу от носа до кормы. И обо всем подозрительном докладывать мне на мост. Хаттрак!

«Хаттрак» означает «до свидания». Перед началом разгрузки я решил выучить несколько арабских слов.

Между выдающимися государственными деятелями и грузовыми помощниками капитанов есть сходство. И те и другие знают, что в момент прибытия есть резон произнести на местном языке одну-две фразы. Например: «Руси и хинди бхай-бхай!» или «Мердека!», или «Гуд монинг, леди энд джентльмены!» Такое вступление облегчает контакт. Дальше можешь уже переходить на родной язык. И заявить, что солнце (которое испепеляет все живое вокруг) символизирует ясность ваших отношений. Или что дождь (который лупит как из ведра) не может омрачить вашей дружбы, а наоборот, ее подчеркивает.

Моряку полезно знать на местном языке: «Сколько стоит шариковая авторучка, метр гипюра, кофточка?» Отцу нации соответственно: «Сколько стоит пушка, пшеница, атомная электростанция?» Чтобы уловить ответ, надо знать числительные.

И в тишине штилевой ночи на внешнем рейде Латакии я ломал голову над тем, почему наши числа называют

арабскими, если они ничего общего с арабскими не имеют. Ни в написании, ни в звучании. Например, «б» пишется в Сирии «0» и произносится «хамси».

Это рассказали мне советские инженеры накануне. Они сидели в каюте ласковые, как ягнята. Им срочно надо было получить 188 ящиков вибраторов для вспомогательной ЛЭП будущей Евфратской гидроэлектростанции. Вибраторы приплыли в первом трюме.

От слова «Евфрат» мне следовало вздрогнуть. Но я поймал себя на мысли, что на Евфрат мне так же наплевать, как на сто тысяч Тигров. Библейские звуки не действовали на мои барабанные перепонки. Я раздумывал о сугубой прозе. Над вибраторами на крышке твиндека были «Волги» в ящиках. «Волги» шли на Иорданию транзитом через Сирию. Выкинуть «Волги» можно было только плавкраном. Наши стрелы тут не годились. Плавкран в Латакии — сверхдефицит. И я знал, что девяносто девять шансов из ста — вибраторы выйдут из трюма последними. Но одному железному правилу я научился. Главное — не скупись на обещания. Если будешь резать правду-матку, тебе перегрызут шею приставаниями, жалобами, упрасиваниями.

— Вибраторы гасят колебания проводов, понимаете? Провода рвутся, когда нет вибраторов... А ветры здесь отчаянные...

— Ребята, я отлично знаю, что Междуречье — кровавое место. Займусь вашим грузом сам.

— Проблема выбора створа для перехода через Евфрат — интереснейшая в мировой политике, — разливались инженеры.

— Ребята, все будет в порядке. Сам буду следить за выброской вибраторов...

— Там скользят грунты. Как два бутерброда, сложенные маслом на масло. И это на глубине в тридцать пять метров...

— Понимаю, ребята! Масло масляное в квадрате, — говорил я. Мне надо было отвязаться от инженеров во что бы то ни стало.

— Очевидно, придется шприцевать под фундаменты жидкое стекло — сложнейшая техническая задача. И вибраторы...

— Ребята, а Библию вы почитываете? — спросил я, зная, что наши люди, работающие за границей, боятся религиозных тем как чумы.

— Зачем? Почему? — насторожились инженеры.

— О всемирном потопе слышали? Ведь подтвердилось дело! Ной отсюда поплыл к Арарату.

— Никакого Ноя не было, а потоп был, но подобные катаклизмы случаются раз в десять тысяч лет и инженерная мысль не может...

— А я утверждаю, ребята, что Ной был отличный моряк. И мало того — забулдыга-пьяница...

И наши бывалые строители сразу приняли мои слова за определенный намек. И стали уверять, что бутылка будет, если вибраторы...

Я сказал, что обижусь на них за это. И пускай инженеры лучше объяснят мне десяток здешних числительных. Они рады были похвастаться знаниями...

И вот я изучал арабские числительные.

Вокруг спало судно. И спала земля древнейших цивилизаций. И спало древнее море. И спали бензовозы на палубе, разрисованные камуфляжем.

Только несколько судов на рейде все не теряли надежды выудить с берега загулявших моряков и время от времени жалобно и призывно гудели. Но или моряки решили отложить возвращение до утра, или команда портового катера-перевозчика давно и беспробудно отдыхала.

Было холодновато. Сирия — север арабского мира. В древности холодный ветер назывался сирийским. И дурного человека сравнивали с таким ветром, ибо от дурного человека отворачивали лицо.

И когда около часа ночи в рубке возник Банов и, ничего не доложив, стал у притолоки, я решил, что матросик зашел погреться — восьмое февраля есть восьмое февраля.

— Салам алейкум, — сказал я. — Курите, Банов. Это еще ленинградские сигареты.

— Нет. Не курю, — сказал он, поразмыслив.

— Не замерзли?

— Не-ет.

Мы помолчали.

— Они на трап лезут, — наконец выдавил он.

— Кто лезет?

Банов задумался.

— Наверное, воры...

Трап, как всегда при стоянке на якоре ночью, был приподнят, но что это для опытного человека? Я отпихнул Банова и бросился вниз.

Под площадкой трапа юлила лодка, новенькая, с мотором. Они уже чем-то зацепились за борт и прятались

в тени. Что может быть нужно трем полуголым мужчинам с головами, закутанными куфией, глухой ночью под бортом чужого судна, в добрых пяти милях от берега, без фонаря? Об этом и Аллах не знает.

Я грозно объяснил молчаливым теням, что требую от них хаттрак. И что чем позже состоится наш следующий хаттрак, тем это меня больше устроит.

Они без звука гребнули несколько раз и исчезли. Но я чуял их присутствие. Они затарахтели бы моторчиком, если бы решили убраться восвояси.

Двери во внутренние помещения на судне были закрыты, заперты. Ценный манильский трос на корме боцман принайтовал так, что и за сутки не распутаете, — не первый раз в этих краях был старик «Челюскинец». Однако было одно «но», и существенное: автомашины на палубе.

— Банов, вы молодец, — сказал я. — Только если вы видите, что некто цепляется за пароход, то и сами проявляйте инициативу. Например, заорите или погрозите чем-нибудь увесистым сверху. Можно скобой.

Банов вздохнул.

— Вы велели докладывать... Я доложил.

— Банов, вы молодец, что доложили. Но запомните: для морского вора подняться по отвесному борту — разчихнуть. Закидывается кошка с тросом, и через пять секунд он на палубе. Именно через пять секунд — здесь нет преувеличения. Они ходят по отвесным бортам, как мухи по потолку, — без всякого напряжения... Что у нас в кузовах автомашин на корме?

Он, конечно, пожал плечами. Я, конечно, не дождался от него ответа.

— ЗИП к грузовикам. Каждый ящик — пять тысяч новыми деньгами. И гости на лодочке не убрались. Арабская мудрость гласит: «Если бедуин узнал вход в твой дом, сделай другую дверь». Они крутятся здесь. Бегайте взад-вперед и держите глаза двумя руками.

Бежать он органически не умел. Да это и невозможно было. Машины крепились к палубным рымам и между собой стальной проволокой, взятой «на закрутки». Концы проволоки торчали в самых неожиданных местах. Напороться на них можно было и при солнечном свете. Прибавьте к этой паутине деревянные распорки, талрепы и струбцины. А проходы между машинами — не шире плеч. Вот и бегай. Вот и уследи за судном.

Не только инструмент мог привлечь вора к ящикам с ЗИПом. Детали из цветного металла. Это сотни Нефер-

тити и сфинксов, цепочек и полумесяцев, крокодилов и запонок.

Ближний Восток — вотчина ремесленников. Голь на выдумки хитра. Потому и научились люди отворачивать пяткой пробку мерительной трубки. Она бронзовая. Она пойдет в горы и превратится в чудесную Нефертити. Бутылки и банки из-под кабачковой икры переплавятся в египетские вазы, львов и пепельницы.

И наивные туристы, и мы, грешные, отдаем кровную валюту за сувенир и привозим нашим замирающим от радости подругам из далеких восточных стран собственные поллитровки и мерительные пробки, но уже неузнаваемые. Круговорот вещей в природе. Тайны Востока.

Я плюнул на арабские числительные, ходил с крыла на крыло, посматривал вокруг внимательно, думал о том, что земля пророка Ионы уже совсем рядом, древнейшая земля. Сколько поколений сменили здесь друг друга?

...Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки из тьмы...

Это стихи Хлебникова. Недавно поэта поэтов перезахоронили, как у нас принято говорить. До чего же мы не умеем хоронить! И вроде дело не такое уж технически сложное. Космос освоили, а закопать человека прилично так и не научились...

Призраком из тьмы возник Банов. Он немного запыхался — значит, инструктаж помог. Глагол и наглядная агитация прожгли его сердце. И это меня порадовало — человек начинает шевелиться, бегать по трапам. Вероятно, такую радость и удивление испытывает молодая мать, впервые увидавшая, как пошел ее сын.

— На ночную вахту берите фонарик, — сказал я доброжелательно. — С фонариком труднее выколоть себе глаза на судне.

— Фонарик боцман не дает, — сказал Банов задумчиво.

— Я вам куплю. Здесь они дешевые.

— Он и ватник... не дает.

— Ну, ватник здесь и не положен.

— Он там ходит, — сказал Банов.

— Чего ему не спится? — безмятежно спросил я.

— На корме ходит...

Было совершенно непонятно, зачем боцман ночью ходит на корме.

— Семеныч ходит?

— Не-ет, — протянул Банов и вздохнул.

Не знаю другого человека в мире, способного так длинно произносить такое короткое слово.

— А кто?

— Вор.

Я вышиб лбом рубочную дверь, а из лба искры, и наярил в корму. Я перепрыгивал бензовозы и проскальзывал в вьюльные ушки как безумный верблюд.

Вырезать из сиденья автомашины кусок кожи, отвинтить зеркало заднего обзора, спустить за борт ящик с ЗИПом... — на все это надо несколько минут. И — груз не принимают, списки дефектов и рекламаций, ведомственные расследования, объяснительные записки...

Вот он — настоящий призрак из тьмы. Заметил меня и метнулся за надстройку румпельного отделения, на левый борт, а я бегу по правому и на левый смогу попасть, только обогнув вслед за призраком румпельное. Пока огибаю, его «бронзовое, мускулистое тело» уже полетит вниз «в бархатные, средиземноморские волны»... Нет! Вот он мечется...

Не получилось у него контакта с корешками в лодчонке — ее не видно, — и он побоялся прыгать. Бежит, ныряет под проволоку... Здесь ты не уйдешь! Здесь я знаю каждый шаг и метр, а ты ничего, ни хрена не знаешь, влип ты, парень, в паутину креплений и распорок...

Он останавливается и делает шаг мне навстречу. Я хватаю его за грудки. Черт! Руки соскальзывают. Нет у него грудок. Гол до пояса. На шее платок, завязанный узлом. Белые порты чуть ниже колен... Все как на пиратских рисунках из детских книжек...

Сгибается, закрывает лицо локтем — ждет удара. Нет человека, который не знал бы, что забраться на чужое судно ночью, тайком — преступление. Англичане без разговоров всадыт пулю. А в близкой Аравии за воровство и сегодня отрубают руку, только нож палача стерилизуют и в больнице квалифицированный врач гуманно накладывает швы на рану... И парень все это отлично знает, молодой парень, здоровый. Он весь залоснился потом — испугался. Ну и запах у воровского пота!

Бормочет:

— Русски гуд! Русски гуд!

Я охлопываю карманы его портов — может, успел су-

нуть туда мелочишку. Он быстро понимает, что бить не буду, пытается наладить дыхание. Я тоже пытаюсь. Он вытаскивает из кармана пук денег:

— Руси гуд! Гив сигарет! Пай!

Это он объясняет, что забрался ночным вором с кормы, чтобы контрабандой купить сигарет. Врет, сволочь...

Лодчонка выныривает из тьмы, высматривает, что с их корешком будут делать. Та самая. Подошли к трапу, отвлекли внимание. Потом, мол, ушли. А сами во тьме — под навес кормы, крюк на борт — и все, как я только что объяснял. И на румпельном замка нет. Может, и оттуда что-нибудь уже в шлюпке качается?.. А Банов где? Нет Банова! Может, догадался за подмогой побежать? Нет, не догадался. Вот он, за стенкой надстройки прячется.

И от злости я делаю глупость.

Надо было задержать парня, акт составить, утром осмотреться на палубах, в грузе, убедиться, что цело все, или описать недостатки, потом власти вызвать. А я толкаю его в шею:

— Пошел за борт! Тебе еще трап подавать?!

И он сиганул с четырех метров, головой вперед, с зажатými в руках деньгами. Шлюпчонка шастнула к нему в свете люстры. Она показалась мне пустой, не успели они еще нагрузиться. Затарахтел моторчик, и исчезло очередное приключение во тьме Средиземного моря.

Я вылил ушат гнева на длинную голову Банова. Он, как всегда, когда на него гневались, как бы прижал уши к черепу. И молчал. Я объяснил ему, что тормоза, подобные тем, которые есть в нем, Банове, в добрые феодальные времена смазывались березовой кашей при помощи вымоченных в соленой воде линьков. А если этот ночной визит — провокация? Если кому-то надо ухудшить наши отношения с дружественным сирийским народом? Или кому-нибудь любопытно узнать марки машин на палубе советского судна, прибывшего в порт Латакию?

— Что мы здесь, шутки играем? — спросил я Банова.

— Не-ет.

— Когда вы так говорите: «не-ет», мне, Банов, кажется, что в вас сидит нечто осиновое. Сколько вы закончили классов?

Банов что-то прикинул в уме.

— Десять.

— Где?

— В Ленинграде.

— Когда будете на вечере-встрече учеников вашего

выпуска через двадцать лет, передайте мой привет вашей любимой учительнице. Она выдающийся педагог.

Но дело в том, что я отходчивый, и я постарался найти на дне ушата гнева несколько ложек теплой воды.

— Ладно, все-таки вы его заметили. А это сложно и для старого матроса. И я буду просить капитана поощрить вас. Когда три десятка лет назад тонул «Челюскин»... Кстати говоря, в честь кого названо наше судно? Вы знаете?

— Не-ет, — сказал Банов, подумав.

Я взвыл и, чтобы успокоиться, пошел вымыл руки.

От них пахло терпким восточным потом.

Очередная вахта заканчивалась.

К четырем часам суда на рейде уже потеряли надежду дозваться кого бы то ни было. Все застыло на тихой предутренней зыби.

Течение разворачивало нас на якорях носом к востоку — все стадо ожидающих захода в порт судов. Так караван в прошлые времена ожидал утра у городских ворот. Лежали верблюды, жевали жвачку. Дремало все, и вдруг орал дурным голосом осел, будил караван, получал палкой по боку.

И здесь нашелся какой-то дурной пароход, вдруг засипел, загудел, встревожил вахтенных штурманов. И штурмана повылезали из надышанного тепла рубок, ругнулись, потянулись и подумали о близком новом дне...

С рассветом перешли в гавань, стали кормой к волнолому, носом на бочку. Волнолом штормовыми волнами кое-где превращен в лом. Огромные каменные кубы сдвинуты, обрушены. Весело здесь в хороший ветер.

Два араба-швартовщика в хилой лодчонке завозили на берег шесть кормовых швартовых. Я подавал им сперва стальные с «пружинами», то есть тяжеленными скобами, огонами и куском каната.

Швартовщики минут пять трясли кулаками, ругались, орали: «Манила!» Я привык к этим воплям. Неумолимо скрещивал над головой руки и подал мягкий трос последним, чтобы не баловать швартовщиков раньше времени.

На большинстве иностранных судов швартовы сейчас из синтетики. Они легче, чище, плавают, а не провисают до грунта и не цепляются за него, как наши стальные.

Арабы работали хорошо. Набирали в лодчонку точное количество шлагов, разгонялись на веслах, орали неизменное «давай! давай!». Мы травили, они сбрасывали

с лодчонки трос голыми руками. А нет такого стального швартова, на котором совсем не было бы заусениц.

Толстяк в шароварах и турецкой чалме, подвижный, как мышонок, принимал концы на волноломе и один тащил к палу «пружины». Силенка у него была.

Соседями у нас оказались итальянец и болгарин.

По носу виднелись «Фитяшты» — одесситы. В гавани было так набито судов, что берегов не разглядишь. Но наша радистка Людмила Ивановна здесь бывала. Поднялась на мостик, спросила у меня задумчиво:

— Почему здесь леса нет? В каменных домах живут — подумать только! Камень же на солнце больше нагревается... Надо им лес посадить. А они ленятся... Детишки из фонтана воду пьют на площади, а в том фонтане ноги моют, лапти полощут и апельсины. А детишки пьют. Смертность получается высокая. Я читала, как один наш помещик в степи лес посадил. Выписал ящик сосновых семян. Крестьяне смеются, дурак, говорят, барин... А уже сто лет там грибы собирают. И здешние туземцы должны лес сажать и шведские домики строить. Как, например, под Стокгольмом...

Убеденным мичуринцем была наша Людмила Ивановна.

Я заметил, что у старых моряков климатические пояса превращаются в сплошную кашу. Исторические факты — тоже. Людмила Ивановна как-то вызвала в кают-компании приступ сардонического смеха. Оказалось, она не знает, что была война с Японией в сорок пятом году...

Такое, возможно, происходит от перегрузки впечатлениями. Они накатываются одно на другое и уничтожают друг друга, как интерферирующие волны. Я, например, не встречал моряка, который мог бы интересно рассказать об экзотических местах, хотя моряки славятся как рассказчики. И очень часто они действительно отменные, остроумные рассказчики, но только на внутрисудовом, житейском материале.

— Ты был в Антарктиде?

— Да.

— Чего там интересного?

— Мы пингвина в тельняшку одели...

И все.

После обеда явилась орава раскрепителей палубного груза. С закутанными головами, босые, истощенные. Они

окружили меня и орали нечто совершенно непотребное. Но их жесты мучительно напоминали мне кого-то.

И я вспомнил «Новые времена». Спасибо, Чарли, ты помог в трудную минуту!

Я вспомнил, как Чарли рехнулся на конвейере и открывал гаечным ключом пуговицы кофточек и юбок у секретарш.

Раскрепителям нужны были разводные ключи, чтобы отдавать струбцины на автомашинах.

Боцман со слезами дал два ключа, предупредив, что я их больше не увижу и отвечать он за них не будет.

Затем прибыл чиф-гальман, или стивидор, или форман, черт их разберет. Он объяснил, что раскрепители за работу ничего не получают. Им положено трудиться за ту проволочку и деревяшки, которые крепили груз.

Но дело в том, что деревяшки мы обязаны привозить из загранрейсов домой и сдавать в родных портах под расписку. Голова у меня начала кружиться, и я сказал:

— Аллах с вами — берите, но ключи отдайте!

Через минуту в каюте возникли три араба состоятельного вида в полном восточном одеянии. Они стали у порога и низко поклонились.

— Сидаун, плиз! — сказал я.

Они помотали головами, руки их неуловимым движением скользнули в глубины одежды. И передо мной легли три пакета апельсинов гроздьями, с листьями и ветками. Возле каждого пакета встало по здоровенной бутылке «Олд бренди». Прodelывая этот фокус, арабы тщательно закрыли дверь, показывая этим, что они понимают мое сложное положение и укрывают меня от нескромных глаз товарищей по судну. Затем они исчезли, оставив в воздухе международное слово «презент». Догонять эти привидения, бежать за ними с апельсинами и бутылками в руках было так же невозможно, как играть в футбол, держа в зубах бутылки «москолы».

Я сидел и смотрел на апельсины со свежими, только начинающими пошумливать листьями. Чудесный запах наполнил каюту. Мне было тошно. Да, взаимные «презенты» — штука, без которой работать в море невозможно, но тошно и давать, и брать их. И вообще, деловой человек из меня не получится уже никогда. Именно обо мне сложена арабская поговорка: «Если он станет торговать фесками, люди будут рождаться без головы».

Пришел капитан. Я доложил, что продал государст-

венные доски креплений и проволоку за десяток килограммов апельсинов и три бутылки бренди.

— Дело в том, что местные люди еще не научились разводить здесь сосновые леса, — сказал я. — А шашлык лучше всего жарить над сосновыми углями. Какой срок мне положен?

— Этим бренди напоишь в следующем порту нужного человека, — сказал капитан. — Одну бутылку вылакай сам. И следи за тем, чтобы под видом креплений палубного груза они не перешвыряли к себе в лодки наши мачты и цилиндры главного двигателя.

Иногда мой капитан был хорошим парнем.

Но нервы следовало подкрепить. И, закрыв двери за капитаном, я тяпнул полстаканчика и кинул апельсин. На судне иногда приходится пить в одиночку. И совет тот моряк, который скажет, что никогда не пил, глядя на себя в зеркало над умывальником и повернув ключ в дверях.

В дверь загрохотали с такой энергией, что я чуть не расколочил бутылку, пока совал ее под стол. Кто-то из крепежников уже успел напороться на острый конец проволоки. Боже, какой гвалт!

Доктор Аксель Мунте подметил, что если прочитать арабское слово «хатаф» («смерть») наоборот, то получится «фатах» — победа.

Неизвестно, помогает ли это мистическое наблюдение Мунте арабам умирать или нет. Но вот пустяковых царрапин, крови они боятся панически. С такими царрапинами ни один наш грузчик не бросит работу, не побежит искать врача или штурмана. Каплю крови, выступившую на пальце, здешний докер несет к тебе по трапам как высшую драгоценность и смотрит на нее, я бы сказал, восторженно.

Возможно, так происходит только на наших судах, где возникает вокруг пострадавшего заботливая суматоха, где йод и бинт появляются в неограниченных количествах и пострадавший в некотором роде начинает ощущать себя центром вселенной, чувствует к себе самому вдруг почтение и уважение, которого в обычной обстановке испытывает мало.

Мечеть и оливковая роща на горе притягивали меня магнитом. Я уговаривал капитана и помполита туда отправиться.

— Представьте себе,— живописал я.— Серебристые кроны на фоне ультрамаринового моря и фиолетовые морщинистые стволы старых деревьев, поднимающиеся из оранжевой южной, аравийской, библейской земли!

— Самая паршивая закуска—это черные, сморщенные, высушенные соленые маслины,— сказал капитан и сморщился.

— А самая безвкусная—зеленые консервированные маслины. Те, которые в стеклянных банках,— сказал поллит.

И мы пошли. Через всю Латакию. По узким улочкам без тротуаров, где велосипедисты, мотоциклисты и ишаки едут и бредут как им захочется, а машины раздвигают толпу бампером. И где я не видел ни одной лошади. Арабских скакунов заменили велосипеды. Раньше, насколько я знаю, у восточных народов считалось, что если скакун не звенит от различных сбруй и украшений, то это уже не лошадь, а осел. И этот обычай перенесли на велосипеды. Они украшены сбруями, бляхами, перьями и чудовищными «восьмерками». Но вершиной оригинальности являются грузовики. Если вы, скучая на трамвайной остановке, разглядывали фотовитрины ГАИ, то можете представить грузовик, через который переехал электровоз. Но этот грузовик не лежит на боку, а едет. И плюс ко всему он еще разрисован цветочками, орнаментом, русалками—все в стиле Шагала житомирского периода. Кабина, у которой чаще всего нет дверец, обклеена вырезками из журналов, переводными картинками. Вокруг головы шофера болтаются золотые рыбки, попугаи и куклы. Самый маленький грузовичок испускает столько звяканья, рева, звона и скрежета, что вполне поспорит со средним европейским портом.

Из магазинчиков и сточных канав несло сложными запахами. И без труда делалось ясно, почему родиной сегодняшних духов является древний Восток. Горячее солнце и нечистоты в соединении рождают такие запахи, перебить которые возможно только благовониями.

Женщины в черном опускали черные чадры на лица, когда встречали нас. И возникал эффект проблескивающих сквозь прорезь женских глаз, дорисованное воображением и надеждой таинственное и прекрасное женское лицо. Но встретился нам и отряд девушек с винтовками на плечах, в мини-юбках цвета хаки, в гимнастерках с погончиками и подвернутыми по-боевому рукавами. Никаких следов чадры—сквозь нее неудобно целиться.

Плакаты со стен плосккрыших домов призывали к оружию, бдительности и издевались над врагами.

Война. Действительно война. Пускай ее невозможно сравнить с нашей, но людей убивают. И девушки идут в строю. И «большой охотник», погасив огни, уходит в ночь.

Мы пересекли городок и начали подниматься на гору по каменистой дороге среди маленьких домишек.

Оливковой рощи не было.

Я долго платил дань уважения лоциям. О них так много сказано романтических слов. И общеизвестно, что текст описаний в лоциях свержскуп и потому выразительнее любых художественных попыток. И я, попав однажды в тайфун, потом описал впечатления, содрав из лоции признаки тропического урагана, хотя ни одного признака в натуре не обнаружил.

Лоции часто врут. И не только потому, что отстают от времени, — это неизбежно. Но и потому, что слишком скупаются на слова и не тратят их на прошлое тех мест, которые описывают.

Гора над Латакией не украшена оливковой рощей. Она украшена величием пространств, далей, небес вокруг.

Ровно шумел ветер в нескольких десятках старых акаций на вершине. Его шум смешивался с урчанием воды в водонапорной башне. Я узнал башню и обрадовался, потому что пеленговал ее на подходах. Она крохотной точкой дрожала в оптическом пеленгаторе.

И вот стоишь рядом с ней, видишь старые камни кладки, ржавые перила металлической лестницы...

Всегда странно на земле оказаться возле маяка или какого-нибудь знака, который пеленговал с моря. Как будто линия пеленга, проведенная раньше на карте, связала тебя с маяком или знаком каким-то интимным единением. И маяк знает, что вы знакомы. И ты знаешь, что он это знает.

В другую сторону от моря открылась нам с горы огромная бескрайняя равнина, чуть всхолмленная, бурожелтая, с редкими полосками зелени. Оттуда и летел ветер. С берегов Евфрата и Тигра. Он нес мне персональный привет от мечети Наби Юнус, а Юнус по-арабски и есть Иона. Арабы называют Иону еще «товарищ Рыбы». От-

лично они его называют. Там, в Мосуле, на левом берегу Тигра, вам и сегодня покажут гробницу Ионы и кусок его товарища, Рыбы. Кусок сильно высох за прошедшие тысячелетия.

«Дойдем и до твоей гробницы, Иона, — подумалось мне. — Видишь, я уже здесь, в сутках пути от Иоппии. И по корме остался Фарсис, куда хотел ты бежать от лика бога. И я уже качался на тех же вечных волнах, на которых когда-то качался ты. И потомки твоего товарища, Рыбы скользили под килем моего корабля. И я в штиль прошел то место, где господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться, и устрашились корабельщики, и зывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его; а ты, Иона, взял да и спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Мне бы твои нервы, Иона!..»

Быть может, и не так выпренно думал и чувствовал я на горе над Латакией, но несомненно, что первый раз сквозь мелочь рабочих будней, забот и дрызг я ощутил значительность судьбы, которая привела меня сюда. Ведь никто, кроме меня, не знает, чем и как оплачивал я дорогу. Да и вряд ли узнает когда-нибудь.

Пожалуй, ранее я испытал нечто подобное, первый раз огибая бесконечно далекий отсюда мыс Дежнева капитаном на малом рыболовном сейнере. Как давно это было!

С гребня горы мы спустились другим путем и оказались перед холмом, густо-зеленым от частой травы и кустарника. Среди густой зелени паслись белые овцы, волосатые, как сарды, с длиннющими ушами. А у баранов рога закручивались могучими спиралями и устрашали.

Начинало смеркаться, в холодеющем воздухе раздавалась перепалка пастухов. Возле маленькой каменной лачуги женщина выбивала из ковра остатки шерсти. Тропинка крутилась по холму, выводила на кладбище. Каменные надгробия непривычной формы охраняли покой усопших.

За кладбищем видна была мечеть и минареты, готовые стартовать в библейское небо. Правее мечети антенна радара дальнего обнаружения.

Мы пошли через кладбище к мечети с робостью, ощущением кошунственности своего здесь присутствия и не-

которым даже страхом, который появляется возле чужих святынь. Вдруг мы, неверные, оскорбим святыню сирийцев, творцов арамейского языка, и нас грубо погонят или уши отрежут?

Окна мечети были забраны решетками. Я свернул с тропинки, пробрался сквозь могилы и кустарники, заглянул за невысокий подоконник. Внутренность мечети после наших и католических храмов производила впечатление космической пустоты. Несколько циновок и голые стены. И никаких изображений божества.

Никто не знает, как выглядит Аллах. И в этом больше мудрости, нежели представить бога голубем.

Трое-четверо молящихся обратили на меня глаза, и взгляд их, пройдя сквозь пустоту мечети, сдул меня с наблюдательного пункта, как муху.

С еще большей робостью вошли мы во двор, огороженный высокими стенами. В центре его был круглый фонтан, полный воды, но сам фонтан не бил. Рядом находился колодец и стоял на каменной земле кувшин. В воде фонтана, совершенно неподвижной, отражались черные кипарисы, растущие за оградой.

У входа в мечеть стояли сандалии. Дальше сандалий мы идти не решились.

Мальчик молился у противоположной стены под навесом. Ему было лет двенадцать, и он не обратил на нас никакого внимания. Два других мальчика сидели рядом с ним и тихо свистели, глядя на отражение кипарисов в фонтане. Вечерние тени уже скользили среди тишины чужой веры, надежды и любви.

Мы постояли еще немного на вершине холма за воротами мечети. Вся Латакия была видна внизу. Оттуда в особенную тишину близкого кладбища доносились звуки городской жизни и гудки автомобилей. Тихо шуршали кипарисы. Огни уже вспыхивали в порту. По синей воде растекалось золото. За молами дышало древнее Средиземное море. Над морем появились первые звезды.

Быть может, здесь рождались слова: «Он, Бог, поставил звезды для вас, чтобы по ним вы во время темноты на суше и на море узнавали прямой путь...

Во власть вашу Он отдал море, чтобы из него питались вы свежим мясом, из него доставали себе украшения. Видишь, как корабли с шумом рассекают его, чтобы

вам доставить благотворение Его и возбудить вас к благодарности.

Горные вершины вместе со звездами указывают вам прямые пути...»

Сура...

В стихах написан Коран, ибо чем отвлеченнее та истина, которой хочешь учить, тем сильнее должно действовать на чувство сначала...

Спустившись с холма от мечети по узким каменным лестницам между высоких каменных стен, мы вышли на площадку, битком набитую детишками. Детишки облепили нас, клянулись сигареты. Только они не врали, как итальянские детишки, что это для пап, они совали пальцы в собственные рты.

Среди темных и тонких арабских детских ликов попадались и светлые, круглые, совсем рязанские рожицы.

На судне я долго и с удовольствием стирал белье в умывальнике, слушая концерт по заявкам. Потом обихаживал кактус, срезанный на Сардинии. Одну лепеху я посадил тогда в землю, закрепил тросиками, аккуратно поливал и выставлял на солнце при первой возможности. Другую лепеху пронзил ножом, в дыру пропустил шнур и повесил за дверью каюты. Я думал, он высохнет. Случилось все наоборот. Пронзенный, висящий в полутьме на второй месяц вдруг дал ростки-цветки. А ухоженный был вял и скучен.

Умирающий рожает и цветет, поет лебединую песню, вися вниз головой.

Утром я белкой завертелся в колесах бензовозов, «газиков», «Волг», мотоциклов и мотороллеров. Последних у меня было около полутысячи.

Из пояснительной записки к рейсу:

«По обычаям в порту Латакия груз считается принятым после прохождения таможни и составления ауторн-рип-порта, который подписывается представителями Таможни, Агента, Порта. Ауторн-рипорт является единственным юридическим документом, удостоверяющим качество и количество груза. Тальманские листы портом не подписываются и юридической силы не имеют. Однако для защиты интересов отправителя и перевозчика на все трюма были выставлены судовые счетчики груза, а на трюма с более ценным грузом — и трюмные матросы. Удалось добиться от портового чиф-тальмана его подписей под суровыми

тальманками, которые прилагаются к отчету. Вследствие небрежной работы грузчиков значительная часть грузов портилась стропами и ударами о борта. Агенту были вручены по этому поводу соответствующие письма, которые в копиях тоже прилагаются.

Что такое «аутторн-риппорт», я не знаю до сих пор, И ни в одном самом специальном словаре или справочнике таких слов вы не найдете.

Остальное, так складно сформулированное мною в пояснительной записке, на деле выглядело следующим образом.

Новехонькие, очаровательные «газики» — мечту любого председателя колхоза — работяги невозмутимо опутывали тросами там, куда этот трос сам собой ложился. Вздернутая в воздух голубая мечта председателей колхозов уродовалась стропами на части такой причудливой конфигурации, как на плакатах по разделке мясной туши.

Поверх слабых деревянных ящиков плюхались трехтонные связки рельсового проката. Несколько подъемов отличной бумаги, следовавшей в адрес советского посольства, рассыпались в воздухе. Мешки триполифосфата и натрия рвались крючьями грузчиков, значительная часть содержимого просыпалась...

Это было зрелище, от которого, по выражению Лидии Чарской, «томительно сжималось сердце». Мы останавливали выгрузку, мы вызывали агента, но грузчики и ухом не вели. Они, очевидно, хорошо усвоили высказывание Маркса о том, что «стержень мусульманства составляет фатализм» и что догмат предопределенности всего на свете лежит в основе Корана. И это высказывание Маркса они отлично соединяли с высказыванием Энгельса, который доказал происхождение европейского «жизнерадостного свободомыслия» из глубин азиатского мусульманского мира. От выгрузки явно пахло безмятежным беспутством.

Упомянутое в моей пояснительной записке «прохождение через таможенную» заключалось в том, что мы видели горы своего груза на пустырях вокруг Латакии среди долов и собачьих трупов.

Единственной защитой интересов отправителя и перевозчика были письма. И ночь за ночью я писал их агенту на английском, конечно, языке. Это вам не заявление сочинять управхозу о протекающей крыше.

Деловое письмо должно быть исчерпывающе кратким, ясным и вежливым. Текст должен располагаться в стро-

гом соответствии с определенным ритуалом. Если обращение «Дорогой сэръ!» вы напишете в центре страницы, а не у левого поля, то сэръ сочтет это смертельным оскорблением. Обязательно: «С глубоким сожалением вынужден сообщить Вам, что Ваши грузчики разрезали бульдозер № 14728 (консолимент СТ-976) крановым стропом на неровные половины... Имею честь сообщить Вам, что убытки по разрезанному и затем утопленному в результате небрежной работы Вашего плавкрана и грузчиков бульдозеру мое судно нести не будет... Уважающий Вас...»

Я чуть не рехнулся от этих писем.

Никаких претензий по грузу в паромство не поступило.

Все было обычным, все текло так, как текло здесь тысячи лет.

Мы снялись из Латакии на Ливан в порт Триполи. Мы еще не знали, что вернемся сюда.

Наше судно называлось траповым. «Трамп» по-английски — «бродяга». Бродяга редко знает, где будет ночевать завтра.

МИМОЛЕТНЫЙ ПРАЗДНИК

В Ливане простояли около недели.

Съездили на автобусе в Бейрут, купили замечательные клеенки.

Ливанский Триполи покинули под вечер, в тихое время, когда белые рыбацкие лодки возвращаются из синего моря под синим небом и отражения минаретов не дрогнут в синей бухте, а старые развалины паромы разворачиваются на мертвых якорях носом на ворота гавани, как будто собираются плыть куда-то, хотя им больше никогда и никуда не светит плыть.

И видение белых лодок среди безмятежной синевы надолго осталось во мне.

От ливанцев до сирийцев три часа ходу. И в полночь мы уже опять бросили якорь на внешнем рейде Латакии. Здесь нас ждал груз шрота — жмыха хлопкового семени. Что это за штука, ни я, ни капитан толком не знали. Пришлось вытащить грузовой справочник.

И тихой, ночной, якорной, рейдовой вахтой я листал его. И чем дольше я листал огромный справочник, тем больше уважал хлопковый жмых.

В справочнике были перечислены все возможные под луной грузы, указаны их свойства, номер товарной группы, сумма сбора за тонну, но шрота там не было. Я не мог узнать, как он впитывает влагу, когда самопроизвольно воспламеняется, когда взрывается и насколько меняет вес при переходе из одной климатической зоны в другую.

Наличие прилагательного «хлопковый» настораживало.

Мне как-то пришлось наблюдать горение хлопка и даже принимать участие в тушении. Огромная прессованная кипа хлопка кажется каменной, но воспламеняется от искры упаковочной проволоки. Потому концы проволок заводят внутрь кип. Плохо спрессованный хлопок при нарушении упаковки выстреливает в дыры разломаченные пряди. Они самовозгораются при соприкосновении с маслянистыми грузами — орехом, хлопковым семенем и жмыхом хлопкового семени. Шесть тысяч тонн такого жмыха и ждали нас в Латакии. Было интересно, как он сам горит. И я очень внимательно искал в справочнике «шрот», но не нашел. Зато с большим любопытством и без всякой пользы изучил специфику перевозки гробов с покойниками и урн с пеплом. Именно с пеплом, а не с прахом, ибо прах вещь такая же неконкретная, как, простите за такой пример, ваша душа. Пепел же ваш имеет определенные химические свойства и удельный вес.

Я увлекся, как обычно со мной бывает, посторонними и потусторонними вопросами и битый час выяснял, существуют ли отдельные правила перевозки гробов без покойников и урн без пепла. По дороге обнаружил пункт, из которого явствовало, что сахарин и лошадиная сбруя находятся в одной товарной группе сбора за тонну. Здесь я захихикал. Соединение сбруи с сахарином напомнило мне собственные сочинения. А хихикать было нечего. Выяснить правила перевозки шрота приказал капитан. Он уже начал готовиться к подаче морского протеста в Новороссийске, чтобы перестраховаться в случае отпозвевания жмыха в трюмах на переходе из Средиземного моря в Черное.

Жмых хлопкового семени представляет собой зелено-рыжую массу. Ее едят свиньи. От спички она не загорается — я провел опыт.

Технология погрузки свинячьей еды просто и хорошо продумана. Лючины на трюмах раздвигают, образуя щели, зияющие под тобой двенадцатиметровой пропастью.

Шрот привозят в мешках. Подъем в двадцать — тридцать мешков опускается на щели. Грузчики взрезают глотки мешков кривыми ножами — глотки защиты гнилой нитью крупными стежками. Потом грузчики яростно пинают мешки босыми ногами в бока. И шрот с печальным шорохом проваливается в щели между лючинами.

Все окутано мельчайшей пылью. Если взглянуть на пыль в штурманскую лупу, то вздрогнешь. Она шевелится. Ибо на добрую половину состоит из насекомых. Пыль и насекомые легко просачиваются сквозь наглухо задраенные иллюминаторы и двери во все судовые помещения. Еще легче они просачиваются в легкие грузчиков сквозь рваные тряпки куфьи.

И началась для меня очередная морская сложность.

Чтобы полностью использовать кубатуру, надо штивать в трюмах и твиндеках — растаскивать жмых по углам, разравнивать. Мне следовало требовать от стивидора хорошей штивки, требовать посылки людей в трюм, в пространство, заполненное зелено-ржавой, вонючей, живой пылью. Но работать там без респиратора не смог бы, вероятно, и жук хрущак-членистоногий, который выводит в шроте детей. Одно — делать там детей, другое — там работать.

Черт бы побрал неравномерность мировой научно-технической революции, размышлял я, глядя сквозь лобовой иллюминатор своей каюты на полуголых людей, копошащихся вокруг мешков со свинячьей едой. Ничто меня так не бесит, как эта неравномерность. И еще я не мог не вспоминать о блокаде. А ведь, думал я, за горсть такого жмыха я отдал бы в сорок первом году свою мальчишескую душу любому дьяволу или сатане, если, конечно, они не были бы немецкой национальности.

Позвонил капитан:

— Поднимись-ка, секунд!

Я не сомневался, что дело касается штивки груза и моего слабоволия.

У капитана сидел наш моррагент Таренков. Раньше он много лет командовал судами, потом работал в Австралии и еще где-то.

Моррагент не дипломат. Он может рыкнуть на обидчика наших морских интересов без всяких протокольных изысков. И в прошлый заход в Латакию Евгений Петрович мне помог в какой-то запутанной истории, когда чиф-гальман и шкипер плавкрана требовали подписать липовую бумажку на сверхурочную работу. От рыка Евгения Пет-

ровича эти ребята полетели в разные стороны, прищепывая: «Ма ша'алла! Ин ша'алла!» — «Что желает Аллах!.. Как Аллаху будет угодно!» Причем в роли Аллаха, очевидно, выступил я.

— Ну, секунд, нашел правила перевозки шрота? — спросил капитан.

— Нет. Гробы с покойниками и урны с пеплом готов возить с закрытыми глазами сквозь любые климатические зоны, а шрота в справочнике нет, Юрий Петрович.

— Видите, — сказал Юрий Петрович, — какой секунд веселый человек — острит напрапалу. Одно слово: комедиограф.

— Да плюньте вы на этот шрот, — сказал Евгений Петрович. — Сожрут его свиньи и без правил.

— Как со штивкой? — спросил Юрий Петрович. — Если не штивать, кувырнемся мы в шторм: ссыпется свинячий корм на один борт, постоянный крен — и привет сиренам. Говорил со стивидором?

— Да, — соврал я. — Будут штивать. Через каждые пятьсот тонн.

Таренков хмыкнул. На его загорелом лице было порядочно морщинок. Ухмылка заплуталась в морщинках. Выражение физиономии стало немного кошачьим.

— Брось врать, — сказал Евгений Петрович. — Иди штаны переодень. Перед тем как вы кувырнетесь. На экскурсию поедем. К святым местам. Причащаться.

— Благодарю супругу Евгения Петровича, — объяснил Юрий Петрович. — В гости зовет.

— В гости еще не скоро. Мы и без жены. Отдохнем. Может быть, — сказал Таренков.

Морагент был одет в строгий костюм и белоснежную рубашку без галстука. Каждая вещь чувствовала себя на Евгении Петровиче уютно, выказывая при этом достоинство и гордость за хозяина.

У меня, старого разгильдяя, кроме формы, за всю жизнь еще ни разу не было настоящего костюма. Форму на берег надевать не хотелось. Я сказал об этом.

— Тогда надевай хоть трусики, — сказал Таренков. — Со мной можно. Меня уже здесь каждый шакал знает. Ездить много приходится. С тысячько шакалов познакомишься. Особенно веселое знакомство бывает, если на шакалий труп наедешь. Ночью. На вираже. И гроба потом не надо. И урны.

Через пять минут я плюхнулся на мягкость кожаного сиденья черной машины. Таренков сел за руль.

— Что за авто? — спросил я.

— У капитана все должно быть капитанским, — сказал Таренков. — «Опель-капитан». Ну, вначале была еда?

Мы дружно согласились с Таренковым.

«Опель» прыгнул от трапа теплохода, как конь Ашик-Криба. Мелькнули горы стального листа, штабеля мешков цемента, охранники у ворот порта на фоне военных плакатов, узкие улочки города, и «опель» оказался на набережной. Таренков вел машину по-западному: не он принадлежал «опелю», а «опель» принадлежал ему и хорошо знал это.

Возле ресторанчика он въехал на тротуар, затормозил в сантиметре от стены, и мы вылезли.

Ресторанчик был обыкновенный, без шика, здесь мор-агент обедал каждый день, и знали его здесь так же хорошо, как «опель» знал, кто его хозяин.

Пахло чужой едой. За широким стеклом окна стекленело в неподвижности Средиземное море.

Таренков стукнул по столу обручальным кольцом. Тяжелое кольцо ударило глухо. Официант возник мгновенно и пожелал мистеру кептейну всех благ, какие есть в меню Аллаха для самого выдающегося из смертных. Затем появилась арака, тертый горох, сырая морковь, красные терпкости неизвестного происхождения, острые салаты, немного картофеля и жареные куры.

— Сытый нарекает ломти для голодного не спеша, — сказал Таренков, щедро разбавляя араку в наших сосудах водой. Арака делалась белой, как одежда пророка, который запретил мусульманам пить вино. — Это здешняя пословица. Читали Коран? Его в мореходке преподавать надо. Раздражить правоверного очень просто. А мы в рамадан пробуем заказать срочную работу — святая простота! Петр умнее был. Он знал: мы полуазиаты. И заставлял морячков долбить книгу, которой в половине мира дано не только религиозное, но и юридическое значение. Пейте. Я передерну. Может, напишете об этом, Ко-нецкий?

— О чем?

— Одна наша энциклопедия утверждает, что автором Корана является Мухаммед, что он получил, так сказать, гонорар за литературный труд. А Корана никто не писал. Аллах спустил его пророку из космоса, с седьмого неба. На золотых цепях. Возможно, световые лучи подразумеваются. Вот об этом и напишете... Ешьте как следует, ребятки. Вам это сегодня пригодится.

Было в Евгении Петровиче нечто, заставляющее подчиняться ему с удовольствием.

Он все время заставлял нас предвкушать, хотя каждый момент и сам по себе был отличным. И разбавленная точным количеством воды арака была прекрасна, и незнакомые салаты, и жареные куры. И еще мне нравилась его манера говорить. Он как бы буркал, произносил слова быстро и разрывал фразу точками на самые неожиданные куски. В общем, уже после первой порции араки я влюбился в Евгения Петровича как мальчишка. И, как мальчишке, мне вдруг захотелось в кино, на бесшабашный фильм о мужской скупой дружбе, о случайных встречах, о красивом мужестве, с выстрелом спасителя на краю роковой секунды, с песенкой прелестной женщины о тревожной мечте.

— Кина не будет! — отрезал Таренков, выводя нас на пустынную набережную. — Стрельнуть можешь в натуре.

В десяти шагах от ресторанчика он толкнул дверь неприметного дома, и мы оказались в тусклом подвальчике — тире.

Старый хозяин тира не ставил задачи воспитания ворошиловских стрелков. Дистанция стрельбы три-четыре метра при размере мишени в гусиное яйцо. Не попасть может только слепой. Значит, только слепой не получит вознаграждения за истраченные гроши, то есть не увидит вынырнувшую из бурого моря русалку, или современную голенькую девицу за распахнувшейся дверцей шкафа, или благополучно перепрыгивающего через тюремную стену беглеца.

Это были как раз те сюжеты, которые я хотел видеть на экране. Но в тире мое мальчишество наслаждалось полноправным участием в действии, а не зрелищем. Мы палили с азартом. Старик хозяин, получив за двадцать пульек сирийский фунт, улыбался нам мудрой улыбкой пророка Ионы. От наплыва мужской дружбы старик включил фонтанчик. В полутемном дальнем углу тира засверкала пляшущая струйка алмазной воды. Старик бросил на струйку шарик. Шарик завертелся, поднимаясь и опускаясь на фонтанчике, заплясал вместе со струйкой. Он был весь уже продырявлен пулями, разбрасывал брызги. И почему-то не слетал с водяной струйки, не падал, когда в него попадешь.

Шарик был чудесным.

Кобальт синий — далекие горы, изумрудная зелень — предгорья, охра — холмы, сиреневые и фиолетовые полосы — плантации цветущего миндаля, красные поля мака, черные кипарисы вдоль обочины шоссе. Подножья кипарисов погрузились в знакомые мне еще по Сардинии заросли серо-голубых кактусов. И надо всем этим — вечерующее, пасмурное небо.

Мы мчались к горам сквозь свободу шоссе по сто тридцать — сто сорок километров. На той же скорости изрыгал синкопы приемник «опель-капитана». Мы курили «Пелл мелл» и впитывали скорость в застоявшиеся души.

Минут через двадцать Таренков свернул с шоссе к малоприметной издали часовне. Она стояла среди увядающих акаций и вечных сосен на вершине пологого холма.

Здесь было тихо. Здесь было прозрачно и акварельно. Незримые, витали здесь и Александр Иванов, и Нестеров.

Куполок часовни увенчивался нашим православным крестом.

— На этом месте, братцы, Мария Магдалина мыла ноги Христу и вытирала их кудрями, — сказал Таренков. — Факт непроверенный, но все равно впечатляет, а?

— Господи! Куда судьба носит! — пробормоталось мне.

— «Мария Магдалина, раздетая вполне...» — вспомнил Юрий Петрович из своего счастливого детства.

И на меня тоже хлынуло старосемейное, давно истлевшее в могилах на Смоленском, на Пискаревке, на Богословском. Баба Мария, тетя Матюня и тетя Зика... И тихо зазвучали для меня их добрые, вразумительные голоса, которыми бабушки и тети говорят с малолетними внуками и племянниками: «Ее имя, Витюша, звучит покаянием и прощением грехов, и странник, проходя по сладостно благоухающей и цветущей зелени берегов Генисарета и приближаясь к развалинам башни и одинокой пальме арабской деревни Эл-Медждель, невольно вспоминает древнее предание о той, греховная краса которой и глубоко покаяние сделали знаменитым самое имя Магдалы...»

Не знаю, откуда проникал в часовню зыбкий, перламутровый свет — через окна высоко под куполом или через нечто вроде узких бойниц в стенах.

Мы вошли в этот свет и постояли, привыкая к нему и к церковному запаху.

Прямо против входа висела большая икона. Вернее, это была не икона, а иконописный портрет молодого муж-

чины со взглядом старого психиатра. Он держал в руках открытую книгу. Тенистой славянской вязью вязались строки:

Блажени есте, егда поносят вас и ижденут, ч
рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради,
радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа
на небесех.

Два подстава с металлическими противнями, наполненные песком, располагались по бокам от входа. Они полностью соответствовали моему детскому представлению о языческих жертвенниках. В дальней стене была полуниша. Такие полуниши в мечетях называются «михраб» и показывают молящимся сторону поклонения.

Часовня была пуста. Никто не жил рядом и не охранял ее.

В нише-алтаре лежали свечи и деньги.

Таренков бросил туда несколько бумажек, сказал:

— Берите свечи, братцы. Направо — за ваших раньше срока погибших. Налево — за ныне живущих.

Я попытался сосредоточиться и восстановить в памяти имена всех своих погибших, пока зажигал и ставил в песок жертвенника свечу, но это оказалось безнадежным делом. И я только хорошо помянул всех погибших раньше срока, когда свечка утвердилась и огонек ее бестрепетно затеплился в неподвижном воздухе часовни.

Одну свечу, шишку сосны и веточку акации я прихватил с собой. Я знал, что мать этот подарок сохранит до смерти. Ведь для верующих вся здешняя земля — священна.

Мне кажется, Библия, Коран и другие первые книги имеют такую глубину и красоту потому, что авторам приходилось вмещать в бумагу ВСЕ — все, накопленное предыдущими поколениями за тысячелетия. Если бы крысы в одну ночь сожрали сегодня наши библиотеки, то пришлось бы написать нечто подобное Библии по жанру, чтобы передать потомкам не все наши знания — что невозможно, — а сегодняшнее ощущение от наших знаний Мира. И тогда опять потребовались бы мифы и притчи, и новый Ветхий завет, ибо самые хорошие энциклопедии стареют быстро и обычно бывают смешны для умных потомков, а мифы и притчи служат им всегда хотя бы обыкновенной житейской мудростью: если родилась на свет женщина необыкновенной красоты, страстной природы

и бесстыдной порочности, то прости, защити ее от злобности толпы, и она оплатит тебе беспредельной преданностью и благодарностью всего своего буйного сердца и мятежной души. И она будет мыть тебе ноги и, если ты захочешь, будет вытирать их волосами. Разве это не так?

Отъехав от часовни, Таренков повернул не обратно к Латакии, а в горы. «Опель-капитан» опять бесшумно рванулся по пустынному шоссе. Сиреневые и серебряные лепестки цветущего миндаля вихрились за машиной. Потом промелькнули заросли оливковых деревьев.

В ушах потрескивало — так быстро мы набирали высоту.

Оливы сменились дубовыми лесами.

На поворотах далеко внизу распахивалось море и сразу исчезало за огромными стволами старых, замшелых дубов.

По склону горы нам навстречу спускалось облако, цепляясь за вершины деревьев. Мы влетели в это облако. Горло запершило от холодного тумана. Пока спорили, является ли облако туманом или это разные вещи, оно осталось ниже. Вспыхнуло солнце, вечернее, по-северному негреющее. Таренков съехал с дороги и выключил мотор. Мы услышали шум горной реки. Она текла в глубоком ущелье. Через ущелье горбатился одноарочный каменный мост, обросший мхом.

— Его строили римляне, — сказал Евгений Петрович. — Выйдем.

И опять нечто неповторимое тронуло душу. И не только, очевидно, мою. Юрий Петрович остановился над ущельем и спросил без всякого наигрыша:

— Камо грядеши?

...Камо-о... грядеш... — повторило торжественное эхо.

Огромные деревья спускались к речке по склонам ущелья. Их черные влажные стволы оплетали плющи. Не лесная, а какая-то парковая сырость приглушала звуки. Между камней росли нежные, как наши подснежники, цветы — белые и голубые. И лиловые фиалки.

Мы спустились к воде по скользким камням.

Вода журчала отчужденно, ее неожиданные взбулькивания возле устоев римского моста подчеркивали тишину.

— Здесь есть крабы, — сказал Таренков. — Маленькие.

Я черпнул воды и глотнул. Заныли зубы.

— Если в том, что болтаемся всю жизнь по морям,

есть смысл, — пробормотал Юрий Петрович, — то он в таких минутах.

И я был согласен с ним.

Мы курили над быстрой и чистой водой. Ночь поднималась за нами в горы, тушила сумеречные краски горного леса.

Мы говорили о том, что не знаем истории и как это знание иногда бывает необходимо. Кто прошел по камням этого моста — Александр? Цезарь? Антоний? Никто не знал этого. Мы сетовали на то, что из истории остаются в памяти лишь анекдоты. И что даже если мы читаем Плутарха, то отмечаем только «кисленькое».

Таренков сказал, что более всего любит Плутарха за то, что патриарх историков часто употребляет откровенное слово «сволочь». И не играет в объективность и невозмутимость по отношению к героям. И если ему не нравится Антоний, то он сразу заявляет, что Антоний был пьяница и беспутник — с перепоя наблевал на форуме в тогу друга и попал в лапы Клеопатры ручным, привыкшим слушаться не разума, а женщины.

Он говорил негромко, боясь разбудить эхо среди древних камней в холоде горного ущелья.

На этом торжественная часть нашего праздника завершилась.

Потом в ресторане горного отеля, закрытого по случаю военного положения, мы пили крепкое пиво и хрумкали сырую морковку.

Мы были одни в огромном зале. Огонь горел только возле нашего столика. И от огня в темную глубину зала уходила по каменному, отшлифованному полу световая дорожка. Вокруг столика бродила собака, доверчивая и лохматая, и не голодная, что на Востоке редко.

Молодой и лукавый официант появлялся из темноты с подносами морковки, маслин, свежестрой травы. Мы наливали ему пива. Он улыбался и пил с удовольствием. Собаку мы угощали морковкой, маслинами и травой. Она улыбалась и ела с удовольствием.

Беззаботность снизошла на нас. Как будто не ждала впереди тяжелая работа и Большой Халль — морская тоска. Мы хохотали, рассказывая про электромеханика, которого в керченском ресторане побии официанты.

Электромеханические нервы были давно издерганы. На старом судне и динамо старое, и лебедки старые. И они у нас каждый час выходили из строя. Электромеханик месяцами спал одетым. Когда гас свет, будить ме-

ханика не надо было. Он ощущал очередную поломку телепатически, вскакивал и бежал в машину. На стоянке в Керчи электромеханик отправился в ресторан, размяк там в беззаботности, как мы нынче, выпил, и закусил, и потанцевал. А в Керчи часто случаются перебои с электроэнергией. И вдруг в ресторане погас свет. Электромеханик, ни слова не говоря, поднял воротник пиджака и побежал в родное машинное отделение ремонтировать динамо. Официанты и швейцар догнали его уже на улице и сгоряча кинули банок. Ну разве поймет официант моряка? Разве поверит, что посетитель ресторана, убегающий из зала в темноте, действует машинально?

После ресторана мы понеслись куда-то дальше, сквозь черную сирийскую ночь. Мы замечательно неслись, время от времени останавливаясь перед камнями, перегораживающими шоссе. Возле камней возникали из тьмы военные патрули, поблескивали фонариками, аксельбантами, портупелями, оружием, шевронами, нашивками, кокардами, щлемами, пуговицами, глазами. И, не проверяя документов, пропускали. И мы опять неслись, высвечивая на виражах куски арабских декораций: цветущие плодовые деревья, каменные заборы, заросли кактусов. И я совсем раскис от удовольствий, когда из приемника запели песенку про морского друга на чужом языке.

— Евгений Петрович, — сказал я. — Нынче ты подарил нам удивительный кусочек жизни. И мне чуть только не хватает до полного счастья. Преследует недоступная мечта. Как того африканского вождя, который просил и просил у колонизаторов-англичан подводную лодку. Хотел охотиться с нее на крокодилов. Слышал про такого?

— Слышал, — сказал Таренков. — Англичане подлодку зажали, а мундир адмиральский вождю при-слали.

— Точно. А чего мне не хватает для абсолютного счастья?

— Знаю, — сказал он, и затормозил, и вышел из машины, и обошел ее, и открыл мою дверцу. — Ну? Садись за руль. Тебе этого хотелось?

— Ты ясновидящий! — сказал я и пересел за руль.

Мне хотелось именно этого, хотелось давно, нестерпимо, опять как мальчишке.

В «опеле» было пять скоростей — непривычное переключение. И ехал я не спеша, вкушая удовольствие от ведения машины, как аромат редкостного табака.

— Сейчас свернешь направо, в проселок, — сказал Таренков.

Я свернул, «опель» заколыхался на рытвинах, фары высвечивали мягкие очертания прибрежных дюн, послышался жесткий гул наката.

Таренков перехватил баранку и развернул машину носом в море, переключил свет фар на дальний. И мы увидели океанское судно, разбитое и разоренное. Оно стояло почти на ровном киле, очень высоко и нелепо вздымаясь черными бортами над бурунами прибоя.

— Итальянец, — сказал Евгений Петрович.

— Не повезло макароннику, — прокомментировал Юрий Петрович.

Если бы знать свою судьбу! Если бы он знал, что через два года высадит судно на камни в этом же Средиземном море!

От такого никто из моряков не застрахован. И потому зрелище разбитого судна вызывает в душе минуту тяжелой и строгой тишины. И в эту минуту колокол с мертвого корабля звонит и по тебе, даже если рынду давно стащили береговые люди.

— Когда нападает тоска, я приезжаю сюда, — сказал Таренков.

Он был не самоуверенным, а уверенным в себе мужчиной.

Иногда тоскливое настроение и грустное зрелище вдруг интерферируют, рождая просветленность. Разве не бывало так с вами на кладбищах?

Ночное море начинало сердиться. Поднимался ветер. Красиво мерцали пронизанные лучами сильных фар пенные гребни прибойных валов. Обрывки такелажа на разбитом судне тяжело колыхались, ветер подвывал в них.

— Как ваши веревки? Хорошие? — спросил Таренков о наших швартовых. У нас были старомодные, но добротные веревки. — Пожалуй, завтра будет сильный ветер. Пожалуй, вам расштивает шрот в трюмах нерукотворно. Поехали, братцы. Жена скучает.

На столике в холле его квартиры рекламные проспекты «Морфлота» и шикарные фото лайнеров причудливо перемешались с томами собрания сочинений Достоевского.

Жена Евгения Петровича оказалась литературоведом, писала диссертацию о влиянии изобразительного искусства на творчество классика. Ее звали Мальвина. Женщин

с таким именем я еще не встречал в жизни. Она была вся в зеленом. И темно-каштановые волосы. Молодая, красивая женщина.

«Везет же людям!» — позавидовал я Таренкову.

В гостиной стояли на полу в широких вазах два букета роз, а в аквариуме-шаре плавали красные рыбы. На низком столике всеми цветами спектра манили бутылки — виски, бренди, коньяки и вина — представительские напитки, обязательные для деловых встреч в квартире-агентстве.

«Везет же людям!» — подумаете вы.

Только очень тоскливы иногда будни и праздники в красивой квартире на чужбине.

Я где-то читал, что дочь писателя Данилевского вышла замуж за испанского офицера. Он служил на Балеарских островах, на острове Ивис. Она погибала там от тоски. Ее спасли два безымянных русских матроса. Они умерли на корабле в море. Трупы свезли на Ивис и похоронили. И каждую неделю дочь Данилевского ходила к ним на могилу и носила русским матросам цветы. Это ее спасло.

— Очень тоскуете? — спросил я Мальвину.

— Есть радио. Есть газеты. Ко всему привыкаешь, — сказала она.

Они привыкли делать веселый вид при любых обстоятельствах. Они считали, что наши будни, будни плавающих людей, бывают еще тоскливее и монотоннее, еще будничнее. И они устроили нам красивую жизнь, сделали праздник, который редко выпадает нынче на долю моряка.

Евгений Петрович угощал нас часовней, римским мостом, цветами на полу гостиной, красотой женщины в зеленом платье, стереофоническим проигрывателем и изысканной коллекцией пластинок. Четыре пластинки были «Аве, Мария». Каждая в исполнении знаменитости. Я, конечно, никогда не смог бы отличить исполнителей, но это не имело никакого значения.

Даже рыбы в шаре-аквариуме перестали вилять хвостами, когда зазвучала «Аве, Мария».

— Что вам вспоминается, когда вы слышите это? — спросила Мальвина.

— Босфор, — сказал я.

— Вы видели Босфор на рассвете? — спросила она. — Помните, у Хемингуэя: «Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал

до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном».

Я видел Босфор на рассвете и видел солнце, встающее над минаретами. Это было сразу после холодной Керчи. И я тогда не утверждался в решенном. Наоборот, я проклинал себя за решение пойти плавать на старом грузовом теплоходе грузовым помощником. И еще я мучился тем, что не могу остановить мгновение рассветной красоты над Босфором.

Я сменился с вахты, был свободен, спустился в каюту и пытался остановить мгновение при помощи своей старой «Эрики». Я писал: «Утренний туман среди пожухлой листвы зимних деревьев. Из туманной тишины голос чайки. Три серебристые утки над фиолетовой неподвижной водой. Плавный провис проводов высоковольтной линии на огромной высоте над проливом. Разноцветные дома, прижавшиеся друг к другу. За опущенными жалюзи — утренний сон. А на газоне в парке уже поднимают и опускают мотыги несколько оборванных рабочих. Женщина в черном идет по синему асфальту...»

Я писал эти слова, а внутри звучало: «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем...» И чужая поэзия плугом чужого таланта перепахивала целину моих истинных ощущений. Я не мог отделить своих плевел от ее обаяния. И мучился этим, даже физически мучился.

Смотрел на турецкие фелюги с задранными к небесам носами и кормами и стучал кулаком в ладонь от бессилия.

Фелюги были раскрашены в простые цвета: белая, зеленая, желтая, красная полосы. Фелюги колыхались у берегов, а над ними вздымались ржавые пароходы — старомодные высокие и узкие трубы и прямоугольные надстройки — давно мертвые корабли на мертвых якорях. И человеческое кладбище проплыло совсем рядом с бортом. Освещенные солнцем руины дворцов отражались в еще темной воде. Лежали под набережной парусные барки, вытасщенные на сушу. Голубой туман выходил из их открытых трюмов.

Когда-то вещей Олег загонял здесь гвозди в щит, прибывая его к воротам Царьграда. Теперь бледно светилась в солнечных лучах реклама «Филиппс».

Я плюнул на писание и вышел на палубу.

Лодчонка тарахтела слабым мотором и лезла прямо нам под форштень. В лодчонке спал старик, положив седую голову на румпель. Лоцман бегал по мостику, по-

трясал кулаками и ругался на всех языках мира, потом дернул привод гудка. Рев ударил по ушам, сбивая утренний, тихий настрой в душе. Старик в лодке проснулся, равнодушно толкнул румпель, подставил нос каюка волне. Эхо гудка трижды отдалось в близких горах...

И опять чистая, солнечная тишина сомкнулась вокруг голубых с золотом минаретов. И, заменяя «Никогда я не был на Босфоре...», во мне всплыло: «Аве, Мария» — опять чужие слова, чужая мелодия, чужое вдохновение!

Пришлось выругаться не хуже турецкого лоцмана и завалиться спать — от бессилия, — потому что никакое «Аве, Мария» не звучало над проливом.

Над проливом тогда просто взошло солнце.

Нам не пришлось вкусить угощения Таренковых до конца.

Зазвенел телефон. Трубку взяла Мальвина. И сразу передала ее мужу: «Штормовое, Женя!» А еще через минуту мы мчались по ночным улицам к порту — с бала на корабль. И Таренков давал нам кое-какие рекомендации, а на прощанье счел полезным вручить прошлогодний информационный бюллетень Черноморского пароходства. И этот старый бюллетень, увы, оказался точным сценарием того, что ожидало нас в ближайшие двое суток.

«Бюллетень технико-экономической информации ЧМП.

С 12 по 14 января 1968 года над восточной частью Средиземного моря прошел глубокий циклон, вызвавший ураганные ветры и катастрофическое волнение.

В результате разбушевавшейся стихией сирийскому порту Латакия были причинены большие разрушения. Здесь находились 12 торговых судов, в том числе теплоходы «М. Бардин» («Металлург Бардин») и «Малахов курган» Черноморского пароходства.

К 13 января ураган достиг максимальной силы и создал чрезвычайно тяжелую обстановку в порту.

Восемь судов были сорваны со швартовых и якорей, два из них были выброшены на камни и разбиты в Старом порту. Большие повреждения были причинены портовым сооружениям, 250 метров волнолома было разрушено и снесено в море — порт оказался совершенно не защищенным от действия стихии.

Т/х «М. Бардин» под командованием капитана Люто-

го В. Т. прибыл 8 января 1968 г. в Латакию и 11 января приступил к выгрузке груза. В 17.20 12 января в связи с усилением юго-западного ветра выгрузка была прекращена, по судну был объявлен аврал, дополнительно было заведено на причал 8 капроновых швартовых тросов. Общее количество заведенных концов к этому времени составляло — 12 с бака и 10 с кормы.

Используя кратковременное затишье, капитан хотел выйти из порта с рассветом 13 января, однако к 5 часам ветер от юго-запада усилился до 8 баллов, и, проконсультировавшись по радиотелефону с другими советскими судами, капитан Лютый принял окончательное решение штормовать в порту. Немедленно же между бортом и причалом были заведены все имевшиеся на судне кранцы и бухты дефектных швартовых тросов.

В 05.45 в 10—20 метрах от левого борта теплохода «М. Бардин» с трудом задержались с помощью якорей и работавших машин сорванные ураганным ветром со своих швартовых суда «Галатея» (Панама), «Ирис» (Либерия) и «Новошахтинск» (СССР).

В 08.00 сокрушительными ударами волн развалило находящийся по корме на траверзе теплохода «М. Бардин» участок волнолома длиной 250 метров. В результате этого открылся свободный доступ штормовым волнам во внутреннюю акваторию порта. С этого момента ввиду угрожающего положения на судне были сформированы четыре аварийные группы: носовая, кормовая, группа швартовщиков на причале и запасная группа, которые вступили в непрерывную борьбу за живучесть судна.

В 08.20 стоящий впереди болгарский пароход «Балкан» был сорван со швартовых и навалил кормой на носовые продольные концы т/х «М. Бардин», в результате чего шесть из них были порваны. Корму т/х «М. Бардин» кинуло на причал, и теплоход получил серьезные повреждения корпуса. Для частичного преодоления создавшейся аварийной обстановки был отдан правый якорь и начали работать машиной на задний ход. Поданные вслед за этим дополнительные концы с бака стабилизировали положение.

В дальнейшем, используя перекладку руля и работу машиной, при активных действиях экипажа по временной заделке повреждений корпуса и крепления судна, т/х «М. Бардин» продолжал удерживаться у причала, испытывая сильные удары волн о корпус и удары корпуса о причал, несколько смягчаемые кранцами. За сутки было

оборвано 11 капроновых тросов, 3 стальных и заведенный с носа 52-миллиметровый буксир.

В этот же период времени теплоход «Малахов курган» под командованием капитана Рослова А. А. стоял ошвартованный кормой к брекватуеру с отдачей двух якорей: правого 6 смычек цепи и левого — 7 смычек. На швартовую пушку брекватуера было заведено шесть капроновых концов.

(Мы стояли точно в такой же позиции, но по корме был не брекватуер, а тот самый волнолом, который был разрушен предыдущим ураганом. Наши носовые концы были на швартовой бочке, а шесть кормовых на швартовых тумбах волнолома. Из шести кормовых только два были капроновые — черноморцы всегда умудряются снабжаться хорошими тросами и другим морским инвентарем лучше всех других россиян — это им одесские черточки характера помогают.)

Расстояние от кормы «Малахова кургана» до брекватуера составляло 25 метров. Ветер работал на теплоход прямо в нос.

(Расстояние от нашей кормы до волнолома было приблизительно таким же, но ветер работал нам прямо в корму. А почему-то всегда, когда получаешь пинок в зад, то ускорение значительно больше, нежели после пинка в перед.)

Ко времени прекращения выгрузки из-за усиления ветра 12 января на борту т/х «Малахов курган» оставалось 6828 тонн генерального груза.

(У нас на борту было около четырех тысяч тонн шрота.)

В 03.00 13 января ветер достиг 10 баллов от юго-запада. Якоря теплохода «Малахов курган» начали ползти, и судно, смещаясь назад, стало приближаться к брекватуеру.

(У нас все происходило как раз наоборот. Нам в корму не только давил адский ветер, но и штормовые волны, которые легко перемахивали через остатки волнолома. Эти волны были так велики и длинны, что прокатывались через весь теплоход — от кормы до носа. И потому почти невозможно было работать с кормовыми концами — попробуй работать, если тебе в лоб бьет струя из пожарного шланга.)

В 04.00 ветер достиг 12 баллов, стали ощущаться толчки о грунт и было замечено самопроизвольное проворачивание главного двигателя.

(Когда ветер достиг 12 баллов, у нас вырвало левый кормовой кнехт и мы фактически повисли на концах одного борта. Кнехт вырвало с корнем и еще разломало пополам — такое я наблюдал первый раз в жизни.)

В 05.00 после непрерывной подачи звуковых сигналов к борту т/х «Малахов курган» подошел катер для завоза швартовых и 150-сильный буксирный катер для оказания помощи.

(К нам эти ребята подошли через два часа после начала подачи звуковых сигналов и только после красной ракеты. Правда, все суда в порту, а набито их там было как килек в банке, гудели и визжали кто во что горазд, ибо у всех рвались швартовы и никто не мог завести новые без завозного сирийского катера. Самое страшное было смотреть на эти портовые катера, когда они вдруг оказывались значительно выше твоих бортов, где-то в мутных небесах, на гребне очередной волны. Отчаянные ребята работают в Латакии на портовых плавсредствах!)

К 07.00 с помощью 150-сильного буксира удалось завести добавочные носовые швартовы на швартовую бочку и отвести корму от брекватера. Однако через полчаса ветер достиг ураганной силы (до 45 метров в секунду) и «Малахов курган» вновь потащило к брекватеру. При попытке использовать свою машину было обнаружено повреждение шестерни валоповоротного устройства. Подошедший к 08.00 морской буксир «Барада» начал работать на таран, отжимая корму «Малахова кургана» от брекватера.

(Когда ветер достиг ураганной силы, нам с помощью катера и буксира «Барада» удалось завести на кормовые палы двенадцать концов, которые крепились не только на кнехты, но и за брагу, которую мы обвели вокруг надстройки румпельного отделения. После этого нам ничего не оставалось делать. Мы только любовались на бесчинство стихий. Брызги и целые куски волн крутились в спрессованном воздухе вокруг ходового мостика кольцом Сатурна — это было космическое зрелище.)

Экипажи теплоходов «М. Бардин» и «Малахов курган» по общему авралу самоотверженно непрерывно боролись со стихией, сохранив суда от тяжелейших последствий.

В условиях этого неравного поединка экипажи т/х «М. Бардин» и «Малахов курган» проявили образец организованности, стойкости, мужества и хорошей морской выучки.

Стилистику «Бюллетеня» я оставляю без исправлений. Мне кажется, казенные слова иногда сильнее действуют.

Занятно, что в раннем исламе, и по Корану, и по преданию, культ Аллаха — в противоположность культу идолов — проявлялся главным образом во время морских путешествий. Именно во время ужасного шторма обращались к Аллаху с молитвой, как к Владыке моря. Это отлично увязывается с нашим: «Кто в море не бывал, тот бога не знал».

Никто на старом «Челюскинце» не молился 22 и 23 февраля 1969 года, но бога мы вспоминали часто. Ведь если на раннем этапе цивилизации море помогало людям создавать бога, то на последующих оно с успехом помогает им делаться богохульниками.

ПОД ВОЙ БОРЫ

Когда в Новороссийске меня спрашивали о том, какой груз мы привезли с Ближнего Востока, я отвечал со сдержанной гордостью:

— Булавоусый малый мучной хрущак, малый мучной смоляно-бурый хрущак, суринамский мукоед и небольшое семейство жужелиц. Всего зверей пять тысяч четыреста восемьдесят четыре тонны.

До прибытия в Новороссийск мне был известен только один вредитель — «капустница». За мельканием этой бабочки сразу чудятся цветущие луга, полдневный, ленивый зной и летние, деревенские запахи.

На официальном языке наш груз назывался «шрот» — жмых хлопкового семени. Я видел грузовую разнарядку. Шрот шел в две сотни адресов. Украинские, сибирские, среднерусские, архангельские свиньи пускали слюнки в предвкушении обедов из сирийского жмыха. Но отправлять во все концы страны импортных хрущаков и мукоедов в живом виде невозможно. И нас поставили на фумигацию — в трюма накачали синильную кислоту или еще что-то более страшное; экипаж покинул судно, повесив плакаты с черепом и костями, подняв на мачте соответствующий флаг и выставив у трапа вахту.

Капитан оказался в городской гостинице, остальные — в гостинице для моряков. Она за городом, на берегу Цемесской бухты, земной пейзаж вокруг уныл — камни, грязь, опоры линий электропередачи, начатые и заброшенные

стройки, трубы цементного комбината вдали. А бухта — огромна и прекрасна.

В подвале гостиницы есть буфет-забегаловка, где околачиваются бичи в ожидании встречи со знакомым морячком и бутылкой пива. В номерах чистенько, администраторши, как положено, строгие и вредные. Координаты, имена и должности проживающих им известны, «накатить телегу» они могут без труда, и если захотят, то и без всякого повода. А для моряка заграничного плавания любая «телега» — хуже туберкулеза.

Я прибыл поздним вечером на попутном «козле». Знаменитая новороссийская бора месила ночную темноту, а сильный ветер, когда я на берегу, расстраивает психику. Почему-то кажется, что все на берегу, если на него выбрался, должно быть тихо и корректно.

Корректности не получалось. Только я оформил пребывание, как погас свет. Во время боры этому не удивляются. Дежурная зажгла свечку и проводила до номера. «Слева за дверью ваша койка» — на этом ее заботы обо мне закончились.

В номере было еще четыре койки. Из тьмы спросили традиционное: «С какого?.. Откуда пришли?» Я ответил, разделся и лег. Рано утром нужно было брать у капитана порта справку о приходе, потом ехать к нотариусу в город и оформлять морской протест. Капитан боялся, что на пути из теплого Средиземноморья в холодный Новороссийск в трюмах произошло отпотевание и шрот подмок. На всякий случай следовало подать морской протест. Я считал все это перестраховкой чистой воды, но приказ есть приказ.

Соседи по номеру, очевидно, давно отоспались и теперь не давали мне уснуть. Старые-престарые морские анекдоты, рассуждения о девицах за стенкой — там жили выпускницы поварской школы, ждали своего первого назначения на суда, — и вечная морская травля...

Это великая вещь — морская травля. И философии в ней больше, чем находят литературные критики, но я устал и спать хотел. И уже засыпать начал, когда на невидимом окне зачирикали и зашевелились птицы.

Из тьмы раздалось:

— Мишка, ты птиц закрыл? Спать не дадут утром...

— Дрыхнет Мишка.

— Разбуди его, пусть птиц укроет...

Мишку разбудили, он послушно прошлепал к окну, вернулся в койку и сказал молоденьким голоском:

— Опять старпом снился! Сведет он меня в могилу... Еще на отходе из Калининграда сижу в каюте, судовые роли печатаю, он заглядывает, спрашивает: «Ты что делаешь? На машинке печатаешь?» Я говорю: «Нет». — «А что ты делаешь?» — «В хоккее играю». Он разозлился и дверью хлопнул. Дальше, в море уже. Засовываю в диван ненужные лощи. Жара. Лощи этих — до чертовой матери. Мокрый я. Качает, диван на меня падает все время. Старпом приходит, спрашивает: «Ты что делаешь? Лощи убираешь?» Я очередную засовываю и говорю: «Нет». — «А что ты делаешь?» — «В хоккее играю». Он злится. Я спать лег перед вахтой. Полог задернул, свет погасил. Он влезает в каюту, спрашивает: «Ты что делаешь? Спишь?» Я зубы стиснул, говорю спокойно: «Нет, Петр Альфредович, в хоккее играю!» И так мы уже через неделю видеть друг друга спокойно не можем. Он молчаливо требует, чтобы я к его привычке спрашивать про очевидные вещи привык. А я себя не могу перебороть. «Простите, Петр Альфредович, тут занято! — это я ему из душевой кричу. — Я тут в хоккее играю!» Он — старший, я — четвертый. Значит, субординацию нарушаю. Но нарушение такое, что ни под какую статью не подведешь. А избавиться от своей идиотской привычки он не хочет: натура — кремь!

— Не кремь, а осел, — прогудел кто-то во тьме.

— И вот понимаю я, — продолжал молоденький с отчаянием в голосе, — если он еще раз увидит, что я курю, подойдет и спросит свое: «Ты что делаешь? Куришь?» — то я ему окурком выстрелю прямо в глаз! Вот ситуация! И выхода нет! Даже ночами снится!..

Сутки за сутками мы ждали смерти хрущаков и суринских мукоедов. Они не дошли. Бора выдувала из старых трюмов ядовитый газ. Его было полно в каютах и очень мало в шпроте.

Мне полагался небольшой отпуск — отгул выходных дней. И я слезно запросил подмену. Она все не ехала.

Ветер сводил с ума. Городскую пыль и землю ветер смешивал над бухтой с солеными брызгами. Липкая рыжая замазка покрывала стекла окон. У центрального входа в Управление портом валялся огромный тополь, сломленный борой почти возле корней. На улицу было не выйти. Редкое такси отваживалось проехать по набе-

режным. И вой — монотонный, тоскливый, как предсмертный вопль марсиан Уэллса.

Все анекдоты, все запасы морской травли давно исчерпались. Деньги на согревательные напитки — тоже.

Я читал старинную книгу: «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов Русского флота». Старинные, спокойные обороты речи, запах прошлых веков с пожелтевших страниц, имя флота капитана — командора Головина на обложке:

«Ежели мореходец, находясь на службе, претерпевает кораблекрушение и погибает, то он умирает за Отечество, обороняясь до конца против стихий, и имеет полное право наравне с убиенными воинами на соболезнование и почтение его памяти от соотчичей»...

Удержаться от удовольствия общения с настоящим русским языком не можешь. Отсюда и мои стилизации, и обильное цитирование. Как удержаться, если попали тебе на глаза такие строки:

Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине горящего лица не скрыло,
Как пламенна гора, казалось меж валов,
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудных, при ясном солнце ночи
Верхи золотых зыбей пловцам сверкают в очи.

...Карбас помора-зверобоя на волнах Белого моря. Глаза морехода на одном уровне с волной. За гребнем волн стоит ночное полярное солнце. Его низкие лучи скользят по льдам и спят глаза кормщику. Автор был в море, работал в нем. Теперь он спокойной, крепкой рукой ведет строку. Строка величаво колышется в такт морской зыби. Север простирается далеко до края стиха. И слышно, как медленно падают капли с медлительно заносимых весел. Гребет помор. Стоит над морем солнце. Вздываются и вздыхают на зыби льдины. От них пахнет зимней вьюгой. Здесь чистая картина — без символики. Здесь профессиональное знание жизни, и физики, и астрономии. Пишет Ломоносов. Рыбак, начинавший современный русский язык, открывший атмосферу на Венере, объяснивший природу молнии электричеством, сформулировавший закон сохранения вещества.

«...Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет

несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает.

А вот Державин:

Что ветры мне и сине море?
Что гром, и шторм, и океан?
Где ужасы и где тут горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасет ли нас компас, руль, снасти?
Нет! Сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью! и не боюсь напасти,
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зияй утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И с плачем плыть в толь дальний путь.

Здесь уже городская нервность, которая и нам хорошо знакома. Через «Достигло дневное до полночи светило...» и «Что ветры мне и сине море?..» вдруг понимаешь, как выросло пушкинское:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей...

Чего не умеем мы, так это выказывать словами любовь. Разве передашь, что испытываешь, переписывая такие строки?..

Царь признал, что Пушкин есть первый ум России. Про талант царь не взял на себя смелость судить. Что опаснее для государя: ум или талант?

Заграница деликатно недоумеает по поводу нашего поклонения перед Пушкиным, ибо смертно скучает над «Онегиным». Русский же, и не читавши «Онегина», за Пушкина умрет. Для русского нет отдельно «Онегина» или «Капитанской дочки», а есть ПУШКИН во всех его грехах, шаловливости, дерзости, свете, языке, трагедии, смерти...

В США проводятся опросы «Кому вы хотели бы позвать руку?». Дело идет о живых людях. Если провести такой опрос у нас, предложив назвать и из ныне живущих и из всех прошлых, то победит Пушкин. И не только потому, что он гениальный поэт. А потому что он такой ЧЕЛОВЕК. Может быть Набоков превосходно перевел «Онегина», но тут надо другое объяснять западным, рациональным мозгам.

Человека, который написал «Выстрел», уже ничто не остановит на пути к барьеру. Когда Пушкин написал «Выстрел», он подписал себе смертный приговор. Ведь он бы дрался с Дантесом еще и еще — до предела и без отступлений. Это уже ЦЕЛЬ. Свершив первый шаг, неизбежно движение к самому пределу. А смертный приговор — в любом случае. Если бы он убил Дантеса, то уже не был бы великим русским поэтом, ибо убийца в этой роли немислим. Разве сам Пушкин простил бы себе? Остынув, придя в себя, разве он мог бы не казниться? И в какой ужас превратилась бы его жизнь... Пушкин — на вечном изгнание за границей!

Странно, что наши предки, у которых времени было в десять раз больше нашего, говорили короче. Суворовские боевые приказы своей лаконичностью вошли в поговорки и пословицы. Петр был болезненно жаден на слова. Когда читаешь его письма, видишь человека поступков, которому противно писать лишнее слово. Правда, он никогда не был силен в грамматике, однако образность и сила его приказов отлично проникала в застойные мозги сподвижников.

А вот текст, который я знаю наизусть и трагичнее которого представить трудно. Он написан больше ста лет назад. В нем пятьдесят слов — письмо-телеграмма:

«Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону Севастополя. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади. Адмирал Нахимов».

Какое было доверие адмирала к народу, матросам, если, отдавая приказ на потопление лучшей эскадры России в разгар войны, он не нуждался в разжевываниях, не нуждался в страховке самого себя пунктами и параграфами.

Вероятно, именно страх перед ответственностью, неверие в свои способности и неверие в способности и интуицию народа порождает многословие в речах и книгах.

Подменный штурман все-таки приехал. Я расставался с «Челюскинцем». В противогазе в полумраке и холоде мертвого, загазированного судна собирал чемодан. Шмутки не лезли. Фумигаторы торопили. Волновала судьба сардинского кактуса — убьет его газ или нет? Брать с собой кактус было невозможно. Он должен был приплыть в Ленинград, еще раз обогнув Европу.

Самолеты из самого Новороссийска не летают. Поезд Новороссийск — Краснодар дрянной, грязный. Пассажиров было битком. Соседи чавкали неизменную поездную еду или храпели. Я для бодрости пил отвратительный портвейн прямо из бутылки. Он теплый был, сладкий.

Вошел слепец. И очередной рейс закончился для меня, как когда-то в Мурманске, — самодеятельной, вагонной песней. Слепец запел гнусаво, но с чувством:

На море, на рейде эсминец стоял,
Матросы с родными прощались.
А море хранило покой тишины,
И волны слегка колебались...

Перестали чавкать соседи, подавали слепцу щедро.

А там, на аллею, где пел соловей,
Где чисто звенела гитара,
С девчонкой прощался моряк молодой,
Надолго ее покидая...
Подали команду: «Поднять якоря!»
Свист боцмана резкий раздался,
Он снял бескозырку, махнул ей рукой:
«Прощай, дорогая Маруся!
Вот скоро возьмем Севастополь родной,
К тебе я, родная, вернуся!»

Новороссийская и севастопольская была, черт побери, вокруг земля, геройская, флотская.

Я слепцу не подал — стыдно мне почему-то подавать. Вышел за ним в тамбур. Мы покурили. Автора песни слепец не знал, сам им тоже не был. Ослеп при бомбежке Анапы, еще мальчишкой. Отец погиб в войну. Мать жива, в Анапе. Был женат. Жена умерла от водянки в прошлом году. Две дочери. Одна уже работает, другая в седьмом классе.

В беседе с корреспондентом ТАСС начальник отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР, доктор географических наук, дважды Герой Советского Союза И. Д. Папанин сообщил:

— Экспедиционный флот Академии наук СССР пополнился новыми экспериментальными судами: «Долинск», «Бежица», «Ристна», «Аксай», «Боровичи», «Космонавт Владимир Комаров», «Невель». Они предназначены для проведения работ, связанных с изучением верхних слоев атмосферы и космического пространства.

На экспериментальных судах будут производиться научно-исследовательские работы по наблюдению за космическими объектами в районах Атлантического, Индийского, Тихого океанов и Средиземного моря.

*Новые корабли науки.
«Водный транспорт»,
1967, 20 июня*

Весной я прилетел с Черного моря в Ленинград, отгулял двадцать дней и получил назначение на экспериментальное судно «Невель».

Знал о будущем мало. «Невель» производит работы по наблюдению за космическими объектами в Южном полушарии. Последний рейс длился одиннадцать месяцев, без заходов в советские порты. В рейсе слегка психически заболел один из старших командиров.

Таким образом, я попадал в эпицентр мировой научно-технической революции.

У причала с магическим номером «33» теплохода «Невель» еще не было, хотя в кадрах уверяли, что он там перетер в пыль и муку швартовы, ожидая меня.

Светило солнышко, пустынно было — причал № 33 на самом краю порта. Травка чахла между шпал на путях. Громоздились под брезентами грузы. Весь остров Вольный был завален ими.

Слева виднелись низкие причалы Кривой дамбы, впереди плыл в июньской дымке Лесной мол, правее уводил в узкие просторы Финского залива Морской канал.

Видение Лесного мола не умиляло меня. Я вспоминал безобразную погрузку досок на Лондон.

На причале торчало несколько павильончиков — для сувениров, газетный. Они, как положено, были заколочены, хотя причал пассажирский. И заколоченность павильончиков вызывала во мне осеннее настроение. Знаете заколоченные павильончики на берегу Финского залива осенью? И черные вороны ходят по холодному песку. И пива нигде не выпьешь.

Мне не хотелось в рейс.

Предчувствие девятимесячного болтания в экзотике южных морей давило душу. А ветерок с залива налетал мягкий. И света вокруг было много. Около воды всегда света больше.

Из ближайшего пакгауза я позвонил диспетчеру. Диспетчер утверждал, что «Невель» стоит у причала № 33. Разубедить диспетчера было не в моих силах. Черт бы его побрал. Прибытие на новое судно всегда тревожит. И хочется, как на экзамене: пускай скорее начинается и скорее заканчивается. И вот вы пришли на экзамен, а его отложили. Только гуще делается тревожность. Кто экзаменатор? С кем окажешься за одним столом? У доски? В коридоре? С дураком и мерзавцем? Или найдешь друга? Но кто в моем возрасте находит новых друзей? В моем возрасте их теряют...

Я уселся на скамеечку, закурил тайком.

В кармане лежало письмо из Мурманска. Писал мне бывший капитан белоснежного лайнера «Вацлав Воровский», мой тезка, с которым мы возили рыбаков к Нью-Йорку и туристов в Арктику. «Здорово, паренек! Я в каюте Володи Самодергина. Он супротив меня заполняет табель рабочих дней и между делом говорит: «Передай Конечкому, что он сукин сын». Через час я отхожу в моря, а Вовка Самодергин отходит через четыре часа. Я в сторону веста, а они как раз наоборот... После коллективной читки журнала «Звезда» отдельные места фарша под названием «Соленый лед» подверглись резкой критике и злым нападкам коллектива. В пароксизме ярости Самодергин заявил, что возбудит против тебя дело. Боюсь, что дипломатические отношения между вами наводятся на грани разрыва. Зачем ты сообщил, что он чесался на рейде Булони и что его дед выдернул себе бороду?.. Здесь даже возникла идея скупить весь тираж «Звезды», но, когда покрутили арифмометр, оказалось, что это довольно круглая сумма, и от идеи пришлось

отказаться в пользу другой — поймать тебя в темном углу и вытряхнуть лишнюю пыль из твоего организма. Подружески советую — смени адрес...»

Сквозь обычный юмор висельников и утопленников я чувствовал обиду Володи Самодергина. Вот так и теряешь друзей.

И совет о смене адреса был добрый совет.

Но дело было не только в этом. Они опять уходили. Один на ост, другой на вест. Последняя радиограмма была от тетки: «Вышли Одессы Мурманск, впереди Бискай, посети Никольскую». А сейчас он шел из Мурманска на Риеку, чтобы обеспечить перегон плавкрана. И опять у него на пути был Бискай. Другой — обиженный мною — сейчас влезал в горло Белого моря и проклинал каботажное плавание.

Извечный стыд перед теми, кто уплывает или плывет, опять толкнул меня в рейс. Девять месяцев! Без советских портов! В ресторан ни разу не сходишь, чтобы выпить как следует «вдали от небесной плантации», как говаривал Тисса, погонщик слонов, махают в рассказе Киплинга.

Когда исчезнет мой стыд перед уплывающими?

Прошлый раз я считал, что надо побывать там, где нырял и выныривал пророк Иона. Я просто обманул себя записками параноика.

За Кривой дамбой медленно двигалось странное сооружение — океанский теплоход «Невель». Сооружение было утыкано непонятными антеннами. Они штопорами вкручивались в небо, крестили вокруг крестами, с топа мачты торчали огромные раструбы, десятки штырей покачивались над надстройками, как бамбук.

Так выглядела моя очередная судьба на ближайшие девять месяцев.

Судьба ошвартовалась перед самой моей скамеечкой.

Пока они прижимали корму, работая на шпринге полным вперед, я гадал: выдержит ли шпринг, снесет он мне башку вместе со скамеечкой или нет. Покидать скамеечку было как-то неудобно.

И еще я мучительно пытался вспомнить, что или кого напоминает космический теплоход «Невель». Это было так мучительно, как в Босфоре, когда я смотрел на древнюю крепость, к воротам которой, по преданию, вещей Олег приколотил щит, и готов был поклясться, что уже видел ее. Видел! Хоть повесьте! А шел я тогда при днев-

ном свете Босфором первый раз. Через добрую неделю мучений я вспомнил гравюру на стенке своей комнаты. Гравюра из тех, что хранятся совсем бездумно, висела еще у бабушки; увидел ты ее, когда открыл глаза, и привык ее не замечать и не помнить. На гравюре была Босфорская крепость. А я уже твердо уверовал в то, что видел крепость в своих прошлых жизнях.

И теперь я мучился тем, где и когда видел нечто похожее на «Невель». Оказалось, он напоминает мне сумасшедшие рисунки раннего Сальвадора Дали. Только его гениальный и воспаленный глаз мог еще до начала космической эры увидеть немыслимые конструкции современных антенн.

Я поднялся по трапу, нашел старпома, под обычными любопытствующими взглядами вручил ему направление кадров. Он сунул его в карман, сказал, что второй помощник на корме, дела и обязанности следует принимать сегодня же, рапорт — завтра.

В корме я увидел стальную четырехугольную загородку. Она занимала много места и мешала матросам управиться со швартовыми концами.

— Клетка от акул, что ли? — осторожно спросил я у второго.

На новом судне не следует много спрашивать. Можешь показаться безнадежным дураком. То, что в первые дни кажется странным, для старожилов — дважды два четыре. И для тебя так будет. Неизбежно все станет для тебя как дважды два.

— Нет, не от акул, — хладнокровно сказал второй штурман. — Это клетка для бабушки четвертого механика.

— Рано ты выпивать начал, — сказал я, взглянув на часы. — А у поддавших я не люблю принимать дела.

— Я серьезно, — испугался второй. — Четвертый механик, в ремонте пока стояли, ограду сварил для могилы своей бабушки. Из металлолома.

— Значит, клетка с нами в рейс не идет?

— Нет.

— Это хорошо, — сказал я. И без могильной ограды на «Невеле» было страшновато. Еще я подумал, что могильные ограды выглядят очень высокими, пока их не закопают в землю.

Я, конечно, суеверный человек. Дух кладбища, которым тебя встречает новое судно, — не самый приятный. Но

мне уже приходилось сталкиваться с мрачными хобби судовых механиков.

На «СТ», которые пришлось когда-то перегонять в Салехард, меня встретил нормальный кладбищенский крест. Механик сварил его для усопшей матушки. Помню, было тогда много споров: как приваривать косую перекладину на кресте, какой ее конец должен быть выше? Кресты на куполах и шпилях, которые мы рассматривали в бинокль, нам помочь не смогли — не ясно было, куда они обращены...

— Ну, пойдем, примешь кассу, — сказал второй помощник. — Денежный остаток ерундовый, отчет я почти закончил...

— Какую кассу? — спросил я. — Деньгами, даже пингвинам известно, третий помощник занимается.

— А здесь второй. Грузов нет — космические объекты летают не в трюмах, как пингвинам известно.

Это был гроб. Не ограда к могиле. Это была сама могила, стопроцентная, с крестом, колонкой или даже старинным адмиралтейским якорем. Просясь на экспедиционное судно вторым помощником, я рассчитывал на безделье в рейсе. Думал: две вахты и — все. Остальное время я пишу бессмертные произведения про Иону и обрабатываю записки о прошлых рейсах. А здесь на меня рухнули бесчисленные франки, фунты, доллары, песо. И всех их надо было переводить одно в другое и в копейки. И составлять ведомости. И отчеты. И получать и выдавать все эти фунты, песо, рупии...

— Сколько организмов на борту? — спросил я замогильным голосом.

— Больше восьми десятков.

Я отчетливо понял состояние, при котором дезертир вдруг выпрыгивает из окопа.

Подходный налог, бездетность, профвзносы, валюта за техимущество... И это на меня! На меня, который, как перед богом говорю, ни разу не знал, сколько предстоит получить зарплаты!

Пот стекал по ладоням, когда мы спускались в каюту. И, вероятно, поэтому меня сильно дернуло на трапе электрокотом: долго вести влажной рукой по металлическому поручню на научно-исследовательском судне «Невель», очевидно, не следовало.

— Черт! — сказал я.

— Долбануло? — хладнокровно спросил второй. — Здесь, если зазеваешься, и навеки бездетным останешься,

а то и убить может. Все перемагничено. Космос — радио — череп — кости... Боцман себе свинцовые трусики смастерил.

— Не мели чушь, — ласково попросил я и поблагодарил провидение за то, что всю жизнь интересовался большой наукой.

Вечером этого веселого дня у меня была назначена встреча с древним другом-приятелем Петром Ивановичем Ниточкиным.

Петя давно капитанит на танкере в Одессе. Приехал он в Ленинград накануне. Рандеву было назначено в плавучем ресторанчике «Дельфин». И я этой встрече радовался. Петя человек веселый, трепливый. С ним хорошо, когда на душе кошки скребут.

Разговор начался с того, что вот я ухожу в длительный рейс месяцев на девять и в некотором роде с космическими целями, но никого не волнует вопрос о психической совместимости членов нашего экипажа. Хватают в последнюю минуту того, кто под руку подвернулся, и пишут ему направление. А если б «Невель» отправляли не в Индийский океан, а, допустим, на Венеру и на те же девять месяцев, то целая комиссия ученых подбирала бы нас по каким-нибудь генетическим признакам психической совместимости, чтобы все мы друг друга любили, смотрели бы друг на друга без отвращения и от дружеских чувств даже мечтали о том, чтобы рейс никогда не закончился.

Вспомнили попутно об эксперименте, который широко освещался прессой. Как троих ученых посадили в камеру на год строгой изоляции. И они там сидели под глазом телевизора, а когда вылезли, то всем им дали звания кандидатов и прославили на весь мир. Здесь Ниточкин ворчливо сказал, что если взять, к примеру, моряков, то мы — академики, потому что жизнь проводим в замкнутом металлическом помещении. Годами соседствуешь с каким-нибудь обормотом, который все интересные места из Мопассана наизусть выучил. Ты с вахты придешь, спать хочешь, за бортом девять баллов, из вентилятора на тебя вода сочится, а сосед интересные места наизусть шпарит и картинки из «Плейбоя» под нос сует. Носки его над твоей головой сушатся, и он еще ради интереса спихнет ногой таракана тебе прямо в глаз. И ты все это терпишь, но никто твой портрет в газете не печатает и в космонавты записываться не предлагает, хотя ты проявляешь гигантскую психическую выдержку. И он, Ниточкин, знает

только один случай полной, стопроцентной моряцкой несовместимости.

И здесь по выражению лица моего старого друга я понял, что на ближайшие часы забуду о тягостном знакомстве с теплоходом «Невель»; вопрос денежного обеспечения экипажа «Невеля» тоже будет забыт, а предстоит мне выслушать не одну поучительную историю о психической совместимости или несовместимости.

Ссора между доктором и радистом началась с тухлой селедки, а закончилась горчишками. Доктор ловил на поддев пикшу из иллюминатора, а третий штурман тихонько вытащил леску и посадил на крючок вонючую селедку. Доктор был заслуженный. И отомстил. Ночью вставил в иллюминатор третьему штурману пожарную пипку, открыл воду и орет: «Тонем!» Третий в исподнем на палубу вылетел, простудился, но за помощью к доктору обращаться категорически отказался. И горчишки третьему штурману поставил начальник ради. Доктор немедленно написал докладную капитану, что люди без специального медицинского образования не имеют права ставить горчишки членам экипажа советского судна, если на судне есть судовой врач; и если серые в медицинском отношении лица будут ставить горчишки, то на флоте наступит анархия и повысится уровень смертности... Радист оскорбился, уговорил своих дружков — двух кочегаров — потерпеть, уложил их в каюте и обклеил горчишками. И вот они лежат, обклеенные горчишками, как забор — афишами, а вокруг радист ходит с банкой технического вазелина. Доктор прибежал, увидел эту ужасную картину и укусил радиста за ухо, чтобы прекратить муки кочегаров. Они, ради понта, такими голосами орали, что винт заклинивало...

Здесь Ниточкин вздохнул, вяло глотнул коньяка, вяло ткнул редиску.

— Упаси меня бог считать подобные случаи на флоте чем-то типичным, — продолжал он. — Нет. Наоборот. Как правило, доктора кусаются редко, хотя они от безделья черт знает до чего доходят. Меня лично еще ни один доктор не кусал, а плаваю я уже двадцать лет. Я хочу верить, что барьеров психической несовместимости вообще не существует. Конечно, если, например, неожиданно бросить кошку на очень даже покладистую по характеру собаку, то последняя проявит эту самую психическую не-

совместимость и может вообще сожрать эту несчастную кошку. Но это не значит, что нельзя приучить собаку и кошку пить молоко из одной чашки.

Неожиданность Петиных ассоциаций всегда изумляла меня.

Когда я жил в маневренном фонде, в квартире, где жило еще восемнадцать семейств, меня как-то навестил Ниточкин. Войдя в кухню и оглядывая даль коридора, он сказал:

— Пожалуй, это одно из немногих мест на планете, где везде ступала нога человека.

И вот теперь его вдруг понесло к кошкам.

— Лично я, — повторил Ниточкин с раздражением, — кошек не люблю. Но даже очень грязного кота или кошку в стиральной машине мыть не буду. Даже по пьянке, хотя такие случаи в мире и бывали.

Моя нелюбовь к котам и кошкам имеет в некотором роде философский характер. Я их не понимаю. А все, что понять не можешь, вызывает раздражение. И еще мне в котах и кошках не нравится их умение выжидать. Опять же эта их коренная черта меня раздражает потому, что сам я выжидать не умею и по этому поводу неоднократно горел голубым огнем. Особенно это касается моего языка, который опережает меня самого по фазе градусов на девяносто, вместо того чтобы отставать градусов на сто восемьдесят.

Так вот, понять кошачье племя дано, как я убежден, только женщинам. Женщины и кошки общий язык находят, а для нас, мужчин, это почти невозможное дело. В чем тут корень, я не знаю, а может быть, даже боюсь узнать.

Слушай внимательно о нескольких моих встречах с необыкновенными котами. Нельзя сказать, что эти коты совершили что-либо полезное для человечества — такое, о чем иногда приходится читать. Например, помню из газет, что один югославский кот бросился на огромную, двухметровую гадюку и загрыз ее, спасая хозяйку — девочку, которая учила уроки в винограднике, а гадюка подползала к ней по лозе сверху, бесшумно. И вот этот югославский кот загрыз гадюку. Причем сбежавшиеся на шум жители югославской деревни (а там все жители городов и деревень — бывшие партизаны), так вот, все бывшие партизаны не осмелились броситься на помощь

коту, который сражался с гадюкой один на один, — такая эта гадюка была ужасная. Кот, победив гадюку, скромно отошел в сторону и стал отдыхать.

Или еще мне приходилось читать, как немецкие кошки предупреждали людей о приближении таинственных несчастий и привидений. У немецких кошек шерсть обычно становится дыбом, когда они видят своим внутренним взором привидение. Интересно, правда, у какого немца шерсть не встанет дыбом, если он увидит привидение? Вот только у совершенно лысого немца она не встанет.

Еще много приходилось читать и слышать, что британские коты предчувствуют смерть хозяйки. Но даже если это и так, то ничего хорошего здесь, как мне кажется, нет: о таких штуках, как смерть, лучше узнавать от доктора.

Русский кот-дворянка по кличке Жмурик ничего полезного для человечества не совершил, но врезался в мою память. Он прыгнул выше корабельной мачты, а был флегматичным котом.

Прибыл он к нам в бочке вместе с коробками фильма «Укротительница тигров» по волнам океана, как царь Додон или Салтан — всегда их путаю. В бочке котенок невозмутимо спал, и, как говорится, ухом не вел — ни когда спускали бочку в волны с другого траулера, ни когда швыряло ее по зыбям, ни когда поднимали мы ее на борт.

За такую невозмутимость его и назвали Жмуриком, что на «музыкальном» языке означает «покойник».

Был он рыж. Был осторожен, как профессиональный шпион-двойник: получив один-единственный раз по морде радужным хвостом морского окуня, никогда больше к живой рыбе не приближался. Когда начинали выть лебедки, выбирая трал, Жмурик с палубы тихо исчезал и возникал только тогда, когда последняя, самая живучая рыбина в ватервейсе отдавала концы.

Прожил он у нас на траулере около года нормальной жизнью судового кота — лентяя и флегмы. Но потом стремительно начал лысеть, а ночами то жалобно, то грозно мяукать.

Грубоватый человек боцман считал, что единственный способ заставить Жмурика не орать по ночам — это укоротить ему хвост по самые уши. Тем более что у лысого Жмурика видок был, действительно, страшноватый. Однако буфетчица Мария Ефимовна, которая была главной хозяйкой и заступницей Жмурика, сказала, что все дело

в его тоске по кошке. И командованием траулера было принято решение найти Жмурику подругу.

Где-то у Ньюфаундленда встретились мы с одесским траулером. Двое суток они мучили нас вопросами о родословной Жмурика, выставляли невыполнимые условия калыма и довели Марию Ефимовну до сердечного припадка. Наконец сговорились, что свидание состоится на борту у одесситов, время — ровно один час, калым — пачка стирального порошка «ОМО». Родословная Барракуды — так звали их красавицу — нас не интересовала, так как Жмурик должен был, как и мавр, сделать свое дело и уходить.

Я в роли командира вельбота, Мария Ефимовна и пять человек эскорта отправились на траулер одесситов. Жмурик сидел в картонной коробке от сигарет «Шипка». Вернее, он там спал. Пульс 80, никаких сновидений, никаких подергиваний ушами, моральная чистота и нравственная готовность к подвигу. Но на всякий случай я взял с собой пятерых матросов, чтобы оградить Жмурика от возможных хулиганских выходов одесситов — с ними никогда не знаешь, чем закончится: хорошей дракой или хорошей выпивкой.

Мы немного опаздывали, так как перед отправкой было много лишних, но неизбежных на флоте формальностей. Например, часть наших считала неудобным отправлять Жмурика на свидание в полуголом, облысевшем виде. И на кота была намотана тельняшка, на левую лапу прикрепили детские часики, а на шею повязали черный форменный галстук. Я был категорически против украшения. Не следует обманывать слабый пол, даже если его представителя зовут Барракудой. Со мной согласилось большинство, и Жмурик поехал к Барракуде старомодно обыкновенный.

Накануне Жмурику засовывали в пасть вяленый инжир и шоколад — впрочем, перечислить все моряцкие глупости и пошлости я не берусь. Приведу только слова наказа, которые проорал капитан с мостика: «Жмурик, так тебя и так! Покажи этой одесситке, где раки зимуют!»

И вот после неизбежных формальностей мы наконец отвалили.

Рядом со мной сидела помолодевшая и посвежевшая от волнения, мартовских брызг и сознания ответственности Мария Ефимовна. В авоське она везла коллеге на одесский траулер пакет «ОМО» лондонского производства. А на коленях у нее была картонка со Жмуриком.

Я уже говорил, что кот спокойно спал. Он как-то даже и не насторожился от всей этой суеты, которая напоминала суету воинов перед похищением сабинянок. Здесь коту помогала врожденная флегматичность, к которой бывают, как мне кажется, склонны и рыжие мужчины: рыжие и выжидать умеют, и прыгать внезапно.

К сожалению, меня не насторожила обстановка на борту одессита. Просто я другого и не ожидал. Вся носовая палуба кишмя кишела одесситами. Между трюмами было оставлено четырехугольное пространство, обтянутое брезентовым обвесом на высоте человеческого роста. Оно напоминало ринг. Барракуда была привязана на веревке в дальнем от нас конце ринга. Она оказалась полосатой, дымчатой, обыкновенного квартирно-коммунального вида кошкой. Не думаю, что ее невинность, даже если о невинности могла идти речь, стояла такой дефицитной вещи, как пачка «ОМО» лондонского производства.

Как всегда в наши времена, при любом зрелище вокруг толкалось человек двадцать, что было явно нескромно, — но что можно ожидать от одесских рыбаков в такой ситуации? Чтобы они все закрылись в каюте и читали «Хижину дяди Тома»? Ожидать этого от одесситов было бы по меньшей мере наивным. Поэтому я спокойно занял место, отведенное для нашей делегации, и сказал, что времени у нас в обрез.

И вдруг Жмурик показал, где зимуют раки.

Когда картонку поставили внутрь ринга на стальную палубу и когда кот сделал первый шаг из коробки и увидел Барракуду, то не стал выжидать и сразу заорал.

У одного известного ленинградского романиста я как-то читал про козу, которая «кричала нечеловеческим голосом». Так вот, наш Жмурик тоже заорал нечеловеческим голосом, когда первый раз в жизни увидел одесситку с бельмом на глазу.

От этого неожиданного и нечеловеческого вопля все мы — старые моряки — вздрогнули, а один здоровенный одессит уронил фотоаппарат, и тот полыхнул жуткой магниевой вспышкой.

Долго орать Жмурик не стал и, не закончив вопль, подпрыгнул над палубой метра на два строго вверх. У меня даже возникло ощущение, что кот вдруг решил стать естественным спутником Земли, но с первого раза у него это не получилось. И, рухнув вниз, на стальную палубу, он сразу запустил себя вторично, уже на орбиту.

метра в четыре. Таким образом, неудача первого запуска его как бы совсем и не обескуражила.

Надо было видеть морду Барракуды, ее восхищенную морду, когда она следила за этими самозапусками нашего лысого, флегматичного Жмурика!

Я знаю, что мы не используем и десяти процентов физических, нравственных и умственных способностей, когда существуем в обыкновенных условиях. И что совсем не обязательно быть Брумелем, чтобы прыгать выше кенгуру. Достаточно попасть в такие обстоятельства, чтобы вам ничего не оставалось делать, как прыгнуть выше самого себя, — и вы прыгнете, потому что в вашем организме заложены резервы. И Жмурик это демонстрировал с полной наглядностью. Просто чудо, что он не переломал себе всех костей, когда после третьего прыжка рухнул на палубу минимум с десяти метров.

Я никогда раньше не верил, что кошки спокойно падают из окон, потому что умеют особым образом переворачиваться и группироваться в полете. Теперь я швырну любого кота с Исаакиевского собора. И он останется жив, если при этом на него будет смотреть потаскуха-одесситка Барракуда.

Труднее всего передать то, что творилось вокруг ринга. Моряки валялись штабелями, дрыгая ногами в воздухе, колотя друг друга и самих себя кулаками, и, подобно Жмурику, орали нечеловеческими голосами. Такого патологического хохота, таких визгов, таких восхищенных ругательств я еще нигде и никогда не слышал.

Когда Жмурик без всякого отдыха ринулся за облака в четвертый раз, стало ясно, что пора все это свидание прекращать, что траулер перевернется, а матросня лопнет по всем швам. Капитан-одессит говорить тоже не мог, но знаками показывал мне, чтобы мы брали кота и отваливали, что он прикажет сейчас дать воду в пожарные рожки на палубу, чтобы привести толпу в сознание, что необходимо помнить о технике безопасности.

Ладно. Каким-то чудом мне удалось засунуть под падающего уже из открытого космоса Жмурика картонную коробку из-под «Шипки». Потом мы все навалились на крышку коробки и попросили у одесситов кусок троса, потому что Жмурик и в коробке пытался запускать себя на орбиты в разные стороны, продолжал мяукать, и выть, и крыть нас таким кошачьим матом, что сам кошачий бес вздрагивал.

Боцман-одессит дал нам кусок веревки, взял эту ве-

ревку расписку — так уж устроены эти боцмана, — и мы поехали домой, какие-то оглушенные и даже как бы раздавленные недавним зрелищем.

Жмурик притих в коробке: очевидно, он пытался восстановить в своей кошачьей памяти мимолетное видение Барракуды, которая растаяла как дым, как утренний туман, без всякой реальной для Жмурика пользы.

Через неделю Жмурик оброс волосами, как павиан. И старая рыжая, и новая черная шерсть били из него фонтаном. И весь его характер тоже разительно изменился. Услышав грохот траловой лебедки, он мчался на корму, садился у слипа и хлестал себя хвостом по бокам — точь-в-точь мусульманин-шиит. И когда трал показывался на палубе, Жмурик бросался в самую гущу трепыхающейся рыбы, и ему было все равно, кто там трепыхается — здоровенный скат или акула.

И если тебе, Витус, когда-нибудь попадался в рыбных консервах черно-рыжий кошачий хвост, то это был хвост нашего Жмурика, отхваченный ему под самый корешок рыбой-иглой возле тропика Козерога.

Вскороости после потери хвоста он лишился левого уха, и пришлось закрывать его в специальной будке, чтобы он не портил рыбу и не погиб сам в акульей пасти.

И тут мы получили странную радиограмму от одеситов: «Сообщите состояние Жмурика зпт степень облысения тчк Судовой врач Голубенко».

Мы ответили: «Облысение прекратилось зпт кот оброс зпт как судовое днище водорослями тропическом рейсе тчк Привет Барракуде». И сразу пришла следующая радиограмма: «Факт обрастания Жмурика умоляю занести судовой журнал тчк Работаю кандидатской двтчк лечение облысения электрошоком тчк Подавал на Жмурика тридцать три герца сорок вольт при четырех амперах».

Итак, мы узнали, почему Жмурик чуть было не превратился в естественного спутника Земли. Но сам-то кот не мог об этом узнать. Он, очевидно, считал, что тридцать три герца исходили не от листа железа на палубе, а от Барракуды. И он свирепо возненавидел всех кошек. Однако это уже другая история. Она не имеет прямого отношения к мировой научно-технической революции.

А ты, Витус, должен зарубить себе на носу, что в основе этой революции лежит радио, но с ним связаны и неожиданности. Гриша по кличке Айсберг, например, исчез с флота в результате одной-единственной радиограммы

своей собственной жены: «Купи Лондоне бюстгальтер размер спроси радиста твоя Муму».

Тайна переписки, конечно, охраняется конституцией — все это знают. Но если некоторая утечка информации происходит и сквозь конверты, то в эфире дело обстоит еще воздушнее. Такая радиоутечка подвела и Гришу Айсберга.

Гриша приходит в кают-компанию чай пить. Там стармех сидит и тупо, но внимательно смотрит на бюст одного великого человека, в честь которого было названо их судно.

Только Гриша хлеб маслом намазал, стармех начинает сетовать, что бюст великого человека уже изрядно обтрепался, потрескался, износился и надо обязательно заказать другой, новый бюст, и для этого снять со старого бюста размеры, но можно, вообще-то, и не снимать, потому что радист, наверное, их и так знает.

Гриша спокойно объяснил стармеху, что его жена в магазине «Альбатрос» познакомились с женой их радиста, жены подружились, часто встречаются и что у них одинаковый размер бюстов, но он, Гриша Айсберг, страдает тем, что не помнит никаких чужих размеров, даже свои размеры он не помнит, а у радиста все размеры записаны и потому его, Гриши, жена и радировала, чтобы он взял нужный размер у радиста. Все понятно и ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что я чего-нибудь не понимаю? — изумленно спросил стармех.

Гриша чай попил и пошел на вахту. Поднялся в рубку. Там третий штурман жалуется старпому, что в картохранилище полки не выдвигаются и надо заставить плотника сделать новые полки, а размеры плотник пусть спросит у радиста, потому что радист знает их на память.

Гриша спокойно объяснил старпому и третьему, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, жены подружились, часто встречаются, потому что живут рядом, что у них бюсты адекватные, а он, Гриша, не знает размеры, всегда забывает их, и когда рубашку покупает, то каждый раз шею ему измеряют холодной рулеткой; а у радиста в записной книжке есть все номера его, то есть радиста, жены, а так как эти номера одинаковы с номерами его, Гриши, жена и прислала такую радиogramму, и здесь он, Гриша, не видит ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что мы видим? — спросили у него старпом и третий.

В обеденный перерыв электромеханик вместо заболевшего помполита сообщает по трансляции, что судно в настоящий момент проходит берега королевства Бельгия, что это небольшая страна, которая полностью помещается в Бенилюксе, но точные ее размеры он сейчас сообщить, к сожалению, не может, так как они записаны у радиста, а радист в данный момент на вахте и записная книжка находится при нем.

Вечером на профсоюзном собрании Гриша попросил слова. И сказал, что говорить он будет не по теме собрания, что по судну распространяется зараза, которая мешает ему работать, что ничего особенного нет в том, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, что они потом подружились, так как живут близко, что у их жен одинаковые размеры, а он, Гриша, не знает никаких размеров, не может их запомнить, путает часто и привозит жене неподходящие вещи; поэтому она и послала ему радиogramму, в которой просит узнать размер бюстгальтера у радиста, потому что радист знает точные размеры, и что он, второй помощник капитана, пользуется тем, что тут сейчас собрался весь экипаж, и хочет всех разом обо всем этом информировать и на этом поставить точку.

Предсудкома берет слово и горячо заверяет Гришу, что никто никакой заразы не распространял, ничего не начинал, ничего особенного нет в том, что другой мужчина знает размер бюста твоей жены, такое у всех может случиться, ведь все понимают, как тяжело переживают жены, когда привезешь ей хорошую заграничную вещь, а вещь не лезет или, наоборот, болтается, как на вешалке. И если у радиста записаны размеры, а бюсты их жен адекватны, то это очень хорошо и удачно получилось у них с радистом, такое совпадение экипаж может только от всей души приветствовать, и пусть Гриша работает спокойно.

Всю следующую неделю к Грише, который выполнял общественную нагрузку, консультируя заочников средней школы по математике, приходили матросы и мотористы с просьбой объяснить вывод формулы «пи-эр-квадрат». Есть Гриша перестал и вздрагивал даже при упоминании мер длины, а, как известно, грузовому помощнику без этих мер обойтись совершенно невозможно.

Последний штрих, который увел Гришу с флота, заключался в том, что на подходе к Ленинграду он увидел на ноке фока-рея серый бюстгальтер, поднятый туда на

сигнальном фале, причем фал был продернут до конца и обрезан.

Так они и швартовались под этим непонятым серым вымпелом. И только через несколько часов один отчаянный таможенник верхолаз на фока-рей смог добраться, потому что таможенники не имеют права оставлять без досмотра и бюстгальтер — вдруг в него валюта зашита? Но оказалось, что ничего в бюстгальтере зашито не было и весь он вообще представлял собой сплошную дыру, ибо принадлежал раньше дневальной тете Клаве, которая давным-давно использовала его как керосиновую тряпку... Тетя Клава, как ты понимаешь, не имеет никакого отношения к научно-технической революции. И ты, Витус, тоже, как это ни прискорбно, не имеешь к ней отношения. Не ощущается в тебе находчивости, ты уже стар и туповат, хотя, может быть, неплохо образован для среднего судоводителя. Не бывать нам уже технократами, — мрачно закончил Ниточкин. — А ты откуда сейчас прибыл?

— Петя, ты сегодня не в своей тарелке. Я уже говорил. Прилетел из Новороссийска. Сорвался с фумигации. Первый раз в жизни чемодан укладывал с противогазом на морде. И все равно чуть дуба не врезал. И куртку забыл нейлоновую, и справочник капитанский, и кактус.

— С кактусом в самолет не пускают. Я пробовал, — сказал Ниточкин.

— Сдуло им почву в море. Иллюминаторы после боры отмыть невозможно.

— И я в этом Новороссийске попал в плохой сезон. И вот случаем продали нам сердобольные женщины трех кур. Вернее, двух кур и петуха. Жили мы в гостинице для моряков — тоже на фумигации, — кухонного инвентаря нет, жевать хочется ужасно. Двух кур мы лишили жизни, одну разодрали на куски и засунули в электрический чайник. Другую подготовили к этому мероприятию, а петуха посадили в шкаф живым, чтобы он не прокис раньше времени.

Пока первая курица кипела в чайнике, мы успели надаться в предвкушении курятины. Потом мы ее съели, засунули в чайник следующую и все заснули. Пока мы спали, вода из чайника выкипела и по коридорам понесло запахом жареной курицы, у всей остальной морской братии слюнки потекли... Но дело не в этом, а в том, что по гостинице уже давно был объявлен розыск двух девиц — чьих-то «невест». Ребята из морской дружбы перепрыгивали этих девиц по номерам, подвалам и чер-

дакам уже неделю, и администрация с ног сбилась. Даже немецких овчарок приводили. Но ребята не поскупились на трубочный табак и засыпали им все щели. Овчарки чуть было своих собственных руководителей не перекусили. И вот наша судовая администрация и гостиничная администрация делают очередной неожиданный налет.

Входят они в наш номер. Видят, из чайника дым идет, в шкафу что-то трепыхается, мы все спим, а над нами пух летает и перья. Ну, ясно, что в шкафу девицы спрятались. Собрали свидетелей, понятых — все как положено... Знаешь состояние человека, который совсем уже собрался чихнуть? Уже и глаза закрыл, и нос сморщил, и весь уже находился в предвкушении блаженного, желанного чиха — ан нет, не чихнулось! Вот такое, вероятно, пережили члены поисковой комиссии, когда из шкафа петух вместо девиц выскочил и закукарекал.

Мы глаза продрали, но ничего понять не можем: вокруг много начальства, из чайника черный дым валит, и среди всего этого беспорядка петух летает и кукарекает... Смешно, но именно через этот случай я узнал, что такое полная, стопроцентная психическая несовместимость...

У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане, а меня за этого петуха еще на один рейс — плотником, да еще артельным в придачу выбрали. И загремел я в тропики на казаке «Степане Разине» — питьевую воду мерить и муку развешивать.

Ладно. Гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что это было за мясо — я и сейчас не знаю, может быть зебры. Или такое предположение тоже было — бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике, то есть в холодной артелке. Каждый день в восемь тридцать спускался ко мне в артелку, нюхал бегемотину и смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил — а пунктуальности он был беспримерной, — что я по нему часы проверял.

Звали чифа Эдуард Львович, фамилия — Саг-Сагайло.

Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет, даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще мало знаком и он еще твой начальник, то запира́ть человека на два часа в холодильнике просто глупо.

Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно, тем более что ни на один продукт в нашем холодильнике Саг-Сагайло не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый, а хладнокровие у него было ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте два часа опускал и поднимал двадцатикилограммовую бочку с комбижиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться легким воспалением легких, а не чихоткой, например.

Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула фановая труба, он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотины минут на пять.

Я в артелке порядок навел, подождал чифа — его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел — а они у нас в центре были артелки, — потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же, как в цирке у клоунов: следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол — и он за угол, я за угол — и он за угол. И мы друг друга не видели. И не слышали, потому что в холодной артелке специально для бегемотины Эдуард Львович еще вентиляторы установил, и они шумели, ясное дело.

— Ниточкин, — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару и он стряхивал с рубашки и галстука иней. — Вы читали Шиллера?

Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал.

— Нет, — говорю, — трудное военное детство — не уцел.

— У него есть одна неплохая мысль, — говорит Саг-Сагайло хриплым, морозным, новогодним голосом. — Шиллер считал, что против человеческой глупости бес- сильны даже боги. Это из «Валленштейна». И это касается телько меня, товарищ Ниточкин.

— Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я.

— Мы не в лесу, — прохрипел Эдуард Львович.

Несколько дней он болел, следить за бегемотиной стало некому — я в этом деле еще плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай под-

няла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпома, конечно, валится.

Тут как раз акулу поймали. Ну, обычно наши моряки акуле в плавнике дыру сделают и бочку принайтовят или пару акул хвостами свяжут и спорят, какая у какой первая хвост вырвет с корнем. А здесь я вспомнил, что в столице, в ресторане «Пекин», пробовал жевать второе из акульих плавников — самое дорогое было блюдо в меню. Уговорил кока, и он акулу зажарил. И получилось удачно — сожрали ее вместе с плавниками. Два дня жрали. И Эдуард Львович со мной даже пощучивать начал.

А четвертый штурман — сопливый мальчишка — вычитал в доции, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных. И трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бациллы проказы прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое у кого температура поднялась самым серьезным образом, кое-кто сачкует и на вахту не выходит под этим соусом.

Капитан запрашивает пароходство, пароходство — Москву, Москва — главных проказных специалистов мира. Скандал на всю Африку и Евразию. И Саг-Сагайле строгача влепили за эту проклятую акулу.

Вечером прихожу к нему в каюту, чтобы объяснить, что акул любых можно есть, что у них невосприимчивость к микробам, они раком не болеют. Я все это сам читал под заголовком: «На помощь, акула!» Чтобы акулы помогли нам побороть рак. И что надо обо всем этом сообщить в пароходство и снять несправедливый строгач.

Эдуард Львович все спокойно выслушал и говорит вежливо:

— Ничего, товарищ Ниточкин. Не беспокойтесь за меня, не расстраивайтесь. Переживем и выговор — первый он, что ли?

Но в глаза мне смотреть не может, потому что не испытывает желаний мои глаза видеть.

Везли мы в том рейсе куда-то ящики со спортивным инвентарем, в том числе со штангами. Качнуло крепко, несколько ящиков побилось, пришлось нам ловить штанги и крепить в трюмах. А я когда-то тяжелой атлетикой занимался, дай, думаю, организую секцию тяжелой атлетики, а перед приходом в порт заколотим эти ящики — и все дело. Капитан разрешил. Записалось в мою секцию пять человек: два моториста, электрик, камбузник. И... Саг-Сагайло записался.

Пришел ко мне в каюту и говорит:

— Главное в нашей морской жизни — не таить чего-нибудь в себе. Я, должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится.

Ну, выбрали мы хорошую погоду, вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд на корточки и каждому положил на шею по шестидесятикилограммовой штанге — для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И командую:

— Встать!

Ну, мотористы кое-как встали. Камбузник просто упал. Электрик скинул штангу и покрыл меня матом. А Саг-Сагайло продолжает сидеть, хотя я вижу, что сидеть со штангой на шее ему уже надоело и он хотел бы встать, но это у него не получается, и глаза у него начинают вылезать на лоб.

— Мотористы! — командую ребятам. — Снимай штангу с чифа! Живо!

Он скрипнул зубами и говорит:

— Не подходить!

А дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас правильную. Ослушаться его было просто.

Он сидит. Мы стоим вокруг.

Прошло минут десять. Я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит:

— Эдуард Львович, прошу вас, бросьте эти штучки, вылезайте из-под железа: обедать пора.

Саг-Сагайло отвечает:

— Благодарю вас, я еще не хочу обедать. Я хочу встать. Сам.

Тут помполит явился, набросился, ясное дело, на меня, что я чужие штанги вытащил.

Капитан, не будь дурак, бегом в рубку и играет водяную тревогу. Он думал, чиф штангу скинет и побежит на мостик. А тот, как строевой конь, услышавший сигнал горниста, встрепенулся весь — и встал! Со штангой встал! Потом она рухнула с него на кап машинного отделения, и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до самого конца рейса...

Ты не хуже меня знаешь, что старпом может матроса в порошок стереть, жизнь ему испортить. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило, как матросов от про-

каженной акулы, а он так ни разу голоса на меня и не повысил. Правда, когда уходил я с судна, он мне прямо сказал:

— Надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго.

Прошло несколько лет. Я уже до второго помощника вырос, потом до третьего успел свалиться, а известно, что за одного битого двух небитых дают, то есть стал я уже более-менее неплохим специалистом.

Вызывают меня из отпуска в кадры, суют билет на самолет: вылетай в Тикси немедленно на подмену — там третий штурман заболел, а судно на отходе. Дело привычное — дома слезы, истерика, телеграммы вдогонку. Добрался до судна, представляюсь старпому, спрашиваю:

— Мастер как? Спокойный или дергает зря? — ну, сам знаешь эти вопросы. Чиф говорит, что мастер — удивительного спокойствия и вежливости человек. У нас, говорит, буфетчица — отвратительная злющая старуха, вьедливая, говорит, карга, но капитан каждое утро ровно в восемь интересуется ее здоровьем.

Стало мне тревожно.

— Фамилия мастера?

— Саг-Сагайло.

Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом: заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя. В воздухе мы уже, летим.

Не могу сказать, что Эдуард Львович расцвел в улыбке, когда меня увидел. Не могу сказать, что он, например, просиял. Но все положенные слова взаимного приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было: подмена есть подмена. Ладно, думаю. Все ерунда, все давно быльем поросло. Надо работать хорошо — остальное наладится.

Осмотрел свое хозяйство. Оказалось, только один целый бинскль есть, и тот без ремешка. Обыскал все ящики — нет ремешков. Ладно, думаю, собственный для начала не пожалею, отменный был ремешок — в Сирии покупал. Я его разрезал вдоль и прикрепил к биноклю. Нельзя, если на судне всего один нормальный бинокль — и без ремешка, без страховки. Намотал этот проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю по всем правилам и бинокль в пенал засунул.

Стали сниматься. Саг-Сагайло поднялся на мостик.

Я жду: заметит он, что я ремешок привязал или нет?

Похвалит или нет? Ну, сам штурман, знаешь, как все это на новом судне бывает. Саг-Сагайло не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, ухватывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет божий. Ремешок, конечно, раскручивается, и бинокль — шмяк об палубу. И так ловко шмякнулся, что один окуляр вообще отскочил куда-то в сторону.

Саг-Сагайло закрыл глаза и медленно отсчитал до десяти в мертвой тишине, потом вежливо спрашивает:

— Кто здесь эту самодеятельность проявил? Кто эту сыромятную веревку привязал и меня не предупредил?

Я догнал окуляр где-то уже в ватервейсе, вернулся и доложил, что хотел сделать лучше, что единственный целый бинокль использовать без ремешка было опасно...

Саг-Сагайло еще до десяти отсчитал и говорит:

— Ничего, Петр Иванович, всяко бывает. Не расстраивайтесь. Доберемся домой и без бинокля. Или, может, на ледоколах раздобудем за картошку.

И хотя он сказал это вежливым и даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то осадок.

Дали ход, легли на Землю Унге.

Эдуард Львович у правого окна стоит, я — у левого.

Морозец уже над Восточно-Сибирским морем. Стемнело. Погода маловетренная. И в рубке тихо, но тишина для меня какая-то зловещая.

Все мы знаем, что если на судне происходит одна неприятность, то жди еще две — до ровного счета. Чувствую: вот-вот опять что-нибудь случится. Но стараюсь волевым усилием отвлекать себя от этих мыслей.

Через час Саг-Сагайло похлопал себя по карманам и ушел с мостика вниз.

— Плывите, — говорит, — тут без меня.

Остался я на мостике один с рулевым и думаю: что бы сделать полезного? А делать ровным счетом нечего: берегов уже нет, радиомаяков нет, небес нет, льдов пока еще тоже нет. В окна, думаю, дует сильно. Надо, думаю, окно капитанское закрыть. И закрыл.

Ведь такая мелочь: окно там закрыл человек или, наоборот, открыл, но когда образуется между людьми эта психическая несовместимость, то мелочь вовсе не мелочь.

Так через полчаса появляется Эдуард Львович и, попыхивая трубкой, шагает своими широкими, решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дуло.

Я еще успел отметить, что когда Саг-Сагайло старпо-

мом был, то курил сигареты, а стал капитаном — трубку завел. Только я успел это отметить, как Саг-Сагайло с полного хода высовывается в закрытое окно. То есть высунуться-то ему, естественно, не удалось. Он только втыкается в стекло-сталинит лбом и трубкой. Из трубки ударил столб искр, как из паровоза дореволюционной постройки. А я — тут уж нечистая сила водила моей рукой — перевожу машинный телеграф на «полный назад». Звонки, крик в рубке, и попахивает паленым волосом.

Потом затихло все, и только слышно, как Саг-Сагайло считает: «...и восемь, и девять, и десять». Потом негромко спрашивает:

— Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил?

А я вижу, что у него вокруг головы во мраке рубки возникает как бы сияние, такое, как на древних иконах. Короче говоря, вижу я, что Эдуард Львович Саг-Сагайло вроде бы горит. И находится он в таком вообще наэлектризованном состоянии, что пенным огнетушителем тушить его нельзя, а можно только углекислотным.

Я ему обо всем этом говорю. И мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг: других тряпок в рулевой рубке, конечно, и днем с огнем не найдешь.

Потом я поднял трубку, открыл капитанское окно и тихо забился в угол за радиолокатор. А Саг-Сагайло осматривается вокруг и время от времени хватается за обгоревшую голову. Наконец спрашивает каким-то не своим голосом:

— Скажите, товарищ Ниточкин, мы назад плывем или вперед?

И тут только я понимаю, что телеграф продолжает стоять на «полный назад».

Минут через пятнадцать после того, как мы дали нормальный ход, Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, вам один час остался, море пустое; я думаю, вы без меня обойдетесь. Я чувствую себя несколько нездоровым. Передайте по вахте, чтобы меня до утра не трогали: я снотворное приму.

И ушел, потому что, очевидно, уже физически не мог рядом со мной находиться.

И такая меня тоска взяла — хоть за борт прыгай. И он человек отличный, и я только хорошего хочу, а получается у нас черт знает что. Ведь не докажешь, что я все из добрых побуждений делал; что в холодильнике его случайно закрыл; что штангу действительно на шею

кладут, когда в атлеты принимают; что в окно дуло и ветер рулевому мешал вперед смотреть; и что я свой собственный, за два кровных фунта купленный ремешок загубил, чтобы бинокль застраховать... Не объяснишь, не докажешь этого никому на свете.

На следующий день все у меня валялось из рук в полном смысле этих слов. Чумичка, например, за обедом шлепнулась обратно в миску с супом, и брызги рыжего томатного жира долетели до ослепительной рубашки Эдуарда Львовича. Он встал и молча ушел из кают-компании.

Спустился я в каюту и попробовал с ходу протиснуться в иллюминатор, но Мартин Иден из меня не получился, потому что иллюминатор, к счастью, оказался маловат в диаметре. Был бы спирт, напился бы я. И пароход чужой, пойти не к кому, поплакаться в жилетку, излить душу. Хоть бы Сагайло на меня ногами топал, орал, в цепной ящик посадил, как злостного хулигана и вредителя, — и то мне бы легче стало...

А он на глазах тощает, седеет, веко у него дергается, когда я в поле зрения попадаю, но все так же говорит: «Доброе утро, Петр Иванович! Сегодня в лед войдем, вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь на картах пустых мест полно, промеров еще никогда не было, за съемной навигационной обстановкой следите, ее для себя сезонные экспедиционники ставят, и каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте».

И знаешь, как сказал Шиллер, с дураками бессильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт пссери, а как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал — от сверхстарательности. Звезда мелькнет в тучах на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает, и я замеряю проблески Альфа Кассиопеи. Пока я Кассиопею измеряю, мы в льдину втыкаемся и белых медведей распугиваем, как воробьев.

Штурмана, знаешь, народ ехидный. Вид делают сочувствующий, сопонимающий, а сами, подлецы, радуются: еще бы! — каждую вахту третьего штурмана на мостике можно вроде как цирк бесплатно смотреть, оперетту, я бы даже сказал — кордебалет! Тюлени — и те из полыньи выглядывали, когда я на крыло мостика выходил.

Ну-с, пробиваемся мы к северному мысу Земли Унге сквозь льды и туман. Вернее, пробивается капитан Саг-Сагайло, а мы только свои вахты стоим. Вышли на ви-

димосьт мыса Малый Унге, там огонь мигает. Я, конечно, хватъ секундомер. Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного пять секунд, у другого — восемь.

А я только один огонь вижу. Руки трясутся, как с перепоя. Замерил период — получается пять секунд. Дай, думаю, еще раз проверю. Замерил — двенадцать получается. Я еще раз — получается восемь. Я еще раз — двадцать два.

Эдуард Львович молчит, меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен и как ему совершенно необходимо услышать от меня характеристику этого огня. Справа нас ледяное поле поджимает, слева — стамуха под берегом сидит, и «стоп» давать нельзя: судно руля не слушает.

— Эдуард Львович, — говорю я. — Очевидно, секундомер испортился или огни в створе. Все разные получают характеристики.

— Дайте, — говорит, — секундомер мне, побыстрее, пожалуйста!

Дал я ему секундомер. Он вынимает изо рта сигарету (после случая с закрытым окном Эдуард Львович опять на сигареты перешел) и той же рукой, которой держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И — знаешь, как отсчитывают секунды опытные люди — каждую секунду вместе с секундомером рукой сверху вниз: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!»

— Путы! — и широким жестом выкидывает за борт секундомер.

Это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть окуроч сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выплеснул, как говорится, ребенка вместе с водой. Выплеснул — и устал себе в руку: что, мол, такое — только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает. Честно говоря, здесь его ледяное хладнокровие лопнуло. Мне даже показалось, что оно дало широкую трещину.

И я от кошмара происходящего машинально говорю:

— Зачем вы, товарищ капитан, секундомер за борт выкинули? Он восемьдесят рублей стоит и за мной числится.

— Знаете, — говорит Эдуард Львович как-то задумчиво, — я сам не знаю, зачем его выкинул. — И как зарет: — Вон отсюда, олух набитый! Вон с мостика, акула! Вон!!

Пока все это происходило, мы продолжаем машинами работать. И вдруг — трах! — летим все вместе куда-то вперед по курсу. Кто спиной летит, кто боком, а кому повезло, тот задом вперед летит.

Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие. Потому что банка, на которую мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем: банка Саг-Сагайло.

Ну-с, дальше все происходит так, как на каждом порядочном судне происходить должно, когда оно село на мель. Экипаж продолжает спать, а капитан принимает решение спустить катер и сделать промеры, чтобы выбрать направление отхода на глубину.

Мороз сильный, и мотор катера, конечно, замерз — не заводится. Нужна горячая вода. Чтобы принести воду, нужно ведро. Ведро у боцмана в кладовке, а ключи он со сна найти не может; буфетчица свое ведро не дает, и так далее, и тому подобное.

Я эти мелкие, незначительные подробности запомнил, потому что мастер с мостика меня выгнал, а спать мне как-то не хотелось...

С мели нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле: как жажнуло по скуле, так мы и вздохнули опять легко и спокойно. Все вздохнули, кроме меня, конечно.

Подходит срок на очередную вахту идти, а я не могу, и все! Сижу, валерьянку пью. Курю. Элениума тогда еще не было. Стук в дверь.

— Кого еще несет?! — ору я. — Пошли вы к такой-то и такой-то матери!

Входит Эдуард Львович.

Я только рукой махнул, и со стула не встал, и не извинился.

— Мне доктор сказал, — говорит Эдуард Львович, — у вас бутылка с валерьянкой. Накапайте и мне сколько там положено и еще немного сверх нормы.

Накапал я ему с четверть стакана. Он тяпнул, говорит:

— Я безобразно вел себя на мостике, простите. И вам на вахту пора.

Еще немного — и зарыдал бы я в голос.

И представляешь выдержку этого человека, если до самого Мурманска он ни разу не заглянул мне через плечо в карту.

Капитаны бывают двух видов. Один вид непрерывно

орст: «Штурман, точку!» И все время дышит тебе в затылок, смотрит, как ты транспортир вверх ногами к линейке прикладываешь. А другой специально глаза в сторону отводит, когда ты над картой склонился, чтобы не мешать даже взглядом. И вот Эдуард Львович был, конечно, второго вида. И в благодарность за всю его деликатность, когда мы уже швартовались в Мурманске, я защемил ему большой палец правой руки в машинном телеграфѣ. А судно «полным назад» отработывало, и высвободить палец из рукоятной защелки Эдуард Львович не мог, пока мы полностью инерцию не погасили. И его на санитарной машине сразу же увезли в больницу...

Вот желают нам, морякам, люди счастливого плавания, подумал уже я, а не Петя Ниточкин. Из этих «счастливых плаваний» самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить — такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Ежели каждое «счастливого плавания» представить в виде кирпича, то, пожалуй, и дачу можно построить. Но когда хорошие люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов и айсбергов на курсе и знаменитые три фута чистой воды под килем. А все шторма и айсберги — чепуха и ерунда рядом с психическими барьерами, которые на каждом новом судне снова, и снова, и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме...

ВЫХОД НА МОКРУЮ ОРБИТУ

Кильский канал.

15 июня вышли из Ленинграда. Белой тихой ночью снялись на Канарские острова. Впереди долгие месяцы рейса.

Делами я обменялся с третьим штурманом. Он взял на себя финансы, я — штурманские приборы и навигационные пособия. Работы у меня больше, но она мне приятнее.

В Хольтенау купили снабжение. Я забил ящики в каюте канцелярскими принадлежностями.

Скользим по девять миль над Шлезвиг-Голштинией. Встречные суда всех флагов. Расходимся в трех-четыре метра. Особенное ощущение скорости от близости других судов и берегов. Никогда еще так близко от берега

на морских судах я не ходил. На Босфоре дальше. Земля Гитлера. И забыть об этом невозможно.

Поднялся на пеленгаторный мостик, бинокль на грудь повесил.

Вечер. Лето. Чистота. Мир. Уют. Коровы. Лошади. Мальчишки визжат на огромной высоте мостов, разглядывая нутро наших труб. Коровы и лошади породистые, черно-белые, тучные. Мальчишки тоже тучные. Луга такие зеленые, как на детских рисунках, когда кажется, что чем больше набрал краски на кисть, тем зеленее получится. Тишина вечерней земли. Запах трав. Закатное солнце. Едва заметный парок от холодеющей воды. Стайки маленьких птиц скользят над холмами. Сирень цветет.

И от близости земной природы, ее летнего, мягкого покоя такая обида вдруг поднимается на себя. Проклинаешь неумение жить на прекрасной земле, которую так любишь — в каждом дереве, цветке, лошади...

Березы, как у нас. Тополя, как у нас. Тихие рыболовы, как у нас. Овсы проплывают совсем рядом. Овсы чистые, нет и в помине васильков и колокольчиков. А мне без сорняков овсы не овсы.

Несет в детское, в Даймище и Батово. Беготня с копьем, парное молоко, довоенная детская безоблачность. Родные вспоминаются. Грусть недавнего отхода. Она скоро выветрится. Все притрется. Потом превратится в скуку. Потом в ожидание возвращения...

Опять огромный мост впереди над каналом, и кажется наши мачты заденут его. Черно-желто-красный флаг ФРГ, бело-синий выпел Академии наук СССР, бело-красный лоцманский флаг вplываюТ в тень моста. И тревожная перекрученность космических антенн, и аншлаги у их подножий: «Не подходить!»

Куда меня опять несет? Впереди такая долгая дорога, какой я, пожалуй, боюсь. А зачем? Уже столько видел и за все виденное платил такой дорогой ценой, что пора бы научиться человеческой жизни хоть на шестипенсовик. Тоскливые мысли бродят в голове. Минута душевной невзгоды без особых причин. Плохо, когда ты ушел в рейс и сразу опять видишь летнюю землю и беззаботных людей в красивых машинах, и лебедь плывет рядом, подруга за ним, соревнуются с нами, поглядывают на судно, быстрее и быстрее перебирают лапками, тянут по ходу шеи.

На мостик поднимаются ребята из экспедиции, включают транзистор. Свою отходную грусть они глушат джазом. Мне это не годится. Спускаюсь в каюту, становлюсь

на колени на диван возле окна и смотрю на берега летней земли. Сосу материнский гостинец—леденец. С отроческих голодных времен, провожая меня в море, она сует кулек конфет.

Через час на вахту. Спать бы надо этот час. Устал за последние дни до смерти. Скорее бы в океан, скорее бы остались за кормой каналы, проливы, Англия и островок Уэссан.

Скольжение между отражениями. И вдруг резкие вибрации, бурление под кормой—дали задний. Осторожно притуляемся к кустам свай. Очевидно, будем ждать в расширении встречный супер. Лебеди тоже тормозят, делают степенными, не хотят нас обгонять, торжествовать свою победу. За кустами свай—лиственницы. Желтая бабочка влетает в каюту. Пышная, прекрасная трава над водой. Среди такой травы сам хочешь стать коровой.

«Во всей этой пышности не было ни здоровья, ни молодости; все прогнило, состарилось, стебли налились соками, но это была всего лишь слонозная болезнь. «Занято»—гласила надпись на ручке уборной, а за дверью красивая и недовольная девушка мочилась на шпалы...»

Так крушит эту красивую землю бывший корабельный кок Вольфганг Кёппен. Плоть жаждет жизни, душа полна страха.

Вот они те, о ком он пишет: матерчатые аккуратные грибки среди лиственниц, под ними аккуратные раскладушки; с раскладушек, устроившись на ночевку, доброжелательно машут нам пивными бутылками немцы.

«Я принадлежу к тому сословию, которое призвано вызывать злость»,—крепко сказал бывший корабельный кок. Он хочет ненависти к себе. Вызывает огонь на себя. Его ненависть к родному мещанству и подлости дошла до предела. Никто, кроме писателя, не решается пока на это. Ни политики, ни ученые, ни черт знает кто. Потому, вероятно, что никто не любит свой народ так горько, нежно и глубоко.

Бог в помощь, бывший корабельный кок! Примите мое почтительное уважение...

Я высовываюсь в окно каюты. Майн готт! Из нас в аккуратную воду Кильского канала на аккуратных лебедей течет соляр! Механики лопушат, и можно налететь на крупный штраф, если засекут лоцмана. Звоню на мостик.

Трубку берет вахтенный третий штурман. Потом его голова стремительно высовывается за крыло мостика над моим окном и так же стремительно исчезает.

Красные огни впереди сменяются зелеными. Бурлит под кормой. За бортом медленно проплывает номер пикета «362». Задержка здесь может стоять мне сплошь бессонной ночи.

Вагалавайя...

В ноль часов я принимаю вахту и вхожу в темноту ходовой рубки. Там, невидимые во тьме, три немца — лоцман; его ассистент, на руле — канальный рулевой.

— Гуд найт, мистер пайлот!

— Гуд найт, мистер мейт!

Я становлюсь к телеграфу.

Черная земля скользит внизу за бортом. Цепочка зеленых огней уходит к небесам. Отражения дрожат и переливаются. Подсвеченные фонарями цифры километров и номера пикетов. Прожектора паромных переправ. Красные огоньки автомобилей, заплутавших в ночи Ютландского полуострова. Встречные суда. Плеск воды, сжатой между бортами.

Вагалавайя... Привязалось это слово, как только я увидел двадцатимарочную банкноту. На одной стороне скрипка, смычок и флейта, на другой — мужественно-мужское лицо немецкой женщины. Под Брейгеля. А на металлической марке — дубовые листья и орел. Музыка женского мужества среди листьев и под сенью орла...

Смогу я когда-нибудь преодолеть в себе еще в детские годы зародившуюся неприязнь к этим людям?.. Смогу, потому что уже люблю Бёлля и Кёппена.

Капитан спит на диване в штурманской рубке. Он довольно грузный, чем-то похож на актера Евгения Леонова. Тот случай, когда волевая профессия не удлинила подбородок, не зацементировала скулы, не наспринцевала в зрачки свинца и стали. Человек с юмором — пока это все, что я о нем знаю.

Время от времени захожу в штурманскую, чтобы отметить траверз приметного местечка на карте.

Над штурманским столом висит отрывной немецкий календарь — презент шипшандлера в Хольтенау. Девять месяцев мне предстоит начинать ночную вахту с отрыва: листка этого календаря. Хорошенький немецкий мальчик в матроске заснул, положив белокурую головку на стол. Слоны, каравеллы, голуби с письмами в клюве, ра-

ковины южных морей и кораллы витают вокруг — они ему снятся.

Спит вокруг Западная Германия.

Три немца в темноте рубки лопочут и лопочут между собой. И это мне не нравится. Когда старший лоцман произносит команду по-английски, то далеко не сразу отличаешь ее в потоке чужой быстрой речи.

«Ваши желудки, ребята, битком набиты сороками» — так хочется мне сказать лоцманам. Их лиц во тьме я не вижу. Ясно только, что это мужчины очень большого роста. Я, пожалуй, смогу пройти у них между ног, только слегка нагнув голову. Чиф-пайлот хром, с палкой, в возрасте. Вполне возможно, что у него в бедре сидит кусок уральской стали.

Я вдруг ухмыляюсь, представив, как крупно могло не повезти нашему разведчику, который в запарке в темноте хватанул такого «языка», как чиф-пайлот. Хватануть-то хватанул, а потом Ване стало и кохельбекерно и тошно, ибо эти сто десять килограммов тащить надо было на своем горбу...

Дело они, конечно, знают превосходно. И вежливые мужчины. Не забывают, что лоцман при выполнении обязанностей является только советником. Они продают опыт, но не ответственность. Питаются они, по правилам Кильского канала, на судне бесплатно. Кроме того, я обязан по требованию лоцмана обеспечить его закусками, чаем, кофе и тому подобным «за плату по себестоимости». Никакой платы за дрянной кофе и бутерброд с засохшим сыром, конечно, никто с них не берет...

Впереди скопление огней. Лоцман просит дать «самый малый». Потом «стоп». Я решаю проверить на всякий случай готовность боцмана на баке и якорей в клюзах. Включаю трансляцию. Темно. На ощупь шелкаю нижним правым тумблером — обычно там включение линии на бак. К пультам в рубке «Невеля» я еще не привык, выключателей на панелях торчит добрая сотня. Короче говоря, мой мягкий баритон: «На баке! Боцман! Или кто его заменяет! Стать к левому якорю!» — разносится по всем линиям трансляции, по всему спящему судну, по всей Шлезвиг-Голштинии, по всему Ютландскому полуострову, по всей северной части Европы.

Немцы хохочут, в рубку врывается начальник радиостанции, брызгает пеной, под палубами матерятся восемь десятков сонных глоток. Конфуз. Ладно, сейчас все-таки не до конфузов. Впереди куча мала из судов. Пробка.

Лоцман командует отдать левый якорь и сразу несет что-то по-немецки коллегам. У меня нет времени переключать трансляцию, и ничего не остается, как опять во всю ивановскую, на всю северную часть Европы: «Отдать левый якорь!» Радист вырывает микрофон. Я спрашиваю лоцмана по-английски: «Сколько смычек?» Он не понимает или не слышит. «Сколько смычек в воду, черт вас подери?!» Радист возвращает микрофон, включив линию на бак. Гремит цепь, высучиваясь из клюза. «Задержать канат! Сколько на клюзе?!» С бака доносится один удар в колокол. До ближайшего судна метров двадцать, а мы еще двигаемся, чуть-чуть, но двигаемся. Надо давать задний. Чего лоцман молчит? Я уже кладу руку на телеграф, когда замечаю рядом капитана. Он стоит в накинутой на плечи кожаной куртке, ежится на сыром сквозняке, потом зевает и наконец говорит: «Не надо задний. Коробка пустая. Задержимся. Чего меня не позвали?» — «Не успел». Сейчас, по идее, он должен мне выдать хороший бенц. Не выдает. И сдерживаемого раздражения я в нем своей шкурой не ощущаю тоже. Отличный капитан, ибо спокоен без всякой натяжки и актерства. Еще раз зевнул и уткнулся в окно.

Немец-рулевой доводит судно к сваям, легко касаемся их.

Тишина. Я выключаю ходовые огни. Это надо было сделать немного раньше. Включаю якорные. Впереди высокая корма датского сухогруза, позади демократический немец, он тоже отдал якорь. Чего-то ждем. Слышно, как по радиотелефону перелаиваются диспетчеры канала. Я в штурманской рубке пишу черновик вахтенного журнала. Немецкий мальчик в матроске спит, положив белокурую головку на стол. Под ним красное число: «22». Черт возьми! Двадцать второе июня! И как я раньше не отметил этот факт?

Капитан опять укладывается на диван.

— Какого вы года, Георгий Васильевич?

— Двадцать восьмого.

— Сегодня двадцать второе июня. Как для вас началась война?

Он отвечает так, как будто в вопросе нет никакой неожиданности, как будто не надо напрягать память, возвращаясь на двадцать восемь лет назад.

— Сидели во дворе за поленницей дров, резались в карты. Шла тетка Никифоровна, объяснила, что случилась беда, но мы фрицев шапками закидаем. Отец, прав-

да, другого мнения был. Потом, помню, перегородки начали на чердаке ломать. У нас чердак был разделен на индивидуальные ячейки для разных нужд. Столько в чердачной пыли интересного нашли! И сабли старинные, стертые, и картины, и книги удивительные... Потом чердак песком засыпали, брали песок от церкви на Лиговке, не помню, как церковь называлась, песок с костями перемешан был — раньше там кладбище было...

— В блокаду оставались?

— Нет. В Пермскую область эвакуировались... Там по-пластунски ползали и с парашютом прыгали, но двадцать восьмой не дотянул до фронта...

— Да. Двадцать седьмым кончилось. А парашюты почему? В космонавты готовились?

Он хмыкнул.

— Скоро вы, Виктор Викторович, убедитесь, что мы здесь все космонавты. Только с первой ступени ракеты-носителя и без портретов в газетах...

27.06.69

До Африки около сорока миль, около сорока миль до гробниц Сиди-Игагана и Сиди-Бу-Сенсу. Ветер дует к берегу, но ко мне на дневную вахту прилетела африканская бабочка. И в подтверждение того, что она не привиделась, прилетел еще здоровенный африканский жук — возник из синего душного океана.

Меридиональная высота солнца восемьдесят градусов. Днем жара, а ночная вахта была неприятная. Холодный ветер тискал теплые волны. Густой пар поднимался над океаном и сразу конденсировался в крупные капли. Слой тумана, мглы и капель метров в пятнадцать. Задний топовый огонь светил выше этого слоя ясно и четко. Передний топовый распускал с обеих сторон мачты мутные туманные усы. Звезды не просматривались. Холодный ветер и теплые испарения вырастили мне здоровенный ячмень на левом глазу.

Всю вахту я одиноко фыркал. Всплыла вдруг фраза: «Недолго мучалась старушка в бандита опытных руках». Фраза повторялась то в скорбном, то в юмористическом, то в сочувственном, то в вопросительном ключе, и каждый раз я фыркал, удивляя идиотским поведением рулевой автомат, радар и станцию пожарной сигнализации. Не знаю, кто сказал про старушку и при какой обстановке. Быть может, слова произнесены трагическим шепотом над теплым трупом без всякого юмора, но вот стоишь

ночную, собачью вахту один, у окна рубки, недалеко от марокканских берегов, вытираешь капли с ячменя на глазу и хихикаешь. И такой у тебя контакт с тем типом, который сложил эти дурацкие слова, такое с ним чувствуешь душевное родство, что начинаешь верить и во вселенское братство. Однако и настораживаешься: нет ли здесь симптомов психического расстройства?

Мне подарили перед рейсом куколку — черный нелепый чертенок. Я повесил его в каюте на нитке. Все вокруг чертенка качается, нитка скручивается и раскручивается, но в моменты затишья он упорно поворачивается ко мне хвостом. Я его поверну к себе рожей, а через минуту он опять показывает хвост. Я в нитку вставил нечто вроде маленького вертлюга. И все равно, в нарушение всех законов физики и теории вероятности, он поворачивается ко мне только хвостом. И так много на этого чертенка траишь внимания, что опять задумываешься о своей психике.

Вот еще пример. День начинается для меня с приемки сигналов точного времени. Без пяти полдень я захожу в трансляционную будку с двумя секундомерами в руках. Москва, прорываясь сквозь помехи, заканчивает очередную музыкальную передачу «Маяка». Я слушаю музыку и смотрю на мигающие лампочки трансляционной установки, курю послеобеденную сигарету. Сигналы времени предваряются пятью повторами из «Подмосковных вечеров», потом шлепаются на барабанные перепонки шесть отрывистых точек. С шестым шлепком я включаю секундомеры и отправляюсь в штурманскую. Там ждут не дождутся два хронометра — совершенно одинаковые. Но почему-то один у меня любимый, другой пасынок. Любимчика я проверяю по хорошему секундомеру, пасынка — по дрянному. И я знаю, что до конца рейса ритуал будет именно таким. Потом записываю в журнал поправки и завожу хронометры, перевернув их вверх брюхом, как щенков. И любимчика я переворачиваю ласково, а пасынка безразлично.

Из самоанализа я сделал вывод: необходимо будет в Лас-Пальмесе выкопать на берегу какое-нибудь растение, чтобы растить его в каюте, ухаживать за ним, волноваться за его судьбу, гадать о влажности его почвы и радоваться появлению новых листочков. И читать надо больше. За две недели прочитал одну книгу — «Очерки былого» С. Л. Толстого. Спокойная книга, написанная спокойным человеком в спокойной обстановке, — так мне показалось.

Копенгагенский «Клуб-интим» организовал лотерею, главный выигрыш которой — недельное пребывание в Лас-Пальмасе с некоей Ирэн — молодой домашней хозяйкой, отличающейся самым пышным в Дании бюстом и прочими необыкновенностями.
«Экспресс», итальянский журнал

Итак, мы прибыли в места, откуда разлетелись по всему миру канарейки. Лучшие и самые отчаянно смелые русские сатирики насмерть боролись и борются с этой желтенькой птичкой. Только фикусу еще достается так много ядовитых стрел и сокрушительных ударов мечом. О борьбе русской интеллектуальной общественности с канарейками и фикусами можно написать увлекательное исследование. А подсчитать гонорар, полученный сатириками за сокрушение мещанства через его желтенький атрибут, пожалуй, невозможно.

Мало кто знает, что испанцы всеми силами противились разлетанию канареек со своих островов. Они, например, коварно продавали только канареечных самцов. За вывоз самок закон наказывал кроваво. И вполне возможно, наши сатирики остались бы без материала, если бы испанский парусник не выскочил у берегов Италии на рифы и не развалился. Желтенькие утешительницы, украсившие жизнь испанцам на паруснике, улетели на остров Эльбу, а оттуда попали и в Россию.

Таким образом, море внесло свою лепту в арсенал мещанских атрибутов. Вероятно, поэтому я люблю канареек и фикусы.

Стоим на якоре в гавани порта Ла-Лус и Лас-Пальмас на острове Гранд-Канарии.

Сразу заметно, что Суэц закрыт. Гавань и рейд битком набиты — сейчас сюда заходит ежедневно до шестидесяти судов.

Полдень, моя вахта. Беру бинокль и начинаю знакомиться с соседями. Панорама слева направо.

Между нами и набережной беспробудно спит ржавый, замызганный кораблик. С большим трудом разбираю флаг — португальский, весь в дырах и грязный, как чулки нищей старухи. Кораблик зовется ни больше ни меньше

как «Пионер океана». Далее испанский сухогруз: «Пантиведра». Его трубу украшает синяя акула и буква «Р».

Японский траулер, порт приписки Токио, какая-то «Мару». Далеко забрались япошки, проржавели сильно. Надувные кранцы колышутся под бортом, выцветшее восходящее солнце болтается над слипом.

Танкер «Фурико» из Бильбао стоит так близко, что когда нас водит на якорь, то кажется, мы обязательно врежем носом в его аккуратную красную корму.

Две парусные рыболовные шхуны неизвестной национальности. Грек. Грек такой грязный, что напоминает кота, который вылез из дымовой трубы. Греческие буквы на борту хотя и принадлежат бывшим нашим единоверцам, так же непонятны, как японские иероглифы. Тайна греческого алфавита мучает меня уже давно.

Фоном всем этим ребятам служат высотные дома Лалуса и коричнево-зеленые пальмы набережной.

Ближайший сосед справа — израильский рыболовный траулер с синей контурной шестиугольной звездой на флаге и трубе. Сети и мусор свалены на слипе в одну кучу. Куда смотрит израильский старпом?.. Ха! Израильчанин снимается с якоря, не убирая забортного трапа. Трап висит косо — все-таки их старпом разгильдяй... Куда они потащились? Ага, к шведской плавбазе «Кеймен», порт приписки Стокгольм. Будут сдавать улов или брать тару.

За шведской плавбазой у восточного мола гарцуют на швартовых аристократы — пассажирские лайнеры. У одного флаг оранжево-бело-синий. Такого флага нет в справочнике — значит, из вновь родившихся молодых государств.

По корме мрачная громадина английского танкера «Британская энергия». К «Британской энергии» бесстрашно приближается с моря крохотный СРТ под нашим флагом и шлепается на якорь. Крошку зовут «Иней». Странно видеть здесь блестящую льду. И странно думать, что на таком СРТ я впервые пересек океан. Это было... Это было, дай бог памяти, в 1953 году!

В гавани есть еще одно наше судно — «Камчадал». Утром бегали к нему на вельботе, узнавали, есть ли смысл отправить с оказией письма. Но «Камчадал» идет на Гонконг, потом в Японию и уже тогда на Камчатку. От Камчатки письма будут лететь еще десять дней. А всего — дней семьдесят, — игра не стоит свеч.

Это все мирные кораблики, трудяги. Теперь посмотрим на мол Арсеналь. Пять миноносцев, десантный корабль,

военный танкер. На вояках висят такие огромные флаги, что напоминают хвосты павлинов. Орлы и колонны, увитые красными лентами, — испанцы. По густо-серому фону боевых надстроек ползают белые пятна матросских роб.

Ну вот, тридцать минут вахты уже позади.

Посмотрим сам Ла-Лус и Лас-Пальмас. Конечно, красиво. Но геометрия современных зданий нарушает пластику береговых холмов. И мало зелени. Пальмы вдоль набережной и редкие кусты с красными цветами колышутся в окулярах бинокля.

Реклама неизменных «Филиппса» и «Пепси».

Пустынный пляж между набережной и урезом воды, тусклый песок.

Апельсиновые корки на тусклой воде.

Мальчишки носятся по гавани на ящиках-лодочках под красными парусами. На парусах тоже «Пепси». Мальчишки лихо меняют галсы, перекидывают реёк паруса над головой, машут руками, орут: «Руссо!» И с такой странной интонацией орут, что непонятно — приветствуют они нас или почему-то над нами смеются.

Две подозрительные личности подходят близко к корме на шлюпке и бросают за борт якорь-камень. Рыбу не ловят, на отдыхающих не похожи. Шпики? Или ждут возможности для «ченча»? Когда замечают, что я навожу на них бинокль, нагло и вызывающе кладут ноги на бортик шлюпки и зевают. Не нравятся мне эти ребята...

Перевожу бинокль. Маленькие домики левее высотных зданий Лас-Пальмаса, по гребню холма, голубые, розовые, оранжевые, хранят в себе нечто странное, неизведанное, мавританское, древнеиспанское. От них пахнет «Алжирским пленником». Но какое тусклое, пасмурное небо, хотя солнце и сквозь него уже обожгло кожу на лице.

На палубе старпом со старшим механиком ведут разговор о кладовке. Разговор полон испанского темперамента. Стармех — дед — явочным порядком захватил кладовку. Старпом — чиф — в отместку повесил на первый трюм замок и не дает деду ключ, а в трюме машинные шmutки. Чиф утверждает, что машина ворует из трюма ветошь, которая принадлежит палубе. Дед обвиняет чифа в том, что он берет расписки за тропическую робу и хочет вычислять за нее деньги, а один раз в три года положено робу выдавать бесплатно. Чиф, не будь дурак, говорит, что мотористы лазают в первый трюм с сигаретами, а в трюме краска — огнеопасное вещество, а под трюмом

топливные танки, и ключ он все равно не даст. А дед, не будь дурак, говорит, что он не даст на палубу распылители для этой самой краски и матросы весь пароход в тропиках будут мазать обыкновенными кистями. Старпом в пылу этого испанского спора допускает крупную стратегическую ошибку: говорит, что плевать хотел на распылители (потом ему это дорого обойдется) и пускай дед идет на огород и успокоит нервы сельскохозяйственным трудом.

Начинается, думаю я. А ведь мы в рейсе еще только полмесяца.

Огород у нас на крыше кормовой надстройки. Землю привезли перед самым отходом — два грузовика. Под руководством деда были сколочены шесть ящиков и в них посажены редиска, лук и укроп. Маленькие веселые росточки уже торчат из черной земли. Всех интересует, что получится из сельскохозяйственной затеи деда. У будущей редиски две опасности: 1) океанские брызги засолят землю, и все погибнет, 2) редиска вырастет, но кто ее будет охранять от расхитителей?

Мне нравится любовь деда к огороду, приятно смотреть на его возню со шлангами; нравится, как он пальцем приподнимает опавшие от тропической влажности росточки. Наш дед очень крупный мужчина, старый моряк и юморист. Его зовут Василий Васильевич. Чифа зовут Вадим Вадимович. Меня — Виктор Викторович. Почему-то нам троим это смешно, зато всем остальным — удобно: легко запоминается.

В данный момент я полностью на стороне деда, так как не хочу платить кровные рубли за шорты тысячного размера и дрянную рубашку с погончиками.

На мостик прибывает ревизор — пес Пижон. Чистокровный дворняга, черный с белым пятном на груди и белыми носочками на лапах.

Пижону хочется с высоты мостика посмотреть на Канарские острова.

В космический рейс на «Невеле» Пижон идет второй раз. Он родился в Индийском океане на борту теплохода «Моржовец» и был пятнадцатисантиметровым щенком переправлен на «Невель» в портфеле через океанскую зыбь. Его отца подобрали со льдины в Рижском заливе моряки «Моржовца». Отец отогрелся и дал потомство от моржовецкой суки.

Первый раз в жизни Пижон сошел на землю в Бомбее. Он перепугался насмерть. Цветок на газоне, куст или ав-

томашина пугали его до шока, и его эвакуировали обратно на судно.

Этот во втором уже поколении моряк каждый день является на мостик и производит ревизию. Высшим начальством он явно признает капитана. Но главная его хозяйка — дневальная Таня. Любят они друг друга до смерти. И вообще он баловень всеобщий. И потому не может не кокетничать.

Биографию Пижона мне рассказал рефрижераторный механик Эдуард. На судовом языке он зовется «реф». Реф здоровенный, добродушный и хитрый латыш, совсем обрусевший. Он, как и Пижон, старожил на «Невеле». Каждую новеллу реф заканчивает вопросом без адреса:

— В прошлом рейсе на шестом месяце кончились сигареты. И у всех сильно упало моральное состояние. Радисты не вылезали из эфира — дыбали встречное судно. А дело было не так уж далеко от Антарктиды. И надыбали китобойную флотилию. Сошлись с ней. Ну, возглавил я инициативную группу, чтобы на китовую матку ехать за сигаретами и попутно развлечься там, как понимаешь: состыковаться там на орбите с бутылкой, например. Только китобойное начальство, конечно, не дураки. Не шиты они лыком, китобойные начальнички. Посылают к нам китобойца-снабженца. Он подходит с китом под бортом. Дохлый кит. Вместо кранца. Зыбь здоровенная. Ошвартовались. Мы им кидаем кораллы, они нам тройной одеколон для души и спирт для туалета. А ход имеем. И мы вперед подрабатываем, и китобои. Кит между нашими бортами все вздыхал и вздыхал. Потом выскакивает из него затычка, через которую он воздухом был накачан. Из дыры кишки полезли. Вонь ужасная... И как китобои могут терпеть такое годами?

Это уже вопрос к мирозданию. Ответа на него реф не ждет ни от китобоев, ни от собеседника.

Старпом отправляет меня на вельботе за уволенными на берег.

— Тушите фонари, секунд, — говорит он. Мы еще на «вы». — Идите за толпой к причалу Санта-Каталина, а я останусь за вахтенного.

— Есть!

В первый раз я забираю пятьдесят человек. Вельбот перегружен. Но толпа рвется домой, толпе надоел уже Лас-Пальмас, толпа истратила деньги и не хочет опазды-

вать к очередной кормежке. Пакеты с тряпками, магнитофоны, электрогитары и сумки с бутылками сыплются с мола Святой Кatalины в вельбот. Реф в огромном мексиканском сомбреро и пледе с кожаными накладками рушится со Святой Кatalины последним.

Говор, гвалт, смех, вопли, щелчки фотоаппаратов.

— Оттолкнуть нос! Малый назад! — ору я командирским голосом.

В гвалте моторист не слышит. Кроме того, он занят рассматриванием женской кофточки в прозрачной упаковке.

Вокруг десятки катеров, шлюпок, вельботов, буксиров. Каждый метр Святой Кatalины берется с бою. С мола наблюдают за нашими маневрами моряки из всех стран мира. Жуют резинку.

— Малый назад!! — ору я, добавляя несколько интимных слов. Они помогают. Моторист перестает рассматривать кофточку и поднимает глаза на меня.

— Малый назад!! — ору я в третий раз и тут замечаю, что нас отнесло уже черт знает куда и надо давать не «малый назад», а «полный вперед».

Моторист дает «малый назад».

Я ору:

— Полный вперед! — и хочу провести румпель с правого борта на левый. Румпель сокрушительно ударяет в бороду нашего доктора и застревает в ней. Впереди ничего не видно, так как толпа стоит на ногах и головы закрывают обзор.

— Сесть в носу! Простите, доктор! Стоп машина!

Конечно, в самый неподходящий момент испанское десантное судно буксиры оттягивают поперек бухты. Не хватает врезать ему в борт или перевернуться. В носу никто не думает садиться. Я встаю во весь рост на банке. Очень неустойчивое положение. Непроизвольно вцепляюсь одной рукой в волосы доктора.

— Средний вперед! Извините, доктор.

Проскальзываем в свежую щель между причалом и отходящим десантным судном под самой его кормой. Господи, думаю я, только бы он винтом сейчас не крутанул!

Не крутанул. Проходят мимо испанские миноносцы у мола Арсеналь, грек, японские «Мару», израильтянин из Хайфы. Очень хорошо, что я изучал гавань Лас-Пальмаса в бинокль и по карте. Теперь это служит свою службу. Благополучно тыкаемся в родной борт.

На трапе толпу пересчитывают. Нет четырех человек. Отваливаем за ними. Ждем полным. Испанские фашисты выдали пропуска на берег только до 18 часов. Позднее им не хочется видеть нашего брата.

Несемся мимо «Мару». Оттуда машут японцы, просят подвезти на берег. Матрос и моторист оборачиваются ко мне с неммым вопросом. Интернациональное братство моряков, черт возьми.

— Стоп! Полный назад!

Вельбот превращается в рака. Кое-как подсовываемся под трап «Мару». Прыгают пять японцев. Прем дальше. Дьявол! На встречном английском катере наша четверка. Воспользовались оказией и гребут домой. Но у нас японцы. Приходится идти к Святой Кatalине, хотя нам уже нечего делать там.

Японцы поочередно перебираются ко мне в корму и тянут лапы для благодарственного приветствия. Жму твердые руки японских рыбаков. Небогатые это ребята. Мешки с луком навалены у них возле самого капитанского мостика. Маленькие крепыши. Угощают сигаретами. Подносят зажигалки.

Один пассажир очень живой паренек. Садится на корточки возле дизеля, с любопытством рассматривает, тыкает в дизель пальцем:

— Рашен?

— Иес!

Паренек хохочет. Ему нравится наш дизель.

Опять проходим испанские миноносцы у мола Арсеналь. Веселый рыбачок оборачивается, вскидывает руки, изображает ими автомат и в упор строчит по миноносцам: «Тра-та-та!»

Испанский офицер в ослепительной белизны форме выпучивает на нас глаза с борта миноносца. Черт бы побрал япошку! Он же сейчас под красным флагом, дурак! И у него не написано на лбу, что он с «Мару». Получается, что советские моряки в испанском порту символически строчат по испанским боевым кораблям. Нечего сказать, шуточки! Есть от чего вздрогнуть.

— Прекрати, болван! — ору я, но он все равно ничего не понимает. Хохочет. Опять «строчит» — по следующему миноносцу. Ему не нравятся вояки, каких бы флагов они ни были, — так следует понимать его озорство...

Швартуемся к Кatalине. Вытираю холодный пот со

лба. Японцы вылезают. С мола машут какие-то шведы — просят подвезти на рейд. Я скрещиваю над головой руки: «Но!» Хватит на сегодня интернациональной дружбы.

Ночь. Мигает зеленый огонь на южной оконечности восточного мола. Опять без единого огонька в окнах высотные здания Лас-Пальмаса. Погасли рекламы. Только на гористых дорогах Гранд-Канарии вспыхивают иногда фары полуночных авто.

Лицо здорово горит. Рейсы на вельботе сделали свое дело. Сильнее всего обгораешь, когда солнце просвечивает сквозь легкую дымку облаков, отражается от близкой воды и вместе с ветром и солеными брызгами обрабатывает кожу.

«Иней» тоже пробрался в гавань и шлепнулся на якорь поближе к нам. Так и стоим — «Камчадал», мы и «Иней». Штиль. Но «Иней» покачивается, клюет носом на неприметной глазу зыби. Какой он маленький с высоты нашего мостика. И каким здоровенным он мне казался, когда я впервые в жизни подписал приемочный акт как капитан. У моего СРТ имени не было, только номер 4142.

Я вспоминаю долгую игру в прятки со льдами среди островков архипелага Норденшельда. Шестнадцать лет прошло. И уже нет Кости Денисова. Вечный тебе покой, Костя. Долго я плутал по владивостокским улочкам, разыскивая тебя...

Грустно. И тягостно тянутся часы ночной вахты. И вдруг ловлю себя на мысли, что мне не хочется на берег, в Лас-Пальмас.

Надо верить предчувствиям. Ступив ногой на Канарские острова, я уже через какой-нибудь час был укушен обезьяной.

Дело было на рынке. Обезьяна сидела на цепочке рядом со старухой испанкой. Я ждал, когда матросы сторгуют себе и мне джинсы. И от скуки заигрывал с обезьяной, давал ей трепать газету. Потом дал конфету. Она ловко развернула обертку, надкусила конфету и презрительно швырнула в пыль. Тут старуха налила обезьяне в миску молока. А я — дуралей — решил погладить мягкий обезьяний загривок. И был трижды укушен за руку мелкими острыми зубками. Старуха подняла крик. Смысл его был простым: не трогай животное, когда оно жрет. Я должен был это знать и без объяснений на испанском языке.

У обезьяны были черные лапки и рожа, затаившая под внешней благожелательностью многовековую враждебную зависть к тем существам, которые далеко опередили ее по всем статьям. Такое мы наблюдаем и среди людей.

Боль была пустяковая, но я не знал возможных последствий обезьяньих укусов. А не взбешусь ли я? — вот что пришло в голову. И через минуту я уже оказался в баре и смачивал ромом ранки. Две порции я принял и внутрь. Дрянной колониальный ром, но довольно крепкий.

Со стены из полуклетки процедуру лечения наблюдал здоровенный уродливый попугай. Он был прикован к неволе, как и обезьяна, цепью. Попугай смотрел на меня поверх горбоносого клюва и жрал кукурузный початок.

— Привет вам, птица! — сказал я попугаю, вспоминая рассказ Вити Голявкина. — Взбешусь я или нет?

С горя купил Карменситу в розовом платье. Карменсита застыла в разгар отчаянного испанского танца. Рука с кастаньетами над черной головкой. Карменсита в картонной коробочке, крышка прозрачная. Еще покупаю Санта-Марию, покровительницу Канарских островов. Надо уравновесить отчаянный женский вызов Карменситы, ее кровавую розу в волосах, развевающиеся юбки и мерцание стекляшек на груди чем-нибудь противоположным. И Санта-Мария справляется с этой задачей. Грустное и тихое лицо задумавшейся крестьянской девушки. Руки сложены ладошка к ладошке и прижаты к груди. Ноги безмятежно попирают какого-то морского зверя, а может — крокодила. Длинные волосы расчесаны на строгий пробор и спускаются на узкие плечики. Статуэтка закреплена на обожженном куске дерева, рядом на кронштейне висит фонарик с огарком розовой свечки.

Глупости, что только старинные вещички, памятники давних времен, — настоящий сувенир. В подделке под старину, в обмане подделкой есть и древняя душа народа, и его сегодняшний день.

Ночью мы снялись на Гвинейский залив.

Впереди был океан. И темнота. И дальняя, и дальняя дорога.

Население мира может увеличиваться вдвое каждые 30—40 лет, однако, если закон, которому подчиняется рост числа ученых, будет действовать в течение еще двух столетий, то все мужчины, женщины и дети, все собаки, лошади и коровы будут учеными.

*Бывший министр просвещения и науки
Англии профессор Бертрам Бюдген*

13.07.1969 года я стоял на мостике теплохода в Гвинейском заливе, положив руку на машинный телеграф, и ждал, когда стрелка часов покажет 00.40, чтобы, выполняя приказание капитана, записанные в черновом судовом журнале, снять судно с дрейфа и повести в точку работы с космической станцией, отправляющейся к Луне.

«Невель» покоился в дрейфе с небольшим креном на левый борт — парусили высокие надстройки и корпус.

Вселенная была обнажена и прекрасна. Она раздевается, как и мы, по ночам. Млечный Путь, Малый Пес, Змееносец, Южная Рыба, Дева... Звезды лучились и вели хоровод — лукавые девы без одежд, стыдливости и предрассудков. А я чувствовал себя как старец у ложа Сусанны. Или как все вообще мы, мужчины, себя чувствуем, глядя на прекрасную обнаженную женщину, к которой нам не суждено добраться. Здесь и смертная тоска до скрежета зубов, и замирание духа от ощущения полноты жизни. В неудовлетворенности — великий смысл, но она танталово мучительна.

Вселенная — Земля — Океан — «Невель» — я.

На другой стороне планеты — космодром, ракета в облаке перекиси водорода или какой-нибудь другой химии. Там проходят последние команды на старт. Там континентальный ветер несет по бетону пыль, лепестки акаций и удары метронома.

И я слышу метрономом — наши экспедиционники ведут отсчет времени.

Метрономом — блокада — бомбоубежище — черный картон репродуктора — приближение смерти — это навсегда связано с отсчетом секунд.

00.40. На всякий случай оглядываю морской простор с обоих крыльев мостика — не появился ли где-нибудь

встречный-поперечный кораблик? Черная пустота. Полная свобода маневра.

Малый вперед.

Непривычно, когда даешь ход, находясь в рубке совсем один.

Жужжит репитер гирокомпаса. Ставлю заданный курс на автомат рулевого управления.

«Ц-з-зыны!» — звонок из машины. Не продули форсунки, просят пять минут отсрочки. Хорошего мало, но и страшного ничего нет. Мы близко к «точке».

Наша задача вывести «Невель» в заданные координаты в заданное время на заданный курс. Это такие координаты, такое время и такой курс, при которых космический объект пройдет через зенит. Тогда дольше всего возможно принимать его сигналы. Как только объект уйдет из радиовидимости, надо развернуть «Невель» курсом на Москву, на Центр управления полетом. Центр окажется на биссектрисе раструбов излучающих антенн. Мощный передатчик вышвырнет огромный радиоязык, язык облизнет бок планеты и донесет на кончике в Москву то, что несколько секунд назад сообщил объект, проносясь сквозь экваториальные созвездия над нашей головой. Вот и все. К приему и отдаче сигналов мы, моряки, никакого отношения не имеем. Чаще узнаем, с каким объектом работали, только из сообщения ТАСС на следующий день. Заповедь одна: не выходи на открытую палубу, когда молотит передатчик, то есть когда работают «рога».

Машина готова. Поехали. Черная вода закрипела под днищем. Расступается. Едем по отражениям экваториальных звезд. Тысячи лошадей тихо плывут перед форштевнем. Впряглись в невидимые построжки, задрали головы к небесам, фыркают. Я — кучер. Без вожжей. Рулевой автомат выводит «Невель» на курс. Репитер гирокомпаса урчит прерывисто. Чертим по черной воде пенный серп кильватерного следа — циркуляция.

У Кубы, Огненной Земли, Антарктиды, атоллов Тихого океана сейчас идут к точкам работы такие же кораблики. И там тикают метрономы. Выбраться в космос без нашего брата пока невозможно. Кто-то должен плыть по скользким, мокрым орбитам, поддерживать на космической лунную станцию. Ее тоже зовут «корабль». Никто толком не знает корней этого слова. Предполагают, оно от древнеарабского «лошадь» или древнееврейского «верблюд». И когда мы ныне называем верблюда кораблем пустыни, то это масло масленое.

Выключаю красные огни судна, лишенного возможности управляться. Включаю топовые, отличительные и гакабортный. Орет ревун. Что за черт? Неприятно, когда в ночной тишине по ушам бьет вой. Какая-то путаница с гакабортным — не включается. Минуты три борюсь с сигнальной электротехникой. Побеждаю с трудом — вынув предохранитель. Плываем. Покачиваются созвездия. В пропасти ночного океана стреляют мгновенным светом тропические светлячки. Иногда полыхают и целые гребни волн.

Из фок-мачты вырывается клок синего газа — выхлоп дизель-генераторов вспомогательного машинного отделения. Отработанный газ встречным ветром заталкивает в рубку. Придумали удобный выхлоп. Черт бы побрал конструкторов. Душегубка. Даже подташнивать начинает. Закрываю окна.

На шите трансузла вспыхивает сигнальная лампочка линии экспедиции. Ее остренький свет отвлекает. Отрываю листок немецкого календаря, слюню и заклеиваю лампочку. Славный немецкий мальчик все спит и видит коралловые сны.

Удары метронома прерываются, голос из недр судна: «Готовность номер два!» Слышно, как откликаются посты экспедиции: «Первый» принял!.. «Второй» принял!.. «Третий» принял!..

Зажигается сигнальная лампочка в хозяйстве радиостов — почему-то включение их киловаттника находится в рулевой рубке. Закрываю лампочку государственным флагом. Что еще загорится?

Вспыхивает проем двери — является сотрудник экспедиции. Материт трансляционную установку. Она типа «Березки» или «Осинки». Брюхо «Невеля» набито сложнейшей радиоэлектронной аппаратурой, а «Березка» барахлит. И экспедиция ведет с ней упорную войну. Сотрудник сообщает, что объект сорвется с земной орбиты на трассу к Луне в нашем районе Атлантики.

Я прихлебываю горький чай и гляжу вперед. Над горизонтом мутнеет полоса ночных тучек или облаков. Звезды прячут наготу. Тучки, облачка, рубашечки — обычные девичьи штучки. Похоже, мы не обнаружим объект визуально.

Одиночество кончилось, и пора вызывать капитана. Иду к телефону. Под ноги попадает живое, взвизгивает. В рубку пробрался Пижон. Не спится псу.

На румбе заданный академиками и небесами курс. Во-

круг вселенная — нетленная риза мира, престол бога, суета сует и всяческая суета. Первый пояс — небесные ангелы, второй — архангелы, третий — начала, четвертый — власти, пятый — силы, шестой — господства, седьмой — херувимы, серафимы и многочестия... Так заселяла вселенную наша народная мудрость.

Для простых людей мир всегда был конечен. Это образованный Аристотель сказал, что небо безначально и бесконечно. Теперь опять у мира прощупывается начало и миру грозит логический конец. Бесконечность времени и пространства сводила нас с ума, мы не могли ее представить, но мы с ней смирились и в результате к ней привыкли. И теперь еще ужаснее представить начальность вселенной.

Я слышал Козырева. Он говорил о влиянии следствия на причину. Оказывается, бесконечность сообщала модели мира некоторую простоту. Теперь теряют веру в простоту модели. Физики пишут: «Самый страшный признак сложности — нарушение симметрии». Это уже смахивает на вопль. К-мезон распадается не так, как положено. Раковины заворачиваются в одну сторону. Сердце у всех людей и животных с левой стороны. Оказывается, в той части Земли, где впервые возникла жизнь, случайно было больше «правого строительного материала». И вращение Земли добавило односторонности. Но мы и вокруг центра Галактики вращаемся, и вокруг центра центров, и...

— Вы верите в бога? — спросили Мартина Лютера. — И если да, то что делал бог до того, как в шесть дней сотворил мир?

— Бог сидел в лесу и резал прутья для наказания интересующихся этим вопросом, — ответил Лютер. Ему хотелось запретить людям думать о самом тайном в мире — о тайне его начала.

Зачем небеса вложили в нас любопытство? Зачем обрели нас на вечные муки Тантала? Зачем стоим мы по горло в воде, но не можем достать ее, зачем, видя роскошные плоды, не можем овладеть ими, ибо, открывая рот, чтобы зачерпнуть воды, или поднимая руки, чтобы сорвать плод, убеждаемся в том, что вода утекает и ветвь с плодами знания отклоняется? И висим мы, как Тантал, в воздухе, а над нами возвышается Мир, грозя ежеминутно рухнуть и раздавить...

На другой стороне планеты ракета успешно стартует и ложится на околоземную орбиту, а борьба с трансляционной установкой на борту бывшего лесовоза «Невель»

еще в полном разгаре. Опять некоторая неравномерность научно-технической революции.

Сотрудник щелкает тумблерами и говорит в микрофон волевым, требовательным, мужественным голосом:

— Я «Рулевая»! «Девятый»! Ответьте! Проверяю связь!

Пауза. Шум волн. Поскуливает Пижон на кренах.

— Кой черт опять здесь собака? — интересуется капитан. — Спит этот кабысдох когда-нибудь?

Из трансляции:

— Я «Третий»! Слышу вас хорошо, «Рулевая»!

— Я «Рулевая»! Вызывал «Девятый», а не Третий»! «Девятый», почему не отвечаете?

Гробовое молчание, шум волн.

Голос капитана:

— Черт побери! Когда последний раз мыли окна в рубке? На стекле скоро селедки заведутся!

Слышится грохот открываемого окна, в рубку врывается дизельный выхлоп.

— «Рулевая»! Я «Четвертый»! Могу транслировать на «Девятый».

— Я «Рулевая»! «Четвертый», транслируйте «Девятому».

— Я «Шестой»! Почему мне надо транслировать на «Девятый»?

— Отставить, «Шестой»! Никто вас не вызывал!

До того как над горизонтом взойдет рукотворная звездочка, остается несколько минут. Руководители экспедиции начинают нервничать:

— Передайте «Девятому»! Немедленно восстановить связь!

— Я «Пятый»! Слышу отлично, «Рулевая»!

И так далее — все по Райкину.

Включаюсь я, советую:

— Ребята, бросайте борьбу с техникой. От нашей рулевой до ваших хитрых постов максимум двадцать метров. В ремонте поставьте переговорные трубы, обыкновенные, старомодные — и дело будет в шляпе...

— Пошел к черту!

— Ребята, — говорю я. — Черта нет. И не будет. Напоминаю: еще Ной использовал переговорные трубы. На ковчеге. Предполагают, что он приспособлял для этой цели хоботы слонов — отличная, надежная внутрисудовая связь...

— Отстань, бога ради!

— Бога, ребята, нет. М не будет. Не надейтесь.

Иду в штурманскую, отмечаю на карте пройденное расстояние, записываю координаты. В глаза лезет примечание под заголовком карты: «На территории Португальской Гвинеи и Сьерра-Леоне речки, показанные точечным пунктиром, даны гипотетически». Мы Земли не знаем, а лезем на Луну... Об океанском дне лучше не вспоминать — два процента положено на карты. Опять некоторая неравномерность... Нужна Вавилонская башня? Этого, как при оценке великого произведения искусства, современники толком решить не в состоянии. Гипотетический гиппопотам в гипотетическом пункте гвинейской речки, извивающейся между портом Фритаун и мысом Пальмас на путевой карте. Ничего про этого гиппопотама я сказать не могу, но какого черта о нем думаю?

Голос из чрева судна: «Ожидаемый сигнал должен появиться через три минуты!» Все пока идет хорошо, объект огибает планету, защелки и щеколды сработали нормально, ступени отвалились, штыри выскочили, передатчики излучают. Как чувствуют себя протоны и мезоны в условиях невесомости?

Низкая облачность. Звезд нет. Слабое иззаоблачнос сияние Луны — она встает над горизонтом. Ветер пять баллов. Волна — четыре. Давление нормальное. Особых признаков погоды не наблюдается.

Над головой, на пеленгаторном мостике застонали подшипники антенн — разворачиваются. Антенна внизу справа наклоняется к горизонту, вытягивает щупальца-штопоры за борт. На витки ложится отблеск зеленого отличительного огня. В черном океане — полосы фосфоресцирующего свечения. Вполне научно-фантастическая картинка.

Бьет и бьет по перепонкам метроном. Воздушная тревога затянулась. Пик напряжения. Прожектора скрестились в одной точке, то есть все антенны направлены в одну точку на горизонте с правого борта.

— Там летит какой-нибудь парень? — спрашиваю я темноту, как когда-то спросил радист Камушкин.

— Нет.

«Внимание! Ожидаемый сигнал должен появиться через одну минуту!»

Ради праздного любопытства щелкаю секундомером — правильно сосчитали электронные машины?

Лаает Пижон. Он чувствует общее напряжение.

На шестидесятой секунде: «Есть сигнал!»

Антенны вздрагивают и начинают медленно подниматься над океаном.

Чем ближе к зениту, тем быстрее. Объект пронзает Малого Пса, Змееносца, и Южную Рыбу, и Деву за пять минут.

— Курс на Москву!

— Есть курс на Москву! На румб тридцать восемь!

— Всем долой с палуб! Сейчас будут работать «рога»!

Телеграф на «полный вперед». Счастливого возвращения, космическая крошка!

Прямо по носу — узкие переулки Арбата, нахальные ночные таксеры, зевающие милиционеры и пустые киоски «Союзпечати».

Излученная из наших «рогов» радиоволна уже там.

Все вокруг вертится с сумасшедшими скоростями — от роторов гироскопов гирокомпаса под ногами до звезд над головой. И когда я представляю это сплошное вращение, то и голова включается в хоровод. Смотрю на репитер компаса и чувствую вращение Земли. Сила тяжести и вращение планеты ведут гироскоп к истинному меридиану.

Небо прочистилось. Миллионы звезд-гироскопов вращаются, прокручивают алмазными бурами дырки в небосводе. Вращается Млечный Путь. Тот самый Млечный Путь, который появился в божьем мире, когда сын Зевса Гермес укусил грудь богини Геры. И мама оторвала от груди злого ребенка. А молоко, брызнув на небо, создало эту бесчисленную россыпь звезд. Лунная станция летит, преодолевая поле тяготения. Вселенная неспешно расширяется. Сила гравитации неизменно уменьшается. Расстояние от Земли до Луны увеличивается на дюйм в год. И скорость деления клеток во мне возрастает.

Господи, думаю я, и даже весь холодею от величия своего открытия. А пробовали ученые сравнивать направление осей вращения галактик? Ось гироскопа сохраняет в пространстве неизменным свое направление. Прецессия от сил гравитации соседей ничтожна. Нет ли закономерностей в направлениях осей вращения галактик? Не указывают ли они точку, в которой родился Мир? Ведь если что и сохранилось во вселенной неизменным со дня творения, то это направление вращений. Ни Галактика, ни звезда не могут остановиться и закрутиться в обратную сторону. Направление вращения — асимметрия — направленность времени...

Дилетантские раздумья — вот что я называю танталовыми муками. Они сильнее мужских переживаний при виде недоступной красавицы. Бессмысленный интерес к сложнейшим специальным вопросам науки. Интерес не по ремеслу, не ради полезности, а единственно из любопытства. Ведь это отвлекает от человека, и тратишься на пустяки. Мое дело — вести судно и сочинять рассказы.

— Виктор Викторович, магнитные компасы сверять будем?

Матрос пришел. Вахта кончается. Сбит величественный ход творческих мыслей. Остаются недодуманными гениальные догадки. Не обогащу я человечество пронзительной интуицией. Наливаю последнюю кружку чая.

— Стенки в тамбучине блестят, как кочегарский чайник, с песком надрайл, — говорит матрос. — Так их и так и перетак!

Он хорошо сделал какую-то работу в низах, ему самому приятно, хочется об этом поговорить. А вопрос мироздания его не беспокоит.

Когда человек поглощен работой — хирург берет скальпель, пахарь ведет полосу, горновой выпускает металл, — ему не до начала начал. Через работу он причащается святых тайн бессознательно.

Почему чайник кочегаров блистал чистотой? Блестящий сосуд был их ответом вечной грязи. И не только по соображениям здоровья. Высшей похвалой были слова: «Он хорошо шевелит!» Забросать топку под завязку может и осел. Надо уметь чувствовать природу угля, его фактуру, силу тяги, индивидуальность котла. Суть в том, чтобы *чуть* шевельнуть груды и она сгорела ровно и до конца. То самое *чуть-чуть*.

Искусство...

Устав от бесплодности дилетантских раздумий, от космоса, физики, гироскопов, вахт, матерщины, спускаюсь в тесный уют каюты. Ощущение вращения всего вокруг слабеет. И хочется в городскую комнату, к неподвижному столу и бумаге. И верится, что еще доступно настроение и красота неторопливой, тщательной прозы. Чужие ирекрасные строки укрепляют эту простую веру:

Каждой Венере земной, как той, первозданной, небесной,
Из беспредельности вод тайно рождаться дано...

В таких словах, в красоте — раствор всех сложностей мира, всех гироскопов, верблюдов, кораблей и чайников.

Именно раствор, а не суспензия клочков отдельных узнаний.

Наука ищет новые идеи и методы. Искусство ищет новые прекрасные образы. Когда все собаки, лошади и коровы станут учеными, индивидуальное творчество в науке исчезнет. Уже сейчас на ученых трудах мы видим все больше и больше соавторствующих имен. Чем их больше, тем значительнее размытость индивидуальностей. И производительность научного труда в мире снижается тем же темпом, каким растет объем научно-исследовательской деятельности: «самоторможение идей в коллективе». Почему? Потому что чем индивидуальнее творчество человека, тем глубже и шире его контакт со вселенной. Только через микроскопическую дырочку своей неповторимости можно заглянуть в Новое.

Художники пока, слава богу, работают в одиночку. Соавторство мы наблюдали только в титрах итальянских фильмов. Но сценарий — сколько бы об этом ни спорили — никогда не задумывается как самостоятельное произведение искусства. Даже бог и сатана, запустив в производство мир, выкинули сценарий в преисподнюю.

Биография бога морей кое в чем походит на биографию пророка Ионы. Оба они жили некоторое время в чреве существ, плохо оборудованных для этой цели.

Перед экватором я написал для передачи по судовой трансляции заметку: «Товарищи! В шестнадцать часов на борт явится Нептун, он же Посейдон. Даем краткую биографическую справку морского бога. Его папу звали Крон. Крон знал, что кто-то из детей должен восстать против него, и, чтобы этого не произошло, проглатывал детишек сразу после их рождения. Посейдона он тоже проглотил. И Аида, и Геру. Когда дело дошло до Зевса, мама отдала мужу не новорожденного, а запеленатый камень. Крон камень проглотил и продолжал спокойно заниматься политикой. Зевс подрос, напал на папу и заставил отрыгнуть братьев и сестру. Крон позвал на помощь титанов. Зевс поразил титанов молниями, и ребята спихнули их в бездонную, мрачную пропасть — Тартар. Там, в Тартаре, они и сидят. Благодарим за внимание!»

Вова Перепелкин внимательно просмотрел текст. «Даем краткую биографическую справку» — он вычеркнул. «Папу» заменил на «отца». «Отрыгнуть» заменил на «извергнуть». В три фразы вставил «якобы». Финал пол-

ностью переписал: «Символом могущества у Посейдона древние греки считали трезубец. Трезубцем он якобы добывал из скал воду. Все это данные римской и греческой мифологии, являющиеся сплошным вымыслом».

Потом Вова включил трансляцию в жилые и служебные помещения и зачитал информацию.

За распахнутыми дверями ходовой рубки синел океан, названный Атлантическим в честь того смещения природной правды и человеческого вымысла, которое и есть наш мир. Мне казалось, синее брюхо океана слегка колыхается от смеха.

Он смеялся и надо мной, и над Володькой. Странная штука древние мифы. Почему-то я не решился рассказать историю Посейдона серьезно. Мне не хватило смелости донести до людей торжественную красоту древней веры. Употребляя слова «папа», «отрыгнуть», «спихнул», «занимался политикой», я снижал высокий настрой мифа. Почему? Зачем? Для чего? Ироничность должна была позабавить моряков? Или за ироничностью я прятал свою почтительность к древнему, не желая показывать наличие в себе почтительности? Или я не верил, что люди смогут ощутить торжественную красоту в нелепой сказке? А Вовка? Его пугала вольность, с которой я обращался с каноническим текстом энциклопедического словаря. Печатные слова были для моего дружка табу. Но принизить миф он считал своей обязанностью, необходимой в воспитательных целях. И одной рукой он исправлял «папу» на «отца», а другой вписывал в каждую фразу «якобы».

Кто из нас более глуп?

— Вовка, — сказал я старому однокашнику. — Ты действительно, без всяких шуток, закончил Ленинградский университет?

— Журналистский факультет, — скромно ответил Вова.

— Но ты все-таки мог бы сохранить каплю юмора.

— Никакого юмора здесь не будет, — сказал Вова. —

И ты-то уже это должен понимать?

— Почему я это должен понимать?

— Потому что ты писатель.

— Но у меня нет филологического образования, Вова. Единственно, чему я учился в жизни систематически, — это стрелять из пушек, пускать торпеды, уклоняться от атак и водить корабли.

— Конечно, — сказал он. — С образованием мне повезло больше: два высших... А ты ведь знаешь, мне учеба не

очень-то давалась. Пришлось поработать. В Лесгафте выучил названия всех человеческих мышц. Жуть. Но если не знаешь, из каких мышц состоит тело физкультурника, то из тебя не получится настоящий физработник...

— А устройство мозга там изучают?

— Слава богу, нет, — простодушно сказал Володька.

В моменты такого простодушия он мне нравился. Я видел тогда семнадцатилетнего паренька, покладистого, с напряженным лбом, послушно готового к очередной учебной неприятности. То есть он походил тогда на фотографию, подаренную мне седьмого января сорок девятого года: «Дорогому Витьке от Володьки». Фотография каким-то чудом у меня сохранилась до сих пор. Вовка в боксерской стойке, огромные учебные перчатки, майка с номером. Его путь в физработники начинался как раз тогда. Кажется, рота не могла выставить положенного количества боксеров на курсовые соревнования. По весу Вовка подходил точка в точку. Нужный вес вывел его на ринг по ласковому приказу комроты. А вечером он отправился в увольнение, хотя несколько «гусей» по контрольным паслись в его матрикуле. И Вовка понял, что спорт способен облегчать жизнь.

На юношеском фото левая скула Вовы значительно пухлее правой. Колотили его нещадно. Терпение у него было или ангельское, или сатанинское. Однако удержаться в высшем военно-морском училище ему не удалось. Взять интеграл было труднее, нежели нырнуть под канат и получить хук в челюсть. И Вова покинул нас, чтобы стать в институте Лесгафта военно-морским физруком. И на многие годы я потерял его из вида, чтобы теперь вместе пересечь экватор и отметить традиционный моряцкий праздник.

Суть праздника в том, чтобы перемазать в ядовитой грязи — смеси тавота, мазута, графита, смолы — по возможности всех мореходов. Не только новичков. Даже если ты двадцать раз пересек экватор, но не имеешь при себе «диплома», твои дела плохи. Старик боцман, которому давно наплевать на высокочастотные радионизлучения, который идет в последний перед пенсией рейс, который бесчисленное количество раз видел экватор в гробу в белых, синих и розовых тапочках, был схвачен опричниками Нептуна, измазан и брошен в бассейн. Старик грипповал, принес как выкуп бутылку «Ркацители», но матросы на него были злы, он пилил их ежеминутно, вел с ними одинокую борьбу, как вел ее Рикки против всех змей в под-

вале большого дома, и матросы свели счеты, не скрывая злорадства. Вероятно, в этом кроется старинный смысл праздника Нептуна — чтобы экипаж мог выпустить из себя пар, накопившийся в многолетнем плавании под парусами. В Японии и сейчас некоторые компании отводят на заводах специальное помещение, в котором висит портрет директора. Рабочим разрешается на этот портрет плевать и тушить о него окурки. Затем повеселевшие и душевно отдохнувшие рабочие возвращаются к станкам.

Нептуном был рефрижераторный механик. Он оказался отличным актером. Борода из манилы и здоровенные бицепсы — муж царственной наружности. В руках у рефа было пневматическое ружье для подводной охоты с трезубой острой. Вряд ли рефрижераторный механик сознавал, что древний трезубец Нептуна и есть как раз не символ могущества, а обыкновенное орудие добывания рыбы, не изменившее своей формы за тысячи и тысячи лет.

Нептун сидел на троне на крышке первого трюма. У его ног расположилась Русалка — дневальная Виала, покрытая толстым слоем чешуи, то есть серебрина, которым она была выкрашена по самую шею. Натуральные кораллы украшали ее рыжие волосы.

В свиту Нептуна входит Брადобрей. Его снаряжение — здоровенный пук пакли на деревяшке и огромная фанерная бритва. Бочка с мыльным раствором стоит у ног. Секретарь бога использует для своей деятельности печать, сделанную из куска автомобильной покрышки. Печать ставится на филейную часть жертвы. Самый симпатичный помощник бога — Виночерпий. Изображал его четвертый штурман Коля Автушков. Красный нос из пенопласта сообщал Колиному лицу особенное добродушие. Тело Виночерпия было расписано такими лозунгами, которые мы приводить не будем, чтобы вам не захотелось выпить.

Самые колоритные в свите — черти. Они же дикари. Они же опричники. На их долю выпадает вредная работа — измазывать в ядовитой грязи жертвы, тащить эти жертвы к бассейну, раскочивать и отправлять в воду головой вперед. Чтобы не робеть перед начальством или друзьями, чертям по традиции разрешается немного тпнуть еще до процедуры. Сами они измазаны черной дрянью совершенно безжалостно, теряя им нечего. Костюм черта сделан по образцу дикарских — юбочка из пеньковых каболок, рожки и свисающий из-под юбки

хвост. Хвост — главное оружие чертей. Это добротный кусок троса с репкой на конце. Войдя в ажиотаж, черти хватают хвост в правую руку, раскручивают его и лупят непокорных или малоподвижных.

Судно сбавляет ход, потому что отнюдь не жарко, а торжество происходит на носу, где встречный ветер особенно силен.

Капитан надевает парадную форму, является с судовой ролью — списком экипажа — и отдает Нептуну рапорт. Делает это капитан серьезно, даже с волнением. Возможно, сказывается отсутствие привычки к сценическому действу, а возможно, какие-то древние инстинкты вдруг просыпаются в человеке, когда он произносит вслух слова, смиренные и почтительные слова, — просьбу к Океану быть милосердным и не чинить лишних невзгод и опасностей в дальней дороге. Слушая капитана, Нептун сурово хмурится, Брандубрей точит бритву, Секретарь мажет печать суриком, черти крутят хвостами, на черных рожах чертей зловеще сверкают зубы, а Русалка хихикает вполне бессмысленно, так же как она это делает на тропинке Рака, Козерога или Полярном круге.

Затем капитан удаляется.

Жертвы с деланным весельем поднимаются на лобное место, где их хватают черти, ставят на карачки, и в таком виде они ползут к Нептуну. Бог определяет количество грязи, соответствующее грехам жертвы. Нептун и черти быстро входят в образ и оказываются нелюбезно суровыми. Власть есть власть. И даже ее анекдотическое присвоение ударяет в головы.

Измазанный грязью мореход попадает к Брандубрею и получает на голову ковш мыльного раствора. Затем морехода волокут к бассейну. Затем выуживают из бассейна и опять волокут к Нептуну. Нептун прощает ему грехи, разрешает пересечь экватор, а на зад посвященному ставится Секретарем печать с названием судна. Особенный восторг вызывает заключительный акт, когда печатают женщин. Здесь фотоаппараты работают с повышенной нагрузкой.

Измученному, измазанному, истисканному и ошалевшему мореходу для успокоения нервов Виночерпий наливает кружку сухого вина.

Вообще-то в процедуре есть нечто пиратское, жестокое, оставшееся от тех времен, когда такая безобразная игра казалась после тягот корабельной жизни, солонины, крови и мозолей веселой шуткой.

Пощады к себе я не ждал. А чтобы исключить даже возможность ее, явился к Нептуну с бутылкой молока, завернутой в десяток бумажек. Я неторопливо разворачивал бумажку за бумажкой. Реф и черти на какое-то время поверили, что Викторыч сейчас откупится от экзекуции бутылью коньяка. Хвосты чертей повисли, могучая челюсть рефа тоже повисла, тишина сгустилась в смолу. Чайки, планирующие вокруг судна, скосили на меня удивленные глаза.

Молоко вызвало ядерный взрыв. Где кончились фонтаны грязи, где была соленая вода бассейна, где было небо и где палуба — я отличить уже не мог.

Больше часа просидел потом под горячим душем, оттирая себя каустиком, стиральным порошком и всякими другими химикалиями. Рубашку пришлось выкинуть за борт — спасти ее оказалось невозможным.

В душевую доносились слабые крики старпома: «Туши фонари!... Сволочи!.. Невозможно работать!..» Его волокли на дыбу.

Я тер себя каустиком и наблюдал за поведением воды, вытекающей в шпигат. Где-то когда-то я читал, что направления водяной воронки в северном и южном полушариях противоположны. Мне хотелось засечь момент смены вращений. Но несмотря на черный цвет воды и идеальные условия наблюдения, я ничего особенного обнаружить не смог. Возможно, виноват в этом был сам я, потому что последним определял координаты по Солнцу. И если я ошибся в широте, то экватор мы пересекли не на экваторе, а черт его знает где.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ ВОЗЛЕ ОТМЕЛИ ЭТУАЛЬ

Возле южной оконечности Мадагаскара на отмели Этуаль течения крутились, как весенние кошки.

Нотр-Дам-де-ла-Рут.

Теплый дождь и дурная видимость.

Погода была точно такая, как два года назад, когда я мок под дождем в Париже у могилы Неизвестного солдата. Вот уж когда не мог предполагать, что судьба занесет на отмель Звезды к югу от Мадагаскара и я всю ночную вахту буду испытывать неуверенность в месте судна, обсервации будут прыгать, течения поволокут к Нотр-Дам-де-ла-Рут и даже десяти градусов на снос

окажется мало. И капитан будет серьезно болен. (Он все-таки поднялся в рубку — в трусах, синий страшный шрам после операции аппендицита — и спросил тихо: «Вы здесь когда-нибудь уже плавали?» — «Нет». — «Очень хорошо. Тогда будете смотреть в оба. Если бы здесь болтались много раз, я бы не решился уйти в каюту. Спокойной вахты!» — и ушел. Превосходное знание штурманской психологии!)

И я остался тет-а-тет с отмелью Этуаль на Дороге Нашей Великой Девы — так я перевел «Нотр-Дам-де-ла-Рут». И, несмотря на тревожную вахту, Париж не оставлял меня ни на минуту. На ленте эхографа перо чертило и глубины под килем, и контур собора Нотр-Дам...

...Шуршал ночной дождь по кустам и деревьям на островке посередине Сены. Светили вверх прожектора подсветки. Корчились химеры, олицетворяя зло мира. Сена текла черная. Огромные двери собора были закрыты.

Соборная тишина и шаги полицейского в черной накидке.

Не помню, о чем думалось. Помню, что одиночество было уже на грани возможного. Правда, в чужом городе всегда одиноко. Даже днем на базаре.

Потом я перешел мост и возле какого-то правительственного здания увидел разъезд гостей. Дамы в вечерних туалетах садились в машины, подбирая шлейфы длинных платьев. И мужчины во фраках под дождем. И полицейские у каждой машины. И от всего — запахом «Кошки под дождем» Хемингуэя...

На следующий день я встретился с французской писательницей русского происхождения. Здесь ее звали без отчества — просто Натали.

Изящная пожилая женщина шла со мной рядом по улицам Парижа. Как и в Ленинграде, она была без шляпы — седые волосы и поднятый воротник плаща. И мне было грустно, что сейчас наша встреча закончится. И что, быть может, мне только кажется, что Натали отнесется ко мне хорошо, что ей хотелось встретиться. И что она просто-напросто отплачивает долг гостеприимства.

Мы шли какой-то узкой улицей, названия которой я не запомнил, но это где-то между площадью Иены и станцией метро «Георг V».

Натали сказала, остановившись и улыбаясь смущенно: — Видите маленькие окна чердаков? Вот этот высокий дом... Здесь сидели последние немцы, в больших чи-

нах... Париж уже был свободен, они отстреливались... Муж был офицером Сопротивления... Мы были здесь, внизу... Наконец немцы сдались и спустились вниз, они вышли из той парадной... Муж велел мне перевести по-немецки: «Станьте к стенке!» Муж боялся, что они что-нибудь еще выкинут... У меня была винтовка. Я сказала мужу: «Возьми у меня винтовку!» Он спросил: «Зачем?» Я сказала: «Я выстрелю в них, если ты не возьмешь у меня винтовку. Я не выдержу и выстрелю». Муж сказал: «Они сдались, нельзя стрелять». Но он взял у меня винтовку...

Мы пошли дальше, со страхом перед машинами пересекли какое-то авеню. И я все-таки взял Натали под руку. Не так для того, чтобы оберегать женщину от машин на сложном перекрестке, а скорее чтобы самому почувствовать больше уверенности.

Несколько лет тому назад я водил Натали по Ленинграду, рассказывая ей о блокаде. Она все говорила: «Ужасно! Это невозможно! Ужасно!» И я так же держал ее худенький локоть в руке. Я никогда не мог представить ее с винтовкой. Мне в ум не приходило, что Натали может стрелять из винтовки.

Мы пошли дальше, но вместо того чтобы расспросить Натали о ее прошлом, как это сделал бы любой нормальный человек, я только спросил:

— Вы напишете об этом?

— Нет, — сказала она с полной уверенностью. — Я пишу совсем иное и о другом.

— Я знаю, что вы пишете нечто модерное или авангардное. Но люди умирают. И другие люди должны знать о прошлом, молодые люди. Я не о романе говорю. Я думаю, вам надо не написать, а записать то, чему вы были свидетель и участник. Как летописец. Без всякой абстракции. Мне кажется, вы даже обязаны это сделать. Это ваш долг.

Она взглянула на меня с удивлением. Ей в голову не приходило, что она что-то «должна».

— Вы должны записать все — время дня, улицу, номер дома, ваше состояние, слова вашего мужа. Это будет очень важно тем, кто будет жить после вас. Простите бога ради, что я так бесцеремонно говорю с вами.

Она ответила не сразу, ответ был обдуман. Натали сказала:

— Я не сумею.

Тут не могло быть речи о кокетстве.

— Вы все-таки пообедайте, — сказала еще Натали. — Вы много выпили виски, и вам надо поесть, а я вас так и не покормила. Я теперь буду мучиться.

Это было очень по-русски, было трогательно.

Но вот я думал и думаю сейчас: что стоит за этим «не сумею»? Высшая скромность художника, который понимает, что отобразить на бумаге истинный кусок жизни не может никто, кроме, быть может, самого бога? Или неверие в то, что истинный кусочек жизни имеет какой-либо смысл, если он не введен в сложный ряд абстракции и мифов?

Иногда кажется, что авангардизм, и в том числе «новый роман», «театр абсурда» и т. д., есть проявление слабости художника перед самим собой. Если считать искренность главным условием художественной глубины и ценности произведения искусства, то от художника требуется исповедь, требуется бестрепетное заглядывание в себя самого, в свое самое интимное нутро, в самый центр противоречий своих мыслей, в самое слабое место души. Но только гении преодолевали в себе то чувство зависимости от чужого мнения, которое мешает среднему художнику написать исповедь, как писал ее Руссо, Толстой, Достоевский. Модернист не имеет сил показать свою исповедь людям, но он, как любой художник, невыносимо хочет этого, понимает — в этом главное в творчестве, но не может. И он выдумывает новые формы самопоказа. Не обычные слова, которыми гениальные реалисты показывали глубину и наготу своих душ, мыслей, а нечто символическое, вторичное. Он не может быть нагим, ему, как Адаму и Еве, уже необходима набедренная повязка. Он тот грешный человек, который не может не стыдиться бога, ибо откусил яблока. Но что же тогда получается — что право на реализм остается только за гениями? А куда остальным — в «новый роман»?

Еще в пятьдесят шестом Саррот писала в произведении с символическим названием «Эра подозрений»: «Поскольку ныне речь уже идет не о бесконечном продолжении списка литературных типов, а о том, чтобы показать сосуществование противоречивейших чувств и отразить в границах возможного богатство и сложность душевной жизни, писатель совершенно открыто говорит о самом себе».

Наш Лермонтов подшутил над последующими поко-

лениями русских литераторов зло. Беззубые шутки ему не удавались.

Словосочетание «герой нашего времени» взято Лермонтовым со знаком минус. Когда мы употребляем это словосочетание в свое время, то ставим перед ним плюс. Однако в память любого читающего человека Печорин вписан гениальной рукой. Язвительная разочарованность могучего ума из тьмы прошлого века бьет нашему положительному герою под дых, требуя от него саморазоблачений и скептического к самому себе отношения. И не только в социально-общественном смысле, но и в житейских вопросах, и в любовных делах.

Лермонтов подшутил над нами зло еще и потому, что, как бы он ни размежевывался со своим героем, они, надо признаться, похожи. Писатель, ставя перед своим героем минус, естественно, не боялся кое в чем скрестить героя со своей персоной. Если бы герой был положительен, то было бы неприлично давать даже намек на возможность общего с ним у автора.

Даже потерявшие всякий стыд литераторы, как бы глупы они ни были, не решатся показать себя в облике положительного героя своего времени.

Нам остается искать положительного героя в окружающей среде. Мы и посметь не смеем искать его в себе самом. Не говорю уже о том, чтобы найти его в себе.

Отсюда лень и робость в изучении себя — обыкновенного себя. Не строителя атомной электростанции, не доярки-ударницы, не космонавта даже, а себя — рядового литератора.

Но это не значит, что мы не пишем подробных воспоминаний о себе самих. Не значит, что мы не фиксируем каждый свой шаг в путевых записках. Не значит, что мы не суем «я» в интервью или литературные анкеты. Нет, все это мы проделываем замечательно... но без самоисследований, без обнажения минусов, без попытки типизировать, соотносить себя с типическим характером в типических обстоятельствах. И все это только по одной причине — из скромности...

Парадокс, мне кажется, в том, что объективно «изучиться» неизмеримо труднее, нежели изучить со стороны маниакального убийцу. Почему? Потому что о себе самом запрещено фантазировать.

Опытный и порядочный судья понимает преступника и мотивы преступления лучше, чем сам преступник.

Хороший прокурор зачастую видит больше смягчающих обстоятельств, чем адвокат.

Почему пишешь?.. Любовь к себе? Честолюбие? Желание доставить хорошим людям удовольствие? Желание, чтобы тебя полюбили и любили? Нестерпимость стремления поделиться близостью к истине? Сознание того, что сложность вопроса одному не под силу? От избытка радости? От чрезмерности горечи? По приказу искренности? По ее гену? Вот о чем я спрашивал себя глухой ночью возле южной оконечности Мадагаскара на отмели Этуаль, где течения крутятся и вертятся, как весенние кошки, а в их черной глубине тихо спят уставшие кашалоты.

Итак, сегодня мы считаем старомодным прикрывать свою подлинную душу какими-то литературными типами, то есть Дон-Кихотами, Наташами Ростовыми или мадами Бовари. Но и свои исподние алогичности и нежность выставить напоказ нам не хватает духа и талантов. И тогда мы изобретаем «новый роман». Или ищем не в своей душе, а в личном деле, то есть в документе.

Но документальная проза всех видов (включая путевую) есть некоторое подобие обыкновенной литературно-критической статьи. Вы листаете страницы своей или чужой жизни и пишете по поводу прочитанного. Вы не создаете образных характеров, но только пересказываете их с большим или меньшим успехом. Как и в трудах литературных критиков, вы не создаете новый мир. И потому не следует забывать слова Льва Толстого: «В умной критике искусства все правда, но не ВСЯ правда, а искусство потому только искусство, что оно ВСЕ». В документе нет ВСЕЙ правды. Документальная проза и путевые заметки — весьма подозрительная форма искусства. Высокое, как это ни прискорбно, предполагает вымысел, вернее, использование фантазии.

Никто не знает, почему человек, обливаясь над заведомым вымыслом слезами, получает от этого высокое наслаждение. А без читательского наслаждения нет художественной литературы.

Облиться слезами над твоей собственной судьбой читатель почему-то не способен, даже если очень тебе сочувствует.

И вот тут поймешь, что без вымысла в рассказе о своей и чужих судьбах не обойтись. Никак при этом не хочу умалить роль автора документальной прозы. Документ молчит без автора-художника. Это автор открывает доку-

менту рот. И тогда документ кричит и способен даже потрясать. (Ведь когда преступник на суде рассказывает все без утайки, потрясает даже судей исповедью, не следует забывать о следователе, который помог открыть ему рот.)

И все-таки документы или описания путешествий воровать можно. Попробуйте украсть Мисюсы!

Несколько слов о сложностях писательства для профессиональных моряков.

Великий Данте жил в расцвет парусного мореплавания и глубоко чтит высокое искусство парусного маневрирования.

«Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта — идти против ветра, идя по нему», — так написал Мандельштам. И еще заметил, что Данте не любил прямых ответов и прятался за спину или маску Вергилия.

Понятие «лабиринт» в человеческих отношениях имеет налет несимпатичный. Такой же налет имеет «сменить галс», когда дело идет о линии человеческого поведения.

Моряки знают, что в этих понятиях, которые являются синонимами, нет ничего плохого.

Думаю, что нелюбовь Данте к прямым ответам, если она была, никак не может являться следствием его увлечения парусом и вообще мореплаванием. Море требует прямых вопросов и прямых ответов. Способность к быстрым решениям — одно из основных качеств хорошего судоводителя. Характерным в большинстве случаев на море является еще то, что результат решения, его следствие, бывает наглядным и наступает быстро.

Моряки — плохие философы. Если рефлектирующий Гамлет уйдет в океан, он перестанет мучиться проблемой «быть или не быть».

Может, Гамлет будет слишком ждать возвращения к конкретной земле, чтобы заниматься отвлеченными вопросами?

Почему морские рассказы так легко превращаются в «травлю» и так легко забываются? Вероятно, потому, что в «травле» чересчур много выдумки, то есть лжи. А откуда она? Ведь основная штурманская, судоводительская заповедь: «Пиши, что наблюдаешь!» И эта заповедь въедается в морское нутро: никогда не писать в журнал того, чего не наблюдаешь; всегда писать даже то, что

кажется невероятным, если это невероятное наблюдается. (Случаи заведомой «липы» не рассматриваются.)

Писание, как и судовождение, тоже серия решений, но процесс медлительный, результат его всегда остается за горизонтом, и о быстрой проверке правильности посылок не может быть и речи, как показывает мне собственный опыт. Необходимость для писательской и морской профессии прямо противоположных черт характера является, может быть, причиной того, что пишут моряки чертовски много, но значительных писателей из этой среды вышло мало.

Однако это не значит, что судно, корабль не культивирует в человеке черт, необходимых художнику. И парус, и железо требуют от экипажа тщательных, аккуратных, монотонных, предусмотрительных забот — иначе всех ждет гибель. Длительные заботы мы способны вынести только в том случае, если привязаны к предмету забот не за страх, а за совесть и любим его взыскательно.

Черты характера людей моря наглядно отразились в облике портовых городов. В сложном искусстве архитектуры, где гармония поверяется не только алгеброй, но и геометрией, дух людей моря проявляется отчетливо. От мачт и рей — строгость ленинградских проспектов и набережных.

Даже высота потолков имеет истоки в судовой архитектуре. Петр, например, был моряком и привык к низким подволокам кают. На земле ему хотелось или привычно низкого подволока, или очень большой, небесной свободы над головой.

Любое мореплавание — и парусное, и нынешнее — древнейшая профессия и древнейшее искусство. Оно умрет еще не скоро, но оно стареет уже давно. Все стареющие профессии и искусства, как уводимые на переплавку пароходы, хранят в себе нечто приподнимающее наш дух над буднями. Но передать это словами — безнадежная затея. Такая же, как попытка спеть лебединую песню морской профессии, не поэтизируя ее старины, хотя старина эта полна ограниченности и жестокости. Моряк слушает не «голос моря», а шум воды в фановой магистрали своего судна. Судоводитель обязан думать и думает о нормальном, безаварийном возвращении, и эти мысли занимают в его мозгу то место, которое способно философствовать.

Психика же некоторых читателей и критиков устроена так, что поверить в возможность для писателя неписа-

тельской, но профессиональной работы на каком-нибудь современном производстве они ни под каким соусом не могут. И если писатель в море работает всю свою жизнь, они все равно считают, что он там путешествует. И сравнивают его писания с «Римом, Неаполем и Флоренцией» Стендаля или «Бродячей жизнью» Мопассана. От такого сравнения бедняге остается один путь — за борт. А кто же в таком случае за утопленника будет вахту стоять?

Вышли на Брабант — юго-западный мыс острова Маврикий. Опознали его по отдельно торчащей горе Тэ-Морн.

Я так много думал о китах последнее время, что мыс и гора мне показались огромным хвостом окаменевшего нарвала.

Древние вулканы, базальт, лава. Черная тяжесть в окружении — бело-голубоватых разбитых волн — слабого прибоя, бурунов и взбросов на барьерных коралловых рифах.

Приятно брать пеленга по близким ориентирам, ощущать свое движение через неподвижность берегов, через изменение ракурса гор и мысов; заглядывать в щели открывающихся долин, угадывать змейку речки, ожидать очередной маяк, или створ, или отдельное строение — какую-нибудь сушильню, фабричку, сарай, форт. И хорошо знать, что чужая земля не просто мелькнет мимо, но примет в гости.

Когда позади океан, а впереди порт, хочется надеть галстук. Есть праздник, вернее, начало праздника. Середины и конца праздника не будет — все окажется будничным. И знаешь об этом, но начало праздника с тобой. И говоришь морской судьбе: спасибо.

Вечернее солнце. Лучи ласково скользят по волнам. Над зазубренной гривой базальтов — розовые легчайшие облачка. И красные в вечерних лучах пальмы, склонившиеся под напором ветренных ласк и оплеух.

Раньше людей здесь вообще не было, жили дронты — уродливые, жирные, пешие птицы с лысой головой. Их перебили транзитные моряки, сперва окрестив кличкой «додо», что по-португальски значит «простак». Занятно, что наш царь Додон в народном представлении человек нескладный, несурзанный.

Какой-то местный простак прославил Маврикий на весь свет, перепутав надпись на почтовой марке.

Два «Маврикия» из двадцати трех имел командир «Варяга» Руднев. Он с марками, очевидно, не расставался. И они погибли вместе с «Варягом».

Еще я знал, что здесь одно время жил Шарль Бодлер.

Лоция была скупа. Вывозят патоку, сахар, алоэ, чай. Ввозят генгрузы. Купаться в пределах порта опасно, так как много акул. Артелка на время стоянки опечатывается. Наибольшей силы приливо-отливные течения достигаются спустя два дня после новолуний и полнолуний. Стояния вод не наблюдается вовсе. С ноября по май свирепствуют тропические циклоны. Капитан порта предупреждает о невозможности оказать помощь судну до окончания шторма в период циклонов. При стоянке на якоре во внутренней бухте рекомендуется обязательно использовать цепь, так как якорный канат перетирается кораллами за двое суток.

Мы стали на два якоря и бочку. Мои кормовые концы на бочку заводили маврикийцы. Они гребли, стоя по четыре человека в маленьких лодках. Лоцман оказался черным. Белые гетры, шорты и форменная тужурка. Молчаливый и уверенный лоцман. Он хорошо и быстро положил якоря. И сразу я пошел спать. Впервые за полтора месяца предстояло проспать всю ночь по-человечески, то есть лечь вечером и встать утром.

Проснулся в шесть.

Сиреневый штиль окружал судно и заполнял каюту — окна у меня были открыты. Из-за вершин гор, причудливый силуэт которых мог бы прийти в голову только великому абстракционисту, поднималось солнце. Оно раскалило до алого цвета треугольник неба, вернее туч, между двумя вершинами. А остальное небо было в лиловой туманной мгле. Вода возле желтого песка низкого берега была бледной, едва голубой. На фоне раскаленного треугольника по склонам гор, образующих его, угольно чернели деревья. В двухстах метрах за окном каюты молчал каменный старинный форт. Его приземистые бастионы скрашивало несколько пальм. Правее, за гаванью, в которой двумя кильватерными колоннами стояли распяленные на бочках и якорях суда, виднелись крыши Порт-Луи. Выделялось белое здание храма с большой статуей посередине. Серая крепость и католический собор.

Я покурил, пытаюсь воскресить воображением пеших

жирных птиц с лысыми головами на этих берегах. И услышать голоса матросни, хохот и удары палок по лысым головам простаков. Те морячки давно и бесследно исчезли. А простецкая птица осталась, взойдя на флаг Маврикия.

Потом я нарушил покой «Эрики» — отпечатал письмо нашему послу на острове Василию Алексеевичу Рославцеву. У меня было поручение от Ленинградской Публичной библиотеки: разыскать здесь нескольких издателей, получающих советскую периодику и ничего уже несколько лет не присылающих взамен. Я не верил в свои деловые способности. Просто надеялся войти таким путем в контакт с послом и использовать контакт для чего-нибудь интересного. Как говорится, в сугубо личных целях.

Над головой загремела шлюпочная лебедка. В скрипе блоков поехал мимо окон на воду вельбот. В нем восседал старый товарищ Вова Перепелкин. Оказалось, он отправляется на берег с благотворительной и просветительской целью. На острове Маврикия находились артисты Мосгосконцерта. Они прибыли в Порт-Луи из какой-то африканской страны, где подцепили непонятную болезнь. Вова вез артистам антибиотики. И должен был договориться об автобусе, чтобы развлечь экипаж экскурсией на концерт. Стоило приплыть на южный край света, чтобы посмотреть жонглеров с шарами из московской эстрады. И я составил старому другу компанию. Сунул в задний карман джинсов сто двадцать рупий, защитил глаза очками и слез в вельбот.

Вельбот бежал сквозь утреннюю свежесть мимо тяжелых грузовых судов. Неизменные «мару», неизменные англичане, огромный американец, обвешанный гроздьями потомков черных рабов, шкрябающих с бортов ржавчину. Низкие баржи, из которых судовые стрелы черпали связки мешков с сахаром. Чайки, украшающие швартовые бочки и якорные цепи. И чем ближе к причалу, тем выше вспухает в небесах уродливый бугор горы Питер-Бот.

И с раздражением я поймал себя на том, что вчерашнее предчувствие праздника от общения с экзотической землей уже исчезло. Что за черт! Неужели я безнадежно постарел? Или все дело в моем старом друге, общество которого мне несимпатично, но неизбежно?

Красоты на берегу не оказалось. Масса полудохлых собак в лишаих и пролежнях глядела такими голодными глазами, что становилось тошно. Оборванцы-мальчишки

приставали с просьбой купить мороженое. Они таскали его в самодельных бидонах из мятой жести. Воню несло с крытого рынка. Даже рекламные плакаты в витрине аэроагентства были пыльные и старые. Редкие таксеры притормаживали, чутьем узнавая в нас иностранных моряков, и долго, безнадежно, жалобно гудели. Магазины были закрыты по случаю воскресенья. Негр-полицейский не мог уразуметь таких простых слов, как «отель» или «турист». Вдоль тротуаров текли мелкие ручейки грязной жидкости. И — ни одного белого. Только индийцы, китайцы, креолы, японцы, негры. Белые живут за городом и в воскресенье не появляются здесь вовсе. В будни их еще можно встретить, но главным образом возле зданий банков.

Отель «Турист» напоминал караван-сарай. Темный сырой вход, обшарпанные стены. На застекленных верандах валялись затоптанные бумажные ленты, конфетти и бумажные цветы. Бумажные цветы на острове Маврикий!

Мы поднимались этаж за этажом, не встречая ни жильцов, ни обслуги, и наконец вышли на крышу. Она была плоской. По периметру стояли клетки, в клетках сидели унылые куры. Гора мутных бутылок. Сделанный из бочки таганок. Умывальник. И старый японец или китаец, размазывающий грязь по тарелкам. Китаец и ухом не повел в нашу сторону.

За китайцем и курами блистал под солнцем Индийский океан. Видно было узкое горло гавани, и торчали «рога» нашего «Невеля».

Пока я философствовал, решая для себя старый вопрос о том, стоит ли плыть вокруг света, чтобы сосчитать кошек на Занзибаре или унылых кур в Порт-Луи, из надстройки на крыше вышел молодой мужчина, индеец, и заговорил с нами на некотором подобии русского языка. Кажется, он хотел поделиться древней индийской мудростью, объяснить, что в воде мира встречаются и лотосы, и крокодилы.

Он был кем-то вроде морского агента, но без всякого официального статуса. Довольно подозрительный тип и сквалыга по имени Ромул.

— Почему так грязно? — спросил я.

— Свадьба была.

— А где все люди?

— Рано.

Сверили часы. Наше время было больше местного.

Пошли будить артистов. Так уж устроены люди, что если встречаешь артистов, то начинаешь искать среди них прелестную незнакомку. Вместо прелестной незнакомки на втором этаже встретили двух соотечественников, голых по пояс, с полотенцами через плечо, с не по-мужски жирными грудями, с кулонами-медальончиками из поддельного золота.

— Привет! Где ваши больные?

Больные — то ли акробаты, то ли плясуны — спали в пятиместном номере. Московский рафинад в синих пакетах, родная сгущенка и колбаса твердого копчения валялись на столе среди рубашек. Милый артистический богемный беспорядок. Экономия валюты на самоснабжении. Когда я встречаю за границей соотечественников со своим сахаром и колбасой твердого копчения, мне хочется раскраснеть им физиономии.

Артисты Госконцерта протирали глаза и почесывали сыпь, подхваченную в Уганде или Конго.

— Как дела, как план, ребята?

Дела и план были плохими, горели голубым огнем, во всем была виновата реклама, то есть отсутствие рекламы. Днем им предстояло выступление в курортном местечке Курепипе, а билеты никто не покупал. Мы должны были поддержать соотечественников своими аплодисментами. Они не в состоянии были понять, что в здешних местах яд змеи от молока делается только сильнее.

Наш проводник взялся устроить автобус за шестьсот рупий. Безобразно большая цена. Чтобы давить на советскую психику, агент без официального статуса нацепил на пиджак значок с силуэтом Ленина. Как я потом обнаружил, обслуживая американцев, он заменял этот значок портретиком Никсона. Такие хамелеоны обнаруживаются во всех портах. Бизнес не имеет морали. Пятидесятилетний стивидор в Дакаре выдавал себя за комсомольца. Так он думал сделать нам приятное, а себе полезное...

Мы оставили артистов готовиться к концерту, а сами вернулись в порт, чтобы успеть позавтракать на судне. Пока ждали вельбот, наблюдали две сценки. На пристани в кружке любопытных пожилой китаец совал клешню здорового краба в рот рыбе-шару. Рыба была еще жива. Это уродливое создание раздулось, ощеренная пасть хватала воздух здоровенными зубами. Краб пытался бежать, его ловили и опять засовывали клешню в рыбу. Развлекались так сампанчики, то есть лодочки. Они ждали на пристани моряков с судов, стоящих в гавани.

И дождались. Подъехало такси, из него вылез образцово-показательный американец. Рост — два метра, в плечах метр, подбородок — как носок модного тупого ботинка, веснушки на красноватом загаре. И сильно, застожно пьян. Он, вероятно, возвращался от местной красотки, где провел ночь. Сунул шоферу деньги и пошел к джонкам противолодочным зигзагом. Щуплый таксер-маврикийец пересчитал деньги и посеменял за ним. Видно, американец ему недодал. Маврикийец заорал на всю гавань, и два полицейских вышли из здания таможни. Сампанчики прекратили стравливать краба с рыбой и побежали, как я думал, на помощь шоферу. Американец остановился, прикурил от зажигалки сигарету, спрятал зажигалку, взял левой рукой маврикийца за шею, а правой шесть раз хлестнул его по физиономии — ладонью и тыльной стороной кисти, слева направо и справа налево. Кулаком он не бил. От одного удара от маврикийца осталось бы мокрое место. Полицейские повернулись на каблуках и скрылись в таможне. Сампанчики попрыгали в свои сампаны, или донки, или по-французски «шалюп», или беспалубные лодки, или черт знает что, и каждый зазывал к себе американца.

Тот выбрал самую большую, развалился на корме и пыхнул сигаретой.

Шофер спустился к воде и сполоснул лицо.

Джонка с американцем удалялась к огромному сухогрузу, обвешанному гроздьями бывших черных рабов, шкрябающих с его бортов ржавчину. Лодочник в джонке махал веслами изо всех сил. Остальные с завистью глядели вслед.

Ромул объяснил, что после удачного полета на Луну американцы опять очень распустились. Одно время они вели себя скромнее. Но вообще-то шофер даже доволен. Видишь, он сел и сидит. Он ждет. Янки даст шаландо много мани. Шаландо даст такси.

Обидно было, что два десятка маврикийцев не разбили морду одному американцу.

— Баркас, шаландо, — повторил агент с презрением. Он обзывал лодочников «плашкоутными матросами».

Вероятно, им было трудно сговориться между собой потому, что на Маврикии официальный язык — английский, французским пользуются в семейном кругу, на улице обычно употребляется креольский, кроме того, здесь говорят на хинди, урду, телугу, маратхи, гуджарати и на

китайском. Нынче главная задача всех этих ребят найти общий язык — маврикийский... И они его найдут!

Курепипе — местечко в самом центре острова. Ведет туда хорошее шоссе среди плантаций сахарного тростника, маниоки и кукурузы.

Редкие машины. Куцые пальмы. Жухлые газоны посередине шоссе. И развлекательные туристские названия: «Прекрасный бассейн», «Ферма роз», «Феникс», «Триано», «Семь каскадов»...

Вдруг Вова хлопнул себя по лбу: цветы! Артистам положено преподносить цветы! Переговоры с шофером автобуса повел я. Главной помощницей в переговорах выступала героиня «Саги о Форсайтах». Я склонял Флер на все лады. Выяснилось, что цветы можно купить только на кладбище, ибо был самый некурортный месяц некурортного сезона.

— Пускай едет на кладбище, — решил Вова. Он уже видел себя на сцене с букетом в руках, среди артистов и вспышек блицев.

— Вова, — спросил я старого друга. — Изучал ты в университете французскую литературу?

— Конечно.

— Слышал ты имя Шарля Бодлера?

— Ты сказал, чтобы он остановился на кладбище?

— Да, Вова. Но дарить артистам цветы тьмы — это слишком мрачная шутка. Как бы они здесь все потом не передохли от какой-нибудь заразы.

— Они же не будут знать, где мы купили цветы.

— Я не удержусь, Вова. Я им скажу.

— Попробуй! — пригрозил он мне гнусаво-плачущим голосом.

Автобус свернул с шоссе на проселок. Экзотические деревья зашуршали по крыше. Двадцать суровых морских волков и членов космической экспедиции заколыхались на ухабах и завертели головами. Кресты и надгробья обступили автобус. Мы остановились.

Черт знает, но я потерял юмор. Тени голодных собак, запах гниющего мяса возле рынка, унылые куры на крыше гостиницы, сыпь на артистах, сдыхающая с клешней краба в пасти рыба, американский моряк, отхлеставший хилого таксера, и — кладбищенские цветы.

Мы вышли из автобуса. И пока Вова торговал у индийцев погребальный веночек, а потом распуская веночек

и собирал из него букетики, я прогулялся по кладбищу, потому что меня всегда тянет к именам и датам на плитах, к могильному отчуждению и тишине.

История острова была записана здесь.

Под метровым слоем чернозема и крепкой красной глины спали обюрократившиеся пираты, католические монахи, авантюристы и колонизаторы типа Шарля Гранде, незаконные детишки младшего брата Бальзака, чинные школьные учителя, любовницы Бодлера с кудельками былых причесок на черепахах...

Возможно, среди этих крестов, чинной латыни надписей и дорогого мрамора родились издевательские слова поэта: «Акуле на волнах знаком спокойный сон, который наконец и я теперь увижу!»

Мне не удалось погрузиться в тишину кладбищенских теней острова Маврикия. Смерть — старый капитан — не беседует о прошлом накоротке. А мое время ограничивалось минутами, необходимыми на расплетение погребального венка и составление букетиков-бутоньерок.

В огромном гулком зале кинотеатра, где состоялся концерт, половина мест пустовала.

Акустика никуда не годилась. Трюки велосипедиста не получались, акробатка на канате трижды не смогла сделать кульбит...

Разноцветные люди в зале все-таки хлопали. Это были деликатные люди.

После антракта я не вернулся в зал.

Пейзаж вокруг был обыкновенный. Изгороди из шиповника, узкие делянки кукурузы, пахло нашей деревней.

Пока я раздумывал, пойти ли мне прогуляться или найти местечко и посидеть на маврикийском солнышке, из артистического подъезда, отряхивая пыль Мельпомены или Терпсихоры, выбрался отработавший свое артист, мужчина не первой молодости.

— Послушайте, — сказал он мне. — Надо выпить. Как вам наш концертик?

Больше всего мне хотелось узнать, кто их сюда послал. Я, как и все обыкновенные люди, думал, что за рубеж отправляются лишь самые сливки нашего искусства, звезды типа Бетельгейзе. А увидел в некотором роде кучку Плеяд.

— Тяжелый хлеб, — уклончиво сказал я. — Хотя, вероятно, вам завидуют тысяч других артистов.

— Мы устали. Черт знает какая это уже страна... И ночь не спали. Пришлось принять участие в свадьбе. Легли под утро. А сцена? Знаете, почему срывалась с каната акробатка? Свет прямо в глаза. Она не видела канат. Хорошо, спину не поломала. Три раза крутила кульбит и ничего не видела. Слушайте, вы действительно тот Конешкий, который пишет?

— Тот, — сказал я.

Можно было ответить эффектно. Например, сказать, что я тот, кто только и делает, что крутит кульбиты, не видя проволоки, ослепленный огнями рампы и красотой мира, и так далее, и тому подобное. И я вполне способен брякнуть такую пошлятину, когда встречаю своего читателя. За этой встречей следует с моей стороны полная растерянность. Мне и приятно, конечно, но больше всего хочется расстаться с читателем. Особенно если он будет хвалить твои творения, не помня ни одного.

— Делаете себе романтическую биографию? — спросил артист. — По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там?

Это уже было лучше. Когда человек после бессонной ночи хочет опохмелиться, он не способен к пустым комплиментам, ибо полон адреналиновой тоски, то есть яда.

— Какая дрянь здесь самая дешевая? — спросил я.

— Вермут, — без колебаний сказал артист. — Пойдемте, пока не видно начальства.

Мы миновали парадный вход в кинотеатр, рекламу вестерна, черных старух, продающих арахисовые орешки, несколько голодранцев, сидящих на земле в тени забора, и нашли то, что искали, — грязную забегаловку.

— Оружие сат্যাграхи или духовной силы! — сказал артист, разглядывая стопку вермута на свет. Оружие было мутным. Мы его выпили. И сразу повторили, атакуя всемирную пошлость самым простым из известных способов.

— Отправляясь в здешние края, я изучал Ганди. Он знал, что голодные и раздетые люди, миллионы таких людей в Африке и Азии, не имеют никакой религии, кроме единственной религии — удовлетворения их жизненных потребностей, — сказал артист, оживая. — Ганди считал, что не для них делаются кинокартины, показывающие, как ловко можно перерезать друг другу глотку. Я наблюдаю обратное. Миллионы голодных смотрят такие картины при малейшей возможности. А если возможности нет, то смотрят рекламу... Куда вы отсюда?

— Сперва вниз, в направлении Антарктиды, потом вверх, вероятно в Сингапур.

— Прекрасное украшение вашей биографии!

— Давайте лучше не обо мне, а о Ганди.

— Вы знаете, что в Южной Африке была организована ферма Толстого?

— Нет.

— Я тоже не знал, хотя считаю себя таким же умным, как Ганди. Знаете, почему я так считаю?

— Ну?

— И он, и я в детстве с трудом усваивали таблицу умножения. Я даже мог бы считать себя выше Ганди, если бы захотел. И считать его мировоззрение утопичным, а свое полностью научным, потому что таблица умножения давалась мне все-таки легче.

Артист принадлежал к тем людям, которые быстро достигают некоторой степени опьянения, а потом долго держат эту степень неизменной. Адреналин сбалансировался в нем, ядовитость ослабела, пробудилась мрачная поэтичность. Наличие квалифицированного слушателя поощряло к декламации. И оказалось, что Бодлер тоже бродит в нем. Он знал, что Бодлера высадил здесь когда-то капитан французского судна, раздраженный меланхолией и безразличием к окружающему этого странного юноши.

И память у артиста была профессиональная. Он помнил мое любимое «Плаванье» от киля до клотика.

Мы кружили поблизости от кинотеатра, чтобы не пропустить окончания концерта и не опоздать на автобус, разглядывая открытки в магазинчиках, и он читал мне:

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей...

Лиловые моря в венце вечерней славы,
Морские города в тиаре из лучей
Рождали в нас тоску надежнее отравы...

Бесплодна и горька наука дальних странствий,
Сегодня, как вчера, до гробовой доски —
Все наше же лицо встречает нас в пространстве...

Прекрасные стихи, которые все время бьют ниже пояса, но вместе с болью доставляют наслаждение. Полные сплина, они обновляют желание куда-то плыть. Потому что Бодлер — романтик чистой воды. А трагизм его, мне

кажется, в том, что он думал, что он единственный настоящий романтик на земле или последний из романтиков. Но последнего, вероятно, никогда не будет.

Мы очень мило провели время, хотя я получил еще много ядовитых стрел по поводу своей биографии, байронизма и бодлеризма. На стрелы я отвечал колбасой твердого копчения и московским рафинадом и просил прочитать еще одно стихотворение. Последнее действовало безотказно. Были исполнены «Альбатрос», «Человек и море», «Душа вина» и «Жалобы Икара».

Затем я спустился с небес поэзии в будни морской жизни вслед за Икаром. Во-первых, исчез куда-то матрос из моей группы, а автобус ждать не мог. Во-вторых, трое моряков не пресытились зрелищем концерта и требовали посещения кино в Порт-Луи. Оставаться и искать матроса я не стал, потому что на всякий случай назначил ребятам время и место встречи у здания почты возле главных ворот порта. По моим предположениям, потерявшийся должен был быть наказан на то количество рупий, которое с него сдерет таксер за проезд от Курепипе до Луи.

Руководитель артистов умело составил из своих подопечных, морских волков и космических бродяг группу и сфотографировал ее на фоне кукурузного поля. Потом мы пригласили артистов на судно и расстались не прощаясь.

В Луи я отконвоировал кинолюбов на трехчасовой фильм ужасов, а сам пошел поесть. Подвернулся японский пищеблэк. Внизу бар, по деревянной лестнице на второй этаж — маленький ресторанчик. Никого не было за столиками. Продавленные стулья. Голубой линолеум на полу. Две японские гравюры на стенах. Реклама кокаколы. Черные пропеллеры-вентиляторы под потолком. Китайские фонарики. Цветастые календари с голенькими, но в меру, женщинами.

Я выбрал угловой столик у окна.

Пять японцев витали в пустоте ресторанчика, молчаливые, будто немые, в белых куртках. Самый пожилой подошел ко мне с тарелкой какого-то кушанья. Я угадал на тарелке кусок осьминога. Соблазнительно было попробовать; но я не мог рисковать, потому что хотел есть. И сказал два слова: «Бифштекс. Биир». На международном морском языке это означает мясо и пиво.

В щели узкой улочки внизу мне виден спящий на земле продавец апельсинов. Улочка упиралась в буд-

дийский храм. Крытый двор храма был покрыт мрамором. Из мрамора росли удивительного спокойствия деревья. Этот храм возвышался среди грязной и нищей жизни островом неземной красоты. Розовые и голубые кружева из камня, чистая стройность колонн. Казалось, виден воздух, обвивающий храм, как прозрачное сари.

Японец принес тарелку с четырьмя ломтиками белого хлеба. Потом соусы в маленьких бутылочках — черный и красный. Потом пиво, ледяное, в большой литровой бутылке.

Пиво было голландским. Томатный соус прибыл на Маврикий из Англии. Черный, пряный — из Южно-Африканской Республики.

С бифштексом подали картошку ломтиками, чуть обжаренную. Яйцо обливало мясо. Зеленый салат и шматок помидора.

Я ел и смотрел на японцев. Двое мыли посуду. Двое увивали зеленью блюда с кушаньями черного цвета, чем-то рыбным.

Слава богу, думал я, что у них ноги нормальные, а то кусок не полез бы в глотку. Невозможно есть среди голодных, а голодных людей в Порт-Луи слишком много. Жуткое дело — женщины с ногами тоньше птичьих. Или старик на земле, обнявший изможденными руками колени, неподвижный, как труп. И сразу вспоминаешь концлагеря, скорченные тела на снегу. А светит жаркое солнце. И красота небес. И зеленые ирисы на газоне.

Среди всяких издевательских, сленговых синонимов слова «умирать» есть один особенно циничный — «согреться». Какому человеку пришло на ум так сказать о смерти?

Дай у колен твоих склониться головой,
Чтоб я, грустя во тьме о белом зное лета,
Хоть луч почувствовал — последний, но живой...

Японцы вымыли посуду, протерли полотенцами красные палочки для еды, простирнули полотенца и повесили их на решетку балкона под лучи вечеряющего солнца сушиться.

Тихо вращались вентиляторы, покачивались китайские фонарики с красными, длинными, как у драконов, хвостиками.

И вдруг понесло чем-то знакомым. Не знакомым даже, а родным. И далеко не сразу я понял, в чем дело.

За стеной радиола запела «Катюшу» на чужом языке. «Выходила на берег Катюша, на высокий на берег крутой...»

Действительно высокие и крутые берега на острове Маврикий.

И неожиданно для самого себя я заговорил с японцами в пустом ресторанчике. Я тыкал пальцем в стенку и пытался объяснить японцам, что это моя песня, черт бы их побрал, что я русский. Японцы встревожились. Они решили, что я требую музыки, а ее у них не было. Они с сожалением разводили руками и скорбно пожимали плечами.

Ай да Катюша! Куда залетела! Я курил, слушал и улыбался. Как будто родные тополя с земляного откоса канала Круштейна на острове «Новая Голландия» в Ленинграде прошелестели здесь специально для меня. Пора было идти, но очень не хотелось.

Звучали за стеной уже чужие напевы. Солнце быстро опускалось к океану, передвигая и удлиняя тени от решетки балкона. И я решил расплатиться, как только оно осветит ящики с пустыми бутылками в углу ресторанчика.

Мясо, пиво и «Катюша» подбодрили тело и душу. Мировая скорбь уступила место обостренности чувств, помечталось о необыкновенной встрече в конце пути. И я обрадовался романтическому настрою, он все реже и реже возникает, и я знаю, что его надо ценить, как луч вечернего солнца.

У кинотеатра встретил старпома.

— Туши фонари, Викторыч! В ночь снимаемся. Сменили точку и время работы. Деньги потратил?

— А что тут следует покупать?

— Все дорого. Чай, говорят, хороший. Ром и вермут — дрянь, но...

Мы зашли в первый попавшийся магазинчик, и я купил за сорок четыре рупии японский ширпотребский сервиз — грубо украшенные красными креветками и черными рыбами чашки и блюдца — на память о японском ресторанчике. Купил еще туристскую карту Маврикия за двенадцать рупий. На карте было изображено все то, чего я здесь не видел: старинные парусники, веселые дронты, меч-рыба, сундуки с золотом под пиратским черным флагом, белые девушки на водных лыжах, веселые туземцы

с фруктами на подносах, пугливые лани и аквалангисты среди кораллов.

Все это здесь, вероятно, есть. Все это я здесь увидел бы, если бы прилетел туристом. Но море хорошо и тем, что показывает обратную сторону медали.

Хотя кусочек здешнего веселья я тоже увидел.

Мы пошли за вечерней, принаряженной, разноязычной и разноцветной толпой на площадь за городом. Огромное поле окаймляют высокие пальмы, со стволами гладкими, как голенища генеральских сапог, и шумят тревожно. Дальний край поля упирается в горы. Среди гор — старинный форт, такой мрачный, как наш Чумной Кронштадтский. Памятник королю Великобритании и Ирландии, императору Индии Эдуарду Седьмому — бородатый, похожий на Александра III, болван. Вокруг Эдуарда карусели. Они крутятся быстро, кажется, их подталкивает свежий вечерний бриз. Мальчишки кидают в мишени стрелы с цветным оперением. На футбольных полях играют упорные футболисты. Толпа цветных людей смотрит на карусели. Я смотрю тоже и вдруг вижу русские буквы «Восток-4». Наш космический корабль вертится в компании с верблюдом, львом, самолетом «Эр-Франс» и ромовой бочкой.

В космическом «Востоке» три девушки-девочки, их сари трепещут на ветру. Три грации Востока сходят на грешную землю с нашего загадочного корабля. Ах, какие лица, какая нежность, прозрачность, чистота, осторожность движений! Башни-прически на головках. Из-под волос светятся туманным светом огромные глаза, и в них — все лилии и все черти мироздания. И снежные сари — снежинка к снежинке, теплая метель на прохладных телах. Кто они — индианки, японки, креолки, малайки? Особое племя, возникшее на древней дороге в Индию из Европы? Кровь туземцев с островов Индийского океана, белых мореходов, рабов и королей. Улыбнись мне одна из них, и я стал бы гениальным музыкантом или сумасшедшим поэтом. Не улыбнулись. Пощебетали, посмотрели вслед «Востоку» и пошли-поплыли под конвоем двух свирепых старых мегер.

Господи, подумал я. Неужели можно прожить здесь всю жизнь, в замкнутом, островном мирке?

Возвращаясь на судно, мы заглянули еще в католический собор Сент-Джемсис-Кафедрал. Он был полон муж-

чин в темных костюмах. Служил священник-китаец в белых одеждах. Над молящимися висел на кресте голый Христос.

Около трех часов ночи начали сниматься с якорей.

По гребню гор пробегали вспышки, потом они слились в огненную полосу. В бинокль хорошо видно было, как огненные языки завихряются в ночных тучах и ползут вниз по склонам гор.

Лоцман объяснил, что это специально жгут траву — удобряют землю пастбищ.

Тревожный огонь на горах Маврикия долго мерцал по корме.

А впереди опять был океан, и темнота, и дальняя, и дальняя дорога.

БУДНИ

07.08.69

Легли в дрейф в ожидании «работы». Океанская зыбь, маловетрие, но пахивает штормом. Скоро опять проводить с матросами занятия — устройство химкостюма. От одного предвкушения такого педагогического ампула можно заболеть чесоткой.

Под нами пять километров жидкости.

Угрюмое местечко на южной периферии Индийского океана называется Котловина Крозе. Между Западно-Индийским хребтом и Центрально-Индийским хребтом. Хребты от котловины отличаются тем, что жидкости над ними на два с половиной километра меньше.

Вчера за нами плелся американский эсминец. Его огни я видел в десяти милях. Ночью все кошки серы, и поэтому определили национальность эсминца методом исключения. В этой океанской глубинке никто нынче не плавает, кроме космических наций. Качаться в Котловине Крозе на юго-западной зыби приходится только нам или американцам.

Прохладно. В затылок дышит Антарктида.

Хорошо была слышна передача из Москвы для зимовщиков «Молодежной». Лепет детишек и грустные голоса матерей. Какими неловкими, глуповатыми эти передачи кажутся в ленинградской квартире. И как они встряхивают душу на другой стороне планеты. Детишки рассказывали папам, что собирают чернику и грибы. А здесь зима.

Что — «здесь»! От нас до Антарктиды еще далеко, далеко до льда и пурги.

Плавает поблизости огромный и, как все огромные, неторопливый зверь с острым спинным плавником. Много пятнистых буревестников.

Читаю Кука.

Будь я специалистом, занимающимся проблемой долголетия, обязательно обратил бы внимание на вдов знаменитых людей. Поражает воображение, что вдова Кука умерла только в 1835 году, пережив мужа на 56 лет! Трудно поверить, что я недавно еще видел вдову Чехова. Таких примеров слишком много, чтобы не искать в них закономерности. Нужно выделить в чистом виде гормон, который вырабатывается во вдове великого человека от горечи утраты и отблеска супружеской славы. Затем этот гормон следует вводить тем, кто только собирается стать великим, чтобы они не отдавали концов раньше времени.

Занятно сравнивать стиль записей Кука и ученого мужа, натуралиста Бенгса об одном и том же событии. Рождество 1768 года они встречали в океане: Кук: «Вчера праздновали Рождество и на корабле не было трезвых». Все. Точка. Лаконизм человека, ощущающего некоторую вину, как начальник, за безобразие на корабле, честно признающегося в этом, но без всякого удовольствия признающегося и потому старающегося признаться возможно короче. Бенгс: «...все добрые христиане, говоря по правде, напились столь чудовищно, что вряд ли ночью был хоть один трезвый человек; благо еще, что ветер был умеренный,—должно быть, господу ведомо было, в каком состоянии мы находились». То есть убрать паруса или взять рифы при шквале никто бы не смог. И это вызывает у натуралиста некоторую тревогу, но с примесью и некоторого восхищения от широты и глубины моряцкого беспутства.

В нашем издании дневников Кука допущены раздражающие ошибки. Ну, когда издатели печатают в дневниках добрых христиан с маленькой буквы «рождество» или «господь», это понятно. Преследуются цели антирелигиозной пропаганды, подрывается авторитет божества. Но когда с маленькой буквы пишется «солнце» и «луна», употребляемые Куком как имена собственные, ибо он по этой звезде и небесному телу определяется, то это наводит тень на капитана, хотя он в таком пренебрежительном невежестве по отношению к мирозданию никак не

виноват. Самый молодой и глупый штурман уже знает, когда пишется «Солнце» и когда «солнце».

У старпома умерла мать. Он пришел ко мне с радиограммой, спросил маврикийского вермута. Но от вермута у меня остались только цветастые наклейки. Чиф рассказал, что видел сон, в котором ему «рвали зуб с кровью». И сон оказался пророческим. Потом рассказал, как мать не хотела отпускать его в рейс, плакала на причале, предчувствовала. И сам вдруг заплакал. Он был в море, когда умер отец. Был в море, когда умер брат. Теперь не похоронит мать. А в море идти надо было обязательно. Раньше он трижды погорел на якорях. Он утверждает, что ни разу не был виноват, все три раза якоря были утеряны из-за того, что звено цепи становилось поперек клюзной трубы. За каждый якорь пришлось по году отплавать на лихтере шкипером.

Он смотрел в окно каюты и плакал. С вечера заштормило. Ветер около девяти баллов, качались градусов на тридцать. Луна всходила над океаном одним рогом кверху, светила сильно, как прожектор американского эсминца. Вокруг Луны летал «Зонд-7». Возле самого окна каюты летал огромный фрегат. По каюте летала мыльница, и угрожающе сползала с дивана картонка с японским сервизом. Неудобно крепить сервиз, когда человек пришел к тебе со своим горем, но мысли мои вертелись вокруг картонной коробки. Так уж мы устроены.

— У доктора был? — спросил я.

— Как заштормило, у него бутылка со спиртом упала и разбилась. Туши фонари. Литров пятнадцать. Объяснительную капитану пишет...

По трансляции объявили результаты турнира по «козлу». На судне проводился День физкультурника. Так как в девятибалльный шторм никакой другой спорт невозможен, Перепелкин провел «козлиный» турнир.

Время изменилось еще на час. Теперь суточная диспетчерская радиограмма приходится на мою ночную вахту. Я отправляю в адрес начальника флота Академии наук координаты, сообщаю оставшиеся запасы топлива, воды, скорость ветра. И каждый раз странно писать фамилию Папанина. Не привыкнуть, что жизнерадостный толстяк, прочно связанный с детством газетными фотографиями, существует и сегодня вполне реально. И в далекой Москве читает наши диспетчерские сводки.

Ни разу за весь рейс я не позволил себе соблазниться лоцманским креслом, закрепленным в закутке рулевой рубки справа от штурвала. На вахте сидеть не положено — это впиталось в кость и лимфу. Нынче кости сильно болели ревматической болью и резкая качка утомила. Я уселся в кресло и блаженно покуривал.

Ни разу за весь рейс капитан ночью без моего вызова не являлся в рубку.

Тут около двух дверь с пушечным выстрелом отворилась, свет из коридора сфокусировался на моей блаженствующей фигуре и в рубку мелкой рысью — крен был как раз по ходу — пронесся Георгий Васильевич. Он был в трусах. Я катапультировался из кресла с ловкостью матерого истребителя-перехватчика.

— Что происходит, штурман? — заорал капитан, вглядываясь в кромешную тьму штормового океана.

Я доложил, что все нормально, встречных и поперечных нет, ветер и волна начинают слабеть, на судне порядок.

— Кой черт они слабеют?! Третий рейс на «Невеле», и никогда в спальню из каюты стулья не заезжали! А тут стул заехал и на меня в койку упал!

Он был так потрясен злонамеренным поведением стула, что не заметил моего нарушения правил несения вахтенной службы. Или сделал вид, что не заметил. Океан лупил по «Невелю», как Пеле по мячу. Только ворот не было видно.

Минут пятнадцать Георгий Васильевич провел в рубке, успокаиваясь. Белел голым телом и трусами у левого окна. За это время из него вывалилось три фразы.

— Во фрицевском календаре написано, что двести лет назад родился Наполеон.

Спустя пять минут.

— На Корсике.

Спустя еще пять минут:

— Деньги — жене, убытки — стране, сам — носом на волну!

И ушел досыпать.

14.08.69

В 21 час 46 минут по нашему времени «Зонд-7» прибыл из космической командировки.

Штормило, но не очень. Облачность баллов шесть.

Опять красный и зеленый отблески от бортовых огней на штопорах антенн. Опять тревожный лай нашего потихоньку рыжеющего под южным солнцем Пижона. Он чувствует напряжение людей в последние минуты перед расчетным моментом появления объекта.

Через три часа ТАСС сообщило об удачном приземлении «Зонда». Я еще не успел отшагать пятисот шагов по рубке, а он уже шлепнулся где-то в глубине летней России, на зеленую траву и ромашки.

Мы идем на randevу с теплоходом «Иван Гончаров» и встретимся с ним к востоку от Маврикия, чтобы принять газеты. Классик морских путевых заметок следует в Сингапур. И мы проследуем туда же. Курсы предварительной прокладки уже проложены по диагонали Индийского океана на северную оконечность Суматры и к воротам бананового и лимонного рая. Есть в любом длинном рейсе период, когда грусть прощаний выветрилась, мечтать о возвращении еще бессмысленно и очень редко кто вспоминает о доме. Радисты хорошо знают эти периоды, так как экипаж перестает тратиться на радиogramмы.

Я отправил две. В Москву — матерому газетчику и журналисту Кривицкому. И в Ленинград — Гранину. Попросил их связаться с нашим корпунктом в Сингапуре. Я уже хорошо знаю, что без благожелательного гида в чужом краю время пропадает на девяносто процентов зря. Но главной целью моей радиоактивности была надежда на корреспондентские автомобили.

Семнадцатого августа мы вышли в точку встречи с «Гончаровым» и опять легли в дрейф, поджидая его.

Ночь. Теплый дождь несет в левый борт. Включено палубное освещение, горят на мачте красные огни. Кружится бессонная ночная птица и время от времени вскрикивает тревожно. Она мелькает в свете палубных огней и боится опуститься на судно. Рядом Маврикий — ее дом. Там спят в гостинице артисты Госконцерта, расчесывают лишаи на потных телах, а может быть, не спят, как я и ночная птица, мучаются творческими поисками и сомнениями.

Всю вахту развлекаюсь тем, что стираю с карт старые курсы и подклеиваю расплзающиеся на сгибах листы сеток. И прихожу к выводу, что есть одно дело, которому я никогда не научусь — это аккуратно склеить две бумажки.

Дождь шумит по палубам. Звук — как в водосточных трубах ленинградским октябрем.

На душе тихо. И как-то глухо, будто начитался стихов Третьяковского. Наш календарь отмечает двести лет со дня его смерти.

Около десяти утра подошел «Гончаров». Следует из Одессы на Японию. Чистенький. Позор, но «Фрегат „Палладу”» я не читал. Пытался раз десять, но не осилил. Лет в девятнадцать потрясался «Обрывом». Марк Волохов и его любовная наглость помнятся до сих пор. Запах рока и женская красота.

Очень редко удается человеку осуществить свою мечту в срок, в тот единственный момент, когда осуществленная мечта рождает счастье. Волевые и настойчивые люди все-таки осуществляют свою мечту, но с опозданием на десятки лет. Они, конечно, получают удовлетворение. Мозг дарит им награду в виде эмоции радости, но от этой положительной эмоции до счастья так же далеко, как от количества до качества. К чему это я? Так просто. Пришла такая мысль, когда смотрел на «Ивана Гончарова». Был он счастлив? Объехал весь мир, написал знаменитые книги, море он не любил, а теперь вот обречен годами и десятилетиями носиться и носиться по волнам, как «Летучий Голландец».

— «Невель», я «Гончаров». Чем вы здесь занимаетесь, если можно?

— Космосом. Газеты надо читать. Томатного соуса у вас нет?

— Нет соуса. Сухофрукты есть.

— Сухофруктов не надо. Чиф-инженер близко? Спросите у него латунной проволоки. Очень надо. Хоть метр.

— Ни грамма латуни нет.

— Радиста спросите. Драчевый напильник коллега просит. Готов на паяльник сменить.

— Нет напильника...

— Ты у них воды забортной попроси ведро, — это уже я советую старпому.

И он спрашивает:

— Воды забортной ведро. Секонд просит. На фуражку сменить готов.

— Нет воды забортной... Тьфу! Пошли вы к чертовой матери! Чего вельбот не спускаете?

Несколько минут в нашей рубке хохот и высказывания в адрес одесситов самого легкомысленного сорта. За-

тем появляются капитан и доктор. Лишние слушатели и зрители удаляются. Предстоит деликатный разговор. Георгий Васильевич собирается уговорить русского классика забрать во Владивосток нашу беременную русалку Виалу. Но почва для переговоров подмочена неуместным ведром заборной воды. На традиционный и благожелательный вопрос Георгия Васильевича капитану «Гончарова», заданный для затравки! «Что везете?» — следует угрюмый ответ: «Семечки». — «Подсолнечные?» — «Нет. Тыквенные». — «У меня беременная женщина на борту, — берет Георгий Васильевич быка за рога. — Рейс еще полгода. Прошу взять ее во Владивосток!» Ответ молниеносный, как удар шпагой Атоса: «Возможно, будем бункероваться в Сингапуре и во Владивосток не пойдем. Взять не могу».

Ну какому Обломову, честно говоря, охота возиться с чужой беременной дневальной?

Вельбот тыкается в борт «Гончарова». Трап одесситы не спускают. Тюк с почтой падает в вельбот. «Гончаров» поднимает флаги: «Желаем счастливого плавания!» Можно передать такое пожелание и по радиотелефону. Но теперь надо поднять и нам три флага: «у», «дубль ве» и «единицу». Минут десять ищем «дубль ве». Нет флага! В обоих сводах нет! Фантомас какой-то...

— Благодарю за добрые пожелания! — говорит Георгий Васильевич в микрофон. — Счастливого плавания, Обломовы!

Так мы расстаемся. Как в море корабли.

Кук удачнее совершал обмена с дикарями. Топорики и бусы приносили ему свежую свинину. А здесь и электрический паяльник не помог.

День сплошных неприятностей. Пропавший флаг лежит на моей совести. Затем военные занятия. Приказал боцману принести химкостюм, засунул в химкостюм матроса. Комплект оказался без застежек. Пришлось имитировать процесс застегивания на пальцах. А когда матрос извлёкся из костюма, то, к удивлению всех зрителей и моему, оказался белым, как мельник в конце смены. Оказывается, боцман не протер костюм от талька. Глупо до кретинизма. Вечером собрание по судовым делам. Прошло быстро. Председатель: «Разное будет?» Капитан встал: «Да. Будет. Вот радиограмма любопытная. Всем прививки от холеры. Вероятно, в Сингапуре вспышка». Черт, я и так уже набит ослабленными микробами всех родов войск — от желтой лихорадки до обыкновен-

ной оспы. Теперь предстоит холера. Укол «дубль ве» — один завтра, другой через шесть дней. И моя верная подруга пишущая машинка «Эрика» чего-то начинает барахлить. Влажность. В каюте все мокрое. И машинка покрывается красной ржавчиной.

Вместо литературы печатал протокол собрания. И вдруг мистически вздрогнул от фразы: «Присутствовало 10, голосовало 12». Оказалось, двое приходили голосовать с вахты. Вот и вся мистика.

Надвигается День учителя. И мне поручили доклад. Я взвыл. Ну какое мы имеем отношение к учителям и для чего доклад? Георгий Васильевич подумал и сказал: «Для общей ерундии, Виктор Викторович!» На такое возражать было нечего. Главное сохранять в себе частицу Швейка.

В Индийском океане на дне его есть гора имени Афанасия Никитина. Когда мы проходили вблизи горы, капитан спросил: какой из русских землепроходцев самый знаменитый? Я не нашелся что ответить. Самым знаменитым оказался Хабаров. Водка «Ерофеич» названа в его честь. Правда, это название перешло на водку уже со станции Ерофей Павлович. Есть такая на Дальнем Востоке.

Примечание. После выхода книги «Среди мифов и рифов» я получил два письма на тему «Ерофеича». Первое от Льва Васильевича Успенского: «Написать Вам я придумал для того, чтобы Вы (если сочтете нужным) могли прищучить одну небольшую «блошенцию», которую я раньше, видимо, пропустил, а теперь вот поймал. У Вас сказано, что название «Ерофеич» «перешло на водку со станции Ерофей Павлович»... Этому можно было бы легко поверить, если бы не два обстоятельства. Станция названа «Ерофеем Павловичем» при строительстве Великой Транссибирской магистрали, т. е. между 1894-м и 1897-м годом. «Ерофеич» же, в смысле «напиток», «настойка», фигурирует уже в 1-м издании словаря Владимира Ивановича Даля, которое вышло в 1864—66 годах, т. е. ровно за 30 лет до появления станции с таким названием.

Откуда же оно взялось?

Языковеды установили, что водка настаивается на травке «Ерофей» — *hypericum perforatum*, которая иначе именуется «зверобой». Данные о том, что «трава Ерофей» есть именно «хиперикум перфоратум», можете получить

у того же В. И. Даля, а вот что она есть одновременно и «зверобой», это я вычитал в справочнике «Федченко и Флёров, Флора Европейской России, С.-Петербург, издание А. Ф. Девриена, 1910».

Ваши «Мифы и рифы» — не пособие для топонимистов, равно как и не справочная книга для производителей крепких напитков. Отсюда — вывод: тем, что я Вам сообщаю, Вы имеете полнейшую возможность пренебречь, в полной уверенности, что я на Вас за это не надуюсь. Но вот одно уже чисто словесное добавление к сказанному. Ведь все-таки, если бы водку решили назвать по станции, то ее надо было бы окрестить не «Ерофеичем», а скорее «Павловичем». А? Как Вам кажется?

Пишу все сие «на деревню — дедушке», потому что представления не имею, где Вы сейчас и кому целуете пальцы, перефразируя Вергинского...

Лев Васильевич Успенский — первый живой писатель, которого я видел в жизни, ибо принес ему на трясущихся ногах свои первые три рассказа в 1954 году на Красную (бывшую Галерную) улицу. Он жил в одном доме с одноклассницей брата, знал ее с детства, и этот факт я использовал для проникновения в литературу с черного хода. За рассказы Лев Васильевич дал мне такую же благожелательную, деликатнейшую, но взбучку.

Сейчас низко склоняю голову перед его навечно светлой памятью.

Второе письмо: «Настойка «Ерофеич» была известна уже в 18 веке, название она получила по отчеству своего составителя, некоего фельдшера, который был в большой моде в середине 18 века. Сей фельдшер внес свой вклад в русскую историю еще и тем, что светлейший князь Г. Потемкин, поставив на больной глаз припарку, составленную по рецепту Ерофеича, на оный глаз окривел, что привело к заметному падению популярности эскулапа. Подробности жизни Ерофеича излагаются в нескольких мемуарах, опубликованных в «Русской старине» в 70-х гг. прошлого века. С глубоким уважением. Извините за почерк. Мне, как физику-теоретику, чистописание, как и правописание, всегда давалось с трудом. Л. Э. Рикенглаз».

РДО: «На борту румынского судна больной требуется медицинская помощь. Ш. 04° 05 ю. Д. 75° 15 вост.»

Далеко.

Ночами ливни. Молнии каждые две-три минуты. И гро-

ма нет. «И бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль...»

Ветер уносит вдаль громы. Остаются беззвучные ослепительные зигзаги в половину горизонта. Течет через пегорную трубу с пеленгаторного мостика. Течет за обшивкой переборки в рубке. Коротит электропроводку. Эcran радара — сплошное зеленое пятно. Никакой пользы от радиолокации в тропический ливень. Не видны и собственные ходовые огни. Вода шумит, как танки на Курской дуге.

В такие океанские грозы и появились на белый свет «Летучие Голландцы», морские змеи и прочая чертовщина. Всю вахту так напряженно таращишь глаза, что начинает мерещиться нечто и впереди, и позади, и по бокам.

Все это градуссах в семи — пяти от экватора.

А на самом экваторе в Индийском океане стоят странные безветренные дожди. Они выпадают из низких туч ровными отдельными колоннами. Штук десять — пятнадцать дождевых перламутровых колонн стоят по кругу горизонта и как будто думают свое, неподвижные и бесшумные. И мы идем между этих колонн, как в огромном планетарном зале, как в огромном католическом соборе, под сводами туч. Солнце не просвечивает, теней от дождевых колонн нет. Призрачно. Штиль мертвый. Вода — расплавленный, без морщинки свинец. И из этой ровной густой воды каждый раз неожиданно вырываются летающие рыбки и веерами уносятся от судна. Приводняясь, они несколько раз задевают хвостом воду, и на ней остаются «блинчики», как от умело пущенной рикошетом плоской гальки. Душное тепло. И очень тихо.

Да, гениальный архитектор строил мира здание.

Ночью мощная луна освещает контуры туч, глубины туч кромешно черны, колонны дождей тоже черны, но иногда между ними струит от луны ослепительная дорожка. Штиль над океаном продолжает оставаться мертвым. В небесах идет жизнь. Края туч меняют очертания. Мощные кучевые облака вздымаются на огромную высоту. Вокруг лика луны прозрачной шалью заворачиваются слоистые облачка, а может — перистые. Все, что только может придумать небо, есть на экваторе ночью.

Записав вахтенный журнал, пятнадцать минут пятого я иду купаться. На палубах темно. Сон витает вокруг. Над бассейном легкий ветерок от движения судна. Раздеваюсь догола. Посвечиваю фонариком на скобы трапа. Черная

вода чуть покачивается среди смутно белеющего кафеля стенок. Медленно спускаюсь в воду. Плюс тридцать, но вода сразу осторожно и ласково освежает. Полная тишина. Лежу на спине посредине бассейна.

Надо мной закрученные штопоры антенн радиотелефонной связи с космонавтами. За ними освещенные лунной клубящиеся края туч и сама луна, по которой уже ходили люди. Вода в бассейне, и я вместе с ней, чуть колышется и подрагивает в такт машинам. Неподвижно стоят над Индийским океаном дождевые колонны. Вдруг восторг наполняет уставшую душу. Затем мысль, что впереди ждет отварная картошка с колбасой и уютная койка, заменяет божественный восторг на земное блаженство. На несколько минут я превращаюсь в дельфина — плюхаюсь, кувыркаюсь, толкаюсь руками и ногами от стенок бассейна. Горько-соленая вода щиплет кожу и не дает нырнуть.

Одеваясь, думаю о том, что это очень длинный рейс, это тяжелый рейс, это черт знает какой рейс, но будь я проклят, если забуду ночи среди молчаливых дождей в Индийском океане.

Румыны передали, что их больной умер и они просят теперь никого не беспокоиться. Зато шведы передали, что потерянный ими пятнадцать часов назад человек найден. Все это время он продержался на черепахе. Почему она не нырнула, чтобы освободиться от лишнего груза? На месте шведа я больше никогда не стал бы есть черепаховый суп и выкапывать из теплого песка здешних островов теннисные мячики ее яиц.

Не знаю в литературе морского пейзажа, равного по художественности земным. Или фотографичность, или очеловечение моря. Схожесть описаний у самых разных писателей и великолепная забываемость прочитанных описаний, в которых обычно столько же святой правды, сколько и святой лжи. Это касается открытого моря. Прибрежный пейзаж выручил многих писателей. Он удается великолепно.

Давно известно, что любое описание природы имеет смысл только тогда, когда человек наблюдал ее ранее со специальной, утилитарной целью, а не «вообще». Просто наблюдать пейзаж с целью описать — значит неминуемо

родить мертвого ребенка. Бесконечность деталей природы и ее состояний вынуждает к отбору. Отбор обусловлен целью. Известно, что многие хорошие писатели охотились. Охотник идет по следу. И читатель идет за ним. Известно, что писатели-феодалы остались в описаниях пейзажа непревзойденными. Они были помещиками, смотрели на землю глазами хозяина. Когда Толстой пахал или косил, он не только опрощался. Он даже бессознательно отбирал из пейзажа только то, что видит косец и что ему важно, — от степени влажности травяного стебля до угрозы подпадающей тучи.

Прогулка отличная вещь, но бесплодная на девяносто девять процентов. Прогулка может родить в поэте напевы, а напевы рожают стихотворение. Но проза штука более тягостная. Она, как заметил Моруа, не дает возможности выдавать напевы за мысли.

Экзюпери написал небо как никто, потому что летел сквозь него на самолете. Он знал цену атмосферному давлению, суточному ходу ветра, температуре подстилающей поверхности. Точка росы, заря утренняя и вечерняя, иззаоблачное сияние солнца, окраска звезд, форма небесного свода, венцы, мерцания звезд, радуга, продолжительность сумерек, слышимость звука в атмосфере — вот из чего складывается пейзаж для того, чья работа — движение вокруг планеты. Но всегда кажется, что писать о таких вещах утомительно для читателя, если он не студент гидрометеоинститута.

Утром 27 августа открылась Суматра при сером дождевым небе, в зените которого просвечивало беспощадное солнце.

Вышли на островок Брѐз, подвернули в Бенгальский проливчик к острову Рондо. Близко свисали над прибоем пальмы и всякие лианы, именно так свисали, как в мечтах всех мальчишек мира. Хотя... Что я знаю о мечтах сегодняшних мальчишек?

Вот и Андаманское море, вход в Малаккский пролив. Мангры на берегу Суматры, их бледные стволы. Розовые бунгало в бухте Вэ и белые восклицательные знаки створных знаков. Пенные полосы сулоя среди штилевой воды, прибойный шум сулойных волн и та штурманская тревога, которая всегда появляется, когда пересекаешь полосу возмущенной воды, стремление еще и еще определить — не на рифах ли шумит вода?

Индонезия — далекая страна, окутанная дымкой нежной песни, залитая ныне кровью и жуткая, ибо нежность Азии, очевидно, обманчива, как отражение цветка в стальном клинке. Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, влекущая моряка в полуденные края напевами прекрасных песен...

Пролетел индонезийский военный самолет, размалеванный жуткими драконами. Заложил вокруг несколько слишком, пожалуй, близких виражей. Наши космические антенны вызывают любопытство вояк планеты. И не только вояк. Со встречных судов белоснежные штурмана обязательно тянут к глазам бинокли.

Раньше жаргонное название корабля «коробка» как-то саднило налетом пижонства. А теперь я понял, что иногда судно надо ощущать обыкновенной большой железной коробкой, а себя сидящим в этой коробке, потому что все именно так и есть, и это можно не только понять, но и ощутить, и я ощутил. А ощутив, лег на диван, задрал ноющие ноги на стенку каюты и принялся за «Улицу Ангела» Пристли. Он объяснил мне, что чувство юмора и дух терпимости — величайшие ценности в нашем железном мире; что модные в послевоенные времена разговорчики о «третьей силе» — чепуха. И по праву третьей силой можно счесть лишь чувство юмора, дух терпимости и либеральную гуманность, самое себя не принимающую всерьез... Все это, конечно, прекрасно, но ведет прямым курсом к отказу от борьбы со злом и тупостью. И как вылезать из этого переплета, мистер Пристли? И не кажется ли вам, сэр, что пропасть между интересной мыслью и мудростью не менее глубока, нежели пропасть между мудрой мыслью и мудрым поступком?

Тридцатого августа утром снялись с дрейфа. Выходили опять к Суматре на мыс Алмазный. Возле мыса впадает в Малаккский пролив речка Джамбо-Але, маленькая, типа нашей Фонтанки. Она заросла тропическим лесом и малоприметна. По Алмазному мысу проходит железная дорога — судя по карте. И я рассчитывал взять до мыса хорошую дистанцию радаром: прибрежные железные дороги обычно увеличивают четкость берегового контура на экране. Но мыс долго не давался, путался с горой Агам-Агам и Дама-Тутонг.

Первым запахом Львиного города оказался запах нефти, а не бананов или лимонов.

С карантинного рейда перешли мы к причалу нефтебазы на острове Букум. Эмблемы «Шелл» — оранжевые раковины — распластывались и на огромных нефтебаках, и на колпаках фонарей. Везде были раковины. «Шелл» начинала со сбора морских диковин в Южном океане и сохранила о прошлом бизнесе добрую память.

За выкрашенными серебрином нефтяными емкостями торчали горы, заросшие джунглями. Из общего месива тропических зарослей вырывались на фон белого от зноя неба отдельные пальмы.

Солнце жарило прямо в плешь. И от всего вокруг воняло горячей нефтью. И от островков, над курчавой зеленью которых виднелись пагодные крыши; и от воды, неподвижной и жирной; и от деревянных сампанов, в которые грузили железные бочки с горючим; и от касок малайцев — служащих «Шелл». Вполне может быть, что были они и не малайцы, а японцы или китайцы.

Швартовались тяжело и нудно. Надо было встать так, чтобы штуцер приема топлива был точно перед штуцером на причале, а удобных палов для кормового шпринга не находилось. И стыковались мы больше часа.

Сперва порвался кормовой продольный швартов. Малайцы на боте завели его вторично, но при подаче с бота на стенку упустили и утопили. Мы выбрали его на борт в третий раз. И вся грязь со дна сингапурской нефтебазы украсила ют. Потом лопнули шпринг и терпение капитана. Но родной фольклор звучал в тропическом зное как-то неубедительно, не зажигал нас азартом, не вносил в наши мозги ясности. Старпом на баке тащил теплоход шпилем в свою сторону, а я на юте кормовой лебедкой — в свою. Разорвать «Невель» пополам нам не удавалось, но швартовые рвались исправно. Когда рвется стальной трос, из него иногда вылетают искры. Коричневый лоцман, в ослепительно белой форме, с суперсовременным радиопередатчиком на груди, иногда кукарекал. Коричневый полицейский в серо-стальной форме судорожно сжимал левой рукой револьвер, торчащий рукояткой вперед из открытой кобуры, а правой рукой стискивал висящую на боку в ажурном симпатичном чехле черную резиновую дубинку. Морской агент-китаец на причале тискал и даже иног-

да подбрасывал в воздух шикарный никелированный портфель с документами. Малайцы, короче говоря, волновались. Но все закончилось благополучно. Мы состыковались с нефтепричалом, гигантские шланги вздрогнули от напуска насосов, и сингапурский соляр ринулся в наши отощавшие танки, а сингапурские доллары — в наши карманы.

Красивые деньги в Львином городе. Дружба здесь царит и мир, если верить деньгам. Две коричневые и две белые руки переплетены в четырехугольник — как для переноски раненых. Союз навеки. И нежные, изящные цветы вокруг союза.

На остров Букум я не попал. Администрация «Шелл» выдала мало пропусков для прохода через свою территорию. Мне пропуск не достался. Я не стал переживать, потому что со швартовками и вахтами спал за сутки часов пять, устал.

К вечеру семь малайцев на семи велосипедах приехали на причал и закинули лески в щель между бортом и стенкой. На конце лески хитрый рычажок-поводок и бутафорский синтетический червяк. Семь малайцев под окном моей каюты каждые тридцать секунд выдергивали из воды сквозь толстую нефтяную пленку серых рыбок, маленьких, в половину ладони.

Позади малайцев сидела на причале дымчатая, тощая, с отрубленным хвостом кошка. Малайцы время от времени кидали ей рыбку. И она сжирала рыбок живьем и без остатка. Ее живот раздувался на глазах, в животе шевелились рыбки, но вид у кошки оставался голодный и несчастный.

Я курил и ждал, когда тощая живоглотка лопнет.

Она не лопнула. Пошатываясь, волоча брюхо по бетону причала, отправилась в джунгли. Малайцы за четверть часа набили пластиковые мешочки рыбой, повесили мешочки на рули велосипедов и укатили на остров Букум. А мы закончили приемку топлива и не без удовольствия покинули нефтебазу, чтобы подождать утра на якоре.

В ноль часов я принял якорную вахту. Светила луна. В миле от судна серебрились под луной огромные емкости. Чернели островки. За седловиной ближайшего островка Блакинг-Мати ночные тучи несли на себе зарево огромного города львов. Мигали разными огнями буи и маяки, ограждающие бесчисленные рифы, островки и мели. На острове Букум над серебрящимися баками го-

рел мощный оранжево-красный факел — там сжигали газ, вырывающийся из нагретой дневным солнцем нефти. И по черной воде через весь рейд тянулась оранжево-красная дорожка отражения. Она пересекалась с лунной.

Ни ветерка. Ни всплеска воды под бортом.

Самая спокойная вахта из всех возможных. Я лениво беседовал с Пристли. Я сообщил ему, что «Улица Ангела» — хороший роман, но мне он не ко времени, потому что это роман о побежденных.

Пристли, как многие большие писатели, любя свой народ, показывает его в весьма неприглядном обличье. Мои собственные воспоминания о безобразной лондонской погрузке на «Челюскинец» вискозы и модельной обуви, а также воспоминание о чемпионском по уродству небоскребе в центре Лондона, на берегу прекрасной Темзы, рядом с парламентом — там «Шелл» соорудила одну из главных своих контор, — совпадают с многими высказываниями Пристли о повадках и вкусах англичан.

Матрос отвлек меня от Пристли. На рейд входило судно. Это был большой танкер. Оранжевая раковина на трубе — опять «Шелл». Нам не было до него дела. Однако что-то не нравилось в ночном воздухе. Сгущение тишины, повисшей над головой как бесшумный вертолет.

Капля ударила в сталь палубы, другая задела мне ухо — как свинцовый шарик, такая тяжелая и злая. Я прыгнул под защиту рубки с крыла мостика великолепным прыжком матерого кенгуру. Загремело, завывало, заныло. В мгновение исчезли огни нефтебазы и оранжево-красный факел горящих газов. Все, что было с левого борта, исчезло в ливне. А с правого безмятежно продолжало переливаться разными огнями зарево над Сингапуром. Граница ливня проходила по нашей диаметральной плоскости. Молнии полыхали с пулеметной частотой. Ветра не было, и гром обрушивался с небес сплошным гулом. И самым неприятным было исчезновение подходящего танкера. Следовало послать матроса на бак, чтобы бить в колокол. Я кожей чувствовал, как совсем рядом ворочается в ливневой завесе стальная махина танкера. Он, вероятно, отдаст якорь, потому что никакой радар не поможет ему дойти до причала нефтебазы. Если танкер, отдавая якорь, навалит на нас, то обвинит в нарушении правил — «в условиях малой видимости не подавали звуковые сиг-

налы „судно на якорь”. Надежда была на кратковременность здешних ливней, но все-таки я приказал матросу отправиться на бак и принять свинцовый душ. Матрос исчез в шипящем, синем от вспышек молний хаосе. Звук колокола я не услышал. Возможно, и сам матрос, лупя в медь и бронзу, не слышал ударов за шумом ливня. Но «поправка на прокурора» была взята. И сразу, по извечному закону подлости, ливень прекратился. Сквозь водяную мглу просветил оранжево-красный столб пламени на нефтебазе «Шелл» и палубные огни танкера в кабельтове от нас.

Пока спал после ливневой вахты, перешли на городской рейд.

На палубе зашумел базар. Хорошая сотня малайцев, китайцев, японцев — хитрые рожи перекупщиков и спекулянтов. Их шустрые, откровенно вороватые сынки и внуки, оправляющиеся с борта в сверкающую воду, как гibraltarские обезьяны, ибо все двери на судне задраены. Горы, холмы и долины пестрого ширпотреба. Знаменитые «кожуха» — 12 местных долларов штука. На берегу они стоят 10. Зато сервис: вышел на палубу, ткнул пальцем в штабель — и покупка уже дома. Не таскаться по жаре, не мучиться сомнениями.

Бюстгальтеры и карты с голенькими женщинами, безобразные кофты и замусоленные открытки, плавки и рулоны гипюра. Наконец-то я узнал, что это такое, — нечто вроде кружева нежных тонов, используется для нижних юбок.

Китаец ткнул пальцем мне в седой висок, подмигнул и сказал: «Эй!.. Бери!.. Старый!.. Мадам Мигни!» Дело шло о японской открытке, на которой соблазнительная азиатка, если ее немного наклонить, подмигивает двусмысленным образом. Называется она в Сингапуре «Мадам Мигни». Русский глагол в устах местных торговцев превратился в имя собственное.

Мадам Мигни мне понравилась, и открытку я купил. Приятно, что в любой момент молодая красивая азиатская женщина может подмигнуть тебе размалеванным глазом. Но почему китаец назвал меня «старый»? Второй причиной дурного настроения был Перепелкин. Он хотел отправить меня на берег с группой из пяти человек — весь наш пищеблок. Тащить пищеблок в посольство и на корпункт, куда я надеялся попасть, было невозможно.

Поэтому на берег я не поехал, написал однокашнику объяснительную записку и для самоутверждения рисовал из окна каюты Сингапур акварелью. Далекие крыши пакгаузов, коробки небоскребных банков, серо-белый от зноя город, черно-зеленые клочья садов и парков, заставленный судами рейд, черные якорные цепи в зеленой воде...

Нашими ближайшими соседями были: англичанин «Золотой океан», панамская «Королевская птичка» и француз «Наполеон». Я увековечил их на оборотной стороне навигационной карты залива Нотр-Дам Ньюфаундленд. Все на этом свете связывается самыми фантастическими связями.

Например, я, петух и огурец происходим из здешних мест. Здесь, в Южной Азии, по мнению ученых, прапра-родина людей, домашней птицы и огурцов. Отсюда мы, петухи и огурцы растеклись по всей планете. Здесь люди бродили еще до того, как Прометей подарил нашим предкам первую зажигалку. Здесь ученые ищут ответ на коварный вопрос: от одной обезьяны произошли мы все или от разных обезьян, появившихся в разных концах света? И если от разных, то кто дирижировал их появлением? Почему миллионы обезьян одновременно встали на задние лапы и начали трудиться передними лапами, превращая себя таким путем в человеческие личности, — вот вопрос, рядом с которым гамлетовский — детский лепет. Обо всем этом хорошо думается, когда ты пытаешься протиснуть свой вельбот сквозь муравейник других вельботов, сампанов, джонок, катеров, шаланд у таможенного причала внутренней гавани Сингапура. Здесь, в колыбели человечества, невероятное количество рас, людских типов, оттенков кожи, языков и народов. Трудно сохранить хладнокровие среди кишения, верчения, криков, запахов, белых и черных зубов, плоских и острых носов, честных и бандитских глаз, бород, треска сталкивающихся бортов... Шаланды, разрисованные с носа и кормы жуткими масками: тут и акулы, и ромбы, и звезды, и разноцветные полоски на бортах и флагах — символика, которую придумали бывшие обезьяны, чтобы различать друг друга по нациям и государственной принадлежности. А зачем символика и геральдика, если все мы от одной обезьяны? — вот какая мысль приходит в перегретую голову, когда крепко стукнешься в камни таможенного причала у склизких от водорослей ступеней лестницы и нахальные аборигены-оборванцы поднимут гвалт, пытаясь взять тебя «на глот-

ку» за грубую швартовку, когда они начинают тыкать пальцами в твой флаг, в твой символ. А ты отправляешь их с прапрародины человечества по такому далекому адресу, что сам восхищаешься своим знанием лексики и географии.

Сквозь призму таможенного причала весь Сингапур представляется огромным вокзалом, где в залах ожидания бывшие обезьяны вертятся вокруг продавцов кока-колы. Продавцы не рискуют давать в руки жаждущих бутылочку с напитком. Они выливают кока-колу в пластиковый мешочек, суют в него синтетическую соломинку, а бутылку прячут. Американские военные моряки — двухметровые негры — в белых поварских шапочках на бритых головах. Солдаты американской морской пехоты с дубинками на боку и повязкой «ЕС РИ» — белые, прыщавые юнцы, откормленные, прибывшие от вьетнамских берегов на веселый отдых. Замечательный бордель под названием «Плавающий маяк Сингапур» ждет их во внутренней гавани. Бордель разместился на старинном судне и весь увешан разноцветными лампочками... Старик мусульманин сидит в деревянном кресле, поджав босые ноги под себя. Ботинки старика стоят под креслом. Старик весь ушел в себя, ничего не видит, только иногда блаженно шевелит пальцами ног, продуваемых ветерком. И вдруг понимаешь, что обычай снимать обувь в мечетях, вероятно, связан и с такой прозаической физиологией, как потение ног в жарком климате... Фейерверк красок. И запах от смеси копры, каучука, пальмового масла, сырых шкур, саго, тапиоки, белого и черного перца, невыделанного черепахового щита, мускатного ореха и мускатного цвета, камфарного масла, гуттаперчи, кофе и велорикш... И головная боль, и отсутствие аппетита. Ни вермишелевый суп, ни килька в томатном соусе с картошкой не лезут в глотку после трех-четырёх рейсов к карантинному причалу Сингапура. стакан компота — вот и вся еда.

Необходимо было вырваться в европейскую цивилизацию, сменить неистовый ритм припортового базара и толкотни на прохладную тишину в кабинете корреспондента ТАСС. Я продолжал наивно надеяться на положительные результаты своей радиоактивности.

Но если говорить совсем искренне, то не в базарной толкучке было дело. Просто захотелось на некоторое время перестать быть вторым помощником капитана на бывшем лесовозе, утыканном антеннами. Мне хотелось сменить пластинку. Гуманитарная составляющая моего

существа жаждала общения с гуманитарием. Причем с таким гуманитарием, который живет не на чердаке, а принадлежит к преуспевающим мира сего и ездит на хорошей машине с приемником. Мне хотелось немножко попаразитировать на своей писательской принадлежности, ощутить себя значительной личностью, которой разрешается глядеть на Сингапур не снизу — сквозь призму таможенного причала, а сверху — сквозь иллюминатор международного авиалайнера.

Я уволился на берег в паре с радистом Саней. Он был в курсе моих надежд на сладкую жизнь, так как своей рукой выбивал и точки, и тире, адресованные знаменитому писателю Даниилу Гранину.

Миновав толпу велорикш, я с достоинством подозвал такси и процедил достаточно небрежно:

— Рашен амбассадор, плиз! — таким образом я входил в образ значительной личности, журналиста-международника, например.

С пресыщенным равнодушием глядел я на потоки шикарных машин, блеск витрин дорогих магазинов, завитушки аляповатых колониальных зданий, зелень парков, генеральские памятники и таксерный счетчик. Только речка Сингапур стряхнула с меня тупое равнодушие к экзотике. Речка была забита сампанами, скована мощными мостами, по ее живописным набережным сплошь дымились разной едой дешевые забегаловки. Здесь-то и следовало бы вылезти и тихо посидеть среди чужой жизни, ровным счетом ничего не думая о сладкой жизни. Но такси несло дальше по узким, извилистым улочкам. И я начал вздрагивать при виде встречных машин, потому что в бывшей вотчине Британии левостороннее движение и каждая машина без привычки кажется той, которая поставит точку на твоём путешествии по жизни. Подлец шофер специально крутил и вертел по закоулкам и накрутил четыре доллара («Две рубашки!» — отметил я про себя, расплачиваясь). Интересно, профессиональные журналисты-международники так же переводят денежные знаки в рубашки или это свойственно только морякам? Мне следовало продолжать входить в образ бывалого журналиста, но дело в том, что я боюсь посольств и консульств. Этот страх существует во мне с детства. Вокруг дипломатических представительств особенный микроклимат. Моя стопроцентно мещанская родословная, закреплённая в генах или кровяных шариках, чутко реагирует на высокую, аристократическую значительность посольств и консульств.

Эта высокая значительность проявляется в безлюдности вокруг таких мест, в особом вакууме пустоты, в незримой зоне отчуждения. Причем рядом с посольством может быть много людей — полицейских, отдыхающих шоферов и дворников, — но все они не оживляют посольский пейзаж, а сами делаются совершенно какими-то мертвыми. Этот удивительный эффект свойствен дипломатическим представительствам всех стран и флагов. Очевидно, дипломатов особым образом учат создавать вокруг здания посольств мертвенный микроклимат. Он вызывает мавзолейный, усыпальный, торжественный настрой — что и требуется.

Я бодрился под внимательным взглядом моего молодого попутчика, но чувствовал себя горошиной на подносе или каплей росы на листе.

В приемном холле сидела в стеклянной будке женщина средних лет с удивительно разноцветными волосами. Стены холла напоминали витрины магазина «Березка» в Ленинграде. Бутылки экспортной «Столичной», баночки с икрой, шкурки песка и хохломские коробочки. Оказывается, в одном здании с посольством помещалось и торговое предприятие.

Я подал женщине с разноцветными волосами документы и попросил помочь выйти на связь с любым нашим кором.

Женщина глядела на меня в окошечко из стеклянной будки и медлила. Я ей не внушал доверия. Чтобы показать свою бывалость, независимость и международную известность, я стал расхаживать по холлу. Радист Саня жался к дверям и глядел на меня умоляющим взором: «Уйдем отсюда, Викторыч, — говорил его взгляд. — Я не буду смеяться над тобой! Ты еще не сел, а уже вытягиваешь ноги. Это плохо кончится. Уйдем побыстрее!»

— Нагнувшись, горбатым не станешь, — шепнул я ему.

Женщина продолжала изучать мой писательский билет, и паспорт моряка, и довольно расплывчатую справку из газеты «Водный транспорт».

«Ты тащишь на спине живого варана», — ответил мне Саня взглядом.

— Не можешь схватить за рог, хватай за ухо, — шепнул я. — Что-нибудь нам все-таки здесь обломится.

Я ничего особенного не обещал Сане. Намекнул только, что коллеги-журналисты, возможно, проклянут нас

по памятным местам, ну и дадут рюмку прохладительного.

Коллега, с которым женщина все-таки связала меня по телефону, действительно прохладил меня. Он сообщил, что знать меня не знает и не испытывает желания тратить на меня время. Положение очень напомнило мне то, в которое я попал несколько лет назад в Монако, пытаясь пробиться в Океанографический музей к капитану Кусто. Не могу сказать, что разговор с кором ТАСС в Сингапуре прибавил во мне любви к журналистам-международникам. Ладно, утешил я себя, вас на Сардинию не пускают, а я там был.

— Куда посоветуете здесь пойти? — спросил я женщину с разноцветными волосами.

— А на базаре вы уже были? — спросила она.

Бессребреник Саня не выдержал и прыснул.

— Сколько здесь стоит такси за час? — спросил я.

— Шесть долларов.

— Черт! — сказал я. — Мы заплатили четыре за пятнадцать минут.

— Поезжайте на гору. Здесь есть большая гора. Туда все ездят, — сказала женщина. Она все-таки была женщиной, ей стало нас жалко. — Я здесь новенькая. Первый раз работаю за границей. Ничего еще не знаю, — призналась она. — Гора возвышается надо всем. Красиво оттуда. Есть еще Тигровый парк, китайский. Там страшные пытки показывают. Ну и обезьян можно увидеть в.. забывала, как называется. И возьмите газету на столике. Наверное, давно газет не видели? Хо Ши Мин умер, слышали?

Нет, мы этого еще не знали. Теперь делалось понятным, почему кору было не до проплывающих мимо Сингапура писателей. Во всяком случае, я именно так объяснил Сане прохладное отношение к себе коллеги.

Начали мы с горы, которая возвышается. Это была прекрасная гора.

Говорят, американцы ездят за границу только для того, чтобы потом иметь возможность похвастаться соседям. Подразумевается и хорошее умение рассказывать. Мне же не передать того, что видишь с горы, которая возвышается над городом львов. Так немой, увидевший вещий сон, не может сообщить о нем человечеству. Зато я точно могу передать звуки, которые там слышал: «Ку-ка-ре-ку!»

Это было удивительно. Глядеть на склоны горы, поросшие пальмами и деревьями, изогнутыми, как на японских гравюрах, на бесконечно далекий морской горизонт, на ровную травяную скатерть долины, видеть свое родное, крохотное совсем судно на рейде, вернее даже не судно, а просто белую, мерцающую в жарком мареве точку, в которой мы угадывали «Невель», и все время слышать крик петухов:

Этот крик прочно ассоциируется у меня с нашей северной деревней. Но нашенский голенастый драчун и дурак прибыл отсюда, от этих роскошных экваториальных берегов. И действительно, какая еще наша северная птица имеет такое экваториально яркое оперение? И обыкновенный зеленый огурец тоже прибыл отсюда. Перемена климата пошла огурцу на пользу. Здешние огурцы по вкусу ближе всего к мокрой вате. И, по утверждению нашей буфетчицы, не поддаются засолке — гниют. Огурцам надо было пропутешествовать в Рязань и Вологду, чтобы стать настоящим огурчиком.

«Ку-ка-ре-ку!» — неслось из близэкваториальной долины.

Безмолвствовала на вершине удивительная пальма. На изгибе ее ствола росла маленькая другая пальма. Огромные цветы покрывали кусты. Запахи и ароматы зримо струились в прозрачном горном воздухе. И я понял, почему здесь родилось сари и почему только здесь женщины умеют превращать ткань в воздух. Прекрасная девушка-индуска с Маврикия вспомнилась, проскользнула, проплыла среди цветов и далей. Девушка, которая одной своей улыбкой могла бы превратить меня в гениального музыканта или сумасшедшего поэта, но не улыбнулась мне.

Я увез из Сингапура японский приемник и мадам Мигни. Они должны были помочь мне забыть девушку с острова Маврикий.

В долгом рейсе заход в порт иногда только расстраивает. Опытные моряки знают это. И не сходят с борта на стоянке. Красота чужой земли мигнет тебе, смутит душу — и все.

ДЕНАТУРАТ И ИСКУССТВО

Болезнь в море не рекомендуется. Если свалился, товарищ стоит твою вахту вдобавок к своей. Это угнетает.

И еще страх. Вдруг что-то серьезное, заразное? Подвернут ребятки в Бомбей или Аден, санитарная машина на причале — тютю, поехали. Когда представляешь такую ситуацию с берега, то в ней есть приключенческое, завлекательное: попасть черт знает в какой стране в черт знает какую больницу — занято. Но тот, кто в море болел, знает, как делается муторно от таких возможностей. Представишь чужих, совершенно чужих людей вокруг, а ты режешь дуба. И сказать последнего слова на родном языке некому. И товарищам ты еще неприятности принес, хлопоты, объяснения, расследования. И товарищи будут поминать тебя недобрый словом. Но главное, конечно, одиночество среди чужого мира.

По всем этим причинам моряки стараются держаться на ногах до последнего. Однако здесь надо соблюдать предел, который зависит от того, какую работу на судне выполняешь.

Если ты судоводитель, а тебя швыряет то в пот, то в холод; и слабость, и тянет ткнуться в холодное стекло лбом, глаза закрыть; и бинокль лишний раз поднять тяжело, голова болит, и таблицу умножения ты не помнишь, множить шесть на восемь начинаешь при помощи арифмометра, карандаша и бумажки, — то лучше тебе и судну будет, если ты примешь моральные муки и завалишься в койку.

В Сингапуре я или простудился, или подцепил какую-то инфекцию. Дня через два дошел до предела безопасности и доктор отправил меня на бюллетень. Какое странное блаженство испытывает больной человек, когда он может лежать. Тело болит, душа болит, совесть мучает, пот льется, а тут же присутствует и блаженство, сладкое, размякшее от беззаботности. И еще люди, с которыми ты и ругался, и многое в них не принимаешь, ненавидишь даже, теперь проявляют к тебе нежданное внимание и заботу. Раскисшая больная психика наполняется любовью к людям.

Явился завпрод и принес по приказу старпома огромный, чудесной красоты ананас, на длинном стебле, с могучими листьями. Есть такой ананас было невозможно, следовало на него любоваться.

Затем явился сам Вадим, обреченный теперь стоять мою дневную вахту и мерить меридиональную высоту Солнца, а чиф привык за рейс к звездам и утреннему горизонту.

— Все болеют! Черт знает что! Туши фонари! Невоз-

можно работать! — сказал чиф. — Нализался какой-нибудь дряни в Сингапуре, а мне за тебя глаза портить!

— Солнце — ерунда, — сказал я. — А вот военные занятия завтра тебе доставят массу приятных минут.

— Туши фонари! — сказал чиф. — Доктор тебя уложил, доктор за свою доброту и будет расплачиваться. Объяснит завтра толпе влияние боевых отравляющих веществ на половую деятельность...

— Ты ему об этом сегодня не говори! — взмолился я. — Он мне будет вечером горчичники ставить! Сожжет, мерзавец, до костей.

— Ладно, не скажу, — пообещал чиф. И действительно не сказал.

Доктор, ласковый и заботливый, явился с горчичками и принес самый дефицитный на судне бестселлер — второе, переработанное и дополненное издание: «Половое расстройство у мужчин» профессора Порудомского. Чиф дважды ее проштудировал. А третий механик, по сообщению доктора, после изучения бестселлера потерял покой, не спит ночей и непрерывно следит за внутренними движениями своего организма.

— Эта книжка вас хорошо отвлечет от вашей инфекции, — сказал док.

Затем пришла буфетчица Светлана Андреевна и принесла домашний, с сотами, мед и лимон. Светлана Андреевна когда-то работала в яслях и потому считалась у нас медицински подкованным человеком. В прошлом рейсе, когда капитану кромсали аппендикс в шторм, она ассистировала. Помполит — второй ассистент — рухнул в аут, а Светлана Андреевна продержалась до самого конца. Я быстро усек, что вспоминать вырезание капитанского аппендикса для Светланы Андреевны то же, что пить нектар, амброзию и бальзам литрами. И не ленился задавать ей вопросы о штормовой операции. В результате Светлана Андреевна относилась ко мне благожелательно и теперь вот принесла мед. Попутно она сообщила, что экваториальная русалка Виала из Сингапура отправлена на родину.

Затем пришел рефрижераторный механик. Реф закрыл за собой дверь на ключ, вытащил из кармана шорт склянку, поколдовал над умывальником и подал стакан жидкости, сизо-фиолетового, как небо перед вечерней грозой, цвета.

— Лакай! Завтра будешь здоров!

— Технический? — спросил я.

— Да. Пей сразу. Не нюхай!

— Только дураки нюхают технический спирт, — сказал я авторитетно, потому что в свое время вылечил им язву двенадцатиперстной кишки, и глотнул. Впечатление было такое, что в желудке вспыхнул спичечный коробок, который я закусил хорошим куском горячей резины.

Так я первый раз в жизни выпил денатурат.

Реф, чтобы успокоить меня, показал склянку. На этикетке был смачно напечатан череп и две берцовые кости.

— Говорят, от него слепнут, — сказал я и икнул.

— Говорят, что кур доят, — сказал реф. — А у меня зрение как у беркута! Будь здоров и не дыши на доктора — у него нервы интеллигентные!

Реф ушел.

Я плавал в своем поту.

Кондишен был выключен. Запах денатурата, и ощущение не опьянения, а тяжелого обалдения. Я поднялся и открыл окно каюты. Океан без горизонта был вокруг. Мы уже оторвались от Суматры. Я четко сказал в окно: «Океан, ты напоминаешь мне сейчас человека, который по рассеянности забыл в такси урну с прахом, когда возвращался из крематория, где сжег двоюродного дядю! Привет!» Я произнес эту длинную фразу четко и ясно, но произносил ее все-таки не я, а кто-то со стороны. В каюте было два Виктора Конецких. Оба они с любопытством наблюдали друг за другом. Довольно жуткое ощущение.

— Почему ты не поехал на экскурсию в зоосад? — спросил один.

— Когда вернусь, схожу на экскурсию в Военно-Морской музей или в Кунсткамеру, — пытался уклониться от прямого ответа второй.

— Почему ленинградская кунсткамера тебе интереснее сингапурского зоосада?

— Потому, что туда пускают бесплатно, дурак!

Я с большим трудом воссоединил себя и лег в койку. Судно мягко покачивалось на зыби. В окно задувалдушный, спокойный ветер.

Тайны Востока клубились в небесах. Прямо по курсу был архипелаг Чагос. С правого борта жили огнепоклонники — парсы, удравшие из Ирана от арабов тысячу лет назад. Блестящий эпицентр современного мирового раз-

врата и роскоши — «Бич люксори отель» — исправно приносил доход семейству миллионеров, исповедующему зоорастризм. Там мерзкие птицы клевали покойников на радость туристам. К белому прибою спускались сады, пышнее и прекраснее которых нет на свете. Под сенью этих садов спал Заратустра. Он называл свои сны отважными моряками, полукораблями, полувихрями. Он знал, что мудрость — женщина. Ему хотелось быть смелым, беззаботным, своевольным и насмешливым. Он мог поверить лишь в бога, ликующего в танце.

Денатурат даже обострял мое зрение. Я видел Заратустру во всех деталях. Он стоял на мысу и держал в руках весы. Косматое, ласковое море катило к нему волны, оно было его старым, верным, любимым псом. За ним шумел на ветру его любимый, могучий, ветвистый дуб. Три тяжелых вопроса бросил Заратустра на одну чашу весов: «По какому мосту переходит Настоящее к Будущему? Что за сила неволит Высокое к низкому? И что заставляет еще Самое Высокое расти в Высоту?» Тяжелее этих вопросов не придумаешь, но чаши весов не дрогнули. Ровно висели чаши весов над волнами прибоя, в тени старого дуба, потому что три ответа уже уравнивали вопросы. Мне оставалось чуточку еще напрячь зрение, чтобы увидеть ответы, но вошел Георгий Васильевич.

Хороший капитан обязан навестить заболевшего помощника.

Я затаил дыхание. Это было безнадежное дело. Если можно довольно долго терпеть за пазухой лисицу, пожирающую ваши внутренности, то удержать в себе пары денатурата дольше одной минуты не сможет даже ловец жемчуга в Японии. Кроме того. Денатурат не только удивительно обострил зрение, но еще снял все тормоза с языка. Хотелось поговорить о чем-нибудь философском, раскрыть какую-нибудь интимную тайну, поделиться каким-нибудь несуществующим, только сей момент придуманным литературным замыслом.

Георгий Васильевич повел носом и поинтересовался моим состоянием.

— Температура еще высокая, но кризис уже позади, — сказал я. — Георгий Васильевич, как вы думаете, зачем я плаваю? Мне надо написать роман о человеке, который залез в большую рыбу.

— Зачем он туда залез?

— Не «зачем», а «почему». Он залез туда со страху. Испугался жизни и залез в рыбу... Еще древние знали,

что человек; человеческая жизнь, человеческая душа — волна. Вот поглядите в окно... Видите — идет волна? И вот ее уже нет, исчезла навсегда, никогда не будет больше в мире этой волны. Но вы же сдавали экзамен по океанологии. Волна никуда не исчезла. Волна осталась в океане. Волна бессмертна. Теперь возьмем свет. Он — и волна, и частица одновременно...

— Вы вот что, Виктор Викторович, лечитесь, но... не очень. Иначе я выпишу вам какой-нибудь свой рецепт! В приказе, например, по судну. Иногда помогает от инфекции. По своему опыту знаю. И еще. Как это вы умудрились бросить на китайца-агента горящую изоляцию? Мне ваш старый друг Перепелкин доложил.

— Кроме своего основного вреда дураки приносят еще побочный, — сказал я. — Умным людям приходится тратить уйму времени на то, чтобы о дураках думать или разговаривать; затраты эмоций, умственной энергии, времени по поводу дураков — бич человечества!

— Успокойтесь, — сказал капитан. — И напишите потом объяснительную. Вам, как писателю, это раз плюнуть. И не вздумайте встать на вахту без разрешения доктора. Справимся как-нибудь и без вас. А если природа создает дураков, то значит они нужны. Умных следует разбавлять дураками. Обязательно. Как уран разбавляют в урановом котле графитом, чтобы не было взрыва. Доложите о китайце.

— Китайский мудрец Шан Ян за двадцать четыре века до вас уже высказал вашу мысль, — словоохотливо понес я. — Он заметил, что красноречие и острый ум создают беспорядки. Мао отлично знает историю китайской философии и...

— Ближе к делу.

Пришлось перестать философствовать. Я закурил, чтобы капитан перестал морщить нос, и рассказал все точно и скупо.

После приобретения в Сингапуре радиоприемника мы с радистом занялись проводкой кабеля из каюты к главной судовой антенне на мостике. Обрезать изоляцию с проводов я не люблю так же, как склеивать бумагу. Изоляцию я обычно поджигаю, а когда она расплавится, сдергиваю с провода — и порядок. Провод оказался иностранный, вспыхнул бикфордовым шнуром, потушить его никак не удавалось, и я бросил его с мостика за борт. Горящий иностранный провод упал точно на китайца-агента,

который спускался по трапу в шикарный катер. Провожал агента мой друг Перепелкин. Вопли агента произвели на него гнетущее впечатление. Он прибежал на мостик и спросил: «Вы это нарочно сделали?» Я сказал, что да, нарочно. Агент в Сингапуре — это очень богатый человек, слуга монополий, сосущий кровь из обездоленной Азии. И я его наказал. Старый друг Перепелкин заявил, что мой поступок может осложнить отношения между республикой Сингапур и СССР, очень хорошие; здесь даже есть лавочка, на вывеске которой написано русскими буквами: «Москва»...

— Мед Светлана Андреевна принесла? — спросил капитан, выслушав мои объяснения.

— Да.

— Ну, спокойной ночи!

Он ушел, оставив в моей душе странное чувство. Он нравился мне на судне больше всех спокойствием, не показным, а натуральным доверием к людям, самоиронией и уверенной властью, если она требовалась. Но отношения наши были сугубо официальными, и это не давало возможности узнать его поближе. Думаю, мою попытку сблизиться он воспринял бы как ненужные сантименты даже на берегу, вне сферы служебных отношений.

Прогретый горчичниками, денатуратом и чаем с сотовым медом, я ночью блаженствовал, несмотря на отвратительное физическое состояние. Беззаботность. И приемник, чуткий, как ухо лани.

Я ведь вообще-то грустный человек. Я, например, люблю, когда сады закрыты ранней весной на просушку. И мне нравится грустный бог, если он есть, а не бог, ликующий в танце. Высокая температура во время болезни способствует развитию во мне лирической грусти. И я люблю грустную музыку, когда я болен. Мне тогда бывает жалко себя, но без горечи. Печаль от сознания жизни как короткой волны в безбрежном океане бытия светла. Честолюбие молчит, заботы не тревожат. Пожалуй, я по-настоящему живу только тогда, когда болен. Только тогда я живу моментом, ощущаю каждый момент бытия, не думая о мостиках, по которым настоящее переходит в будущее. И мне делается наплевать на те силы, которые неволят высокое к низкому. И мое высокое, если оно есть, не растет никуда.

За окном каюты был все тот же океан, и та же темнота, и дальняя, и дальняя дорога, по которой не угрючо,

не весело шел вперед «Невель». Тихо горела над головой колючая лампочка. Лежали рядом книги Стендаля, Грина, Голсуорси, Сименона. Висел приемник. Женщина пела с чужим акцентом: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»

Я слушал прозрачную печальную песню, за которой почему-то чудился Пушкин, и вспоминал его последние слова: «Прощайте, друзья!» Так сказал он не людям вокруг, а книгам на полках кабинета вокруг своего узкого дивана. И я пережил минуты счастья от того, что есть в мире искусство и книги, а за искусством и книгами были, есть и будут светлые люди.

Почему мы чаще всего запоминаем на всю жизнь — до смертного даже часа — нечто из искусства: песню, строку стихотворения, улыбку женщины на старинном холсте? Почему так редко встретишь человека, запомнившего навечно момент своего собственного жизненного счастья?

У меня на руках умер мужчина, старый солдат, который вдруг вспомнил фильм «Большой вальс» и попросил напеть ему «Сказки венского леса». Если бы я мог их напеть! Девушка-радистка с рыболовного траулера, погибшего в Баренцевом море, первый раз разрыдалась уже в безопасности на борту спасателя «Вайгач», когда вспомнила, что с судном утонула книжка Виноградова «Три цвета времени». У девушки были обожжены электролитом руки, она работала на ключе до самого последнего момента. Я стыдил ее тем, что нельзя плакать о книжке, когда погибло судно. «Он был такой хороший!» — сказала она сквозь рыдания. Она говорила о Бейле. Быть может, волна радости и счастья, поднятая прекрасным искусством, да еще совпавшая с волной внутреннего настроения в этот момент, взрезается в память души глубже, нежели красота непосредственной жизни? И потом Бейль всегда мог быть с девушкой-радисткой, она в любой момент могла прикоснуться к нему, он не мог изменить ей и совершить дурной поступок, он всегда готов был разделить ее одиночество и смягчить грубость окружающего мира. Но, быть может, все это относится только к нам, потому что, как сказал Бейль: «Север судит об искусстве на основании пережитых ранее чувств, юг — на основании того непосредственного удовольствия, которое возникает в данный момент».

Я провалялся двое суток, глотая самые разные лекарства и самые разные книжки. Десятого сентября вышел на вахту слабенький, как новорожденный котенок. Рубка казалась огромной, секстан пудовым.

В пятнадцать часов мы в третий раз пересекли экватор.



ЧАСТЬ



***МОРСКИЕ
СНЫ***

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

15.09.69

Идем из Сингапура на архипелаг Каргадос.

Жара. Средней силы пассат — в корму слева.

Матросы мажут суриком грибки вентиляторов. Карминные пятна на белом — сильный контраст под полуденным солнцем. Матросы полуголые, в немыслимых шляпах, панамах, и не торопятся. Никто никуда не торопится.

Пижон бродит по крыше носовой надстройки — это под окнами рулевой рубки; Пижон ищет тени, но он уже привык к жаре, он не так ищет тени, как развлечения в полуденной скуке. Изредка, чтобы показать, как ему тяжело, Пижон вывешивает язык.

Дебелый кок вылезает из бассейна на крышу надстройки, он в плавках; Пижон ему надоел. Пижон знает это и наблюдает за коком издали.

На палубе матрос Зайцев стрижет желающих под ноль. Юго-восточный пассат уносит отстриженные вихры за борт в Индийский океан. Свежеостриженные головы белеют на загоревших плечах.

С полдня моя вахта. Одну высоту Солнца я уже взял и посчитал линию. Разность высот всего восемь десятых минуты — ясно, что мы на курсе. Мне тоже все лень и нечего делать. Я смотрю сверху на Пижона и на медленную судовую жизнь.

Хожу с крыла на крыло.

Океан и светило спят глаза даже через темные очки. Над горизонтом — серые от жары, мутные облачка хорошей погоды. С наветренного борта волны темнее, синее, гуще; отшатываясь от борта, рождают короткие и злые радуги брызг. Облачка с противоположной солнцу стороны розоватые, мелкими клочками. Ветер прохладный, разом снимает с плеч распашонку и залезает в карманы шорт, ставит дыбом волосы. Если специально прислушаться, вдруг замечаешь, что волны ударяют в борта сильно, что это крупные океанские волны. А если специально не прислу-

шиваться, ничего не заметишь — так привык к вольному шуму, белым гребням, кольцу горизонта.

Постояв на наветренном борту, я вдруг с удовольствием чихаю. От трепыхания одежды на теле начинает зудеть кожа плеч и рук. Я перехожу на правый борт и попадаю в пекло. Здесь волны замедленные, умиротворенные, металл раскален.

На воде появляется овальное темное, четко очерченное пятно. Пятно извивается на волнах и плывет рядом с нами. Его размеры такие, как у судна, — метров сто в длину. Это тень крошечного облачка, которое повисло между нами и солнцем на высоте около километра.

Облачко отворачивает вправо, его тень начинает обгонять нас и отходить к горизонту. Отходя, оно теряет овальную форму и делается все уже, наконец превращается в черту на воде.

Скучно. Рассматриваю локти — один ссажен и с него сходит кожа. Прихожу к выводу, что локти не самое красивое место человеческого тела. Правда, им, беднягам, достается.

Кто-то с палуб запустил бумажного голубя. Голубь высоко и стремительно взлетает, потом долго планирует и наконец расплывается на волне и исчезает.

Иду взглянуть на огород. Чахлая редиска и лук в ящиках все-таки борются за жизнь. И пожалуй, они победят.

Хочется на землю. Хочется лечь в тени деревьев на берегу реки или между двумя рядами картофельных кустов, среди шершавой и мягкой картофельной ботвы, близко видеть фиолетовые и желтенькие картофельные цветки, такие красивые, когда смотришь на них близко. И شمели вокруг...

Корма описывает над океаном эллипс — вверх-вправо-вниз-влево-вверх-вправо...

На самой корме стоит и смотрит в кильватерный след мастер. Одна нога на релинге, локти тоже. Так он будет стоять долго. Он всегда один, даже когда общается с кем-нибудь. Так мне продолжает казаться.

Захожу в штурманскую. Кондишен ледяным, погребным холодом дышит в затылок. От нечего делать листаю лоцию пролива Ла-Манш — хочу уличить Жоржа Сименона в лице. Я прочитал его «Президента». Президент живет по точному адресу — возле маяка Антифер в селении Этрета. Меня очень интригует смелость Сименона — неужели он взял кого-нибудь из подлинных личностей за

основу Президента? И как он отделялся от вопросов местных знатоков, если поселил Президента в подлинно существующем месте?

Сименон оказывается смелым человеком — я нахожу в лоции и маяк Антифер, и селение Этрета... Хорошо там сейчас, думаю я, в заливе Сены, в конце сентября, среди холмов, покрытых лесом.

Мыс Антифер — высокий и округлый, высоко вздымается над прибоем отвесной стеной меловых утесов среди темной зелени лесов. В долине, выходящей к морю, спокойно смотрят на мир окна дач Этреты, отдыхают на прибрежной гальке вытащенные на берег рыболовные суденышки, молчит старинная часовня Нотр-Дам-де-ла-Гард, а вечерами мерцает на берегу подсвеченный памятник погибшим морякам, рыбакам или воинам... И мимо всего этого тихо струит воды Сена, становясь соленой морской волной...

Я отмечаю время — 14.00, записываю отсчет лага — 78,4, отмечаю пройденное за час расстояние — 11,4 мили. Через тридцать минут можно брать второе Солнце.

Светило не грозит исчезнуть в облаках, и горизонт устойчиво четок — обычное дело, когда знать свои координаты не очень важно. А когда прижмет, солнце обязательно станет таким лохматым, как подушка, из которой вылетают перья, или горизонт будет дымиться...

Вахта перевалила за половину. Я вспоминаю, что на пеленгаторном мостике сушится линеметательный аппарат. Тропические ливни сделали свое дело — ящик оказался на треть залитым водой. И вот теперь линии, ракеты, запалы сушатся наверху.

Поднимаюсь на пеленгаторный мостик и вижу, что мой линемет отодвинут в сторону, ракеты сложены в кучу, а на ящике лежит и загорает Эльвира — младшая буфетчица. Она лежит на животе — лифчик расстегнут и груди расплющены о подстилку. Эльвире хочется, чтобы и следа от лифчика не осталось на ее тропическом загаре.

— Я линии вытащил сохнуть, — говорю я Эльвире. — А вы что тут наделали?

— Ах, я не знала! — врет она, прикрывая с боков свои расплющенные груди, которые отлично просматриваются, потому что она вся уже черная, а груди белые и просвечивают между пальцами. Бесовские мысли возникают в моей целомудренной голове, и я покидаю Эльвиру. Бог с ней и линеметом.

Спускаясь с мостика, вижу электриков, которые заливают электролит в аккумуляторы.

По трансляции объявляют, что на банке Каргадос состоятся соревнования по ловле тунцов.

Пижон нашел грязную веревку и таскает ее по крыше надстройки, терзает под солнцем. Кто-то лениво отбирает у пса веревку, пес лениво отдает...

И после такой мирной вахты мне почему-то снится, что я приговорен к смертной казни через повешение. И все есть во мне — обида, потому что я ее не заслужил, смертную казнь через повешение, жуть и страх неизбежной смерти, судорожные попытки найти выход и бежать, но бежать нельзя по моральным соображениям — меня стережет человек, которого нельзя подвести...

16.09.69

Ночная вахта начинается и заканчивается борьбой с эхолотом НЭЛ-5. Все тот же закон: пока плывешь на глубине в пять километров, эхолот отлично работает, потому что абсолютно никому не нужен. Но вот мы подходим к островам Каргадос, должны задеть край банки Назарет и по глубинам на этой банке опознать место.

А эхолот показывает то стада тунцов, то джунгли кораллов, то ровный асфальт строевого плаца, то есть показывает он все, что я хочу представить себе под килем нашего теплохода. Кроме истинной глубины.

По десять минут стоим мы с капитаном, уперев тупые взгляды в эхограмму, которая ползет через валик, потрескивая под искрой пробивного тока. Эхолот бастует.

Радар возьмет островок Альбатрос, на который мы выходим, оставив по корме диагональ всего Индийского океана, в лучшем случае в десяти милях, а мы не можем наступать глубины подхода.

Старый НЭЛ-3 был куда проще, а потому и надежнее, так считаю я. Черт с ними, с самописцами и прочим, я и без них обойдусь, если есть хороший импульс...

Так и не взяв глубины, ухожу спать.

Около восьми утра просыпаюсь от грохота якорной цепи и вибрации заднего хода.

Утро солнечное и тихое. Милях в двух желтеет узкая

полоска песчаного берега островка Рафаэль, поверх песка густая и не очень зеленая шапка кустарников. И почти по всему горизонту салатно-зеленая и нежно-голубая полоса мелкой на рифах воды, а за ней, с дальней стороны островков и рифов, тянется мощная полоса белых бурунов — там расшибаются волны, пригнанные юго-восточным пассатом.

Кто знает архипелаг Каргадос-Карахос? Я, например, узнал об его существовании только тогда, когда увидел английскую карту № 1881.

У многих в крови любовь к старинным картам. Я их тоже люблю. Но не тогда, когда надо вести судно по старинной карте. Невольно почешешь в затылке, когда прочтешь: «Архипелаг Каргадос-Карахос нанесен на карту сэром Эдвардом Бельчаром в 1846 году». А восточные берега рифового барьера в 1825 году обследовал лейтенант Мюдже со своими людьми на вельботе. Он проник на восточную сторону рифов с западной, так как «ни одно судно не отваживалось подойти к рифам с мористой стороны». Лейтенант был смелым человеком и отчаянным моряком. О рифы, которые он обследовал, разбиваются волны, начавшие разбег от берегов Индонезии и Австралии. Даже в бинокль жутковато смотреть на мощные фонтаны прибоя с мористой стороны барьера.

Конечно, карту корректировали. Но и последняя корректура была в июне 1941 года. За двадцать восемь лет океан и кораллы наворотили здесь уйму неожиданного. Уже по сведениям 1944 года обнаружено много островков, не нанесенных на карту № 1881. Никаких иных карт архипелага во всем мире нет.

Архипелаг Каргадос-Карахос. Плоские и низкие островки на коралловом рифе, вытянутые с юга на север на двадцать семь миль.

Остров Фригит изобилует крысами. Остров Пол — к нему можно подойти только на местных пиробах. Остров Рафаэль — здесь растет несколько деревьев и кокосовых пальм, есть хижины и сарай. Высадка наиболее удобна на юго-восточной оконечности, сюда между осыхающими скалами, лежащими в полукабельтове к югу от острова, идет шлюпочный фарватер.

Периодически острова посещаются частной промышленной компанией с острова Маврикий, которая заготавли-

вает здесь соленую рыбу, черепаховую кость и добывает гуано.

Приливо-отливные течения с западной стороны острова Рафаэль местами достигают большой силы, особенно течение, идущее на норд.

Архипелаг принадлежит Британии, администрация — на Маврикии, до которого двести двадцать миль.

Капитан приказал мне сходить на разведку, попробовать найти людей на Рафаэле и испросить разрешение на проведение Дня здоровья. Так на официальном языке называется купание, загорание и ловля рыбы.

Прежде чем идти, я долго общался с сэром Эдвардом Бельчаром и лейтенантом Мюдже. Карту не рассматривают. В карту погружаются. И глубина погружения равна глубине твоего опыта. Бог знает какое сцепление и мешанина мыслей, интуиций, смутных воспоминаний об аналогиях; пересчеты английских саженей на метры, напряженная попытка ощутить направления не по компасу, а мозжечком; зыбкие видения будущих реальностей за условными обозначениями — и все это без словесных формулировок. Какое-то сомнамбулическое состояние. Оно, если обстановка не торопит, может продолжаться часами. Так, вероятно, знатоки живописи погружаются в картину. И вдруг сверкнет решение: «Пойду на ост до стоящей там на якоре шхуны, она милях в полутора от Рафаэля. Ветер зюйд-ост шесть — будет в бейдевинд, волна не так заливать станет. От шхуны пойду на зюйд-вест нащупывать шлюпочный фарватер, о котором сказано в лоции. Если шхуна стоит здесь, то имеет связь с берегом. Пролливчик со шлюпочным фарватером открыт с восточной стороны, значит туда вкатывает зыбь, оставшаяся после прибойных волн. Конечно, эти волны потеряли на рифах силу, но зыбь все равно будет та еще! И никаких отметок глубин сэр Бельчар здесь не оставил. Пролливчик огражден осыхающими камнями, значит и грунт — камень скорее всего. Здесь ушки держать на макушке...»

Никакой бейдевинд не помог. Вельбот заливало брызгами. Помпа, конечно, отказала сразу, как и все помпы на этом свете. Вероятно, только у Харона, который перевозит в ад покойников, никогда не отказывает помпа.

Шхуна называлась «Сайрен». Очевидно, в честь островка Сайрен, который южнее Рафаэля. Приписка шху-

ны — Порт-Луи, Маврикий. Ни одной живой души на палубе не было. Мертвое судно.

От нее мы пошли на проливчик. Заливать стало еще больше — ни одной сухой нитки, воды — половина вельбота. Глаза забивало брызгами, соль Индийского океана мутила зрение, очки не помогали, бинокль тоже не помогал. Да и глазеть в бинокль на летающем по волнам вельботе — бессмысленное дело. А глядеть надо было. Никаких «осыхающих скал», ограждающих проливчик, я не находил. Вместо них врывалась из воды низкая песчаная лепешка, поросшая кустиками. Сам проливчик заполняли подводные скалы, и на них вскипали буруны. Вперед видно было очень плохо, зато прозрачность воды была удивительной, на глубине метров в пятнадцать отлично видны были камни; изменение цвета воды над грунтом и камнями на разных глубинах было отчетливое — от нежно-зеленого, как первый весенний листочек подснежника, до темно-грубо-синего.

В проливчик, как я и ожидал, шла крупная зыбь. Поворачиваться к ней лагом было опасно, и мы продолжали переть в буруны, надеясь, что среди них вдруг откроется щель. Так часто бывает. А часто и не бывает.

На самом малом мы ползли между бурунов на зыбь и два раза крепко стукнулись о камни. После второго раза я застопорил дизель, приказал взять отпорные крюки на упор, всех свободных послал в нос, чтобы поднять корму и сбереечь винт. И вельбот, глубоко колыхаясь, подрейфовал к южной оконечности Рафаэля. До этого я остров и не видел — так поглощен был управлением неуклюжей посудиною.

И вот увидел близко деревья, пальмы, клонящиеся под ровным натиском пассата, услышал их густой шелест и вздохи древесных крон.

А мы здорово отвыкли от деревьев.

Потом увидел штук семь домиков-хижин. Между берегом и домиками стоял высокий крест из светлого камня с одной перекладиной. Правее креста метрах в ста лежали пироги, вытасщенные на мелководе лагуны.

Из тени деревьев вышла группа негров, они подавали руками сигналы, напоминающие международный семафор для терпящих бедствие на берегу. Мы были уже метрах в двадцати от уреза воды, румпель задрожал в руке — руль коснулся грунта. Грунт был каменный, и я за-

вопил: «Пошел все за борт! Бери на руки!» Матросики с восторгом попрыгали в зыбь, вельбот облегчился, камень сменился галькой, галька — коралловым песком, и мы приехали.

Негры перестали махать конечностями, но к нам не пошли, стояли тесной группкой метрах в ста. Это была голь перекатная, несчастная и забытая.

Я припас презент — пять пачек сигарет «Новость» и альбомчик открыток с зимними видами Ленинграда. Вооружившись противогазной сумкой с дарами, прыгнул за борт и вышел из синего моря на ослепительный под солнцем коралловый песок. Деревья шумели замечательно, но от хижин пахло дрянью.

Мужчина лет пятидесяти, обросший бородой, как Робинзон Крузо, в тропической шляпе-шлеме, в рваном, но европейском одеянии пошел навстречу. Один пошел. И не доходя шагов пять остановился, зажестикнул, заговорил быстро. Совместными усилиями мы разобрали «олл ил». Прибавив к этим словам жесты, мы получили дедуктивный вывод: «Здесь все люди больны заразной болезнью, уходите немедленно!»

Я сложил сигареты «Новость» и снежные виды родного города на раскаленный тропическим солнцем коралловый песок. Получилась симпатичная кучка. Робинзон облизнул усы.

«Можно?» — спросил я и показал на остров Сайрен.

Он сказал: «Олл айлендс!»

«Куда угодно, кроме Рафаэля» — так поняли мы.

И здесь я вдруг вспомнил журнал «Мир приключений».

— Проказа! — заорал я. — Пошел все в вельбот!

И мы сами не заметили, как миновали буруны, камни, проливчик. Правда, теперь нам помогали и зыбь, и попутный ветер.

Решили навестить Сайрен, что, между прочим, означает «Сирена». Пускай она сплетет нам свои песни, думал я. И пускай на Рафаэле не будет большой драки: если этот белый не очень крепко держит в руках свою толпу, то там, позади серого креста, между куч разлагающихся отбросов, в тени пальм, при дележе презента получится крепкая потасовка.

Но это уже нас не касалось. Главное было выполнено — получено разрешение на высадку.

В лоции об острове Сайрен говорилось только, что возле берегов есть несколько подводных камней. Уже хорошо — значит, не сплошь камни.

Мы стали на якорь метрах в пятидесяти с подветренной стороны. Ближе было не подойти. Накат, как всегда возле маленьких островков в океане, почти не зависит от направления ветра. Зыбь обнимает, обходит островок.

На острове курчавился кустарник, и над ним висело плотное орущее облако — сотни тысяч птиц.

Я был достаточно глуп, чтобы стянуть с себя джинсы и рубашку. И достаточно умен, чтобы прыгнуть в воду, не снимая сандалет. За пояс плавок я засунул авоську — для морских ценностей. Но я, конечно, не ожидал, что ценностей окажется столько.

Едва вылез из прибоя, разбив колено о камень, едва отфыркался от соли и очухался от неистовых птичьих криков, едва глаза привыкли к слепящему сиянию раскаленного песка, как я увидел, что это вовсе не песок. Миллионы ракушек, кусочки кораллов, окаменевших морских ежей, звезд, панцирей, скелетов. Волна, смачивая раковины, заставляла их сверкать всеми цветами и оттенками.

И буйная, сумасшедшая жадность охватила меня. Я бросился хватать подряд все раковины и кораллы, совать их в авоську, как тот мерзавец, который пробрался в пещеру Али-Бабы и растерялся среди безмерных сокровищ.

Весь остров Сирены я с наслаждением погрузил бы в трюм. Вернее, береговую полосу, потому что за нее ступить было невозможно: птенцы, едва начавшие ползать, птенцы неподвижные еще, только таращившие ясные черные глазенки, яйца в ямках, мамы и папы, недвижно и жертвенно сидящие на гнездах, — ступить в глубину острова невозможно было и на один шаг. Но я туда и не стремился, хватал раковины, выдергивал из земли ползучие странные растения, чтобы растить их в каюте. Кропотом рылся в береговом откосе, выворачивал пудовый коралловый остов, бросал его... Я был в пещере Али-Бабы; но сколько утянешь сокровищ, если с ними надо проплыть сквозь океанский накат полсотни метров?

И все, кто здесь был, как я, в первый раз, вели себя аналогично. Наконец я пришел в себя и просто зашагал вокруг Сирены, беспощадно обгорая на солнце. И я понимал, что сгорю на корню, но, черт возьми, говорил я птицам, а вдруг никогда больше не попадешь к вам сюда? А ведь плаваем мы, возможно, ради таких вот нескольких минут чужого, прекрасного мира; ради шума прибоя в ри-

фах и бегущего в воду краба; ради свидания с теплыми и сочными прибрежными растениями с их зеленоватыми зонтичными странными цветами; ради скользящей тени большой хищной рыбы в близких волнах; ради видения индийски-океанского мира вокруг...

«Не счесть жемчужин в море полуденном...»

Теперь не только песня Варяжского гостя стала зрима мне.

С мористой стороны островка океан гремел Бетховеном. И как у Рубенса на картине «Союз Земли и Воды», возвещая о благодатном и мощном союзе стихий, трубил в раковину небес Тритон.

Недаром Аллах, создавая в раю лошадь для Адама, дал ей одно крыло из жемчуга, а другое из кораллов.

И, как всегда, обидно было, что близкие тебе люди не видят всей этой красоты. Жадность к океанским богатствам была так остра еще и потому, что в каждой раковине и в куске коралла хотелось привезти с собой в зимний Ленинград частицу этого блистающего мира, ибо никакими словами или фотографиями не выразить влажной тяжести раковины, ее перламутровой, жемчужной гладкости внутри и морщинистой поверхности, не передать вкуса соли и силу солнца, которые создали чудо коралла.

Пижон был взят на вельбот и был проташен сквозь прибой. Он ошалел от твердого берега, птиц, шелеста кустов. Он носился вокруг нас, боясь отбежать дальше десяти шагов, мокрый, радостный, наглотавшийся соленой воды, ничего не понимающий после недавней качки вельбота и чада дизеля. Да, вряд ли хоть один пес поверит Пижону, когда в старости он будет трепаться о своих морских приключениях.

Матросы ныряли с масками и лапами, доставали со дна живых огромных каракул, смертельной хваткой сжимающих створки, быстро сохнущих и сереющих на ветру и солнце. (Может быть, тридакны? Но всех моллюсков матросы зовут одинаково — каракулами.) Ловили плоских, серебряных, холодных незнакомых рыб с тремя черными пятнами на боку, такими четкими и аккуратными, как у индийских женщин на лбу.

Но все уже устали и оступели от впечатлений. А я еще побаивался акул. Их видели близко. И мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из ныряльщиков остался без ноги.

Выбрали якорь и с попутной волной побежали на судно.

А Пижон, опять вымокший во время доставки на вельбот, опять нахлебавшийся соленой воды, бесстрашно смотрел на удаляющийся прибой. Он показал себя существом пренебрежительного мужества, быстро забывающим пережитый страх, готовым повторить все сначала, хотя в воде он не выглядел героем и выпучивал глаза почище краба...

19.09.69

Якорные вахты спокойные. Ночью читал статью Томаса Манна «Анна Каренина».

Мани думал о ней, глядя в прибой, на берегу Балтийского моря.

Могучая сила наката возбуждала в его душе почтительное волнение, первозданную нежность, чувство приобщения к вечной стихии.

Он сидел на пляже, укутав ноги пледом, глядел на море, прибой, облака и думал об Анне Карениной. Он специально выбрал это место, потому что с детства чувствовал духовное родство с морем и эпосом. Море и эпос — две стихии, одна из них — образ и подобие другой, — так он ощущал и думал.

Падали и падали на равнодушный песок накатные волны, грохотали их мокрые тела, разбиваясь в пыль, и плавно рождались вновь. Корявые от ветров сосны цеплялись жилистыми корнями за дюны.

Старый немец писал на влажных от морского дыхания страницах.

Незримой сидела близко от него прекрасная женщина Анна, придерживая шляпу. Слепой грек, родившийся на северных берегах далекого Черного моря, трогал струны в такт волнам, он тоже был здесь.

Старый немец писал: «Эпическая стихия с ее величавыми просторами, с ее привкусом свежести и жизненной силы, с вольным и размеренным дыханием ее ритма, с ее однообразием, которое никогда не наскучит, — как она сродни морю, как море сродни ей! Я имею здесь в виду гомеровскую стихию, древнее, как мир, искусство повествования, тесно связанное с природой, во всем его наивном величии, во всей его телесности и предметности, непреходящее здоровое начало, непреходящий реализм. В этом — сила Толстого, сила, которой не обладал в такой мере ни

Один эпический художник нового времени, сила, которая отличает его гений — если не по масштабу, то, во всяком случае, по самой сути, — от болезненного величия Достоевского с его надрывом, с его гротескно-апокалипсическими картинами...»

А где-то в двух милях от меня, в черной тропической ночи на острове с красивым названием Рафаэль, спят и медленно умирают десятка два несчастных людей. Под бортом в свете траповой люстры ходят пять рыб-игл. По корме горят огни «Боровичей» — это наш космический близнец и побратим. Мы с ним одной судьбы, одной крови.

Болят обжаренная кожа.

Опять о надстройки разбиваются птицы. Я наконец понял, почему они не способны взлететь с палубы. Они не могут взлететь вертикально, им нужна взлетная дорожка, разбег по воде.

Я подошел к одной, она забилась, от страха отпрыгнула что-то белое, что, вероятно, несла детенышам. Я не решился взять ее в руки. Даже курицу мне неприятно брать в руки. Трепыхание живого в руках жутко мне с детства. Это касается и рыб. Но это и не страх, что живое укусит, главное в чем-то другом...

ОСТРОВ КОКОС

...Низкий, 2,5 мили в длину, лишен растительности, и только в средней части его есть пальмы, растущие двумя группами, между которыми стоит одиночная пальма.

Лоция Индийского океана

Доктор упрекнул меня в том, что я мало и неправильно загораю.

К этому времени я уже знал, что я не змея. Змея разом вылезает из старой кожи, а у меня этот процесс после поездки на Сайрен проходил мучительно медленно.

Сам доктор сбрил волосы на голове, потому что ультрафиолетовые лучи не проходят якобы через шерсть. Тут я и прочитал ему краткую научную лекцию.

— Доктор, вы когда-нибудь видели тигра, который загорал бы, сняв шкуру? Если ультрафиолетовые лучи действительно не проходят сквозь шерсть, то вы нигде

и никогда не смогли бы купить меховую шубу. Как вам известно, волосатые животные не бреются, они сплошь покрыты шерстью. И даже наша ближайшая родственница обезьяна имеет обнаженным только одно место. То самое место, которое редко кто из людей показывает солнцу. И это место, короче говоря зад, плевать хотело на солнце. Оно проводит жизнь в кромешной темноте и отлично там себя чувствует. В этом отношении оно схоже с летучими мышами. Они тоже всегда живут в темноте. Если бы пушные звери испытывали необходимость в загаре, они в процессе эволюции избавились бы от шерсти. И вы остались бы без мехового воротника. Читайте Дарвина, док!

И я прыгнул за борт вельбота в рубашке, штанах, сандалетах и коричневой французской кепке, под которую я сунул курево и спички. И поплыл на остров Кокос.

— Вы плаваете, как летучая мышь, — заорал он мне вслед.

Ну что ж, я оставил за ним последнее слово. Мне хотелось быть одному. Одному на Земле.

Берег острова оказался из обыкновенного, только очень мелкого песка. Идеальный пляж. Не скоро еще здесь поставят зонтики и будки для переодевания.

За пляжем был маленький обрывчик. Я влез на него. Заросли кустарников, пальмы, и под ногами плотный зеленый мат из ползучих растений и трав. И запах нагретых солнцем растений, оранжерейный. Пассат не может пробиться сквозь заросли и унести этот запах.

Я пошел в глубь острова. Тишина зноя была вокруг. И крики птиц не нарушали знойной тишины. И жужжание бесчисленных мух тоже не нарушало тишины. Как будто не существовало рядом океана с его вечным гулом. И только когда ступал на высохшую ветку, ее треск грохал выстрелом. Ветки казались, конечно, гадами. И скоро стало неуютно от непривычности окружающего островного мира. Здесь легко было представить себя потерпевшим бедствие. Вот я выбрался на этот островок, выполз из прибора, один, товарищи погибли, тишина гробовая, хотя жужжат мухи, шелестят вершины пальм. Все отчужденное, как лес в записках моего сумасшедшего, все живет само по себе, не обращает на тебя внимания; а что тут живет, ты не знаешь, кто выйдет или выползет из кустов, почему они шевельнулись?

И в то же время какая-то мягкость, умиротворение, ласка и нежность касались души. Вечная душевная судо-

рога от сознания своих обязанностей, сложностей в отношениях с людьми, усталости, тоски по родному слабела. Жизнь Земли была так густа на этом крохотном островке.

Я вышел на противоположную сторону, увидел лагуну, отделенную от океанского простора бурунами рифов, увидел огромный позвонок с обломками ребер какого-то морского чудовища, выбеленные солнцем, окаменевшие раковины, и ветер сразу высушил на мне одежду.

Я сел на позвонок и закурил. Мне хотелось этот огромный позвонок увезти с собой, как когда-то на острове Вайгач хотелось украсть щенка — будущего вожака.

В блокадном бомбоубежище, в замерзшем городе я читал журналы с красными обложками «Мир приключений». И рассказы из этих журналов я помню лучше, чем блокаду. Быть может, потому, что ее я вспоминать не люблю.

...Капитан старой галоши в южных морях, у него слабеет зрение, надо поворачивать у островка с тремя пальмами, он их не видит, спрашивает стюарда... Галоша напарывается на рифы, тонет, пар булькает в котлах, капитан не уходит с мостика, шепчет, вцепившись в релинги: «Ну, сейчас, уже скоро, тебе немного осталось мучиться, сейчас станет тихо...» Он шепчет это своей старой галоше, он плачет от жалости к ней и тонет вместе с судном.

...Белый плантатор в джунглях юго-восточной Азии. Сумасшедшее одиночество. Плантатор замечает, что цветной слуга иногда исчезает. От скуки хочет выследить его, но высоко в горах, в чаще джунглей наталкивается на завал, из завала глядит ему в лоб винчестер. На прекрасном английском языке доносится: «Еще один шаг — и я стреляю!» Так плантатор узнает, что на горе живет прокаженный... Черная, душная, тропическая ночь, предгрозовая тяжесть и одиночество в ней. И плантатор представляет, в каком совсем ужасном одиночестве тот человек на горе, берет фонарь и начинает показывать вспышки в крошечном мраке. И ему отвечает вспышка... Они преодолели одиночество, они уже вдвоем в этом мире.

Я сидел среди экзотики и думал об авторах этих рассказов. Их имена люди давно забыли. Наверное, это были очень средние писатели. Но и средний писатель может написать рассказ, который несколько десятков лет сохраняется в памяти человека, если писатель знает то, о чем

пишет. Забытые авторы «Мира приключений» знали. Сквозь призму их рассказов глядел я на чужой мир.

Вернусь, думал я, пойду в Публичку, возьму журналы, перечитаю, составлю сборник забытых рассказов, верну к жизни имена давно умерших людей, напишу к сборнику предисловие — у меня хорошее получится предисловие. И на том свете вся компания авторов сборника явится в ад, чтобы поблагодарить меня и смазать кокосовым маслом мою сковородку. И вдруг подумал: а если рассказы окажутся ерундой собачьей? Ведь я потеряю тогда многое, и безвозвратно! Опасно возвращаться в прошлое.

И все-таки я умудряюсь вернуться в прошлое.

Я лезу на кокосовую пальму.

Метрах в двух от земли я понимаю, что уже не отрок. Правда, усвоенные в детстве приемы карабканья по карагачам и тополям вспоминаются с неожиданной четкостью и помогают двигаться вверх по шершавому, уступчатому стволу пальмы.

Пот заливает глаза, очень жалко штанов, купленных на Канарских островах, некогда белоснежных джинсов, но гроздь кокосовых орехов стоит джинсов — так утешаю я себя. Конечно, кокосовые орехи можно купить, совсем не обязательно самому карабкаться на пальму, но ведь в том-то и главная ценность будущего трофея, что я сам к нему добрался и сам сорвал.

Пальма обдирает живот даже сквозь рубашку, а я знаю, что при спуске живот страдает куда сильнее, не говоря о том, что спускаясь устаешь в два раза больше, нежели при подъеме. Но я продолжаю обнимать горячий ствол кокосовой пальмы.

Я уже выше зарослей кустарников, выше птиц, густо усеявших ветки кустарников. Все шире распаивается ширь океана. Я уже вижу белые точки родного «Невеля» и «Боровичей» на горизонте, бирюзовую воду и пену прибойной волны.

Сердце отчаянно стучит в серый горячий ствол. Далековато будет отсюда падать. Мухи сопровождают меня и на высоте, мерзкие мелкие мухи, липнущие к мокрому телу.

Еще немного, и можно вцепиться в нижний лист. Интересно, крепкие это листья или полетишь с ними вместе на птенцов и на пики кустарников?

Я пропихиваю себя в гущу шершавого коричнево-зе-

леного переплетения, упираюсь наконец коленкой в какой-то куцый, как кочерыжка, отросток и передыхаю среди мерного, отчужденного шелеста пальмовых листьев.

Вот они — орехи. Трясущейся от перенапряжения рукой дотягиваюсь до грозди. Как она тяжела — девять орехов, каждый килограмма по два.

Изворачиваюсь и так и этак, чтобы обломать гроздь. Забираюсь еще выше, чтобы пустить в дело ноги, но начинаю понимать, что затея обречена на неудачу. Внутри ветки как будто спрятан добротный манильский трос. А трос не поломаешь, его надо рубить. Рубить нечем. Зря я вишу здесь, распятый на веере пальмовых листьев. Болван. Разве могла бы пальма удержать среди океанских ветров такие тяжелые, огромные плоды на хрупкой ветке? Нет, конечно. И следовало бы подумать об этом на земле.

Будь неладен нож, купленный в керосиновой лавке на Петроградской стороне. Нож безнадежно заржавел после первого купания в соленой воде. И я не взял его на остров Кокос.

Сползаю по горячему стройному телу пальмы, обдирая дальше живот и запястья. Когда же наконец земля, черт побери!

Птицы и мухи кружатся вокруг и издеваются. Боже, во что превратились джинсы! И как красиво, безмятежно покачиваются девять кокосовых орехов на высоте девяти метров, среди коричнево-зеленого переплетения пальмовых листьев.

Долго сижу на корточках, курю. Раскаленные кусты пахнут терпко и странно, немного дурманят. Да, давно я не занимался физкультурой. Сердце молотит, во рту сухо. Но я не собираюсь сдаваться.

Шагах в пятидесяти растет другая пальма, толстушка и коротышка. До орехов не больше трех моих ростов. А в траве я обнаруживаю кусок ржавого железа неизвестного происхождения. Сюю в задний карман и атакую коротышку.

Добравшись до листьев, устраиваюсь удобно. Прямо перед глазами колышутся желтые фонтаны пальмовых цветов, нежные завязи, молоденькие орешки, похожие на желуды. Из центра кроны торчит чрезвычайно соблазнительная штука — свернутый будущий пальмовый лист с острым концом, размером в добрый метр.

Я начинаю терзать пальму с этого будущего листа.

Кручу, верчу, гну, пилю ржавой железкой. Я готов грызть его зубами. Он так туго запеленат сам в себя, в нем так много внутренней живой силы, он весь литой, как металл в чушках, — его обязательно надо повесить на стенке в каюте.

И вдруг из гнезда, где крепится лист, вырывается армия муравьев, крохотных и стремительных. Все прочитанное о термитах и тропических муравьях, на съедение которым кидают неудачливых путешественников, о глиняных горшках, набитых муравьями и надетых на руки туземных юношей, сдающих экзамен на звание воина, — сведения из «Мира приключений», — все это проносится в моем уже изрядно перегретом мозгу. Муравьи облепили рубаху, сотнями тонут в поту на коже, и я остро чувствую могучее земное притяжение. Внутренним взором я вижу белый и чистый скелет, аккуратно объединенный муравьями, висящий среди кокосов. Еще я предчувствую, что в ближайшие секунды насекомые доберутся до всех моих наиболее уязвимых мест, и тогда скипидар покажется мне шампунем. И в то же время я не могу бежать, пока не оторву чего-нибудь от пальмы — на память. Это желание сильнее страха и усталости.

И я вырываю три больших ореха и ветку пальмовых цветов.

Я весь покрыт муравьями. Скатываюсь вниз, долго встряхиваюсь, как собака. Зализываю ссадины на запястьях.

Эти вечные плавные поклоны пальм, колыхание их вершин — как гипнотические пассы. И куда девались попутчики? Почему не слышно голосов?

Я один на этом острове. Я хотел быть один. И я один.

Сгибаюсь под тяжестью трофеев, бреду к месту высадки. Пот заливает глаза. Мухи электронным облаком вертятся вокруг головы.

Натыкаюсь на хижину. Незакрытая дверь покачивается на петлях. Жестяной навес и заплывшие грязью бутылки. Несколько непонятных знаков, намалеванных смолой или углем на стене хижины. Тишина покинутости. Запах гниющего жилища. Площадка перед хижинкой поросла травой — давно тут никто не был. Хлипкая, нищенская хижина — неудачники и горемыки жили в ней, соленым был их хлеб. Остатки узкоколейки к берегу — что по ней возили? Гуано? Но его мало здесь...

Покинутое человеческое жилье жутко тем, что вдруг

в нем кто-нибудь окажется. Я не заглядываю в жизнь.

Слава богу — впереди слышится веселая ругань. На полянке матросы возятся с орехами, колупают их финками. Прощай, одиночество. Ты, конечно, необходимо, но все должно быть в строгой пропорции.

Прощай и остров Кокос. Чрезвычайно мало шансов еще раз ступить под сень твоих отчужденных пальм.

Читал Стендаля. Умный и далеко не сентиментальный, Бейль готов был, обливаясь слезами, поцеловать руку Байрону за «Лору»! А насколько Стендаль сегодня кажется современнее Байрона...

И почему-то вспомнился Пьер Лоти. Его «Исландский рыбак» и «История спаги». Отличные книги. А у нас забыт и считается бульварным. Он ближе мне, нежели Конрад. Он более трагичен под слоем экзотики и, как ни странно, кажется более достоверным.

Мы продолжаем стоять на якоре и ловить рыб.

Красота тропических рыб не может быть описана пером. Все цвета спектра, взятые в той чистоте тонов, которые видишь на срезе зеркала или на уроке физики, когда учитель в солнечном, весеннем классе говорит, что спрашивать сегодня не будет, а покажет опыт. Уже от первых слов учителя ты испытываешь наплыв жеребьячьего восторга, радости бытия и безоблачности впереди — до самых восьмидесяти лет. И тут учитель подбавляет вам радости: белый луч с традиционно пляшущими пылинками втыкается в призму и взрывается гремящими красками спектра. Вот такое переживание вызывает красота тропических рыб.

Мы не знаем их названий. И нет атласа промысловых рыб Индийского океана. Мы считаем ядовитыми тех, которые не имеют чешуи. Остальные идут в котел. До этого они плавают в рабочей шлюпке, прячутся от солнца в тень под банками. Мне, конечно, жалко их.

1. Аргус, прозванный Паноптес, т. е. всевидящий, — сын Агенора или Инаха, по преданию, многоглазый великан, поборовший чудовищного быка, опустошавшего Аркадию. Он задушил тоже змею Эхидну, дочь Земли и Тартара. Гера превратила его в павлина или разукрасила его глазами павлиний хвост. Первоначально многоглазый Аргус означал звездное небо. Миф Аргуса часто изображался на вазах и на помпейской стенной живописи.

2. Аргус — вид фазана, с чрезвычайно длинным хвостом, водящийся в Малакке и на острове Борнео.

*Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона*

«Аргус» — название крупнейшей международной морской, страховой компании.

04.10.69

Спал после ночной вахты.

Из динамика проскрипел голос старпома: «Электромеханику срочно в машину! Электромеханику срочно в машину!»

Я открыл глаза и полежал, раздумывая, что могло случиться.

Ритм вибрации динамо изменился, потом динамо вообще тихонько заглохло. И умолк шум воздуха в соплах кондишера.

Стало тревожно на душе. Отчетливо вспомнилось, как лет пятнадцать назад в поселке Дрозьяное на Кольском заливе вот так же сбавило обороты и вырубилось динамо на аварийно-спасательном судне «Водолаз». Я дежурил по кораблю. И когда спустился в машину и прошел в котельное отделение, то увидел плачущего коцегара Амелькина. Он заснул на вахте, упустил воду и сжег котел. А мы стояли в получасовой готовности и были единственным спасательным кораблем на весь Северный флот.

Амелькина судили показательным судом, получил он десять лет. Чем отделались остальные, и не помню. Сам

отделался легким испугом. Но с тех пор полная тишина на судне всегда будит в душе страх.

Я влез в шорты и поднялся в штурманскую рубку. На карте островов Каргадос-Карахос лежали две радиogramмы.

«Всем судам: советское спасательное судно «Аргус» сел на рифы Рафаэль широта 16.50 южная долгота 59.40 восточная требуется срочная помощь тчк все суда просим сообщить возможность ее оказания. Директор-маринер острова Маврикий».

«Радиоаварийная Владивосток. Последний раз слышали сигналы SOS шлюпочной радиостанции „Аргуса” 06.44 МСК указал свои координаты широта 16.50 южная долгота 59.40 восточная наши вызовы не отвечает 09.00 МСК буду указанной точке радар наблюдаю группу судов экипаже «Аргуса» пока сведений нет. Капитан т/х „Владимир Короленко”».

Под радиogramмами на карте 1881 было написано о лейтенанте Мюдже и его людях: «...они проникли сюда через рифы с западной стороны, так как ни одно судно не отважилось подойти с мористой стороны...»

— Что будете делать? — осторожно спросил я Георгия Васильевича.

Капитан расхаживал по мостику взад-вперед и имел явно недовольный вид.

— Что делать, если какой-то дурак разваливается на рифах? Приказал экстренно готовить машину. Механики оттабанили, и динамо вырубилось. Доклада жду.

Ну вот, подумал я. Через сто сорок четыре года нашлось все-таки судно, которое отважилось подойти к этим рифам с мористой стороны. Как они не услышали гула прибора? Как не увидели белой полосы наката впереди?

— Чиф успел запеленговать их SOS. Пеленг лег так, — показал капитан. — Возле островка Мейперт. Правда, SOS был очень слабый. Очевидно, работала аварийная рация и сядились аккумуляторы. Или работала шлюпочная рация, то есть они уже покинули судно.

Координаты, которые дал «Аргус», были далеки от пеленга.

— А сторону передатчика успели определить?

— Да. Он к востоку от нас.

— От них там должно остаться одно месиво, — сказал я.

— Посмотрим. Какая видимость была ночью на вашей вахте?

— Хорошая. Небольшая облачность.
— Зарева ракет не видели на облаках?
— Нет. И, честно говоря, я не очень разглядывал облака.

— Чего встали раньше времени?
— Динамо вырубилось — я и встал.

Он вышел на крыло, сунул руки в карманы шорт, спел:

Мать родная тебе не изменит,
А изменит простор голубой...

У него приятный голос, и, главное, когда он напевал, у него получалось настроение. Он умел передавать настроение, скрытое в словах и простой мелодии.

На семнадцати градусах южной широты солнце быстро поднимается над океаном. Оно поднималось над бледной полосой прибоя на рифовом барьере. Мир был вокруг. Океан блистал. В тишине раздался глухой взрыв. Здоровенная заглушка врезалась в фальшборт рядом с капитаном.

Капитан сохранил спокойствие и только кротко заметил, что если бы выхлопная труба не дала промаха, то ему, Георгию Васильевичу Семенову, была бы труба.

— Позвоните в машину, — приказал он. — Узнайте, что там еще случилось.

Вообще-то нам обоим было ясно, что впопыхах механики, запуская дизель-динамо, забыли открыть заглушку выхлопной трубы. В тропиках дыры надо обязательно закрывать — тропические ливни.

— В машине, — сказал я в телефон. — Чем это вы стреляете? Капитана чуть не убили.

— Чего-нибудь вылетело? — спросили из машины.

— Да.

— Это окунь, — сказали из машины. — Его электрики коптить повесили в выхлопные газы. Мы динамо запустили, окунь и вылетел. Под напором газов.

— Георгий Васильевич, — доложил я. — Это копченым окунем вас чуть не прихлопнуло.

— Ясно, — кротко сказал капитан. И приказал: — Сходите к радистам. Может, у них радиоперехваты есть. Дальневосточник «Короленко» к ним идет. Раньше «Тикси» их на буксире тащил. Тоже полным возвращается.

Начрации и радист Саня сидели в напряженных позах, вылавливали из эфира обрывки разговоров других

судов. Обрывки ни в какую картину не складывались: «...т/х «Тикси» неизвестным причинам на связь не выходит... слежу всех судовых частотах... предполагаемые координаты места посадки «Аргуса»... полагаю подойти... вашей просьбы будет достаточно... «Аргус» не отвечает... последнее сообщение было в адрес Москвы: оставляем судно... имеем РДО т/х «Тикси» на на св...»

Начрации сунул мне бланк радиограммы.

— Передай мастеру. «Тикси» давала на Владивосток.

«Радиоаварийная ВЛДВ. Ваш 642 зпт 646 обратился запросом директору навигации острова Маврикий просьбой высылки спасателя зпт вертолетов снятия экипажа «Аргуса» тчк получил ответ Маврикий нет вертолетов тчк еще раз обратился просьбой немедленной высылки спасения экипажа любых средств способных быстро оказать помощь тчк 647 связь «Короленко» поддерживаем он 09.00 московского должен быть месте аварии при получении ясности информирую незамедлительно тчк капитан „Тикси“».

Я передал радиограмму капитану и спустился в каюту. По современному морскому закону, если ты не на вахте, то можешь быть свободным. Что бы ни происходило — не твое дело. Если тебя вызовут на мостик, значит, ты нужен. Если не вызывают — занимайся чем хочешь.

Было неприятно, что ночью не сработала интуиция. В пятнадцати милях произошло несчастье, а я не почувствовал его. Телепатия отказала. Она много раз выручала меня, эта телепатия. Особенно при неожиданном сближении со встречным судном. Как будто кто-то толкнет в затылок: «Возьми бинокль!»

Морскую интуицию я объясняю обыкновенной физикой. Любое судно окружено магнитным полем, даже если оно прошло размагничивание по всем правилам, и гравитационным полем. И это поле воздействует на тренированный мозг. И ты вдруг стопоришь машину или включаешь радар. Все очень просто.

Сижу без дела в каюте, думаю о чем придется, а близко погребло судно, четыре десятка людей океан превращает на рифах в лохмотья. Жизнь дает мне сюжет, размышлял я, глядя на сохнувшие кокосовые орехи и желтые ветки пальм. Надо будет забрать у радистов копии всех радиограмм.

И поднялся в рубку.

Вахтенный третий штурман стирал с карт старую прокладку.

— Новое есть? — спросил я.

— Начальник во Владивостоке решил, что мы его подчиненные, — сказал Женья. — Командует. Он не знает, что над нами властвуют небесные светила и сам Папанин. Смотри РДО.

«Владивостока.

Аварийная пять пунктов.

Копия Москва Грузинскому.

Старшим капитаном спасательной операции назначается км «Владимир Короленко» Полунин, которому определить участки островов Каргадос, Рафаэль между судами «Тикси», «Боровичи», «Невель». Максимально используйте светлое время суток обнаружения экипажа «Аргуса». Случае безрезультатных поисков км Полунину направить одно судно галсами от южной оконечности Каргадос на восток связи возможностью уноса шлюпки сильным восточным течением. Км «Боровичи» «Невель» обязываю принять участие в поиске спасения, дать полную консультацию капитанам участвующим операции судов о течениях навигационных особенностях. Проявляйте определенную осмотрительность осторожность плавания этом рифовом неизученном районе ЧМ Бянкин».

Автору радиограммы, очевидно, казалось, что остров Рафаэль и острова Каргадос — разные вещи. А Рафаэль входит в Каргадос, как виноградина в гроздь. И «обязывать» нас принять участие он права не имел. Нами командовал дважды герой Папанин из Москвы. И мудрое распоряжение рыскать галсами по направлению восточного течения было слишком очевидным, чтобы засорять эфир лишними словами. А предложение капитану «Короленко» «разделить» острова между всеми нами было обыкновенным бредом. Там островов — кот наплакал. Там сплошной барьерный риф и отмели.

Но надо, конечно, взять в расчет, что между нами и ЧМ Бянкиным по прямой было около шести тысяч километров. Эта прямая секла половину Индийского океана, Цейлон, Бенгальский залив, весь сражающийся Индокитай, сам Китай, Желтое и Японское моря. Детали с такого расстояния видны плохо, а командовать начальство должно, иначе оно не будет начальством.

Из машины позвонили о готовности. Я вернулся в каюту. Старая, мудрая «Эрика», купленная на первый в жизни гонорар, покрасневшая от ржавчины, прошедшая со

мною по всем возможным океанам, спокойно смотрела на хозяина со стола. Она готова была вильнуть хвостом, если бы он у нее был. Она — мой верный пес. Она предлагала сесть за клавиши и оставить что-нибудь на память потомкам.

Погромыхивала якорная цепь. Я хорошо слышал ее, потому что открыл окно.

09 ч. 05 м. Снялись. Огибаем остров Кокос с юго-запада. Данные аварийным судном координаты не соответствуют действительным, так как мы уже возле них, а океан пуст. Очевидно, они сели севернее, ближе к Рафаэлю, а шлюпка будет пытаться обогнуть рифы еще севернее, если у нас есть какая-нибудь свобода маневра. В радар видно два судна. Очевидно, «Короленко» и снявшиеся раньше нас с якоря «Боровичи». Будем обходить архипелаг с юга на север вдоль рифов. В самый неподходящий момент судовой пс Пижон вылез на носовую надстройку и, как всегда стеснительно оглядываясь в сторону мостика, пописал на вентилятор, подняв по всем правилам ногу, что он из-за качки далеко не всегда может делать.

Ветер юго-восточный 6—7, зыбь по ветру, видимость хорошая, легкая дымка по горизонту. У рифов очень большой накат. Остается непонятным, как они его не увидели и не услышали.

09 ч. 30 м. Идем вокруг архипелага цугом, один за другим на видимости друг у друга: «Боровичи», «Короленко», мы. Главное в том, что все капитаны боятся приближаться к коралловому барьеру ближе пяти миль, так как острова на карте указаны приближенно и нет достоверных глубин. Все опасаются заходить за стометровую изобату, а на расстоянии в пять миль мы все равно ни черта не увидим ни в локатор, ни в бинокли. Если шлюпка «Аргуса» не смогла выгрести на ветер, к востоку, и попала в буруны, вряд ли кто сейчас еще жив. Быть может SOS давала автоматическая рация без людей. Идем малым.

Самое интересное, что нет в нас волнения, никто пока не осознает несчастья. И я вот спускаюсь в каюту, чтобы печатать эти строчки, и борюсь с желанием лечь и вздремнуть перед вахтой.

В 11 часов «Короленко» дал радиограмму: «Подошел месту аварии «Аргуса» широта 1635 южная долгота 5942 восточная, Восточной кромке рифов сильный прибой по-

дойти борту невозможно. Лагуне за рифами бот с экипажем. Передали светом светограмму. Снимать будем западного берега. Вероятно поняли. Бот парусом пошел западную кромку рифов. Связи ними не имеем подробности пока сообщить не могу. Следую западной кромке. Км Полунин».

Эту радиограмму перехватили наши радисты. Показалась подозрительной фраза: «Бот парусом пошел западную кромку рифов». На современных спасательных вельботах под парусом никуда не пойдешь, а уж лавировать под аварийным парусом в лагуне среди рифов — чистая фантастика.

— «Короленко», я — «Невель», какого цвета видите парус? Почему считаете бот принадлежащим «Аргусу»?

— Парус белый.

— Треугольный?

— Да.

— На спасательных вельботах парус оранжевый. Вы, очевидно, видели парус местных рыбаков. Они здесь иногда шастают в лагуне на пирогах.

«Короленко» задумчиво чесал в затылке. Поторопились они с радиограммой. Сотни людей в Москве, Владивостоке, на судах в океане вздохнули с надеждой: моряки «Аргуса» живы, на боте, в тихой лагуне.

Но дело в том, что только Нептун пока знал истину — какой бот или пирога, какие люди на нем и сколько их.

Воодушевленные сообщением о боте с экипажем «Аргуса» в лагуне, Москва и Владивосток щедро посылали целевые указания, советы и приказания сыпались как из мешка. В дело вступил замминистра Морского флота СССР. Он дал «Короленко» аварийную: «Своих действиях, результатах информируйте советского посла Маврикии Порт-Луи Рославцева. Случае необходимости обращайтесь к нему за помощью. Сообщите все ли люди «Аргуса» на боте. Дальнейшем информируйте каждые четыре часа».

«SOS, три пункта. Приказу ГУМОРА Афанасьева доклада выше (читай: правительству) необходима ваша регулярная информация положения дел спасения экипажа «Аргуса». Обязываю каждый час информировать обстановке погоде принимаемых решениях. Ваша задача до темноты взять борт экипаж «Аргуса» любыми средствами вашего судна или средствами экспедиционных судов. Сообщите как усматривается „Аргус”».

«Владивосток тчк Аварийная тчк Три пункта тчк Учитывая опасность зпт неизвестность района западу островов зпт отсутствие пособий съемку экипажа «Аргуса» обеспечьте одним из экспедиционных судов имеющих меньшую осадку зпт более знакомых данным районом тчк Приготовьтесь приему экипажа «Аргуса» зпт размещению зпт возможному оказанию медпомощи тчк Плаванию проявляйте осторожность тчк Бянкин тчк».

После этого чуткого совета в эфире наступила тишина. И в этой тишине мы шли полным ходом, оставляя в приличном удалении с правого борта островки с чарующими названиями: Кокос, Авокейт, Жемчужный...

Следует сказать, что последняя радиограмма была вручена капитану и зачитана им вслух во время обеда в кают-компани. Старпом расщедрился на ананасы. Мы сосали ананасы и слушали о том, что нам следует проявлять осторожность.

Без пяти полдень я сел у приемника в трансляционной будке, чтобы в сто девятый раз за рейс взять поправку хронометра. Потом принял вахту.

В бинокль уже видны были пальмы Рафаэля. И рыболовная шхуна, стоящая на якоре правее острова.

«Короленко», как и положено такому честному писателю, борцу за справедливость и вообще гуманитарию, еще раз подошел к месту аварии «Аргуса».

Белые паруса вместо оранжевых на боте в лагуне терзали совесть его капитана. И км Полунин продемонстрировал полную меру морской честности. Он дал радиограмму в Москву и во Владивосток: «Вторичном подходе месту аварии выяснилось от места аварии отошел бот здешних рыбаков направился западной кромке зпт сняв прибрежных рифов группу людей зпт количество принадлежность которых неизвестно тчк Обследование восточной части невозможно зыбь три метра сильный прибой тчк Ждем сообщения т/х «Невель» который будет спускать вельбот искать подходы берегу рифам тчк».

Здесь все было правда. Дело переходило в наши руки. Но я хорошо представлял себе км Полунина, когда он все ближе и ближе подводил свой здоровенный, полный груза теплоход к рифовому барьеру фактически без карты, чтобы точно разглядеть, что там за шлюпка мечется на волнах и кто в ней. И только когда разглядел, дал «полный назад» и вытер лоб. И подписал радиограмму: А трехметровая зыбь поднимала и опускала тушу честного писателя «Короленко»; «Дети подземелья» которого

мы читаем в детстве и плачем над судьбой голодных умирающих ребятишек. Ох, если б сам Владимир Галактионович сейчас мог с небес подсказать нам, когда и что делать. Сверху хорошо видно.

Я давно уже готовился к тому, что пойду на вельботе, что впереди возможна опасная работа. Я снял кальку с карты 1881. Продумал, как одеться. И уже мысленно подбирал людей.

Второй помощник — командир аварийной партии. Тем более я уже достаточно покрутился среди бурунов архипелага.

Однако, как я уже сто раз говорил, все на море происходит неожиданно. Была середина моей вахты, когда мы шлепнулись на якорь и стали готовить вельбот к спуску.

— Старпом пойдет, — сказал Георгий Васильевич. — Свою вахту каждый стоит сам.

На добрую минуту я превратился в несчастную жену Лота. Если бы Георгий Васильевич тогда не смилостивился, быть мне в психиатрической больнице. Я забормотал что-то о своем спецкорстве в газете «Водный транспорт», о своем спасательном прошлом и знакомстве с работой в прибое.

— Это вы умеете, — сказал капитан. — Ахтерштевень на вельботе кто погнул? Как раз в прибое вы это сделали. Да и прибою-то там никакого не было.

— Я тогда просто упустил отлив, — заныл я нудным мальчишеским голосом.

— Да идите вы куда хотите, — сказал он. — Четвертого на вахту!

Вельбот качался под бортом. Я успел нахлобучить кепку, чтобы не получить солнечного удара, и ссынался по шторм-трапу. Старпом уже сидел на румпеле и орал для всеобщего ободрения свою всегдашнюю присказку: «Туши фонари!»

Когда командование, на которое ты настроился, вдруг достается другому человеку, кажется, что он все делает неправильно.

Я считал, что надо взять линеметную установку, одеяла, метров сто добротных манильских тросов и парусину, чтобы можно было снять людей с разбитого судна, если они еще держатся на нем. Если люди держатся где-нибудь на верхушках отдельных скал, то снять их оттуда без снастей тоже будет невозможно. Я еще считал нужным включить в состав партии хорошего дипломирован-

ного ныряльщика и взять акваланг, чтобы по возможности обследовать аварийное судно. Короче говоря, когда смотришь со стороны, все видится яснее.

План был такой: подойти к рыболовной шхуне, которая стояла на якоре вблизи острова Рафаэль. Опросить негров. Мы были уверены, что они уже многое знают о происшедшем. Другое дело, что они могли уклониться от ответов и не сказать, где лежит разбитое судно. Дело в том, что со всякого разбившегося судна прибой выбрасывает на берег всевозможные, иногда весьма ценные и полезные, предметы. И чем позже мы подойдем к месту аварии, тем больше этих предметов аборигены смогут унести. А для нищих, забытых богом и людьми здешних негров и пустая канистра представляет ценность. Если они окажутся хорошими, то мы возьмем проводника. Соображения о том, что все они «олл ил», мы, естественно, уже не принимали во внимание.

Как только отвалили и сонный, сердитый третий механик Головятинский, сидевший за реверсом, дал «полный», нам в глаза ударили брызги пулеметными, крупнокалиберными очередями. Мы шли к Рафаэлю против волны и вечного пассата. Тропическое солнце, сияние брызг, грохот дизеля.

Нас было одиннадцать человек, из которых, как выяснилось, половина знать не знала, куда и зачем нас несет по волнам.

Головятинский вдруг заорал мне в ухо:

— Совсем вы рехнулись с этими ракушками!

— Сам ты рехнулся! — заорал я ему в ответ. — Какие ракушки?

— А зачем мы премя на Рафаэль?

Перед спасательной операцией людей следует инструктировать. И лучше всего набирать людей из добровольцев. Так было на далеком острове Кильдин, на СС «Вайгач», когда мы, быстро обмерзая, погружались в Баренцево море на разбитом логгере. Там обмерзали и погружались только те, кто вызвался на это сам. Конечно, далеко не всегда есть возможность ограничиться добровольцами, но это уже другой разговор.

Шхуна и остров приближались медленно.

Радист-мальчишка вспомнил наконец, что следует опробовать аварийную рацию. Ему не хотелось вылезать под брызги, но он все-таки вылез. Матросы помогли ему поднять на отпорном крюке антенну. Через минуту радист вернулся. Рация не работала.

— Почему?

— На нее брызги попали! — объяснил он.

Аварийная рация существует для того, чтобы работать, естественно, в мокрых условиях. Выброшенная за борт, она не только плавает сама, но может удержать на поверхности человека.

Просто мальчишка-радиот не понимал, не мог понять, представить себе, что сейчас среди лазурного, ослепительного, прекрасного мерцания вод и небес расстанутся или, что было вероятнее всего, уже расстались с жизнью тридцать восемь человек, что они уже превратились во все это океанское и небесное великолепие. И что в далеком Владивостоке сейчас уже толпятся в коридорах пароходства их жены, матери и дети, ожидая очередной радиограммы, ловя выражение лиц капитанов из службы мореплавания.

Все-таки, подумалось мне, умирать под солнцем веселее, нежели под саваном полярной ночи, в метель, когда воздух минус шесть, вода плюс один градус и ветер шесть баллов с норда...

От рыболовной шхуны «Сайрен», стоявшей в ее любимом местечке — у второй к югу от Рафаэля отмели, — отвалила маленькая шлюпчонка и пошла навстречу.

Сойтись борт к борту на волне было сложно, и мы со шлюпчонкой покрутились друг за другом, как крутятся собаки, чтобы догнать свой собственный хвост, и наконец ткнулись носом в корму.

Двое негров молча таращили на нас глаза, а тот обросший бородой белый, которому я оставил пять пачек сигарет «Новость» и пачку открыток зимнего Ленинграда, передал нам подмокшую бумажку.

Мы занялись английским языком. Это было трудное дело, потому что текст оказался рукописный, мокрая бумажка расплзлась в пальцах, ее еще рвал пассат. Но мы все-таки разобрали — это был текст радиограммы от морского директора острова Маврикий, который мы имели еще на судне: «Советское судно «Аргус» терпит бедствие и т. д.».

Шлюпчонка держалась поблизости, и мы стали орать аборигенам основной вопрос: «Живы люди? Где люди?»

Они, как положено, махали руками в разные стороны, потом пошли к шхуне, зовя нас за собой.

Если вы видели фильмы и читали книги, действие в которых происходит на южных колониальных островах, то сможете представить эту шхуну, обходящую архипелаг

лаг и собирающую от разных бедолаг-одиночек рыбу, черепах, моллюсков и прочие ценности. Человек двадцать негров, одетых точно так, как их одевают костюмеры в наших опереттах — в сомбреро, пробковых шлемах, полуголые, босые, в фетровых шляпах конца прошлого века, в разрисованных мотоциклами рубашках нынешнего века, — схватили наши фалиня и закрепили на борту своей «Сайрен».

Старпом, я и Перепелкин вылезли на палубу шхуны. Палуба оказалась неожиданно чистой, и даже обычной вони от гниющей рыбы не ощущалось.

По скоб-трапу мы поднялись в малюсенькую штурманскую рубку, где одновременно не могли поместиться больше трех человек. Капитан шхуны, одетый по-европейски, элегантный и эластичный молодой негр (у него даже манжеты белые торчали из рукавов, хотя металлическая малюсенькая рубка была раскалена солнцем и в ней было как в духовке, когда в нее собираются запихать уже нашпигованного гуся), разложил на штурманском столике карту. Это была все та же английская карта 1881. Слава английскому лейтенанту Мюдже! Судя по всему, сегодня нам придется почувствовать то, что ощущал он сто сорок четыре года тому назад, снимая на карту восточную сторону архипелага в вечном прибое Индийского океана.

Карта — это не грамматика, не спряжения-ударения, безударные гласные и прочая безнадежно сложная наука. Карта — это такая вещь, при помощи которой наши переговоры сразу стали обоюдопонятными. Морская карта для моряков, что игральные карты для игроков, — можно обходиться и без языка.

Мы положили на карту лейтенанта Мюдже свою кальку с отметкой места гибели «Аргуса».

«Короленко» правильно определил координаты: эластичный негр кивнул и подтвердил, что «Аргус» разбился там, где он разбился на нашей кальке. О судьбе людей он ничего не знал.

Представьте себе длинный, небрежно брошенный в воду чулок, он упал на воду извиваясь. В пятке этого чулка — остатки судна. По краям — рифы. Длина его — около трех миль. Вход в чулок — с восточной стороны. В этот вход катили волны, начавшие разбег от Индонезии и Австралии. Ширина входа — сотни две метров.

Мы пунктиром проложили на кальке курс нашего вельбота в устье чулка с востока и к «Аргусу». И поста-

вили знак вопроса. Негр взвыл, всеми своими белками показывая, что идти этим путем «мор», то есть смерть. Нам это и самим было совершенно ясно. Теперь мы сунули негру шариковую ручку. Он повел пунктир с западной стороны сложными зигзагами. Зигзаги иногда шли по отметкам рифов, а иногда огибали свободные места с хорошими глубинами. Много времени протекло со времен последней корректуры этой карты; многое успели океан, и ветер, и кораллы, и морские звезды изменить на архипелаге Каргадос за эти времена.

Нам предстоял длинный путь.

Пожалуй, будь я на месте старпома, я не решился бы идти так далеко при вышедшей из строя рации. Пожалуй, вернулся бы на судно, чтобы посоветоваться с капитаном и взять исправную рацию. Но чиф решил иначе.

— Пойдем, — сказал он.

Пять минут потратили на то, чтобы договориться о проводнике. Одному негру надо было на маленький безымянный островок в районе аварии. Негр готов был стать нашим проводником.

Это был негр-красавец, молодой, стальной, стройный и непроницаемый как для брызг, так и для духовного общения. Он был в коротеньких трусах, пиджаке и спортивном кепи с большим козырьком — такие кепи носят жокеи.

С первого же взгляда он напомнил мне героя африканского романа «Леопард» — лучшей книги из тех, что приходилось читать о психологии негров.

Леопард сунул свой пиджак под козырек в носу вельбота и, став черной статуей, разрезал ладонью воздух, показывая направление.

Мы дали ход.

Я велел одному из матросов предложить лоцману ватник. Он отказался. Стоял, не отворачиваясь от брызг, не приседая.

Широк был океанский простор впереди.

Островок Сайрен проходил по правому борту. Черным облаком клубились над зеленью кустиков стаи птиц. Слева уходила в бесконечность белая полоса бурунов на рифах. Зыбь. Чайки, планирующие возле самых глаз. Грохот дизеля. Черная, четкая статуя на носу. Брызги. Соль на губах. И солнце над головой беспощадное.

До «пятки чулка» — миль восемнадцать — три часа хода.

Островки, которые с двенадцати метров — высоты мостика на судне — были видны хорошо, с вельбота, то есть практически с поверхности воды, были почти не различимы. Они были плоские.

Час за часом вести вельбот, когда волна сбивает с курса, облака двигаются быстро и точку на них взять невозможно, глаза сечет брызгами, румпель оттягивает руки и весь ты уже измочален болтанкой и прыжками вельбота, — томительное и мутное занятие. Главным ориентиром была гряда рифов слева по борту — полосы белой от пены, голубой, зеленой воды. И мы шли, следуя ее изгибам и взмахам руки негра. Когда вельбот сильно сбивало волной, негр чуть злее отмахивал рукой и на несколько секунд оборачивался с укоризной.

Я шел сейчас спасать спасателей в центре Индийского океана. Чем больше нам лет, тем значительнее кажется прошлое. Некогда будничное происшествие превращается с годами в символ, поворотный момент судьбы. Поданный тебе кем-то когда-то кусок хлеба заставляет верить в общечеловеческую доброту. А мелкая детская обида настаживает против всего человечества. Мимолетная встреча в пути застревает в сознании как в высшей мере значительное совпадение. Или так только со мной?

Серый парус замелькал среди лазурных волн, он метался и кренился на курсовом угле от нас градусов в шестьдесят левого борта. Каждая молекула Индийского океана отражала солнце. Мы ничего не могли разглядеть под серым парусом. Шел он не с того направления, где, нам казалось, должен лежать «Аргус», но мы повернули на сближение. Был смысл опросить аборигенов.

Теперь вельбот усталился прямо в лоб зыби. И даже скульптурный, стальной, непробиваемый Леопард стал прятаться от брызг и приседать за козырьком вельбота.

Когда оставалось кабельтова четыре, мы разглядели посудину, она сидела в воде по самый буртик: пирога с дощатыми бортами, узкая, шла не только под парусом, но и под мотором. И там мелькнуло что-то оранжевое.

Оранжевый спасательный жилет среди черных негритянских тел.

Боже, как мы завопили!

Белые люди в оранжевых нагрудниках — это могли быть только наши утопленники.

Мы махали им руками и вопили разные слова. Что это были за слова!

На пироге срубили парус.

— Ребята, там женщина!

Женщина в ситцевом, мокром, облепившем ее платье. В таких платьях, домашних, вылинялых, севших от бесконечных стирок, с короткими рукавами, женщины моют полы в коммунальных коридорах и кухнях, когда настает их очередь.

Женщина была простоволосая.

Их повыкидывало из коек ночью, в самый сон; они выскакивали на палубу, через которую накатом шел прибой, в чем спали, что успели схватить и кинуть на себя... И тьма, и грохот, и крен, и удары о камни...

Держась за мачту пироги, стоял мужчина в нашей морской тропической форме с нашивками капитана на погончиках.

— Где остальные?! — кричали мы.

Он махнул рукой туда, откуда шла пирога.

— А вы откуда здесь? — орали с пироги.

— Из Ленинграда.

— А мы из Владивостока!

Это мы знали.

— Все живы? — орали мы.

Они отвечали невразумительно.

Было два решения: забирать к себе этих восьмерых, но они уже в некоторой безопасности, в некоторой, потому что пирога явно перегружена, но если взять их, они будут мешать нам в дальнейшей работе. И если придется лезть в прибой среди коралловых рифов, то эти восемь опять попадут в передрагу.

И мы не стали их брать, тем более что с ними был капитан.

Через минут тридцать мы увидели еще один серый парус среди лазурных волн, который так же метался, кренился и трепетал, как крыло ночной бабочки. Там оказалась семнадцать человек. Этих мы решили забрать, потому что узнали от них, что живы все.

Пока на зыби мы несколько раз подходили к пироге, чтобы попытаться сцепиться с ней бортами; пока чуть не утопили ее, ударив носом прямо в борт; пока выхватывали поштучно полуголых, обожженных солнцем, дрожащих от озноба коллег, показалась третья пирога. Это

была самая крупная посуда, людей в ней было немного, она сама могла дойти до «Невеля», и негры на ней быстро поняли, где стоит «Невель».

В суматохе пересадки я не сразу разобрал, что у нас на борту оказались две дамы. Дамы вели себя спокойнее, нежели некоторые мужчины. Один из штурманов, например, слишком долго не решался расстаться с пирогой, прыгнуть через борт. Это был здоровенный детина в сингапурском нейлоновом «кожухе», надетом на голое тело. В оправдание его нерешительности надо сказать, что по лбу у него из-под волос сочилась кровь. Еще у нескольких моряков были травмы, у большинства в голову.

В результате неожиданной встречи со спасенными наш непроницаемый Леопард оказался меж двух стульев, ибо к своему острову он не добрался. Опустевшая пирога тоже шла в какое-то другое место. И нам пришлось довольно бестактно высадить Леопарда на нее. Было не до тонкостей. Он понял это, взял свой узелок с пиджаком и спокойно перепрыгнул в пирогу.

Он был благороден в каждом движении и каждом поступке. А мы даже не узнали его имени.

Правда, мы не узнали имен ни одного из тех негров, которые спасли тридцать восемь русских душ. Ведь спасательная операция уже закончилась. Мы принимали уже спасенные неграми души. Мы опоздали спасти их сами. Думаю, это к счастью.

Местные люди на своих пирогах, знающие повадки каждой струи течения возле берега, живущие всю жизнь на этих лазоревых волнах, чувствующие от долгого общения с парусом самое незначительное изменение направления ветра, рисковали меньше, чем рисковали бы мы, если б пришлось идти на тяжелом, неповоротливом дизельном вельботе в накат восточной стороны рифового барьера.

Рассказы утопленников звучали судорожно:

— ...Настил вдруг поднимается под вспомогателем... камень торчит из паёла... бах!.. свет погас... ракеты все перестреляли... подаем один проводник, второй... ничего не осталось... запустили на змее антенну, она метрах в четырех от пироги — хлоп в воду!.. аккумуляторы вдребезги... а я босой по битому стеклу...

Наконец кто-то сообразил, что надо бедолагам отдать свои шмутки — сгорят ведь под неистовым солнцем.

Я кинул ватник женщине с седыми волосами, но не

старой, — оказалась судовым врачом. Потом пришлось снять пиджак. Справа внизу сидел какой-то парень. До пояса он хорошо был укрыт, а колени уже обгорели. Парень укрыл колени моим пиджаком. Тут ему передали здоровенную соленую горбушу и галету.

Их кок успел прихватить мешок с продуктами. По рукам пошли и банки с водой из аварийного запаса спасательных плотиков. Есть такие обыкновенные, консервные. И надпись: «Питьевая вода. Не пить в первые сутки!» Иногда человек всю жизнь проплавает и не знает, что там запасено в спасательном плотике.

Этих ребят выручили с того света. А они уже кокетничали своим привычным обращением с питьевой водой, небрежно протыкали ножом две дырки, пили, нас угощали. Ржавым железом эта вода пахнет.

Парень с обгоревшими коленками уложил горбушу на мой пиджак и стал ее кромсать. Мой старый, верный, добрый пиджак — мне стало жаль его. Вонять теперь будет рыбой, гиблое дело. И обругать утопленника неудобно, и пиджак отнять неудобно.

Вот ведь как люди устроены. Только что я на смертельный риск шел, чтобы этого парня спасти, готов уже был к летальному исходу, а из-за пиджака, на котором он горбушу соленую кромсает, просто душа разрывается. И почему этот болван не мог что-нибудь подложить под рыбу, думал я. Мозги ему отшибло, что ли?

В какой-то книжке я читал, что у индейцев или у древних инков был закон, по которому человек, спасший от неминуемой смерти другого, автоматически становился рабом спасенного, рабом-телохранителем. Он вмешался в великий поток причин и следствий самой Природы, изменил в этом потоке нечто и должен всю жизнь нести за это покаяние и ответственность. Современному человеку такие рассуждения могут показаться дикарскими... А с пиджаком дело хана: нельзя ведь пиджаки стирать...

Старпом торчал на носу, высматривал камни, отмахивал мне время от времени рукой, показывал безопасное направление.

Средняя пирога обогнала нас, парус и мотор вели вперед ее длинное тело уверенно и красиво. А первая, перегруженная пирога исчезла в голубом пространстве. Все-таки, быть может, следовало пересадить с нее людей? Вдруг она перевернулась? На такой зыби это просто.

Мы забирали восточнее — к острову Рафаэль, а обогнавшая нас пирога отклонялась к западу, они резали

угол, шли к месту стоянки «Невеля», решив, очевидно, оставить с правого борта островок Али-Бабы, где я чуть не лопнул от потрясения и жадности.

Мы пережили приключение, раздумывал я. Кто оплачивает счет? В конечном итоге любое приключение, которое интересно для тебя, оборачивается горем и бедой для другого. Кто-то должен оплачивать приключения. Даже пилот одиночка Чичестер, разыскивая по свету приключения для себя, не знал, что заставляет далеких и незнакомых людей оплачивать невидимые счета. Его приключения кому-то стоили седых волос. Когда ты описываешь свои приключения, — сегодня описывают все, ибо за приключенческие книги платят неплохие деньги, — то ты пьешь чужую кровь. Даже если никто не погиб, спасая тебя из приключенческой беды. Наше сегодняшнее приключение оплачено скорее всего судьбой вахтенного штурмана «Аргуса»...

Этот вахтенный штурман был мой коллега — второй помощник. Моего коллегу легко было узнать среди других моряков в вельботе. Он был одет с ног до головы. Он был в старенькой форменной одежке. В ней стоял вахту и увидел впереди, в ночи, белую полосу прибора, услышал мерный, как вздох и выдох, гул. Что он сделал? Не скоро теперь рассеется для него тот ночной мрак...

Бесконечно долго идем мы назад. Ветер и течение сносят к западу, чиф отчаянно машет правой рукой. А у меня от румпеля занемели руки. Отдаю его Пете Крамарскому. Отличный паренек из экспедиции.

До чего приятно посидеть просто так, покурить, разглядывая коллег, измызганные мазутом рожи и пестроту одеяний.

Коллеги сосали карамель из запасов спасательных плотиков. Специальная карамель, чтобы меньше хотелось пить. С витаминами. И я сосал. И думал о пиджаке — пропал пиджак. Сколько лет мне служил, где только на мне не бывал. И вот дождался, терзают на нем соленую горбушу, пойманную на Камчатке.

У всех наших было возбужденное, горделивое состояние спасателей. Большинство до конца жизни будет, вероятно, думать, что они кого-то спасли. Про негров забудут — так уж устроены люди. Пялят глаза на женщин.

— Закрой голову, — сказал я одной нимфе. — С этим солнцем шутить нельзя.

— У меня волосы густые.

— Страшно было?

— Ужас сплошной! Я такие выкройки в Сингапуре купила — закачаешься!.. Не знаете, нам валюту вернут?

— Скорее всего вернут.

— Мы в Одессу шли. Думали, рейс месяцев восемь будет — заработаем сразу хорошо. На спасателе-то рейсы короткие, валюты мало. А тут канули восемь месяцев валютных... И выкройки утонули.

Я внимательно присмотрелся к женщине. Подумалось, что ее навязчивое упоминание выкроек — нечто послешоккое, но она глядела на меня ясными глазами:

— Я толстая — сама знаю. На мою фигуру хорошие выкройки достать — проблема номер один.

Я чуть не выругался. Потом спросил:

— Как они вас вытаскивали? С воды брали?

— А я со страху и не запомнила.

— Хорошо, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Люди с первой пироги успели высадиться на Рафаэль, и мы долго ждали их в проливе между островом и первой к югу отмелью, жарились под солнцем.

Белый крест на фоне тропической зелени. Тихие поклоны пальм. Жара разморила и спасенных, и всех наших. Да и устали мы уже здорово.

Несколько негров сидели на берегу в тени кустов, смотрели на нас. И мне казалось, что видят они нас насквозь, а мы в них ничего не видим, не понимаем. Мы в них понимаем еще меньше, чем в женщинах, хотя бы в той толстухе с выкройками. И никогда ничего не поймем, если они сами себя не раскроют.

А раскрыться народы могут только через литературу. Никакая этнография здесь не поможет. Правда, как мне кажется, литература показывает не само существо народа, а его мечту о себе, но, быть может, это синонимы?

Какой-то паренек с перевязанной полотенцем головой пробрался ко мне в корму, под ветер, тихо сказал:

— Я за вас подержусь...

— Давай, давай.

Вот уж к чему не приспособлены спасательные вельботы, так это к отправлению некоторых человеческих надобностей. Тут надо быть профессиональным эквилибристом на шаре, чтобы все сошло благополучно.

Остатки горбуши продолжали лежать на моем пиджаке. Но страдания по этому поводу несколько притупились.

Наконец подвалила пирога с капитаном «Аргуса» и его спутниками. Не торопились они расстаться с твердой землей и шелестом пальм.

У женщины в ситцевом платье руки были полны кораллов и ракушек. Какая красота в океанских дарах, если через несколько часов после пережитого она заметила и собрала эти ракушки и кораллы.

Все, что у нее было в каюте «Аргуса» — коробки с сингапурскими покупками, халатик там, тряпки, туфли, сувениры, фотографии родных, наверное, сумочка с помадой и зеркальцем, — все это переваривал теперь Индийский океан. А она у него взяла ракушки. Обменялись.

В вельбот перелезли еще два негра, одетые по-европейски, один даже в очках. Очевидно, они рассчитывали получить на «Невеле» презент за спасение.

Родное судно спустило забортный трап, но ветер за свежел, волна разгулялась и подойти к площадке было опасно. Следовало швартоваться под шторм-трап.

Чиф от всех приключений несколько утратил глазомер, несколько изменилась, как говорится, выпуклость его морского глаза. В результате он воткнул вельбот в родной борт с полного хода. Мне даже показалось, что здесь чиф решил заменить доктора Гену, чтобы хорошей встряской поставить на место мозги потерпевших бедствие. Сам Гена уже не занимался докторскими делами. Он весь был поглощен коленками коллеги с «Аргуса» — кутал и кутал ей ножки.

После удара в борт пришлось заложить еще один вираж вокруг «Невеля». Наконец ошвартовались. И мы с чифом первыми поднялись на борт, чтобы первыми получить благодарность за свои героические действия.

Мы были мокрые, уставшие, полуголые. И соленые, как та горбуша.

Георгий Васильевич злился редко, но здесь встретил нас серый от гнева. Его первые слова были:

— Почему чужие люди в вельботе? Куда вы их думаете девать? Сюю минуту снимаемся на Монтевидео. Вельбот подняты! А островитян куда? В Рио-де-Жанейро?!

Последнюю неделю старпом был простужен. Его нижняя губа, изъеденная черно-красными струпьями, отвисла. Теперь она отвисла еще ниже.

Уходя несколько часов назад с судна, мы ни о каком Монтевидео знать не знали и даже думать о нем не думали, ибо, если вы взглянете на карту, то заметите, что Уругвай находился для нас почти на противоположной стороне планеты, — вот что значит работать на космическом пароходе. По плану мы должны были спокойно загорать еще две недели на Каргадосе, потом идти на

Маврикий за продуктами и почтой, а... вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

— Ну, что вы вылупились? — спросил Георгий Васильевич. — Уже два часа Москва молотит приказ о немедленной съемке на Южную Америку, а вы посторонних на судно приволокли!

— Туши фонари, — пробормотал старпом любимую присказку, он употреблял ее во всех случаях жизни.

— Они ожидают презент, — сказал я. — Со всех возможных точек зрения, включая интернациональную, их следует поблагодарить.

— Шесть спасательных плотиков с «Аргуса» они уже получили. Это тысяча рублей валютных! Плохой презент? — спросил Георгий Васильевич. — И сколько они еще всего выловят! Идите на вельбот, Виктор Викторович, и возвращайтесь назад самым полным. Мы еще сколько времени потеряем, пока будем утопленников на «Короленко» передавать — погода портится.

— Вы совершенно правы, но что-то символическое им следует дать, — уперся я, представив себя на вельботе перед двумя неграми, которые хотят лезть по шторм-трапу на «Невель», а я их не пускаю. — Они же не поверят, что мы вдруг действительно должны, экономя каждую минуту, нестись через два океана к Южной Америке. Откуда они знают специфику судна? Они обидятся насмерть. И все это на мою голову, а я человек деликатный.

— Идите на вельбот, Виктор Викторович, — сказал мастер. — Что-нибудь символическое мы вам туда спустим на веревке.

Из вельбота начинали эвакуацию женщин. Эвакуация производилась по правилам хорошей морской практики. Каждая женщина была встегнута в такелажный пояс с линем, линии держали высоко на борту гогочущие матросы. Неожиданно вытащить из океана четырех женщин посередине длинного скучного рейса — такое редко случается.

Вслед за женщинами, как я и ожидал, подвалили к трапу островитяне. Разговор, который состоялся между нами, на человеческий язык перевести нельзя. Такой разговор французы называют «пэльмель» — «мешанина»:

— Монтевидео! — кричал я.

— Олл райт! — отвечали они.

— Цурюк! — кричал я.

— О'кей! — раздавалось в ответ.

— Но! — кричал я.

— Бонжур, камарад! — приветствовали они.

Презент все не опускался на веревке, как было обещано, и я походил на собачку из рассказа Джека Лондона, которая обороняет хижину хозяина-пьяницы от дюжины волков.

Наконец с небес спустились три бутылки в авоське.

Я гаркнул, чтобы отдавали концы. Концы в тот же момент упали в вельбот. За моей борьбой следили сверху, конечно.

— Самый полный! — рявкнул я механику.

И мы опять рванулись в зыбь и брызги. Островитяне развернули бумагу с бутылок, несколько удивились, а затем протянули мне бланк, заполненный каракулями, в которых не разобрался бы даже академик Крачковский.

Я смело подмахнул бланк: «секонд мейт мотоцикл „Невель”» — и автограф. Так как дело происходило на прыгающем вельботе и под брызгами, то разобрать мои каракули отказался бы и лучший эксперт-графолог мира.

В конце концов, здесь оставался «Короленко», он был назначен главным в операции по спасению. И я не сомневался, что «Короленко» с русской щедростью отблагодарит спасателей, ибо я не знаю случая, когда наши моряки оставались в долгу.

Мой автограф на бланке ободрил негроидов, они стали улыбаться, хлебнули винца, и мы высадили их на борт «Сирены» в отличном настроении. Я велел не подавать на «Сирену» концов и, как только негры вылезли, врубил опять «самый полный».

Экипаж шхуны вывалил на палубу и дружно махал нам вслед. И мы махали им и кричали: «Фенькью!»

И это было трогательно, потому что все люди на земле все-таки братья.

История аварии на официальном языке звучала так.

Спасательное судно «Аргус» следовало из Владивостока на Одессу с заданием обеспечить перегон дока. В целях сохранения моторесурсов «Аргус» следовал на буксире теплохода «Тикси». 1 октября при ветре 5 баллов и крупной зыби лопнул буксир.

Учитывая сложную гидрометеобстановку, капитаны приняли решение следовать самостоятельно к острову Маврикий, под прикрытием которого завести новый буксир.

Выбрав на палубу оборванную часть троса и получив от «Тикси» исходную точку, «Аргус» дал полный ход и лег курсом на Маврикий.

Первое время суда следовали в визуальной видимости друг друга.

2 октября капитан «Тикси» сообщил, что по техническим причинам не может идти длительное время с уменьшенной скоростью, и по согласованию с «Аргусом» дал «полный» и ушел вперед.

3 октября капитан «Тикси» сообщил на «Аргус» о замеченном им сильном дрейфе на запад, однако это предупреждение капитаном «Аргуса» не было принято во внимание, и судно следовало прежним курсом.

4 октября в 00.00 на ходовую вахту заступил второй помощник. По данным счисления судно находилось примерно в 60 милях восточнее островов Каргадос-Карахос.

Погода к этому времени: низкая облачность, видимость от 2 до 6 миль, ветер юго-восточный 5—6 баллов и крупная зыбь того же направления.

В 01.50 впередсмотрящий матрос прямо на носу в расстоянии около одной мили увидел прибойную полосу воды, о чем немедленно доложил вахтенному помощнику, который выскочил из рубки на правое крыло и, убедившись, что судно идет прямо в буруны, скомандовал «право на борт», после чего по переговорной трубе вызвал на мостик капитана.

Через 3 минуты «Аргус» с полного хода ударился о подводные рифы, и только в этот момент был дан полный ход назад.

В 01.56 судно плотно село на восточную кромку рифов Каргадос-Карахос. Через пробоины в корпус судна стала интенсивно поступать вода. Крен судна достиг 60° на левый борт.

В 02.00 по радио был дан сигнал бедствия и указаны координаты.

Из-за большого крена и сильного волнения моря спустить спасательные боты не удалось. Утром со стороны мелководной лагуны, находящейся за прибойной полосой, подошли шлюпки местных рыбаков, на которые с помощью спасательных плотов ПСН-10 начал переправляться экипаж.

В 12.20 весь экипаж покинул судно, благополучно переправившись в рыбацьи шлюпки.

По неписаной традиции заботу о спасенных берут на себя таким образом: стармех — стармеха, радист — радиста и так далее.

Мой обреченный на кару коллега был очень молод. Вторым помощником он стал уже в рейсе, неожиданно, потому что одного из штурманов за что-то отправили из Сингапура домой на попутном судне.

Я выклянул у завпрода бутылку сухого «тропического» вина. И мы выпили с коллегой.

— У нас во Владивостоке крысы бежали с буксира... — так начал он.

— Это ты следователю будешь говорить, — остановил я его. — Или, еще лучше, прокурору на суде. Небось эти ребята сразу за носовые платки схватятся, чтобы слезы вытирать, когда про бегущих крыс услышат. Давай-ка мне все как на духу.

Он изложил свою легенду. Незачем приводить ее здесь. Потом слово взял я.

— Слушай меня внимательно, — сказал я. — На «Короленко» вы будете чапать до дома около месяца. За это время ты должен: выучить устройство своего буксира, его маневренные элементы, аварийные расписания, обязанности по тревогам всех членов твоей аварийной партии, правила применения РЛС, действия вахтенного штурмана при открытии неожиданной опасности прямо по курсу и Устав. И знать все это как «Отче наш», ясно?

— Что такое «Отче наш»? — спросил мой коллега.

— До самой швартовки во Владивостоке ты должен ночей не спать и зубрить все, включая ППСС, хотя тебе и кажется, что это не имеет отношения к делу. Все будет иметь отношение. Когда тебя возьмут в перекрестный допрос старые капитаны из комиссии по расследованию, тебе пригодится абсолютно все. А если ты будешь до Владивостока в «козла» резаться, то срок окажется значительно больше. Или ты зарубишь себе на носу то, что я сказал, или гореть тебе голубым огнем. Еще: ты периодически включал эхолот и радар всю вахту, ты имел на мостике двух матросов, и ты первый увидел белую полосу впереди.

После этой инструкции я подарил ему на память раковину и дал письмо к своей матери — это письмо плавало со мной уже около месяца. Он поклялся, что письмо не потеряет и опустит во Владивостоке сразу же.

Он сдержал свое обещание.

Больше всего хотелось спать. Впереди ждала ночная ходовая вахта. Но я зашел к старпому. Там сидел капитан «Аргуса» и его старпом.

Большое впечатление произвело на меня олимпийское спокойствие капитана. Он был толст, весь исколот азиатской татуировкой.

— Я на «Аргусе» год во Вьетнаме отработал, — сказал капитан. — Жалко судно. Но оно уже столько раз на том свете побывало... И под бомбежками, и...

Я рассматривал его татуировку и думал о том, что сейчас аварийных капитанов судят редко, слава богу. Сейчас никому не придет в голову искать в неверных поступках капитана злой умысел.

— Вот как в жизни бывает, — сказал капитан «Аргуса». — Я спасал киприота «Марианти», англичанина «Верчармиан» — тащил его до самого Гонконга, заделывал дыры на итальянцах, ремонтировал греков... Я потерял человека под бомбежкой на реке Кау Кам... Он посмертно орден Ленина получил, мне Трудового дали... И так вляпался! Ладно, ребята, поговорим о другом. Когда из дома?..

Быть может, он уже слишком много хватил в жизни, подумалось мне. Быть может, ему надо было бы как следует отдохнуть перед этим рейсом? Или вообще завязывать с морем? Быть может, он слишком привык к морю, перестал уважать его?

Старпом «Аргуса» был сух, сед, длинен, заметны в нем были следы потрясения. Он был, как и я, из военных моряков, капитан-лейтенант в прошлом. Сказал, что еще в Японском море трижды рвались буксирные тросы. А для работы с буксирными тросами у них на баке едва пять квадратных метров пространства было. Измучились на выборке тросов, пошли без буксира. «Тикси» оторвался, ушел вперед далеко. В океане секстанами работать точно не могли из-за очень сильной качки.

Сэр Исаак Ньютон мог бы обидеться за такие слова о секстанах, но чего в море не бывает. Здесь все может быть.

Старпом уставился на свои босые ноги, пошевелил пальцами.

— Вот босой остался... голый выскочил сперва... соляр везде, волосы слиплись... Особенно удары эти!.. Чемоданчик потом все-таки прихватил, так он пустой оказался... Если «Короленко» заход дадут на Сингапур и нам валюту восстановят, так и выйти в магазины не в чем... Может,

ребята, пока нас ходили искать, чего-нибудь из имущества пострадало, утеряти чего? Тогда составляй акт, подпишем... И на продукты акт составляйте...

— Туши фонари, — сказал старпом теплохода «Невель». — Не надо. Всех покормили уже. Обойдемся. А вашим женщинам наши девчонки свои халатики поотдавали... Толстушка, которая совсем почти голая была, как поужинала, говорит: «Ну вот, обсохла, накушалась, теперь бы еще веселого кавалера под бок...»

— Это они могут, — сказал капитан «Аргуса».

Мы позлословили немного о морских женщинах, их причудах.

В голове шумело кислое «Ркацители». Возбуждение давно угасло, стало скучно.

И я был рад, когда трансляция прорычала: «Членам экипажа спасательного судна «Аргус» приготовиться к переправе на теплоход „Короленко“».

А через час мы уже шли полным ходом. Впереди опять был океан, и темнота, и дальняя, и дальняя дорога...

ПЕТР НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О МАТРОССКОМ КОВАРСТВЕ

Нелицемерно судят наше творчество настоящие друзья или настоящие враги. Только они не боятся нас обидеть. Но настоящих друзей так же мало, как настоящих, то есть цельных и значительных, врагов.

Первым слушателем предыдущей главы был мой друг Петя Ниточкин.

Я закончил чтение и долго не поднимал глаз. Петя молчал. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы сразу заняться литературной критикой. Наконец я поднял на друга глаза, чтобы поощрить его взглядом.

Друг беспробудно спал в кресле.

Он никогда, черт его побери, не отличался тонкостью, деликатностью или даже элементарной тактичностью.

Я вынужден был разбудить друга.

— Отношения капитана с начальником экспедиции ты описал замечательно! — сказал Петя и неуверенно дернул себя за ухо.

— Свинья, — сказал я. — Ни о каких таких отношениях нет ни слова в рукописи.

— Хорошо, что ты напомнил мне о свинье. Мы еще вернемся к ней. А сейчас — несколько слов о пользе

взаимной ненависти начальника экспедиции и капитана судна. Здесь мы видим позитивный аспект взаимной неприязни двух руководителей. В чем философское объяснение? В хорошей ненависти заключена высшая степень единства противоположностей, Витус. Как только начальник экспедиции и капитан доходят до крайней степени ненависти друг к другу, так Гегель может спать спокойно — толк будет! Но есть одна деталь. Ненависть должна быть животрепещущей. Старая, уже с запашком, тухлая корочке говоря, ненависть не годится, она не способна довести противоположности до единства.

— Медведь ты, Петя, — сказал я. — Из неудобного положения надо уметь выходить изящно.

— Хорошо, что ты напомнил мне о медведе. Мы еще вернемся к нему. Вернее, к медведице. И я подарю тебе новеллу, но, черт меня раздери, у тебя будет мало шансов продать ее даже на пункт сбора вторичного сырья. Ты мной питаешься, Витус. Ты, как и моя жена, не можешь понять, что человеком нельзя питаться систематически. Человеком можно только время от времени закусывать. Вполне, впрочем, возможно, что в данное время и тобой самим уже с хрустом питается какой-нибудь твой близкий родственник или прицельно облизывается дальний знакомый...

Сколько уже лет я привыкаю к неожиданности Петиних ассоциаций, но привыкнуть до конца не могу. Они так же внезапны, как поворот стаи кальмаров. Никто на свете — даже птицы — не умеет поворачивать «все вдруг» с такой ошеломляющей неожиданностью и синхронностью.

— Кальмар ты, Петя, — сказал я. — Валяй свою новеллу.

Уклонившись от роли литературного критика, Петя оживился.

— Служил я тогда на эскадренном миноносце «Очаровательный» в роли старшины рулевых, — начал он. — И была там медведица Эльза. Злющая. Матросики Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь. Если ты не Дуров. И убирали за ней, естественно, матросы и хотели от Эльзы избавиться, но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры. Я в этом убедился сразу по прибытии на «Очаровательный».

Поднимаюсь в рубку и замечаю безобразие: вокруг

нактоуза путевого магнитного компаса обмотана старая, в чернильных пятнах, звериная шкура... Знаешь ли ты, Витус, что такое младший командир, прибывший к новому месту службы? Это йог высшей квалификации, потому что он все время видит себя со стороны. Увидел я себя, старшину второй статьи, со стороны, на фоне старой шкуры, а вокруг стоят подчиненные, ну и пхнул шкуру ботинком: «Что за пакость валяется? Убрать!» Пакость разворачивается и встает на дыбки. Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста — выше на эсминце не удерешь. В КДП я задрался и сидел там, пока меня по телефону не вызвали к командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову.

— Плохо ты, старшина, начинаешь, — говорит мне капитан третьего ранга Поддубный. — Выкини из башки Есенина.

— Есть выкинуть из башки Есенина! — говорю я, как и положено, но пока совершенно не понимаю, куда кап-три клонит.

Осматриваюсь тихонько.

Нет такого матроса или старшины, которому неинтересно посмотреть на интерьер командирской каюты. Стиль проявляется в мелочах, и, таким образом, можно сказать, что человек — это мелочь. Самой неожиданной мелочью в каюте командира «Очаровательного» была большая фотография свиньи. Висела свинья на том месте, где обычно висит парусник под штормовыми парусами или мертвая природа Налбандяна.

— А вообще-то читал Есенина? — спрашивает Поддубный.

— Никак нет! — докладываю на всякий случай, потому что четверть века назад Есенин был как бы не в почете.

— Этот стихотворец, — говорит командир «Очаровательного», — глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам — младшие или старшие братья?

— Старшие, товарищ капитан третьего ранга!

— Котелок у тебя, старшина, варит и потому задам еще один вопрос. Можно очеловечивать животных?

— Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга!

— Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый младший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Надо выяснить не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке. Понятно я говорю?

— Так точно!

— Если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе даже и не старший брат, а старшая сестра, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Намек понял?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга! Разрешите вопрос?

— Да.

— Товарищ капитан третьего ранга, на гражданке мне пришлось заниматься свиноводством,— говорю я и здесь допускаю некоторую неточность, ибо все мое свиноводство заключалось в том, что я украл поросенка в Бузулуке и сожрал его чуть ли не живьем в сорок втором году.— Интерес к свиноводству,— продолжаю я,— живет в моей душе и среди военно-морских тягот. Какова порода хряка, запечатленного на вашем фото?

— Во-первых, это не хряк, а свиноматка,— говорит Поддубный и любовно глядит на фото.— Правда, качество снимка среднее. Он сделан на острове Гогланд в сложной боевой обстановке. Эту превосходную свинью звали Машкой. Я обязан ей жизнью. Когда транспорт, на котором я временно покидал Таллин, подорвался на mine и уцелевшие поплыли к голубой полоске далекой земли, я, товарищ старшина, вспомнил маму. В детские годы мама не научила меня плавать. Причиной ее особых страхов перед водой был мой маленький рост. Да, попросался я с мамой не самым теплым словом и начал приемку балласта во все цистерны разом. И тут рядом выныривает Машка. Я вцепился ей в хвост и через час собирал брусья на Гогланде. Вот и все. Машку команда транспорта держала на мясе. Но она оказалась для меня подарком судьбы. Вообще-то, старшина, скажу вам, что подарки я терпеть не могу, потому что любой подарок обязывает. А порядочный человек не любит лишних обязательств. Но

здесь делать было нечего. Я принял на себя груз обязательства: любить старших сестер и братьев. Кроме этого, я не ем свинины. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей?

— Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодушевленную и...

— Конечно, — сказал командир. — Большое видится на расстоянии, а рубка маленькая... Две недели без берега! И можете не благодарить!

Я убыл из командирской каюты без всякой обиды. Есть начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней, вернее, без нутряной злобы. Дал человек клятву защищать животных и последовательно ее выполняет. Он мне даже понравился. Лихой оказался моряк и вояка, хотя действительно ростом не вышел. Таких маленьких мужчин я раньше не встречал. На боевом мостике ему специально сколотили ящик-пьедестал, иначе он ничего впереди, кроме козырька своей фуражки, не видел. На своем пьедестале командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые цифры — аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет — и обратно на ящик прыг. И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Очень ему было удобно с этим пьедесталом. Иногда просто ногу поднимет и под нее заглядывает, как в записную книжку. И в эти моменты он мне собачку у столбика напоминал. Вернее, если следовать его философским взглядам, собачка у столбика напоминала мне его. И теперь еще напоминает. И я твердо усвоил на всю жизнь, что одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что от многолетнего общения морда собаки делается похожей на лицо хозяина. Ерунда. Это лицо хозяина делается похожим на морду его любимой собаки. И пускай кто-нибудь попробует доказать мне обратное! Пускай кто-нибудь докажет, что не Черчилль похож на бульдога, а бульдог на Черчилля! Но дело не в этом. Разговор пойдет о матросском коварстве. Ты читал «Блэк кэт» Джекобса?

— Дело в том, Петя, что я дал себе слово выучить английский к восьмидесяти годам. Этим я надеюсь продлить свою жизнь до нормального срока. А Джекобса у нас почти не переводят.

— Прости, старик, но ты напоминаешь мне не долгожителя, а одного мальчишку помора. Когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком, судьба занесла его в Англию на архангельском суденыш-

ке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил: «Му-у-у!» Потом показывал пятерню и говорил: «Бэ-э-э!» Это, как ты понимаешь, означало, что привезли они десять холмогорских коров и пять полудохлых от качки овец. «Вот вырасту, стану капитаном, — думал маленький Воронин, — и сам так же хорошо, как хозяин, научусь по-иностранному разговаривать». И как ты умудряешься грузовым помощником плавать?

— А тебе какое дело? Не у тебя плаваю.

— Ладно. Не заводись. У Джекобса есть рассказ, где капитан какой-то лайбы вышвырнул за борт черного кота — любимца команды. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота спокойно лежащим на койке. Сволочь капитан опять взял черного кота за шкурку и швырнул в штормовые волны, а когда вернулся в каюту, дважды утопленный черный кот облизывался у него на столе. Так продолжалось раз десять, после чего кэп рехнулся. В финале Джекобс вполне реалистически, без всякой мистики, которую ты, Витус, так любишь, объясняет живучесть и непотопляемость черного кота. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца и в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их чернью. И запускали поштучно к капитану, как только тот надирался шотландским виски. Это и есть матросское коварство. У нас на «Очаровательном» все было наоборот. Командир Эльзу обожал, а мы мечтали увидеть ее в зоопарке. Нельзя сказать, что идея, которая привела Эльзу в клетку, принадлежала только мне. Как все великие идеи, она уже витала в воздухе и родилась почти одновременно в нескольких выдающихся умах. Но я опередил других потому, что во время химической тревоги, когда на эсминце запалили дымовые шашки для имитации условий, близких к боевым, Эльза перекусила гофрированный шланг моего противогАЗа. Злопамятная стерва долго не находила случая отомстить за пинок ботинком. И наконец отомстила. После отбоя тревоги дым выходил у меня из ушей еще минут пятнадцать. С этого момента я перестал есть сахар за утренним чаем. Первым последовал моему примеру боцман, который любил Эльзу не меньше меня. Потом составиля целый подпольный кружок диабетиков. Сахар тщательно перемешивался с мелом и в таком виде выдавался Эльзе. Через неделю она одним взмахом языка слизнула полкило чистого мела без малейшей примеси са-

хара, надеясь, очевидно, на то, что в желудке он станет сладким. Все было рассчитано точно. Твердый условный рефлекс на мел у Эльзы был нами выработан за сутки до зачетных торпедных стрельб. Надо сказать, что по боевому расписанию Эльза занимала место на мостике. Ей нравилось смотреть четкую работу капитана третьего ранга Поддубного. А наш вегетарианец действительно был виртуозом торпедных атак. И когда «Очаровательный» противолодочным зигзагом несся в точку залпа, кренясь на поворотах до самой палубы, там, на мостике, было на что посмотреть.

В низах давно было известно, что очередные стрельбы будут не только зачетными, но и показательными. Сам командующий флотом и командиры хвостовых эсминцев шли в море на «Очаровательном», чтобы любоваться и учиться.

Погодка выдалась предштормовая. И надо было успеть отстреляться до того, как поднимется волна.

— Командир, — сказал адмирал нашему командиру, взойдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа. — Я мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу, я соскучился по лихому морскому бою!

И он увидел лихой бой!

Мы мчались в предштормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи в липкую бумагу.

Командир приплясывал на ящике. Ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре.

Эльза сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра.

Адмирал и ученики-командиры стояли тесной группой и кутались в регланы.

Точно в расчетное время радары засекали эсминец-цель, и Поддубный победно проорал: «Торпедная атака!.. Апараты на правый борт!»

Турбины взвыли надрывно. Секунды начали растягивать, как эспандеры. И внутри этих длинных секунд наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок — и команда, прыг-скок — и команда. Команды Поддубного падали в микрофоны четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилон, сигмы, фи и пси арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Минуты за три до точки залпа Эльза

слюккойно прошла через мостик, дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика-пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слизнула с ящика все данные стрельбы, всякие аппаратные углы и торпедные треугольники.

Атака завалилась с такой безнадежностью, как будто из облаков на «Очаровательный» спикировали разом сто «юнкеров».

Червонцы команд по инерции еще несколько секунд вываливались из Поддубного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой, блестящей поверхности ящика-пьедестала, выражал детское удивление перед тайнами окружающего мира. Хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол предштормовое море на тридцати узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны падали в небеса оглушительными очередями, на мостике стало тихо, как в ночной аптеке. И в этой аптекарской тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, торчащий из кулака Поддубного.

— Отставить атаку! — заорал адмирал. — Куда я попал! Зверинец!

И здесь наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам. И правильно, я считаю, сделал, когда всадил сапог в ухо Эльзе. Медведица пережила такие же, как и ее хозяин мгновения чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира. Потом взвилась на дыбки и закатаила Поддубному оплеуху. Лихой бой на борту эскадренного миноносца «Очаровательный» начался. Точно помню, что и в пылу боя Поддубный сохранял остатки животнoлюбия и джентльменства, ибо ниже пояса он старшую сестру не бил, хотя был на голову ниже медведицы и, чтобы попасть ей в морду, ему приходилось подпрыгивать. Эльза же чаще всего махала лапами над его фуражкой, потому что эсминец кренился и сохранять равновесие в боксерской стойке на двух задних конечностях ей было трудно. А кренился «Очаровательный» потому, что на руле стоял я, старшина рулевых, и когда командиру становилось туго, я легонько переключивал руля. На тридцати узлах эсминец отзывается на несколько градусов руля с такой быстротой, будто головой кивает. И таким маневрированием я не давал Эльзе загнать командира в угол. Мне, честно говоря, хотелось продлить незабываемое зрелище.

Адмирал и ученики-командиры наблюдали бой, забравшись кто куда, но все находились значительно выше арены. Сигнальщики висели на фалах в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то есть скорчившись от сумасшедшего хохота. Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя и выступали, таким образом, в роли пикадоров. Но Эльза была упряма и злопамятна, как сто тысяч обыкновенных женщин. Ее интересовал только предатель командир.

Тем временем эсминец-цель, зная, что по нему должен был показательно стрелять лучший специалист флота и что на атакующем корабле находится командующий, решил, что отсутствие следов торпед под килем означает только безобразное состояние собственной службы наблюдения. Признаться в этом командир цели, конечно, не считал возможным. И доложил по радиации адмиралу, что у него под килем прошло две торпеды, но почему-то до сих пор эти торпеды не всплыли и он приступает к планомерному поиску. Учитывая то, что мы вообще не стреляли, возможно было предположить, что в районе учений находится подводная лодка вероятного противника и что началась третья мировая война. В сорок девятом году войной пахивало крепко, и адмирал немедленно приказал накинуть на Эльзу чехол от рабочей шляпки и намотать на нее бухту пенькового троса прямого спуска. Эту операцию боцманская команда производила с садистским удовольствием. Затем адмирал объявил по флоту готовность номер один и доложил в Генштаб об обнаружении неизвестной подводной лодки. Совет министров собрался на...

— Петя, ты ври, но не завирайся. Ведешь себя, как ветеран на встрече в домоуправлении. Что было с Эльзой?

— Когда Поддубному вкатили строгача, он на нее смотреть спокойно уже не мог. Списали в подшефную школу. Там она дала прикурить пионерам. Перевели в зверинец. Говорят, медведь, который ездит на мотоцикле в труппе Филатова, ее родной внук. Если теперешние разговоры о наследственности соответствуют природе вещей, то рано или поздно этот мотоциклист заедет на купол цирка и плюхнетя оттуда на флотского офицера, чтобы отомстить за бабушку. Я лично в цирк не хожу уже двадцать лет, хотя давным-давно демобилизовался.

08.10.69

Маврикий, Реюньон, Мадагаскар, отмель Этуаль уже за кормой.

В Порт-Луи простояли около двух суток — брали воду и продукты. Было там славно, по-домашнему. Местные люди уже привыкли к нам, лоцман поставил к причалу, близко росли южные кусты, их цветы покачивались в вечернем бризе, цветы красные, белые, зеленые, желтые. И сильный запах лаванды.

Пальмы и нефтяные баки вездесущей «Шелл». Под пальмами и между кустов бродил и блаженствовал Пижон. И я ночью, проверяя швартовые, сошел на берег и побродил среди спящих, неподвижных кустов, в рассеянном свете редких фонарей. Наломал веток с красными и белыми цветами. Они оказались долговечными. И сейчас еще у цветов лепестки сильные, плотные.

Получили письма и газеты. Мой сардинский кактус прибыл домой и испугал мать — такой он большой и колючий. Да и железное ведро, подобранное на сардинской свалке, вероятно, производит сложное впечатление. Еще когда я засовывал в это ведро кактус, из ржавых дыр уже высыпалась земля, вернее песок. Я рад, что кактус жив и что он наконец завершил плавание. Он был мне другом в трудные моменты на «Челюскинце». И хорошо, что ребята сдержали обещание, доставили его на Петроградскую сторону. Значит, газ, смертельный для суринамского мукоеда, не убивает кактусы. Только бы дома его не залили водой...

В «Литературке» отличная статья Платонова о девочке и Короленко, как девочка придумывала и стирала ошибки в рукописи, чтобы Короленко не прогнал ее от себя. Статья Шима о телевидении. Завидно, что Шим не теряется перед сложностью сегодняшнего мира, что ему все ясно и в жизни, и в проблемах развития средств массовой информации.

Статья Гейдеко в «Литературной России», где автор с лютой злобой кусает Горышина.

Странно с такого большого расстояния наблюдать столь знакомый мир. Во всяком случае, он не делается значительнее от перспективы.

В иллюминатор заглядывает сиреневое утреннее све-

тание. В сиреновом по горизонту горбатится темно-сиреневый Мадагаскар, зарево маяка. Почти полный штиль. Идем по 15 миль — самым полным.

В Порт-Луи зашли со старпомом в китайский книжный магазин. Покупателей не было. Только старик китаец сидел за конторкой под самым большим портретом Мао. Все стены обвешаны Мао поменьше. Все книги ярко-красного цвета — тысячи цитатников на различных языках. Издания очень хорошие, добротные, ясно, что делались на экспорт. Ради любопытства хотел было купить цитатничек величиной с коробку спичек на английском, но раздумал.

За все время не встретили ни в портах, ни в море ни одного китайского судна. Японцы шуруют везде, где есть вода. Китайцев как будто и на свете нет.

Каюта — сплошной натюрморт и кунсткамера. Висят и качаются кокосы разных возрастов. Везде насованы раковины всех видов и кораллы. Из этих богатств выбираются на свободу и ползают по мне раки-отшельники, крохотные крабы и улитки. И от йодистого запаха моря трудно дышать. Густо пахнут морские дары.

В Порт-Луи ранним утром мы спустили вельбот и поплыли на отмель, которая начинается за мысами гавани. Бывалые ребята утверждали, что там самое добычливое место, что кораллы с острова Сайрен — чепуха рядом со здешними. И оказались правы.

Мы бросили якорешко на метровой глубине. Ребята ныряли в бирюзовую воду с ножами и молотками. Оленьи рога, ветки сказочных растений, что-то похожее на огромные розы; нежные, как сыроежки, полусферы; плоские кружевные лепестки... Я принимал богатства в вельбот, штиль был, тишина, пахло рыбным рынком, виднелось близкое дно, мир был в душе, спал рядом старинный форт, торчало над водой брюхо какого-то неудачливого парохода, с парохода удил афро-азиат и тарасил на нас глаза...

Вельбот был загружен до предела, ошвартовались мы с набережной, выгружали добычу на теплые каменные ступени, опять под недоумевающими взглядами местных людей. Так глядели бы у нас на человека, вытаскивающего из Невы булыжники.

Кораллы в свежем виде имеют цвет бурый, серый,

грязно-зеленый; покрыты слизью, водорослями. Технология обработки простая. В бочках разводят хлорную известь и опускают в раствор кораллы на день-два. Затем их следует тщательно промыть пресной водой. Можно и соленой, но считается, что цвет тогда не такой снежно-белый. Судовое начальство строго запрещает промывку кораллов пресной водой, а экипаж правдами и неправдами старается обмануть начальство. Еще одна сложность в том, что стащить хороший коралл у друга-приятеля — не воровство, а этакое невинное баловство.

Экипаж разбивается на группки, группки объединяются вокруг добычи хлора, бочек и источника пресной воды. Хлор хранится у боцмана, и боцман делается центральной фигурой на добрую неделю. Важно еще иметь какое-нибудь служебное помещение, куда следует поместить банку с хлорной известью, чтобы не отравиться хлором и не испортить известью мебель, штаны и каютные ковры.

У меня есть такое помещение — маленькая кладовка в корме, где томятся флаги всех государств планеты, добрая тысяча томов старых лоций и дип-лот. От разившейся патологической жадности и страха, что похитят мои ценности, ни в какие группки я входить не стал. Одиноким шакалом после каждой ночной вахты, под покровом мрака, в качку обливаясь на трапах крепким раствором извести, я таскал банки с носа в корму и, закрыв дверь каюты на ключ, промывал кораллы в умывальнике.

Часть даров я оставил без обработки. От них каюта и пропахла запахами моря на долгие месяцы. Ящики с дарами, проложенными наворованной ветошью, газетами, старыми флагами государств нашей планеты, я распишал под стол, под диван и в шкаф-бар, который традиционно пустовал у меня.

12.10.69

И вот мы опять проходим Добрую Надежду, где «Жанетта» в кейптаунском порту с какао на борту «поправляла такелаж». А над нашими головами в ближнем космосе пронесится «Союз-6» с двумя спящими в нем космонавтами. И антенны ведут его через зенит, а судно тяжело раскачивается на встречной штормовой волне.

Шторм делается жестоким. В такой шторм судно кажется птичкой, которая трепыхается в ладонях великана. Индийский океан передает нас Атлантическому.

Теплоход «Невель» — и два океана. Отличная компания.

Я пою песни военной поры и вспоминаю сорок пятый год, как перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы, костер в порту... Да, я повидал мир, думаю я. Но он не кажется мне ни веселым, ни отчаянным. Быть может, потому, что сам я никогда не буду ни веселым, ни отчаянным, а мир проходит сквозь меня. Я устал, хочу спать и чтобы не снились плохие сны. И я уже забыл про космический корабль «Союз-6» над головой. Но я хочу верить, что другим достанутся и достаются кусочки весело-отчаянного мира. От веры в это мне легче жить.

Продолжаем работать полным ходом. Крупная зыбь от юго-запада. Удары тяжкие. Скорость упала до сорока трех миль за вахту. Лопнул кронштейн с сигнальными огнями на фор-брам-рее, болтается на проводе, выскивает, кому на голову свалиться. Мало шансов успеть в точку работы к назначенному сроку. Да, для скоростных гонок через океаны наш бывший лесовоз не годится. От каждого удара судно содрогается и корчится, как эпилептик. И над черным носом встают белыми привидениями фонтаны брызг до самых звезд.

— Фрам! — командую я «Невелю». Мне нравится звучание этого норвежского слова. Так Нансен назвал свое судно: «Вперед!» И Амундсен тоже прокатился на этом слове в Антарктиду. — Фрам!

Стоит только подумать, что зыбь стихает, как «Невель» сразу находит особенно здоровенную зыбину, втыкается в нее, вздыбливается и этим заявляет, что категорически не согласен с предположением. При этом он еще поносит тебя своими корабельными словами — скрипами и грохотом. «Ну ладно, дружище, прости, я ошибся», — подхалимничаешь ты. И он идет некоторое время по волнам равномернее и плавнее. Вот они какие, эти пароходы. С ними тоже надо искать хитрый общий язык.

В космосе носятся уже три «Союза».

Космонавты Шаталов, Шонин, Кубасов, Филипченко, Волков, Горбатко, Елисеев чувствуют себя хорошо, кровяное давление и давление в кораблях нормальное, они уже передали привет народам Европы и передали наилучшие пожелания народу Соединенных Штатов. Утром они провели физическую зарядку, сопровождавшуюся медицинским контролем, затем позавтракали. Все это сообщило ТАСС. ТАСС не забыло и о нас. Мы, то есть научно-исследовательское судно Академии наук СССР «Невель», ведем непрерывную работу по приему и обработке инфор-

мации, поступающей с борта космических кораблей, и поддерживаем постоянную связь с мужественными космонавтами. Короче говоря, мы вносим свой вклад в мировую научно-техническую революцию. И члены нашей экспедиции держат нос высоко.

Нам стало известно, что в небесах также занимаются астрономией. Один из «Союзов» имеет датчик автоматической ориентации по звездам, другие имеют секстанты. Мы качаем секстанты над мокрым океаном, космонавты, очевидно, над искусственным горизонтом. Просочились слухи о том, что лампочка подсветки горизонта одного космического секстана перегорела. Бортинженеры беседовали в небесах о том, из какого другого прибора можно вывинтить эту проклятую лампочку, чтобы заменить перегоревшую. Все там происходит точь-в-точь как в нашей квартире или на экспедиционном судне «Невель».

К очередному витку выходим на крыло и дружно плясим глаза на полоску неба над горизонтом с той стороны, откуда должен вознестись «Союз» с двумя спящими героями. Несколько раз все синхронно вздрагиваем — это падают метеориты, они падают на наши натянутые нервы. Антенны вдруг тоже вздрагивают и начинают подниматься к зениту. Они «повели», а мы ничего не видим.

В роли комментатора выступаю я:

— Они там замаскировались. Флагман космической бригады Владимир Шаталов отдал приказ ввести светомаскировку, чтобы американцы их не увидели и не засекли.

— Этого не может быть, — сдержанно и снисходительно объясняет старший научный сотрудник. — Корабль светит отраженным солнечным светом, а высота двести километров...

Сотрудник упоен очередным рывком в космос, ему не до шуток. Токует, как глухарь на току.

— Они покрасились светопоглощающим составом, — упорствую я. — Или, может быть, они дрейф не учитывают? Толя, ветер там сильный?

— Там нет воздуха, а значит, и ветра, — объясняет ученый среднего звена. — Там только ионы, понял?

— А вдруг у них тоже шторм, — продолжаю я валять ваньку, чувствуя, что сейчас возможен взрыв.

Но появляется кто-то из экспедиции и сообщает, что космонавты ввернули лампочку в «сектант». Он так и говорит: «В прибор ручной астроориентации — сектант — ввернули хорошую лампочку». Я объясняю молодому

научному работнику, что прибор называется «секстан» — от слова «секс», а не «секта»...

Раздается традиционная команда:

— Курс на Москву! Всем долой с палуб! Будут работать «рога».

А корреспондент ТАСС Дмитриев передает из Центра репортаж «Ритм космических вахт», который заканчивается словами: «Корабли-спутники, подобно небесным светилам, прочертили свои очередные витки над антеннами Центра и ушли за горизонт...»

Интересно было бы спросить корреспондента, думаю я, слушая его репортаж, какие это небесные светила чертят витки над антеннами? Похоже, мы начали забывать, что сами вертимся вокруг светила. Пора вспомнить о Копернике. Он учил людей быть скромными, как сказал Эйнштейн. А скромность и юмор создают равновесие. Кто-то из физиков сострил, что физик — это человек, который всю жизнь тратит гигантские общественные средства для удовлетворения своего любопытства. Почему бы не заимствовать у физиков чуточку юмора? Тогда и наши члены экспедиции смягчили бы таинственно-многозначительные выражения своих физиономий и стали бы славными ребятами — такими, какие они и есть на самом деле.

15.10.69

Все крутятся и не падают клотиковые фонари на фоке. Оказывается, кронштейн фонарей ломается второй раз. В прошлом рейсе он тоже лопнул. И его приварил в Бомбее работяга-индус за хорошую порцию выпивки. А недавно мне пришлось расписаться на таком циркуляре: «От нашего агента в Индии получено сообщение о том, что впредь угощение индийских граждан спиртными напитками на борту судов будет расцениваться местной таможней как беспошлинный ввоз в страну данных напитков, что является нарушением существующего законодательства. Ответственность за такие нарушения может выразиться не только в наложении штрафа, но и в возбуждении судебного дела против виновных лиц».

Сегодня за кормой осталось 21 360 миль — виток по экватору вокруг планеты. Третий штурман объявил об этом перед обедом.

Занятно было бы взять у нас функциональные пробы и задать психофизиологические тесты. Мы продолжаем работать полным ходом на 8—9-балльный ветер в мордотык.

В районе Дурбана исчез без вести самолет. Дурбан каждый час дает сигнал повышенного внимания и: «Все проходящие в пятидесяти милях суда ищите настойчиво воздушный аппарат и экипаж». Дурбан уже далеко у нас за кормой. Судя по всему, ребята на воздушном аппарате улетели в вечность.

18.10.69

Пересекаем Аргентинскую котловину, вошли в зону распространения айсбергов. Граница зоны указывается на картах с запасом, и шансов встретиться с ними у нас нет: Айсберги выносятся сюда Фолклендским течением и течением Западных ветров.

Чем ближе к Огненной Земле, тем мрачнее океан. Шторм 9 баллов в лоб. Ход падает. А Москва нас подгоняет и подгоняет.

Читаю Стендаля параллельно с дневниками Кука и на вахте листаю лоцию южной части Атлантики. Получается забавная каша.

Фолклендские острова присоединил к Британии в 1764 году Джон Байрон — дед пиита, английский адмирал, прозванный за отчаянный нрав «Джеком бурь». Своим присоединением дед принес хлопот родной короне больше, чем даже внук. Ибо внук давно вплелся в лавровый венок Британии, а Фолклендские острова приносили и приносят Британии одни неприятности и войны. За этот тоскливый клочок земли царапались Франция, Испания, а сейчас Аргентина.

«Джек бурь» наткнулся на острова, так как ошибся в счислении на пять градусов широты — почти расстояние от Москвы до Ленинграда. Такая ошибка представляется невозможной даже по тем временам. Особенно для моряка, который затем благополучно обошел вокруг планеты. Скорее всего англичане хитрили.

Я как раз читал о том, что поэт Байрон поддерживал себя в ночные творческие часы смесью можжевелевой водки с водой, когда по трансляции торжественно объявили о прекрасном качестве связи между тремя космическими кораблями и кораблями в Мировом океане, то есть и нами. Затем были объявлены благодарственные радиogramмы от Келдыша, Госкомиссии и даже начальника нашего пароходства.

Два огромных безмолвных фрегата плыли рядом с рубкой в соленом ветре. Огромная тяжесть их тел, когтей, клювов. И ни единого крика, и неколебимость крыл. Как они находят друг друга в океанах, если даже не кричат? Каждое крыло фрегата — размах двух моих рук. И куда они деваются ночью? Ведь с первым лучом рассвета они уже рядом с нами. Сутки за сутками.

— Можно бы пухнуть, — сказал капитан задумчиво. — Но кто чучело сделает? И еще вопрос: в какую квартиру чучело поместится? У меня две крохотные комнаты в коммуналке...

— Да, — сказал я. — Вопросов больше, чем ответов, Георгий Васильевич.

Он посмотрел на небеса, где сидели в брюхе «Союзов» космонавты, кивнул головой, точно боднул низкие тучи, и пробормотал:

— А мы? Так и сдохнем здесь, в сороковых или пятидесятых!

Георгий Васильевич терпеть не мог сороковые и пятидесятые широты. Здесь ему вспороли живот, здесь он слишком долго играл в гляделки со смертью.

— Так и сдохнешь в сороковых или пятидесятых! — с некоторым даже удовлетворением повторил мой капитан.

Да, ощущается уже кое в чем время. Скоро четыре месяца, как мы в этом рейсе. Сто двадцать ночей подряд я уже провел без сна. Кто еще, кромедвигающихся в пространстве людей, или стариков, или больных, ночь за ночью думает о мизерности, неудачливости судьбы, жизни? Где-то спят нормальные люди, а ты все задаешь себе идиотские вопросы и наконец сам становишься идиотом. Или погрязает в мелкой текучке судовых будней: «А что сегодня на обед?..» Я решительно не нахожу в себе сил, чтобы хоть как-то осмыслить существование.

23.10.69

Точку приблизили миль на двести. И мы отработали с очередным объектом, но антенны в этот раз прошли не через зенит, а под острым углом к горизонту. Серое небо, низкие тучи, темно-серый с сединой океан — как шкура старого ишака. Безрадостный, пустынный океан, который еще раз доказал, что человек предполагает, а он располагает.

И сразу легли на курс в район Рио-де-Жанейро. Там

есть банка Альмиранти-Сальданья с глубинами около семидесяти метров. Можно под теплым солнцем в дрейфе лежать, греться и рыбу ловить.

Прямо в рубку на ночную вахту позвонили мне ребята из экспедиции, пригласили после смены в четыре утра к ним. У ребят отличное настроение — работу они выполнили хорошо, Москва похвалила. И еще всем нам было приятно, что идем мы почти на чистый норд — все-таки домашнее направление. Слухи, конечно, по судну, что месяца через два, к Новому году, ошвартуемся в гавани Васильевского острова.

Я сидел у ребят, пили разбавленный спиртик тайком от высокого начальства, слушали магнитофон, трепались за жизнь, спорили... Пришла радиограмма: лечь на Монтевидео, сдать материалы на самолет, который прилетит за ними туда, и возвращаться в Индийский океан.

Главная тяжесть нашей работы — в неопределенности: не знаешь, куда повернут через минуту, не знаешь, сколько времени будет рейс. Зимовщик засел на Антарктиде и сидит, ждет, когда за ним «Обь» приплывет, ему есть для чего дни считать. А здесь и считать нет смысла, хотя мы, ясное дело, все равно считаем. И используем самые простые способы улучшать настроение. Например, вспомнишь, что сейчас в Ленинграде продают из деревянных загоронок арбузы... Или заметишь в волне черепаху. Год назад в Средиземном море видел. Но средиземноморская сразу ушла на глубину виражом, как планер, испугалась шума винтов. Здешняя только голову приподняла, покачиваясь на волне.

26.10.69

Если бы сегодня глухой ночью в крошечной темноте кто-нибудь притаился в рулевой рубке теплохода «Невель», то смог бы подслушать такой диалог:

- Ну, что-нибудь видно?
- Нет. Они, очевидно, прячутся.
- Машина чего-нибудь изображает?
- Рисует на пятидесяти, а надо двадцать пять.
- Глубь материка?
- Да. Горы нет на карте. Есть три речки — Хосе-Игнасио, Гарсон и Роча. Они вытекают в разные стороны из одной точки.
- И машина рисует эту точку?

— Да, а они все попрятались — это очевидно.

— Залезли в норы и затаились?

— Да, но им это не поможет.

— Мы их все равно найдем?

— Я в этом убежден.

— Они хорошо окопались, эти мерзавцы!

— От уругвайцев можно ожидать чего угодно.

— Я тоже думаю, что они способны поставить дымовую завесу над всем материком.

— С них станется! В лоции написано, что они состоят из смеси индейцев, испанцев и итальянцев. Представляете, какие у них женщины?

— Они прячутся вместе с женщинами?

— Я сейчас уточню.

— В таком случае я еще придавлю часок, а вы меня разбудите, когда обнаружите первую дамочку.

Под такой диалог мы входили с капитаном Семеновым в залив Рио-де-ла-Плата. Перевожу на человеческий язык главное в этом диалоге:

— Очень плохая радиолокационная видимость.

— Да, береговая полоса, вероятно, сплошное болото. И какая-то водяная пыль в воздухе.

— Глядите в оба.

— Гляжу в четыре.

— Если до берега двадцать пять миль, а идем мы по двенадцать, то я могу полежать на диванчике в штурманской рубке около часа. Когда я лежу на диванчике, то могу и задремать. Если это произойдет, не вздумайте беречь мой сон и обязательно разбудите.

— Есть, товарищ капитан, я вас разбужу, как только обнаружу берег или у меня возникнут малейшие сомнения...

Мне нравятся жаргонные диалоги. Невольно вспомнишь академика Конрада, который заметил, что суть не в звуковых обозначениях понятий, а в том, чтобы одинаково эти понятия понимать. И рано или поздно возникнет всемирный язык — хотим мы этого или нет.

Через часок мы обнаружили уругвайцев в скалах — целый островок Родос пробился сквозь муть экрана на радаре, островок украшали два погибших на его скалах корабля и маяк. За островом замерцало зарево городов Макдональдо и Сан-Карлос. Левее этого зарева, на подходах к Монтевидео, догнивал на обсушке немецкий карманый линкор «Адмирал граф Шпее», загнанный сюда англичанами четырнадцатого декабря 1939 года. С два-

дцать шестого сентября тридцать девятого года он действовал на коммуникациях в Атлантике и потопил девять судов общим водоизмещением пятьдесят тысяч тонн. Когда англичане подтянули (подключили) к облове линейный крейсер и авианосец, «Шпее» укрылся в нейтральном Монтевидео. Командир «Шпее» добился от уругвайцев продления срока пребывания здесь с положенных двадцати четырех часов до семидесяти двух, а затем, получив согласие Гитлера, взорвал свой линкор семнадцатого декабря 1939 года. Говорят, что потомки командира «Шпее» — его фамилия Лансдорф — живут здесь и поныне. Еще говорят, что в 1516 году матрос с корабля главного пилота Кастилии Хуана Диаса Солиса, увидев по носу землю, заорал: «Вижу холм!» — «Монте видео!» И крик того давно превратившегося в прах матроса застыл на века.

До полудня мы простояли на якоре в мутных водах Ла-Платы. Мутные они потому, что река Парана, впадающая в залив, собирает муть с доброй половины Южной Америки. Над рыжей водой синел контур города Монтевидео. Он чем-то напоминал контур Таллина.

Прибывшие власти вручили капитану инструкцию. От нее пахивало дореволюционным русским языком:

«Чтобы избежать высоких штрафов и лишних расходов, просим Вас покорно принять к сведению следующие пункты:

а) Ждать лоцмана на рейде и, по принятию на борт, следовать его инструкциям.

б) У причала немедленно надеть «накрытники».

в) При заходе в порт просим покорно поднять все флаги, в том числе «Q», «H» и уругвайский (если имеется).

г) Необходимо пользоваться услугами буксиров при входе и выходе.

д) Не выносить из порта пакеты или другие вещи без особого разрешения.

Лоцмана заказываются с утра на после обеда и с вечера на утро; срочный заказ стоит в 2 раза дороже.

Пиньон Саенс Видал,
Агент, порт Монтевидео».

Это было написано блеклыми фиолетовыми чернилами, от руки. Так и хотелось увидеть живое «ять».

Блажен, кто стоит у причала, а не болтается в море. Не сразу ощутишь, как это хорошо — стоять, и все тут. Не двигаться; черт побери. И прямо в окно какты — кирпичные стены пакгаузов с прослойкой бетона по перекрытиям, с узкими бойницами вентиляционных дыр.

Некрасивые и пошлые пакгаузы, но они — просто прелесть, когда заслоняют и воду, и небо. В воротах пакгаузов вбиты номера. Мне пришлось ворота «7». Правее ворот лежит на цементном полу и спит, сунув под голову свернутый пиджак, работяга докер.

На судне какая-то тупая тишина — не работает главный двигатель и даже вспомогатели доведены до минимума. Голоса звучат неожиданно и громко, гулко, по-вокзальному:

— Доктора к капитану!

— Спустить «карантинный»!..

Вылезаю на свежий воздух, оглядываю пейзаж.

По носу стоит здоровенный пассажирский «Сабо-Сан-Винсен», порт приписки Севилья, Испания. По корме уругвайский буксирчик «18 июля». На противоположной стороне гавани англичанин «Дарвин».

Вдоль борта шатается много бездельничающих по случаю воскресенья любопытных уругвайцев. Приехала первая, смешанная из разных кровей, как коктейль, уругвайка. Смуглая, в короткой юбочке, стройная, в черных очках.

Свежую воду мы начали принимать из рожка на причале. Швартовщики выполняют и обязанности водолеев — разводят на грузовичке шланги, открывают рожки и засекают время. И я, увидев водолеев, машинально поднял глаза на часы — четырнадцать часов. И дернулся, чтобы заметить отсчет лага и записать его. Условный рефлекс: в это время я обычно на вахте.

Сухопутные птицы чирикают! Вот что дошло вдруг до сознания. Это не тоскливый крик бродяг и драчунов — чаек. И уж никак не гробовое молчание крылатого льва — фрегата. Нашенский, родной земной чирик. Последний раз я такое чириканье слышал на Киле в тишине умиротворенного июньского вечера среди сирени и зеленых склонов канала...

Наш героический пес Пижон сидит на верхней площадке трапа и ноет. Он уже побывал на берегу и получил

крепкую взбучку от уругвайских собак. Собаки-хулиганы принадлежат кладовщику соседнего пакгауза и не сводят с Пиждона бдительных глаз, мерзавцы. Трагическое положение у Пиждона. Приплыл из-за тридцати океанов и не может обнюхать столбики и углы, а они так близко! Когда матросы стаскивают Пиждона на причал, он начинает дрожать всем телом. И от страха перед неизведанным, перед чужими собаками, к которым его, конечно, тянет. И от возбуждения.

Уругвайские псы — кобель и сучка, — измочалив Пиждона, вернулись к хозяину. Он притворно жучил их, ибо наши матросики подняли хай. Уругвайские псыны суетились и подхалимничали перед хозяином, отлично зная, что он доволен, но делая вид, что виноваты, как и положено вассалам перед патроном.

Я спустился на причал, стащил за собой Пиждона на веревке. Он понял, что теперь защита есть, прыгал, как резиновый. Мы с ним прошлись от носа до кормы — просто так, размять ноги.

И вдруг на русском:

— Господин, вы плохо пострижены!

Оборачиваюсь. Старый человек в дешевом плаще. Бледное, одутловатое лицо, обтрепанные брюки, в руках маленький чемоданчик.

— А, собственно, вам какое дело до моей головы?

— Я знаю, вы не любите тратить валюту на пустяки, — говорит он хмуро. — Я за так вас постригу, без денег. Покормите, может быть, ужином... Недавно поляк приходил, я у них за харчи работал...

Вот она, эмиграция. И жаль старика, но мы не грузовик — специального назначения судно: лишних пускать на борт не рекомендуется.

— Спасибо, папаша, — говорю я. — Мы работаем в море очень подолгу, по многу месяцев. И потому на судне есть свой специалист. Вот он, кстати говоря. Зайцев, видишь, у тебя здесь коллега нашелся...

Матрос Зайцев, который неделю назад обкорнал меня, как бог черепахе, прилаживает беседку, чтобы красить борт, и радостно-наивно брякает:

— Вот и хорошо! Мне-то самому надо когда-нибудь подстричься!

— Ладно, я тебя сам подстригу, — говорю я сурово и многозначительно.

Старик хмыкает, разглядывает мою непокрытую голову.

— Я мастер высокого класса, — говорит он. — Покорите обедом... или ужином...

Он настырен. Ему нечего терять.

Я даю ему пачку сигарет. Он еще битый час стоит у трапа. Надеется на что-то или, может быть, выполняет специальное задание? Разве разберешься?

Вон медленно проезжает по причалу машина. Из нее женщина спокойно, в открытую фотографирует «Невель» — по частям, кадр за кадром, отдельно прицеливается по антеннам, проезжает еще раз обратно...

Бесит это нас, конечно, но она имеет полное право заниматься своим делом.

К вечеру собрались со старпомом в город. Чиф задержался. Я ждал его на портовой площади. Там было нечто вроде сухого фонтана — круглая дыра в асфальте, окруженная невысоким поребриком. И вот в эту дыру въехал уругваец, зазевавшись на живого большевика.

Старый «мерседес» уругвайца был битком набит наследниками. И еще две дамы. И вот пока уругваец медленно рулил по причалу, уставившись на меня, неуверенно улыбаясь и посасывая сигаретку, пока все его семейство тоже пялилось на меня, а я на них, — старый «мерседес» подъехал к сухому фонтану, на миг споткнулся, потом преодолел поребрик и свалился передними колесами в дыру. Проваливание сопровождалось, как и положено, скрежетом и другими неприятными звуками, которые обычно издает автомобиль, когда он въезжает не туда, куда ему положено. Зад «мерседеса» задрался, головы семейства опустились, мотнулись, мотор заглох.

— Компец, приехали! — сказал я фразу из бессмертного анекдота.

Уругваец, сидя в яме, никак не мог понять, куда он провалился, ибо площадь была обширная и совершенно гладкая, а видеть сквозь пол «мерседеса» он не мог.

Никто из семейства вылезать из машины не стал, все продолжали сидеть и пялить глаза на меня. Левое переднее крыло машины было погнуто. Человек пятнадцать мужчин-зевак неторопливо подошли к провалившемуся «мерседесу», взяли его за передний бампер и вытащили на руках из фонтана. Все это происходило как-то стран-

но — без шуток, без подначек, без слов сочувствия — в полном молчании. Провалившийся уругваец, так и не вылезая из машины, — хоть бы на погнутое крыло посмотрел, дурак — дал задний ход, развернулся и уехал, увозя загнипнотизированное семейство.

А мы с чифом пошли в город.

Навстречу ехали через ворота порта мимо охранников другие уругвайцы, большинство на старых, допотопных машинах, которые у нас называются «антилопа-гну».

Я вспомнил Колдуэлла, его «полным-полно шведов», и бормотал: «Полным-полно уругвайцев!» Их было множество вокруг. Но уже метрах в ста от ворот порта улицы опустели узкие припортовые улочки, засыпанные по водостокам бумажной рванью, с закрытыми дверями маленьких магазинов, где под слоем пыли на витринах лежали подержанные вещички, оказались безлюдными — было воскресенье.

И мы шли по пустым улочкам и слышали эхо своих шагов — как в военном городе в комендантский час. Ни одно дерево не украшает припортовые улочки Монтевидео, если идешь от главных таможенных ворот перпендикулярно линии причалов. Мутные какие-то дома, мутное, серое небо, мутные потеки в водостоках, мутные обтрепанные афиши. А мутность превращается в перламутр только в одном городе мира — моем родном, — так я считаю.

Мы смотрели витрины закрытых магазинов. Цены оказались ужасными, в два раза выше сингапурских. Правы одесситы, которые готовы рулить куда угодно, кроме Уругвая.

— Невозможно работать! — шепелявил чиф, переводя уругвайские песеты в английские фунты и фунты в американские доллары, а американские доллары в сингапурские доллары и сравнивая таким образом стоимость синтетических женских пальто на разных континентах с их стоимостью в ленинградском комиссионном магазине.

За припортовым районом город ожил. На стенах расцвели яркие афиши конкурса красоты «Мисс-69». И я подумал, что когда-нибудь будут конкурсы пожилых людей. Например, конкурс дам, родившихся в 1900 году. Кто в старости сохранил благородство, духовную красоту, чистоту и здоровье тела, элегантность походки? Правда, для этого надо немного — равенство условий жизни... Когда это будет?

А пока на площади Виктории, под могучими, державными, похожими на колонны Фондовой биржи пальмами, сидят старые чистильщики сапог. Работы нет. Старики молча бездельничают. Потертый и неудачливый народ эти чистильщики сапог.

Недалеко, у входа в сквер, стоит полицейский — детина в туго обтягивающей серой форме, похожий на Геринга, громадный. Ноги, конечно, расставлены, рука на рукояти пистолета.

Все для фотокадра — «капитализм».

В центре площади Виктории возвышается постамент, на постаменте битюг, на битюге — основатель или освободитель Уругвая. Открывателя, главного пилота Кастилии Хуана Диаса Солиса где-то здесь съели индейцы чаруасы. Возможно, они съели и того матросика, который заорал: «Монте видео!» Так и не уяснив, кто на битюге, идем дальше.

Плакаты автомобильной лотереи имени Христофора Колумба...

Книжный магазин. «История христианства» в нескольких томах, внешний вид церковно-академический, простые переплеты с золотым тиснением. Огромный фолиант называется, очевидно, «Мучения народа израильского»: душегубки, толпы расстреливаемых немцами евреев, концлагеря. Книга, на которой двойной экспозицией напечатан наш рубль и американский доллар.

От непривычки к ходьбе уже ломит ноги. И дождь собирается. Хочется домой, на «Невель». Сегодня я смогу спать всю ночь до утра — приятная перспектива.

Поворачиваем оверштаг.

На всякий случай у меня в кармане несколько значков. Надо их кому-нибудь подарить. И я было решил осчастливить маленькую девочку, которая стояла за решеткой, ухватившись, как и положено узнику, за железные прутья и пытаюсь трясти их железную неколебимость. Решетка отделяла девочку от улицы. Очевидно, ее родители ушли в кино и закрыли парадную. Двери в парадной не было, а была только решетка. И когда я увидел маленькую девочку, которая держалась за прутья и плакала в неволе, то вспомнил немисливо далекий остров Вайгач и маленького ненца, привязанного сыромятным ремнем к колу на время, пока его родители были на охоте или на рыбалке. Маленького ненца, который прижимал к груди полярного орла и с рождения слушал его гор-танный, жалобный и грозный клекот.

Я, как и положено добрым дядям, присел перед заключенной девочкой на корточки, и мы оказались одного роста.

Она была беленькая, совсем европейская, с косичками, и слезы одиночества капали у нее из глаз. А возле двери-решетки росли большие деревья, похожие на наши клены, но с листьями более жесткими и меньшими по размеру. Стволы деревьев были в пролысинах, какими бывают стволы эвкалиптов. На улице, далекой от центра, но не окраинной, состоятельной, ухоженной, было тихо. И никто не выглядывал из окон.

Я говорил девочке русские слова: пусть она не плачет, мама и папа скоро придут из кино, и все будет в порядке. А сам думал о том, что испытываю нестерпимое любопытство к внутренней жизни далеких людей. Что все бы отдал за то, чтобы войти в эту уругвайскую квартиру, поглазеть по сторонам, попить чаю с родителями девочки. Вот на острове Вайгач это совсем просто. Там и двери не закрываются, а здесь, на противоположном конце света, это безнадежно невозможно. Ибо порог человеческого жилья — еще более труднопреодолимая граница, нежели государственная.

Девочка, конечно, перестала плакать, когда незнакомый дядя присел перед ней на корточки. И вытирала кулачками глаза. Я чуть не вручил ей значок с Кремлем и старинной ладьей, но в последний момент испугался, что значки с булавками, об эти булавки я и сам кололся, а она-то уж уколется и подавно. И старпом поддержал меня, сказал, что надо домой, пора тушить фонари. И мы пошли дальше, а девочка стала плакать и дергать прутья решетки.

Дождь собирался не на шутку, и мы держали правее и правее, надеясь срезать угол и выйти к порту кратчайшим путем, с тыла.

Исчезли со стен рекламы вестернов — женщины в черных масках, джентльмены с револьверами, женщины и мужчины в роскошных кроватях, живописные трупы в горящих машинах. Опять мусор заполнил тротуары, старая бумага, окурки, банки и склянки — грязный мусор бедности. Когда в Париже бастуют уборщики, там тоже полно мусора на улицах, но он живописный, даже веселый. В Лондоне мусор чинный — продукт английского характера, нежелания утруждать себя по мелочам.

На месте снесенных или обрушившихся от старости

домов, среди битого кирпича росли вялые ромашки и бледные лютики, как растут они на наших свалках. И никто, ни один человек не попадался навстречу. Похоже было, что мы заблудились.

За зоной пустынности мы вышли на автобусное кольцо. Уставшие автобусы отдыхали. Водителей не было за баранками, только дремали кондукторы-негры. А вокруг скопилось почему-то огромное множество собак — неприкаянные бродяги, собачья голь и шпана, собачьи воры и урки. Они лежали на мостовой и судорожно зевали, глядя на нас. Редкий пес поднимался, чтобы понюхать наши следы. Они абсолютно не рассчитывали на подачку — даже не виляли хвостами.

За автобусным кольцом началась зона автомобильных кладбищ. Но не все антилопы-гну были бесхозными. Кто-то надеялся, вероятно, рано или поздно достать колесо, дверцу, кусок мотора, вставить это в автомобильный труп и продать антилопу или самому прокатиться по шикарной набережной Рио-де-ла-Платы.

В ожидании будущих удач разбитые, разоренные машины были огорожены колючей проволокой и старыми ящиками. Внутри загородок сидели псы-охранители. Трехколесный грузовичок охраняло восемь дворняг. Они сидели за проволокой, как приличные звери в зоопарке, и были разными, как могут быть разными только дворняги. Рыжая собачонка величиной с кошку и черный пес величиной с меня, зеленая от старости сучка и лысый розовый псин... Чем все-таки кормят такую ораву?

Когда запах бензина и пропитанной смазочным маслом земли стал слабеть, мы оказались в следующей зоне, самой близкой к тылам порта, — над крышами уже видны были клотики испанского пассажира из Севильи. И уже выворачивал из-за углов влажный морской ветер, крепнувший в предвкушении близкого дождя.

За несколько часов в чужом городе устаешь так, как будто сутки бродил по Эрмитажу. Тупеешь, перестаешь смотреть по сторонам, голова трещит, ноги отваливаются. И женщины, которые начали попадаться навстречу, женщины, стоявшие возле дверей или на углах улиц, сперва не задерживали нашего внимания.

Женский вопрос на море — сложный. О нем, правда, не положено упоминать. А молодой здоровый мужчина есть молодой здоровый мужчина. И полгода в океане океанского ветра, при доброй пище и размеренной жизни, — не монастырское схимничество, помогающее уби-

вать плоть. Наоборот, такой образ жизни ее укрепляет. Правда, в длительных рейсах природа заботится о мужчинах, затягивает воображение некоей паутиной. Работа, мелкие и крупные сложности в отношениях со спутниками, отсутствие права на ошибку, психическое напряжение, которое не покидает тебя, хотя ты его вроде и не замечаешь, — все это уводит от второй половины жизни. Но подлый фитиль пороховой бочки тлеет под пеплом. И если пепел свалится, то отдохнувшее воображение заработает с совершенно ненужной силой.

Женщины на припортовых улочках Монтевидео умели стряхивать пепел с нашего брата, это была их профессия, самая древняя.

Две Магдалины стояли на балконе мансарды. За ними темнела дверь в комнату. Над ними летели с моря облака, набухшие дождем. Рядом покачивалась вывеска бара «Техас». Наигрывал джаз. И мы вдруг сбились с ровного аллюра, нас засбоило, черт возьми; ровная благородная рысь превратилась сперва в нелепый галоп, а потом мы обнаружили себя неподвижно стоящими под балконом и раскручивающими сигареты. Магдалины снимали с нашего воображения паутину и пыль мощным пылесосом.

Какое безобразие, что мы находимся на берегах Ла-Платы! Эх, мама родная, как далеко нам еще до Новороссийска, Одессы или Архангельска!

На перилах балкончика висели такие знакомые коврики: три киски, склонившие пушистые мордочки в одну сторону, милые киски; гордые олени, неприступные замки, верблюды в барханах, мишки на лесозаготовках и девятый вал, — международное единение вкусов, припортовое братство народов. Великое объединяющее и сближающее влияние женского начала в мире...

— Невозможно работать, — прошепелявил чиф.

— Туши фонари, — пробормотал я.

Магдалины не смотрели на нас. Из такого суеверного чувства рыболов не смотрит на поплавок, когда рядом начинается ходить рыба.

Мы побрели дальше, а женщины не смогли сдержать вздоха там, на балконе, на фоне живописных ковриков, как не может сдержать вздоха рыболов, когда рыба, понюхав приманку, уплывает.

А дальше началось черт знает что. Мы видели проститутку во многих портах. Современная проститутка цивилизованной страны обычно выглядит как обыкновенная дамочка, желающая повеселиться тайком от супруга.

Уругвайские — боже мой! Хотя... Хотя в Лондоне я видел проститутку, которую запомнил навсегда. Она стояла в метро на сквозняке, в дурном пальтишке, у эскалатора — так, чтобы поднимающиеся по эскалатору видели ее ноги в различных ракурсах. И выходя из метро, мужчины, конечно, оглядывались на нее и вздрагивали — такая старая, истощенная, больная, страшная маска глядела на них из-под рыжих, крашенных волос. Когда я возвращался часа через два, она все так же стояла на сквозняке, замерзшая, и смотрела на толпу с такой забитой ненавистью и тоской, что всю гадость мира собственников можно было бы выразить одним ее портретом. Вызов и отчаяние кошки, которую окружили двадцать псов, которая бесстрашна, но ненависть которой так сильна, что псы поджимают хвосты со страху. На что она рассчитывала, выплескивая ненависть на всех проходящих через вестибюль метро Вест-Энда? Она была или за гранью отчаяния, чтобы вести себя разумно и расчетливо, или глотнула наркотиков.

Проститутки в Монтевидео тоже были ужасные, но совсем в другом роде. Белых почти не встречалось. Негритянки и мулатки. Груды могучих ляжек, икр, бедер, грудей, локтей. Они напоминали лошадь, на которой едет по площади Виктории освободитель или основатель Уругвая.

— Туши фонари! — бормотал старпом.

— Невозможно работать! — бормотал я, когда они высвечивали нас прожекторами белков и при нашем приближении начинали переступать ногами. Ни один моряк мира не смог бы миновать эти противолодочные сети на тыловых подходах к порту, не откупившись хотя бы стаканчиком виски. Но мы были советские моряки. И почему-то все всегда чутьем узнают это. К нам не приставали.

Редкие мужчины — хозяева этих женщин — сидели возле баров и курили, поглядывая на нас с презрением. Они были трезвые. Я еще никогда не видел пьяного сутенера или бармена. И потому они еще более неприятны мне.

Значки я отдал мальчишке-негритосу.

— Держи, бой, — сказал я и дал ему значки. Он остолбенел сперва. Ведь значок для бедного человека не сувенир, а несколько монет, которые он на нем зарабатывает. Пока он столбенел, мы спокойно шли. Но уже через несколько минут сзади раздался шум и гам. Другие мальчишки налетели на моего избранника, и пошла потасов-

ка. Группа мужчин стояла под насквозь дырявым тентом паршивой забегаловки, укрывалась от дождика. Мужчины залопотали осуждающе. Потом стая мальчишек окружила нас, требуя долю, дергая за брюки, глядя с ненавистью и нахальством. И я подумал о том, что щенки на острове Вайгач более деликатный народ. Нужно было убраться подобру-поздорову, что мы и сделали в довольно паническом ритме.

А в порту наш сосед — пассажир «Сабо-Сан-Винсен» — снялся со швартовых на родную Испанию, он увозил в Севилью потомков впередсмотрящего матроса, крикнувшего: «Монте видео!»

Два маленьких буксира раскантовывали лайнер. Играла, как положено в таких случаях, бодряя музыка. Толпа провожающих шла по причалам за медленно удаляющимся судном, толпа махала руками, сдерживала слезы или плакала и не смотрела под ноги, спотыкалась на поребрике того сухого фонтана, в который заехал давеча уругваец на «мерседесе», и пачкала брюки о наши стальные швартовые.

На рее лайнера трепетали отходные флаги. Влажный ветер летел с моря, срывал дымки с труб буксиров. Три тягостных гудка традиционно встряхнули души, проникнув в них через обыкновенные ушные раковины. Лайнер нацелился на проход в молах, отдал буксирные концы, могуче взбурлил воду под кормой и исчез, оставив ощущение сиротливости в толпе провожающих.

И даже во мне.

Мне казалось, что Уругвай так и не стал еще чем-то по-настоящему самостоятельным, что это край неудачников, которые должны тосковать по родине, по Севилье, Мадриду и Бильбао.

Это, конечно, ерунда, но мне так казалось, какая-то колониальная тоска есть там, далекость, безнадежная далекость другой стороны земли.

Радиопеленг со Святой Елены на судно стоит один фунт стерлингов, два шиллинга, шесть пенсов. Запрашивать пеленг следует через Лондон с указанием точного времени нужды по телеграфному адресу.

Лоция Атлантического океана

Вода там в ограниченном количестве. Сыр там, ребята, дешевый. И очень дорогая картошка...

Из разговора с встречным судном

Океан днем был синим и спокойно-прекрасным.

Потом была стопятидесятая ночь за рейс, тропики, средняя видимость, слабая зыбь, курс девяносто девять.

Был включен радар, работал рулевой автомат, я один вышагивал ночную вахту. Правда, молчал в углу еще один товарищ. Он только нос высовывал из-под вороха флагов — здоровенный чайник с крепким чаем.

Мы пересекли Атлантику из района острова Тринидади на бухту Уолвис Бей. У берегов юго-западной Африки, оккупированной ныне Южно-Африканской республикой, нас поджидал танкер с собачьим именем «Аксай». Танкер валялся в дрейфе у пустыни Намиб, недалеко от мыса Пеликан. Там где-то жили последние буры, хирели их соляные копи под натиском огромных подвижных дюн. Девяносто — стопятидесятиметровые дюны — полтора Исаакиевских собора — с мрачным подземным гулом пересыпались по пустыне Намиб к берегу. Дюна за дюной, холм за холмом. А океан вышвыривал эти холмы обратно — век за веком.

На карте отмечены были кости кита. Они белеют грудой на темном фоне прибрежных скал. Их координаты нанесены точно, по ним можно определяться. Любимец Мелвилла и после смерти служит морякам. Недалеко от груды китовых костей есть полицейский пост у Анихаба, на посту колодец, то есть пресная вода.

В бухте Уолвис Бей случаются извержения подводных вулканов, и на поверхности ее проявляются небольшие острова, состоящие из ила и глины. После прекращения извержения острова исчезают. Лоция отмечает как «характерное явление» образование еще и больших пузырей с сероводородом. А когда пузыри лопаются, то характер-

ным делается запах сероводорода. Процент газа в воздухе бывает так высок, что медные детали на судах тускнеют. Тускнеют и части судна, окрашенные белилами.

Буи в бухте белого цвета, хотя никто не тратил на них краски, — они покрыты густым слоем гуано. И как такая жуткая бухта не отпугивает птиц?

До всего этого было около тысячи миль. Когда долго плаваешь в океанах — это не расстояние.

А слева на траверзе таился во мраке остров Святой Елены. За рейс мы уже обошли Елену со всех сторон.

Одинокое острова всегда волнуют. Как отшельники.

Мы стадные животные. И отшельники удивляют, вызывают даже подобострастное уважение. В одиночестве и человек, и клочок суши накапливают неведомую внутреннюю силу. Толстой все сказал об этом в «Отце Сергии». Накопив неведомую силу, отшельники отдавали ее — или в заветах мудрости, или простым прикосновением руки исцеляя страждущих. Заряженный одиночеством, самосредоточением, аккумулятор разряжался, отдавая целебный ток слабому.

Плавающие люди немного отшельники. Я уж не говорю о Чичестерах. Быть может, потому их так волнуют одинокие острова над океаном. Большинство таких островов имеет в названии «святой» или «святая». У первопроходцев возникло в душах восторженное и религиозное чувство, когда из волн — всегда неожиданно — показывался одинокий остров.

Острова... Написать когда-нибудь книгу обо всех островах, где пришлось побывать. Расставить их по жизни как вехи. Через них вернуться в прошлое.

Начать с «Новой Голландии». Петр нарек так крохотный островок среди каналов и речек в Петербурге. Петра бесили великие открытия западных людей в океанах. Новой Голландией когда-то называли Австралию. Быть может, Петр нарек так крошечный островок в столице, чтобы сказать: «И мы еще должны кое-куда успеть!»

И Беринг отправился в путь.

А Беллинсгаузен потом успел к Антарктиде первым.

В морском соборе, построенном рядом с «Новой Голландией», были упокоены души всех русских моряков, погибших при Цусиме. Этот собор взорвали на моих глазах. И построили завод.

Я много лет прожил в тридцати шагах от острова «Новая Голландия», но не ступал на него ногой. Там были самые разные склады. Как все запретное, остров дразнил

мальчишеское воображение. На земляных откосах канала цвела пышная сирень. Возле самой воды по весне вспыхивали первые желтые одуванчики. Между тополями виднелось таинственное здание бывшей морской тюрьмы, круглое, красного кирпича, с маленькими тюремными окошками-бойницами. Мать рассказывала, там сидели революционные матросы. В семнадцатом матросы брали «Новую Голландию» штурмом — там засели юнкера. Мать говорила, матросы шли на штурм ночью, с факелами; в нашу квартиру залетела пуля. Возможно, это семейная легенда — романтизм в семействе наличествует явно.

Многие годы к тайнам «Новой Голландии», к сирени и одуванчикам было не пробиться: часовые, проволока, огромные глухие ворота.

И вот осенью сорок пятого, в белой брезентовой робе и бескозырке без ленточки — салага, — я на полutorке въехал в мир детских тайн за продуктами. Мы грузили, спуская по деревянным сходням из старинных складов мешки с мукой и ящики с комбизиром. И я уже оттуда смотрел на близкие окна родного дома. К ним с «Новой Голландии» было так же невозможно добраться, как раньше сюда. Диалектика. А потом, в полutorке, чтобы унять тоску по дому, притушить ностальгию, мы совали в рот сушеный компот и все вообще, что можно было сунуть тайком от мичмана-завпрода. Он знал, что мы ворюги, и держал ухо востро...

Остров Кильдин, рейд Могильный, камни Сундуки, где я тонул.

Тоскливый клочок земли — остров Жохова в Восточном секторе Арктики. Выгрузка с рейда, через понтон, ящики с кирпичом и ледяная вода по пояс, медвежата и лайки...

Было смешно смотреть, как они бегут по скользкому льду вокруг острова, задрав головы вверх, лая с надсадом, хрипло, яростно и в то же время весело, с любопытством. Их было шесть собак и два белых медвежонка. И каждый раз, когда прилетал ледовый разведчик и делал низко над островом круг, чтобы сбросить нам ледовый вымпел, они неслись за его крестовой тенью, задрав головы, взрываясь лаем. Во льду были трещины и полыньи. Но свора неслась, ничего не видя, не чуя впереди. Они начинали тормозить уже в самой близости от полыньи, приседая на задние лапы, тщетно пытаясь удержать свои разогнавшиеся тела на скользком льду, слетали в темную, жирную от мороза воду и выныривали, злые, раздосадованные; вылезали обратно на лед, дымясь, оскальзы-

ваясь, делая в то же время вид, что, мол, ничего особенного не произошло, что они специально нырнули в воду, что им нравится купаться. А самолет в это время делал новый круг над островом, и, замороженные недосыгаемостью самолета, его скоростью, они опять забывали обо всем и неслись за крестовой тенью, лая надсадно и весело. И все повторялось — свора купалась в полынье и вылезала, сконфуженная и мокрая.

Мы выгружали на этот далекий арктический островок много разных грузов для зимовщиков. И приходилось все время ругаться с ними.

Зимовщики требовали поднять грузы на береговой откос.

Их было только семь человек на острове. И чтобы поднять грузы на откос, им предстояло работать всю бесконечную, крошечную зиму, в мороз и пургу. К тому же сама полярная станция находилась на другой стороне острова, в двенадцати милях от места выгрузки, и надо было еще перевезти уголь, картошку, кирпич на замерзающих тракторах и капризных вездеходах через холмистую заснеженную тундру.

Мы понимали, что зимовщиков ждет каторжная, опасная работа, но ничего не могли поделать. Была поздняя осень, наш капитан был стар и осторожен, он уже достаточно рисковал, когда вообще шел сюда, в ледовую западню. Два года суда не могли пробиться к острову. Станция оказалась на грани закрытия. И только поэтому наш капитан рискнул, ворча, и матерясь, и проклиная Арктику.

Тяжелые льды надвигались с норда, и у нас не было времени поднимать грузы на десятиметровый береговой обрыв. Полярники понимали это не хуже нас, но спорили и ожесточались. А мы понимали полярников и все равно ругались с ними, и сбрасывали грузы на ледяной припай.

А в перерывах между работой мы смотрели на свору из шести собак и двух медвежат. Мы привозили им с судна всякую жратву: остатки супа, кости, хлебные корки — и выливали всю эту теплую бурду на лед; лед таял, собаки и мишки вылизывали жратву и снег, порыжевший от томатного жира. Они всовывались в протаявшие ямы, надо льдом оставались только их зады.

Собаки и мишки встретили нас первыми, они пробежали двенадцать миль от станции быстрее людей и вездехода. Сперва черные медленные точки среди бесконечной белизны мягко холмистой тундры. Потом быстрые пест-

рые шарики. Потом слабый лай. Потом лохматые линючие псы у самого уреза воды, взволнованно вертящие хвостами, и два грязных, в соляре и угольной пыли, медвежонка, принятые в собачью компанию на совершенно равных правах. Они радостно приветствовали наш вельбот, не боялись нас и не облаивали, доверчиво подходили под руку. Мы сразу полюбили их, и нам очень захотелось привезти на судно одного мишку. На судне не было никаких зверюг, а со зверьями веселее плавать.

Вожака своры звали Рыжий, он был самый молодой, но и самый сильный, лохматый и хитрый. Единственная сука, тощая и болезненная, с низко отвисшими сосцами, судорожно поджатым хвостом, тоскливыми, слезящимися глазами, Верка, держалась в стороне от всей своры, но и она не выдерживала, когда прилетал самолет и делал над островом низкий круг. Тогда Верка тоже неслась за его тенью и лаяла весело и самозабвенно, наплевав на свои женские болезни и заботы.

А мишки были близнецами, их мать убили весной, они выросли среди собак и, наверное, думали, что и они собаки. Полярники кормили их чайками, и только этим мишки отличались от псов, которые не едят чаек даже в Арктике.

Работа на выгрузке, когда нет причала, когда судно стоит далеко на рейде, — тяжелая работа. И темп был очень большой. Мы работали днем и ночью. Бригада «Ух!» и бригада «Ах!». Выгрузка из трюмов на понтон, буксировка понтона среди льдин к берегу, перевалка на тракторные сани, оттаскивание грузов к откосу. И покурить удавалось только тогда, когда понтон застревал во льдах. В эти редкие минуты мы собирались у костров, собаки и мишки подходили к нам, мы играли с ними, возились, фотографировались с медвежатами. И каждому хотелось оказаться на фотографии поближе к зверюгам.

Зимовщики, обиженные на нас, курили отдельно, сидя на ящиках, угрюмые и отчужденные, глядели на огромную гору грузов у подножия откоса и думали о том, что ждет их впереди, длинной, полярной зимой. И мы не решились попросить у них медвежонка, хотя готовы были заплатить чем угодно, даже спиртом.

Поздним вечером прибежал со станции щенок, совсем маленький, толстый и неуклюжий. Он показался на гребне обрыва, высоко над нами, страшно уставший от бесконечно долгого пути через тундру. Он подпрыгивал, просясь вниз. Сам он боялся спускаться.

И мы, и полярники, и собаки, и мишки смотрели на щенка с уважением. Он пустился в путь через весь остров по следам других и шел двенадцать миль совсем один, и все-таки дошел, но теперь боялся спускаться по крутому обрыву, хотя мы звали и подбадривали его снизу. Верка тоже смотрела на своего сынишку, но, по-моему, не волновалась за него.

Следовало кому-нибудь влезть на обрыв и снести щенка вниз, но все мы уже здорово устали и медлили. И вместо нас полез медвежонок. Он растопыривал лапы, упирался ими в рыхлый снег, по-всякому извивался и влез на откос очень быстро. Щенок ждал его наверху. Они, наверное, о чем-то поговорили. Потом медвежонок опрокинулся на спину, поерзал немного, подталкивая себя к обрыву, и съехал к нам, весь в облаках снежной пыли, головой вперед.

Он показывал пример.

Но щенок не понял, он все повизгивал и подскакивал на одном месте. И тогда полез другой медвежонок, он лез очень сурово и решительно, он твердо знал, что надо будет сделать со щенком, и поэтому не торопился.

Воткнулись в угольную кучу наши лопаты, пошевеливался на слабой волне понтон у припая, медленно проплывали мимо льдины, похожие на замерзших огромных птиц, быстро менялись в небе очертания облаков, огромная северная тишина сомкнулась вокруг нас, и только повизгивал наверху щенок.

Мишка вылез к нему и с ходу, сразу дал под зад лапой. Щенок покатился вниз визжащим комком. Он катился долго-долго, потом вскочил на ноги, перестал визжать, отряхнулся и радостно подбежал к нам. Все оказалось не так страшно. Надо было только получить толчок вначале. И все мы повеселели и опять принялись за работу.

А щенок, конечно, был очень голодный. Он нюхал снег в тех местах, где мы выливали жратву, но весь съедобный снег уже вылизали другие. Тогда щенок подлез к медвежонку, тот открыл пасть, щенок засунул в нее свою маленькую башку и стал выковыривать языком застрявшие в медвежьих зубах остатки пищи.

Ночью мы работали при свете фар трактора. Пошел снег, он казался черным. Похолодало. Волны плюхали во льдах угрюмо. И угрюмая, застывающая Арктика давила души. Костры горели красными огнями, собаки грелись возле них, не мигая, привычно глядели в огонь и без-

дельничали. Мишки улеглись на льду у полыньи и сосали лапы, они очень смешно пыхтели при этом, в ритм, как маленькие дизеля, и меняли лапы тоже одновременно, строго взглядывая друг на друга. А Верка закопалась в кучу угля, он был теплый внутренним, мягким теплом. Мы брали его в Архангельске чуть влажным, и за время пути он разогрелся в трюмах. Никто не заметил, что Верка забралась в него. Вездеход с санями въехал на полном газу по склону угольной кучи, Верка не успела отскочить. Во тьме ночи раздался визг, похожий на человеческий. Мы сбежались к ней, и никто не знал, что надо делать. Верка ползла куда-то, волоча задние лапы. Потом она забилась в снег и притихла, дрожа всем телом, судорожно зажмурив глаза. Другие псы не обратили на все это внимания. Только Рыжий несколько минут постоял возле Верки, слабо и неуверенно повиливая хвостом.

Мы решили, что она отлежится, потому что собаки — живучие существа. Нам было спокойнее так думать, нам было жаль Верку, мы все-таки чувствовали себя чем-то виноватыми и перед ней, и перед всеми зимовщиками. Мы привезли с судна всякие вкусные вещи — котлету, белый хлеб с маслом и даже сгущенного молока. И положили все это у самого Веркиного носа. Но она не могла есть и даже не понюхала молоко.

Мы боялись, что другие псы или медведи стащат ее рацион, и следили за ними. Но они подходили, нюхали, вздрагивали от желания стащить и уходили в сторонку, чтобы больше не возвращаться. Быть может, они вели себя так потому, что Верка была сукой, а может, понимали, что ей плохо и что нельзя ее обижать.

К утру похолодало еще больше, снег полетел гуще, ветер все заходил к норду, сплошные поля пакового льда стали приближаться к острову. Наше судно снялось с якоря и лавировало между ними, стараясь удерживаться на месте. Мы видели белый, красный и зеленый ходовые огни. Они медленно двигались в полумраке, и всем нам было ясно, что выгрузку закончить не удастся и что скоро придется уходить отсюда совсем.

В полдень с судна поднялась ракета — нам приказывали срочно возвращаться на борт.

Мы попрощались с зимовщиками и собаками. Как часто при расставаниях, взаимные обиды показались мелкими, несостоящими и хотелось сказать: «Вы же видите — мы не виноваты... Льды... тяжелые прогнозы... и у нас нет времени помочь вам больше. И впереди нас ожидают еще

три полярные станции, и ребятам на них не лучше вашего..» Но как-то неудобно говорить такие слова. Всегда почему-то легче выругать друг друга ласковым матом, когда за ругательными, тяжелыми и грубыми словами стоит твое доброе отношение, и твоя тревога, и твое сожаление. И кроме таких слов, мы только сказали, что Верку можем взять на судно, у нас есть фельдшер, он ее как-нибудь подправит.

Зимовщики отказались.

Мы перешли на катер.

Берега острова удалялись медленно.

Собаки и мишки бежали за нами, перепрыгивая со льдины на льдину. Мы гнали их назад, мы боялись, что их унесет в море.

Под береговым откосом у горы грузов стояли зимовщики, очень одинокие и молчаливые, курили. Верка заметила, что мы уходим, она подползла к самому урезу воды, приподнялась на передних лапах и смотрела нам вслед. И кто-то из зимовщиков взял ее на руки, чтобы она дольше видела нас. И щенка они тоже взяли на руки.

Тут опять прилетел ледовый разведчик, потому что в штабе проводки беспокоились. Он заложил низкий вираж над островом. И свора помчалась за его стремительной тенью, лая яростно и в то же время любопытно и весело. Свора сразу забыла нас.

Островок уходил все дальше, и казалось, что холодное, застывающее море втягивает его в себя. Нам было тревожно за остающихся, мы желали им всем удачи и здоровья...

Потом была Земля Бунге; провалившийся под лед вездеход, на котором мы отправились охотиться на оленей; тундра без конца и края; бревно песчовой ловушки, украденное нами, чтобы привязать его к гусеницам вездехода и выбраться из ледяной каши...

Остров Вайгач. И веселая злость его собак...

Диксон. Вздувшиеся трупы белух на снегу у костра...

Гогланд — памятник, вознесенный Балтийским морем над духом десятков тысяч погибших. Черника и брусника...

Сахалин, корейка с привязанным на спине ребенком, прозрачная анивская селедка, и желтеющие за проливом Лаперуза вершины Хоккайдо...

Уже и даты все спутались — не вспомнишь, пожалуй.

Веками острова служили морякам.

Через острова моряки общались друг с другом и дале-

кой родиной. Это были почтовые ящики. Сохранившаяся донныне привычка моряков малевать на стенке причала, у которого стоит судно, его название — атавизм далеких веков. Название и дата. Значит, такое-то судно тогда-то живым и здоровым прошло такой-то порт или остров. Теперь это в некотором роде хулиганство. Век назад это был единственный способ связи.

Парусники наших предков, совершавшие совместное плавание, назначали у одиноких островов рандеву.

Здесь, у Святой Елены, Лисянский на «Неве» не дождался «Надежды» Крузенштерна, когда они возвращались из первого русского плавания вокруг света. И представить себе невозможно, какие нервы были у людей, которые плавали совместно на парусниках и без рации. Как месяцами, годами тревожились они за судьбу друг друга, пока записка на одиноком острове не дарила их радостью общения.

Приветствую тень ваших парусов на этих волнах, глубокоуважаемый Иван Федорович Крузенштерн! Как вы сейчас там, на Васильевском острове, на набережной Лейтенанта Шмидта? Пожалуй, снег уже опять украшает ваши эполеты... Передайте мой поклон Неве!.. Не знаете ли, почему наши корабли больше не называют «Надеждой»?

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Причудливые, вулканические базальты, поднимающиеся на полкилометра, с вершины которых смотрит на звезды Святая Елена. Мертвая зыбь обвивает ее подножье, прибойная пена белеет и сквозь мрак.

Лермонтов бродил здесь мыслями сто тридцать лет назад. Ступал вместе с императором по холодному ночному песку под базальтами. Плыл по ночным волнам зыби на корабле «Воздушный».

Еще в раннем детстве я выучил «Воздушный корабль» наизусть. И все пытался нарисовать его и звезды. На черное небо я капал белила. Звезды гасли, как только акварель высыхала.

Медленно, почти параллельно горизонту пролетает метеорит и гаснет...

Три десятилетия я плыл к этим звездам. Вот они. Вот край Южного Креста над горизонтом — очень, простите, невыразительное созвездие. Самое величественное — экваториальный царь — Орион. Но хочется увидеть Медведи-

цу с детенышем — самое родное. Мы так давно уже ее не видели и неизвестно, когда еще увидим...

Воздушный корабль молча скользит, без матросов, без капитана, закрывает парусами южные звезды. Это не тучи гасят звезды, а его паруса...

«Воздушный корабль», строчка «Под снегом холодной России...», приводит ко мне в рубку тень Старого капрала: «Русский поход вспоминая...»

Шаляпин скорбит и гремит посередине Атлантики: «Дерзкие слышу слова, тень императора встала... Прочь! Не завязывать глаз!..»

Лермонтов, Беранже, Старый капрал, «Воздушный корабль» — неплохие у меня сегодня на ночной вахте попучики.

Кто ты? Фильтр, через который некто пропускает свет звезд, тепло Солнца и холод морей, и бег дельфинов. Вот и все. И если есть смысл в нашем существовании, то это смысл фильтра. Ты миллиардный фильтр, но, пройдя сквозь тебя, звезды делаются иными, нежели для всех других. Вот и все. Звезды принадлежат всем, и только одно принадлежит тебе — твои воспоминания... Звезды исчезли. Воздушный корабль закрыл парусами все небо.

Я пил чай, такой крепкий, что начинало подташнивать, курил заплесневелую «Новость». Хотелось удержать в себе настроение старых стихов. Стихи были отличной чеканки, слова в них туго звенели, как камень под затыльником приклада, когда солдаты берут «к ноге».

Старинных слов отменная чеканка...

Ночная вахта отказалась есть корейку, потому что у нее якобы какой-то запах появился. Я, намазав корейку горчицей, съел и рассказал ребятам о столярном клее, как мы в блокаду считали его деликатесом. Все долго, от души смеялись: «Ну, Викторыч, уж вы даете, так даете! Ну, Викторыч, никто лучше вас не заливает!..» Второй механик добавил: «У меня тетка блокадница. Клей, правда, ели, но только желатин, а столярный никто есть не станет — не крути ребятам мозги...»

Сперва я обозлился, полез в бутылку, потом взял себя в руки — безразлично стало. И грустно, что мы уже так далеки друг от друга, говорим на разных языках.

Мой сумасшедший знакомый из архангельского сквера так же вот не захотел спорить, доказывать. Это и есть смысл его «Хандры». Смертельно опасная штука. Подла-

живаться к людям, мириться с мещанством в них, чтобы обрести тишину и покой, — значит, погубить в первую очередь свою душу.

СТЫКОВКА НА МОКРОЙ ОРБИТЕ

Американцы летят на Луну.

Мои кокосы с острова Сайрен уже сморщились и почернели, как физиономии старых эскимосов. Глаз привык к кораллам. И уже не тянет перебирать сингапурские и уругвайские открытки.

Но каюта все еще кажется уютным убежищем.

В длинных рейсах развивается стремление к постоянству микромира и одиночеству. Или, наоборот, каютобоязнь, когда человек боится одиночества и все время стремится к людям и даже надоедает им. Мои коллеги-штурмана на «Невеле» относятся, как и я, к первому типу. Вахта в рубке — каюта, каюта — вахта. Все в основном спят в свободное время в космическом одиночестве.

Когда работают наши «рога», то есть мощный передатчик ретранслирует в Центр управления сигналы космических объектов, все живое на судне прячется под экран стальных палуб. Кроме старика боцмана и фрегатов. Боцман упрямо утверждает, что ему уже нечего терять. А фрегаты, которые в момент работы передатчика закладывают над самыми антеннами виражи (фрегаты не любят опережать судно, а мы идем самым малым), наверняка попадают в зону облучения. Интересно, действует оно на них или нет. Во всяком случае, они его не ощущают. Их молчаливое парение напоминает мне величавую повадку Анны Ахматовой. И у всех оно вызывает почтительное отношение. Кроме Володьки Перепелкина.

Он: «Н-да-а! Здоровенные! Жирные, наверное, как гуси...»

И ведь он действительно закончил факультет журналистики и обожает писать заметки в морские газеты, и его печатают, и он собирается вступать в Союз журналистов.

Основной метод современного производства — серийный. Чем больше серия, тем выше качество и ниже цена продукта. В основе производства лежит штамп. Из цеха с конвейера штамп переходит в жизнь, в газету, в книги и даже в космос.

Известно, что наши космонавты при обмене информацией с пунктом управления обычно прибегают к лаконич-

ным стандартным фразам. Вот что получилось в результате с Быковским. Он летал уже несколько суток и доложил: «Впервые был космический стук». Земля приняла «космический стук», то есть метеорит. Тревога продолжалась около часа. Когда корабль вошел в зону радиосвязи, Быковскому приказали немедленно доложить, где он слышал стук, характер стука и давление в корабле. Быковский сообщил, что с давлением все в порядке (Ю. Гагарин, В. Лебедев. Психология и космос, «Молодая гвардия», 1971, с. 79).

Штамп, как видим, вещь опасная. Земля в данном случае слушала не слова космонавта, а саму себя. И она услышала то, чего могла ожидать, а не то, что было сказано.

Привычка к штампу — вещь приятная, покойная. Плохо только, что покой нам только снится. А «космическое» от «комического» отличается всего одной-единственной буквой.

Возле двадцать восьмой параллели фрегаты расстались с нами. Эта параллель придумана людьми удобства ради и существует только на глобусе и карте. Но фрегаты натолкнулись на нее, как на колючую проволоку. А соблазнительные запахи камбузных отбросов тянули и влекли за судном. Фрегаты изнывали от раздвоенности.

Торжественная плавность их полета сменилась неврастеничными метаниями. И вдруг они исчезли. А мы вплыли в край, где птиц нет совсем, в царство летучих рыбок и кальмаров, акул и рыб-игл.

Седьмого ноября состоялся концерт силами экспедиции. Хорошие, молодые, наглаженные ребята пели и играли на купленных за кровную валюту электрогитарах.

Наши дамы были в шикарных платьях, очень похорошевшие. И я всем им говорил комплименты. Я стал стар, и мудр, и добр. Я знаю, что человеку не много надо, чтобы повеселеть, — достаточно сказать, что он, тем более она, сегодня отлично выглядит. Конечно, человек отмахнет от комплимента, но подкорковое вещество впитает квант света, и настроение человека улучшится. Не слишком ли много я начинаю придавать значения подсознанию? «Старость — юность усталых людей...»

РДО от Папанина: принимать с танкера «Аксай» полный бункер — восемьсот тонн топлива. А сперва приказ был на пятьсот.

Из двух слов — «полный бункер» — извлекается масса информации. Ясно, например, что нас будут держать в океане еще не меньше трех месяцев. И виноваты в этом, вероятно, американцы, их полет к Луне. Наши теперь готовят очередной сюрприз в космическом соревновании, а мы будем ждать его в океане. И всем стало кюхельбекерно. Восемьсот тонн! Их меньше чем за три месяца не сожжешь даже при огромном желании. А сжечь их предстоит до последней капли, ибо в родном порту запланирован ремонт со сварочными работами в топливных танках.

«Аксай» сообщил, что возле Уолвис Бей крупная зыбь, стыковка для бункеровки на такой зыби невозможна, он идет вдоль африканского побережья к Анголе, к бухте Мосамедиш в надежде, что там зыбь слабее. И мы ложимся на курс 39°.

Все неожиданные повороты случаются на моей вахте. И кое-кто начинает пошучивать, что, когда ляжем на курс к дому, меня вообще следует освободить от вахты, а то завернут обратно с полдороги.

После вахты играл в шахматы на соревнованиях между палубной и машинной командами. Перед партией волновался, хотя мой противник-моторист даже не слышал слов «королевский гамбит». Хорошо, что я еще способен волноваться, играя в шахматы.

Сегодня сто лет со дня открытия Суэцкого канала.

18.11

Пересекли Гринвич, вернувшись в родное полушарие, вернее, в родную половинку планеты.

Вода в океане заметно помутнела. Неужели это уже влияние Конго? Мрачная, беззвездная, душная ночь.

Африка рядом. Семафорит проблесковым маяком с пустыни берега. Из вечных песков торчат древние скалы. В скалах гримасничают бабуины. В песках бродят бушмены. Но об этом надо заставить себя вспомнить. Вообще-то, никакой Африки нет в душе.

Господи, благослови Африку,
Подай ей надежду,
Выслушай наши мольбы.
Господи, благослови,
Господи, благослови,
Снизойди к нам.
Снизойди,
Святой Дух.
Господи, благослови нас,
Нас, детей твоих.

Эта песня одного из первых здешних композиторов, Сонтонга. Она исполнялась церковными хорами. Мне кажется, отсутствие восклицательных знаков в обращениях не ошибка переводчика или корректора. Африканцы, даже обращаясь к Святому Духу, робели воскликнуть.

Рабство и работорговля еще широко распространены в здешних местах. Свидетельством тому является недавно вошедшая в силу «Конвенция об открытом море». В приложении № 6 можете прочитать: «Каждое государство обязано принимать эффективные меры против перевозки рабов на судах, имеющих право плавать под его флагом, и налагать наказание за такие перевозки, а также для предупреждения противозаконного использования его флага для этой цели. Раб, нашедший убежище на судне, под каким бы флагом это судно ни плавало, ipso facto (в силу факта) свободен».

На траверзе мыса Албина сошлись с грузинским танкером «Аксай».

Встреча двух советских судов недалеко от берегов Анголы вызвала у салазаровцев переполох. Любопытство к нашим космическим антеннам и непонятым маневрам стоит колонизаторам изрядных денег. Их военный кораблик вертится вокруг. В носу счетверенный пулемет, над спардеком натянут тент, возле кормовой пушки у обреза курят матросы. Иногда колонизаторы проводят тренировки, наводя пушку по нашим антеннам. Кораблик серый, как мертвая ящерица. Но прозвали его наши морячки «Баный лист» — все вокруг влажное, а филер прилипчив — прозвище получилось точное. Филер кажется нашим матросам безобидным. Они издеваются над маленькой пушечкой на его корме. Они не знают, с каким лопающимся, звонким звуком стреляют и маленькие пушки, с какой острой и злобной вертящейся силой вылетает и маленький снарядик и как тяжело тогда приходится беззащитному судовому железу и дереву.

«Аксай» и мы легли в дрейф, ожидая утра в пятнадцати милях от мысов Сант-Жертрудиш и Марикита.

На Мариките мигал маяк, которого не оказалось на путовой карте.

Глухая ночь, очень влажно, по палубе собачьими подтеками стекает дистиллированная вода.

Чтобы скоротать вахту, я взял секундомер и снял характеристику маяка. Группо-проблесковый, период десять

секунд. Затем вышел на связь с «Аксаем» и запросил у сонного вахтенного штурмана танкера координаты маяка, чтобы нанести его на свою карту. Он пробурчал мне координаты, а потом спросил, в честь кого названо наше судно.

— Есть такой городок в Псковской губернии, — объяснил я. — И потому нас иногда обзывают скобарями. А вы в честь кого?

— Знать надо, — пробурчал вахтенный штурман танкера с грузинским акцентом. — Есть такой городок, кацо, в Волгоградской области. Там, кацо, бои были очень сильные.

— Под Невелем они были не легче, кацо, — сказал я, глядя на два вертикальных красных огня танкера, который бултыхался на океанской зыби кабельтовых в пяти прямо по носу.

Когда-то давно у берегов Ньюфаундленда или Новой Англии — не помню точно, — но далеко на севере Атлантики, среди остатков айсбергов, в тумане похожий разговор состоялся у меня с водолаем «Пирятин». Я не знал, что есть такой городок на Украине, и честно написал об этом. Конечно, нашлась пенсионерка — учительница начальных классов, которая прислала в редакцию донос на мою бескультурность.

«Аксай» собирается быть в порту приписки — Батуми — к середине декабря. Вероятно, следует отправить с ним новогодние письма.

Штурманец с «Аксаей» еще сообщает, что они планируют начало работ по стыковке с нами на шесть утра. Спрашиваю, по какому поясу они живут. По первому восточному. А мы по Гринвичу. Значит, нам начинать работу в пять утра. Фиг вам, думаю я, и еще два фига в уме.

Конечно, «Аксаю» хочется возможно быстрее отделаться от груза, спихнуть топливо нам и юркнуть домой в благословенную Грузию. А мы нынче никуда не торопимся. Начнем стыковку в восемь, решаю я, и только после того, как получим корреспонденцию.

Ну-с, большинство читало о процедуре заправки дальних бомбардировщиков керосином в воздухе. Журналисты любят описывать сближение бомбардировщика и заправщика, выпадение шланга с карабином и прищуренные глаза пилотов. Прямо скажем, никогда я не испытывал

зависти к этим героям. Соединение бомбы с керосином и сверхзвуковой скоростью на высоте в пятнадцать верст страшнее стыковки космических кораблей. Хотя бы потому, что за космическим кораблем нет струи отработанных газов и возмущенного потока воздуха, в которые тебе надо засунуть бомбардировщик, начиненный адской начинкой.

Стыковка на мокрой орбите начинается с заводки буксира. Эта операция отрабатывается моряками со времен Ноева ковчега или даже с тех времен, когда питекантропа уносило на корявом бревне от берега, а родичи питекантропа пытались его поймать лианой и прибуксировать обратно. Тогда, правда, не думали о правилах хорошей морской практики, технике безопасности и стороны не были приписаны к разным пароходствам — как получилось у нас с «Аксаем».

Для начала грузинско-волгоградский танкер заявляет, что у него сломан брашпиль. Действительно сломан или нет? На эту тему скобарь «Невель» размышляет около часа. Если сломан, то дело усложняется раз в десять. Нам тогда предстоит завести на «Аксай» проводник, грузины пропустят его через полуклюз или через кнѣхт, потом мы завезем проводник обратно на «Невель», будем выбирать его кормовой лебедкой, он будет рваться, так как «Аксай», чтобы не навалить на нас, будет работать задним, дергать проводник и т. д. Наконец мы протащим буксир сквозь грузин и закрепим у себя на корме, затем надо будет перетащить топливный шланг — опять на проводнике, — закрепить его, подсоединить к приемному штуцеру, потом нам предстоит дать ход, надраить буксир, чтобы возможно было управляться рулем и чтобы «Аксай» на нас не наваливало.

Проверить грузинский брашпиль не представляется возможным. Остается смириться.

— «Аксай», я «Невель!» Спускайте вельбот! Я готов подать проводник!

— «Нэвэль», я «Аксай!» Почему, кацо, мы должны спускать вельбот?

— У вас брашпиль поломан, вы и возитесь с буксиром!

— Вам топливо, кацо, или нам?

Ну что ты на это ответишь? А работать-то на вельботе мне, потому что старпом прихворнул. Работа впереди трудная. Зыбь нарастает, черт ее подери.

Прыгаю со штурм-трапа в вельбот, который скачет

под бортом не хуже козла. Конечно! Проводник не разнесли шлагами по банкам — швыряли в нос цельной бухтой. Следовало разнести еще на судне. Теперь эту операцию проделываем на прыгающем козле. Полчаса лишней мороки.

Наконец отваливаем.

Живописно выглядит с воды наш ржавый, обросший зеленой бородой, усами и бакенбардами водорослей борт. Ба, а ракушек сколько развелось! Здоровенные уже есть — с кулак. И как их не отрывает встречный поток воды, когда судно идет полным?

Трос-проводник провисает за кормой вельбота, пусклина управляется плохо, мотор чихает, проводник то и дело грозит намотаться на винт. С высоты родного судна подвахтенные бездельники орут идиотские советы. Португальский филер подходит ближе. Солнце пробилось сквозь водяные испарения, и на филере фотоблицами вспыхивают окуляры биноклей в офицерских руках.

«Аксай», вместо того чтобы спокойненько дрейфовать, вдруг дает ход и выворачивает носом на ветер и зыбь. Что они там, с ума посходили? Им следует прикрывать меня от зыби, а... Бах! — с танкера летит бросательный конец и вмазывает моему мотористу между лопаток.

— Держи! Держи бросательный! — ору я шокированному мотористу, но он почему-то глушит двигатель и смотрит на меня выпученными глазами — не может дух перевести.

Бурун под кормой «Аксая» уже рядом — они все еще продолжают работать винтом, — вельбот тянет под подзор, мама, пронеси! Бросательный, конечно, упустили. С танкера орут по-грузински, армянски и азербайджански. Выгребаем каким-то чудом им под нос. Отвесный форштевень танкера так и норовит разрезать нас на равные половинки. С небес свешиваются бородастые и усатые, как борта «Невеля», рожи, острят:

— Эй, кацо! На вэльботе! Нэ подходи ближэ! У нас якорь не закрэплен! Тэбэ на башку упадет!

Когда у тебя над головой растопырился многотонный якорь, то чужой юмор сечешь не сразу — как-то так удлинняется твоя шея, дольше доходит до тебя юмористика. А вдруг действительно у грузин не только с брашпилем, но и с якорными креплениями что-нибудь не в порядке? То, что на танкере порядка мало, мы уже хорошо знаем. И это все вполне понятно и оправдано: никто из настоящих тружеников на «Аксае» работать не хочет — заходов

им в иностранные порты не дают, валюту надо тратить в родном «Альбатросе». Кому охота болтаться взад-вперед вокруг Африки без экономического стимулирования? Только разгильдяям деваться от такого удовольствия некуда.

Проводник поднимается из вельбота на бросательном конце к бородатым и усатым физиям. Они пропускают его в полуклюзы и опять стравливают к нам в вельбот. Все это время мы болтаемся на зыби под развалом форштевня танкера, отталкиваемся руками. Вельбот тяжеленный. Боюсь за матросские руки. Отталкиваться положено крюками, но их, конечно, забыли.

Боже, лингвиста бы сюда! Он бы собрал материал на десять докторских диссертаций — потоки изощреннейшей речи текут на нас сверху и поднимаются обратно. Боже, какие неожиданные завороты, всплески и взрывы, боже, какие таланты импровизаторов и словотворцев пропадают в бескрайних просторах Атлантического океана.

Мне известно, что на португальском филере есть звуковая аппаратура направленного подслушивания. Говорят, отличная аппаратура, американская. Говорят, с километровой дистанции они могут записывать наши обычные разговоры на мостике. Бедняги натовские переводчики, если им придется переводить наши разговорчики при стыковочных операциях. Дай господь натовским переводчикам хорошие нервы, плохое воображение и ослиное терпение, иначе им не миновать сумасшедшего дома в Лиссабоне.

Вокруг летают огромные стрекозы. Дергаясь, как стрекоза на веревочке, тащим проводник к родному скобарю. Зыбь все крепчает. И ветра-то почти нет, а зыбь такая, что скобарь исчезает из виду, когда проваливаешься в промежутки между зыбинами. А нам еще один рейс — за проводником для шланга...

Уродуемся до полудня. Под конец умудряюсь посадить вельбот на собственный буксирный канат — на тот самый буксир, которым мы связали «Аксай» с «Невелем». Канат провис, ушел под воду, и я решил проскочить над ним, чтобы не делать крюк. Суда как раз дернуло в разные стороны, буксир надраился, и вельбот неожиданно стал раком. Теперь я хорошо знаю ощущение китобоев, под которыми всплывает раненый кашалот. Омерзительное ощущение. Но дело еще в том, что последним рейсом я вез с танкера тюк с почтой. Ее отправляли по воздуху на Маврикий, потом на разных судах через два океана. И те-

перь я чуть было не отправил ее на дно Атлантики возле берегов Анголы.

20.11

Пятьдесят лет создания Первой конной. Родились Блюхер и Калинин.

Плтемся вдоль африканского побережья, имея на двух нейлоновых концах «Аксай», связанные с ним еще половиной топливного шланга. Маловетрие, тепло, но не очень душно. Насосы «Аксая» барахлят, топливо поступает медленно. «Баный лист» идти малым ходом не может. Этим он похож на фрегатов. И, как фрегат, носится вокруг кругами.

Американцы посетили Луну и возвращаются.

Очень много летучих рыбок. Они ведут себя весело и, как всегда, пускают за собой по волнам «блинчики». Их стаи достигают сотен штук.

Хорошее, легкое настроение. Потому что и мне письмо оказалось от матери в почте «Аксая». И бандероль с августовским номером «Нового мира» и июньским «Вокруг света», где рассказ Казакова «Вега». Все это отложил на «послевахты». Кроме письма, конечно.

У матери в гостях был Юрий Дмитриевич Клименченко. Он, оказывается, опять ходил на перегон, хотя зарекался плавать. Судно у него было старое, слабое, боялся, что нос отвалится — у судна, разумеется. И меня потянуло мыслями в Арктику, на речные самоходки, на мутный Диксон, к корешам-перегонщикам, к их тусклому юмору, когда поют на мотив песни «Пусть всегда будет мама!» заклинание «Пусть всегда будет пиво!». Такой рукотворный плакат я видел в Игарке.

Когда человек уходит в море, в его душе происходит удивительная консервация. Консервируются все проблемы семьи, учреждения, класса, государства. И пребывает в законсервированном виде, несмотря на существование радиосвязи и почты. Эмоциональный уровень проблемы не затухает от разлуки с их истоком. Так, вероятно, будет и на звездолете. Звездолетчики будут мучить себя отрицательными эмоциями, обдумывая земные проблемы, хотя отлично будут знать, что за время их полета все проблемы изменятся или исчезнут и думать о них — своего рода мазохизм.

Кончилась копировальная бумага. Докладываю об этом капитану. Вот, мол, говорю, какая у нас на борту развилась бюрократия и канцелярщина, сколько бумаг пишут, придется кофирку на валюту покупать.

Мастер подумал, походил по мостику, спел свое любимое: «Мать родная тебя не погубит, а погубит простор голубой...» Потом высказался:

— Вы не правы. Дело не в бюрократии и не в канцелярщине. Дело в том, что еще раньше кофирки туалетная бумага кончилась. А кофирка нежнее газеты.

Высказавшись, Георгий Васильевич прицеливается к стрекозе, которая села на релинг. Он охотится уже битый час. Теперь он напевает: «Она по проволоке ходила, махала белой ногой...» Наконец — хоп! — стрекоза схвачена за крылышки.

— Кого я поймал, Виктор Викторович?

— Воздушный разведчик, — докладываю я. — Замаскированный агент Салазара.

— Точно так, — соглашается капитан и идет к трапу.

— Вы ее куда, Георгий Васильевич?

— В камеру пыток. Коротенький допросик. А вы тут набросайте радиограмму на «Долинск». Спросите, какая валюта в Конго — Браззавиль.

— Бельгийские франки.

— Спросите, какой у них курс.

— Значит, после бункеровки в Пуэнт-Нуаре? На мотоциклу?

— Зависит от того, какие там цены на цыплят.

— Ясно.

Мне хочется в Пуэнт-Нуар. Тропический лес. Много наших педагогов. У педагогов автобус, и они возят моряков в тропический лес. Это нам известно от «Долинска». А из статистики известно, что большинство педагогов в нашей стране — женщины. Лес. Автобус. Женщины. Лианы. Крик дикого зверя. Родина самого древнего человека. Возможность прикоснуться к земле истоков. Необходимость такого прикосновения.

Умнейший Грэхем Грин не сомневается, что у каждого есть потребность вернуться назад и начать все с начала. Полигоном для таких манипуляций во времени и пространстве единогласно выбрана Африка и самые далекие острова Тихого океана. Грэхем Грин даже считает, что и профессиональные путешественники-географы типа Ливингстона и Стенли отправлялись в Африку с неосозна-

ной целью найти свое прошлое в «душе черного мира». С такой же, но осознанной целью тянулись в Африку писатели типа Рембо и Конрада, а Гоген искал свое «прежде» на Таити. Грязь, болезни и варварство, мучительная смерть и тупоумное впадение в детство после изрядной порции хинина — не слишком большая плата за путешествие в «прежде», за взгляд в начало всех начал. Там, в начале, ужас безмятежен, безмятежность ужасна, сила нежна, нежность полна силы, чувственность бездумна, дума чувственна. Возвращаясь из «прежде», цивилизованный человек вдруг обнаруживает у себя пуповину. Ее не обрезали в лондонском родильном доме. Она повисла между Гибралтаром и Танжером, используя облака вместо столбов и опор. По ней передается западному человеку ощущение потери, сожаление о том, что он сделал, натворил с собой при помощи своей цивилизации. Одновременно Грин утверждает, что Африка близка ему и по-обыкновенному, по-родственному, по-домашнему.

Мы — современные русские — в силу своей многовековой удаленности от Африки испытываем некоторое недоумение при встрече с абсолютно черным человеком. Я видел это недоумение на физиономиях буфетчицы Эльвиры и повара, когда черные люди грузили нам продукты. Мы еще слишком редко видим черных людей. Мы такие серые, что до сих пор и в газетах, и в книгах пишем «негр». А это слово иногда звучит оскорбительно, как сам я недавно узнал. Надо: «черный человек». Ведь так просто все, если приложить к себе. Даже самый серый белый не обижается, если его называют «белый человек».

А чтобы почувствовать родственное и необходимое в Африке, совсем и не надо впадать в тупоумное детство после порции хинина на берегу Нигера. Достаточно представить себе карту мира без Африки. И мир без черного человека с ослепительными зубами. И Россию без Пушкина.

Можете?

Мечта о Пуэнт-Нуаре лопается, как пузырь с сероводородом в бухте Уолвис-Бей.

Ответ «Долинска» лаконичен: «Пуэнт-Нуаре вода есть продуктами туговато дорого документы двтч пять судовых ролей, четыре табаколиста, два провизионных, два листа прививок оспы желтой лихорадки с указанием даты».

Цены сравниваются с портами Берега Слоновой Кости и Сенегалом. Перевешивает Сенегал. Запрос на «добро» уходит к Папанину. А пока мы продолжаем тащить за собой «Аксай» и всасывать топливо, набухая им, как клопы кровью. А рядом продолжает тащиться «Баннный лист».

Океанская зыбь едва приметна на глаз, но каждый раз, медленно опускаясь с очередной зыбины, наш жеребец-трехлеток, то есть бывший лесовоз, а ныне экспедиционное судно «Невель», выпускает тихий, несколько скорбный, очень лошадиный вздох.

В ДРЕЙФЕ

Морская тоска. Большой Халль шел за нами по пятам, как злобный пес.

Юхан Смул. Автобиография

На пересечении экватора с Гринвичем мы легли в дрейф. Экваториальное течение по тридцать миль в сутки несет к Берегу Слоновой Кости. Под килем Гвинейская котловина. Знакомые места.

В Конго опять какая-то заваруха. В Анголе — война. В Сенегале — пограничные конфликты. В Гибралтаре — шурум-бурум между испанцами и англичанами. Куда нам все-таки после работы податься на мотоцистку?

Зеленая скука, неопределенность, монотонность. От черного ночного чая и бесчисленных сигарет начало болеть сердце. Боль нудная и ровная, как наш дрейф. Нет туалетного мыла. Кончается запас сухого тропического вина. Пустили в дело последнюю пачку карандашей для штурманской прокладки. Давно нет черного хлеба.

Сутки за сутками вздыхает на ровной зыби «Невель». Катятся и катятся под нами атлантические волны, поднимается и исчезает Луна, поднимается и исчезает Солнце, поднимается в зенит и исчезает Орион.

Мелкие склоки. Например, на производственном совещании был поднят вопрос мини-юбок. Наши женщины, действительно, совсем притупили бдительность. Жара и многомесячное общение с одними и теми же мужчинами не способствуют женской скромности. Они чувствуют себя как на кухне коммунальной квартиры.

Разговор начался со сливочного масла. Масло затвердело в холодильниках. Лень раскладывать в масленки нор-

мальными кусками. Дамы подают на стол полукилограммовые бруски. Оттолкнувшись от масла, боцман произнес речь о голых ляжках. Старик обрушился на них с отелловской страстностью. Обрушившись на ляжки, он задел старпома, который попустительствует безнравственности.

— Все вы были черт знает в скольких странах, — сказал старпом. — Везде бабы взбесились. Везде они в мнии, и везде невозможно работать! Такова мода. Они равноправные. И ни судовая администрация, ни профсоюз не имеют права диктовать им длину юбок. Этого нет в уставе. Вопрос масла ясен. Здесь я допустил слабину. А травить слабину подолов я не буду.

Наши дамы покинули производственное совещание с высоко поднятыми головами и подолами.

Незримый, смеялся им вслед Большой Халль.

Так наступает декабрь. В июне он казался далеким, как Луна. За это время на Луне побывали люди, и она приблизилась. И наступил декабрь.

Оранжерейная влажность. Рыбий запах везде на палубе, даже на ходовом мостике. Лёски, волокущиеся за судном. Бледный, искромсанный топорами труп акулы на корме. Кусок другой акулы привязан на тросе за бортом — приманка.

Ют напоминает морг. Особенно когда пройдешь туда ночью, по безлюдному судну, чтобы размяться при свете луны. Слабый ветер гладит лицо, но долго не может прогнать ощущение опухлости после предвахтенного сна. Бродят в голове остатки тяжелых видений. Во рту горечь от чая и сигарет.

Липкие от рыбьей крови и слизи релинги. Черный океан. Покачиваются акульи челюсти на веревочках. Матросы выбеливают их на солнце. Получается сувенир довольно жуткого вида. Три ряда зубов в акульей пасти. Если один зуб ломается, на его место поднимается другой. Из плавников акул делают парус для сувенирной пироги.

Плавник голубой акулы есть и у меня. Тяжелый от кровоточащего мяса в корне, нежный и прозрачный по внешнему краю, но эта нежная и прозрачная кожа так плотна, что ее не проткнуть проволокой. И я был в акульей кровнице, пока возился с плавником, вешал его сушиться на пеленгаторном мостике. И у меня оказались глаза завидующие, и мне захотелось иметь плавник голубой акулы — грозы китов. Его обводы чудеснее и совер-

шеннее птичьего крыла. Все законы гидро- и аэродинамики заключены в лекальных изгибах плавника.

Когда пересекаешь океан полным ходом, торопишься из порта в порт, не знаешь и не можешь представить, сколько за бортом жизни. Надо остановиться. И тогда увидишь, что в каждой волне кипит и бурлит живое. Ночная тишина полна всплесков, шорохов, и вздохов, и слабых; но четких вскриков. И если представить себя в плотике среди океана, вровень с его верхней пленкой, то озноб пробирает от суеверной жути. Среди чужой жизни будешь ты, не среди безмерных вод, а в океане отчужденной жизни, хранящейся здесь сотни миллионов лет.

Четыреста миллионов лет существуют акулы в своем синем мире, а мы всего тридцать тысяч.

Темно-синее освещение сводит людей с ума — так говорят психологи. Если вспомнить свет дежурной лампочки в ночной казарме, в бомбоубежище, на крыше милицейской машины, то можно согласиться с психологами. Но как нас манит синее! Как сидим мы час за часом на берегу и глядим в синюю даль...

Три часа ночи.

Люстра опущена низко за борт. Волны вспыхивают ослепительными клочьями случайной пены. В глубине зыбин голубое сияние. Летучие рыбы лежат на освещенной воде, как огромные серые ночные бабочки или как маленькие самолетики Беллы Ахмадулиной, маленькие сверхзвуковые истребители с треугольным крылом. Они стартуют без разгона, испуганные тенью хищной рыбы, всплывающей из глубин преисподней. Зигзагами носятся красные кальмары, даже страх не может заставить их уйти от манящего белого света. Белое влечет их так же, как нас синее. И рыбы-иглы не боятся хищной тени. Они извиваются в свете люстры, всем гибким телом впитывая кванты. Пролетают невидимые ночные птицы, кричат странно. Днем их не видно почему-то.

Могучая стая серо-синих привидений медленными сужающимися кругами всплывает из черной глубины в конус света. Акула и штук двадцать паламид за ней. Акула уже чует приманку — кусок своей предшественницы. Три полосатых лоцмана повторяют каждое ее движение. Два лоцмана скользят по бокам, один под брюхом. Пассажирка-прилипала пивкой висит на спине акулы. Паламиды держатся на дистанции в три-пять метров. Акула и ухом не ведёт в их сторону. Так спокойно смотрит на пасущуюся рядом газель сытый лев.

Акула не торопится ужинать. Ткнется рылом в приманку, блеснет кроваво-изумрудным глазом и уйдет виражом. А паламиды охотятся на летучих рыб. Улетывающая, летающая рыба мелькает в свете люстры папиросным, тлеющим огоньком. Если рыбке не повезло, огонек гаснет в пасти паламиды.

На корме появляются мореходы, почуявшие акулу. Здесь страдающие бессонницей члены экспедиции и вахтенные, бессовестно бросившие на произвол судьбы работающие механизмы, передатчики, стиральные машины и ходовую рубку.

«Невель» крепко спит, уютно растянувшись на мягких и теплых волнах. Плюхает под кормой вода. Звезды чужих небес узкими лучиками пронзают ночную черноту.

За борт опускается шланг, подсоединенный к пожарной магистрали. Шум льющейся воды якобы привлекает рыб и лишает их осторожности. Забрасываются акульи лески со стальными поводками, с мороженой треской на крюке. Приносится кут, ибо от акулы, как и от океана, можно ожидать чего-нибудь совершенно неожиданного.

Мороженая северная треска приходится акуле по вкусу. Зигзаг, переворот, рывок и мгновенное бешенство. Теперь следует проявить железную выдержку, вспомнить Старика, увековеченного Хемингуэем. Но вспоминается бессмертный чеховский налим. Всевозможные советы и соображения высыпаются на ловцов. Их много, а акула одна. И в этом ее спасение.

Зверюгу подводят к борту и выдергивают голову из воды. Акула замирает. Шок? Известно, что выражение «замирает сердце» для акулы соответствует реальности. В момент опасности, гонки, шока ее сердце отключается. Отсюда невероятно длительная живучесть акул.

Жуткий вид у них, когда смотришь прямо сверху на вертикально висящую акулу, в щель ее пасти, растянутую еще крюком. Пластика движений, совершенство мощного тела уже не скрашивают тупой жестокости акульей физиономии, налицо только бандитская сущность. И тогда яростные споры ныряльщиков о том, кусаются акулы или нет, кажутся такими бессмысленными, как спор славянофилов и западников.

Для того чтобы подвести под акулу кут, надо потрудиться, но лень. Завести петлю на хвост еще хлопотнее. И хотя всем славянам ясно, что тащить на крюке бессмысленно, — сорвется, падла! — принимается именно такое, азиатское, фаталистическое решение.

Полтораста килограммов свинцовых хрящей и стальных мышц медленно поднимаются из родной стихии к палубе «Невеля». У комингса акула выходит из состояния нирваны. Если вы когда-нибудь в мальчишеском возрасте вытаскивали из будильника пружину и хотели ее удержать голыми руками, то вам понятно дальнейшее. Акула возвращается в колыбель жизни с пятиметровой орбиты, поднимая фонтан брызг и фонтан ругани. Последний выше и солонее первого.

— Попутный ветер в корму дуй! — говорю я по-испански.

Конечно, охотничий азарт возникает, когда на крюке забьется живое, но когда акула, сорвавшись, остервенело торпедирует океан, я радуюсь за нее. Ошалевшая торпеда с такой скоростью исчезает в глубине, что представляется вероятным ее появление на другой стороне планеты, в районе Гавайских островов, уже через полчаса.

Монотонность дрейфовой жизни особенно тягостна для штурманов. Вахты бездеятельны. Пустота четырех часов. Один на один с Большим Халлем.

Смотришь в небо и раздумываешь над тем, что следует делать, если метеорит шлепнется рядом с судном. Включаешь воображение: ударная воздушная волна, водяная воронка, повышение температуры, многометровая водяная волна... Если воображение работает хорошо, доводишь себя даже до несколько взволнованного состояния, решая специальные вопросы: включать дозиметрическую аппаратуру или нет? Поворачивать судно на или от места падения? На каком ходу встречать волну?.. Глядишь — час прошел.

Если мы будем казаться будущим людям дураками, а это произойдет обязательно, то не только за низкий коэффициент полезного действия двигателя внутреннего сгорания. Они будут удивляться вопиющей бесхозяйственности в расходовании мозговой энергии. Миллионы тонн мозгового вещества в головах человечества работают вхолостую. Представьте себе Азовское море, заполненное до краев серым человеческим мозгом. И вся эта масса мозга решает вопрос: пойти в кино или нет?

Теперь представьте себе, сколько было мозга во всех черепаха за все время существования человечества. Слоем толщиной в добрый метр можно было бы покрыть планету. И эта планета мозга родила за миллион лет атомную бомбу и несовершенную ракету, и это нам представля-

ется космическим достижением человеческого гения! Гора, родившая мышь, работала производительней в бесконечное число раз. Простой станка на заводе или судна у причала мы считаем видом аварии. Тогда простой мозга надо почитать катастрофой, но мы укладываем миллионы тонн неотработанного мозга в могилы или сжигаем в крематориях. Вот от чего будут рвать на головах волосы будущие люди, если, конечно, они сохранят волосатость.

Монотонность дрейфовой жизни подвигнула меня не только на такие оригинальные размышления, но и на поэтическое творчество. Я и сам не заметил, что, расхаживая с крыла на крыло мостика, час за часом бормочу: «...надменны континенты... рок наших строк... кольцо оков, веков и облаков... Фрегат за взмах крыла проходит небосвод от Южного Креста до Ориона, и месяца качает корабли волна от Огненной Земли до Альбиона...»

И строка, от которой я не могу отвязаться и до сих пор: «Скелет кита на берегу Анголы...» Она звучала во мне балладно, запевно. К ней хотелось, болезненно даже хотелось, пристроить следующую строку.

«Скелет кита» разделил со мной не одну вахту, доводя до бешенства, но дальше баллада не шла. Никакое упрямство и упорство не помогло. Жуткое дело — отсутствие способностей к чему-либо.

Недалеко от Дакара горит и гибнет японской постройки супертанкер на двести тысяч тонн водоизмещения. Он шел из Амстердама на Персидский залив. Вероятно, мы успеем увидеть этот факел — такое не сразу прогорит и утонет, если не взорвется. Сорок два человека снял с него голландский танкер. Капитан и радист оставались, затем обгорели и тоже покинули судно.

Ежесуточно мировой флот теряет в огне два судна. Но только десять процентов пожаров приходится на танкеры — чем возможнее опасность, тем больше бдительность. Четверть всех пожаров вспыхивает на судах в море. Чаще они происходят на судоремонтных заводах и при погрузке-выгрузке.

Я осмыслял эти факты, готовясь к проведению занятий по противопожарной технике, когда старший электрик принес обрывок газеты «Водный транспорт» за 9 января 1969 года.

Крупными буквами на измятом клочке был набрано: «ГЕРОИ „АРГУСА“».

— Откуда это у вас?

— Так пипифакс кончился, — сказал электрик. — На газеты перешли. Я это с крюка снял. Думаю, может, заинтересует вас...

Конечно, мне было интересно прочитать об «Аргусе». Рассказывал заместитель начальника Главного управления мореплавания Министерства морского флота П. Грузинский. Он перечислял уже известные мне подвиги «Аргуса»: спасение киприотского судна «Марианти», помощь английскому судну «Верчармиан», выброшенному на подводную скалу, буксировку его в Гонконг. Об этом капитан «Аргуса» Бычков рассказывал нам у острова Рафаэль в каюте старпома. Но он не упомянул тогда о выводе из опасной зоны советского теплохода «Переславль-Залесский», атакованного американскими самолетами, о ремонте его механизмов; о помощи в разгрузке и заделке пробоин на итальянце «Августин Бертани».

«Тогда же на борту «Раздольного» вьетнамцы тепло отзывались о совершенно необычной операции моряков «Аргуса», — продолжал П. Грузинский. — Необычность состояла в том, что спасатели часто работали во время бомбежек... Случилось так, что Хайфон стал испытывать затруднения со снабжением пресной водой.

...По дну реки Кау Кам протянулось 750 метров труб. Это по ним поступала вода в Хайфон. Вьетнамские водолазы обнаружили разрыв, установили на этом месте буюк. Ликвидировать утечку воды попросили экипаж советского спасателя. Вскоре «Аргус» остановился у буйка. В мутную, грязную от ила воду Кау Кам ушел старший водолаз Терехов. Глубина — четырнадцать метров, видимость — ноль...

Трудная работа шла на дне Кау Кам. Водолазы укладывали тяжелые сорокакилограммовые шпалы из красного дерева — подставки под трубы. Не так-то просто было во мгле точно обрезать концы труб. Потом обнаружили еще один разрыв... Когда на осмотр второго повреждения водовода погрузился Терехов, в шлеме водолаза вдруг раздался тревожный голос капитана «Аргуса»:

— Срочный подъем! Не мешкай, Юра, скорее поднимайся!»

Здесь газета обрывалась. Как в приключенческом фильме: «Конец первой части». Только это был не фильм. Автор рассказа подписывал радиogramмы, когда «Аргус» заканчивал свою лихую жизнь на рифах Каргадоса. Какие мысли и чувства испытывал П. Грузинский, когда

ему надо было отдавать капитана «Аргуса» под суд? Убытки 740 310 рублей. Суровые слова в информационном бюллетене: «Гибель «Аргуса» является позорным памятником беспечности судоводителей, погубивших свое судно»...

Я с возможной аккуратностью подклеил обрывок газеты на лист чистой бумаги. Мне не очень трудно было представить себе продолжение заметки. Вода, как известно, не сжимаемая жидкость. Гидравлический удар от подводного взрыва страшнее воздушной взрывной волны. Очевидно, бомба упала близко. Жутко было вытаскивать водолаза из мутной воды реки Кау Кам. Терехов получил орден Ленина посмертно. Большинство членов экипажа «Аргуса» тоже были награждены за мужество и героизм при выполнении интернационального долга.

Многоглазый Аргус, обозначавший звездное небо, его изображения на стенах погибшей Помпеи; длиннохвостый малаккский фазан; советский спасательный буксир, работавший в водах Малакки; вьетнамская война, погибший русский человек Терехов, прибор на рифах Каргадоса, негр на пироге, соленая горбуша на пиджаке, нехватка пипифакса в затянувшемся рейсе и обрывок газеты на моем столе — жизнь на каждом шагу соединяет высокое с низким. Середины нет.

«Всякое произведение искусства есть прекрасная ложь; всякий, кто когда-либо писал, отлично знает это. Нет ничего нелепее совета, который дают люди, никогда не писавшие: «подражайте природе». Это изрек Стендаль. Остается ерунда — уметь создать произведение искусства.

Я нашел старый таймшит «Челюскинца» на девятое января шестьдесят девятого года. Отмечено было: «лоцманская проводка проливом Босфор»... Турецкий лоцман, у которого прихватило сердце, его «мало-мало-помалу, мейт!», Леандрова башня, погибший в волнах юноша, плывший на огонек любви, и грязные брызги из шпигата, сносимые ветром на безропотного старого турка...

Вечером снялись, слава богу, с дрейфа. Курс на мыс Фритаун.

До конца рейса еще тысячи миль.

Ночью гроза. Когда три молнии одновременно ударяют в черный горизонт, над ним всплывает багровая полоса — будто шлейф за горящим танкером.

Утром после грозы и небо, и волны были серыми, как остриженная голова новобранца. И в этой серости кру-

тится близко от нас медленный могучий белый смерч.

Впереди был все тот же океан и дальняя, и дальняя дорога...

БАНАЛЬНАЯ КУРОРТНАЯ ИСТОРИЯ

(Второй рассказ Геннадия Петровича М.)

Настоящий кит был стойком, а кашалот — платоником, который в последние годы испытал влияние Спинозы.

Г. Мелвилл

О стопятидесятилетии Германа Мелвилла я узнал случайно из немецкого календаря с кудрявым мальчиком.

В честь Моби Дика мы встретили тогда платоника-кашалота.

Он несся прямо в борт теплохода, высоко выныривая и пуская маленькие фонтанчики. Зеленый трубный след и белое бурление среди густых синих волн.

Разбивать философский лоб о ржавую сталь платоник не пожелал и в последний миг юркнул под киль.

Я должен был испытать особые чувства. Во-первых, встретил живого платоника. Во-вторых, как ни трудно в это поверить, именно кашалот виновен в моем затянувшемся общении с морями.

Но никаких особых чувств живой кашалот во мне не вызывал. Настроение было тоскливое. И в основе его лежал осадок, выпавший в душу от человеческой мелкой подлости.

Красавица испанка, продававшая на Канарских островах статуэтки мадонн, выдавала их за деревянные.

Я купил мадонну и держал ее на видном месте в каюте.

Скромный лик святой испанской девушки украшал суровую походную жизнь мужчины.

Потом нас качнуло, мадонна хлопнулась на палубу, и симпатичный девичий локоток отлетел напрочь.

Машенька была гипсовая: подделка под старое дерево.

Хоть плачь, так стало обидно от неумения и приобретать, и сохранять вещи. Я приклеил локоток канцелярским клеем и забинтовал Санта-Марию носовым платком.

Раннего детства не помню. Оно отсечено войной. Но, бинтуя мадонну, вспомнил, что лет в шесть у меня была мраморная лягушка; она упала, разбилась, и я ее точно

так же бинтовал и плакал от обиды. Дяде с седыми висками было трогательно вспоминать милое детство и чистые слезы над бесхвостым земноводным в далеком южном океане.

Вскоре после повстречания кашалота справа по носу обнаружилось нечто оранжево-красное, похожее на перевернувшуюся спасательную шлюпку.

День стоял редкой красоты. Воздух и волны гуляли по океану, ласково взявшись за руки. Смотреть на солнечную ясность впереди сквозь бинокль было больно глазам. И мы долго не могли разобрать природу плавающего предмета.

Оказался еще один кашалот. Мертвый. Уже бесформенная туша тяжело колыхалась на гладких синих волнах. Из огромных ран выворачивался жир. Вероятно, платоник угодил под гребной винт крупного судна.

Уйма птиц — больших темных и светлой мелочи — облепили тушу. Сытые отдыхали рядом на волнах и колыхались. Ни одна птица не взлетела, хотя десять тысяч тонн стали промчались в десяти метрах.

На мостике молчали, храня ту неожиданную тишину, которую я слышал как-то при встрече с айсбергом у Ньюфаундленда, и между могил острова Вайгач, и на горе в сирийском порту Латакия, когда думал о близкой могиле Ионы — товарища Рыбы.

С некоторым содроганием представил я пророка во вздувшемся брюхе истерзанного птицами, рыбами и гребными винтами кашалота. Просидеть, или пролежать, или простоять трое суток в таком страшилище — не фунт изюма съесть. Бог знал, как наказать дезертира.

«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис; отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться.

И устрежились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

И пришел к нему начальник корабля, и сказал ему: что ты спишь? стань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем...

И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море

утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться.

Тогда он сказал им: возьмите меня, и бросьте меня в море, и море утихнет для вас; ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.

Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле; но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них...

И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей.

И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи...

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня; все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травой обвита была голова моя.

До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу».

Вот этот миф я хотел положить в основу одной современной повести об инженере, специалисте по радиоэлектронике.

Мелвилл шутил, награждая разные породы китов философскими кличками. Но шутки гения несут печать истины и ее печаль. Ведь последовательный стоик считает, что и великий мудрец, оказавшись в коммунальной квартире, может запутаться в хаосе жизненных отношений. И тогда — если мудрец не может разумно упорядочить этот хаос — он должен покончить с собой, так как только смерть способна вырвать из неразумного хаоса жизни и приобщить к идеальной разумности мирового целого.

И современные киты часто следуют примеру стойка Зенона. Но только усатые киты! Зубатые же являются злейшими противниками всякой науки, псевдонауки и афинской демократии. Они набиты вздором, сопротивляются насилью, терпеть не могут самоубийц; как недавно выяснилось, болеют гриппом, принимают антибиотики в пилюлях из скумбрии, а к смерти проявляют не философское равнодушие, а овечью близорукость: если вожак получает гарпун в сердце и, обезумев от боли, оказывается на береговых камнях, то стадо следует за ним, демонстрируя чисто стадное поведение, которое особенно возмутительно у громил, имеющих в пасти по сорок два огромных зуба.

Не соглашаясь ни со стойками, ни с платониками по отношению к основному вопросу бытия, мы испытывали к дохлому, облепленному жадными до падали морскими птицами, колыхающемуся вверх брюхом кашалоту обыкновенное сожаление.

В феврале 1891 года китобойное судно «Стар ов зе Ист» («Звезда Востока») охотилось в здешних местах на китов. Со шлюпки загарпунили кашалота. Кашалот загарпунил шлюпку — шарахнул по ней хвостом и разнес вдребезги. Вторая шлюпка добила кашалота и подобрала с воды уцелевших. И один труп. А молодой китобой Джеймс Бартли пропал без вести.

Два часа разделявали кашалота и вдруг заметили, что желудок у дохлого кашалота дергается. Когда желудок вспороли, там обнаружили Джеймса, без сознания и обожженного желудочным соком. Джеймс попал в судовой лазарет, а потом в портовую больницу.

Паренек скорее всего знать не знал о пророке Ионе, но в некотором роде повторил его судьбу. Он отлично помнил, как разлетелась шлюпка, а он очутился в полной темноте и заскользил в преисподнюю по каналу, стенки которого судорожно сжимались.

Со всего мира съехались специалисты, обследовали морячка и пришли к выводу, что ему крупно повезло. Во-первых, он миновал зубы кашалота, во-вторых, быстро потерял сознание и лежал без движения, в-третьих, кашалот был прикончен через несколько минут после глотка, и температура тела его быстро понизилась.

Поправиться окончательно Джеймс не смог, бить китов — тоже, но плавал еще пять лет в каботаже и умер в девяносто шестом году.

Этот случай, описанный в заметке сентябрьского номера канадского журнала «Канадиан фирмермен» за 1958 год, был взят из старой книги «Китобойный промысел. Его опасности и выгоды», в которой воспроизведены копии письменных свидетельств членов экипажа китобойного судна, длинные под присягой заявления известных врачей и ученых, которые беседовали с жертвой кашалота и командой судна.

Тут, правда, интересно, кто все-таки жертва: Джеймс, который жил еще пять лет, или кашалот, которому вспороли брюхо.

Издательство «Казахстан» (Алма-Ата) в 1965 году на-

печатаю книгу «В мире занимательных фактов», где от-
вело истории Джеймса положенные страницы. А друзья,
зная, что я давно связал свою судьбу с пророком Ионой,
сделали соответствующую выписку. Она подтолкнула со-
ображение. Моя повесть об инженере, нашедшем способ
подключать человеческие легкие к кровеносной системе
кашалота, обретала все более реальные черты. Жизнь все
удобнее укладывалась в миф, как Джеймс в брюхо ка-
шалота.

И вот сейчас, в струях холодного океанского течения,
глядя на зеленый трубный след живого и здорового, слава
богу, кашалота, я вдруг вспомнил, что в моих болтаниях
по океанам была когда-то цель. Еще в Средиземном мо-
ре, когда мы везли осину на Сардинию и проходили Фар-
сис, эта цель была во мне. Она еще была даже в Сирии.
А потом... потом я ее как-то незаметно утратил...

Живой и здоровый кашалот промчался по своим делам
среди свинца, стали, чугуна и снега здешних холодных
волн.

Я спустился в каюту и вытащил папку с записками
Геннадия Петровича М. Я испытывал стыд перед умершим.
Мне казалось, что я предаю его память, если забываю
о цели своего движения в океанах. Я взял лупу и засел
за рукописи.

Названия своему второму рассказу Геннадий Петрович
не дал. Потому придумал я его сам: «Банальная курорт-
ная история».

«От Валерия Ивановича ушла жена.

Валерий Иванович никогда ее не любил, женился в не-
котором роде из чувства жалости, изменял при любой
возможности, но к совместной жизни привык. И после не-
ожиданного ухода супруги почувствовал себя как матерый
боксер, кувырнувшийся в нокдаун от удара второразряд-
ника.

Валерий Иванович взял отпуск и поехал к Черному
морю в Пицунду, чтобы оправиться. Он уже бывал там
с женой раньше.

Валерий Иванович снял комнатку у старухи хозяйки,
устроился столоваться и повел жизнь отдыхающего хо-
лостяка. Вставал поздно, когда все уже лежали на пляже,
шел к почте, покупал газеты, потом шел на рынок и по-
купал виноград, потом шел в столовую, которая уже пу-
ста бывала, и завтракал без аппетита, глядя на пыльные

эвкалипты, на их ободренные стволы. Потом шел на пляж и, глядя на загорающих, размышлял об этапах человеческой жизни.

Этапы проходили перед ним воочию. Детишки. Подростки. Юноши. Влюбленные. Молодые семейства. Семейства среднего возраста с подрастающими уже детьми. Стареющие люди, с животами, рыхлыми грудями, бесполой бесстыдностью, непониманием собственной некрасивости, думами о болезнях, с отношением к морю, солнцу как к лекарству, которое выписывается участковым врачом по рецепту.

Пляж давал полный спектр человеческого существования. Валерий Иванович наблюдал за семейством, в котором отец походил на артиста Евстигнеева, мать — на артистку Мордюкову, а дочка была уже девушкой, оформившейся, прекрасной своим девичеством, и еще привлекала внимание тем, что сильно косила на один глаз.

«Ничего, голубушка, — думал Валерий Иванович, с удовольствием наблюдая девушку, как она устраивает свой надувной матрасик под тень зонтика, как пластично двигается, расстилая полотенце. — Ничего, голубушка. Сейчас, конечно, твой косой глаз только даже красит, а вот мы через несколько лет на тебя посмотрим, что-то будет? Хорошего не будет — гарантию даю». Он думал это безо всякого злорадства, наоборот, с сочувствием.

В воде на спинах медуз взблескивали солнечные лучи. Медузы колыхались плотной массой и отравляли купальщикам удовольствие.

«А чего же вы? — безмолвно спрашивал Валерий Иванович купальщиков. — Закон жизни, знаете ли: медуза тоже жить хочет. И ежели она вам мешает, то это еще не значит, что медуза имеет меньше прав на Черное море. Вот так, голубчики!»

Он все время ощущал в себе работу мысли, а люди, которые барахтались в воде, играли в волейбол и крутили романы, не думали. И потому он ощущал к ним снисходительность. Грустная философия доставляла Валерию Ивановичу утешение. Глядя на яркие краски пляжа, на муравейник голых тел, он думал о смерти, о своей ранней душевной дряхлости, которая появилась в нем потому, что всю жизнь он много думал. Счастливые те, кто не думает, — к такому выводу он приходил.

Он смотрел на мальчишек. Тощие, озорные пацаны лезли на одинокий камень, скользили по водорослевой слизи, царапали животы, все-таки забирались на камень

и прыгали с него в воду, головой вперед, «ласточкой».

«Милые вы мой, — думал Валерий Иванович, трогательно любя в этот момент тощих мальчишек. — Так и надо! Вперед, пацаны, вперед! Мальчишка должен расти смелым! Не дай вам господь пережить то, что мы пережили, но готовыми надо быть».

К камню подходил толстый, откормленный, ухоженный до свинства мальчишка в импортных плавках с пояском. И сразу Валерию Ивановичу ясно было, что мальчишка подошел к камню не для того, чтобы залезть на него и прыгнуть, а просто-напросто посмотреть, как это другие делают. Толстому мальчишке в жирную голову не могла залететь мысль, что если он сюда пришел, то самому надо прыгать. А папа мальчишки фотографировал сына: как сын стоит по щиколотку в воде и смотрит на прыгающих пацанов. Папе тоже не приходило ничего в голову.

«И кем он вырастет? — скорбно думал Валерий Иванович. — Вот вам и рост благосостояния!»

Молодая женщина решительно вставала, надевала резиновую шапочку, оправляла купальник и, чувствуя на себе многие взгляды, шла к морю. Тысячелетний опыт предшественниц выработал в женщине милые повадки, пленительность жестов, когда она идет в воду, и руки ее так изломаны в локтях, чтобы не задевать бедер, и вся она целомудренно вроде бы защищается от близкой волны, ибо волна эта сейчас будет нескромно обнимать и колыхать. И вот женщина, вроде бы защищаясь от волны, кокетничая с ней, играя страх перед ней и сознавая завлекательность для других ее игры с волной, наконец входит в море и плывет. И часто плывет далеко, безмятежно, без страха.

«Вам хорошо, у вас жировая прокладка сохраняет тепло в организме», — думал Валерий Иванович. И еще он много размышлял о своем детстве и неполучившемся семействе, в котором рос. В предвоенные годы — в детстве — сосиска на обед была радостью. И он точно помнил, что, как диккенсовский мальчишка, стоял возле кондитерских и булочных и глядел на пирожные, на крендели. И у матери не было денег купить ему вкусенького. Слезы щипали глаза Валерия Ивановича, когда он вспоминал такие детали своей биографии.

«Да, — думал он, — я пережил много тяжелого, много!.. И вот у меня теперь много денег, и я живу на курорте... А надо ли мне это? — задавал он себе вопрос. —

Может, я хуже стал? Но ведь то, что я могу себе позволить сегодня, — это я сам заработал, я учился, мыкался по общежитиям, недоедал, учебников не было, ерунду в учебниках писали, сам, своей интуицией правду находил; учителя спеклись и сгнули, а я вот живу, отделом целым командую, уважают меня, сочувствуют...» И ему очень странно было вдруг вспоминать, что от него ушла жена. И он даже весь вздрагивал. Покидал пляж, покупал вино и валялся на кровати, читал газеты и «Технику молодежи».

Старуха хозяйка удивлялась жильцу, беспокоилась о его здоровье.

— Ты вставай раненько, с солнышком, — твердила старуха. — Тогда и веселее станет...

«Она, конечно, права, — думал Валерий Иванович. — Надо вставать рано, делать гимнастику... В здоровом теле здоровый дух... Надо взять себя в руки и не сторониться людей. Все это ерунда в конце концов...» Ему казалось, что он рассыпался на составные элементы. И он понимал, что надо сперва собрать в железный кулак волю, а потом с помощью воли собрать свои составные элементы.

И однажды он попросил хозяйку разбудить его возможно раньше. Получилось так, что наутро пошел дождь, и Валерий Иванович проснулся рано сам.

Дождь шумел в эвкалиптах; земля, растительность — все вокруг пахло остро. Ясно было, что в ненастье никто не пойдет на пляж, и Валерий Иванович обрадовался этому. Он представил себе пустынную пляжа, шум дождя по волнам, мокрую гальку и ощущение морского простора. Он надел плавки, накинул на плечи тонкий резиновый плащ, замотал в полотенце зубную щетку, пасту, мыло. И, босой, в рассветном сумраке, пошел к морю, слушая сквозь тонкую резину плаща быстрые удары дождевых капель.

Палатки турбазы все были закрыты, никто не попался Валерию Ивановичу по дороге к сосновой роще. Только кипарисы сопровождали его, шагая по сторонам аллеи. Дождь все прибавлял силы, кипарисы почернели от влаги. По утрамбованному песку дорожки растекались лужи и ручейки.

Валерий Иванович миновал турбазу, прошел через калитку в ограде рощи и вступил под знаменитые пицундские сосны. Эти огромные, мощные, как бы очень сосредоточенные на своей внутренней, древесной жизни сосны

растут по берегам мыса. Они очень старинные, ценные, и на каждом дереве прибита бирочка с номером.

Песок дорожки был густо усыпан хвоей, которая почернела от дождя и ласково пружинила под босыми ногами Валерия Ивановича. Скоро сосны расступились, открывая море, которое шумело рассерженно. Волны бежали к пляжу под острым углом, и каждая, споткнувшись подошвой о близкое дно, вырастала, дыбилась, вершина волны не могла удержаться и с грохотом летела на гальку, вороша и комкая ее.

Пляж, как и думал Валерий Иванович, оказался пустынным. Было зябко, даже холодно. И тускло. За дальним изгибом гористого берега вставало солнце, но не могло просветить густые тучи и дождевую мглу.

Не снимая плаща, Валерий Иванович вошел в приборную пену, намочил зубную щетку и почистил зубы. Соленая вода, смешавшись со сладостью зубной пасты, приобрела отвратительный вкус. Валерий Иванович чертыхнулся. Затея идти на пляж показалась ему ребячеством. Ветер, сырой, полный дождевых капель и брызг, пронизывал. Лезть в мутные волны прибоя было боязно, но отступить тоже не хотелось, и он пошел в волны. Галька больно била по ногам, деревянная плавщина моталась на возмущенной воде, но, когда Валерий Иванович нырнул, ему сразу теплее стало и веселее.

Он отплыл метров пятьдесят осторожным брассом и оглянулся.

Возле маленькой кучки его одежды сидела мокрая собака и волновалась. Валерий Иванович приподнялся на волне и помахал собаке рукой, успокаивал ее. Он узнал черного хозяйского кобеля Барбоса.

Потом, когда Валерий Иванович вылез из воды, пес обрадовался ему, прыгал вокруг и сопровождал до шашлычной, где Валерий Иванович позавтракал, глядя на пустынный пляж. От купания настроение, конечно, улучшилось.

Валерий Иванович вспомнил последний приезд сюда, в Пицунду, и собаку Нейру. Вероятно, он вспомнил Нейру по ассоциации с черным Барбосом, которому бросал куски, а пес ловил их в воздухе.

Нейра была недавно родившей сукой. Пегая, с охотничьей внешностью. Наверное, ее держали хозяева для охоты на перепелок. Там, в Пицунде, охотятся на перепелок во время их сезонного перелета и держат собак для этого, хотя и не кормят их, и не следят за ними.

Нейра была обыкновенной собакой, счастливой своим материнством, тем, что отдыхающие щедро подкармливают ее — специально приносят вкусные куски. И полнота собачьего счастья отлично проявлялась, когда жарким полднем Нейра забиралась в тень пицундской сосны и блаженно лежала на боку, небрежно разбросав по теплой гальке свои собачьи груди. Она отдыхала и переваривала куски, чтобы побежать потом домой к малышам и вкусно покормить их.

Но у Нейры была одна странность. Если кто-нибудь бросал камушек, Нейра мгновенно просыпалась, вскакивала и ловила камушек пастью.

В великолепном прыжке летела она за камнем, с полной беззаветностью, как лучший вратарь мирового футбола.

Конечно, это происходило тогда, когда она понимала, что камень брошен для игры, добро, а не со злобой и не для того, чтобы сделать ей больно. В последнем случае она просто поджимала хвост и убегала, потому что нужна была детишкам, которые где-то там скулили в ее логове. Она отлично понимала свою необходимость для них и потому никогда даже не огрызалась — убегала от заварухи, и все.

Но если камень кидали для игры, она быстро входила в раж. Ей уже не оценить было — большой это камень или маленький. Она должна была его поймать, а ловить-то могла только зубами. И многие зубы Нейры были сломаны. Как у хорошего вратаря обязательно бывают не один раз поломаны кости.

Она могла часами прыгать и прыгать за камнями, уже с пеной на бархатных губах и подвывая от усталости. Азарт сидел в ней с рождения, очевидно. Она не могла пропустить летящий камушек. А камушков на пляже миллион, и тех, кто имел охоту покидать их, — тоже, потому что видеть стремительное, азартное тело было интересно, развлекательно.

И Валерий Иванович, кидая из шашлычной черному Барбосу хлеб с маслом, вспоминал Нейру. А уже по ассоциации с Нейрой вспоминал, как пришел с женой к морюдушным вечером, перед грозой. Пляж, как и теперь, был пустынным. И только бегала вдоль изгибов прибоя Нейра, кусала соленую пену, резвилась в одиночестве. Валерий Иванович позвал собаку и бросил камушек.

— Не надо, — сказала жена.

— Почему? — спросил он.

— Просто не надо, я очень прошу, — сказала жена. Она была тогда беременна, с дурной кожей, капризностью. Что-то шло не так, и она скоро выкинула. — Неужели ты не понимаешь: ей больно, она хватается камни голыми зубами!

— Ну, знаешь ли! — сказал Валерий Иванович, но сдержал нарастающее раздражение, потому что привык сдерживать его в отношениях с женой. — Не буду, если ты так считаешь.

Они вернулись домой, съели дыню и легли спать.

Далеко гремел гром.

Уже в темноте жена вдруг спросила:

— Валя, ты на самом деле думал, что я хотела стрелять в тебя из револьвера?

— Давай спать, — миролюбиво сказал Валерий Иванович.

Она засмеялась неприятно.

— Ты помнишь, как я пришла с револьвером и пулями?

— Конечно, помню, — сказал Валерий Иванович. — Давай спать.

— Я его в сумочке принесла, а патроны в носовом платке завернуты были, — с удовольствием вспомнила жена. — А мы с тобой накануне поссорились, ты меня выгнал, совсем мы тогда расстались, помнишь?

— Давай спать, — сказал Валерий Иванович.

— Я прихожу от тебя вся зареванная, а мама в трубе револьвер нашла, а за хранение оружия — тюрьма... Мама бледная, до смерти перепугалась... И патроны, много — целый платок! И зачем папка-покойник их прятал? Мама бледная и не знает: револьвер государству возвратит или выкинуть. Велела к тебе идти, а мы после ссоры расстались навек... Вот умора! Ты бы свое лицо видел, когда я пистоль вытаскивала!

Да, а когда она его вытаскивала, то спусковой крючок зацепился за сумочку и пуля жახнула в метре от Валерия Ивановича. Ясное дело, он обомлел... Час назад выставил девицу, оборвал наконец затянувшийся романчик, поверил в то, что они уже окончательно расстались, — и вдруг является с пистолетом... Выстрел в полном смысле разрядил обстановку, они потом хохотали долго, помирились, вместе топили «ТТ» в Фонтанке, а потом и пожепились. Вот ведь как в жизни бывает...

Непогодило весь день, время тянулось бесконечно, хотя Валерий Иванович несколько раз спускался еще на пляж,

купался в одиночестве и учил Барбоса ловить камни, но пес только хвост поджимал.

Вечером Валерий Иванович поинтересовался у хозяйки — не припомнит ли она собаку по кличке Нейра, пегую, которая потешала отдыхающих лет пять назад.

— Нет, милый, не припоминаю, — ответила старуха. — Я что дальше, то лучше помню.

Дождь выдохся наконец. В воздухе хорошо стало, легко. Могучее инжирное дерево тянуло над двориком корявые ветви, увитые виноградом. Виноградные кисти были в каплях влаги. Сумерки стеклянно густели, пора настала идти в комнату, где ожидала Валерия Ивановича бутылка «Изабеллы» и «Техника молодежи». Но идти не хотелось. Тоска бессемейственности свирепела в нем к ночи. Он сел рядом с хозяйкой на ступеньках крыльца, спросил, чтобы поддержать разговор:

— А вот вы — русская. А вы давно на юге живете?

— С Черниговщины я, — сказала хозяйка, прислушиваясь к чему-то далекому, одной ей слышному. — Дубовые леса у нас. Без подлеска. Помню, девчонкой была — в лесу древесных лягушек били. Чтобы они дулю богу не показывали. Вот тут турки жили когда-то, год и не запомню... Ничем турка не собьешь, когда он в мечети молится. А православному в храме голую девку покажи, он из храма за ней сразу побежит...

Черный кобель подошел к ним и лег перед крыльцом. Близко замирало, затихало море. Голоса же приезжих, их транзисторы слышались громче. По шоссе за домом прохдили машины. И полоска высокой кукурузы, качаясь, уже сухо шуршала, как будто дождя и не было.

— Переселенцы мы, — сказала старуха. — Прабабка в сто лет померла, все о крепостном праве рассказывала... А меня как привезли — маленькую еще, — я все ждала: море-то, оно что такое? Соль-то дорогá была... Ужасно дорога у нас на Черниговщине соль была. Думаю: и сколько это соли надо, чтобы целое море засолить?.. А в революцию опять турки вошли — хозяина моего побили крепко: кровью умылся... Вот и говорит мне: похорони здесь, в саду, чтобы не забыла сразу. Вон за инжиром и похоронила — сколько годков-то уже! Так тут и спит хозяин-то, черт бы его, непутевого, по шерсти погладил на том свете! Так мне косу драл...

— Чего вы, мать, — сказал Валерий Иванович, — о таких серьезных вещах рассказываете и черта поминаете! Проектора легли на море. Зыбкий свет просиял за

пицундскими соснами. Они обрисовались на фоне моря. Гудел ночной самолет. Черный кобель спал на подсохшем песке под крыльцом.

Старуха поднялась и ушла без слов ночного приветия, скрылась в сарайчике-пристройке. Валерий Иванович тоже пошел к себе в комнату, старательно думая об утре, когда ранние выстрелы охотников за перепелками разбудят его.

Звуки выстрелов будут катиться с гор пухлыми, зримыми шарами, и будут эти шары сонных выстрелов тихо шурхать в высохшей кукурузе...»

ВО СНЕ И НАЯВУ

Так начинается шестой месяц рейса.

Позади триста вахт, половина которых проведена в одиночестве, в крошечной тьме — от полуночи до четырех утра, — среди снов спящего полушария Земли, в бессловесности приборов и судоводительской аппаратуры.

Доподлинно известны два способа, позволяющие вам довольно быстро встретиться с чертом или привидением.

Один старинный, но дорогой — я имею в виду белую горячку.

Другой основан на последнем слове науки и техники. Он порожден высотными полетами и сурдокамерами, чувством оторванности от Земли и ощущением оторванности чувств от собственного тела. Когда тело пилота несется на высоте в двадцать пять километров со сверхзвуковой скоростью, силы сцепления тела с душой ослабевают и душа как бы отстает от оболочки. В этот момент некоторые пилоты видят черта. Бес удобно сидит на облаке и отмахивает хвостом в сторону от намеченного пилотом курса.

Появление беса соответствует законам бытия. Так как природа не терпит пустоты, то щель между телом пилота и его отставшей душой заполняется нечистой силой. То же и в сурдокамере. Резкое уменьшение раздражителей, падающих на органы чувств человека, замещается привидениями и потусторонними голосами, например хором мальчиков Ленинградской капеллы. Длительные одиночные плавания в океане тоже годятся тому, кто желает познакомиться с нечистой силой. Уже на втором месяце вы можете ощущать отделение головы или ноги от ту-

ловища, а появление рядом двойника или даже матроса с каравеллы Колумба ничуть вас не удивит. Когда Джошуа Слокам отравился брынзой и не смог управлять «Спреем», то к нему в бушующий океан пришел рулевой с «Пинты». Широкая красная шапка свисала петушиным гребнем над его левым ухом, лихие черные бакенбарды обрамляли пиратскую рожу, но член экипажа Колумба оказался добрым и веселым парнем. Он вел «Спрей» через шторм всю ночь под всеми парусами и, болтая со Слокамом, признался только в одном морском грехе — старинном, как сам океан, — контрабанде...

Однако, без всяких шуток, меня уже давно интересует вопрос черта. Почему именно он, черт, является алкоголику или летчику? Почему не крокодил? Теща? Паук? Дантист? Домоуправ? Скелет?

Вполне естественно, что средневековому алкоголику мерещился черт. Это было самое страшное существо для средневекового алкоголика. Образ черта впечатывался еще в детское сознание с матриц соборных стен и религиозных книг. И черт приходил, когда сознание темнело. Но почему он мерещится двадцатипятилетнему американскому пилоту сегодня? Обыкновенный насморк пугает этого пилота неизмеримо больше.

Я общался с людьми, болевшими горячкой. Личности в диапазоне от деревенского тракториста до знаменитого художника. И серенькие, пушистые, лысые, черные черти сдергивали с них одеяла, вылезали из-под кровати и прыгали в форточку довольно схожим образом. Знаменитый художник был при этом стальным атеистом и, как выяснилось, ни разу за всю жизнь не переступил порога церкви. Он отрицал богов и чертей, так сказать, с порога, но черт все-таки нашел его!

Я тоже видел черта, но во сне. И в благородном, демоническом, мефистофельском обличи. Сатана, закутанный в коричневый плащ, висел под потолком в дальнем углу каюты. Страх я не испытывал. Было только сожаление, что нет кинокамеры и магнитофона. Мы довольно долго болтали с сатаной о низком проценте всхожести семян хмеля, который я выращивал в ящике на паровой грелке.

И все-таки лгу. Ощущение легкого испуга и странности от беседы с демоном осталось. И временами кажется, что это не был сон.

Есть у меня еще несколько таинственных воспомина-

ний, которые обычно гонишь от себя, чтобы не рехнуться. Но о них позже.

Теперь сон в южной части Атлантического океана.

Он был записан на старой курсограмме четвертого ноября 1969 года. День был обыкновенный. В календаре отмечалась только восьмидесятая годовщина рождения Л. Г. Бродаты — советского графика-карикатуриста. Неужели за всю историю человечества никто из великих больше не родился во вторник четвертого ноября? И вот в этот будничнейший день я увидел гениальный сон.

Каменный одинокий дом. Каменный двор. По серым плитам двора бродит женщина в черном рваном платье. Она прекрасна, эта женщина, но ее лицо покрыто сыпью. Я давно и мучительно люблю ее, но она, медленно кружа по серым камням, рассказывает мне о любви к другому, жалуется на его измены и жестокость. В камнях двора есть щели, сквозь щели видна мрачная вода, в этой воде живет красная акула. И возлюбленный женщины гибнет в воде под двором. Теперь женщина равнодушно готова быть моей. Корявые платаны растут вокруг страшных щелей. Женщина спускается в щель, придерживаясь за низкие ветки старых деревьев. Я иду за ней. Подпол, подвал, засыпанный хлором. Там, оказывается, морг, где женщина монотонно работает, перетаскивая трупы. Умершая от заразной болезни девочка. Название болезни женщина говорит мне. Я понимаю, что она неминуемо должна заразиться, но совсем не боится. Какие-то люди выходят из подземного перехода, они принимают труп девочки и несут его куда-то торжественно и траурно. Один поворачивается ко мне и смеется. И я вспоминаю, что все происходящее — пьеса. И актерам весело репетировать пьесу, так как это не жуткая жизнь, а только изображение ее. И дальше все время ощущение смещения игры в жизнь и подлинной жизни. И я путаю, где правда и где обман. А женщина приближает ко мне лицо, покрытое сыпью, но не обезображенное, и я вижу сквозь рваное платье ее прекрасное тело. Она садится на серые камни двора возле провала и кормит красную акулу. И мне надо подойти и сесть рядом, но я знаю, что это смерть для меня. И я делаю шаг за шагом назад, все ближе и ближе к другому провалу, и...

Если бы не проснулся в этот момент, то сердце лопнуло бы от ужаса.

Еще сон. Записан дотошно, сразу после пробуждения. Дарю психологам, изучающим моряков.

Район экватора. Пятый месяц рейса. Немного побаливал живот. Время сна — после ночной вахты, то есть после пяти утра. Вахта была спокойная.

Разрушенный дом, большой, этажей пять. Я на галерее верхнего этажа. Галерея идет вокруг всего дома, она без перил. Возле меня старый, допотопный поэт. Среди развалин он читает мне стихи. Стихи хорошие, и я удивлен этим, так как поэт он слабый. С привычной тоскливой злобой на судьбу, сделавшую его неудачником, старик спрашивает: «Здесь ночуете?» Я киваю, начинаю спускаться из руин по лестнице без перил, а сам слежу за старым поэтом. Он уходит куда-то внутрь здания по краю галереи, над пропастью.

Голос за кадром сна: «Теперь он разволновался... будет бродить всю ночь...»

Попадаю в комнату, в ней мне ночевать.

Много светильников-бра, вещей, закоулков, ширма в виде кибитки, шелковая, шикарная, в ней на раскладушке лежит слащаво красивый молодой человек. Он здесь ночевать не будет, сейчас уйдет, уступив место, смотрит на меня с издевательски-сочувствующим выражением. Во сне начинаю понимать, что впереди кошмар, но не робею. Начинаю работать методично, как на мостике: приготавливаю постель, замечаю, что в комнате душно, — решаю спать, поставив дверь на каютную защелку. Ставлю дверь в такое положение, закрываю защелку на ключ, обхожу комнату и тушу одно за другим бра, в том числе и в кибитке, из которой молодой человек ушел. За моей спиной дверь открывается, и я вижу свою многолетнюю приятельницу Д. Спрашиваю:

— Как ты открыла?

Она, мертвая или в гипнотическом сне, медленно объясняет:

— Защелка отгибается снаружи.

Проверяю защелку, убеждаюсь, что она разогнута, выпрямляю, ставлю дверь в прежнее, приоткрытое положение, хотя знаю, что следует совсем ее прикрыть, что через щель и проникает нечто ужасное. Д. исчезает.

Еще раз обхожу комнату, вижу в закутке халат на вешалке, отдергиваю — за ним, спиной ко мне, женщина, совсем незнакомая. Оборачивается накрашенным лицом. Я холодею, но не показываю вида, спрашиваю:

— Вы что тут делаете?

— А что такого?

Она хочет бежать, но не знает комнаты, рыскает по ней, не находит выхода, первый раз здесь. Я загоняю ее в угол, чтобы выяснить, зачем она пряталась. Она вдруг приближается ко мне, делает нечеловеческую гримасу и страшно кричит. Я держу себя в руках, сам удивляясь своей выдержке.

— Вас не испугаешь! — говорит она, снимает с себя гримасу, как маскарадную маску, и смеется по-человечески.

«Это только начало», — думаю я и просыпаюсь в тропическом поту.

Около одиннадцати утра. Работа с очередным небесным объектом назначена на полдень. Пора вставать.

Смотрю в окно каюты. Убеждаюсь в том, что, пока спал, Атлантика довела себя баллов до семи, серая, волна резкая, похоже на Баренцево море. Тропическая вялость во всех членах. Голова тяжелая, отдыхал всего около двух часов, да еще с кошмаром, который, впрочем, как-то не довел до кошмара.

Сажусь за машинку и отстукиваю то, что вы прочитали. Нарисовать могу — так ясно все вижу и помню. Вспоминаю, что в комнате своего сна видел на стенах якобы нарисованные мною когда-то в далеком прошлом акварели. Чюрленис, стилизующий Гогена. Тона от бледнейших зеленых до сиренево-малиновых. Силуэты деревьев и человеческих фигур — очень красиво, хотя и дилетантски неумело. Может, когда-нибудь я действительно рисовал такие штуки? И сейчас кажется, что рисовал, хотя абсолютно уверен, что нет.

Устанавливаю, что перед сном читал Стендаля и думал о схожести Рейнольдса и Голсуорси — мягкость, расплывчатость при четкости общих масс. И кому не дано такое от бога: уметь делать контур расплывчатым, соединять его с окружающим миром, но сохранять графическую четкость масс, — тому этого никогда не добиться, даже если сойдет с ума. Затем вспомнил Врубеля, его сумасшествие. Решил, что Врубель сознавал необходимость неопределенности контура, но не мог преодолеть энгровской оторванности силуэта от мира и той холодноватости, которая проступает даже в работах больших мастеров. И с этим, кажется, я уснул.

Итак: большая высота (без страха высоты), руины, допотопный поэт (его несколько раз встречал в жизни, но никогда о нем не думал и им не интересовался), ком-

ната восточного, прекрасного убранства, но очень перегруженная вещами; мои рисунки в ней, необходимость ночевать в чужом месте, угроза и неизбежность кошмара — вот такая цепочка.

А теперь развлекательный полубред, игра, лицедейство, попытка выдумать собеседника, если его нет среди попутчиков.

На переходе вдоль Африки, после повстречания (слово Мелвилла) кашалота. Плыть вдоль Африки монотонное дело. Надо ее разок обогнуть, чтобы понять и почувствовать, какая она здоровенная.

Был включен рулевой автомат. Курс триста десять. Вахтенный матрос стирал белье в низах. Ночь. Тропики. Двери из ходовой рубки открыты в ночь и океан.

— Дядя Нептун! — позвал я. — Заходи, покурим!

И он пришел. Он пришел ко мне не в первый раз. Бодрый старик. Среднего роста, держится прямо, как фельдфебель, глаза жуткие, толстовские, шея мощная, бывает брюзглив, любит язвить.

В этот приход на его мощной шее висел рваный платок, завязанный рифовым узлом — так, как завязывал его Мелвилл во времена отчаянной и безоглядной молодости, когда бороздил под парусами океаны в роли матроса-китобоя.

— У древних римлян толстая шея считалась признаком нахальства, — сказал я, когда старик занял свое любимое местечко у правого окна рулевой рубки. — Как бы мне накачать себе шею?

Во тьме полыхнула далекая синяя зарница. Чего-чего, а электричества в воздухе тропиков достаточно. Чувствуешь себя сидящим в лейденской банке. И духота, как в брюхе кита.

— К несчастью, — сказал старик.

— Что?

— Молния упала с левого борта. Это к несчастью. Так считали древние римляне.

— Ерунда.

— Ты не суеверен?

— Есть немного. Чаю?

— Налей.

— Суеверие полезно тем, — сказал я, — что учит приглядываться к символам. Статья о твоем дружке Мелвилле в американском «Бюллетене ученых-атомников» называется «Моби Дик и атом». За символом Белого кита пынешние ученые видят атомную бомбу и сатанинскую

злобу атомной энергии. Разве додумаешься до такого, если не владеешь символическим мышлением?

— Герман искал сюжет в Библии, — сказал старик. — А творцы вашей научно-технической революции рыскают в его книгах! Они уже не способны искать мифы и символы в первоисточнике.

Чтобы вам был понятен этот разговор, напомню, что Мелвилл сделал своего героя — капитана китобойца «Пекорд» — однофамильцем древнего царя, бросившего вызов богу. Вызов был оригинальный. Царь Ахав упрекнул бога в неспособности уничтожить в мире зло. И поклялся сам исполнить за бога эту грязную работенку.

Капитан «Пекорда» Ахав рехнулся не от той боли, которую причинил ему Моби Дик, откусив ногу.

«Белый кит плыл у него перед глазами, как бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его с половиной сердца...» «И я буду, — ревел капитан, — преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за норвежским Мальстремом, и за пламенем гибели, и ничто не заставит меня отказаться от погони. Вот цель нашего плавания, люди!..»

Только после встречи с трупом кашалота возле берегов Африки осенила меня мысль, что Ахав сумасшедший. То есть я знал это, но не понимал, не чувствовал смысла в его сумасшествии. А здесь понял, что только сумасшедший может быть счастлив, ибо представляет зло в конкретности, в определенном образе, в одном звере. Убей Моби Дика — и ты будешь счастлив, ибо больше не будет на свете несправедливости, серости, тупости, жадности, трусости.

Нормальный же человек знает, что зло невозможно убить, всадив гарпун в сердце одного чудовища. Зло невозможно оставить за кормой на синих волнах дохлой сальной тушей в облаке жадных птиц. Оно всюду. Его конца не видно и нет, как нет начала и конца у плюса, как нет конца и начала у минуса, как нет их в проводнике, по которому идет поток электронов...

Даже в рубке нашего теплохода было полно безначального зла и мелкой подлости. Как-то был обнаружен сломанный секстан — отлетел верньер. И никто не признал вины.

Ничего нет особенного — в шторм на крене поскользнуться и уронить секстан. С каждым может случиться. Но никто из штурманов не признался. И лживость тяжелым,

инертным газом затопила рубку, застоялась в ней...

— Герой Мелвилла гонялся за кашалотом с гарпуном, — сказал я, — а мой инженер, специалист по радиоэлектронике, забрался в брюхо кашалота, чтобы убежать от зла, чтобы не бороться с ним, чтобы не видеть даже взыскующего лика бога.

— Неужели тебе интересно сочинять о пескарях? — спросил старик. — Ведь все на свете, будь то живое существо, или корабль, или даже специалист по радиоэлектронике, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую являет собой глотка кашалота, тут же погибает, поглощенное навеки, и только морской пескарь сам удаляется туда и спит себе там в полной безопасности. Разве герой романа может быть пескарем?

— Черт знает кем может быть герой современного романа, — сказал я. — Прости, отец, скоро поворот. Пойду взгляну карту. Я быстро.

— Иди, сынок. И сверь компасы после поворота. Вы плюете нынче на магнитную стрелку. Не забывай, сынок, ты живешь на магните. И в этом больше смысла, нежели ты понимаешь. И никогда не забывай о лошадях... Ну, что ты выпучил глаза? Иди в штурманскую, а я погляжу вперед.

Я пошел в штурманскую рубку и окунулся в карту Гвинейского залива. Стрелки часов и быстрые цифры лага сказали: «Пора!» Я вернулся в ходовую и положил руля лево градусов десять. Звезды неспешно потекли в окнах рубки слева направо. Я прибавил освещение в репитере гирокомпаса, а старик курил на крыле мостика, чтобы не мешать мне работать.

Океан был пустынен.

Я одержал судно и поставил на автомате новый курс.

Потом записал координаты поворота. И приготовил анемометр, чтобы замерить ветер. Если старик такой дошлый, думал я, буду, ради смеха, все делать по правилам. Пускай стрелки магнитных компасов очухаются после поворота и хорошенько улягутся в невидимой люльке силовых линий. А если уж я вылезу на пеленгаторный мостик сверять главный компас, то одновременно замерю ветер, чтобы не писать в журнал гидрометеонаблюдений лпу.

Старческая рука отодвинула зеленую занавеску в дверях.

— Не вызывай матроса, — сказал старик. — Я сам стану к репитеру и постучу тебе на пеленгаторный по

переговорной трубе, когда мы будем точно на курсе.
— Есть, дядя Посейдон. Не будем вызывать матроса. Но неужели ты думаешь, что он там, внизу, работает? В лучшем случае он варит картошку.

Старик усмехнулся.

— Твой матрос просто дрыхнет в столовой команды, — сказал он.

Я очень осторожно шел к трапу пеленгаторного мостика. Купленные в Лас-Пальмесе сандалеты оказались на пластиковой подошве. Жуткое дело было ходить по мокрой стали, особенно когда она качалась.

Поручни трапа и ступеньки были такие мокрые, что струйки воды скатывались по ним. Кости ломило ревматической болью. И еще насморк, а платок я забыл в каюте.

С пеленгаторного мостика океан распахнулся еще шире. Я стащил чехол с главного магнитного компаса. Чехол наполнился ветром и хотел улететь за борт. Я наступил на него ногой, потом включил освещение компаса, вытащил заглушку переговорной трубы и сказал в мокрый, медный, противный раструб:

— Я готов, дядя Посейдон!

Старик молчал. И я вспомнил, что старик глуховат, и свистнул. И сразу услышал удары по трубе:

— На курсе, сынок!

Я заметил отсчет, зачехлил компас, потом выбрал подходящее местечко и простоял сто секунд, подняв руку с анемометром. Очень длинно тянутся эти сто секунд, когда замеряешь ветер в хороший шторм где-нибудь в юлярном море.

Старик встретил на крыле. Он стоял возле бортового репитера и ловил спиной кажущийся ветер.

— Градусов восемьдесят, сынок, — сказал он. — Запиши отсчеты, а истинный ветер посчитаешь потом, когда я уйду. И высморкайся так, как это делают лондонские докеры.

Я сделал, как он сказал. И мы встали бок о бок у правого окна и закурили.

— Ты что-то говорил о лошадях, — напомнил я.

— А ты знаешь, что я покровитель всех лошадок в мире?

— Нет. Я думал, у тебя только морская специальность.

— Я сделал себе коня из скалы. Говорят, мой конь олицетворяет вечную скачку волн в океане. Ерунда. Мне было скучно здесь одному. Ты-то уж должен знать, как

печально долго не видеть земли. Я рад, что мои сыновья вскормлены теплыми лошадьми. Ты любишь лошадей?

— Даже запах их навоза, дядя Посейдон. Хотя я касался рукой лошади лет тридцать назад. Я ездил в ночное на старой кобыле Матильде. Она была очень высокая и костлявая.

— Представляю твою задницу после первой поездки,— сказал старик и засмеялся. — Ты небось пробовал привязать на кобылу подушку?

— Случалось и такое дело.

— Когда ты был в Лондоне?

— Год назад. Мрачные воспоминания. Вез оттуда сорок ящиков модельной обуви. Докеры смайнали их в трюм не очень удачно. Ящики полопались. Дырки, про которые говорят: «с доступом к содержимому». Через дырки кто-то спер четыре пары женских замечательных туфель.

— Спер ваш матрос,— сказал старик. — Ты простоял с ним сотню вахт. А он украл туфли.

— Я думал, украли грузчики.

— Нет. А «Катти Сарк» ты навестил в Лондоне? Или не вылезал из трюмов?

«Катти Сарк»—«Короткая рубашка». Ни об одном судне не говорят столько ерунды, сколько о «Катти». Один моряк при мне бился об заклад. Он утверждал, что «Катти» ходила по тридцать узлов. Это уже почти торпедный катер.

Вечный лондонский дождик выбивал пузыри из мазутной воды Темзы, когда мы подошли к «Катти Сарк» и сняли кепки.

Такелаж и рангоут парусника блестели благородным блеском старинного серебра.

Молодая женщина на форштевне, обнажив груди, немного откинув голову, смотрела навстречу всем ветрам, улыбаясь коварно и отчаянно. В руке она сжимала конский хвост.

Ее звали Нэнни.

Нэнни была ведьма.

Она навсегда осталась в рубашке, которую носила девочкой. Рубашка была ей здорово мала. И, вероятно, это понравилось шотландским морякам и корабельным мастерам. И сто лет назад они назвали новое судно «Короткая рубашка» и вырубили статую Нэнни на форштевне.

Известно было корабелям, что ведьмы боятся текучей воды, точно смерти. Ведь пьянчуга Тэм О'Шентер тем

спасся от Нэнни, что успел перемахнуть на своей кобыле через быструю речку. В руках у беспутной ведьмы остался кобылий хвост.

Нынче мокнет под лондонским дождем не та бесовка, которую, сто лет назад вырубил мастер. Та, первая, осталась в океанах навсегда. Хорош был штормовой вал, который срезал ее крепления! Хорошо выл ветерок в снастях! А капитан глядел в штормовую мглу, и черт наверняка мерещился ему! И к этому морскому черту уплыла отчаянная Нэнни, нырнула в сундучок Дэйви Джонса, куда нам, людям, заглядывать жутковато, а беспутной бесовке в короткой рубашке там самое место.

Старинные дома Гринича рядом с доком, казалось, покачивались. Буксиры на Темзе базили задубевшими на ветру глотками. Со снастей капали тяжелые капли.

Старые моряцкие слова, клятвы и проклятия, проквашенные веком плаваний, отполированные, как поручни трапов, бесшумно жили среди вантов, штагов, топенантов, брасов. Соленые и тяжелые, как раковины Индийского океана, слова команд. И хлесткие, как концы мокрых тросов на ветру, ругательства матросов.

— Галерникам было похуже Прометея, — вдруг сказал старик в тишине. — Я их видел, можешь мне поверить. Я помню венецианские кенкеремы в двести весел. Каждое семнадцать метров. И семь рабов прикованы к нему цепями. Запах пота и крови тянулся за кенкеремами на многие мили. Птицы облетали их... Ты был в музее на «Катти»?

— Терпеть не могу музей, — признался я. — Самое хорошее в музее — окна. Когда я гляжу из самого замечательного музея в окно и вижу землю, деревья и людей на мокрых тротуарах, то хорошо делается от одной только мысли, что я обязательно из замечательного музея выйду. А когда я поворачиваю к выходу из самого замечательного музея, то состояние делается жеребьячье — такое, как бывает в длинном рейсе после радиogramмы с приказом о возвращении домой. Мне важнее хорошая репродукция, которая всегда со мной, нежели час в Лувре или месяц в Эрмитаже.

— Ты говоришь об искусстве?

— Да. Настоящая живопись и настоящая скульптура требуют многолетнего общения. Потому я неохотно хожу в музей.

— Ты, сынок, тоже утратил вкус к подлинному... Тебе не кажется, что слева двадцать открылся огонь?

Я взял бинокль и увидел топовые огни. Здоровенный танкер шел напересечку.

— Он должен уступить нам дорогу, — сказал я.

— А ты уверен, что хоть один человек есть у него на мостике? А если он идет на автомате, потому что вокруг океан и пустынное место? И вахтенный штурман пьет пиво в баре тремя палубами ниже мостика и слушает вопли битлсов?

— Все может быть, — пробормотал я. — Пеленг не меняется.

— Ну, и что ты будешь делать? — захихикал старик. — Ты должен сохранять курс и скорость неизменными, так?

— Так гласят правила, — пробормотал я.

— Он раза в четыре больше тебя, а под твоими ногами восемь десятков людей. Он разрежет вашего скюбара на ровные половинки. Чем тогда тебе помогут правила?

— Черт! — сказал я. — Пеленг не меняется. Суммарная скорость узлов тридцать пять.

— Не буду тебе мешать, сынок, — сказал старик, отвернулся от огней танкера и захрипел старинную песенку. Ее хрипели еще на кораблях Васко да Гамы:

Очень пригожа девица,
Очень мила и прекрасна!
Скажи, скажи, моряк,
Ты ведь жил на кораблях, —
Так ли прекрасны
Корабль, парус или звезды?

Я позвонил в машину и сказал, что возможны реверсы. Включил на прогрев радар и установил, на репитер левого борта пеленгатор. Обычно в открытом океане пеленгатор отдыхает в рубке.

Красиво выглядел супертанкер сквозь оптику пеленгатора. Он шел миль под двадцать, но бульба в носу гасила волны, и казалось, что он увеличивается в размерах, стоя на месте. Пеленг отходил на корму едва-едва. На трубе, подсвеченной прожекторами, извивался какой-то морской гад.

Супер промчался в миле по корме. Старик оказался прав. Ходовая рубка танкера была освещена, и в ней не было даже собаки.

Сто тысяч тонн стали и нефти неслись через океан сами по себе. Ребята на супере были убеждены, что на море нет самоубийц, что любой уступит им дорогу, если ему дорога жизнь хотя бы на шестипенсовик. Плевать они хотели на правила.

— Это недоразумение, — пробормотал старик, глядя вслед танкеру.

— Что?

— Что вы называете себя моряками. Вы забыли даже запах моря. Иногда вы за весь рейс ни разу не выходите на мостик. Вы только и делаете, что пялитесь на экран радара да щупаете дно эхолотом. Вы нюхаете только дым своих сигарет. А думаете вы только о том, в каком порту выгоднее истратить валюту. Вы такие же моряки, как, как... Есть что-нибудь общее между извозчиком и шофером такси?

— Конечно. И тот и другой берут на чай.

— Такие штучки побереги для девиц на приморском бульваре.

— Ладно, не сердись. Я скажу серьезно. Те, кто плавают нынче вокруг света совсем одни на маленькой яхточке, должны уравновесить нас, таксистов. Они, вероятно, сливаются своими душами с твоей душой, как хорошие извозчики с лошадами.

— Ерунда, — сказал старик и блеснул на меня глазами из-под бровей так, как будто у него там были индикаторы настройки приемника. — Чичестеры отличные ребята. И я их люблю. Но они не моряки. Моряк тот, кто отвечает не только за самого себя. Моряк должен все время помнить о других.

— Разве одиночка в океане не помнит о своих близких? Он не должен принести им горе. Он отвечает не только за себя.

— Это другое. Ваши близкие привыкают жить без вас. И когда вам выпадает длинный отпуск, они ждут не дождутся отдохнуть от вас, хотя, возможно, и любят вас безмерно. На берегу вам хочется непрерывного праздника. Вы думаете, что заслужили его. А жена ходит каждый день на работу и нянчит детей. Ее будни и ваш праздник не растворяются друг в друге.

— Только суспензия. И здесь ты, конечно, прав.

Танкер скрылся во тьме. Из машины позвонили. Второй механик спросил о том, что происходит наверху и почему он должен, как дурак, торчать у реверса. Я заболтался со стариком и забыл сам позвонить в машину.

— Прости, дорогой, — сказал я. — Расходились с танксером. Теперь голосешь заниматься своим делом.

Мой голос был чуть виноватым. Этого было достаточно, чтобы механик попросил остановить двигатель на три минуты — сменить форсунку.

— Ладно. Здесь все спокойно. Когда будешь готов, переведи телеграф на «стоп», а я отретпую. Обороты можешь начинать сбавлять сразу.

— Ясно. Дождем не пахнет?

— Нет пока.

— Если запахнет, предупреди. У меня открыты капы — красили шахту.

— Ясно.

— Картошка будет к чаю?

— Еще не знаю.

Он повесил трубку, и ночная тишина над океаном показалась особенно глубокой после металлического гула машинного отделения. И вибрации стали слабеть — двигатель сбавлял обороты.

Особенное чувство появляется, когда судно теряет ход в океане. Его нельзя объяснить. Индонезийцы в таких случаях говорят про человека: «Он сейчас немой, увидевший вещий сон». Вероятно, действует еще изменение магнитных, и электрических, и гравитационных полей. Судно с другой скоростью пересекает магнитные линии Земли, в корпусе индуктируются токи других значений, и мозг окутывается чем-то неожиданным.

Слабее, слабее, слабее обороты винта. Всплеск волн переходит в умиротворенное ворчание, затем в добродушное шипение гаснущей пены. Ритм качки меняется. Судно перестает слушать руля и уваливает с курса, находя себе самое удобное положение среди зыбин.

И кажется, ты вернулся на парусник.

Парусник и разве еще ветряная мельница — единственные человеческие сооружения, которые ничего не берут от природы силой, ничего не нарушают в естественной гармонии мира.

И сила ветров, и пахучая конопля, и голубой лен парусов — все это создано Солнцем. Ведь ветер — дыхание нашей звезды. И парус общается с ней напрямую.

Тот, кто когда-нибудь поднимался глухой ночью, при спокойной погоде, совсем один на мачту парусника, к самому топу, и висел просто так, без рабочей цели, между огромным ночным морем и огромным ночным небом, слушающая шепот парусов внизу, тот знает странное ощущение остановившегося времени. Неподвижность скорости.

И уголь, и нефть, и атом дают нам силу, но, конечно, убивают музыку мира. А дырявый парус на дрянной шаланде и самый благородный инструмент — арфа — навсегда останутся братом и сестрой.

Чичестер начинал пилотом. Одиноким пилотом облетел Землю. И проделал обратный путь — с небес к парусу. Вероятно, он знал, где соединяются геометрия и бог, когда плыл сквозь океаны под парусом «Джипси Мот». Вероятно, они соединялись в его душе, одаряя величественной радостью, то есть счастьем. И ради этих мгновений счастья он ставил и ставил на кон свою жизнь.

«Джипси Мот» теперь на вечной стоянке рядом с «Катти». Бабушка и внучка. Внучка свежепокрашена, аккуратна и в профиль похожа на современных девушек в расклешенных брючках. Крови и пота не видно на такелаже. А Чичестер оставил своей крови и пота на «Джипси» не меньше, чем оставляли галерники на сиденьях, цепях и веслах венецианских кенкерем. Только по доброй воле.

В чем философский смысл его попятного пути? И почему даже простое упоминание имени Чичестера будит во мне какую-то воспаленную, болезненную зависть?

Вероятно, и нам нужны живые мифы, они должны сопровождать нашу жизнь. И шутим мы или не шутим, но сталкиваемся с ними чаще, нежели отдаем себе в этом отчет.

Дверь в рулевую рубку отворилась, вошел радист Саня. Я думал, он скучает на вахте и заинтересовался причиной остановки, но он принес радиogramмы.

Одна сообщала об обнаружении в районе Азорских островов двух безлюдных яхт — «Вагабонд» и «Тайнмаут электрон». На их борту было питание, питьевая вода, спасательное снаряжение, но не было капитанов. Исчез швед Пер Оскар Валлин — тридцать шесть лет, житель Стокгольма, двадцать шестого апреля вышел в одиночное кругосветное плавание. И англичанин Дональд Кроухарст — один из четырех парней, принявших вызов лондонской «Санди таймс» и пустившихся в безостановочное одиночное кругосветное плавание. Дональд шел на тримаране — яхте с тремя киями. Все суда в районе Азор просили особо тщательно наблюдать за морем.

Вторая радиogramма была такой же невеселой: французское судно сообщало, что потеряло за бортом человека, просило всех оказать содействие в поисках.

— Будете будить капитана? — спросил радист.

— Швед и англичанин далеко: с другой стороны экватора. До француза посчитаю мили и тогда решу, — сказал я.

Радист ушел.

Мне хотелось спросить старика, почему он так жестоко обошелся с Дональдом и Оскаром, но я не решился. За мифы надо платить. Иначе они не будут ничего стоить.

Мы со стариком поколдовали над картой, нанесли координаты французского судна и посчитали расстояние. Неудачник колыхался на зыби во тьме и безнадежности в двухстах восьми милях за кормой. Мы ничем не могли помочь.

— Молния упала с левого борта, — пробормотал старик.

ЧЕРТОВЩИНА

Протоплазма, по крайней мере, потенциально, бессмертна.
Смерть не заложена в амебу.
Учебник биологии

А это уже не сон и не попытка выдумать себе собеседника. Это настоящая чертовщина. Она началась в поезде, когда я ехал в командировку в Москву и утром встал с левой ноги, а натягивая брюки, попал большим пальцем этой левой ноги в дыру брючной подкладки.

Дело было в «Стреле», на глазах соседей — профессора истории и крупного технократа. Палец попал в дыру и двинулся дальше уже по целине подкладки с мерзким звуком.

Добрую минуту соседи исподтишка наблюдали за моими маневрами. Левая нога безнадежно плутала в темноте брючины. Ее путь к свету не был прямым путем. «Кто ищет, вынужден блуждать», — сказано в «Прологе на небе», которым открывается «Фауст».

Стучали колеса на подмосковных стыках. Рукотворные водохранилища чернели ленивыми лужами среди белых берегов. Была зима, от окна дуло, но меня прошиб пот.

И не осталось сомнений в том, что наступающий командировочный день пройдет под флагом сплошной безнадюги.

И действительно.

В нужных учреждениях не было нужных лиц или эти учреждения закрывались на обеденный перерыв перед моим носом, в самом великолепном в мире метро я умудрился дважды заблудиться и, конечно уж, не получил номер в гостинице, хотя еще за неделю хлопотал о броне.

Удивительное дело. В столице масса знакомых женщин и приятелей-мужчин. Но всегда оказывается, что позвонить некому, если остался ночью на улице или в ресторане без денег. И Белорусский вокзал не один раз оказывал мне покровительство. Зал ожидания транзитных пассажиров — перманентное заведение. России без него не представишь. Плох он только тем, что транзитность впитывается в кости. И начинает казаться, что вся жизнь — это сидение на жестком диване в зале ожидания. И тогда ты впадешь в очернительство, и комплекс неполноценности достигнет критической массы.

В тот раз я вспомнил телефон женщины, которая когда-то относилась ко мне неплохо, но потом вышла замуж за мужчину, который никогда не ночевал в залах ожидания для транзитных пассажиров.

Женщина не очень обрадовалась звонку, но сообщила, что ее мать едет ночевать к ней, потому что болеет дочка. Комната на Сивцевом Вражке остается пустовать.

Около двадцати трех я был у матери моей знакомой в старом доме старого переулка Сивцев Вражек. Ее звали Оксана Михайловна. Она догадывалась о том, что дочь когда-то неплохо ко мне относилась. И побаивалась, как бы я чего-нибудь не стал возобновлять. И потому ей полезно было со мной познакомиться. Я же знал только, что она патологоанатом. Это был первый патологоанатом, которого я повстречал в жизни.

Оксана Михайловна сразу завела разговор о том, что ливер людей, которые не берегут себя, отвратительно выглядит и неважно пахнет при вскрытии. Объясняя это, она посмотрела на меня взглядом профессионала, который по мешкам под глазами может со всеми деталями нарисовать вашу печень. И у меня замелькала в мозгу строчка, выстроенная ступенькой под Маяковского:

А эпилог

нам всем

патологоанатомы

напишут!

— Не собираетесь ли вы побывать в Японии? — поинтересовалась хозяйка, укладывая в пластмассовую коробочку пирожки для внуки.

Теоретически это было возможно. И я спросил размер туфель, которые требовались.

Но требовались японский лак и смола для муляжей.

— Я храню растительность... — здесь она произнесла имя, отчество и фамилию одного из очень знаменитых и уважаемых писателей начала нашего века и продолжала, надевая старомодные боты: — Хотите взглянуть на его усы? Вам должно быть интересно. Я всю жизнь мечтаю сделать его муляж. И с открытыми глазами. У меня хорошо получаются глаза, если, конечно, лак японский...

Я снисходительно хихикнул. Я еще не знал, что скоро деревянный диван в зале ожидания на любом вокзале покажется мне райским уголком по сравнению с комнаткой в старом доме на Сивцевом Вражке.

Оксана Михайловна открыла шкаф и принялась рыться в беспорядке полок, попутно объясняя, что сотворение муляжей и снятие посмертных масок со знаменитых покойников — ее хобби со студенческих, комсомольских времен, с тех еще времен, когда она подрабатывала машинописью в секретариате Интернационала; что она снимала маску с Ивана Павлова, была последним человеком, видевшим писателя Н., в крематории она сбрила с него усы и ресницы для будущего муляжа, а потом наблюдала весь процесс сожжения: как вспыхнула рубашка и от жары поднялась правая рука писателя в облаке ослепительного газа и т. д., и т. п.

— Занятно, занятно, забавно, забавно, — поддакивал я, все еще полагая, что меня разыгрывают. Но Оксана Михайловна выставила на стол стеклянную колбу. На дне колбы лежали вялые усы, наклеенные на липкую бумагу. Затем вытащила гипсовую посмертную маску. Из маски свисали цветные тряпки и торчали окаменевшие бинты. Но несомненная подлинность маски делала эти детали несущественными.

Горестная тяжелая голова легла в яркий круг настольной лампы.

Я, конечно, спросил, почему реликвия хранится дома и не сдана в соответствующее заведение. Оказалось, что такого заведения, то есть квартиры-музея, еще нет, что Оксана Михайловна предлагала кому-то реликвию, но все отказались.

Я такому объяснению не удивился, потому что у нас в России отчетливо заметен таинственный закон, открытый и сформулированный, кажется, Тейяром де Шарденом. Закон этот заключается в том, что природа прячет прошлое от взгляда исследователя особым образом. Мы можем реконструировать только начала и концы прыжков истории и эволюции. Сами прыжки не оставляют

следов. То есть выражение «концы в воду» здесь проявляется в противоположном смысле. Концы из воды торчат, а середины исчезают.

Оксана Михайловна уехала, посвятив меня в секреты французского замка, который я должен был утром захлопнуть, и пожелав чувствовать себя как дома, так как почевать я буду один в квартире — левая соседка в командировке, а правые соседи не ночуют: у них недавно умер дедушка и они боятся. Вот тут-то я и набрался храбрости, чтобы спросить, нет ли у Оксаны Михайловны чего-нибудь успокаивающего. У нее нашлась казенка в бутылке из-под «Цинандали».

Шел двенадцатый час ночи.

Я остался со старым писателем Н. в маленькой комнате, окно которой выходило в переулок. Напротив был замызганный кинотеатрик. Там шел последний сеанс, и еще горели фонари у подъезда, освещая залепленные снегом афиши. Снег густо падал с черных небес в щель переулка.

В комнате было тесно от дрянного комода, продырявленного дивана с ковром — верблюдов на фоне пирамид — и громоздкого зеркального шкафа. Жилье одинокой ученой женщины.

Над столом висела полка с книгами специального содержания. Первая книга, которую я взял, оказалась переводом со шведского. На обложке красовалась лупа и крупный отпечаток человеческого пальца. Книга называлась «Новейшие методы расследования преступлений». Я начал ее листать.

Маску писателя и колбу с его растительностью я накрыл газетой. Я знал, что буду еще ее рассматривать. Никуда от этого я деться не мог. Но время еще не пришло. И сперва судьбе было угодно ознакомить меня со способами расчленения трупа в целях его дальнейшего сокрытия. По этим способам, оказывается, легко можно определить, был ли убийца мясником-крестьянином, или имел отношение к человеческой анатомии, или полный дилетант в мясных вопросах.

Хорошие шведские иллюстрации помогали составить обо всем этом наглядное представление.

И сразу мне показалось, что за стенкой — в соседней, пустующей после смерти дедушки комнате — кто-то скрипнул полом. Я напомнил себе, что резкое уменьшение раз-

дражителей, падающих на органы чувств нормального человека, например в сурдокамере, быстро приводит к слуховым иллюзиям. И что никто там скрипеть не может. Просто у меня звенит в ушах от тишины и духоты — батарея под окном жарила во всю ивановскую. Но на всякий случай я засунул шведскую книжонку обратно на полку.

Потом снял газеты с реликвий.

Большая голова, набитая тряпьем, покорно молчала в свете настольной лампы. Провалы асимметричных ноздрей, широкий и плоский тупик носа, а сам нос, если взглянуть сбоку, очень тонкий и длинный. Переносицу почти горизонтально секла морщина, начинаясь у левой брови. А лоб строго посередине разделялся вертикальной складкой. Гипсовые усы плотно закрывали верхнюю губу и прижимались к впалости щек. На маске они были значительно больше, нежели в натуральном виде, больше и гуще.

Писатель — могучий интеллеktуал и поэт — казался похожим на старого паровозного машиниста. И, как такого машиниста, его невозможно представить без усов. И меня не так поразила сама растительность знаменитого человека в колбе, как то, что женщине хватило нахальства, гениальности или сумасшествия сбрить ее с мертвеца, отправить человека в последний путь с голым лицом. Я даже прикрыл усы на маске пальцами, чтобы попытаться представить классика бритым. Из самозащиты или по дурной привычке я бормотал вслух случайные панибратские слова, вероятно инстинктивно стараясь снизить, расшатать необычность душевного состояния. «Занятная встреча, — бормоталось мне. — Занятое получается дело, метр... Это называется «LITTERA SCRIPTA MANET», да, слова улетают, а написанное остается, не вырубешь его топором, написанного... Единственную пятерку по литературе я имел за твои сочинения, старина, н-да...»

Но смерть быстро прикончила ручеек словоблудия. Смерть глядела закрытыми глазами из-под клочкастых бровей и тихо жила в натекшей к ушам коже и морщинах большого лба. Горечь раздумий запечатлелась на челе.

Я вытряхнул растительность из колбы и коснулся волос пальцем. Они показались влажными.

Я закурил. Подумалось о своем ливере, о прокуренных легких; о веревочке, конец которой скоро найдется.

Подумалось о смерти. Не о пристойной или величественной смерти, а о ранней, больничной, бессильной, как истрепанные бинты, которыми была набита полость маски.

За жизнь каждый из нас миллион раз мимоходом, вскользь, но подумает о таком. И каждый раз в ином варианте, ибо каждый раз человек находится в ином состоянии. Ведь адекватно повторяются лишь кошмарные сны — все остальное, включая каждое наше микросостояние, никогда не повторяет себя. И вот один раз из миллиона подумываний мы найдем все-таки вариант, который нас больше всего успокоит и примирит. И мы уцепимся за него.

Мы только не можем представить себе, что в предсмертии наше состояние будет таким необычным, каким оно никогда за все миллионы микросостояний даже близко не было. И тогда про утешительный вариант мы скорее всего и не вспомним. Любые иллюзии исчезнут. Любая ложь не поможет, если только милосердный врач не причастит нас морфием.

Я встал, прошелся, посмотрел на себя в зеркало. Честно говоря, мне хотелось на живое лицо посмотреть. Но когда глядишь на себя сразу после рассматривания смертной маски, то волей-неволей прикидываешь, как будешь глядеться в гробу, как складки к ушам со щек натекут. Сколько мне пришлось в почетном карауле стоять, столько я на эти натеки возле ушей любовался. Притягивают.

Я походил взад-вперед по узкой комнатке среди чужого пространства, чужих вещей, чужого жизненного уклада. Верблюд косился с ковра равнодушной мордой.

Падал за окном снег.

Из кинотеатра повалила толпа с последнего сеанса. Люди, попадая из надышанного тепла в снеговую ночную стылость, поднимали воротники, прихватывали друга друга под ручки, мелькали вспышки спичек, дым после первых жадных затяжек клубился густо. Какое-то зрелище свело людей вместе, держало там полтора часа. По белому экрану металась тень. Люди, быть может, плакали. Теперь они растекались в проходные дворы, в трамвай за углом, в переулки.

Я открыл форточку, услышал курительные и простудные кашли, скрип подошв, отдельные слова о недавнем зрелище. И тошно мне стало, как зрителям после последнего сеанса на зимней улице. Музыка захотелось.

Приемничек оказался слабенький — «Рекорд». Он зашипел последние известия. От шипения приемника я еще острее ощутил одиночество. И когда из кинотеатра ушли последние люди, погасли последние огни, заглохли двери, то даже вздохнулось. И почему-то вспомнился телевизионный фильм, который я недавно смотрел в плавании в кают-компании теплохода возле берегов Соединенных Штатов, в тумане, в метельном и тусклом океане. Это был мультяшный кот играет на рояле. Кот не знает, что внутри рояля бегают по декам испуганный и хитрый мышонок. Это мышонок извлекает вдохновенные звуки из рояля, а не кот. Но вот аплодисменты. Кот встает, раскланивается, прижимает лапы к груди. Позади кота выскакивает из рояля мышонок и прячется в норку.

Нет тут никакой символики. Вспомнился вдруг долгий рейс в зимней Атлантике, неожиданный кусочек чужой земли на экране телевизора в кают-компании, солидный кот за роялем и мышонок-Моцарт в рояле, испуганный, несчастный и счастливый.

Мир утерял наставников и приобрел приемники, подумал я как бы чужими словами. Потом старательно продышался свежим воздухом, закрыл форточку, с почтительностью убрал реликвии подальше от глаз в шкаф и прилег на диван. Подушка оказалась жесткой и низкой. Я приподнял ее на валик, валик откинулся, задел что-то на батарее отопления, и это «что-то» глухо шмякнулось на пол. Я взглянул на край дивана и оказался лицом к лицу с мертвецом. Собственная растительность зашуршала на затылке сапожной щеткой. И понадобилось порядочно секунд, чтобы понять, что из-под дивана торчит не голова трупа, а просто-напросто с батареи упала еще одна сохнувшая там маска старика с ужасным выражением лица. К счастью, она не разбилась.

Я поднял ужасную маску дрожащими руками и положил на стол.

Потом опять походил по комнате, раздумывая, не стоит ли сорваться в аэропорт и улететь домой или к чертовой матери — безнадюга превышала допустимые уровни.

Смертный слепок на столе, казалось, корчился от ярости. Он почему-то напомнил мне протопопа Аввакума.

Удирать, однако, было стыдно. Да и очень уж не хоте-

лось в почной снег. И я заставил себя прилечь обратно на диван под верблюда и пирамиды. И стал думать о завтрашнем дне, о делах и планах. И вдруг явственно почувствовал за дверью комнаты присутствие кого-то. От предположения, что дверь сейчас тихо откроется, я окаменел. Прележав в каменном состоянии с минуту, я услышал за дверью вздох. И, преодолевая желудочный спазм, бросился в переднюю и темный коридор, но там, слава богу, никого не оказалось.

Хорошо взбитому гоголь-моголю надо простоять сутки, чтобы опала пена и гоголь-моголь опять стал обыкновенной смесью желтка, белка и углеводов. Мое психическое состояние было близким к хорошо взбитому гоголь-моголю. В таком состоянии не уснешь, но я, как убеждает меня все последующее, все-таки уснул.

Звонок раздался около двух часов.

Я открыл глаза, увидел незнакомую комнату, смертную маску на столе в круге света от лампы и обнаружил в себе остановку дыхания. Ночной звонок в городскую квартиру неприятнее львиного рыка возле озера Чад. И мы предпочитаем отпасовывать неожиданные ночные звонки ближним, то есть соседям. Для этого мы предпочитаем подождать второго звонка. Или третьего. После третьего мы уже принимаем решение — или окончательно окаменеть, то есть изобразить из себя пустое место, но не удовлетворить извечное, присущее даже змеям любопытство, или открыть дверь, чтобы удовлетворить любопытство, но получить хлопот полный рот.

Открывать на ночной звонок, когда ты ночуешь в чужом месте и не получил надлежащих инструкций от хозяев, вообще глупо, ибо звонящий не может знать о твоём присутствии, ты можешь изображать пустое место с довольно чистой совестью.

После первого звонка я продолжал лежать, отчетливо слыша удары метронома, как в блокадном бомбоубежище во время тревоги. Сперва я подумал, что слышу удары своего сердца, но это оказался хозяйский будильник, который стоял на комодe.

Звонок долго не повторялся.

Я же знал, что на лестнице есть человек. Он не ушел. Я его чувствовал.

И второй звонок раздался, требовательный, как бы

ощущениями, как они — весьма приятные ощущения — часто предшествуют сну или легкому обмороку. Но чем больше вставало трудностей на пути к достижению глубокой старости для всех и чем упорнее люди не следовали правилам научной гигиены, тем острее Наталья Ильинична ощущала необходимость помочь тем, кто умирает молодым, корчась от страха приближающегося конца. Она занялась исследованием составляющих этого страха. И выделила ту, которая порождается омерзительностью физического лика смерти. Она решила найти возможность смягчить пессимистическое ощущение, испытываемое большинством атеистов и верующих при воображении своего тела, своей физической оболочки в стадии разложения, гниения, зачервивенья, могильного одиночества. Она искала возможность автоматического уничтожения трупа в момент наступления необратимой смерти.

Не думайте, что дама с синтетическими ослепительными зубами западной кинозвезды и в парижском парике золотистой блондинки читала лекцию в комнатке на Сивцевом Вражке. Лекции не было. Был метеоритный пунктир ее жизни на фоне тихого натюрморта со смертной маской старика-мученика. Это уж потом я обмыслил кое-что и уложил в систему на уровне своего понимания вопроса, то есть без всякого «noblesse oblige». Последнее выражение она повторяла так часто, что и я его запомнил. Оно означает: «Судить, как настоящему ученому, лишь с полным знанием дела».

Пока я слушал трассирующий рассказ Натальи Ильиничны, вторым планом стояла перед моим внутренним взором весенняя сценка: уборка двора дома номер девять по каналу Круштейна в Ленинграде в апреле сорок второго. Это был мой университет по танатологии. Во дворе лежали трупы... И вот оказалось, что старик, со смертной маской которого меня свела судьба, был специально командирован в блокадный Ленинград как доктанатолог и принимал участие в заседаниях исполкома и горкома комсомола, и давал рекомендации о способах сохранения нормальной психики у нас — детей и старух — при работах по уборке захороненных трупов.

— Он ухаживал за больными на Чумном форту, это бывший Александра Первого... Шел ладожский, льдины синие и белые, без грязи... Я очень боялась за него, все ходила по городу — и по Большой Невке возле старого

дворца Бирона, и по Мойке возле дома Пушкина... Вечерняя заря была странная — набекрень... Город весь шуршал от льдин и ветра. И я думала, как льдины плывут мимо форта — туда не добраться было. Это теперь — вертолеты... Ночью он позвонил, сказал, что заразился, что идет лед, дымы стоят над городом, он их увидит еще и утром, утро будет чистое, молодое, как только проклюнувшаяся трава... «Я все забывал вам сказать, — сказал он, — что я вас люблю. Как-то все не выходило сказать. Потом, зачем вам было это знать? Узнайте теперь. У меня температура, но голова ясна. Я знаю теперь окончательно: смерть связана с совестью материальной связью. Перечитайте «Смерть Ивана Ильича» графа Толстого. Обещайте иметь эту книгу всегда с собой!..» А я вдруг поняла и почувствовала, что он не умрет... Он еще сказал, что видит тюленя — тюлень плыл мимо форта на льдине, — и я засмеялась от счастья, что он не умрет, — он не мог умереть. И я ему говорила о вязах, как мы будем гулять среди вязов, летом... И о Тургеневе мы говорили. Тогда Тургенев был другой, нежели сейчас.. О, я уже тогда не могла отделаться от мысли, что если распад сложного, то есть трупа, на элементарное неизбежен, но относительно медлителен, то мы имеем моральное право ускорять его в любой степени...

— То же, что и в атомной бомбе?

— В принципе. Для того чтобы превратить ваши восемь триллионов клеток в излучение досветового спектра, достаточно энергии одной вашей молекулы. Хотите конфетку?

Я взял у нее самолетную карамельку в обертке с надписью «Сабина».

Я стал у окна и сосал карамельку — она обладала странным вкусом и, вероятно, обостряла обоняние — и смотрел сквозь стекло.

Та получилась ночка! Никогда я еще не получал такую массу ненужного хлама, то есть информации, в такое позднее время суток. И никогда еще среди информационного хлама не вспыхивали с такой алмазной яркостью нескромные по-западному детали женских воспоминаний.

В шатающемся конусе света от фонаря кружил на дне улицы автомобиль-снегоочиститель. Клепной ножа снегоочиститель задел бровку тротуара, скрытую под сугробом. Водителю было не развернуться в тесноте переулка.

Я вдруг учуял запах в кабине шофера. Смесь нады-

шанного влажного тепла, тепла от мотора, запах прокалившегося на цилиндрах масла, бензиновой горькости, грязной одежды, папиросного дыма. А вокруг этого кабинного запаха — первозданная чистота снега, блеск снега в свете уличного фонаря, отдельные снежинки, проскользнувшие сквозь щели... Я позавидовал шоферу снегоочистителя. Ночная работа тяжела, но кто не вкусил одинокой ночной работы, тот не знает чего-то особенного. В ночной работе есть вызов и солнцу, и звездам. Недаром великие часто работали ночью. Здесь дело не во внешней тишине и отсутствии лишних раздражителей. Дело в чем-то ином...

— Да, ночной чай и ночная папироса говорят иначе, чем днем, — сказала Наталья Ильинична. — И колени женщины говорят не так, как днем, согласны, голубчик?.. Атомную бомбу сделали, чтобы убивать. А через смерть, через страх перед уничтожением пришли к миру и надеемся закрепить мир навечно. И течение событий подтверждает... Но ведь это опять — в корне своем — против течения истины, а не по нему. Как будто только страх смерти способен спасти жизнь! Уничтожить страх — вот что значит опередить течение истины. Я почти не боюсь смерти. И не потому, что у меня чистая совесть! Я побегу волной во Вселенной в тот миг, как только сознание угаснет: раз — и нет дурочки!..

— Далеко не все боятся смерти только через судьбу тела, — попробовал я встрять в ее рассуждения.

— Вы были в Майданеке, голубчик? — спросила она.

Я не был в Майданеке. Видел концлагерь под Гданьском. Печи лагерного крематория были украшены букетиками цветов. Экскурсанты возлагали живые цветы в зевы печей, на обгорелые кости.

— Печами Майданека заведовал инженер. Его фамилия была Телленгер. Вернее, Телленгер отвечал за поддержание в печах постоянной температуры. Они выбрали тысячу семьсот градусов. При такой температуре удавалось пропустить через печи две тысячи трупов в сутки. Я была там в составе комиссии Международного Красного Креста. Везде был пепел, белый. На лагерном огороде эсэсовцы заставляли узников выращивать капусту. Вырастали огромные кочаны. Чемпионская капуста. Вашему Мичурину не снилась. Ее ели и хозяева, и узники. Последние знали, что завтра их пепел превратится в следующий кочан... Но я о другом. Чертовски топят у вас, — она встала с дивана и прошла к дверям, раскрыла их.

И продолжала говорить, обмахиваясь сумочкой: — Меня поразил рэкет эсэсовцев. Они торговали пеплом. За несколько граммов пепла поляки — родственники погибших — платили эсэсовцам огромные деньги, отдавали любые ценности. Да. Живым нужна хотя бы щепотка праха от любимого человека... Этой мелочи я не учла... Ведь это так глупо — лететь сюда, чтобы увидеть кусок грязного гипса и прикоснуться к нему. А я — я! — здесь! Когда я узнала, что снимали маску, я уже ни о чем не думала — только прикоснуться к нему еще раз... Ну вот, видишь, Андрюша, ты победил, глупый мой! — Она опять погладила гипс и потом коснулась губами кончиков своих длинных пальцев, и продолжала:

— Вы никогда не думали, голубчик, почему похоронные процессии исчезли с улиц? Почему мы так быстро и скрыто провожаем граждан на тот свет? Не думали? А он, — она ткнула сигаретой в сторону маски Андрея Дмитриевича, — он думал! Он знал, что, когда у людей чернеет совесть, а вы хотите, чтобы она продолжала чернеть, вам не следует напоминать им лишний раз о смерти! Вот почему он ненавидел мою идею и проклинал меня каждый вечер по телефону. Он не расставался с телефоном, как президент Джонсон... Он, между нами говоря, последние годы чувствовал себя неважно — что-то с головой. Он начал говорить, что нас, людей, разводят на планете какие-то сверхсущества, как мы разводим свиней, например. Мы разводим свиней ради мяса, а нас разводят ради сознания. И после смерти наши сознания поступают для каких-то целей этим сверхсуществам. А смерть, голубчик, обладает иногда способностью восстанавливать утраченное ощущение совести даже у отпетых мерзавцев. Пройдя сквозь страх смерти, наше сознание повышает сортность, повышает кондицию, усложняет структуру. Для того и существует смерть в арсенале сверхсущестств. Вот какие вещи он сообщал мне последнее время по телефону. Да, он любил телефон, как президент Джонсон... Что вы обо всем этом скажете?

— Забавно, забавно, занятно, занятно, — пробормотал я. — Какой-то ваш американец заметил, что всякий юмор — это, в конце концов, напоминание о смерти, о том, что все мы смертны. Андрей Дмитриевич, мне кажется, был большой юморист, хотя по выражению его лица такого и не скажешь. Хотите крепкого чаю?

Она не ответила. Сидела запрокинув голову и устало прикрыв глаза. Верблюд и пирамида были фоном ее зо-

лотистому парикю, на который пошли волосы какой-нибудь бедной и несчастной парижанки.

У каждого случается вдруг представить соседа или собеседника мертвым. И поймать себя на этом. И поторопиться отшвырнуть наваждение, мистически ощущая в нем возможность воздействия на течение жизни собеседника. И еще настораживает в таких случаях возможность каких-то не различимых сознанием признаков во внешнем облике человека, сигнализирующих о приближении к нему неизбежного. Ведь должна же быть причина, по которой в твой мозг вошло видение его мертвенности... И когда неизбежное происходит — пускай через значительное время после такого твоего подумывания, — в тебе оживают какие-то угрызения, как в лермонтовском Печорине-фаталисте.

Я глядел на Наталью Ильиничну, и мне почудилось, что прилетела она сюда умирать и что печать смерти уже тоже легла между подбритых и подкрашенных ее бровей. В обстановке сплошной чертовщины ничего неожиданного в таких ощущениях не было.

— Вам нездоровится? — спросил я.

— Пустое, — сказала она, открывая глаза. — Плохо выгляжу?

— Нет, что вы! Никогда не скажешь, что вы кокетничали с родным братцем толстовского Ивана Ильича на Больших бульварах еще до четырнадцатого года.

— Илья Ильич Мечников любил вспоминать, что в монастырях, голубчик, никогда не стеснялись говорить умирающим, что их ждет. В альтруизме современных докторов отсутствует логика. Если человек отличается от верблюда своим осознанием неизбежности конца рано или поздно, то зачем возвращать умирающего к положению верблюда? И возвращать человека к этому животному состоянию в самый величественный момент цикла? Я знаю, что умру скоро. Но не сегодня. У вашей милиции не будет неприятностей. Не волнуйтесь, голубчик.

А меня почему-то начал бесить «голубчик».

— Итак, я правильно понимаю, что под финал вы обнаружили никчемность работы всей вашей жизни? — спросил я. — Я правильно понимаю, что если сегодня мир стоит на страхе перед водородной бомбой, то нельзя даже пытаться уменьшить этот страх? Я уж и думать не хочу о других проблемах, которые встанут перед человечеством, если ваше открытие или идея вашего открытия осуществится в человеческой массе. Я о безнаказанности

убийц, если нет улик, о невозможности оправдаться безвинным, о безнадежности в медицине, если она не сможет вскрывать наши трупы и исследовать больные органы. Таких угроз возникает великое множество. Вы о них, конечно, думали?

— Конечно.

— Тогда зачем весь огород? Вы никак не похожи на человека, который разочарован, который отдал жизнь пустой и даже вредной идее и накануне конца постиг ее бесплодность. В вас не заметно таких переживаний. Скорее,— простите, но мы откровенны без поверхностной вежливости,— скорее, вы кажетесь самодовольной.

— Речь не мальчика, но мужа,— выдала комплимент Наталья Ильинична, немного подпортив, правда, его легким зевком.— Ошибки людей, голубчик, которые дерзали мыслить по-своему, сделали больше пользы, чем великие истины, повторяемые бездарными устами. Не смерть в конечном счете уничтожает человечество, а однообразие людей. Зачем и почему я должна удручаться? Я всей своей работой нанесла такой удар однообразию, который смогут оценить полной мерой только дальние потомки. Ведь это только сегодня смерть есть единственный регулятор совести, голубчики вы мои,— она обращалась и ко мне, и к Андрею Дмитриевичу, как к малым детям.— А что будет завтра, кто знает? Сомнения не означают разочарования. Возможно, я сделала больше Христа, Ньютона и Дарвина, вместе взятых. Только я слишком опередила время... Ужасной дрянью вы меня поили: болит затылок. Ну что ж, прощай, Андрюша, прощай, милый, прощай, любимый!— Она трижды перекрестила маску своего любовника и оппонента. Слезы блеснули в ее рационалистических глазах, она прижала рукой сердце и закончила шепотком:— Всегда помню, как ты играл моими косами, как детишки с дорогой игрушкой...

— Поискать валидол? — осторожно спросил я.

— Спасибо, не надо, болей в сердце нет,— отказалась Наталья Ильинична.— Не верьте слезам, голубчик. Они ничего не значат. Слезы бесполезны. Небесполезно только вдохновение... Однако мутит. Принесите воды со льдом!

Я помчался в кухню. Малиновый чайник мерцал на газовой плите— вода давно выкипела. Я выключил газ и полез в холодильник. Формочки со льдом там, конечно, не оказалось. Пришлось наковырять в стакан иней со стенок.

А когда я вернулся, Наталья Ильинична уже не было.

Только неистово молчала на столе в ярком круге света от лампы протопоповская голова танатолога Андрея Дмитриевича.

Вот в какие дали может завести человека обыкновенная дыра в подкладке брюк!

Актеры, которым приходилось по долгу службы изображать героя и на смертном одре, не очень любят вспоминать такие штрихи своих творческих биографий. И мне не доставляет удовольствия описывать ту веселенькую ночь. Тем более иногда мне кажется, что в виде конфетки «Сабина» я проглотил какую-то жуткую химию или физику и что в момент смерти я исчезну таким сверхквантовым скачком из брэнной материи в неуловимую гравитацию.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Мне общественное поручение — ко дню рождения Хемингуэя сделать доклад. Отказываться было негоже. И я почувствовал себя попом, ко лбу которого Балда неумолимо подносит мозолистые пальцы, закрученные в пружину для нанесения добротной щелкушки.

Публичные выступления для меня жуть. Правда, интимные — письма — тоже жуть.

Посмотрел предисловие Симонова к собранию сочинений Хемингуэя. Предисловие напоминает осиновое надгробие — не очень вечное и изящное сооружение. Полистал «Колокол». Не читалось. Прошла пора, когда хотелось ощущать в душе бицепсы и брюшной пресс?

В ранней молодости Хемингуэй не любил боя быков, но не из жалости к быкам и тореро. Жалел лошадей пикадоров. На берегу Босфора есть памятник лошади. Стоит лошадь — и все.

«Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном...»

С чего начинать доклад?

Смотритель маяка на островке Ки-Уэст сказал: «Если этот парень погибнет в море, то только тогда, когда его

повесят на нее». Можно назвать Хемингуэя моряком? Начать с этого?

Дон-Кихот в свитере, с трубкой в зубах, ловит на моторной лодочке возле берегов Флориды немецкие подводные крейсера. Вероятно, он собирался проткнуть обнаруженную субмарину спиннингом...

Потом он форсировал Ла-Манш и высадился в Нормандии с самоходной десантной баржи одним из первых. Тут ему пригодилась и наивная охота за подлодками, и профессиональная охота за большими рыбами... Начать с этого?

Или с того, как он покупал мясо?

Я как-то разговаривал с продавцом в мясной лавке на Невском проспекте. Он сказал, что терпеть не может покупателей-мужчин. За длинную жизнь мяснику равно надоели как мужчины, кокетничавшие неумением выбирать мясо, так и мужчины, хваставшие умением разбираться в мясе. «Дело в том, — сказал мне мясник, — что вы, которые культурные, не покупаете мясо для мяса, как это делают все сквалыги-женщины, а изображаете покупателя в первую очередь, хотя, ясное дело, хотите отхватить добрый кусок».

Хемингуэй был культурный. Как он покупал мясо?

Я долго ломал голову над ответом, так как чувствовал здесь что-то важное, но ничего не смог решить и придумать.

Луна заходила в созвездии Центавра, кровавая, пульсирующая в щели между узкими ночными облаками над Южной Атлантикой; она падала навзничь, рогами вверх. Жуткая Луна была этой ночью.

С правого борта близко спала Африка, где выходят к прибою старые львы, и прохлаждаются в лунном свете, и слизывают соленые брызги с кисточек хвостов.

С левого борта далеко в горах Айдахо спал Хемингуэй, придавленный тяжестью бронзовой африканской антилопы.

Да, он поймал большую рыбу и втащил ее в лодку. Пока ловил, думал, что рыбе доставляет жестокую, но полную счастья борьбу; что дал рыбе такой всплеск яростного жизнелюбия в яростном сопротивлении, что она должна ему еще спасибо сказать за яркость предсмертных минут, ибо без него, ловца, Хемингуэя, бедная рыба прожила бы тускло и сдохла под камнем, на мутном морском дне. А теперь она умерла красиво. И в борьбе с ней, так ловко обманув свою совесть, ловец

тоже пережил яростное жизнелюбие, потому что сумел перевоплотиться в рыбу, пережить с ней вместе лазерную остроту и пронзительность последнего луча солнца...

Можно ли считать Хемингуэя писателем, который полностью завершился? Ведь, очевидно, путешествия и деяния его души закончились, когда жизни для существования еще оставалось...

Я узнал о его самоубийстве с опозданием. Был в командировке в Северо-Восточной Сибири. Наконец выбрался из диких мест, из осенней тайги, на попутном вертолете прилетел в Иркутск. Сидел в сквере возле аэропорта, сняв сапоги, сушил на спинке скамейки портянки и читал старые газеты, по которым соскучился.

Билетов на Москву не было, номеров в гостинице — тоже. Над головой низко проходили на взлет и посадку реактивные самолеты. Даже голенища сапог пульсировали. Надсадный вой двигателей доводил до бешенства.

Я впервые тогда заметил, что сильные звуки начали действовать на меня болезненно. Вероятно, величина звукового раздражителя не соответствует интенсивности слухового ощущения. Переливы воя сотрясают каждую клетку, и ощущаешь себя тем, что ты и есть, — составным существом, общежитием миллиардов клеток, микроскопических бездумных тварей, муравейником кровяных телец, которые без всякой команды сознания там, во мне, жрут кого-то, бегут по своим делам, размножаются и мрут, сотрясенные гулом и воем реактивного двигателя.

Отвратительное ощущение.

Не барабанные перепонки воспринимают звук, а все тело, как у нашего предка — рыбы.

И вот в таком встряхнутом состоянии я прочитал коротенькую заметку о самоубийстве Хемингуэя. Очень мрачно воспринялась эта смерть, когда обрушилась на меня вместе с воем очередного самолета. Я зажал уши и застонал. Колокол звонил и по мне — яснее ясного почувствовал я тогда эту простую мысль...

Судовому врачу что-то не спалось, он пришел коротать ночь ко мне на вахту.

Мы смотрели на Луну, на то, как она падала за горизонт в Атлантический океан, задрав бычьи рога к зениту. На востоке мерцал Юпитер. И со всех сторон рушились с небес метеориты.

— Чего не спите, док? — спросил я.

— Послушайте, — сказал он, — можно ли назвать любимую женщину в письме «мой глазастый чиж»? — Наверное, док пришел ко мне на ночную вахту в рулевую рубку именно из-за этого вопроса.

— У нее маленькие, острые глазки? — спросил я.

— Ну что вы! Огромные, серые, томные...

— Чижи не бывают с большими глазами, но разве в этом дело? Если в тот момент, когда вы писали «мой глазастый чиж», вы ее любили, то все в порядке. Не портрет же вы пишете. Черт с ним, с тем, что чижи не бывают глазастыми. Если вы ее в тот момент любили, то передали свою любовь. Она не обидится.

Он заметно повеселел и ушел.

Я остался с Хемингуэем.

Есть три вида пишущих людей. Одни начинают писать после того, как нечто поймут. Другие пишут и в процессе писания начинают нечто понимать. Третьи должны написать книгу, чтобы наконец понять то, о чем они написали. И тогда они видят, что их книга написана неправильно, и... и печатают ее.

К какому виду относится Хемингуэй и как начать доклад о нем?

Акулы сожрали большую рыбу. Старик, кажется, заплакал. Он ненавидел акул и многих убил, но привязал бы он деревянный ящик из-под макарон к хвосту раненой акулы, чтобы развлекаться зрелищем ее метаний за бортом научно-исследовательского судна Академии наук?

Мне тошно от подобных сцен.

Бессмысленная ловля акул и издевательства над ними имеют старинную традицию среди моряков. Одни уверяют, что это инстинктивная месть за тех, кто купался за бортом или тонул на гибнущем судне и оказался в воюющем брюхе. Ученые говорят, что для сохранения нормальной психической деятельности нужны диковатые развлечения. Неученые говорят просто: надо убить время. И, чтобы убить время, убивают акул. Но ведь не просто убивают!..

«Конечно, акула жуткий зверь. И жутко представить свою бледную ногу в ее черной пасти, но, братья и сестры, нет большого смысла в тыкании багром в акульи глаза!» — если начать доклад о Хемингуэе так?

Днем перечитал «Кошку под дождем» и «Белых слонов». И четко понял, что мало-помалу перестал застав-

лять себя учиться писать, разболтался и расхристался, не закрепляю даже того уровня, которого способен при настоящем психическом напряжении достигнуть и закрепить. И обманываю-утешаю себя: мол, дай мне, судьба, условия, сними тревоги, раскрепости обстоятельства и... «...и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства».

Нынче я испытываю муки от писания больше всего при сочинении писем родным. В прозе скольжения между отражениями сделались уже привычкой, то есть второй натурой.

Боль от лжи особенно остра, когда пишешь близким. Тогда каждая клетка мозга знает абсолютную истину: слово изреченное, а тем более графическое, уже есть ложь. Именно в письмах я чувствую: самое превосходное сравнение — от лукавого! А в прозе к сравнениям тянет и притягивает щегольство: внешний блеск изобретательства, перевертословия, острословия завораживает, и нет сил отказаться от внешности.

Обычная записка матери, если не хочешь специально обманывать (скрываешь болезнь для спокойствия ее), требует такого обнажения от внешности, какое и не снится при прозаической работе.

В письме ты можешь доносить на себя и обязан это делать. В прозе тоже обязан, но черта с два донесешь. И даже не от страха. Истинная проза есть открытие для людей реальной возможности более достойной жизни. А если не видишь такой возможности и для самого себя?

В беличьем колесе этих вопросов запутывались даже гении — например, Гоголь. Легко сказать: «В писателе все соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование таланта соединено с совершенствованием душевным». Но если ты, предположим, достиг потолка в изобразительной силе, которая есть составляющая таланта, то и твое душевное совершенствование отдает якорь?

Если вернуться к письмам близким... Корреспондент знает меня часто лучше, чем я сам. Мне не надо завоевывать его любовь, чтобы заслужить доверие. Он и так любит, а значит — верит...

Я вялой мухой шевелился в паутине нечетких мыслей,

удрученный надвигающимся сроком доклада о Хемингуэе, когда зашел капитан. Он редко заходил ко мне в каюту без дела.

Долго смотрел в окно. Ветровые волны и зыбь боролись друг с другом на океанском просторе.

— Зыбайло катит в левый борт. Не по волне,— сказал наконец капитан. — Какая это, к черту, жизнь?

Я молчал. Москва транслировала «Чародейку». Холоп-предатель сообщал миру, что в выделке была его овчинка много раз.

— Моя тоже,— сказал капитан.— В этих-то местах вырезали мой знаменитый аппендикс. В прошлом рейсе. Два часа док кромсал. Без наркоза. От боли зашкаливало сердце. Потом возле Кергелена случилось что-то вроде инфаркта. Потом рехнулся первый помощник. Шпионы ему везде мерещились. Потом у механика аппендикс лопнул. Одиннадцать месяцев сплошного безобразия...

— Вы любите Хемингуэя? — спросил я.

— Слишком много о смерти. Это правда, что Хемингуэй всегда встоячку писал? Геморрой застарелый — нам, морякам, штука знакомая... Буй, что ли, где сорвало? Гляньте право тридцать.

Я глянул. Оказалось, скопление водорослей.

— Черт! Надоело плавать! — вдруг сказал он.— А ведь есть люди, которые нам, морякам, завидуют! Мне уже иногда кажется, будто мы кормой вперед плывем... У вас зубы в длинных рейсах чернеют?

— Чернеют. И сны черные.

— Вот и хорошо: не надо кино смотреть,— пошутил капитан.— У нас и желудки черные,— добавил он со вздохом.— Пьешь из графина — на дне муть. Моешься — из душа ржавчина. Ешь котлету, а она из такого вымороженного мяса, что мамонта напоминает. А в родной порт вернешься, тебя еще на психреакцию проверять будут и тесты задавать... Чего-то разнылся, как зуб мудрости. Самому противно!

И ушел.

Он не разнылся. Просто высказал то, что иногда истинно думает, и ощущает, и чувствует человек в долгом океанском рейсе, а не то, что полагается чувствовать и что тебе внушено чувствовать. Но нужна ли капитану или писателю такая истинность?

Доклад о Хемингуэе я сделал стандартный — на его биографическом материале и без всякого философствования.

У нас была почта для одесского теплохода «Бежица». «Бежица» принадлежала к тому же семейству экспедиционных судов, что и мы. Они возвращались после семи с половиной месяцев плавания домой. И теперь шли от берегов Уругвая.

Мы встретились в полдень. Когда почту для одесситов грузили в вельбот, обнаружили мешок писем, адресованных «Невелю», то есть нам самим.

Только почта была годичной давности.

Капитан вспомнил, как в прошлом рейсе бомбили пароходство просьбами об отправке этих писем в Бомбей, куда должны были зайти на ремонт. Пароходство не нашло денег на пересылку почты. Письма провалялись на берегу год, чтобы все-таки попасть на «Невель». Экипаж сменился. Прошлогоднее письмо получила только Сима — наша общественная библиотечка. И ходила похорошевшая и радостная, в голубом сарафане.

Старший помощник капитана на «Бежице» женщина. Грубоватый женский голос просил по радиотелефону ящик масла и мешок макарон. Наш чиф предложил обмен на свежие фрукты.

Женский голос сообщил, что последний раз были в порту два месяца назад и уже забыли, как фрукты выглядят.

Потом наш доктор просил у коллеги пипетки и клейкий пластырь. Коллега требовал спирт.

Мены не состоялись.

«Бежица» забрала свою почту из дома, наши письма домой и легла на курс к Одессе.

При приветственных гудках не хватило воздуха у нас. При прощальных — у них.

Я долго смотрел на удаляющиеся огни.

Интересно, позволяет ли себе женщина с тремя широкими нашивками на рукавах тужурки чувствовать то, что от века внушено ей чувствовать как женщине? И взялся бы Хемингуэй писать о женщине-старпоне на экспедиционном судне? И как она покупает мясо в магазине? И кто ждет ее в Одессе?

Холодные листья падают там сейчас с платанов. И таксисты скучают на стоянке возле вокзала. А в вокзальном сквере сидит и дремлет полусумасшедшая старуха, бывшая судовая уборщица. Она продает семечки. Люди жалеют старушенцию, кидают гривенники и пятак. Когда набирается рупь с полтиной, старушенция покупает четвертинку. Свеже опьянев, говорит непристой-

ности мужчинам, которые чинно покупают мороженое.

Я знаю эту старушечку давно и знаю, что она терпеть не может мужчин с мороженым...

В Одессе особенно хорошо ночью возле памятника Ришелье. Парапет набережной деревянный, изрезан именами, датами и дурацкими выражениями. В черном провале рейда поворачиваются на якорях корабли, повинуюсь ветру и течениям. На них горят палубные огни, и не сразу разберешь, где огни порта и где кораблей. Бродят влюбленные. И тихо трогает набережные и причалы волна. Как женщина трогает мужчину легкими пальцами, чтобы не дать ему уснуть, чтобы не остаться одной, — так трогает море приморский город...

Один из великих ученых сказал, что если взять увеличительное стекло и лечь возле лужи в своем дворе, то можно принести больше пользы человечеству, нежели совершив кругосветное путешествие. Он сказал это в связи с тем, что редкостные животные самых труднодоступных мест планеты изучены лучше обыкновенных мышей.

Однако известно — и широко известно, — что лицом к лицу лица не увидеть. И сколько бы человечество еще топталось в потемках, не зная, что происходит от обезьяны, если бы Дарвин отлежался возле лужи на своем дворе? Пожалуй, для Дарвина был смысл заплывать на Галапагосские острова.

Все это прямо относится и к пишущим людям. Действительно, в ближайшем отделении милиции или в родном дворе даже для самого плодовитого писателя хватит на сотни томов материала, человеческих судеб, философии. И все-таки среди пишущих людей страсть к перемене мест наблюдалась всегда. Географическое удаление от родного общежития помогает увидеть примелькавшееся в новом ракурсе, помогает побороть бессмысленную веселость и даже перейти от беспричинной тоски к гениальному психозу, если ты, например, Гоголь.

Ностальгия — таинственное и сильное душевное страдание. Особенно полезна она пишущему здоровяку. Ведь вопрос о равновесии в художнике болезненного и здорового начала — темный. Никто еще не выяснил оптимального процентного соотношения того и другого для наиболее полного художественного выражения души писателя. Ясно только, что червоточинка необходима, ибо тот, кто постоянно ясен, тот, по мнению Маяковского, просто

глуп. Таким образом, если вы чувствуете в душе и мыслях постоянную ясность, вам следует немного психически приболеть. И есть смысл сделать это через морскую тоску и ностальгию. Морская ностальгия особенно хороша тем, что с этой душевной болью в сумасшедший дом не сажают. Достаточно для полного излечения приплыть обратно и переступить родной порог.

Если же ваше плавание недостаточно затянулось и ностальгии вы еще не ощущаете, то следует попасть в какую-нибудь неприятность, влипнуть в историю. Например, пусть у вас не хватит при сдаче груза тридцати бухт катанки или парочки автобусов — такое на торговом флоте бывает. И сразу вы переживете острый приступ тоски по дому и маме, утратите ясность духа и приобретете болезненную, но необходимую для высокого творчества психическую неясность.

ДАКАРСКИЕ СКАЗКИ

*Памяти моего первого редактора,
учителя, друга — Маргариты Степановны
Довлатовой*

Отшвартовались в Дакаре семнадцатого декабря к десяти утра. По закону подлости при сильном отжимном ветре в момент подачи кормового продольного швартова отказал шпиль и нас поставило чуть не перпендикуляром к причалу.

По причалу разгуливали и с ленивым любопытством наблюдали за нашей швартовкой сенегальцы в балахонах-бурнусах до самых пят. Такое одеяние называется бубу. Просторное одеяние. А под бубу мусульманские — с мотней — штаны. Наши матросы убеждены, что мотня «по религиозной причине Корана»: новый Магомет якобы должен неожиданно родиться у мужчины, а чтобы новорожденный, выпадая из мужчины на свет божий, не разбился о землю, они и носят такие штаны.

Не знаю, придумали все это матросы или на самом деле так. Ясно одно: бурнусы-балахоны мешают сенегальцам, когда надо достать монету из штанов или сделать другие мелкие дела. Но бубу только на любопытствующих бездельниках. А грузчики в ужасной рвани. Эти работают головой в том смысле, что таскают огромные мешки арахиса на темени. Тяжко видеть их работу, когда вокруг фырчат автопогрузчики и электрокраны.

Не успел трап коснуться причала, как возле борта развернулся этнографический музей. Идолы, газели, пироги с гребцами и ожерелья.

Чудесными красками сверкают ожерелья под сенегальским солнцем. Нанизаны шишечки, сушеные ягоды или семена, плоские камушки, кусочки дерева, раковины, клыки морских рыб и западногерманского производства стеклярус.

На борт поднимаются три охранника. Нас они охраняют от сенегальцев или сенегальцев от нас — неясно. Но кормить их мы обязаны. С нами охранники добродушны и ненавязчивы. С соотчичами — свирепы, если соотчичи в рвани. Английский не знает и знать не хочет. Французский знает, но мы не знаем.

Стоянка впереди долгая. На берег я не тороплюсь. Наблюдаю мусульманские молитвы.

Когда наступает время, охранник-правоверный бросает пост, спускается с трапа на причал, подбирает картонную коробку, распластывает ее на бетоне и ориентирует себя спиной к весту, лицом к осту. Затем выключает себя из действительности.

Мимо проносятся грузовики с прицепами.

Шумят транспортеры, подавая в цистерны канадскую пшеницу.

Пшеница насыпана огромной пирамидой прямо на причал. Четверо босых негров гребут пшеницу лопатами к жерлам транспортеров. Негры в едкой пыли, рты завязаны грязными тряпками.

Охранник ничего не видит и не слышит. Он опускается на четвереньки, кланяется, поднимается, присаживается на корточки, на карачки, на пятки, скособочивает колени, складывает, вздымает и опускает руки.

Вокруг продолжает гроыхать и торопиться современная портовая жизнь.

С мешками на головах идут докеры.

Бегают наш судовой пес Пижон и дрожит от страха перед чужим миром.

В просвете под эстакадой виден кусок гавани. На фоне воды молчат плакучие тропические деревья. Тянет к ним, к зелени, к живой тени, к шелесту листьев.

На крышах пакгаузов сидят голуби. Время от времени они взмывают в небеса неряшливой стаей.

В зените парят большие темные медлительные птицы, похожие на коршунов издали и на грифов вблизи. Это вантуры, птицы-ассенизаторы. Они жрут нечистоты

вокруг нищих хижин в Медине — пригороде Дакара. Охранник молится.

Какому-то полицейскому есть до него дело, но охраннику нет дела ни до кого. И никто не рискует прервать его молитву.

Арабские лавочки на дакарском базаре легко опознаются по запаху.

Если во мне сохранилась еще романтика, то ее можно разбудить дымом арабского табака или каких-то еще их курений. Запах, вызывающий томление духа. Его тянет вдыхать, впитывать, мять в пальцах, втирать в переносицу, набивать в карманы, чтобы унести с собой, чтобы не расставаться с ним. Курить самому арабские табаки не доставляет удовольствия. А когда курят в твоём присутствии, вдруг начинает казаться неизбежной встреча с заколдованной красотой.

Чтобы быть настоящим моряком, надо остаться навсегда мальчишкой. Да, надо научиться ломать чужие воли и брать на себя любую ответственность, надо отвердеть скулами и глазами, надо неколебимо знать, что судно — это машина, которая зарабатывает деньги. И при всем том надо остаться навсегда мальчишкой, которому форма дороже содержания. Только те, для которых форма дороже содержания, смогут всю жизнь преодолевать тоску и серость морской работы.

В детстве я жил в одном доме с известным кораблеводителем Н. М. Сакеллари. Он умер, когда мне было семь лет. Помню запах его трубочного дыма, оставшийся в сырости парадной после прохода штурмана в гавань квартиры по каменному фарватеру лестницы. Мы — мальчишки — поднимались вслед за Сакеллари, фильтруя сквозь слизистые носов малейшие клочки этого томительного дыма. Ничто лучше дыма не может символизировать даль таинственных стран и даль твоей завтрашней жизни. Но когда приходит пора заложить эти дали в трубку и примять их привычным нажатием большого пальца, дым изменяет запах и вызывает обыкновенный кашель курильщика.

Смотрю местные журнальчики. Оцениваю степень развращенности — незначительная. Порнография вообще отсутствует. Есть шикарные фотографии полуголеньких белых. Рядом на тротуаре они же идут в куда более раздетом виде. Сорокалетняя мать в свехмини, в чулках на

подвязках, и на трех поводках — три детеныша. Детеныши запряжены по всем лошадиным правилам, упряжь пересекается на груди крест-накрест.

Успеваю заметить дырку на чулке белой значительно выше ватерлинии. В чем смысл мини? Вероятно, не только в экономии материи, но и в сексе. Однако секс из меня куда-то исчезает, когда все тебе видно не через щелочку, а сквозь телескоп атмосферной подушки.

Молодые, состоятельные, ухоженные сенегалки редко в мини. Знают слабое место. Имею в виду ноги. Сенегалки не черные — матово-тепло-коричневого цвета. И одеты ярко, цветасто, кричаще, но крик сведен в гармонию и веселит, а не угнетает глаз. Плечи обнажены, шея не скрывается в волосах, голова сидит гордо. Ножки вот подводят. Длинные очень и костлявые. И все равно отчаянно красивы иногда ухоженные сенегалки. Двигаются в полной независимости от остального мироздания. Наплевать им на мироздание. А я на чужбине, среди массы городского люда, с особенной глухой тоской испытываю одиночество. Когда тоска накатывает среди человеческого муравейника, среди диковинных акаций, пальм, запустивших корни в камень под газетным киоском, среди солнца и солнечного шума, тогда она неестественна и глупа, как картины абстракционистов среди реалий Эрмитажа, но так уж меня устроил бог.

Уличная распродажа.

Газели с детишками и без, обрубки идолов, хитроумные зайцы; болтливые, энергичные, необузданные и зловредные обезьяны; коварные и бесчестные пантеры, у которых поступь женщин, взгляд властелина и душа раба; изящные калекбассики — сосуды из тыквы; глупые гиены, которые по двадцать лет ходили в мусульманскую школу, но умнее не стали, у них только зады отвисли под тяжестью вязанок хвороста, которые они таскали в школу каждый вечер все двадцать лет... И — маски. Сотни застывших на века ужасных человеческих гримас. Сенегальская смерть зияла пустыми глазницами со всех сторон.

Утешительна была ее дороговизна. Смерть стоила по десять тысяч сенегальских франков. Даже при возникновении кощунственного, извращенного желания купить ее я не смог бы. На прекрасные фигурки стилизованных богинь или черт знает кого валюты тоже не хватало. Богини были из туманного дерева, фиолетового в глубине и с жемчужным отливом на поверхности. Богини и женские головки из красного дерева, тяжелого, как бивень

мамонта, уравнивали смертную пустоту ритуальных масок.

Торгую газель с двумя детенышами. Мать-газелиха целует газеленка. Морда матери переходит в мордочку звереныша плавно и незаметно. Младший детеныш сосет мать, забравшись ей под брюхо. Сентиментальность седьмого месяца рейса. Острое отсутствие вкуса, черт побери. Растерянность под взглядами и гримасами масок вокруг...

Показываю черному продавцу один палец и добавляю таузенд.

Продавец выкатывает белки и машет руками в истерике: демонстрирует обиду и оскорбление. Такое впечатление, что я плюнул на какую-нибудь сенегальскую святыню.

Смотрю на блики, которые вспыхивают на черном лбу продавца. Блики от тропического солнца. Солнце отражается от взмокших черных лбов точно так, как от зеркала специалиста по уху, горлу и носу. А я всегда думал, что черный цвет поглощает чуть не сто процентов лучей. Ерунда это. Если абсолютно черное тело отполировать и слегка смочить потом, оно не поглотит ни единого луча. В этом весь фокус. Нашенская серая кожа поглощает лучи, даже не разжевав, давится ими от жадности.

Продавец махнул широким рукавом бурнуса и повел в тылы хозяйства. Балахон-бурнус — бубу — развеялся вокруг длинных и тощих ног коммерсанта.

Через минуту мы оказались в строении, сколоченном из ящиков, — точь-в-точь наш автомобильный гараж на пустыре среди помойки, обреченный на снос неумолимым райсоветом.

Сарайчик был битком набит газелями.

Огромное стадо молчаливых газелей ласкало детенышей и кормило их совершенно адекватным образом. Только бюсты Мао я видел однажды в таком количестве и так же густо покрытых пылью.

Продавец взял франки и ткнул пальцем в ближайшую газель. От пальца осталась в пыли на газели ямка.

— Тряпочку! — заныл я. — Как ее нести, черт возьми? Оботри!

Продавец с раздражением задрал бубу, вытащил из карманов штанов два обломка какой-то кости и засунул в лоб газели. Получились рога. Вероятно, он решил, что я требую за таузенд еще и рогов.

Я взял газель за шею и поволок на свободу. (На суде, когда я протер статуэтку, на ее задуге обнаружился здоровенный сук. Выглядел он, как знаменитое пятно марала. Газель оказалась бракованной. Потому продавец и не понял просьбы о тряпочке.)

Я шел к порту по узким будничным улочкам.

Бежали из школы черные детишки, тузили друг друга портфелями, как тузят во всем мире.

Детишки бежали разнокалиберные — признак тяжелой жизни. В разном возрасте попадают детишки в школу, и вот в одном классе девушка с пышной грудью и мальчуган — ошипанный воробушек с птичьими ножками, весь тонкий, паутинный, но бежит тоже, молодец, портфелем размахивает. Галдят, радуются вечеряющему солнцу, прыгают через поваленную ветром старую акацию, рвут цветы с умирающих веток.

И я сорвал.

Пальмы, пальмы, пальмы. Их стволы обвиты синими венами каких-то лиан.

Банки. Не жестяные, а денежные. Главное, что бросается в глаза в столицах неприсоединившихся стран, — банки. Они заполняют центры, вздымаются над низкой жизнью, над алыми и желтыми цветами декоративных кустов, над пальмами. Далеко вершинам пальм до крыш банков, до флагов Англий, Канад, Америк, свисающих из окон.

А у ворот порта спит на тротуарах у подножья величественных пальм голь перекатная — черные люди без бликов на пыльной коже, с конечностями, отсохшими после неведомых болезней. И сидят на земле недобро раздобревшие негрятянки-перекупщицы, торгуют кусками батона и пригоршнями ворованного арахиса. Тут же ченч идет — старинная меновая торговля, объединяющая людей во всемирное общество еще со времен Оленя и Бронзы. Тут за сигареты можешь нос рыбы-иглы выменять, если своих и чужих властей не боишься: везде ныне меновая торговля запрещена. Она в обход таможни идет, в обход организованных денег и порядочных сборов.

Вечерний Дакар блестит и бурлит в центре, как не полупустой, а полуполный Париж. Маяковский так говорил о зрительном зале, где его горланско-бунтарское существо желало бы увидеть побольше читателей и почитателей.

Вечерний Дакар, если всех черных прохожих сделать

белыми, а белых черными, вполне сойдет за Париж тех улиц, которые идут параллельно Елисейским полям.

Шикарные витрины, француженки за стойками и прилавками: «Мсье!.. Мадам!.. Бонжур!»

Витрины отражаются в лаке авто.

Лак авто — в витринах.

Волшебная иллюзия современного капиталистического города: кажется, что красота, и легкое счастье, и изящная любовь, и вечность молодости — в любой пачке сигарет «Пелл Мелл», в пене оранжада и рюмке коньяка, в каблучке туфельки на женской ножке. Заверни за угол, еще за тот угол, за этот фонтан вечерних цветов с черной цветочницей, и — никаких мучительных вопросов бытия и быта, вечернее счастье до самого горизонта, остановленное мгновение; все линии и спектры мира сошлись в той точке, которая всегда на уровне твоих собственных глаз, которую носишь с собой всегда, ибо так устроен твой хрусталик — магический кристалл перспективы, вечный обман, подаренный тебе мирозданием; предвкушение хорошей книги, падающие в Сену осенние листья платанов, дрожание Адмиралтейского шпиля в Неве — все будет, только сверни за угол, отразись в витрине, увидь свое лицо среди алмазов бутылок на витрине бара в центре Дакара, где перед полетом сживал Экзюпери; и забудешь о невзгодах и трудном величии, кроме них есть еще нечто — тебя ждет легкая суть всех вещей мира, тебя ждет Касабланка, как того пилота, перед которым мерно покачивается капот самолета меж звезд, который в ночи возвращается с почтой над твоей головой.

Вот какие миражи научился будить в человеке современный капиталистический город. Не только целая книжная промышленность зиждется на нехватке человеческого счастья, как заметил Грэм Грин, а все промышленности зиждутся на этой нехватке. Надолго хватит им работы, чтобы залить глотку человечества ананасовым джусом «Пам-Пам»!

А пока можете купить к рождеству елку. Под пальмами, в тени плюща, заткавшего стену дома и нависшего над тротуаром, продают елки. Среди колючей хвои — африканки в цветастых пышных балахонах.

Я думал, елки нейлоновые. Но запах не может обмануть. Настоящим морозцем и грибами пахнут елки в ночном Дакаре на бульваре Пине-Лапрад и на аллее Канар.

Норвежскую елку покупало при мне за полторы тысячи франков смешанное африканское семейство: он —

черный, очень черный, антрацитный, высокий, стройный, с умными ироническими глазами; она — белая, веснушчатая, худощавая, с девичьим шармом. И держат за руки сынка между собой — смесь. Никто на семейство не обращается — нормальное дело.

Елки в Сенегале я увидел, а где баобабы?

Такое вкусное на слух дерево, великан-симпатия, которое обнять могут только дружные люди, потому что им надо будет взяться за руки: не меньше пятнадцати друзей на один баобаб.

В сухой сезон он кажется совершенно мертвым, хуже саксаула. Притворяется, подлец. Чуть брызнет дождик, на толстяках-сучьях выбрызгивают листья. И быстро рождаются в кроне огромные цветы, похожие на водяные лилии.

Баобабы живут в саванне. Их не удается приручить. Они не могут без одиночества. И терпеть не могут современный город. И я их не видел в Дакаре.

Но тамтамы услышал.

Вахты у нас были стояночные — сутки на брата.

Около полуночи я отправился в обход по судну.

Было воскресенье, порт не работал.

По носу спал американский теплоход, по корме — испанец.

Особенное чувство отрешенности появляется, когда ночью один обходишь судно. Сталь палуб, кажется, пружинит под ногами. Самый слабый звук за бортом будит четкое эхо в трюмах. Обычные и привычные предметы на баке — брашпиль, цепи, стопора, флагшток, — лишенные человеческого обрамления, выглядят самостоятельными, живущими сами по себе, как киплинговский кот.

Пнешь ногой швартов на кнехтах — несколько тонн стальных проволок и не подумают шевельнуться.

Положишь руку на рукоять разъединителя, удивишься мощи якорь-цепи.

Без всякой нужды ляжешь грудью на фальшборт, перевесишься, глянешь на сам якорь, торчащий из клюза. Молчит якорь. Спит. Как чуткая собака. Готов залаять в любой момент, ухнуть в суету волн, вцепиться в грунт мертвой хваткой.

Безмолвно работают Золушки-стопора — ни сна, ни отдыха, их чугунным мышцам.

Желтые лучики вырываются из клетки штагового

фонаря, летят не меньше трех миль во все стороны...

Зевнешь, плюнешь на окурок, выщелкнешь его за борт.

Водичка бормочет между бортом и причалом, колыхается у свай, полощет тинную слизь на сваях.

Смотришь почему-то на окурок, ждешь, когда утонет.

И никакого тебе дела нет до чужой земли, возле которой живешь в этот миг своей жизни. Гудок буксира, далекий лязг буферов, шумок стравливаемого пара не слышишь — привычны и везде одинаковы портовые звуки.

А в Дакаре в воскресную ночь из привычности на мягких и хищных лапах подкрались таинственные звуки.

Теплый ветер тянул с северо-востока, и они вплетались в него, несли тени саванны, свет луны на морщинах древних баобабов, низкий гул занимающегося пожара, топот толпы — тысячи голых ступней в едином ритме делают медленные шаги.

Всем там быты

Всем!

Там!

Быты!

Тамтамы проснулись в ночном Дакаре.

Тамтам изваянный, тамтам напряженный;

Рокочущий под пальцами победителя-воина;

Твой голос, глубокий и низкий, — это пенье

возвышенной страсти, —

так написал президент этой страны еще до того, как стал политиком.

Я не знал, что тамтамы загудели в ночном Дакаре в честь возвращения президента Сенгора из заграничной поездки.

О чем подумает вахтенный штурман, когда ночью услышит гул барабанов? Война, бунт, революция, дворцовый переворот, землетрясение? Не позвонить ли из полицейского поста возле портовых ворот в посольство? Не начать ли сматывать удочки, то есть готовить машину? Ведь стреляют и вешают по всему огромному Африканскому континенту. Об этом подумаешь, а не о лунной тени баобабов в саванне и не о женщине, охваченной возвышенной страстью.

Но мирно продолжали похрапывать суда у причалов и кирсов. Мирно дышала вода за бортом. Театрально-занавесно колыхался тропический мрак вокруг редких фонарей. Неспешно совершал очередной круг почета роскош-

ный Орион в небесах. И корабельный металл впитывал сонное воркование голубей, притаившихся на карнизах пакгаузов.

Гул тамтамов креп, не нарушая торжественной тиши дакарской ночи, существуя помимо нее, как существует без человека якорь на грунте.

Есть певцы, которые, обладая даже сильным и хорошим голосом, усиливают впечатление страстности при помощи раздувания ноздрей. Особенно неловко видеть их ноздревскую чувствительность на экране телевизоров. А есть певцы, которые стараются не использовать при пении даже такой благородный инструмент, как руки.

Тамтамы не рвут занавес африканской ночи. Они колышутся вместе с ней, пульсируют пульсарами из глубин вселенной. Это касается даже тама — самого маленького барабана, величайшего из болтунов. Потому-то у тамтамов нет эха. Оно может родиться только в тени баобаба, освещенного луной. Только тень способна отразить и вернуть голос тамтама.

Тамтам ищет в африканской ночи надежды для своей мечты. Разве найдешь ее среди пакгаузов?

Тамтамы — это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость. И духи древности откликаются на зов лунной тени баобабов.

Живые спрашивают глухо и безнадежно:

Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец?
Всем там быть?

Из древней тьмы ночи:

Все идет на лад!
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Н'донг! Н'донг!

Подумалось о всех пастушьих свирелях, о всех песнях, спетых человечеством в те времена, когда еще не знали нот. О всех словах, молитвах и симфониях, которые улетели на воздушных волнах еще до века граммофонов и магнитофонов. Сколько их, незримых, но телесных и теплых, витает вокруг нас. Они зашифрованы в каждом дуновении ветра, и в каждой капле дождя, и в каждой снежинке. Ничто совсем не исчезает в этом мире. Под саваном древних напевов живет человек, пасмурной тенью облаков и солнечным лучом они сопровождают нас всегда.

Всем!
Там!
Быть!
Ба!
О!
Ба!

Я чувствовал, как голоса тамтамов приближаются, обволакивают огромное судно, бродят по пустынной штурманской рубке.

Чужие голоса чужой страны.

На спящей воде в пространстве между судами в такт тамтамам вспыхивали лунные блики.

Корабельный пес Пижон поскуливал. Чужие голоса в ночи пугали его. А может, он успел узнать от здешних собак свою родословную и возгордился. Катч-собаки получили мудрость от Луны. Они проникли в жилище человека тысячи лет назад, чтоб изгнать оттуда злых духов. Когда-то собаки получали здесь от людей первое животное, убитое в новолуние. Может, Пижон требовал от меня жертвоприношения?

Я дал Пижону таинственный кусок сахара.

В лунном свете сахар был зеленым. Лиловые искры вспыхивали на зеленом рафинаде.

— Черт! — сказал я. — Пижон, что я наделал? Я не хочу, чтобы ты выгонял из этой стальной коробки злых и всяких других духов. Пожалуйста, ешь сахар, но не изгоняй их, о Сын Дворника! Не выметай их метлой черного хвоста, Дворняга!

Я никогда не видел гномов.

И духи избегают меня.

Для других быют тамтамы в лунной тени баобабов.

Таинственность бежит из сказки моей жизни.

Даже в детстве я не читал сказок.

Я начинаю их читать только теперь.

Но они не даются мне.

Что делать?

Я хочу скovyрнуть с души коросту, промыть ее морщины марганцовкой и ощутить мир целиком — всю круглость Земли и безотчетность космических сил.

Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец!
Всем — там — быть!
Там — быть!
Там — быть!

С другой стороны причала под эстакадой спали плакучие тропические деревья, опустившие ветви до воды.

Они жили посреди современного порта, между автокаров, погрузчиков, электромоторов, но привыкли не замечать новых ритмов. Тамтамы навевали деревьям веселые, дождливые, мокрые сны.

А ведь и мне предстоит начать все с начала, подумал я.

От этой мысли стало страшно. Громадность работы впереди ужаснула. Громадность работы впереди была ужаснее самого ужасного лика бога, какой только мог присниться Ионе.

Чтобы сделать что-то серьезное, мне надо начать все с самого начала, подумал я. Надо опять прожить детство, отрочество, юность, возмужалость. А настоящая, сегодняшняя моя жизнь — что же, она будет стоять на месте? Даже если я не побегу от лика ужасной работы, если я решусь на нее, то кто будет платить мне? Кто будет платить за то, что я зачеркну все сделанное мною в жизни? Кто гарантирует, что, раз остановившись, я смогу когда-нибудь сделать еще хотя бы шаг?

Наша юность начиналась на площадях.

Два раза училище участвовало в общевойсковых парадах на Красной площади. И раз пятнадцать на Дворцовой.

Ба!
Па!
Бан!

Идешь, пронизанный ритмом, накрываешь барабанную дробь тяжелым шагом, рука под винтовкой онемела, синкопы медных труб крутятся в черепе электронными орбитами, ленты бескозырки стреляют в ухо, брови клещами сжали лоб, подбородок форштевнем рассекает воздух, правая рука вперед до бляхи, назад до отказа; двенадцать стальных подков на подметках кресалом ранят гранитную брусчатку, белые жала штыков распарывают воздух, крутится и качается цветная пирамида трибун, — все ближе, ближе — скорей бы! скорей бы! Тысяча труб извергает «Варяга»: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»! Пошады никто не желает!»

Сводный морской батальон — четыреста штыков — не попросит пощады у самого сатаны. Мороз дерет по коже. Только бы не слетела бескозырка — хватать кончик ленты зубами! Только бы не поскользнулись дурацкие подковы!

Тяни, браток, носок! Падай вперед на всю подошву! Истери-ческий шепот: «Петька, куда вылез!.. Витька, винтовку завалил!..»

Фуражка главнокомандующего на Мавзолею. Камнепад с небес — тяжелые бомбардировщики проходят над Красной площадью одновременно с морским батальоном. Исчез в грохоте «Варяг». Где ритм? Где барабан? Козырек главной фуражки зенитным орудием следит головной самолет.

Восемьсот ног, восемьсот рук, восемьсот глаз — четырехугольная туша бронезавра катится по каменной пустыне площади, готовая и к смерти, и к бессмертной славе.

Прощайте, товарищи! С богом, ура!

Кипящее море над нами!

Не думали, братцы, мы с вами вчера,

Что нынче уснем под волнами!..

И — тишина.

И — спад.

Ритм начинает выходить из клеток, как газ из лимонада.

В ушах булькает, лицо размякло, голова опустилась, подбородок уткнулся в ворот шинели, штыки дрожат и колыбаются.

Шире шаг! Танки на площади! Шире шаг!

Батальон вливается в проезд между Василием Блаженным и стеной Кремля. Танки идут в затылок на полном газу. С ними не пошутить. Уже не «шире шаг!» — обыкновенной рысью сводный морской батальон выносится на набережную Москвы-реки...

...Я слушал тамтамы в порту Дакара. В какой-нибудь сотне километров жили еще совсем дикие племена, которые испытывают своих юношей адской болью на экзаменах мужества. И юноши поют при этом и улыбаются: значит, они стали взрослыми людьми — ведь никакой лев и тигр не способны терпеть боль с ухмылкой. На это способен только феномен природы — человек.

Праздничные танцоры здесь приходят в исступление и могут изрубить на куски зрителей. Сирена джипа в джунглях для белого звучит сладостным сигналом спасения и цивилизации. Здесь целые племена не имеют часов, и гул рейсового самолета над саванной служит им кремлевскими курантами и Биг-Беном. Здесь нищий, случайно разбогатев, может заставить родного брата вылизать свои ботинки. Здесь солнце сжигает поля арахиса,

и тогда миллионы людей голодают, как голодали их далекие предки, жуют гусениц и траву, умирают в канавах, и гиены разгрызают хрупкие безвитаминовые кости. Гиены и вороны здесь питаются энциклопедиями, ибо, когда в Африке умирает старик, с ним исчезает целая библиотека. Накопленная мудрость здесь веками передавалась только через звуки. Потому звук необходим любому ритуалу и стал фетишем.

Тамтам — дитя фетиша. Тамтам будит в человеке прошлое.

Это я узнал на своей шкуре.

Мелькнувшая мысль, а может, и приказ: «Надо снова пережить детство, юность, возмужалость. Надо начать все с азбуки, с барабана на площадях моего сознания» — были не только измышлены, но прочувствованы.

Утром послали на теплоход «Литва» за 10 кг манной, 20 кг гречи и 30 кг пшена. Вернее, сам вызвался.

Я люблю болтаться на шлюпках и вельботах. Люблю воду близко. Люблю, когда она бесится и вертится между бортом шлюпки и судном. Даже на мнимое утеснение вода отвечает хуками, апперкотами, свингами и ударами под дых. Своенравное существо вода. Однако если ее совсем не утеснять, а просто скользить по волнам, чесать их спины винтом или веслом, она только мурлыкает.

Хорошо со шлюпки ощущать, какой ты крошка, пигмененок среди природы и навечного поверх природы человеческого мира — причалов, элеваторов, океанских судов.

Много наворотили пигменята. И красивого много сделали. Пройди под форштевнем современного судна с бульбой, посмотри на развал бортов снизу, увидишь на фоне небес ноктюрн или даже фугу.

Акватория порта Дакар огромна. «Литва» стояла в самом далеком закоулке. Мы за гречкой бежали на вельботе полчаса.

Греки гречку придумали, к нам в Крым завезли, сами ее есть давно перестали, а мы жуем и жуем. Слава древним грекам!

«Литва» — пассажир, там бар есть, там на валюту рассчитывал пивка выпить, пока завпрод будет с крупой делишки обделывать.

Подошли к «Литве» — все на ней белым-бело от форменок и кителей. А с другой стороны пирса стоит ста-

говорящий: «Я знаю, что ты, сукин сын, тут! Отворяй, а то хуже будет!»

Следовало предположить, что это вернулась по неожиданной причине от дочки хозяйка и звонит, так как потеряла или забыла ключ. И я не стал ожидать третьего звонка. Выбрался в коридор, искал выключатель, но не нашел его, оставил дверь в комнату открытой и в полусвете подкрался к французскому замку парадной.

Если я принимаю решение открыть на ночной трезвон, то уже не спрашиваю: «Кто там?» Дело в том, что запах дверей без всяких «Кто там?», запах широкий, стремительный и молчаливый, неплохо ошарашивает ночного звонаря, даже если он представитель самой суровой власти, и эффект внезапности на доли секунды переходит к вам.

Распах не получилось — старая дверь способна была только ковылять по куцей орбите, цепляясь за неровности лестничной площадки.

Нарушителем спокойствия была пожилая высокая дама в шикарном шубе из норки и с цыганской шалью на плечах. Она спросила Оксану Михайловну, назвав ее по фамилии.

Я спертым голосом объяснил, что хозяйка у дочери, я здесь чужой, телефон там есть, здесь телефона нет, но я готов служить, если в том есть необходимость.

— Вы сегодня здорово пьяны! Клянусь богом, это так! — сказала дама с той непосредственностью, с какой говорят на алкогольные темы только за границей, где подобное высказывание не является чем-то оскорбительным, а просто фиксирует факт и придает этой фиксации даже оттенок некоторой лукаво-грубоватой зависти.

— Я из тех, кто не опасен в любом виде, — сказал я.

— Если разрешите, я зайду и подумаю, что мне делать. Вы еще не спали — вы одеты. У меня всего три часа. Я пролетом, знаете, как все теперь: «Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс...»

Она вошла в полумрак коммунального коридора с той уверенностью, с какой великосветские дамы прошлого века входили в театральную ложу, забронированную еще их дедами. И скинула шубку мне на руки. Шубка была сухая.

— Послушайте, — сказал я. — На улице метель. Как вы умудрились выйти сухой из воды?

— Меня ждет посольский автомобиль, — сказала она.

Тут я вспомнил, что на столе лежит смертная маска

Аввакума и это может шокировать даму, разъезжающую по ночной Москве в посольской машине.

— Айн момент, — сказал я на иностранном языке, прошмыгнув в комнату, схватил маску и сунул ее под диван.

— Достаньте обратно! — раздался приказ, и я даже почувствовал себя героем шпионского фильма и чуть было не поднял лапки, ожидая увидеть кружок пистолетного дула возле лба.

— У этой штуки жуткое выражение, — сказал я. — Вы не боитесь?

— Положите, пожалуйста, маску на стол, — сомнамбулически прошептала дама. — Я приехала как раз для того, чтобы увидеть его. Я не буду вас долго задерживать... Ну вот, Андрюша... видишь... я здесь. — Она села на диван с ногами, в уголок, уютно. Она смотрела на маску издали взглядом скорбным, но спокойным, как смотрят честные вдовы великих людей на гранитные монументы супругов. — Ну вот, Андрюша... я здесь, любовь моя...

У меня почему-то напряжились все мышцы, как у мужчин-пиджонов-петухов на пляже. И в таком напряженном виде я отправился искать кухню, чтобы дать даме побыть одной и попробовать сделать чай. Я рад был странности всего происходящего и не жалел разбитой ночи. Только мне все казалось, что дама крадется по пятам за мной во тьме коридора. И что она окажется рядом, когда я включу свет. И когда я нашел кухню, выключатель и зажег свет, то сразу резко оглянулся. Никого, конечно, не было. Только три газовые плиты, умывальник и древний холодильник.

Я взял первый попавшийся чайник, наполнил его из медного краника, причем струя рвалась из краника злобствующей, брызгающей шавкой, поставил чайник на газ и, возвращаясь в комнату, нашел выключатели в коридоре и передней. Мне хотелось больше света. Как Гёте перед смертью.

— Меня зовут Наталья Ильинична. Я русская, родилась в России, в Петербурге, но мало жила здесь, — сказала дама, когда я тихо вернулся.

Ей можно было дать и пятьдесят, и семьдесят. Ухоженность и спортивность у волевых состоятельных женщин в век НТР долго сохраняют им статус-кво. Такие ухоженные состоятельные женщины превращаются в развалин и старух моментально — от толчка болезни или удара судьбы. Уверен, что именно такие длительно не-

старые выдумали брючный костюм. Еще они отлично сохраняют и используют голосовую завлекательность. Ту самую, состоящую из грудных гармоник, которую все женщины любят слушать в себе с девочкиных времен. На эти гармоники покупается наш брат при знакомствах по телефону. Я лично терпеть их не могу. Мужчина, расхаживающий по пляжу с напружиненными бицепсами, так же смешон и неприятен мне, как и женщина, которая говорит завлекательным голосом «ой!», когда ей на самом деле не страшно.

— Меня зовут Виктором, — сказал я и понес с пьяной непосредственностью: — Женское в женщине, Наталья Ильинична, самое сложное для естественного выражения, хотя такое мое заявление и можно счесть парадоксом. Меня ничуть не шокирует женщина, повесившая серьгу в нос, если ей действительно доставляет радость ходить с такой серьгой. Однажды я застал у племянницы подругу, девушку лет шестнадцати. Они вместе готовились к экзамену по литературе на аттестат зрелости, повторяли типические черты «Матери» Горького. И подруга племянницы все прятала под стул ноги. Но я разглядел, что у нее на щиколотках намотаны розовые бусы. Девочки изучали скорбную жизнь Ниловны и любовались на себя в большое шкафовое зеркало. И это прелестно было. Мне тогда показалось, что я попал на ласковые острова Таити...

— У вас есть выпить, Виктор? И я не очень вам мешаю?

— Нет-нет, не мешаете. А мне болтать или молчать? Как прикажете? Я вижу, что...

— Да-да, болтайте. Вы правильно угадали. Здесь не будет мелодрамы, голубчик. Я танатолог. И он, Андрей Дмитриевич, тоже был танатологом.

— А что это такое?

— Танатология — наука о смерти. Налейте мне «Цинандалы».

— Это не вино.

— А простая водка у вас есть?

— Сейчас будет, — сказал я. — Хоть вы и русская, но иностранка. А попадая в Россию, иностранцы с удовольствием лакают любую дрянь, если назовешь ее водкой. В Сплите боцман одесского танкера «Маршал Бирюзов» покупал в аптеке обыкновенный югославский спирт. Он стоит там пять копеек в базарный день. И продается без рецепта. Будете спирт с водой?

— Да-да, голубчик. И вы позволите, я здесь похозяйничую? — спросила Наталья Ильинична, поднимаясь с дивана. — Сделаем стилл лайф... Андрея Дмитриевича в центр... вот так... Сюда ступу с карандашами, здесь па-рочку книг... Чего не хватает? Пепельницы с дымящейся сигаретой? — Приговаривая все это, она действительно составила на столе натюрморт с маской в центре. Затем достала из сумочки очки, надела их и низко склонилась над маской, осторожно и ласково поглаживая гипсовый лоб длинными пальцами, будто пытаясь раздвинуть разъяренно сжатые брови старца. — Я прихворнула, а он был уже известный врач... Это было девятнадцатого апреля тринадцатого года. Мезозойская эра, да? Он начал меня целовать. Он был очень сильный. Играл под Базарова. Попович. Спротивляться я не могла, потому что руки мои он держал за спиной у меня, а чересчур вертеться я не могла из-за головной боли. Я попросила его отпустить меня. Но он принялся меня выслушивать, взяв на себя серьезный вид врача. Хотя я к этому врачу не имела уже ни капли доверия, все же решилась дать себя послушать...

У меня на языке завертелась фраза известного анекдота, нечто вроде «приятно вспомнить», но я, слава богу, удержался. Слава богу потому, что, хотя дама была далека от мелодрамы, от анекдотов она была все-таки еще дальше. Она пришла попрощаться с человеком, которого любила и с которым всю жизнь провела во вражде, — шекспировская ситуация. Она всю жизнь стремилась облегчить человечеству страх перед смертью. Он всю жизнь считал ее работу величайшим преступлением перед нравственностью, ибо почитал смерть единственной силой, питающей человеческую совесть. Он, как я понял, считал, что, чем больше нашпиговать современного человека страхом перед смертью, тем больше шансов у человечества не превратиться в скотов. Оба начинали в Париже в институте Пастера у Мечникова с выяснением роли простокваши в долголетии и с веры в то, что сознание неизбежности смерти, которое так часто делает людей несчастными, сеет пессимизм, приводит к самоубийству и воздержанию от размножения, есть зло поправимое. Стоит только победить болезни, заставить людей следовать правилам научной гигиены, и все будет достигать такой глубокой старости, при которой инстинкт жизни сменится инстинктом смерти и само прекращение физиологических функций будет сопровождаться приятными

ренькая подводная лодка. Подлодка приспособлена для гидрографических целей.

Когда я носил военно-морские погоны, нам и не снилась Африка и даже в бреду не слышался рокот тамтамов...

У вахтенного офицера, которого вызвали к трапу по знакомой и близкой до слез цепочке: вахтенный у трапа на пирсе — вахтенный на верхней площадке трапа — вахтенный рассыльный — помощник вахтенного офицера — сам вахтенный офицер, — я спросил:

— Уважаемый коллега, нет ли у вас на борту офицеров — выпускников пятьдесят второго года Первого Балтийского высшего военно-морского училища?

Каптри сделал физиономию, о которую разбился бы в пух и перья бронебойный снаряд, и процедил:

— Зачем вы сюда явились и почему интересуетесь такими вопросами?

— За гречкой, — сказал я. — За греческой гречкой. Двадцать килограммов. Попутно надеюсь встретить одноклассника по пшеницу и по манной. Хотя, кажется, в мои времена манной военным морякам не было положено.

Каптри было лет тридцать. Он взглянул на меня с подозрением и снисходительным сожалением.

Под солидным эскортом я и завпрод были доставлены в каюту директора ресторана «Литвы».

Директор оказался моим читателем. Он, как и вахтенный офицер, но по другому поводу, проявил недоверие. Никак не укладывалось в его мозгу, что автор «Соленого льда» сидит в его каюте с накладными на гречку. Подозревая однофамильца, он пытал меня вопросами о каком-то приятеле, редакторе издательства в Москве. Я про этого редактора не слышал. Наконец директор сел писать акты на безналичную передачу манной и гречи. Попутно поведал историю своей жизни. Она начиналась в Нахимовском училище под бой барабана, но привела в пищеблок, где он с утра до вечера вынужден слушать стук ножей и скрип мясорубок.

Рассчитывая использовать почтение читателя к писателю, я попросил у бывшего нахимовца копировальной бумаги. Он стал дрожать от патологической жадности. И предложил не пачку, а всего несколько листков. Пришлось послать своего читателя к его маме и идти к третьему штурману. Тот копиру дал, но в обмен на три карты побережья Бразилии, которые забыл выписать в Ленинграде, а «Литва» собиралась в Рио.

Без пива и в усталом состоянии я уже шел к трапу, когда встретил Марию Ефимовну Норкину. Как родную тетю увидел! Мы с ней плавали вместе, и я о ней чуть очерк не написал, когда копался в материалах о морских десантах в Стрельне, и мы с Петей Ниточкиным ее из-под пятнадцатисуточного ареста в Одессе высвобождали, и она у Пети в домработницах жила, когда ее из горничных в морской гостинице уволили по собственному желанию после драки с администраторшей.

— Господи! Ефимовна! — сказал я.

— Черт возьми! Викторыч! — сказала Мария Ефимовна. И мы рухнули в объятия друг другу. А фоном нашей встречи была Африка. И сенегальские пальмы торчали из мазутной портовой земли. И на пирсе грелись под африканским солнцем негритянские идолы — таинственные, кривоногие, большеухие, длиннорукие, толстобрюхие; и сидели торговцы, ожидая, когда северяне раскошелятся на их сувениры. С таким же успехом они могли ждать здесь полярной пурги или белого медведя.

Последнее соображение высказала Мария Ефимовна. Она велела мне отпустить вельбот и обещала проводить домой по сенегальскому сухопутью. Разве будешь спорить с женщиной, награжденной медалью «За отвагу»?

Я отправил вельбот под командой завпрода и подождал Ефимовну на причале. Ей надо было переодеться.

Старик негр в лохматой шапке-ушанке пытался соблазнить меня чучелом рыбы-шара. Он отдавал товар за флакон одеколона «Шипр». Другие одеколоны, включая тройной, старик отвергал. Из чего ясно становилось, что парфюмерия нужна ему для перепродажи.

Шапка-ушанка на негре меня не удивляла. Я уже знал, что в Дакаре меняются экипажи наших рыбаков. Сюда они летят самолетами в ушанках. Здесь меняют ушанки на идолов. И с идолами уходят в море. Может быть, все происходит в обратном порядке.

С Марией Ефимовной мы познакомились на Диксоне.

Вскоре после войны и демобилизации я начал работать в одной экспедиции по перегону рыболовных судов на Дальний Восток. Гоняли эти суда и севером и югом. Югом визированные гоняли, а севером — те, которым «мешок завязали», то есть лишили заграничной визы. Моряки, у которых виза, жарились в тропиках. А у кого нет — плавали Великим Северным морским путем.

Вот принимали мы однажды новые сейнеры на судо-

строительном заводике в Петрозаводске и готовили их к арктическому рейсу.

В те времена на северном перегоне неразбериха была страшная. Дизельное топливо, которое переправляло для нас министерство, захватила себе Карело-Финская Республика и отдала своему сельскому хозяйству: их тракторам пахать было не на чем; теплое обмундирование доставали чуть ли не в Одессе. Словом, то одно, то другое, то третье...

Голова кругом идет, и очень ругаться хочется. А тут еще кока у нас нет, и приходится водить команду несколько раз в день на берег, в столовую.

Этим всем и воспользовался старший помощник, чтобы уговорить меня взять в рейс коком того беспалого Ваську.

— Кок, сами знаете, сегодня вещь дефицитная, — сказал мне старпом. — Кока надо брать за жабру и тащить на пароход. А вы отказываетесь. Нельзя таким разборчивым быть, товарищ капитан. Всякий дефицит всегда за жабру хватать надо.

Старпом у меня был хороший. Молодой, правда, и не очень грамотный, но умение хватать вовремя развито в нем было чрезвычайно. Помню, когда мы уже пришли в Беломорск, чиф однажды ночью три автомобильных покрышки где-то стащил. Из таких покрышек самые хорошие кранцы получаются, а кранцев на судне у нас не доставало.

Заботливый был старпом. Тут ничего не скажешь. Ему за эту заботливость и «мешок завязали» накрепко. Да еще грубоват был, на глотку очень сильный. Матросы между собой звали старпома горлопаном.

Вот он мне и сказал, что этого Ваську надо брать за жабру, пока другие этого не сделали. Я объясняю Василию Михайловичу, что кок больно молодой и никогда не плавал в море. К тому же уголовник — год в тюрьме просидел. Совпадение у него еще такое нехорошее: на руке нет двух пальцев, а фамилия Беспалов.

Старпом ударил себя кулаком в грудь и говорит:

— То, что Беспалов, — это ничего. Его Васей зовут. Тезка он мой. А это что-нибудь да значит. Мальчишка? Да. Против факта не попрешь. Но уже в три геологические экспедиции поваром съездил. Желание работать ну прямо-таки крупными буквами у него на морде написано. Боевой в общем парень. А в тюрьму по неопытности попал в молодости. В цирке был как-то. В первом ряду си-

дел. А на манеже — тигры. У одного хвост из клетки высунулся и вот по опилкам извивается. Вася за хвост ухватил, на руку его намотал и ждет: что дальше будет? Тигр сперва удивился. Потом стал на свою укротительницу зубами щелкать. А Вася все держит. Скандал получился. Васю за хулиганство и уpekли на годик. Интересный он парень. И характер в нем есть, как видите...

Ну что тут скажешь? Действительно, симпатичный вроде парень.

Вызвал я его к себе в каюту для обстоятельного разговора.

Входит парнишка в замызганной спецовке, смущается, переступает рваными ботинками и старается не смотреть мне в глаза.

— Сколько у тебя, морской бродяга, классов? И какова твоя специальная подготовка?

— Да я еще не морской бродяга. Хочу только. А классов чуть меньше пяти.

— Что ж так мало?

— Не удалось у меня с учебой, — говорит. И впервые мне в глаза посмотрел. Открытый взгляд, чистый. — Батьку, — говорит, — немцы убили. Матка состарилась чего-то рано очень. И все болеет, болеет. Хворь из нее вовсе не уходит лет уже пять, как война случилась. Сестренка зато у меня уже в седьмой класс ходит. А я вот подрабатываю. Давно уже подрабатываю.

Ну, я, как это начальству в таких случаях и положено, говорю, что учение — свет, а неученье — тьма, и надо всем учиться.

Он сразу согласился, что это правильно, и стал просить:

— Я учиться когда-нибудь буду. А пока вы меня на работу примите. Как вернусь с вашего плавания, может, сразу куда-нибудь и учиться пойду — на курсы какие-нибудь. Возьмите меня. Возьмите в море.

— Ну, а пальцы свои где оставил? — спрашиваю.

Он вздохнул, потеревил вихры, потом махнул рукой: мол, была, не была.

— Проиграл, — говорит, — в карты.

— Так-так. Это уже в лагерях, что ли?

— Там. Из-за фамилии. Чтобы в соответствии привести. Заставили урки.

— Зачем же ты, Вася, тигра за хвост трогал? Нехорошо ведь это. Аморально как-то.

— Трудно мне вам рассказать, — говорит Вася. — Не умею я хорошо рассказывать.

— Нет, — требую, сядь вот сюда на диванчик и объясни. Мне очень интересно знать.

Вася сел, расстегнул воротник. Я дал ему папироску.

— Скучно мне тогда было как-то так, знаете. Скучно, товарищ капитан. Вот и все.

— Как так: все?

— Ну, вернешься из экспедиции домой. А там все скучно так, кисло как-то. Матка болеет. Ругает, что денег мало присылал, что непутевый я у нее народился. Верка все клянчит чего-нибудь. Ребята-друзжки поразъехались или учатся. Отстал я от них, отвык. А учиться... ну не лезет ничего в башку, товарищ капитан. И получается, будто кто окошко в комнате заколотил. Вот и я... Получилось как-то так...

— Все понятно, — говорю я. — А теперь отвечай мне честно. Значит, как вышел ты из тюрьмы, тебя на прежнюю работу не взяли? Вот ты на северный перегон и подался. Здесь, мол, всех берут, люди нужны. Так?

— Так, товарищ капитан. Они — геологи мои — алмаз ищут. Секретное это дело. И не берут меня. Морально я разложился, — так мне объяснили. А я хочу путешествовать. Я с детства хочу путешествовать.

— Готовить-то умеешь?

— Умею я, товарищ капитан. Очень даже хорошо готовлю, — сказал Вася быстро и убедительно. — И щи, и кашу, и лепешки.

Вечером я стоял на палубе, глядел на онежские сумерки и думал о том, что до отхода остается двое суток. Впереди длинные переходы, трудное плавание во льдах, а дух у меня уже не тот, чтобы всему этому ~~радоваться~~ радиться. Я и не заметил, как рядом очутился наш новый кок. Он стоял в той же позе, что и я — нога на кнехте, локти на леере, — и тоже смотрел, как сгущаются над водой сумерки. Не люблю я смотреть на такие вещи с кем-нибудь вместе.

— Товарищ капитан, у меня труба дымит, — сказал мой новый кок и сплюнул за борт.

— Ну, — сказал я, — и что?

— Дымит у меня труба, товарищ капитан.

— Наверное, надо прочистить.

— А и верно! — почему-то обрадовался кок и поддержал свои новые синие штаны. Старпом уже выдал ему робу.

Я ушел на берег и вернулся поздно. Там от города до судостроительного завода километров пять. Автобус не

ходил: весенняя грязь по колено. Пришлось пешком. Ботинки после этого похода можно было в местный краеведческий музей ставить.

Пробираюсь я от трапа к себе в каюту мимо камбуза, слышу — там железо звякает. Вот, думаю, прав старпом: молодой кок, но старательный. Трубу чистит даже ночью.

Ранним утром кто-то стал дергать меня за ногу. Открыл глаза и вижу, что это наш судовой механик.

— Что вы, — говорю, — спятили, что ли, механик?

— Полундра, — отвечает. — Разобрал ваш угольник весь пароход на части. И клотик с мачты отвинтил уже, и киль теперь начинает из шпангоутов выбивать.

— Вы, Роман Иванович, в своем уме?

— В своем. В своем собственном. — И смотрит на меня, как тюлень на белого медведя: с тоской и злобой. Надо сказать, Роман Иванович был очень недоволен своей судьбой. Он думал, что по солидным годам, по солидному опыту его на какой-нибудь большой пароход назначат, а его засунули ко мне на сейнеришко. Вот он и злился на все и раздувал все неполадки. Как говорят — нездорово их преувеличивал. Ну, думаю, и сейчас преувеличивает. Не мог мальчишка за одну ночь весь сейнер разобрать на части. Невозможно это.

— Разобрал ваш новый кок пароход на части, на мелкие кусочки, — повторяет механик со злорадством. — Из водопроводной трубы на камбузе теперь бьет артезианский фонтан!

— Воткните, — говорю, — в артезианский фонтан пробку и не мешайте мне отдыхать. Ваше это дело — забивать пробки, а не мое.

— Конечно! Ваше-то только их выковыривать.

— Это уже намек какой-то нехороший. Идите, забейте пробку, а днем мы еще побеседуем. Сами вы подписывали приемочный акт, сами принимали такой пароход, который за два часа мальчишка может на части разобрать.

Тут механик еще посердился немного и ушел. А я прислушался — и, действительно, вдруг слышу: шумит где-то вода, сильно так шумит.

Еще потонем прямо здесь, у причала, думаю. Обидно как-то: прямо у причала потонуть в грязной воде.

Быстренько встал, оделся, прихожу на камбуз. А там дымовые и всякие другие трубы на полу лежат. Только одна плита и цела. На плите кок сидит. Увидел меня и облизывается от возбуждения.

— А вы, — говорит, — товарищ капитан, неправы были. Вовсе даже и не надо было трубу чистить. Я теперь, как разобрал все, то и понял. Это просто наверху крышка есть в трубе. Чтобы дождь и снег не попадал. Так она, эта крышка, наполовину прикрыта была. Вот и дым.

— Какого же лешего ты другие трубы трогал? — спрашиваю я у кока.

— Раньше-то, в поле, все проще было, — оправдывается он. — Там костерчик разведешь — и все тут. А здесь устройство. Я его изучал на практике.

В это время появился старпом.

— Войдите, — просит, — в коковое положение, не сердитесь на него. Я знаю, что вам давеча механик наговорил про Ваську. А я вам скажу, что выхлопные газы из главного дизеля вместо атмосферы почему-то на камбуз попадают, так это механику ничего...

И пошел-поехал на Романа Ивановича говорить всякие штуки. Не любили они друг друга почему-то.

В общем, пришлось до самого выхода в море камбуз ремонтировать и команду кормить по-прежнему на берегу в столовой.

А Васька, чтобы показать, как он старается, все сложные обменные комбинации с продуктами устраивал. Мы последние дни ходили от причала к причалу: то воду брали, то топливо, то балласт. И приходилось стоять рядом с разными судами. Вот Вася это и использовал. Еще швартовы не закрепили, а уже слышно:

— Эгей, дядя! Ползи сюда поближе! — кричал наш кок соседнему коку. — Ползи, ползи сюда. Успеешь миски помыть.

— Чего ты гавкаешь, щенок? — отзывался какой-нибудь поседевший над кастрюлями повар. — Чего ты, щенок, гавкаешь?

— Дядя, ты, случаем, раньше в ресторане не работал?

— Да, а что? — спрашивал повар и, вытирая руки, спешил к борту. Ибо каждый корабельный кок работал когда-нибудь в первоклассном ресторане и любит вспомнить об этом.

— А в каком ресторане, дядя?

— В «Приморском» во Владивостоке.

— Ух ты! В «Приморском»! Это хорошо. А томатный соус у тебя есть?

— Есть, а что?

— Давай на томатный сок менять?

Кругом собирались матросы. Они у меня были совсем

молодые — курсанты из средней мореходки, практиканты. Приходил и старпом. Внимательно (как бы не продешевил чего кок) слушал, потирая небритые щеки. Василий Михайлович твердо верил, что небритые мужчины нравятся девушкам больше. Правда, в море, где девушек нет совсем, он еще реже беспокоил себя бритвой.

В перебранке и торговле проходил час. Потом Вася тащил к себе на камбуз бутылку томатного соуса и от радости напевал что-нибудь.

Занятный он был парень, Васька. И пел задушевно. Особенно удачно у него получалось: «Я цыганский барон! У меня много жен...» Но что бы Вася ни пел, песня ему в работе не помогала. То клейстер из фигурных макарон у нас на обед, то тюрю из сушеной картошки.

Он очень старался приготовить что-нибудь поприличнее, наш новый кок, часто показывал всем свое свидетельство об окончании поварской школы в Ленинграде. Мне даже стало казаться, будто он не кончал ее. Плохо еще было, что Вася не имел привычки к морю, и когда у Святого Носа прихватило нас хорошим штормом, так даже клейстер из фигурных макарон он не смог приготовить. То у него все сгорит, то перевернется, то плиту чаем зальет, и угли уже не раздуть.

Двое суток мы только консервы и сухой хлеб ели. Сам же Вася вообще ничего не мог взять в рот. Тяжело он переносил море — едва ноги передвигал. Но моряк мог бы из него получиться. Душевные данные для этого были у Васи: в койку он не лез — прятаться под одеяло от своей слабости не хотел. Чуть живой ползет по трапу в кубрик к матросам.

— Ребята, — хрипит, — а что я вспомнил сейчас! Очень даже веселая история. Посмеетесь, может быть.

В кубрике выбрасывает от качки ящики из рундуков и мигает свет. А Вася уцепится за поручни на трапе и рассказывает слабым голосом:

— Вот был у нас в экспедиции один парень. Двухлетнего оленя сшибал с ног. Зайдет с бока, как фуганет олешу плевком в морду! Тот — брык — и с копыт долой. И не шевелится больше. Это, значит, нервный шок называется. Здорово, ребята? Или вот еще случай...

Ну, ребята и заулыбаются. Будто не было бессонных ночей, промокших сапог и сырых простынь на койках. А пока Васька про оленя рассказывает, у него в кастрюльках только пепел остается.

Но ребята не злились на него за плохой харч. Полю-

били его ребята. Не знаю за что, а полюбили. И прощали многое — и сухомятку и тюрю из сушеной картошки.

Да, так вот. Поддаваться морю Вася не хотел. Боролся со слабостью. Дым из камбузной трубы задувало ко мне на мостик и в самую непогоду. Но одного дыма-то мало. Дымом не пообедаешь. Механик делал мне по десять сцен на дню.

— Что ваш кок коптит? Только пачкает небо этот угольник. А я есть хочу! Я в том уже возрасте, когда надо питаться регулярно. Мне по договору нормальная пища положена, а где она? Где пища, я вас спрашиваю?

— Вы же видите, — растолковываю ему, — кок прилагает усилия. А это и есть главное. Кок даже по ночам не выходит из камбуза.

Вася действительно по ночам в камбузе сидел. Это однажды сослужило нам хорошую службу.

Я еще на стоянке механику говорил, что надо грузовую стрелу смайнуть до самого трюма и закрепить в лежащем положении намертво. А Роман Иванович уперся и говорит: «Нет!» Показывает мне заводской чертеж, на котором походное положение стрелы указано под сорок пять градусов к мачте.

— Если заводские инженеры так решили, значит, точно, — говорил мне механик: он авторитетам очень сильно верил.

Ну вот, когда у Святого Носа прихватил нас норд-ост, то оттяжки у стрелы не выдержали и лопнули. Тяжелый стальной блок стал с борта на борт по воздуху летать, и вся стрела тоже. Вася той ночью сидел у себя в камбузе и все пытался сварить что-нибудь. Вдруг по стенке камбуза как ахнет этот блок. От удара краска и пробковая изоляция посыпались Васе за шиворот. Васек чувствует: случилось что-то неладное. Выбрался из камбуза. Ночь мокрым ветром насквозь полна. Пена через низкий фальш-борт хлещет. Волна с полубака накатом идет по палубе. Тучи над головой летят так быстро, будто ими из пушки выстрелили. Свист и грохот вокруг. В такую кутерьму и бывалый матрос не сразу поймет, в чем дело. Но Вася понял. Подскочил к машинному люку — он ближе всего от камбуза расположен, — крикнул механику, что стрелу сорвало, а сам полез к мачте. Как его блок не угробил — это только Вася да тот блок знают.

Механик потом рассказывал, что, когда он вылез из машинного отделения, Вася уже по стреле карабкался.

А стрела с борта на борт переключивалась, и от креплений оттяжечных осталось одно только воспоминание.

— Щенок беспалый! — заорал Роман Иванович. — С ума ты съехал, что ли? Сейчас за борт улетишь, стерва!

А Вася и ответить механику на грубые слова ничего не мог — так Васе на стреле трудно держаться было. Добрался он до конца стрелы, съехал по тросу на блок, обхватил его. Тут и я вышел на палубу. Вижу, летает по воздуху наш новый кок и время от времени кричит что-то совсем вроде нецензурное. А механик все хочет Васю за ногу ухватить, но никак это у него не получается.

— Вот видите, — кричу я механику, — неправы вы, Роман Иванович. Нужно было опускать стрелу до самого низа, а потом уже крепить. Я вам сколько раз говорил об этом! А вы все заводским авторитетам поклоняетесь...

Потом мы поймали кока за ноги, на блок набросили петлю и стрелу закрепили.

Механик после этого случая еще больше настроился против Васи. Будто это кок был виноват в том, что оттяжки у стрелы не выдержали и Роман Иванович оказался неправ.

Вскоре кончился у нас запас печеного хлеба, который мы взяли в Беломорске, и надо было Васе печь новый хлеб. Но к этому делу кок отнесся как-то странно.

— Может, вместо хлебушка лучше жарить лепешки? — спрашивал он у старпома. Старпом к тому времени уже начал косо поглядывать на Васю. За продукты отвечал он, старпом. А перерасход продуктов уже большой. В непогоду кормили команду консервами. По тридцать рублей старыми деньгами в день обходилась эта пища на каждого человека, — консервы вещь дорогая. А положен арктический паек до двенадцати рублей. Естественно, что насторожился мой старпом.

— Какие, — говорит, — лепешки? Ты что, Беспалов, твердо решил оставить меня при расчете совсем без монеты? На лепешки ведь надо уйму масла и все прочее. А нам еще месяца три в морях болтаться. Пеки хлеб. И не шути больше так. Чтобы выдал завтра первую плавку, и все тут. А то вот, — и кулак показывает.

На следующий день приходит Вася ко мне на мостик. Ветер начал стихать, море успокаиваться. Но Вася стоит и весь дрожит.

— Товарищ капитан, невозможно сейчас хлебушек

печь. Поверьте мне, товарищ капитан. Я же так... так стараюсь... я все лучше хочу как.. А в духовке кирпичи повываливались от шторма этого, и горит хлебушек, как только его туда сунешь. А старпом «пеки» говорит, и все тут.

— Вася, давай честно, ты вообще-то умеешь выделывать хлеб?

Вася стоит, беспалую руку сует под мышку, греет. Лицо у него серое, мешки под глазами набухли и отливают голубиным пером.

— Умею, — говорит, — делать хлеб. — А сам смотрит куда-то в небо. И такую тоску я почувствовал в нем тогда. — Нужно, — говорит, — глины огнеупорной, чтобы вмазать кирпичи обратно.

— Ну, ладно, — отвечаю. — Придем вот скоро на остров Вайгач. Станем в бухте Варнека. Там достанем глины. Вечером к земле подойдем. Это для моряков всегда большое событие. Вот и укрась его вкусным ужином. Доставь ребятам маленькую радость. Работа-то в море, сам видишь, трудная, мокрая, грязная.

— Если б я... если б я, товарищ капитан... — Но не договорил тогда Вася, вздохнул и полез с мостика вниз.

Пришли на Вайгач. Я стал под борт к флагманскому судну, договорился насчет бани для команды, отправил людей за глиной для духовки, а коку приказал идти готовить на камбуз флагмана, чтобы не терять времени.

За ужином собралась вся моя команда. После бани все чистые, довольные. Один трудный этап пути уже остался за кормой.

Вася занял на другом судне хорошего хлеба. На следующей стоянке — в Диксоне — обещал отдать. И сам ужин у Васи получился просто великолепный. Сухую картошку он, видно, пропустил через мясорубку и напек из нее то ли котлетки, то ли пирожки. И залил все это томатным соусом. Красиво выглядит в мисках и вкусно. Сварил еще уху из трески с клецками и кисель на третье.

Шутят ребята мои, радуются. Наконец-то, мол, Васька проявил свои таланты, это ему морская встряска мозги поставила на место.

И хотя за иллюминаторами хмурое небо и дождь лупит, но у нас в кают-компании хорошо, весело. За тем ужином вдруг почувствовал я, что есть у меня на сейнере команда. Не просто люди разные — мотористы, матросы, — а команда. Сбило их, сшило, спаяло море. Радостное та-

кое чувство от этого. Даже механик размяк и рассказал веселую историю про одного своего знакомого, который якобы написал труд о родимых пятнах и их роли в жизни красивой женщины и хотел получить за этот труд звание кандидата наук.

Все смеялись. Один кок мрачный ходил. Только спрашивал у всех: «Добавить? Добавить?»

Через день выбрали якоря и двинулись дальше. Только прошли Югорский Шар — и сразу во льды попали. Полоса тяжелых льдов миль в сорок. Ледокола с нами еще не было, и мы в этих льдах мучились целые сутки. Промерз я, стоя на мостике, изнервничался.

Бьют нас льды, а Вася рад. Во льдах не качает, волны нет. Печку отремонтировали на Вайгаче, и Вася печет хлеб. И все мы, как на его возню посмотрим, так сердцем теплеем, хотя вокруг и тяжелые льды. Однако старпом время от времени подбадривает кока.

— О'кей! — кричит. — О'кей, Васек, нажаривай хлебушек!

Старпом любил беседовать по-английски.

Вышли наконец на чистую воду. Я спустился с мостика, вымылся и — обедать. В кают-компании все готово к обеду, и хлеб на деревянном подносе лежит посреди стола. Я здорово хотел есть. Ну и, не дожидаясь супа, отломил краюшку. А механик сидит против меня и смотрит очень внимательно.

От той краюшки у меня глаза полезли на лоб. Явственно я это почувствовал.

— Что, капитан, откушали хлебца? — спрашивает меня механик.

— Откушал, Роман Иванович — шепотом отвечаю я.

— И я, — говорит, — тоже. — И задышал часто-часто.

— Не раскисайте, — говорю, — товарищ старший механик. Моряк вы или нет?

Механик тыльной стороной ладони вытирает со лба пот.

— Я, — бормочет, — умру сейчас.

— Вам, — говорю, — видно, совсем уже плохо, Роман Иванович, раз вы до таких мыслей начали подниматься.

Потом он немного пришел в себя, открыл глаза, а в глазах у него лютая ненависть, и говорит:

— Убью я его. Убью Ваську.

А Васька суп несет и, на свою беду, робко так, но все же спрашивает про хлеб: как, мол, ничего?

Роман Иванович взвизгнул, схватил ложку и запустил ее в кока. Васек присел на корточки, поставил суп на пол и — шмыг в двери.

Стармеха матросы оттащили в каюту, кажется, на руках. Он и говорить ничего не мог больше — икота на него напала.

Мне не до обеда стало. Пошел к себе и лег.

Поспал немножко и проснулся, как всегда просыпаюсь — внезапно, будто лопнула в койке пружина и воткнулась в спину.

Плескало за бортом Карское море. От воды несло холодом. Я побродил по палубе. Металл кое-где уже порыжел от ржавчины. В ватервейсе у камбуза валялось несколько щепок и пустая консервная банка. Я толкнул дверь и заглянул в камбуз.

Вася сидел на полене возле плиты и смотрел на огонь. Привязанные проволочками кастрюли висели на стенках, покачивались. Пахло чадом и газами от дизеля.

— Я не умею печь хлебушек, — сказал Вася. — И ужин на Вайгаче не я готовил, а Семен Семенович с флагамена. Я готовить плохо умею. И свидетельство поварское у меня липовое. Ребята сделали.

— Так мне и казалось, — сказал я.

— Вы меня на Диксоне выгоните? — спросил Вася и стал подгрести к плите мусор.

— Если замена будет, — сказал я.

— Может, я быстренько научусь, а?

— Не знаю, — сказал я. — Это ведь не так уж просто.

— Да. Не так уж просто, — повторил Вася тихо. — Как ребята тогда котлеткам картофельным радовались... И вы радовались.

— Радовался, но не только котлеткам.

— Хорошо, когда люди радуются, — пробормотал Вася. — Или смеются.

— Это так, — сказал я.

— Может, ребята на меня не очень сердятся, а?

— Дружище Вася, нам еще долог путь. Может статься, кто-нибудь и не вернется из него. Он трудный, наш путь. Матросы не понимают этого. Они еще слишком молоды. Я понимаю за них. Людям придется много работать. Людям будет трудно там, впереди, во льдах. Их надо хорошо кормить. Надо быть поваринным асом, чтобы готовить в этих условиях вкусную пищу.

— Я понимаю, — сказал Вася и зачем-то потрогал пальцем подошву ботинка.

— Ты учись. На будущий год найди меня в Ленинграде. Я тебя в другой рейс возьму. Слышишь? Учись обязательно.

— Спасибо, спасибо. И простите меня. А коком я стану. Тут десять классов иметь не обязательно. Может, таким образом и утрясется моя судьба. Хорошо тогда за ужином было... И плавать буду, путешествовать...

На Диксоне старпом нашел другого повара — крепенькую, здоровенькую даму. В те времена двух Вась из нее можно было запросто выкроить.

— Хватка у нее есть, — сказал старпом. — Это точно. Я пробовал ее потрогать, так она меня такхватила! До сих пор ребро потрескивает. Морячина насквозь соленая. В сорок пятом «Рылеев» у Борнхольма подорвался на mine. Так она на нем буфетчицей плавала. В Швецию их шлюпку вынесло. Опытная баба. Марией Ефимовной звать.

— Мой бог, — сказал механик, когда наш новый кок перелез через борт. — Мой бог! — И перекрестился. — Знаете что, Константин Петрович, — добавил он чуточку погодя. — Знаете, сколько мне этот ваш Васька крови и желудочного сока испортил, подлец такой? Огнеупорной глиной вместо хлеба кормил. Да. Вредитель он закоренелый. Ведь и трубы он разобрал тогда, чтобы его не выгнали еще на стоянке. Да. Я вас, Константин Петрович, попрошу: штаны я ему решил подарить. Хорошие они еще совсем. Великолепные просто штаны. И китель тоже. А то костюм у него, так сказать, слабый. Ехать-то отсюда далеко. Вообще, молодой этот Васька и неустроенный какой-то. Так вы вот передайте ему, пожалуйста...

Тоскливо пасмурное небо в Арктике, будь оно неладно. Кажется, никогда больше солнце не пробьется к земле. Тучи над Диксоном, как серая, мокрая вата, льнут к самой воде, задевают скалы.

Ледокол тремя сильными гудками позвал нас за собою и медленно побрел к выходу из бухты. Черный дым из труб стлался над водой.

Из трубы нашего камбуза дым шел тоже.

Вася стоял на краю причала. Плакал. Фанерный чемоданчик он отнес подальше от воды. Холодный ветер порывами задувал с моря. Чемоданчик под напором ветра покачивался. Вася плакал и локтем закрывал лицо.

Вся моя команда топталась вдоль борта. Механик выглядывал из машинного люка, морщился.

— Отдавайте скорее швартовы, старпом, — приказал я. — Отдавайте их скорее, черт вас всех подери.

Мария Ефимовна начала работу с того, что прочитала нам лекцию. Она опиралась на знаменитого французского гастронома Брилья-Саварена, автора книги «Физиология вкуса». В лекции так и мелькали блестящие афоризмы. Например: «Мир — ничто без жизни, а все, что живет, то питается»; «Животные жрут, а человек — ест; но только культурный человек ест сознательно»; «Моя цель — не только поддержание ваших жизней, но и их продление». И т. д., и т. п.

Нам сразу стало ясно, что Мария Ефимовна происходит из интеллигентной семьи. И действительно, на Дальнем Востоке даже есть мыс, названный в честь ее деда — знаменитого адмирала-гидрографа царских времен.

Во времена гражданской войны семейство развалилось и маленькая Ефимовна выпала из него в Новоладожский женский монастырь. Оттуда ее выудили чекисты, и она попала в детскую колонию — в знаменитое Болшево.

Кровь деда привела ее к морю. Она плавала во всех возможных для женщин без образования ролях: уборщицей, буфетчицей, поварихой, камбузным рабочим, дневальной, коридорной, официанткой. Была даже барменшей.

Накануне войны Мария Ефимовна работала на буксирчике «Льдинка». Они раскантовывали большие корабли в тесных углах порта и дальше Кронштадта нос не высовывали.

В сорок первом «Льдинка» стала грозным кораблем Краснознаменного Балтийского флота.

На этой грозе линкоров Машенька Норкина установила примус и при помощи примуса кормила пятерых представителей «черной смерти», как называли наших моряков фашисты.

Капитаном был старик по фамилии Круглый. Высаживали они несчастные десанты, роты «черной смерти» выводили на дорогу к бессмертию. Переставляли буи на фарватерах и шастали по минным полям, как по паркету.

В декабре сорок первого «Льдинка», обросшая льдом, инеем, запорошенная снегом, выбиралась от Сескара в крошечной тьме и метели.

Капитан Круглый знал залив лучше, чем дважды два, и на эту тему прожужжал экипажу обмороженные уши. И здесь вывел «Льдинку» точно в родную бухточку. Ошвартовались к первому попавшемуся катеру. Беспокоить уставших коллег на катере не стали, завели сами веревки и повалились спать.

А у Машеньки керосин кончился, она полезла на катер кока искать или моториста, чтобы разжиться горячим и к утру вскипятить чай.

Машенька заметила, что люк на катере светится. Она еще подумала, что ребята нарушают светомаскировку, хотя, правда, метель мела во всю ивановскую. Короче говоря, увидела она через люк немецких военных моряков, которые, как и положено морякам, пили шнапс и играли в карты. От этого видения у Машеньки остро перехватило живот, тут она еще вся ознобилась на метельном ветру. И взмолилась про себя: «Спаси меня, богородица, и помилуй!» С беспорядочными молитвами на устах пролезла по катеру, убедилась, что ходовая рубка изнутри с кубриком не соединяется, в машинном отделении никого нет и что выйти фрицы могут только через две дыры — световой люк и палубный люк. Если обмотать заглушки люков снаружи веревкой, то из катера и черт не вылезет. С этим соображением Машенька и прибыла к мирно спящему моречману капитану Круглому.

Старик не проявил того змеиного хладнокровия, которое проявила матрос без класса. Он понял, что залезли они не в родную бухточку, а в какую-то губу, где уже базировались немцы. И острым желанием старика было бежать прямо в исподнем на мостик, отдать швартовы и попробовать незаметно убраться восвояси.

Но Машенька, пока Круглый натягивал ватные штаны, объяснила свой план: прихлопнуть люками фрицев, отдать швартовы не свои, а катера, и удирать с фрицами под бортом. Немцы по своим сразу стрелять не начнут, даже если и поднимут шухер. В этом была логика. И Круглый, подпоясав брюки и натянув ватник, утвердил план эвакуации.

Счастье оказалось с ними, как чаще всего бывает со смелыми. И капитан Круглый, который, не приволоки он трофейный катер с живыми фрицами, загремев бы в штрафбат, представил матроса без класса Норкину

к ордену Красной Звезды. Получила Машенька медаль «За отвагу», чем огорчилась навеки, хотя такая медаль на женской груди, мне кажется, выглядит даже заметнее и уважительней.

«Отвагу» свою Мария Ефимовна носила на парадной одежде постоянно — как брошку.

И на сенегальское сухопутье она сошла при медали, по дороге заметив капитану третьего ранга:

— Ты, пассажир, так пуговицы надраил, что черные очки надо покупать! — И ткнула остолбеневшего пассажира цветным зонтом в пуговицу.

Очки, людей в очках, особенно в темных, Мария Ефимовна не переносит.

На пирсе она вежливо поздоровалась с маленьким человечком.

— Доктор наш. Отличный. Женьке Федоровой в шторм втулку выпотрошил, — объяснила Ефимовна мне.

— Какую втулку, Мария Ефимовна? — спросил я.

— Ясно какую: аппендикс вырезал.

Она открыла зонтик, и мы начали прогулку вокруг акватории порта Дакар, защищенного от океанских ветров полуостровом Зеленый Мыс.

— Маленький, а удаленький, — продолжала Мария Ефимовна о докторе. — Поддубного, царство ему небесное, напоминает. Только ест некультурно. Чавкает так, что в суповой миске щи рябят. Вы куда отсюда?

— Черт знает. Кажется, порт Нуар.

— Плохо. Там, как в Занзибаре, ничего, кроме слоновой болезни, не купишь. Или чесотки. Я после Занзибара Вячеслава Ивановича Овцова — знаешь такого капитана?

— Нет.

— За неделю от чесотки вылечила. Все доктора отказались, а я — за неделю!

Мне можно было не спрашивать, каким лекарством Мария Ефимовна вылечила капитана. У каждого ныне свое хобби. У Ефимовны оно медицинского характера. Ото всех болезней она советует лечиться машинным маслом. Не думайте, что моя старинная подруга невежественная серятина или грязнуля. Нет, на чистоте она просто помешана. Потому, вероятно, по закону контрапункта, по закону противоположностей, которые сходятся, она и обнаружила целительный бальзам. И, действительно, многих, включая меня, вылечивала от различных ячменей, воспалившихся ссадин и даже радикулита.

Последнее время плавать Ефимовну не пускали и по возрасту, и по вредности языка. Работала она на отстойном судне «Клязьма».

Чем только эта «Клязьма» не была! Отопителем, плавзверинцем, общежитием строителей кондитерской фабрики, складом и даже учебным объектом пожарников, которые ее и доконали.

Пока существует судно, на судне есть экипаж. Экипажу положено казенное питание. Значит, есть и камбуз, и артельный, и буфетчица. А значит: интриги с поваром — есть, споры с артельным — есть, вечерний «козел» в каюткомпании — есть.

Без «козла» Марию Ефимовну не представишь. Играет она классно. Правда, еще и жульничает и передергивает — так веселее. Да и проигрывать терпеть не может. Победитель Марии Ефимовны рискует получить на голову большой ушат не совсем литературных слов. В былые времена молодые штурмана обходили Ефимовну по другому борту. Ее развлечением было уязвлять их морское достоинство по поводу или без него. Но все Ефимовне прощалось, потому что любила она своих соплавателей, как родных детей или братьев.

Нос у Марии Ефимовны утиный. А я заметил, что женщины с утиным носом часто одиноки, но умеют устраивать чужие судьбы по своему вкусу и вовсе даже бескорыстно. Если на бульваре вы увидите троицу женщин, идущих взявшись под ручки, то в центре обязательно окажется с утиным носом, и она будет держать пристяжных, а не они будут держаться за нее.

Мария Ефимовна гнедым коренником галопировала всю жизнь.

— Кем служите на «Литве», Ефимовна? — спросил я.

— Кастеляншей, Викторыч. Сам начальник пароходства пригласил! Иди, говорит, перед пенсией среднюю зарплату округли. Я за тебя в кадрах лично поручусь, говорит... Обожди, Викторыч, грузовики пропустим. Боюсь их после моря...

И я боюсь автомашин на городских улицах несколько дней после возвращения из рейса.

Мы пропустили грузовики со штабелями замороженных тунцов в кузовах. И вышли из порта.

Две сенегалки сидели на земле за воротами. По яркости и красочности они напоминали купчих Кустодиева. Но профессия у них была более древняя.

Пышные африканские Магдалины вызвали в сердце

Ефимовны неожиданную реакцию. Она попробовала завербовать их в Россию к моему другу Пете Ниточкину.

— Петр Иванович с ног сбился: домработницу ищет. Ему бы эту пару на свой пищеблок приспособить. Елизавета Павловна за нас с тобой, Викторыч, свечку Николаю Морскому поставила бы... — И, удивив меня, который давно Марии Ефимовне не удивлялся, заговорила с африканскими Магдалинами на афро-английском наречии:

— Н'дей йо! Мать моя Вуд ю лайк ту гоу ту Рашиа ту ворк эт ве китчен?

— Джарджефф! Джарджефф! Н'Диай! — радостно сказала та сенегалка, которая была моложе и красизею. И выпустила из неволи цветастой, переливающейся всеми красками тропиков одежды левую грудь. Коричневую, с матовым налетом утреннего винограда грудь. Бледнеющую к соску, чтобы вспыхнуть в нем бутонем гвоздики. Совершенной формы женскую грудь, рядом с которой даже атомная боеголовка или обтекатель космической ракеты покажутся зубилом питекантропа.

А то, что на свет божий была выпущена только одна грудь, а не обе, усилило мое потрясение.

На чисто русском языке я почесал затылок и, возможно, даже покраснел. А сенегалка добила меня. Она, улыбаясь улыбкой Джоконды и глядя мне в глаза, подняла руку и прижала пальчиком сосок! И миллион тонн тринитротолуола бабахнула мне между глаз, в мою душу и в моего бога.

Мария Ефимовна поволокла меня в сторону от прекрасных образов и символов простодушной Африки, бормоча:

— Поставила бы мне свечку Елизавета Павловна! Вот кадры — так это кадры! А ты жениться-то не собираешься?

— Успокойся, Ефимовна. Собираюсь. Насмотрелся на мусульманский мир и решил даже, что пророк Али прав. Если что и погубит христиан, то это их обычай брать только одну жену.

Мы шли по бульвару Гамбетты, огибая огромный ковш дакарского порта.

Солнце пекло сквозь высокие облака. Редкие деревья были серыми и жидкими. Магазинов не было. Трамваев не было, троллейбусов не было, автобусов не было, такси не было.

Пакгаузы. Мачты и трубы судов над крышами пакгаузов. Пустынность. Пыль на лопухах. И, несмотря на

жару, выпить хочется не прохладительного, а как раз горячительного.

— Н-да, — сказала Мария Ефимовна. — Покурим. У тебя какие?

— Польские гвоздики.

— Дожили! У меня «Беломор».

Потом мы похвастались друг перед другом зажигалками и обменялись ими.

— Скучной дорогой ты меня ведешь, — сказал я. — Сенегальская глубинка. Ноги гудят с непривычки.

— Подожди. Есть тут местечко. Там посидим. А вообще, мила только та сторона, где пупок резан.

Она вывела меня на маленькую площадку, совсем безлюдную, окаймленную зарослями кустарников с яркими цветами, которые не пахли. За кустарником был двухсотметровый обрыв. И — океан.

Даль океана была густой синевы, она впитала свободу трех тысяч километров межконтинентального простора.

От дали и обрывной пропасти кружилась голова.

Внизу, как на фотографиях из космоса, видны были отдельные струи прибрежных течений.

Прибой медлительно взбаламучивал песчаное дно. Изумрудно просвечивала на отмелях каменная постель океана.

По обрыву сползала к узкой полоске белого пляжа широкая городская свалка. Одинокая цепочка следов от босых человеческих ног тянулась вдоль полосы, оставшейся после отлива воды.

И ветер океана. И запах океана.

Когда ты в пространстве океана, он тоже пахнет густо и коварно. Но только на берегу океанский запах можешь понять как следует, потому что в ноздрах он борется с запахом земли и оттеняется им.

Огромность океанского пространства. Ее тоже можно понять и ощутить только с земли. И тот пошляк, который шутил: «Люблю море с берега, а флотский борщ в ресторане», недалеко ушел от величественной истины: только на стыке стихий или идей ощущаешь бездонность мировой красоты.

Мы сели с Ефимовной на самый край обрыва, на теплые камни, в тени рекламного кинощита. На щите изывал от одиночества и желтой пыли облинялый Жан Габен — Жан Вальжан.

— А Поддубный помер, Петр Степанович, — сказала Ефимовна и вздохнула. — Знал такого?

— Фамилию вроде слышал...

— Новые кладбища мне решительно не нравятся. Могилы — как огородные грядки, сплошная геометрия, — заявила Ефимовна и швырнула в Атлантику камешек. — И почва глинистая — даже бурьян на такой почве расти не будет. Про цветочки и говорить нечего. Правда, при помощи геометрии я Степаныча нашла быстро. Живой не без места, мертвый не без могилы... Мы с ним еще в тридцатые годы сюда, в Дакар, заходили. На «Клязьме».

Рассказывать о прошлом Ефимовна любит, как любит и ходить на кладбища к старым соплавателям, носить на могилки торф, ухаживать за цветочной рассадой. Смерти, мне кажется, она совсем не боится. И часто повторяет загадочную фразу: «Смерти саваном не ублажишь».

В свои новеллы Ефимовна подпускает элементы чудесного и фантастического — эти средства поэтизации, соответствующие фольклорному мировоззрению морских слушателей.

— Веселый был Петр Степаныч. Жаль, ты его не помнишь. Просил, чтобы его в зимнем пальто и валенках хоронили. Иначе, мол, друзьям-морякам и нести на кладбище будет нечего. Росту в нем было полтора метра, веса меньше трех пудов. А фамилия — Поддубный. Теперешним людям такая фамилия ничего не скажет. Забыли силача, циркового атлета. Петр Степаныч для смеху себя за его сына выдавал. Только был он, когда мы еще вместе плавали, не Петр Степаныч, а третий штурман Петька Поддубный — сорванец и трепач. Организовал на «Клязьме» художественную самодеятельность — отличные ребята подобрались, способные, веселые комсомольцы... Капиталисты в Сингапуре как-то не дали нам угля. Пришлось целый месяц угольщика дожидаться. Скучища. И вот первый концерт. Кочегар Фома Иванов — сверхгромадной комплекции мужчина. К каждой руке привязано по венику. Раздет, конечно, до кальсон. И в таком виде Фома плавно вылетает на трюмный люк, машет вениками-крыльями и вокруг корыта с водой делает круги, изображает птицу. И поет. Голосок у гиганта тоненький был, как у соловушки. Летает он вокруг корыта, машет вениками и поет: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит; ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит...» И так он грустно пел, Фома, что даже плакать захотелось. И тут вылез на палубу с ракетным пистолетом Петр Степаныч. Рожа разрисована под свирепого дикаря. Подпол-

зает к чайке, целится из пистолета. А Фома все поет и вокруг корыта летает, не видит опасности. Петька Поддубный — трах! — стреляет. Фома хватъ себя веником за сердце и падает в корыто. Убил охотник чайку! Все вокруг ногами дрыгают от смеха...

Мария Ефимовна с удовольствием закурила новую «беломорину». Кладбищенские воспоминания никак не угнетали ее. Только маленько спать хотелось хранительнице исторических преданий, составительнице родословных, ценительнице традиций прошлого свободного мореплавания. Так называю я про себя Марию Ефимовну Норкину.

— Да. А пришли во Владивосток — Петька деньги потерял, получку всего экипажа. Подумать только — с такого рейса вернулись, а он деньги потерял! Загулял по дороге с бичменом, тот и увел портфель. Засел штурманец в кают-компанию, голову в грязную тарелку положил и навзрыд рыдает. Бьет себя в грудь и кричит, что на все готов и сейчас сам за борт прыгнет, что жизни ему нет! «Ведомости тоже стибрили? — спрашиваю тогда я. — Сколько мне насчитано было?» — «На тебе ведомости, подавись своими ведомостями!» — орет он. А я возьми да и распишись в получении денег. Тут у Петра Степаныча истерика случилась. Слезы даже из ушей полились. Норовил роспись вычеркнуть химическим карандашом. Но вся художественная самодеятельность тоже расписалась, отличные были комсомольцы — не для денег и фарцовки жили, для правильной жизни жили. Увели Петьку в каюту, посадили под замок, чтоб он чего не вытворил. И к вечеру весь экипаж расписался, кроме контры-капитана. Контре ребята собрали полную сумму из своих последних заначек. И стояла «Клязьма» в порту Владивосток тихая, как овечка. Ни одного человека в милицию не забрали — монолитную морально-политическую сознательность матросики проявили. В море капитан стюарда вызвал и вернул через него деньги ребятам. Может, совесть заговорила, может, личного состава застеснялся. И долго потом — несколько лет, до самой войны — то один, то другой из моречманов с «Клязьмы» получал вдруг денежный перевод. Ребята затылки чесали — не попать было, не вспомнить, какая у них добрая тетя нашлась? А это маленький Поддубный долги отдавал. Жена, говорили, от него ушла — надоело ей с хлеба на квас перебиваться. Ясное дело — надоест... После войны он военным остался. Эсминцем целым командовал. Нет, фло-

том! — закончила Ефимовна, напустила слюны в мундштук и выщелкнула окурочек в Габена.

Я легко простил ей некоторую гиперболизацию судьбы героя и его возможностей, ибо это естественные черты всякого эпоса.

— Ефимовна, ты в кого окурочком стреляешь? Это же великий артист! Знаешь его?

— Габена? Да ты, Викторыч, очумел! Да я его живого, как тебя, видела! В Марселе на киносъёмках. Он капитана спасательного судна изображал...

— А что он сам моряк, знаешь?

— Ты скоро в моряки и Майю Плисецкую запишешь.

— Он, Ефимовна, был старшиной второй статьи. Он командовал танком в полку морской пехоты в дивизии генерала Леклерка. Он на танкере пересек эту голубую Атлантику в сорок третьем, когда здесь держали верхи немецкие подлодки. Он въехал в Париж на своем танке в тельняшке. И больше всего в жизни он гордился тем, что был старшиной второй статьи, а не офицером. Он, вообще-то, терпеть не может военных...

— Я помню тебя в кителе, — сказала Мария Ефимовна. — И хомутики на плечах от погон. Спороть тебе цедосуг было. Я их спорола. Ты большим офицером был?

— Совсем маленьким, Ефимовна.

— Ты молодым строгий был. Я тебя даже боялась.

Она мне льстила. Она знала, что я хочу быть строгим, хотя плохо способен к этому. Это потому, что мой дух ленив. Он не терпит напряжений. Идеал моего духа — Обломов. Другое дело, что Обломов нам только снится.

— Как Ваську-то на Диксоне выгнал! Я его до сей поры помню и жалею. Не встречал больше?

— Нет.

Атлантический океан под нами вздувался, притапливал мели, вода теряла зелень, синела — шел прилив.

— Скоро ты будешь дома, — сказала Ефимовна. — Может, успеете к Новому году?

— Вряд ли успеем.

— Двуличный ты человек, — сказала Ефимовна. — И я двуличная. В море хочешь на берег. На берегу хочешь скорее в море.

— Становишься философом, — сказал я. — Повторяешь старые истины. Все мы амфибии.

Несколько недель назад я думал об этом на противоположном берегу Атлантики, на горе Эль-Серро в Уругвае, возле старинной пушки, колеса которой погрузились

в землю, лафет растрескался, а на дульном срезе росла ромашка.

Я стоял над таким же обрывом. Внизу канал Интермедо и проход Банко-Чико вели к Буэнос-Айресу кораблики величиной с муху. Кораблики-мухи оставляли за собой медленно расходящиеся веера кильватерного следа. Была тишина. Штиль. Ясное, четкое, но не палящее солнце. Пальмы кивали на величие океанских пространств равнодушно, привычно. Бараны, белые, кудрявые, как бороды древнегреческих философов, бродили вокруг по скалам. С ними вместе карабкались по скалам белые лошади. Белое живое — среди океанской сини и красных цветов незнакомых кустарников. И надо всем — маяк на вершине Эль-Серро.

Белые лошади на уругвайских скалах, белый скелет кита на желтом берегу Анголы, из белого камня кресты на черных берегах Исландии, белые молчаливые фрегаты возле Огненной Земли...

Проходят строки волн
По летописи века...

Я давно свыкся с мыслью, что мы в некотором смысле ведем двойной образ жизни и являемся не более сухопутными, чем морскими существами. Это мысль Страбона. Ее надо понимать так же широко, как слова Эйнштейна: «Все начинается со звезд».

Если не будете специально следить признаки амфибийности вокруг, не заметите их. И тогда мои рассуждения покажутся домыслами мариниста. Но попробуйте искать океан вокруг себя — и найдете даже в Омске. Конечно, искать надо тщательно. Как средней известности писатель ищет в печати свою фамилию.

— Викторыч, у меня к тебе просьба... — тихонько сказала Ефимовна и даже как-то засмушалась.

— Давай.

— Напиши про Степаныча рассказ, а? Как он всю жизнь долги отдавал, а?

— Честно: роман у тебя со Степанычем был?

— Ага, Викторыч.

— А может, выдумываешь?

— А может, и выдумываю. Все равно напиши про него. Если не рассказ, то сказку, ладно?..

Вечером мы отошли на рейд Дакара.
Утром «Литва» снялась на Рио.

Я смотрел из окна каюты в бинокль и углядел Ефимовну. Она на променад-деке стояла и выглядывала меня. На уходящий в прошлое Дакар ей наплевать было.

Среди белых роб матросов-пассажиров Ефимовна четко выделялась черным платьем. Сложенным зонтиком она защищала глаза от солнечного и океанского блеска. И ничем в нашу сторону не махала. Старая морячка знала, как мало шансов увидеть на другом судне товарища за считанные минуты расхождения. Товарищ или спит, или ест, или на вахте, или играет в «шиш-беш».

Я пожелал кастелянше спокойного рейса, и чтобы коридорные не рвали простыни на тряпки, и чтобы старпом вовремя составил акт на списание прожженных сигаретам пассажирами наволочек.

Прощай, моя старая гевель, как называют здесь, на старой африканской земле, хранительниц традиций, тех традиций, которые существуют только устно, как существуют у нас поваренные советы по приготовлению какой-нибудь царской пасхи. Прощай, моя старинная подруга, к простым словам твоим, составительница родословных неизвестных людей, наверное, иногда было бы так полезно прислушиваться королям...

«Литва» пробурлила мимо ровный кильватерный след и скоро стала бликом среди других океанских бликов. И слова моей прощальной тирады улетели вслед за ней. И где-то там упали в волны.

«Первый, кто найдет их, попадет в рай» — так заканчивают сенегалцы свои сказки.

ПОД ВОЙ ТРЕХГЛАЗЫХ ХОБOTOVЫХ

Древние греки очень ценили пенне цикад, и, как известно, Анакреон написал оду в честь цикад.

*Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона*

Из Дакара мы снялись на Касабланку. Был ранний вечер. Штиль. Заходящее солнце вдавливается в океан, прогибает огромной пылающей тяжестью горизонт. Золото в голубом.

Остров Горе. Он действительно пропитан горем черных рабов — здесь был пересыльный пункт невольников, но название острова ничего общего с нашим «горем» не имеет. Просто одинаково звучит.

Ночью усиливающийся ветер. Какая-то непонятная, чуточку сумасшедшая радиограмма от матери. Уже предельно она соскучилась. «Соскучилась» не то слово. Когда старая женщина, думая о ежедневной возможности смерти, ждет сына после семи месяцев рейса — это уже не скука.

Дурные телепатические подергивания души. Страх. Нервы. Вдруг заметил в передней грани ковша Большой Медведицы что-то раздражающее — третью звезду! Что за чертовщина? Долго тряс головой, зажмурив глаза, как лошадь, у которой застряла в глотке краюха черствого хлеба. Наконец искоса опять глянул на Медведицу. Третья звезда сместилась! Спутник! Идет по меридиану прямым курсом на Полярную. Медленная деловитая звездочка. Я выругался. И понял, что путешествие для меня продолжается только внешне. Внутренне оно закончилось. И потому бесит даже невинный спутник. И не хочется в Касабланку.

После вахты видел очередной сон. Третий штурман Женя — скрытый юморист, осторожный выгадыватель, тщательный судоводитель, уклончивый тип — ворует где-то старинные книги и приносит их мне штука за штукой в подарок. И я знаю, что дурно брать ворованное, но нет сил не брать. Отчетливо запомнились названия книг и их внешний вид: «Воспоминания моряка о старой Москве», сборник на старорусском о гибели судов, огромные фолианты (коричневые) с акварелями шедевров мировой архитектуры. И на всех книгах: «Издание Присыпина». Причем этот неведомый Присыпин только что помер, а его книжный склад и грабят разные Жени. В том же сне я ел черешню. Цветущий сад, черешня, я хожу между деревьев и рву черешню... Жадность к книгам была во мне нездоровая, трясущаяся, дух перехватывающая, подленькая. Откуда вдруг такое? Долго думал и вспоминал разное мелочное недавнее. Вероятно, такое книжное пришло по ассоциации с Базуновым. Был такой книгоиздатель — мой дальний и древний родственник. На его фамилию натолкнулся недавно в примечаниях к Достоевскому.

Вышли из тропиков, быстро холодеет.

Вечером приказ повернуть на сто восемьдесят, идти обратно в Дакар, там встретиться с теплоходом «Ладогалес», дать ему топлива. Мы уже в тысяче миль от Да-

кара. Туда тысячу, обратно тысячу. Во сколько обойдется тонна топлива?

Противно возвращаться. Опять вытаскиваешь из нижнего ящика штурманского стола отработанные карты, стираешь плохой резинкой старые курсы, прокладываешь новые по изношенной бумаге. Как бы аккуратно ни относиться к карте, она даже после одной-единственной прокладки теряет невинность, перестает излучать девичье обаяние. А у наших карт на бородавках уже седые волосы выросли.

Опять отмель Арген, опять с калейдоскопической быстротой мелькают с левого борта названия африканских государств. Много их. Опять остров Горе и мыс Зеленый.

Двадцать восьмого декабря подошли к Дакару. Территориальные воды Сенегала шесть миль. Стали на внешнем рейде в семи милях от береговой черты, вне зоны досягаемости властей.

Ждем «Ладогалес».

Ребята из экспедиции вылезли на палубу — повальное загорание, свальный грех с солнцем. Часами ползают вокруг надстроек, прячась от резкого ветерка с океана, и жарятся. За полгода все загорели, конечно. Но нормально загорели, по-человечески. А надо сногшибательно. Зачем? Чтобы удивлять на январских слякотно-снежных улицах бледных ленинградцев. Такими предвкушениями полны души научных сотрудников, этим они и живы.

Умный Мериме заметил, что игра в домино — прообраз и школа мелкой политики. Теперь ясно, почему «козел» — морская игра. Без мелкой политики в экипаже не просуществуешь. Но у нас уже и в «козла» давно не играют: слишком интеллектуально, утомляет. Из развлечений только «шиш-беш» осталось. Азартная игра, азятская.

Перед ночной вахтой проснулся от скрипа, скрежета и ора цикад. Они верещали SOS, заплутавшись в стальном лабиринте судна. Отвратительные жуки-жужелицы. Они умудрились проникнуть в каюту сквозь задраенное стекло и запертые двери. Одного я обнаружил быстро. Он сидел возле настольной лампочки. Лампочка создавала жуку иллюзию самого жаркого времени дня, хотя было двадцать три часа пятьдесят минут. Этого иллюзиониста я накрыл полотенцем и, вздрагивая от страха

и отвращения, вытряхнул в коридор. Отвратительный жук с большой головой и огромными глазами. Он бултыхался в полотенце — новорожденный Геракл, а не насекомое! На обнаружение и эвакуацию второго времени оставалось мало. Он хитро замаскировался или замикрировался. И поверхностный обыск не дал ничего. А я уже опаздывал на вахту минуты на четыре — редкий для меня случай.

Надо было еще обязательно сполоснуть физиономию. После вечернего сна телесной и духовной свежести в моряке не остается ни на грош.

Склоняясь над умывальником, я буквально оглох от близкого скрипа, скрежета и ора цикады. Самец сидел в шпигате умывальника! Оттуда торчали его усы. Вытаскивать мокрого жука из шпигата было слишком тяжело моим интеллигентным нервам. Кроме того, я признаю только честную игру. Жуку надо было дать возможность доказать свое жизнелюбие, мужество и изворотливость. Я слегка прикрыл шпигат пробкой и оставил течь из крана маленькую струйку воды. Если жук выберется на свободу при таких обстоятельствах, он заслужил право на жизнь — так я решил. И помчался на мостик. Опоздание было уже около шести минут.

— Прости, бога ради, Женя, задержали форс-мажорные обстоятельства! — объяснил я третьему штурману.

— Чего такое?

— Цикаду ловил.

— Пролезла в каюту?

— Ага.

Он фыркнул над школьной тетрадкой, в которую заносил очередную туфту под названием «Дневник рейса».

Евгений Николаевич Чернецов вслух фыркал редко. Он был скрытым юмористом. Я обнаружил его юмор в «Дневнике рейса». Среди официального, серьезного, ответственного текста, отражающего нашу работу по обеспечению небесных объектов в южном полушарии, там время от времени попадались посторонние слова. Например: «На якоре рейда Каргадос. Симпатичной рыбы нет. 08.20. Сменили место якорной стоянки. Рыбы тоже нет». Или: «Снялись из порта Лас-Пальмас в Атлантический океан. Отоварка плохая, но лучше, чем в Гибралтаре».

Евгений Николаевич твердо верил в то, что «Дневник рейса» не будет прочитан ни единым человеком на свете, кроме него самого. Он ошибся. Этот документ хранится в моем письменном столе. За 29.12 отмечено: «Подошел

т. х. «Ладогалес». Сдаем излишек топлива. Приняли на борт 10 567 сверчков».

Судно кишмя кишело вопящими жуками.

Оказывается, «Ладогалес» вез копру и другие ароматные товары для кондитерской промышленности. Запах кокосов привлек цикад. Они облепили «Ладогалес» на подходе к Дакару. А теперь распределились равномерно между «Ладогалесом» и нами.

Я вышел из штурманской рубки в отвратительном хрусте — цикады гибли под подошвами. Свежепокрашенные спасательные вельботы напоминали арену Колизея, усеянную распятыми христианами. Жуки вlepлялись в непросохшую краску и вопили предсмертные псалмы. Боцман Гри-Гри должен был утром сойти с ума. Ему предстояло шкрябать вельботы и красить по новой.

В ночи под правым крылом мостика хрипло ругался мой коллега — вахтенный помощник «Ладогалеса». Я перегнулся через леер и пожелал ему традиционной «спокойной вахты». Он поднял голову и ответил тем же. «Ладогалес» был меньше «Невеля». Их пеленгаторный мостик был ниже нашего крыла.

Приятно стоять вахту, когда рядом другое судно, новые люди, чужие голоса. Даже вой цикад не так ужасен — на миру и смерть красна.

Между бортами бегемотами копошилась слабая зыбь, поскрипывали кранцы.

Была полночь. Огни Дакара полукольцом охватывали рейд.

Ни коллеге, ни мне нечего было делать. Только коротать время. Нас на несколько часов связали пуповины топливных шлангов.

— Откуда идете? — спросил я коллегу.

Он поднялся на пеленгаторный мостик, чтобы быгь ко мне поближе. Мы обменялись сигаретами, изучая лица друг друга, убедились в том, что не встречались раньше, и тихо разговорились.

Они прошли на восток Северным путем и должны были вернуться на запад тоже через Арктику, но ледовая обстановка оказалась тяжелой, дальше Амбарчика они не пробились, едва успели выбраться за мыс Дежнева. Поработали на востоке, взяли копру в Индонезии и шли домой югом. Устали, конечно. Мастер простыл на Диксоне, когда ездил там на рыбалку. Его скрючило. Спит на горячем песке. Характер у мастера всегда был не ахти, а в скрюченном виде стал еще хуже. Еду ему готовят

отдельно, а ест это, отдельно приготовленное, он при всех, в кают-компании. И еще кряхтит, хватается за поясницу...

Я спросил, не заходили ли они в бухту Варнека, когда двигались на восток. Оказалось, что заходили, стояли там в ожидании ледоколов. Лед в Ю-шаре и Карских Воротях набило ветром по самую завязку. Коллега навещил кладбище Варнека. С моей легкой руки на это кладбище моряки совершают экскурсии, когда торчат на Вайгаче. Кладбище растет не шибко. Пополнилось только ненкой, замерзшей на Ледяном берегу под Бахусом, да ненцем, сгоревшим в собственном доме по-трезвому.

Когда я слушал про Арктику на рейде Дакара, мне так и мерещился за бортом таинственный шепот вайгачевских ненцев: «Пирта есть? Есть пирта?»

Слова «Амбарчик», «Ю-шар», «мыс Дежнева» вздымали из жизненной дали лохмотья воспоминаний, муть ассоциаций, отработанные настроения.

Но я молчал о них. Штурман с «Ладогалеса» был моложе меня и многого не понял бы, начни я вспоминать при нем далекую правду.

Ничто за мой век так не изменилось по своему духу, как Арктика. Ее одомашнили, как овцу или барана. Укротили, как клодтовских коней. Опошлили, как львов Юсуповского дворца в Крыму.

Арктика была огромной. Теперь она сжалась и продолжает сжиматься, как шагреновая кожа.

Раньше в огромной Арктике все знали друг друга, как жители одной деревеньки.

Семейное чувство, арктическое братство было знакомо даже сезонникам-грузчикам в полярных портах.

Не только Кренкеля знали все, но и Кренкель знал всех.

Казалось, люди плывут или летят не на разных кораблях и самолетиках, а на одном, форштевень которого — мыс Дежнева, корма — остров Вайгач, бухта Варнека, мыс Болванский Нос.

Всегда хвастаюсь северным и арктическим прошлым.

Однажды в Польше, в порту Гданьск, я попал на банкет в честь великого польского праздника. На банкете оказались две пани, дочь и мама, прекраснее которых я не видел даже на далеком острове Маврикий. Я ухаживал, используя опыт Хлестакова и Милого друга, то есть и за той, и за другой. Обихаживая полячек, я заострил язык до змеиного жала. И танцевал все танцы, не умея

танцевать ни одного. Ни черта не помогало растопить лед в сердцах панночек. И тогда я вспомнил Арктику. Я сообщил дочке, что, если она выйдет за меня замуж, я увезу ее на Северный полюс. Эта пошлятина тоже не сработала. Тогда я поместил на полюсе звероводческую ферму. На ферме я был заведующим. Там мы разводили белых медведей, чтобы предохранить зверей от вредного влияния окружающей среды в век НТР. Белые медведи были ручные. В дни великих праздников мы повязывали белым медведям черные форменные галстуки...

Здесь младшая панночка не выдержала и рухнула в мои объятия. И мать повисла у меня на шее. Они обе ради меня готовы были на все. От такой победы моя голова закружилась. И я уронил ее, голову, в клубничное мороженое, в котором и заснул. И снилась мне, естественно, Арктика, айсберги и белые медведи. И все это правда. И я получил воспаление лобных пазух. И не записал даже адреса красавиц...

Эту байку я рассказал вахтенному штурману «Ладогалеса» под вой трехглазых хоботовых — у цикад три глаза, и принадлежат они к этому слоновому отряду.

Примечание.

Из письма читательницы Марины Константиновны Асатур: «Во-первых, у цикад глаз: 2 больших и 3 маленьких, и называются они равнокрылые хоботные, а не хоботовые. Во-вторых, Вы почему-то упорно и многократно называете их жуками. Это все равно что кролика назвать тигром. Называйте их как угодно — букашками, козявками, мерзкими тварями, но только не жуками, ибо подобное несоответствие острым ножом будет всегда вонзаться в сердце любого энтомолога, а их развелось довольно много. Когда Вы описываете груды гибнущих цикад, у меня от жадности глаза и зубы разгорелись. Как они нам нужны на занятиях, и как мало у нас их осталось! А тут столько добра пропало! Еще. В рассказе «В тылу» у Вас «гундосят жужелицы». Жужелицы не могут гундосить. Это — жуки, ведущие сумеречный и ночной образ жизни и являющиеся активнейшими хищниками. Как всякие порядочные ночные разбойники, работают они совершенно бесшумно. А стрекотали у Вас в Средней Азии, вероятно, или саранчовые, или кузнечики, или сверчки, или все те же цикады...»

Господи! Жужелицу не можешь жуком назвать, а? Вот и попробуйте быть писателем во второй половине двадцатого века...

Письмо Марины Константиновны Асатур очень ласковое, перехваливающее меня, полное юмора и добра. А заканчивается оно постскриптумом, который кажется неожиданным на первый взгляд. Итак, дело идет о жуках и цикадах и вдруг: «Р. С. Весной 1942 мне было 9 лет и я собирала в корзину щепки на развалинах возле блоковского дома на ул. Декабристов. Взобралась повыше, где было меньше народу и больше щепок. Иду, собираю, и вдруг из обломков нога торчит — женская, в чулке. Я кубарем скатилась вниз и больше туда не ходила. С тех пор всякий раз, как прохожу здесь, вспоминаю эту ногу».

СЦЕНАРИСТЫ И РЕЖИССЕРЫ В МОРЕ

Итак, рассказал я байку про польских панночек штурману «Ладогалеса» под вой пятиглазых равнокрылых хоботных.

— Н-да, — глубокомысленно сказал в ответ коллега. — Если радость на всех одна, на всех и беда одна.

Он имел в виду цикад. Его слова показались мне где-то слышанными. Даже померещилось, что это я сам их когда-то написал или сказал. Но я ошибся. Это слова из песни к кинофильму «Путь к причалу». Они послужили основой популярного анекдота, который оказался слишком заковыристым для глаз и ушей одного моего старшего товарища, и потому я его здесь не привожу. Однако именно анекдот дал толчок для воспоминаний о работе над сценарием «Путь к причалу».

Началом киноэпопеи можно считать момент, когда режиссер Георгий Данелия, знаменитый ныне фильмами «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Тридцать три», «Совсем пропащий», и режиссер Игорь Таланкин, знаменитый ныне фильмами «Чайковский» и «Дневные звезды», отправились вместе со мной в путь к причалу арктической бухты Тикси.

Вернее, в далекий путь отправились тогда только Таланкин и я. Неважно, по каким обстоятельствам, но Гия обострил отношения с бортпроводницей и за минуту до старта покинул самолет полярной авиации в аэропорту Внуково. Конечно, мы могли бы договориться со стюардессой, но гордыня забушевала в режиссерской душе с силой двенадцатибалльного шторма, и он выпал из самолета с высоко поднятой головой, оставив в моем кармане деньги и документы, в багажном отделении ве-

щи и в хвостовом гардеробе теплую полярную одежду из реквизита «Мосфильма».

Было 03.09.1960 года.

В Москве было жарко.

Мы взлетели. И я увидел внизу на огромной пустыне столичного аэродрома маленькую фигурку в ковбойке. Фигурка не махала нам вслед рукой.

Мы с Таланкиным мрачно молчали, ибо чувствовали себя предателями. Вероятно, нам следовало покинуть борт самолета вместе с Гией.

Мы с Таланкиным как раз работали над сценарием фильма о мужской дружбе. О том, как товарищ спешит к товарищу по первому зову на противоположную сторону планеты. А в нашем собственном поведении явно сквозило некоторое двуличие.

С Внуковым удалось связаться только через сутки с Диксона. Радисты сообщили, что на трассе Великого Северного пути обнаружен странный грузин. Он собирал хлебные огрызки на столах летной столовой то ли в Амдерме, то ли в Воркуте. Но не это потрясло полярников. Их потрясло, что грузин пробирался через Арктику в рубашке.

Обратите внимание: Георгий Николаевич не вернулся домой, чтобы прихватить деньжат и пальтишко. Он продолжал демонстрировать вселенной неукротимую гордыню. Возможно, правда, что короткое возвращение домой и неизбежная встреча с мамой по разным причинам не устраивали молодого, но уже знаменитого режиссера. Отступать он не любит. Он одиноким голодным волком догонял нас.

Уже тогда я понял, что работать над сценарием с Даниелей будет трудно, что он будет держаться за свои точки зрения с цепкостью лемура, который вцепился в кошку.

Мы воссоединились в Тикси.

Аэродром там был далеко от поселка, машину из капитана морского порта было не выбить, к самому прилету Гии мы опоздали, в аэропортовском бараке его не было, и мы уже собрались уезжать, когда выяснилось, что вокруг давно пустого самолета кто-то бегаёт. Бегал Гия — согревался: снежные заряды налетали с Ледовитого океана.

Он сразу, но сдержанно высказал в наш адрес несколько соображений. Затем замкнулся в себя и в привезенную нами меховую одежду.

07.09.1960 года на ледокольном пароходе «Леваневский» мы отправились в Восточный сектор Арктики с целью снабжения самых далеких на этой планете островных полярных станций.

Редкий для меня случай — в рассказе «Путь к причалу» у главного героя боцмана Росомахи существовал прототип. Это был мичман Росомахин. Мы плавали с ним на спасателе в 1952—1953 годах. Мы с ним не только плавали, но и тонули 13 января 1953 гора у камней со скупердэйским названием Сундуки в Баренцевом море, на восточном побережье острова Кильдин, севернее рейда с веселым названием Могильный.

Мы спасали средний рыболовный траулер № 188. Ню тень «Варяга» витала над этим траулером. Он спастись не пожелал. Он нормальным утюгом пошел на грунт, как только был сдернут с камней, на которые вылетел.

Аварийная партия разделилась на две неравные части. Одна часть полезла на кормовую надстройку, другая на задирающийся к черным небесам нос — траулер уходил в воду кормой. Я оказался на кормовой надстройке и наблюдал оттуда за волнами, которые заплескивали в дымовую трубу. Рядом висел на отличительном огне мичман Росомахин.

Температура воды минус 1°, воздуха минус 6°, ветер 5 баллов, метель, полярная ночь, огромное желание спасти свою шкуру любой ценой.

И когда подошел на вельботе капитан-лейтенант Загоруйко, я заорал и замахал ему. Я решил, что первыми надо снимать людей с кормовой надстройки, ибо нос будет дольше торчать над волнами. Я очень глубоко замотивировал решение. В корме — двигатель, наиболее тяжелая деталь — раз; чем глубже уходит в волны корма, тем труднее снять с нее людей, так как вокруг надстройки куча разных шлюпбалок, выгородок и другого острого железа — два; в носовом трюме нет пробоин, и там образовалась воздушная подушка — три, и т. д., и т. п.

И тогда прототип моего литературного героя спас мне душу. Он заорал сквозь брызги, снег, и ветер, и грохот волн, что я щенок, что командиры аварийных партий и капитаны уходят с гибнущих кораблей последними. Если бы не его вопль, я попытался бы отбыть с траулера одним из первых, как нормальная крыса, и навсегда потерял бы

уважение к самому себе, не говоря уже об уважении ко мне следователя и прокурора.

Таким образом, каждое предложение Данелии по изменению чего-то в боцмане Росомахе ранило мою спасенную когда-то Росомахиным душу. Кто это собирается что-то изменять в моем рассказе? Режиссер, человек, который видел море только с сочинского пляжа? Человек, который даже не знает, где остров Кильдин и где Гусиная земля? Какое право он тогда имеет делать фильм о погибшем в море спасателе?

Я, конечно, не показывал своих чувств Гии, но он о них догадывался. И, кроме того, как настоящий режиссер, понимал необходимость войти в материал самому.

И тогда было принято решение отправиться на судне в Арктику и писать сценарий в условиях наиболее близких к боевым.

На «Леваневском» мы оказались в одной каюте. Гия на верхней койке, я на нижней. И полтора кубических метра свободного пространства возле коек. Идеальные условия для проверки психологической совместимости или несовместимости. Плюс идеальный раздражитель, абсолютно еще не исследованный психологами, — соавторство в сочинении сценария.

Если в титрах стоит одно имя сценариста, то — по техническим причинам. Мы на равных сценаристы этого фильма.

Уже через неделю я люто ненавидел соавтора и режиссера. Кроме огромного количества отвратительных черт его чудовищного характера он приобрел на судне еще одну. Он, салага, никогда раньше не игравший в морского «козла», с первой партии начал обыгрывать всех нас — старых, соленых морских волков!

Психологи придумали адскую шутку для того, чтобы выяснить психологическую совместимость. Вас загоняют в душ, а рядом, в других душевых, — ваши друзья или враги. И вы должны мыться, крутя смесительные краны, а на вас льется то кипяток, то ледяная вода — в зависимости от поведения соседа, ибо водяные магистрали связаны.

Так вот, посади нас психологи в такой душ, я бы немедленно сварил Георгия Николаевича Данелию, а он с наслаждением заморозил бы меня.

И это при том, что и он, и я считаем себя добрыми

людьми! Почему мы так считаем? Потому что ни он, ни я не способны подвигнуть себя на каторгу писательства или режиссерства, если не любим своих героев. У Гии, мне кажется, нет ни одного Яго или Сальери. Его ненависть к серости, дурости, несправедливости, мещанству так сильна, что он физически не сможет снимать типов, воплощающих эти качества.

Гия начинал в кино с судьбы маленького человеческого детеныша, которого звали Сережей. И в этом большой смысл. Полезно начать с детской чистоты и со светлой улыбки, которая возникает на взрослых физиономиях, когда мы видим детские проделки. Знаете, самый закоренелый ненавистник детского шума, нелогичности, неосознанной жестокости — вдруг улыбается, увидев в сквере беззащитных в слабости, но лукавых человеческих детенышей.

При всей сатирической злости в Данслии есть отчетливое понимание того, что сделать маленькое добро куда труднее, нежели большое зло, ибо миллионы поводов и причин подбрасывает нам мир для оправдания дурных поступков.

Когда я писал о боцмане Росомахе, то любил его и давно отпустил ему любые прошлые грехи.

Когда Гия решил делать фильм по рассказу, перед ним встала необходимость полюбить боцмана с не меньшей силой. Но поводы и причины любви у меня и у Гии были разные, так как люди мы разного жизненного опыта. Надо было сбалансировать рассказ и будущий фильм так, чтобы мне не потерять своего отношения к меняющемуся в процессе работы над сценарием герою, а Гии набрать в нем столько, сколько надо, чтобы от души полюбить.

Сбалансирование не получалось.

Уже на восьмой день плавания мы перестали разговаривать. В каюте воцарилась давящая, омерзительная тишина. И только за очередным «козлом» мы обменивались сугубо необходимыми лающими репликами: «дуплюсь!», «так не ставят!», «прошу не говорить с партнером» и т. д.

Точного повода для нашей первой и зловещей ссоры я не помню. Но общий повод помню. Гия заявил в ультимативной форме, что будущий фильм не должен быть трагически-драматическим. Что пугать читателей мраком своей угасшей для человеческой радости души я имею полное право, но он своих зрителей пугать не собирается,

он хочет показать им и смешное, и грустное, и печальное, но внутренне радостное...

— Пошел ты к черту! — взорвался я. — Человек прожил век одиноким волком и погиб, не увидев ни разу родного сына! Это «внутренне радостно»?!

Он швырнул в угол каюты журнал с моим рассказом.

— Это тебе не сюсюкать над бедненьким сироткой Сереженькой! — сказал я, поднимая журнал с моим рассказом. — Тебе надо изучать материал в яслях или, в крайнем случае, в детском саду на Чистых прудах, а не в Арктике...

Вокруг «Леваневского» уже давно сомкнулись тяжелые льды.

Гия взял бумагу и карандаш. Когда Гия приходит в состояние крайней злости, он вместо валерьянки или элленума рисует. Он рисует будущих героев, кадрики будущего фильма или залихватски танцующих джигитов. В хорошем настроении он может набросать и ваш портрет. Все мои портреты, изображенные Гией, кажутся мне пародиями или шаржами. Правда, я никогда не говорил ему об этом. Я просто нарисовал его самого с повязкой — бабским платочком — на физиономии. Получилось, на мой взгляд, очень похоже, хотя один глаз я нарисовать не смог.

Происхождение повязки таково.

Севернее Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море есть островок Жохова. Это около семьдесят пятого градуса. Я уже вспоминал медвежат и собак этого островка. Два года туда не удавалось пробиться судам. Полярная станция оказалась на грани закрытия. «Леваневский» пробился. Началась судорожная, торопливая выгрузка. Конечно, работали и Данелия, и Таланкин. Работали как обыкновенные грузчики. Только выгрузка была необыкновенная. Судно стояло далеко от берега.

Ящики с кирпичом, каменный уголь, мешки с картошкой, тяжеленные части ветряков из трюмов переваливались на понтон, катерок тащил понтон к берегу среди льдин, затем вывалка груза на тракторные сани, оттаскивание грузов к береговому откосу... Работа и днем и ночью при свете фар трактора.

Понтон не доходил до кромки припая. И часто мы работали по пояс в месиве из воды, измельченного льда и песка со снегом.

Покурить удавалось, только когда понтон застревал во льдах где-нибудь на полпути к острову. В эти редкие

мишуты мы собирались у костров, собаки и мишки подходили к нам, мы играли с ними, возились, фотографировались с медведями. И каждому хотелось оказаться на фотографии поближе к зверюгам.

Быть может, оттуда, с далекого острова Жохова, мы привезли острейшее желание вставить в сценарий какого-нибудь зверюгу. И в фильме появился мишка, но сейчас не о том.

Работая в береговом накате, Гия простыл и получил здоровенную флегмону несколько ниже челюсти. О своем приобретении он молчал, продолжая выволакивать из ледяного месива ящики с печным кирпичом.

Он, по-видимому, получал мрачное наслаждение от сознания, что вскоре умрет от заражения крови, а я весь остаток жизни буду мучиться укорами совести, ибо не понял его тонкой лирической души. Оснований для возможной смерти было больше чем достаточно. На судне не было врача. Был только косою фельдшер. До ближайшей цивилизации — бухты Тикси или устья Колымы — восемь градусов широты, то есть четыреста восемьдесят миль. Никакие самолеты сесть на остров или возле не могли. О вертолетах не могло идти и речи. А флегмона на железé под подбородком не лучше приступа аппендицита.

Когда она по размеру достигла гусиного яйца, температура самоубийцы достигла сорока градусов Цельсия. Кажется, я ночью услышал, что мой враг-соавтор бредит или стонет сквозь сон.

Занятная сделалась мина у фельдшера, когда мы с Игорем Таланкиным приволокли к нему Гию и он увидел эту жуткую флегмону. Резать надо было немедленно. Новокаина не было. И в отношении антисептики дело обстояло хуже некуда. Чтобы перестраховаться, фельдшер засадил в центр опухоли полный шприц какого-то пенициллина, и я с трудом удержал в себе сознание и устоял на ногах.

Гия сидел в кресле ничем не привязанный и молчал, только побелел и ощерился. И все время, пока фельдшер тупым скальпелем кромсал его, он продолжал молчать. А после операции решительно встал с кресла, чтобы самостоятельно идти в каюту. Ему хватило ровно одного шага, чтобы отправиться в нокдаун.

Старший помощник капитана Гена Бородулин (сейчас он капитан, и дай ему господь всегда счастливого плаванья!) выдал пациенту стакан спирта, хотя на судне уже

давно, даже в дни рождений, пили только хинную настойку.

А на следующее утро, выволакивая из ледяного мешка очередной мешок с мукой, я увидел рядом перебинтованного режиссера, запорошенного угольной пылью, под огромным ящиком с запчастями ветряка...

Вы думаете, Гиино геройство помогло нам найти общий язык? Черта с два! Я не какой-то там хлюпик. Конечно, я высказал в общей форме похвалу его мужеству и умению терпеть боль, но когда на Земле Бунге мы отправились на вездеходе охотиться на диких оленей, я захватил единственный карабин, а ему досталась малопулька. Я вцепился в карабин, как молодожен в супругу. И на все справедливые требования стрелять в оленей по очереди отвечал холодным отказом.

Никаких оленей мы не обнаружили, вездеход провалился под лед, вытащить его не удавалось, вокруг была ослепительная от снега тундра и лед Восточно-Сибирского моря, вернее, лед пролива Санникова. Шофер-полярник предложил пострелять из карабина ради убийства времени в консервную банку. И мы долго стреляли, а Гия расхаживал взад-вперед по тундре и делал вид, что все происходящее его не интересует, что стрелять из карабина в банку ему ни капельки не хочется и что теперь он до карабина никогда в жизни не дотронется.

Патронов оставалось все меньше. Мы мазали отчаянно — замерзшие, на ветру, возле наполовину затонувшего вездехода. Когда патронов оставалось три штуки, моя гуманитарная составляющая не выдержала. Я отправился к врагу-соавтору и протянул карабин. Его грузинско-горская сущность тоже не выдержала. Он сказал, что я та еще сволочь, что он никогда не пошел бы со мной в разведку и так далее, но руки его непроизвольно протянулись к карабину.

И он всадил все три патрона в эту дурацкую банку! И потом с индифферентным видом продолжал расхаживать взад-вперед по тундре. И вид у него был индюшечий, так как он изображал полнейшее равнодушие к своей победе, как будто был чемпионом мира по стрельбе, а не обыкновенным начинающим режиссером и бывшим неясно каким архитектором!

Вот в такой жуткой психической обстановке происходили роды сценария «Путь к причалу»!

Соавтор обыгрывал меня в домино, демонстрировал суровое мужество, лучше меня стрелял из карабина.

Оставалось — попасть в хороший шторм. Я не сомневался, что бывший архитектор будет травить на весь ледокольный пароход «Леваневский» от фор-до ахтерштевня.

21.10.1960 года радист Юра Комаров принес радиogramму.

— Ребята, — сказал Юра, — вам тут, очевидно, шифром лупят. Так вы вообще-то знайте, что шифром в эфире можно только спецначальникам...

Текст, пройдя океанский эфир, выглядел так: «ЛЕВАНЕВСКИЙ ДАНЕЛИЮ ТУЛАНКИНУ КАПЕЦКОМУ ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРЖА ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ КАННАХ ВОЗМОЖНА АКАПУЛЬКА».

Итак, «Серж» победно распространялся по глобусу, улыбался зрителям на берегах довольно далекого от родителей Средиземного моря, а Гию и Игоря начинала нетерпеливо ожидать в гости знойная Мексика.

«Красивая жизнь» — скажет 99,999% людей на планете.

И правильно скажут. Только путь к причалам этой жизни не бывает красивым. И это не в переносном, а в прямом смысле.

«Леваневский» угодил не в хороший шторм, а в нормальный ураган.

И было это как раз в тех местах, где штормовал и погибал наш герой боцман Росомаха — в Баренцевом море, недалеко от острова Колгуев.

Правда, в ураган угодил я. Данелия и Таланкин бросили писателя на произвол судьбы на Диксоне. Они опаздывали в Мексику и должны были лететь домой на самолете, а я оставался на ледокольном пароходе «Леваневский», чтобы отметить командировочное в Архангельске, прибыв туда морским путем.

— Такого количества SOSов не слышал даже Ной! — изрек наш радист Юра Комаров, пытаясь обедать на четвереньках в кают-компании. В кресла залезать было опасно — их вырывало с корнем.

А скоро подумать вплотную о SOS пришлось и нам — волнами заклинило руль или что-то сломалось в рулевой машине. На палубе были понтоны, катера, вездеходы, огромные автофургоны — радиолокационные станции, то есть судно было перегружено и центр тяжести его находился не там, где положено, а черт знает где. Но SOS давать оказалось бесполезно. Никто не мог успеть к нам,

кроме ледокола «Капитан Белоусов», который штормовал в сутках пути.

За эти сутки я точно осознал разницу между писателем и режиссерами: когда режиссер разгуливает по Мексикам или Парижам, сценарист изучает жизнь, как говорится, «на местах». Ну, с этими несправедливостями мы давно смирились. Привычка к подобным обидам передается сценаристам уже генетически. А вот когда старик «Леваневский» разок лег на левый борт градусов на тридцать пять, когда он задумался в этом положении, решая, стоит ли ему обратно подниматься, или спокойнее будет опуститься в мирную и вечную тишину, или лучше просто-напросто стряхнуть со своей шкуры все понтоны, катера и передвижные радиолокационные станции, вот в этот момент, который, правда, был отчаянно красив, ибо шторм сатанел над морем Баренца при безоблачном, чистом черном небе и полной луне и гребень каждой волны, которая перекаtywала через «Леваневский», был просвечен лунными лучами и сверкал люстрами Колонного зала, — вот в этот момент я затосковал по соавтору.

Мне хотелось поделиться с ним красотой мира.

Ведь все художники болезненно переносят одинокое наслаждение красотой без близких им по духу людей.

И когда «Леваневский» стремительно и, казалось, бесповоротно повалился на левый борт, и в ходовой рубке вырвало из пенала бинокль, и он пронесся сквозь тьму рубки со снарядным свистом и разбился в мелкие брызги, а мы висели кто где и не могли понять, что это такое просвистело и взорвалось в рубке ледокольного парохода. И когда потом мы полезли с Геной Бородулиным на палубу, чтобы проверить крепления понтона, и обтягивали крепления при помощи ломов и «закруток», а понтон под нами ездил по палубе и нависал над забортным пространством. И когда от чрезмерного физического перенапряжения и качки мне стало обыкновенно дурно и меня вывернуло в ослепительные волны, и холодный пот мешался на моем лице с не менее холодными брызгами, — я все вспоминал и вспоминал жаркую, жирную Мексику и все отчетливее понимал разность режиссерской и сценаристской судеб.

Утро было тоже довольно хреновое.

«Леваневский» дрейфовал в дыру между островом Колгуев и мысом Канин Нос. Юра Комаров время от времени появлялся в ходовой рубке и сообщал о чужих

несчастьях. Сведения о чужих бедах каким-то чудом утешают попавшего в беду человека. Норвежское рыболовное судно было покинуто командой возле мыса Коровий Нос и превратилось в «летучего голландца» (так называются на официальном морском языке брошенные экипажем суда). И теперь всем судам давали предупреждение на предмет возможного столкновения с ним в горле Белого моря.

Нам было еще далеко до горла Белого моря и столкновения с «летучим голландцем». Юра Комаров разглагольствовал в рубке о том, что самым мелодичным, музыкальным и красивым из всех соединений точек и тире является сочетание SOS. Три точки, три тире и еще три точки — просто прелесть, они пахнут Чайковским.

18.10.1960 года, около полудня, мы увидели ледокол «Капитан Белоусов». Самого ледокола мы, конечно, не увидели. Был только снежно-белый широкий смерч. Брызги вздымались вокруг ледокола, который шел к нам, чтобы оказать нам чисто моральную, но — помощь чисто моральную потому, что завести в такой шторм буксир, «взять за ноздрю», как говорят моряки, нам было совершенно невозможно. «Капитан Белоусов» качался так, что тошно было даже глядеть в его сторону.

У ледоколов нет бортовых килей, и днище им инженеры делают яйцеобразным, дабы при ледовой подвижке они, как нансеновский «Фрам», вылезали на лед. Судно без бортовых килей и с яйцом вместо брюха качается на волне безобразным и удивительным образом.

На «Капитане Белоусове» восемьдесят процентов экипажа не было способно трудиться. На ледоколах привыкают плавать во льдах, а во льдах не может быть волны, и ледоколышки отвыкают от голубого и волнового простора и укачиваются быстро и всерьез.

«Белоусов» заложил вираж вокруг «Леваневского».

Капитаны обсудили по радиотелефону положение и пришли к выводу о бессмысленности каких бы то ни было мероприятий со стороны «Белоусова». Нам следовало самим ремонтировать рулевое, то есть самоспасаться. И тут к рации позвали Капецкого.

— Кинокорешки-то тебя в беде не бросили. Тоже пришли. Спасители, — сказал капитан. — Данелия на связь просит. Короче только!

Я услышал:

— Привет, Вика! Ты, говорят, затравил «Леванев-

ский» от киля до клотика? — орал режиссер сквозь вой и стон шторма.

О юморе в философской литературе написано много. Этой проблемой занимались и Гегель, и Спиноза. Теперь занялся Данелия. Из различных составляющих юмора — сатирической, иронической, грустной, черной и смешной — я выделил бы у него добродушную составляющую. Но это только в его произведениях, а не в жизни.

— Тебя чего-то не видно на мостике! — надрывался мой соавтор. — Ты лежишь там, что ли? Я по тебе соскучился!

И за что этого инквизитора любят коллективы съемочных групп? Только из подхалимажа они его любят.

— Сволочи! — заорал я. — Почему вы здесь? Почему не в Акапульке? Думаешь, ваши призы не возьмут в комиссионный магазин на Арбате? Не плюй в колодец...

— Самолеты не вылетают с Диксона — погода! — объяснил он. — Мы с Игорем ящик портвейна спиили летчикам, а они все равно не полетели. А тут вы руль потеряли...

— Не руль, а просто вышло из строя рулевое. Как себя чувствуешь? — проорал я с тайной надеждой.

— Мы с капитаном портвейн допиваем!

— Тогда впитывай впечатления. Шапку сними! Здесь, под нами, мичман Росомахин! Здесь и наш боцман рубил буксир! Как понял?

— Ясно! Понял! Натуру будем снимать прямо здесь! В Арктике! Я точно решил!

— С ума сошел?!

— Главное — правдивость! — изрек в эфир Данелия.

Дорого потом обошлась любовь к правдивости и подлинности. Ведь мы действительно опять полетели в Арктику и на Диксон! И ухлопали уйму денег и, главное, времени, ибо все пришлось переснимать в довольно далеком от Полярного круга Новороссийске и во дворе «Мосфильма». Не зря наш директор Залпштейн, человек рассудительный и осторожный, полностью облысел, а те волоски, которые у него остались за ушами, поседели.

— Главное — правдивость! И потом, шторм будет на экране очень красив! Кровь из носу, мы снимем красиво! Понимаешь? Красота поможет проходимости! Она приглушит трагедийность! Как понял?

Я ему двадцать раз излагал, что художники делятся

на две категории: умеющих создавать красоту на полотне, бумаге или пленке и при этом еще производить социальный анализ, исследовать сущность характера. И на умеющих уловить мгновение красоты в правдивом облике, но без анализов и синтезов. Ведь сама правда, данная в эстетическом восприятии, способна возмещать умственный многослойный анализ. Последних я называю художественными антифилософами и к ним отношу Гию.

— Ты никогда не будешь мыслителем! — заорал я. — Тебе всегда будет дороже летний дождик и босая девушка на мокром асфальте, нежели ее социальные корни!

— Пошел ты сам босыми ногами к...

— Пошел ты!!!

Радиотелефон работает на УКВ. Ультракороткие волны распространяются прямолинейно. Они не огибают круглого бока Земли, на пределе видимого горизонта уходят в космос. Таким образом, наш разговор и сейчас мчится сквозь Вселенную к далеким галактикам. Он мчится уже четырнадцать лет. Скоро какие-нибудь инопланетные существа примут наш разговор и засядут за расшифровку. И у них значительно обогатится интеллект, словарный запас и углубится непонимание специфики взаимоотношений сценариста и режиссера...

— Тебе надо читать умные книги, а не резаться в «козла» день и ночь! — орал я под занавес. — Ты «корову» пишешь через «а»! А лезешь в писатели! Ваши дурацкие сценарии никогда не будут произведением искусства! Даже бог и сатана, запустив в производство мир, выкинули сценарий в преисподнюю!

— Ты никогда не будешь драматургом! — орал он. — Ты знать не знаешь, о чем пишешь в своих дурацких книгах! А в драматургии надо знать!

Переполненный арктическими воспоминаниями, я в три утра попрощался с вахтенным штурманом «Ладогалеса». И ненадолго заменил собою носовую и кормовую швартовые команды «Невеля» — отдал с кнехтов все шпринги и все продольные концы.

«Ладогалес» оставался на рейде Дакара, а мы, заполнив его танки топливом, отвалили на Касабланку вторично.

Опять я определился по острову Горе, сняв радаром пеленг на него и дистанцию. Затем сдал ходовую вахту

старпому, попил чайку в столовой команды и отправился в каюту.

Мы шли в ночном океане на север, домой. И дорога из дальней превращалась в близкую.

Фибры моего существа предвкушали тихие радости: койку со свежим бельем, молниеносный процесс раздевания, нырок под простыню, ровный шумок кондишена с потолка, сонную сигарету и сонное разглядывание надоевшей до смерти карты-схемы, висящей в ногах.

На карте-схеме была изображена в масштабе один к десяти миллионам по сорок четвертой параллели Африка с Мадагаскаром. И проложены были все наши курсы вокруг черного континента с моими комментариями на соответствующие даты.

Особое удовольствие я предвкушал от того, что завтра-послезавтра предстояло с этой картой-схемой опасных от мин и стрельб районов расстаться и перейти на следующую карту-схему, то есть увидеть в ногах койки Европу и отчий дом.

Это большое удовольствие — иметь возможность видеть на карте конечную точку пути и каждый день на двести пятьдесят дугowych минут приближаться к ней.

Я открыл дверь в каюту и остолбенел.

Мутные волны прокатывались взад-вперед по каюте.

Слабо просвечивало сквозь волны красное дно — ковер. И равнодушно, монотонно шумел маленький Ниагарчик — из крана в умывальник и из умывальника в водоем каюты.

Пейзаж водоема украшала сенегальская газель — она колыхалась на волнах в центре.

В «Пути к причалу» я волей автора заставил одного героя выпрыгнуть из койки в каюту, заполненную водой. Герой орал: «Полундра! Тонем!» — и бегал на четвереньках. Потом вышибал из двери нижнюю аварийную фильку лбом.

Я же прыгнул в водоем прямо в сандалетах — чикаться не было времени: под диваном хранились запасные часы, барографы, бинокли, звездный глобус и другие ценности.

Только перекрыв кран, я понял причину аварии. Проклятая цикада! Она уступила струйке воды и провалилась в трубу умывальника. Пробка, которой я прижал цикаду, — дурацкая сентиментальность и интеллигентская мягкотелость! — стала на место. И всю вахту вода текла в каюту.

Я заметался в мутных волнах, как танцующий джинн — так называют в районе Марокко смерчи.

Воды в каюте было не меньше полутонны. Я было решил открыть окно и вычерпывать воду графином, но ветер дул в мой борт и заталкивал брызги обратно в окно, вернее, в мою физиономию. Тогда я, забыв о всех законах физики, попытался внедрить в практику человечества нечто схожее по бессмысленности с перпетуум-мобиле. Опустив резиновый шлаг в водоем, я сосал из шланга грязную воду и опускал обсосанный кончик в умывальник. Ассоциации, связанные с автомобилем.

Бензин так извлекается из того, что выше, в то, что ниже.

Я же упрямо пытался заставить жидкость совершить противоположный маневр.

То сквозь плеск воды, то сплетаясь с ним в жуткий, неземной, галактический стон, орали цикады: они десятками вползали в каюту через распахнутое окно.

И вдобавок ко всему я ощутил сильный запах хлора, от которого начинало тошнить и кружилась голова.

В рундуке под койкой была спрятана банка хлорной извести. Ею я выбеливал кораллы, собранные на необитаемых островах Индийского океана. Теперь известь вступила в бурную реакцию с водоемом.

Впору было надевать противогаз. Но он оказался затопленным вместе с банкой извести. И химикалии из противогазной коробки уже принимали участие во всеобщей реакции.

Я ощутил пещерное одиночество среди несущегося сквозь ночную Атлантику теплохода, среди чужого сна и чужих снов.

Нелепо было будить и звать на помощь верных штурманов. Невозможно было рассчитывать на неверных, то есть на матросиков. Они ныне не встают даже по авралу, чтобы зачехлить вельбот в штурм, если не пообещаешь им оплату за внеурочную работу.

И я принял безумное решение: извлечь из каюты ковер, оттащить его на ют и там вздернуть на леер. Я рассчитывал на то, что ковер впитал значительную часть жидкости и ее уровень сразу и резко понизится. Но я не догадывался о том, сколько весит ковер, впитавший полтора литра воды. А весит он сто семьдесят килограммов. Мой же вес в годы расцвета — шестьдесят шесть.

И бедный бес под кобылу подлез.

Впереди была дорога через коридор, устланный сухим ковром, сквозь две двери, трап на палубу, тридцать метров по скользкой стали и еще один трап.

Провести малый рыболовный сейнер Северным морским путем — детские игрушки по сравнению с таким путешествием.

Уже к концу коридора ковер из неодушевленного предмета превратился в сознательную бестию. Эта бестия мокрыми лапами обволакивала меня и тянула к своему центру тяжести, как спрут к знаменитому клюву. Эта бестия дала мне подножку в дверях, снисходительно дала под зад на палубе и, когда я ее спустил с последнего трапа, шуранула к борту на очередном крене — судно уже сильно покачивало.

Я погнался за ней, с омерзением хрустя цикадами. Они сотнями ползали по палубе.

Затем ковер из бестии-спрута превратился в самолет. Под действием встречного ветра ему хотелось взмыть над Атлантикой. Я обмотал ковер-самолет вокруг кормовой лебедки.

К этому моменту из танцующего джинна я превратился в обыкновенную мокрицу, ибо потерял юмор и распустил нюни.

Сидя возле трепыхающегося на швартовой лебедке грязного ковра, среди раздавленных умирающих цикад, я вдруг четко понял, что никакой повести о сумасшедшем специалисте по радиоэлектронике не напишу, что никогда мой герой не повторит тернистого пути пророка Ионы, ибо символика мифов мне не по душе и не по зубам. И что сам я просто-напросто прячусь в стальном корабельном чреве от сложностей обыкновенной жизни.

«Минное ЛК «Сибиряков». Море всем судам. Сообщению датских лоцманов обнаружена и уничтожена мина вблизи фарватера № 36 также некоторое количество мин находится районе Багеровен».

«ЛК «Киев» дрейфует у ледовой кромки ожидания подхода судов видимость 10 миль маловетрие лед 10 баллов nilас зпт сморози зпт воздух минус 8».

От каждого слова этих радиogramм уже крепко пахнет домом.

Ночью четвертого января замигали первые маяки Европы. Они тоже кажутся домашними, как огоньки пригорода. Испания встречает в Европе. Украшает карту Гва-

далквивир. Скучает в застойном пьянстве городок Херес, оделась туманом Гренада... А вот и Севилья — мощный радиомаяк. Можно хватануть радиопеленгатором, но нет большой нужды: вот-вот откроется Сан-Висенти. Открылся, замигал. Отлично. Мы больше доверяем своему правому глазу, нежели радиоволне и рамочной антенне... Сохранилась ли в Севилье тюрьма, где Сервантес зачинал Дон-Кихота?

По трансляции объявляют о сдаче судебных книг в библиотеку. Расстаюсь со Стендалем, Мериме, Байроном, двухтомником Конрада.

Нашу общественную библиотекаршу зовут Сима. Както я попросил ее написать заметку в стенгазету и дал тему: «Культура — библиотека — книга». Сима промучилась месяц. И наконец написала одну фразу: «Книги помогают против грусти по дому и маме». На словах она добавила, что против грусти ей помогают еще собаки. Молоденькая Сима была главной хозяйкой нашего бесхозного Пижона.

Суровый капитан Конрад тоже боролся с морским одиночеством и тоской Большого Халля без опоры на живых попутчиков. О них он вспоминает чаще всего для того, чтобы отметить гнусную, мелкую склонность к стяжательству, обезображивающую историю человеческого духа и географических открытий. В море Конрад не бывал одинок только потому, что находился в обществе великих деятелей и мыслителей прошлого. Море усиливало в нем ощущение прошлого, оживляло память обо всех подвигах, которые были совершены человеческой мудростью и отвагой среди океанских зыбей. И Джеймс Кук и Дэвид Ливингстон делили с Конрадом одиночество ночных вахт и дневных снов.

И я знаю, что польско-английский моряк и писатель действительно не был одинок, действительно шагали с ним из угла в угол по шканцам эти большие люди. Не ради красного словца он признался в этом, немного приизвив живых попутчиков и соплавателей.

Маяки великих людей не скрываются для нас за горизонтом или за очередным мысом. Их можно включить в любой миг, не казывая по радио и не оплачивая в валюте через банк в Лондоне.

Маяками назвал Бодлер Рубенса, Леонардо, Микеланджело, Гойю. Воплями назвал их полотна.

Эти вопли титанов, их боль, их усилья,
Богохульства, проклятья, восторги, мольбы —

Дивный опиум духа, дарящий нам крылья,
Перекличка сердец в лабиринтах судьбы.

То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То сигнальные вышки на крепостях горных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.

И свидетельства, боже, нет высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим,
Чем прибой, что в веках нарастает все шире,
Разбиваясь о Вечность пред ликом твоим,

К концу длинного рейса все чаще поминаешь великих, становишься законченным начетчиком. Как всякому наркоману, тебе все больше нужно дивного опиума их духа, чтобы устоять на ногах в повседневности.

К концу длинного рейса попутчики превращаются в соседей по коммунальной квартире и раздражают куда чаще, чем хотелось бы. Ты вспомнишь о них на берегу, когда затянется отпуск. Тогда опять увидишь в них отличных моряков и верных товарищей. А в конце длинного плавания испытываешь одиночество. И только маяки великих светят тебе. И тебе надо все больше их света. И они дают его столько, сколько способна впитать твоя уставшая душа. И плевать ты хотел на упреки в слабости и несамостоятельности — это правда, как я знаю ее.

ПРЕСНЫЙ ЛЕД У ОСТРОВА ВАСИЛИЯ

Вернемся мы, доверим судно тросам,
Оставив дали даль, туман — туману, ветер альбатросам..
Из песни

Пятого прошли Лиссабон. Дождик накрапывал, покачивало. Зарева над городом не видно было. Обычно его далеко видно. И всегда вспоминается Алехин. Он похоронен здесь, здесь в последний раз слушал скрипку спившегося эмигранта: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»

Стучат машинки, крутятся арифмометры, шебуршит бумага — готовим отчеты, подбиваем бабки.

В ночь на шестое огибаем мыс Финистерре — границу Бискайского залива. Южный ветер в одну минуту изменился на северо-восточный, ударил до восьми баллов. Скорость упала до семи узлов. Сильная килевая качка. Из

шумной пены без всякого добродушия подмигивает дядя Посейдон: «Что, паренек, к старому Новому году хочешь домой поспеть? Фиг тебе, паренек...» И — бах! — разваленная форштевнем волна вздымается десятиметровым фонтаном. Но чайки не улетают к берегу, держатся большой плавной стаей возле носа на ветре. Значит, шторм не должен быть долгим. Вот если дельфины собираются в большие компании и резвятся, хулиганят особенно шумно, то шторм будет долгим и крепким. Касатки тоже указывают на шторм. Они неоглядно уходят от береговой полосы, высоко прыгая...

Когда торопишься домой, начинаешь присматриваться и к биометеорологическим признакам погоды. Так некрасиво называется поведение живых тварей на ученом языке.

Бискай штормит нынче при чистом и ясном небе. Днем от сини небес и вод даже резь появляется в глазах. И белые барашки, белые чайки среди рыловской синевы и ветрености. Весел шторм при ясном небе, хотя есть в таком шторме нечто противоестественное. Вот тринадцать месяцев назад, когда мы везли русские осинового роши неукротимым сардам, здесь естественный штормяга бандитствовал. От зюйд-веста, в хмури, в низких тучах, в грозах.

Много корабликов — и встречных, и поперечных. Интереснее жить на море-океане, когда вокруг коллеги качаются, окунают носы в синие волны, стряхивают шумливую пену с ржавых бортов. Вот лайнер несется. Вот крохотный рыбачок становится дыбом на каждой зыбине, торопится доставить отцов к детишкам в поселок на Финистерре. Вот танкерюга прет напролом, его такая зыбь и не качнет. С каждым разойтись надо, каждый внимания требует. Но мы в океанах соскучились по коллегам, редко встречали их. И теперь быстрее отваливает за корму очередная вахта, наполненная работой и напряжением.

Чайки не соврали. К утру седьмого Бискай замирится и стих. Идем по четырнадцать миль. В полдень записывается в журнал траверз острова Уэссан. Этот остров — верстовой столб, от которого начинается и заканчивается океанское плавание, то есть плавание с надбавкой к зарплате двадцати процентов. Прощайте, проценты!

По рубке сквозит уже холодом, даже морозцем. Сапоги боцманюга все еще зажимает. Пришлось разорвать

на куски остатки обтрепанного всеми ветрами мира вымела Академии наук и сделать из его материи портянки. Обычная судьба материи списанных флагов. Она из хорошей, чистой шерсти делается — чтобы не мялась, и сохла быстро, и не гнила. Нет лучших портянок. Особенно хорошо это знают моряки со спасателей в северных морях. И мне пришлось в жизни кутать ноги остатками флагов самых спесивых держав. Судьба символов и в литературе, и в жизни довольно неожиданно заканчивается. Но я выбалтываю интимные моряцкие секреты. Надо придержать язык. А то ненароком расскажешь, что акт на утопленную в таких-то координатах, как отслужившую свой срок, пиротехнику ты составил, но... несколько симпатичных сигнальных ракет залезли в чемодан, спрятались в грязном белье, вместо того чтобы погрузиться на океанское дно. Ракеты неожиданно вынырнут, если мы успеем домой к старому Новому году, и подсветят крыши любимого города в торжественный час полуночи... Нет, на такие поступки мы, конечно, уже не способны. Мы не способны превращаться в мальчишек-курсантов. Мы честно решали каждый месяц по обязательной задаче на маневрирование судов в конвое. Мы не снимали со стола стекло, не укладывали стекло на ручки кресла, не подсовывали под стекло лампу-переноску, не расстилали на стекле бумажку с решенной уже схемой, не накрывали эту бумажку чистой бумажкой, не обводили просвечивающие контуры корабликов. Нет, мы, умудренные жизнью дяди, так не делали. Странно только, что все кораблики в наших конвоях так удивительно похожи друг на друга...

Ла-Манш миновали при сносной погоде. Порывами задувал французский ветерок нароз. А в Северном море он решил отбежать к югу и юго-востоку, чтобы опять врезаться по зубам. Чистых девять баллов. Затитикали вокруг SOSы. Бедствуют, конечно, главным образом здешние рыбацки. Мелкое Северное море в шторм кипит и булькает самым беспорядочным образом. Вряд ли на его нефтеносном дне есть свободное от могил местечко.

Из-за Ла-Манша на Кильский канал можно идти двумя путями: под берегом или открытым морем. Берег мог прикрыть от ветра, но карты восемь месяцев не корректировались, а навигационная обстановка здесь меняется каждый день. Конечно, мы обязаны были весь рейс только и делать, что корректировать весь тысячный комплект

карт. И, конечно, это невозможно было. Потому решили держаться дальше от берегов Бенилюкса.

Дорога по фарватерам среди старых и новых минных полей. Шторм срывал мины с насиженных мест. Минные предупреждения сыпались, как из рога изобилия. И видимость паршивая.

Выходили к поворотному бую Большой Пит около двух ночи. Я проглядел дырки в линзах бинокля и на экране радара, но Пит прятался среди волн и мокрой тьмы. Сперва я ласково называл его Пипом, просил похорошему перестать играть в прятки, бросить валять дурака, мигнуть мне хоть разок. Пит не обнаруживался. Тогда я начал его поругивать. Пожелал заболеть традиционной английской хворью — подагрой, посулил ему вечно замкнутую жизнь, мрачное и тяжелое сосредоточение в себе, которое его погубит, увлечет на дно этого паршивого Немецкого моря. Пит продолжал прятаться, а мы уже прошли точку поворота. Я обозвал буй «лордом хранителем печати», ибо мне кажется, что нет на свете должности с более дурацким названием, и мы повернули по счислению, разуверившись в бескорыстном служении Большого Пита морякам. Вообще-то все это мелочь, обычная вещь — буй проваливается на волнении в такие глубокие ямы, что иногда пройдешь совсем рядом и не увидишь. Но окрепшее к концу плавания суеверие кольнуло душу. Почему Пит не отозвался на добрые слова, на знакомый зов? Быть может, он намекает мне на что-то в будущем? Быть может, судьба подает знак, что мне больше никогда не заворачивать возле Пита на свидание с доброй, работающей лошадью Темзой?

Тяжелая была ночь. Плавающий маяк Р-12 на штатном месте отсутствовал. Он возник из штормовой мути там, где должен был колыхаться маленький буй Р-11. Пришлось даже застопорить машины, чтобы разобраться в обстановке. Гельголанд едва прощупывался в радар. Кое-как определились по нему и пошли дальше, извиваясь среди минных полей. Границы полей на карту наносят с порядочным запасом. И краешек задеть не опасно, но, черт возьми, неприятно. Наконец обнаружился плавмаяк Везер. Возле него отстаивались на якорях штук сорок судов. У Эльбы-1 тоже было очень много судов, но не на якорях. Муравейник, разворошенный девятибалльным ветром. Никому не хотелось лезть в балтийские проливы при зюйд-осте и в морозном тумане. Все стремились в аккуратный уют Кильского канала, и лоцмана не справлялись.

С рассветом отдали якорь на рейде Брунсбютельгов. Мне такое название без разбега не произнести.

Из Эльбы несло лед — от берега до берега ледяная грязная каша. А мы отвыкли от тех шуток, которые лед иногда вытворяет. Отдали якорь, как положено, на соответствующем заднем, потравили цепь, взяли на стопора. «Невель» продолжает идти вперед! Якорь уже где-то за кормой, а мы продолжаем идти вперед. Дается «средний назад». Потом «полный назад» — первый раз за весь рейс. Наш скобарь упрямо продолжает идти вперед! Мистика, чертовщина! С бака докладывают, что горит и оплавляется стопор. Оказывается, цепь давным-давно смотрит в нос, мы тянем якорь по грунту, пытаюсь идти задним ходом с такой же скоростью, с какой лед несет из Эльбы. Движение льда вдоль борта от носа к корме мы принимали за движение судна вперед. Причем психоз был массовый — три человека на мостике одинаково обманулись. Конфуз. Такой неприятный, что никто не решился даже состричь.

Рассвет мутный. Солнце встает в густом морозном тумане. Фиолетовая чайка мечется и кричит над кофейным, грязным льдом. Колотун. Обмерзшие буксиры. Черные деревья на берегу. Ограда из колючей проволоки по откосу над сваями. Зимняя серая безнадежность в шорохе льдин, в медленном течении Эльбы. Пароходные гудки звучат глухо, падают с крыши небес капли сгустившегося тумана и острые снежинки.

Долго без дела мерзну на мостике. И опять вспоминаю Пита. Почему он не пожелал мне счастливого возвращения?

Фриц-лоцман слезает за борт со своим баульчиком. Черт бы побрал аккуратные баульчики.

Снег под черными деревьями. Солнце сквозь деревья. Домики из красного кирпича, островерхие. Черт бы побрал островерхие домики.

Обмерзшие стенки шлюзов, а вместо свай — глыбы льда. Суровая зима нынче в Европе. Или мы слишком отвыкли от холода?

Сотни черных трупиков сенегальских цикад валяются на палубе и хрустят под сапогами. А в моей каюте какая-то подпольная цикада все еще верещит — не сдохла.

— Швартовым командам по местам!

Входим в шлюз, швартуемся. И льдины входят вместе с нами.

Бурлит среди льдин коричневая вода, поднимается. И мы поднимаемся вместе с ней. В нашей компании француз из Деклюза, испанец и датчанин. Все выше и выше над Эльбой, над черными деревьями, красным солнцем. Далеко видно. Домишки, засыпанные снегом. Сине-серые тени от холмов. Телеграфные столбы с изоляторами. Снеговые заступы на откосах канала, пожухлая трава торчит из снега, рыжая, с метелочками.

Приятно все это. Приятны тихие тона после ярких красок тропиков.

Только встречные суда неприятно выглядят — сильно обледенели коллеги. Мы смотрим на них, как приговоренный, который по дороге к лобному месту видит дроги с телами уже умолкнувших на веки веков своих дружков. В Балтике девять баллов и минус восемь градусов.

А здесь ныряют между льдин старинные знакомцы — лебеди.

Кингстоны, конечно, забиваются ледяным крошевом в самый неподходящий момент. Греется главный двигатель. Стопорим. Течение неумолимо разворачивает судно поперек канала. Шесть минут нервотрепки и чужого диспетчерского лая по радиотелефону. Чуть не сталкиваемся с поляком. На фок-мачте поляка висит матрос и отвязывает порыжевшую новогоднюю елку — рождество уже позади.

На берегу бродит лошадь, большая, желтая, копытами выковыривает из-под снега траву или просыпанное сено. Смотрю на нее в бинокль, вспоминаю экватор и болтовню с Нептуном. Хороший зверь лошадь, даже упитанный немецкий битюг...

- Дид слоу ехид!
- Йес, дид слоу ехид!
- Слоу ехид!
- Йес, слоу ехид!

Поплыли...

Синеет вечер, а мы все еще скользим рядом с домами, не тронутыми лыжней полями, соснами... «АУДОРФ» — вспыхивает среди вечернего сумрака светящаяся неоновым вывеска какого-то местечка. Склад леса на берегу... башня... сторожевые катера с оранжевыми параванами... паромные переправы...

В Хольтенау я увенчал свои торговые успехи, купив две пачки табаку, три открытки и десять пачек жеватель-

ной резинки за пятьсот испанских песет — они сохранились у меня еще с Канарских островов.

Ленинградский торговый порт. Тяжелый, свинцовый рассвет над Невой, над ремонтирующимися судами в устье Фонтанки, над Сально-Буянским каналом, над цехами Балтийского завода.

Огромные буквы на фронтоне завода: «БОЛЬШИМ КОРАБЛЯМ — БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!» Призыв звучит для нас юмористически. Плывите, мол, ребята, дальше, нечего вам здесь толкаться. А нам хочется совершить миниатюрное плавание — с середины Невы к пассажирскому причалу Васькиного острова. Но нет буксиров.

За кормой 38 000 миль. Это 1,7 экваториального круга. Последнюю ночь мы отчаянно бились во льдах, чтобы сэкономить минуты, ошвартоваться пораньше, и — нет буксиров. Нет для нас и швартовщиков на родном причале. Ждать три часа. Забавное положение. Смотрят на нас с Васильевского острова встречающие, поверившие прогнозам диспетчера, замерзают на ледяном ветру, ничего понять не могут. И мы им ничего не можем объяснить: связь на короткие дистанции — сложное дело. С Луной связаться проще.

Медленно, как январский рассвет, шевелится лед. Девять тридцать утра. Все не спавшие ночь, злые. Голова потрескивает. Мне особенно задержка обидна. После двенадцати — на вахту. А стояночная вахта — сутки. Подменных штурманов не будет, это мы уже знаем.

Убираю в футляры бинокли. Из пяти три разбито. Кто их разбил? Фантомас их разбил. Ничего особенного нет в том, что человек в шторм уронил бинокль, но никто не признался в грехе. Сами собой разбились бинокли. И секундомеры сами собой поломались. И у секстана сам собой отлетел верньер. Нечистая сила, черт возьми. Лупа вот — хорошая, штурманская, двукратного увеличения — в футляре. Напишем, что в ужасный ураган, при крене девяносто градусов, я ее разбил. Заплатим за свою неловкость три рубля сорок копеек штрафа. И возьмем лупу на память об экспедиционном судне «Невель». Както не очень я в этот раз привязался к судну. Не выдавить скупую мужскую слезу при мысли о скорой разлуке.

В шкафчике метеоприборов валяется консервная бан-

ка с питьевой водой. Четыреста шестьдесят граммов. «Не пейте в первые сутки! Собирайте дождевую воду, заполняйте ею все имеющиеся в Вашем распоряжении емкости (полиэтиленовые мешки из-под карамели и т. д.). Консервированную воду используйте в самом крайнем случае. Для получения воды сделайте в крышке банки два прокола». Это возьмем на память об архипелаге Кариадос: Карахос и погибшем «Аргусе». На память о мифе, который распорол днище на рифе...

В каюте приобщаю лупу и банку к морским дарам. Картонки и ящики набиты битком. Из пальмовых веток и экзотических цветов получился шуршащий веник. Серенький. Время уже высосало краски. Но главное не в красках. Паломник — от слова «пальма». С пальмовой ветвью возвращались люди из святых мест к родному порогу. И я поддерживаю традицию мирных паломников. А в душе?.. Как там дела с тревогой по поводу бессмысленности жизни? Все так ли тягостно непонимание прошлого и отчуждение от будущего? Способен ли я представить будущее? Или оно исчезает в настоящем, в мелькании ерунды? Одно я знаю точно: если в молодости движение сквозь пространство дарило мне смысл, радость осознанной жизни, то теперь я это утратил.

Последние кабельтовы нас тащат кормой вперед. Портовый буксирчик молотит винтом в ледяной каше. Трос стонет. И вполне может лопнуть. Согласно правилам техники безопасности, при буксировке и швартовых операциях в месте, где работают надраенные тросы, не должно быть посторонних. Мои матросы из кормовой швартовой партии довольны. И я доволен. Мы первыми приближаемся к причалу. Мы стоим у лееров, косимся на стонущий буксирный трос и уже помахиваем рукавицами маленьким человеческим фигуркам на острове Василия, на Васькином острове. Лыдины шумят под кормой. На флагштоке развевается огромный флаг. Я случайно нашел в кладовке такую крейсерскую громадину. Пожалуй, полотнище пошло бы и линкору. Флаг победно стреляет, осеняя швартовую партию.

Оглядываю корму. Отсюда началось знакомство с «Невелем». С кладбищенской загородки, сделанной из металлолома для бабушки четвертого механика. Загородку я принял за клетку от акул для подводных работ. Потом корма превратилась в лобное место — здесь матросы убивали скуку, убивая акул. Так и стоит перед глазами первая жертва — акула из Гвинейского залива. Она лежала

на раскаленной палубе, опутанная тросами, распластав плавники, похожая сверху на нерпу. Ей вырубали из пасти крюк с приманкой. Из жабр шла кровавая пена. Когда ее переворачивали с брюха на спину за хвост, она начинала биться и ощеривала развороченную пасть. Потом в спинном плавнике ей вырубали дыру, в дыру пропустили трос, к тросу привязали деревянный ящик. Потом ломами вытолкали акулу за борт. Все старались ударить ее, сунуть в пасть доску, ткнуть в незакрывающиеся глаза... Ни одному человеку, кроме меня, не казалось все это диким и мерзким. Но и я скоро привык и глядел на происходящее с некоторым даже любопытством...

— Ба! Ребятки, а где приходные лозунги?

Нет лозунгов. Забыли про них. Не хватило пороха на игру, на шутки. Ленъ было малевать аршинные слова, крепить их на заиндеветших бортах. А жаль. Хорошие были придуманы лозунги: «С акульим приветом, родственнички!», «В море — горе, на берегу — жена! Ланцадрица-а-цаца!», «Теперь попадем к тещам, как кур в ошип!», «В загоревшем теле — сгоревший дух!», «Двести десять дней — как одна ночь!»

— Расчехляй вьюшки! Готовь веревки! Бросательные достали? Кранцы за борт! Отставить кранцы! Лед у нас будет вместо кранцев пока! Берегись буксира!

Смерзшиеся стальные швартовые раскручиваются с вьюшек. Сотни черных цикадных трупов вываливаются из тросов, хрустят под сапогами. Они кажутся особенно черными, негритянскими среди инея и снега.

Является Пижон. Дрожит от холода. Просовывает морду за леера, смотрит на медленно приближающийся причал. Бесстрашно-глупый хвост молотит по буксирному тросу.

— Пижон, соблюдай технику безопасности!

Легкий толчок. Приехали. Прикоснулись к родной земле, васильевским камням, граниту близкой набережной Лейтенанта Шмидта. Еще один круг замкнулся на круги своя. Родные лица на причале кажутся малознакомыми. И некоторая российская стеснительность с обеих сторон. И пограничники с автоматами уже стали к корме и носу. Однако, минуя погранзаставу, голубая четвертинка мелькнула в январском морозном туманчике.

— Все здоровы?

— Все здоровы!

— Ну, слава богу!

— Не простудись!

— Давно ждете?

— Так в диспетчерской сказали, что вы в девять швартуетесь...

— Буксиров не было...

Мы довольно долго возимся со швартовыми. Лед мешает поджать корму. Колотун. Поземка крутит по необъятной Гаванской площади, по асфальту. Виден троллейбус. Симпатичный, как лошадь.

В каюте быстро переодеваюсь. Приятно надеть черную форму на чистое, беленькое белье. Приятно швырнуть ватник в угол.

Забираю папку с документами и спускаюсь в кают-компанию к таможенникам. Молодая женщина в сером костюме кажется красивой, несмотря на налет обычной для таможенников зловещей официальности.

На дальнем конце стола устроились пограничные начальники. Пахнет солдатами — сапогами, ремнями, шинелями. Мы все еще за границей, хотя и прижались к острову Василия.

— Знакомы? — спрашивает женщина в сером.

— Конечно, — говорю я, вспоминая приход из Лондона, нехватку вискозы и модельной обуви. Кажется, тогда с нами работала и эта молодая красивая.

— Скажите честно, контрабанда есть? По вашему частному мнению?

Меньше трех часов она «трясти» не будет. Знаю я уже ее тщательность в досмотрах. Догадаются родные уйти с причала, с мороза, с ветра куда-нибудь в кафе или будут толкаться три часа на снегу?

— Думаю, контрабанды нет. Двухгодичная норма — восемьдесят метров ткани. Исаакий закатать можно, — говорю я.

— А косынок много брали? — устало спрашивает красивая.

Говорить за экипаж я не собираюсь. Никто меня на это не уполномочивал.

— Чужая душа и чужая жена — потемки. Вас Валентина Николаевна зовут?

— Да.

Она погружается в бумаги. Я закрываю глаза и погружаюсь в себя. И сразу начинает мельтешить перед глазами лед. Льдины закруживаются в вальсе после удара в борт, лезут друг на дружку, крошатся, опадают...

Лед, подсвеченный прожектором ледокола, черный ночной лед, синий рассветный лед, грязный, невский, мелкобитый. Малосоленный финский, крепко соленый кильский, пресный кронштадтский... После ледовой проводки такое верчение и мелькание в закрытых глазах сохраняется на несколько суток. Как мотив навязчивой песенки.

...Морской лед преснее морской воды... Замерзая, вода расстается с частью соли, но никогда не забывает о потере и готова вернуть ее... «Мы пришли, ковыляя во мгле, мы к родной притащились земле, бак пробит, хвост горит...» Полная чепуха лезет в голову.

— Спать хотите?

— Есть немного. Я вам еще нужен?

— Нет пока.

Поднимаюсь в каюту и ложусь на диванчик. Дверь, как положено, оставляю открытой. Чемодан и пакеты с морскими дарами тоже во вскрытом состоянии. Паспорт моряка лежит на столе и тоже открыт. С фотографии паспорта смотрит в потолок идиотским фотографическим взглядом мой двойник. Я вдруг вспоминаю времена, когда рядом с фото, согласно международным правилам, в мореходке красовался отпечаток большого пальца. Навсегда осталось прикосновение чужой руки, она твердо сжимает твою, сует твой родной палец в чернильную подушку, потом прижимает к обведенному рамкой месту в паспорте, потом палец не отмыть...

Ну скажи мне, море, навсегда я прощаюсь с тобой? Сейчас мне тошно даже подумать о тебе, море. Мне тошно думать о том, что послезавтра будет смотр, отчетные собрания, замерзшие блоки не провернутся, спасательный вельбот будет не спустить, журналы гидрометеонаблюдений окажутся заполненными не по форме, хронометры не примут в навигационную камеру на проверку, так как единственный мастер гриппует; каждый береговой человек, явившись на судно, будет корчить начальника и делать гадости, а сделать тебе гадость ему ничего не стоит... Ну, а что ждет на берегу, если посмотреть трезвыми еще пока глазами? Питерская зима, мать сразу заболит — она всегда болеет, как только я вернусь домой. В аптеку буду ходить за лекарствами. Лекарств нужных не будет. Деньги улетучатся с эфирной скоростью...

Господи, чудится или нет?.. Едва слышное стенание цикады из-под дивана! Вот уж кому сейчас действительно тошно, так это сенегальской цикаде, ей сейчас так тошно

тошно, как будет тошно последнему человеку на замерзающей Земле через миллион лет. А мне стыдно стоять.

Просто мы все-таки здорово устали...

Я заканчивал работу над этой книгой в Подмосковьё уже поздней осенью.

Воспоминания тихо шумели во мне, как штилевой прибор в гальке.

Я писал о прошлых рейсах, о далеких морях и океанах, а под окном спали сухопутные собаки на холодной траве. И мне часто казалось, что я никогда не плавал в далеких морях и океанах. Быть может, потому так казалось, что нынче я уже стал каким-то иным и товарищи мои стали иными; я узнал о себе и о них больше того, что знал, когда мы вместе возили рыбаков к Ньюфаундленду, основные балансы вокруг континента и ученые экспедиции вокруг Африки.

Правдивость — странная вещь. Она неохотно живет в настоящем. Если хотя бы гран правды попадает на бумагу, то ты вытаскиваешь его уже из далекого прошлого.

Я писал о прошлых рейсах, смотрел на собак и жалел, что не попал на очередной северный перегон.

Один сухопутный пес был такой же рыжий, как верхушки пожухлых берез в пасмурный октябрьский день. Его звали Рыжий. А я иногда называл Джеком — в честь давнего детского воспоминания. Другой пес, вероятно, был помесью лайки и овчара. Он был уже стар. Его звали Шалопаем. Он напоминал мне далекий Вайгач и бухту Варнека.

Ничего, утешал я себя, глядя на Шалопая, еще меня занесет на Вайгач и в бухту Варнека, еще стравим четыре смычки якорной цепи в малахитовую воду этой каменной холодной бухты, еще хватит на это желания, и времени, и сил.

Ушедшее лето было жаркое и сухое, горели леса. И ожидалось, что осень будет серой и монотонной, деревья не смогут держать ослабевшую от засухи листву, листья не успеют раскраситься предсмертным румянцем. Но все получилось наоборот. Леса светились оранжевым, багряным, лиловым и даже нежным, по-весеннему зеленым. Деревья засыпали светло и радостно, как засыпают здоровые и веселые ребяташки, потягиваясь и улыбаясь.

Потом на неопавшую листву упал первый, неожиданный еще снег. Он быстро растаял, но успел своей мокрой тяжестью поломать много зазевавшихся молоденьких деревцев и ветки на стариках. И сразу листопад покрыл землю тканями, плетеными и шпигованными матами. Видна стала из окна моего дома кирпичная стена, скрытая раньше кустарником и зарослями малины. И с каждым днем все глубже и синее делались дали за стеной...

Перечитав сейчас написанное, я опять убедился в том, что выдумать себя и других возможно, а познать себя и других довольно безнадежное дело...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I

СОЛЕННЫЙ ЛЕД

Набережная Лейтенанта Шмидта	4
Середина жизни	13
Мосты и речки	20
Архангельские встречи	27
Поплыли	40
Вайгач	65
Лабытнанги — Ленинград	74
Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта	93
Франциска	105
Как я не написал статью об арктическом туризме и что из этого вышло	113
Морской экзамен	129
О чем думается в спокойные предутренние вахты	154
Странные капитаны	167
В шторм и штиль	178
Телевизор у берегов Соединенных Штатов	188
Без соли	207
Мимо Франции	223

Часть II

СРЕДИ МИФОВ И РИФОВ

Корабли начинаются с имени	256
Разгрузка в Сорри-доке	261
Ленинград — Гибралтар	289
Хандра (Первый рассказ Геннадия Петровича М.)	301
Осина открывает острова	316
Мимо Греции	341
Латакия	355
Мимолетный праздник	375
Под вой боры	393
Космический теплоход, череп и кости	400
Выход на мокрую орбиту	426
На родине кенарей	434

Редактура мифа	443
Размышления о документальной прозе возле отмели	
Этуаль	456
Будни	478
Мадам Мигни	491
Денатурат и искусство	500

Часть III

МОРСКИЕ СНЫ

Тихая жизнь	510
Остров Кокос : :	521
«SOS» в Индийском океане	528
Петр Ниточкин к вопросу о матросском коварстве	553
Опять мимо Доброй Надежды и Монтевидео	562
Вокруг да около Святой Елены	583
Стыковка на мокрой орбите	593
В дрейфе	604
Банальная курортная история (Второй рассказ Геннадия Петровича М.)	612
Во сне и наяву	624
Чертовщина	639
Общественное поручение	657
Дакарские сказки	665
Под вой трехглазых хоботовых	703
Сценаристы и режиссеры в море	710
Пресный лед у острова Василия	727

Конецкий В. В.
К64 За доброй надеждой: Роман-странствие. — М.:
Сов. Россия, 1987. — 744 с.

Большая часть произведений известного советского писателя посвящена труду и быту моряков. Не составляет исключения и трилогия, объединенная общим названием «За доброй надеждой». Книги писателя, ставящие проблемы нравственного и гражданского долга, в то же время автобиографичны. Автор не раз был активным участником далеких экспедиций.

4702010200—188
М-105(03)87 115—87

Р2

Виктор Викторович Конецкий

ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ

Редактор

Н. М. Галактионова

Художественный редактор

Г. В. Шотина

Технический редактор

Т. С. Маркина

Корректор

З. И. Шехмейстер

ИБ № 5082

Сдано в набор 09.10.86. Подписано в печать 17.03.87.
Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 39,06. Усл.
кр.-отт. 39,48. Уч.-изд. л. 43,44. Тираж 75.000 экз.
Заказ № 622. Цена 3 р. 10 к. Изд. инд. ЛХ—120.

Ордена „Знак Почета“ издательство „Советская
Россия“ Государственного комитета РСФСР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Государствен-
ного комитета Карельской АССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли, 186750.
Сортавала, ул. Карельская, 42.



